

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ
КОЛЕСО

ОКТАБРЬ
ШЕСТНАДЦАТОГО
КНИГА 1

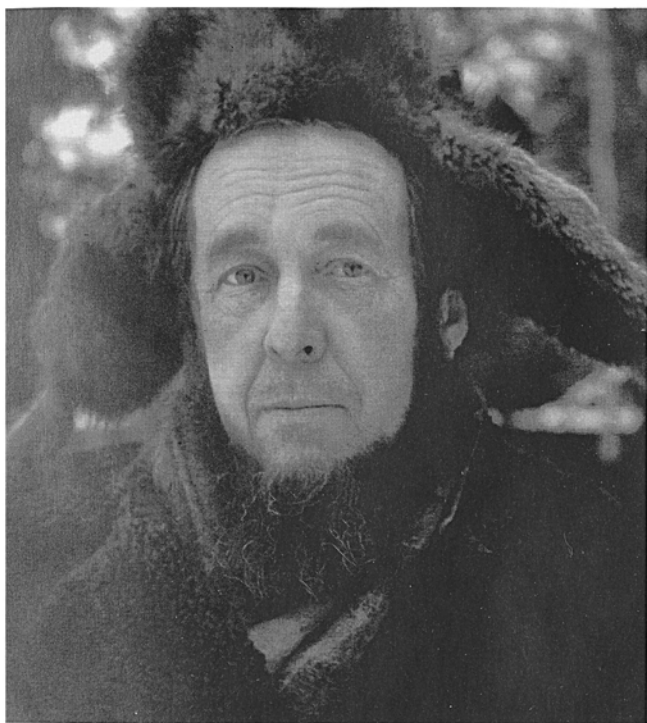
АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ОКТАБРЬ
ШЕСТНАДЦАТОГО
КНИГА 1

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



Подмосковье 1972

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДЕВЯТЫЙ

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ II
ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

КНИГА 1



МОСКВА, 2007

ББК 84Р7-4

С60

редактор-составитель
Наталья Солженицына

дизайн, макет
Валерий Калныныш

ISBN 978-5-9691-0227-9
ISBN 978-5-9691-0032-9 (общий)

© А. И. Солженицын, 2007
© Н. Д. Солженицына, составление, 2007
© «Время», 2007

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНИЕ

В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

14 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ СТ. СТ.

КНИГА 1

Птицы любят не всякий лес. В жиденьком, слабеньком Дряговец было их куда меньше и скучней, чем в Голубовщине, три версты в тыл. К войне на поживу налетело из многих мест гальё, вороньё, коршуны (как и мыши и крысы стянулись), а улетели подалее певчие дрозды, снялись с высоких крыш белые аисты, выстаивающие счастье. Но крестьяне говорят, что и прежде войны, всегда: Дряговец не любили птицы, а Голубовщину любили. А между тем лесом и этим, над мокредью у старого екатерининского шляха, как до войны, так и в войну, тянуще плачут чибицы, и только они одни.

Толстоствольную парковую Голубовщину, где лес не слитен, но каждое дерево как на показ и по просторности всюду трава чистая, ласковая, доньне, уже год близ позиций, населяло изобилие птиц, вся главная масса их. И в мае так это вместе всё куковало, булькало, стрекотало, щебетало, вытягивало, пересвистывало, что у Сани, южанина-степняка, слабели ноги — опуститься на шёлковую траву, и грудь раздувалась — не воздуха только вобрать, но птичьего пенья.

И тяжела становилась амуниция, оттягивающая плечи, грузный револьвер.

Кажется, близко бы всем этим птицам отлететь от передовых позиций, от воя снарядов, от дыма взрывов, от газовых волн, ещё вёрст на десять назад, — нет! Пренебрегая шумной, чёрной людской войною, даже гибня в ней иногда, жили многие птицы на своих извечных местах, признавая лишь своё повеление внутреннее, лишь строгий свой меридиан.

Голубовщина была лес помещика-поляка, впрочем перенятый в аренду простым селянином, а Дряговец — крестьянский лес. Что такое именно значило «Дряговец», Саня не добился понять,

но уже в самых звуках слышался худший сорт и пренебрежение. Такой и был он — хилый, мелкодеревый, не радующий душу и не по воле заселённый теперь гренадерами весь насквозь: тылами и резервами пехоты, затем — передками, лошадьми и землянками артиллеристов. Сразу же за Дряговцом стояли пушки 1-го дивизиона 1-й Гренадерской бригады.

Тонких хлыстов Дряговца не хватило бы ни на какие землянки, и давно не осталось бы самого леса, но вовремя было запрещено его валить, как и завидную Голубовщину. Из неисчерпаемой России, из глубины, привозили железнодорожными платформами толстые брёвна на все перекрытия и укрепления, перегружали на колёсные станы, и ближние крестьяне, три рубля за фурманку в ночь, темнотою и под немецкими ракетами возили-возили-возили тот лес под самую даже передовую линию. (Только из передних деревень крестьяне ушли, а уже в Стайках и в Юшкевичах жили и засевали поля, а немцы, бывшие по большому полю, когда видели там работающих крестьян — по ним не кидали.)

Почти вся санина война, минувший год, и прошла в этих местах, в этих нескольких верстах, окидываемых одним круговым взглядом. Ещё с прошлого сентября стояла их батарея позади Дряговца, и от батареи на их прежний наблюдательный пункт ходил Саня всегда одной и той же дорогой: сперва через Дряговец, кишащий солдатской жизнью, потом, под просмотром неприятеля, по старому шляху, где не шагали строем и не гнали больше одной повозки сразу; от придорожного, до сих пор не сшибленного деревянного креста с жестяным кружевным щитком над образом Спаса брал влево и полторы версты унижительно сгибался ходом сообщения, сталкиваясь со встречными и с осыпчивою землёй, и так — до самых пехотных окопов, еле-еле выгрызенных в узких грядках среди мочажины. И, этим путём каждодневно гнясь и сапогами чвакая в осенней и весенней грязи, а то и на глубину голенищ в окопной воде, мог бы горько изумиться кто не знал: как же было так допустить? как же можно было, отступая, такие наихудшие позиции себе выбрать, а немцам дать перейти Щару, занять Торчицкие высотки и обратить в крепость возвышенный фольварк Михалово? Но Саня прихватил в Гренадерской бригаде прошлый август и помнил конец этого страшного отступления: сшибали их разнётым артиллерийским огнём, а то удушливыми газами; дни высиживали под долбящим обстрелом и почти не вкопанные, сами без снарядов, ночами отступали, а неприятельской пехоты и не

видели никогда, ей и делать было нечего. Без снарядов, и даже ружейные патроны на счету, валили и катили мимо Барановичей на Столбцы, а хоть бы и на Минск, — и вдруг обнаружили, что немцы в спину больше не косят. Обернулись, постояли. Вовсе стали. А потом от месяца к месяцу, под вражеским просмотром и огнём, весь Гренадерский корпус трудами и потерями полз обратно, *выдвигался до полного сближения*, долгими окопными работами проходя и занимая две с половиной версты, оставленные немцами в пустоте как негожие.

Эти вёрсты унижения, пота и смерти не за что было, кажется, полюбить. Но странно: за год, проведенный здесь, стала для Сани эта местность щемяще дорогá, как родина, и привык он к каждому кустику, бугорку и тропочке нисколько не меньше, чем вокруг своей Сабли. Истинная родина, Саня узнал, тут близко была Мицкевича — поправее, к Колдычевскому озеру, и ещё б не любил поэт места своих детских игр и юношеских мечтаний. Но места, где провёл ты грозные дни своей жизни, не тесней ли того сродняются с тобой? Они как молнией выхвачены для тебя изо всех земных пространств, они свидетели не безмыслого, беззаботного твоего рождения, а поступков внезапного мужества, созревания которого ты в себе не предполагал, или возможной смерти — сегодня? завтра? И, сапогами буднично шелестя о траву, ты, может быть, каждый день проходишь мимо крестика смерти своей, мимо будущей твоей милой могилы.

Сколько за год прожито, изменилось, самого тебя в изумление привело. С наблюдательного шёл на батарею, усталый, задумавшись, и не так обратил внимание на ужасающий свист чемодана на подлёте, как увидел по краю Дряговца: чёрный столб в три раза выше леса, а над столбом — ярко-красная шапка мелькающих отдельных вспышек, а ещё выше — летающие толстые палочки. И под грохот невероятный ещё всё это не опустилось, как соединила голова: попал восьмидюймовый чемодан в снарядный склад батареи, и это палочками летают четырёхвершковые брёвна, а вспышками рвутся взлетевшие наши снаряды. И хоть кажется (потом уже размышляешь) живому существу неестественно бросаться в смерть, и не был санин долг присутствовать в этот миг на батарее, и никто б не удивился и не упрекнул его, если б он пришёл на десять минут позже, — Саня, не обдумывая ни секунды, со всех ног кинулся бежать на позицию, где в туче оседающей земли ещё допадавали брёвна (тычком воткнулись два, будто их зако-

лотили) и загорелся зарядный ящик со шрапнелями. Офицера не оказалось, и батарейцев горстка, только младший фейерверкер да несколько номеров, в момент разрыва укрывшихся, — и Саня, как бежал, вызывая их за собою, кинулся к зарядному ящику. Валил дым из его стенок (это горел порох в пробитых снарядных гильзах). Бросились и те все, предупреждая взрыв, и ожидая этого взрыва на себя, и каждый миг ещё ожидая на себя нового чемадана, чья воронка слизывает пять саженей в диаметре и четыре аршина вглубь. Но новый — не прилетел, а тем временем они топорами сбивали горящую обшивку и выбрасывали, выбрасывали уже раскалённые лотки со снарядами — и ни один не успел взорваться. И в таком скорохвате, в огне пронеслась эта работа, что Саня не успел и испугаться. И лишь когда кончили и пот вытирали, заметил он, что ноги дрожат, не держат.

Так и осталось удивлением о себе самом и о номерах, ретиво помогавших ему, — когда уже всем им пришлось по георгиевскому кресту, и армейская георгиевская дума утвердила подпоручику Лаженищину офицерский.

Так и могла — да не раз — окончиться санина жизнь в 25 лет в этой мягкой, природнённой местности между Власами и Мелиховичами, с их купами высоких тополей. И если когда-нибудь фронт отсюда уйдёт и зачередят новые места опасностей и куцых солдатских радостей, всё равно это место годовой тревожной жизни навсегда уже будет теперь восприниматься как отобранная родина.

Что глаза окинут, то и жаль покинуть.

И ещё есть одна загадка: черта, никогда раньше на этой местности не существовавшая и которая потом сотрётся, запашется, лишь останется в памяти стариков, черта, разделившая два пришедших войска и тем же разделившая до полной чуждости два куска слитной обжитой земли. По тот бок черты всё должно быть такое же — и всё представляется совершенно иным. Как будто тот же тёплый кусок отечества, украшенный разбросом хуторов и кущиц, тот же шлях екатерининский, обсаженный редкими берёзами и ушедший за высотку и за реку, те же млыны ветряные, тополя и покинутые гнёзда аистов, — нет, выхват чужой земли под чужой властью.

Весной, когда Ростовский Гренадерский полк уже близко подкапался к Торчицким высоткам, была перед рассветом удачная вылазка: захватили немецкие окопы врасплох и едва не перешли Щару, да поддержки не было. В ту ночь Саня как раз дежурил на на-

блюдателем в переднем окопе ростовцев и с ними пошёл. Поддержать огнём он их не мог — на снаряды был наложен запрет, операция возникла в полку почти внезапно, но ногами Саня пробежал эти иссмотренные, до камешка изученные триста саженей, завалил за двухгребневую высотку и ахнул: действительно, мир там оказался другим! Не эта бесплодная, без кустика, угорная земля, но от самых немецких окопов — зелёный сбег к реке, сочные дубки, шаровые ивы, кустовые заросли у речки, и — нежный над-речный утренний туманец между всем, как ласка к этим творениям. И едва-едва только стихли пулемёты и ружья — тут же рядом, незримый, встрепенулся и залился соловей — да неестественно, со всеми положенными оттолчками, дробью, пересвистами... С привычного места не согнала война и его!

И этот зелёный обрыв за Торчицкими высотками, туманец, неожиданный соловей — показали Сане живым раем. Какой же силой и любовью это сотворено! И как же, с двух сторон, Торчицкий обрыв и Голубовщина звенят своей вечной песнью, а в помертвелой полосе между ними, там, где ещё уцелевал трёхсаженный несшибленный Спас, тысяча людей в безумии врылись в землю и палят друг в друга, со всею техникой двадцатого века!

Эта беготня в предрассветьи, с колотящимся сердцем, куда ни начальство, ни долг не послали Саню, а понёсся он испытать первое в своей жизни наступление, сделали его как будто крылатым, лёгким и полусонным, как после любовной счастливой ночи. Была — пробежка и победа, да какая-то весёлая, без потерь. На полчаса стал Саня как будто безплотен бояться свинцового прохвата, стал нечувствителен к возникшему свисту пуль с того берега Щары.

Однако вправлено было уже и что-то иное в подпоручика Лаженицына. И при всей его безсонной безплотности и восхищении соловьем, использовал он минуты затишья и для осмотра немецких окопов — чистых, сухих, основательных, в полный рост, обложенных досками, с крепко-досчатыми полами, с зимними кабинками часовых, с бревенчатыми блиндажами, каких не могла пронять наша полевая артиллерия, и даже с бетонными укреплениями. И хотя уму и расчёту понятно было всегда, что отсюда легко просматриваются русские позиции, но, только сам поглядев через бетонные смотровые щели, поразился подпоручик, до чего же мы невыгодно, голо, незащищённо стоим, как будто выполняем права чужой войны.

А ещё он снял в блиндаже с гвоздя великолепный цейсовский полевой бинокль с 16-кратным увеличением.

И, месяцы, месяцы потом глядя всё с прежних принижённых мест на прежне недоступные, даже более прежнего, уже пятью линиями колючки укреплённые Торчицкие высоты с верхами дубков из-за них, Саня и поверить бы не мог, что сам побывал там, если б не этот тяжёлый прекрасный бинокль, всегда на груди или у глаз, часто одолаженный товарищами или старшими, потому что у всех были только казённые, не больше 8-кратных.

Как перо жар-птицы, в сновидении выхваченное на память и оставшееся доказательством сна.

2

Подполковник Бойе назначил подпоручику Лаженицыну быть не в очередь на боковом наблюдательном пункте 3-й батареи у деревни Дубровны 14 октября в 10 часов утра, с тем чтобы принять участие в стрельбах командира батареи.

Педагогически это было неправильно: уж какие три взводных командира ни достались, а надо всех трёх обучать равномерно и стрелять с очередным. Однако при той общей казни египетской воевать с неузнаваемо прореженной армией, где кадровые подлинники офицеры подменены разночинцами, а сверхсрочные унтеры — обученцами из нижних чинов, мог подполковник позволить себе не нервничать лишнего и пострелять с командиром 3-го взвода, который обучаемее и добросовестнее других, хотя тоже без военной души. Командир 1-го взвода прапорщик Чернега, из фельдфебелей, дерзкий воин, лучшего желать не надо, но в познаниях, умениях — слаб, а в готовности неровен и плохо вгонялся в строгую систему. Прапорщик Устимович, из запаса 45-летний учитель, обременённый семьёй и жизнью, к тому же присланный из пехоты по недостатке артиллерийских офицеров, числился командиром 2-го взвода лишь для страдания своего и командира батареи и не только не обещал стать порядочным артиллеристом, но хотя бы военную дисциплину усвоить ближе к костям.

Вчера и позавчера держалась устойчивая пасмурная погода — без дождя, но и без солнечного проблеска. Плотные тучи стлались и сегодня с утра, но было сухо, нехолодно, и кой-где посвечивало,

обещающая растянуться. А барометр шёл влево и советовал брать дож-девик.

Передовой наблюдательный пункт 3-й батареи в пехотных окопах против Торчицких высот имел малый просмотр в глубину неприятеля, и для всех главных стрельб Бойе оборудовал боковой пункт, на высоте, частью отбитой у немцев. Обзор оттуда был и широкий и глубокий, но от слишком бокового расположения усложнялись правила стрельбы: виделось не так, как стрелялось, шаги прицела переходили в шаги угломера и наоборот, всё это надо было в голове быстро оборачивать и соображать, Устимовича ставить туда было бесполезно, да и Чернега путал.

Последние пятьдесят саженей, ответившись от хода сообщения Перновского полка, шёл их собственный батарейный ход, в два с половиной аршина, чтобы высокому подполковнику не очень гнуться. Сам наблюдательный был перекрыт в три наката со стяжкой брёвен проволокою, чтоб их не раздвинуло средним калибром.

Ещё раз поглядя, что небо всё светлело, желтело, обзор будет хорошим, подполковник, пригнувшись на входе, придерживая фуражку, отводя заслоняющую парусину, нырнул, а за ним ординарец. Внутри пол был ещё подрыт для подполковника, а подпоручик Лаженицын, ростом ниже, с несмелой бородкой на полподбородка, стоял на бруске у смотровой щели — и перед собою на бруствере, на подложенной фанерной дощечке, делал записи. При появлении командира батареи он сошёл с бруса и козырнул.

От армейской дисциплины тут было много отклонений, сразу замечаемых глазом, даже ещё не привыкшим к полутьме, но уже отметившим и двух телефонистов на чурбаках, телефоны на земляном полу, а карабины к стене, и одно дуло так пришлось, что грозит набрать земляной осыпи; три противогазных маски на гвоздях, вбитых в горбыльную обкладку. Подпоручик не скомандовал «смирно» и отдал честь без отрубистой лёгкости, хотя с прошлого года лучше; и не доложил, что происходит на наблюдательном пункте в настоящую минуту. Но упрощения, вносимые войною в устав, слишком широко разлились, чтобы возвратить их в рамки. И подполковник Бойе, со страданием обречённый до самой могилы замечать каждое отклонение от устава даже, кажется, городских прохожих, отзывался лишь на те, где выпирал вызов.

А Лаженицын и сам не знал, почему он не доложил, он готовился, и было что сказать. Но вдруг показалось ему при трёх солдатах, в тесном укрытии, что это будет стеснительно театрално.

Да и робел он перед подполковником, хотя тот и голоса никогда не повышал. Чернега и виноватый всегда держался право и бойко. Лаженицын и без огреха всё какую-то вину ощущал. Брови подполковника над пенсне передвигались минимально. Глаза, кажется, постоянно имели выражение четвертьпрезрительное и полунедовольное. Взнесенные хвосты усов были так идеально ровно отмерены, что улыбка сразу бы нарушила их равновесие. Длинная шея в стоячем вороте кителя не оставляла развязности голове, тем более не допускалось развязности у собеседника. А весь вид был сейчас: неужели вы чем-нибудь серьёзным могли тут заниматься?

Но ни слова подполковник не произнёс, ответил небыстрым точным поднятием руки к виску, взял записи подпоручика и стал читать их молча.

Эти записи (добросовестно начатые на час раньше назначенного, без всякого внешнего одобрения заметил про себя подполковник) были обычные дежурные записи обо всех изменениях и действиях противника, с повышенным значением ничтожных событий:

«9.05 — В слуховом окне № 4 неприятель продолжает земляную работу, начатую, видимо, ночью.

9.12 — Неприятельское орудие 1½ дюйма выпустило по окопу № 8 5 снарядов».

И Лаженицын тоже следил за своими строчками, какие именно читает сейчас подполковник.

«9.41 — Неприятель выпустил по северной окраине Дубровны 18 тяжёлых мин. Ущерба не причинил».

Этот налёт подполковник видел сам на подходе, из низины ему даже показалось, что бьют точно по их наблюдательному, а прямым попаданием одна такая тяжёлая мина, изблизи, могла и разворотить тут перекрытие. Но естественно, что подпоручик не докладывает о близком огневом налёте как о событии. В уставе так и сказано: для установления наилучшего наблюдения командный состав артиллерии должен жертвовать собой.

Дневник стрельбы неприятельской артиллерии вёлся неопустимо в каждой батарее — на двух наблюдательных пунктах и с пушечных позиций, и потом сводился дежурным: род орудия, калибр, куда, сколько снарядов и, самое нудное, — схема перетерпленного обстрела, как легли воронки относительно наших орудий, снарядных запасов, передков, землянок. Подполковник знал, что

все его взводные изнывают от этих скрупулёзных записей, обмеров и рисунков, что Чернега ляпает всё из головы, не обмеряя, Устимович кричит и стонет, Лаженицын выполняет через отвращение. Но никогда подполковник ни взглядом не допускал уловить, что он не одобряет этих отчётов, хоть и не допытывался, воистину ли обмеряли все воронки. В армейском порядке ничто не может быть осмеяно: начни выбивать устои, не знаешь, на котором повалится всё. Дневники эти потом сводились в общий дивизионный, подавались в управление бригады, это вскоре составляло толстые тома, управление бригады и штаб корпуса искали шкафов, потом уже полк и сараев, где бы хранить их, уж не то что анализировать по ним замысел и тактику немецкой артиллерии. Но попустить было никак нельзя, и подполковник Бойе холодно-строго просматривал отчёты взводных.

«9.55 — У православного кладбища строится, по-видимому, блиндированное долговременное сооружение».

Тут Лаженицын мягко-глуховато предложил посмотреть туда в цейсовский бинокль или в стереотрубу.

Это надо было осторожно, у немцев бывали снайперы с оптическим прицелом и разносили стереотрубы вдребезг. Немецкая передняя линия тянулась рядом, на их же высоте.

Через обзорную щель была видна вся посветлевшая округа: проступало за нашей спиной в долю яркости солнце и хорошо освещало жёлто-бурую кущу деревьев у православного кладбища, соломенные крыши деревни за ней, белый костёл в высоких Стволовичах и даже, далеко-далеко справа, крутизну над Колдычевским озером.

Бойе снял пенсне на бруствер и принял от Лаженицына его отменный бинокль. Верно, да, соображения взводного деловые. Накиданной свежей земли совсем немного, строительство в самом начале, а будет что-то капитальное. Вот и ещё цель для сегодняшней дневной программы: пока не достроились — и накрыть.

Сегодня подполковнику Бойе приказали демонстративно проделать проходы в проволочных заграждениях противника перед Екатеринославским полком, как если бы ожидалось его наступление тотчас. На самом деле намеревались только понаблюдать систему мобилизации противника к обороне.

Что и умела хорошо наша трёхдюймовая артиллерия — это размётывать проволочные заграждения. Ни прочных бревенчатых, ни тем более бетонных укреплений она не разрушала. Не

парализовала тыла из-за малой дальности. Не создавала огневой завесы перед нашей наступающей пехотой — из-за настильности. После того как сняли от Голубовщины морские орудия, на всем их участке, несколько вёрст вправо и влево, разрушительную силу имел лишь недавно присоединённый гренадерам мортирный дивизион, да и тот был четырёхдюймовый, когда у немцев восьми.

— Сколько вам снарядов на пристрелку?

— Четыре...

При работе Лаженицын бывал замедлен, никогда не горячился, но это хорошее обещание в нём.

— Три. Не теряйте неожиданность. На поражение всей батареи сколько времени будете переходить?

Бойе не поощрял ни голосом, ни взглядом. Тон его был такой, что скорей всего ошибутся эти недоучки, где уж им правильно ответить. Оттого Лаженицын осторожничал.

— Минуты три.

— Не больше двух. Надо ошеломить. Все команды составьте заранее и заранее сообщите на батарею. Первые снаряды уже будут в каналах и только добрать поправку по прицелу и углу-меру.

Лаженицын удивился:

— Всё буду я стрелять?

— Вы. Сколько вам нужно снарядов?

Опять с осторожным замедлением:

— Сорок?

— Надо хорошо прочистить. Берите шестьдесят.

Теперь на снарядных ящиках писали им из тыла: «Бей, не жалей!». Не Пятнадцатый год.

А ещё подполковник Бойе терпеливо обучил всю свою батарею, с каждым наводчиком возясь, *стрелять по огню*. Этого не было в обязательном уставе, а перенималось на курсах от одного-двух генералов, не могших переубедить военное министерство, но набравших себе последователей в батареях. Вместо того чтобы командирам взводов стоять при орудиях и, по мере выстрелов справа налево, кричать: «Второе!» — «Третье!» — «Четвёртое!», как делалось во всей российской артиллерии, — тут каждый наводчик, держась за шнур, смотрел на наводчика правой себя. Очередь батареи получалась дружной, слитной — и все командиры взводов освобождались для работы пополезней.

Лаженицын углубился в расчёты карандашом на гладком месте дощечки, записывал в книжку дежурного наблюдателя отметки по реперам. Спешки не было, а хорошо бы и побыстрей. Соображал неплохо, но слишком по-штатски любил пересмотреть и взвесить доводы. Однако Бойе надеялся: наловчится со временем. Он верил, что преданность войне — природное мужское свойство и в любом его можно разбудить и развить.

Дежурному телефонисту, татарину с трубкой, висящей прямо у уха, шнурком под фуражку, велел подпоручик вызвать Благодарёва, фейерверкера первого орудия, разговаривал с ним, присев на корточки к телефону. Потом с другими взводами. Потом и Бойе по пехотному телефону брал согласие у командира полка на начало стрельбы.

Лаженицын возбудился, волновался не ошибиться. Неожиданно большая стрельба, и вся на нём, хотя и под косым недовольным взглядом командира батареи, нависавшего как экзаменатор. Но ни одной готовой команды подполковник не остановил. Расчёты сами вели и торопили. Три скачка прицела на поражение, распределение снарядов по трём скачкам, не забыть доворот одного орудия на новую постройку у кладбища. И — лихой этот момент, когда малая сила твоего голоса, однако уже и родственная металлу тех стволов, — «беглый! огонь!!» — утысячается в грохоте, слабость твоих рук и короткий их размах заменяются дальним швырком и ударом снарядов, а ты, неожиданный для себя громовержец, только смотришь в бинокль и видишь серые кустисто-лохматые снопы разрывов, а в них взлетают скрутки колючей проволоки, огрызки многорядных берёзовых кольев — всё хитромудрое наплетенье, столькими людьми во столько ночей устроенное, а теперь в три минуты тобою кинутое в воздух — на разрыв, разлёт и вперевёрт. Именно при большом расходе снарядов, как сегодня, ощущаешь эту силу, далеко за пределами отдельного человека, и испытываешь... гордость?..

Невозможно. Гордость?.. И приятен неосудительный тон подполковника:

— Нич-чего...

И жалко, что всё это — демонстрация, никто в те проходы не пойдёт.

А под шинелью на груди — Станислав 3-й степени, однако с мечами, чьей скромной истории командир батареи тоже участник. А возносительней того — георгиевский крест за пожарный миг

на батарейной позиции. Этот свеженький Георгий в лёгком касании как-то перетягивает и поворачивает все представления о целях и долге человека. Не просто отметка о прошлом, но и обязанность на будущее.

Удачная работа. Смышлёное применение правил стрельбы. Хотя шестьдесятю снарядами кого-то же и убили, и ранили сегодня в немецких окопах.

А как-то — неощутимо.

А два перелетевших снаряда попали в православное кладбище и черно взметнулись там. Нарушая чьи-то могилы.

Записав, как полагалось, число выпущенных снарядов, их назначение и результат, Лаженицын готов был и к следующей работе. А дальше пошла ещё интересней: намеревался подполковник сегодня поработать с новыми 36-секундными трубками, прибывшими к ним пока малой партией. Два года бригада воевала с 22-секундными, дальность шрапнельного выстрела пять вёрст, и при такой местности, как сейчас, когда нельзя было для пушек найти закрытой позиции ближе Дряговца, вся их шрапнельная стрельба велась лишь по самому переду немецкой обороны. Трубки в 36 секунд горения удлинляли выстрел, захватывали лишние две версты в глубину неприятеля.

Готовили новые данные по развёрнутой на бруствере картедвухвёрстке, где *спичкой* называет безграмотная пехота две версты. Командовал подпоручик выстрелы, потом наблюдали за далёкими белопушистыми дымками своих шрапнелей. В этой стрельбе уже не было грозности, одна математическая и внешняя красота. Истолковывали результаты.

Эта их стрельба никак особенно не меняла мирно-боевого дня у неприятеля. Редкие одиночные выстрелы не сгущались ни к какой определённой цели, были мерным явлением надфронтového воздуха. Только умный наблюдатель мог бы догадаться, отчего так глубоки разрывы, что не позиции сменили, а появились у русских новые трубки.

Один раз под их шрапнелью понесло повозку и свалило вместе с конями. Ещё раз подтянули они разрывы, сколько могли, к стволочискому костёлу, а там у немцев безусловно наблюдательный пункт.

Была гордость в этой приравненности работы и мысли подполковника и подпоручика. Попирали локтями одомашненную малую поверхность брустверной земли, уложенную дощечками, чертили,

считали и толковали не командно-подчинённо, а — даже бы сказать дружески, если бы голос подполковника не обладал особой формой вежливости, с ледком отдаления, не исчезающим никогда. И всё ж невольно своя отличённость среди других офицеров батареи, своя особая смышлённость и пригодность к делу поднимали Саню.

Разрывы шрапнелей от раза к разу становились всё белей, всё ярче и красивей. И только в конце подполковник и подпоручик поняли отчего: за двух- или трёхчасовой работой изменилась погода: никакого уже полусолнечного просвета, а тучи плотнились, темнели. И замглилась, закрылась дальняя крутизна над Колдычевским озером.

Всё, что хотел, подполковник Бойе выполнил и собрался уходить. Тут Саня решился ещё раз приступить об обещанном отпуске орудиному фейерверкеру Благодарёву. Решился, хотя подполковник отучил подчинённых по одному вопросу обращаться дважды: разрешено ли, нет, одним разом должно кончатся. Но сегодня так чувствовал Саня, что можно попытаться.

Благодарёва намеревались отпустить ещё месяц назад. Был слух, однако, что есть Государев приказ прекратить отпуска нижним чинам, и подзадерживали их. Тут пришёл и приказ Главнокомандующего фронтом Эверта: с 1 октября отпусков нижним чинам не давать. Как и всякий приказ с большого верха, здесь, на низах армии, он казался бессмысленным. Если бы были признаки близких больших передвижений фронта, подготовки к наступлению у нас или у немцев — но этого не ощущалось и не могло возникнуть внезапно. Всего верней, они целую зиму вот так же тут простоят, никуда не продвинутся, и без серьёзных боёв. Был бы недостаток в людях, некем заменить отпускников — но разные виды недостатков испытывал корпус, только не в людской численности. Так славно бы ездили люди пока к семьям и к хозяйству, и были отличившиеся, — нет! Высокий далёкий Главнокомандующий, никогда тут не бывавший, только по своей немецкой фамилии известный, и то лишь офицерам, перерубил десяткам тысяч солдат их радостную надежду, схватывающую сердце. И уж честно бы объявить перед строем, пусть слышат и знают все, — опять-таки нет! Приказ был как бы секретный, командиры батарей прочли его под расписку, а солдатам, которым обещано и которые ждут, должны были невразумительно, стеснительно отказывать взводные командиры.

Этих общих аргументов Саня, конечно, не привлёк, подполковник не принял бы сомнений в мудрости эвертовского приказа, но лишь об одном Благодарёве, таком лёгком при невзгодах, таком охотливом на всякое обучение. А главное — во время пожара растаскивал снаряды, лез в опасность, но в штабных дебрях был затерян его наградный лист, и лишь недавно, позже других, пришёл крест и Благодарёву, и так уж заслужен был отпуск со всех сторон — очерёдный, внеочерёдный, — а вот отрубили! Уже не в землянке, при телефонистах, а за подполковником под парусину нырнувши в ход сообщения:

— Господин полковник, осмелюсь ещё раз... С Благодарёвым... Очень уж обидно, стыдно. Так у нас вся служба развалится. И Георгий ему затеривался. Нельзя ли что... именно для него?

Светлей, чем в блиндаже, но и тут уже сильно посерело. Подполковник был без пенсне, козырёк фуражки насунул к бровям, и не так много оставалось усам ещё взброситься, чтоб и козырька достичь. Симметричен, прочен, твёрд. Вдруг, как бы принимая подпоручика в сообщники, сниженным голосом:

— Конфиденциально скажу вам, что генерал-майор Белькович сейчас уехал, а заменять его будет полковник Смысловский. И вот он — может отпустить, на свой риск. Я пожалуй... — подумал, — обращусь к нему. Или в удобный момент позову вас.

Саня обрадовался, будто в отпуск его самого:

— Вот спасибо, вот выручили, господин полковник!

Безулыбчивый подполковник всем неотклонным видом выражал, что на службе «спасиба» не бывает.

Ушли с ординарцем, ещё долго — по ходам сообщения.

Поработали как будто и ничего. Всей боевой частью занимался Бойе сам. А выбудь завтра он из строя — кто поведёт в следующие часы главную стрельбу? Подполковник и готовил к этому Лаженицына, впрочем не объявляя ему о том. Ни начальника связи, ни начальника разведки, по штату теперь обязательных, в их батарею тоже недостало, заменены были унтерами. И не хватало по всей Гренадерской бригаде опытных фейерверкеров, нераспорядительностью первого периода войны натисканных даже и в пехоту и там перебитых.

На нынешнем участке, под Крошином, держали немцы против Гренадерского корпуса — всего дивизию, и то ландверную, второго разряда, — а не ощущали гренадеры своего перевеса, способности двинуть тараном. Не ландверисты, конечно, держали

их, но многие средства технического перевеса немцев — тяжёлая артиллерия, избыток снарядов, пристрелка с аэропланной коррекцией и поражающие русских солдат новинки: сперва бомбомёты, потом миномёты, блиндированные автомобили, газовые атаки, теперь траншейные пушки и огнемёты. А на днях 22-й ландверный полк, стоявший как раз вот здесь, левой Дубровны, был обнаружен... в Румынии! Там обнаружен, а его исчезновение отсюда гренадеры пропустили... Показывал неприятель, во что он ставит русских grenадеров: против корпуса и польской стрелковой бригады оставил тонкой цепочкой ландверную дивизию без полка. Это оскорбление Бойе воспринимал как собственное, ему лично.

Но так заклинилась позиционная война, что и перевеса использовать было нельзя: на целых армейских участках всё связалось и окостенело. Так усложнились, возвысились все решения войны, что нельзя было и пошевелинуться меньше, чем целым фронтом. Оставались — поиски и демонстрации.

Такой поиск был устроен трое суток назад левее их, на участке 2-й Гренадерской дивизии. После полуночи пустили на неприятеля газ, рассчитывая, что ветер достаточно устойчиво дует восточными румбами от Крошина и спящие в окопах немцы будут все потравлены. Но когда после рассеяния газа и при артиллерийском сопровождении батальон Самогитского полка подошёл к немецкой проволоке — он был внезапно освещён прожекторами, шквально обстрелян и отошёл как попало, потеряв 55 grenадеров и двух офицеров.

Да весь их Гренадерский корпус с более чем столетней историей, участник Бородинского боя и взятия Парижа, давно ничем не подкреплял свою старую славу. И сегодня репутация корпуса не стояла высоко, мало кто мог истолковать, какое превосходство или какую издавнюю особенность выражали жёлтые солдатские погоны, жёлтые просветы на офицерских, а на пуговицах — граната с пламенем. Корпус не отличился в турецкой войне, вовсе не участвовал в маньчжурской, а Ростовский полк даже был причастен к московскому бунту 1905 года, хотя 1-я артиллерийская бригада, напротив, обстреливала восставших. Корпус многие годы стоял в Москве, оттого офицерский состав пополнялся и лучшими выпускниками училищ, и пустыми баловнями с протекциями, и ещё давал промежуточное, проходное назначение офицерам гвардии и генштабистам, кто не успевал и не намеревался сра-

стись с гренадерской дивизией. Менялся, дёргался и характер командования — то ведение непростительно мягкое, то непомерно грубое, как у Мрозовского, не отличавшего превосходительное от самовластного, и это лишало постоянных офицеров уверенности, вынуждало опасаться начальства более, чем боевого неуспеха. Корпусу достались тяжёлые бои в 14-м и 15-м годах, и лишь единственный стал победой — под Тарнавкой, остальные — по преимуществу неудачны, иногда с крупными поражениями, как под Гораем и на Висле. Если же полки одерживали свои отдельные победы, то происходило это обычно в переподчинении, под чужим командованием. У начальника 1-й Гренадерской дивизии Постовского побед вообще не бывало. Корпусной командир Мрозовский растеривал гренадеров в злосчастных сражениях, расстроил полковые и батарейные хозяйства, конский состав — и с повышением перешёл командовать Московским военным округом. (Не подвержена осуждению августейшая воля Верховного вождя российской армии.) За два года войны Гренадерский корпус пробыл в резерве всего пять дней, вот уже больше года стоял в болотистых низинах, непрерывно ведя сапёрные работы, переуступал изрытые участки соседям, и снова копал и копал еженощно, чтобы сблизиться с неприятелем на штурмовую дистанцию.

За эти годы коренным гренадерам, как Бойе, не оставлено было первой офицерской радости — гордиться своею частью. Преграждено было им прошелестить старыми знаменами, а оставалось лишь свою фигуру держать молодечески да повседневным корпением как-то подтаскивать всех этих подмененных офицеров и солдатиков под ветшающую сень XIX века.

Тем временем на наблюдательном пункте малословного, тихого Занигатдинова сменил Пенхержевский и с сильным польским акцентом проверял линии. А сменный наблюдатель, подпрапорщик, ещё не пришёл. И хотя не было у подпоручика обязанности ожидать его, но этикет требовал ещё остаться и после командира батареи. Он снова подошёл к обзорной щели, стоял, наблюдал, иногда записывал:

«15.10 — Пулемётная щель № 2 оживлённой других. Била по нашим передвижениям в 3-м батальоне.

15.36 — Густой миномётный обстрел из-за Торчицких высот по окопам 1-го батальона. Мин до сорока».

Стояли миномёты как раз в том райском месте, за Торчицким обрывом...

Хороший день прошёл. Довольное состояние от удачной работы, отличие перед командиром и теперь надежда с Благодарёвым соединились в Сане. Хорошо.

Хорошо, переключался он по брустверу долгий зазубренный осколок, влетевший к ним сегодня в щель при утренних близких разрывах.

Хорошо-хорошо, а не по себе. Отличился — а неловкость: лучше других соображает — вот и будут его выдвигать. На это.

Да такую миллионную войну кто бы перенёс, если б каждого надо было убивать лицом к лицу, видя? Например, из своего револьвера Саня никогда в человека не стрелял.

А за осмысленными расчётами, углами, дальностями, транспортиром, ощущаешь сторонность. Безвинность.

Наблюдать было всё хуже, видимость быстро сокращалась. Уже не видно было тополевой придорожной обсадки к Стволовицам. И даже близкое кладбище затягивалось влажной пеленой.

А хорошего настроения не осталось. И чем он сегодня увлётся? Отчего так был возбуждён? Как холодным осенним помелом выметало из груди.

В такую пасмурность точнее наблюдаются вспышки орудий и опасней стрелять самим: становится видно, как пламя вылизывает из ствола, выдаёт.

Выметало из груди как мокрые старые листья, и так пусто-пусто становилось. Стоял у щели, рассматривал сегодняшнего себя деятельного. И не узнавал.

Всё меньше виделось, всё короче. Затихали стрельба и движение с обеих сторон, всех давила мокрая предвечерняя мгла.

Одиноко — и виновно. Безвинно — и виновно. И никому этого не расскажешь.

Закрапал и дождь. Понемногу, но не переставая. В блиндаже наблюдательного стало ещё сырей и прознобистей. Сегодня не сегодня, а начиналась третья военная зима, и даже офицеру трудно было не чувствовать угнетённости.

Бинокль повесив на шею, под шинель, нахлобучив отлогу плаща поверх фуражки, побрёл и подпоручик на батарею. В глинистом ходе уже было скользко, и он отирался о мокреющие стен-

ки — об одну противогазную сумкой, о другую — крупной кобурой ненужного револьвера.

По брезенту, по голове, слышался ровный стук капель.

А довольно уже было серо, чтобы пойти к Дряговцу и открытым местом. Саня сильно подпрыгнул, навис на край траншеи, измазавшись о глиняную стенку, вылез на траву — и бодро пошёл теперь напрямик, скорей в свою тёплую землянку, да обсушиться, да поесть горячего. Посвободнело, что не месил унизительно грязь по норе, а шёл, как отпущено человеку.

К чему он мечтал в жизни приложиться — к словесности, к философии — не видно, будет ли когда. Вот и много досужего времени, хоть и стихи пиши — а ведь бросил, не пишется. А чем он вложится в общий ход событий — это вот такими стрелебными днями, развороченными проволочными заграждениями, подавленными пулемётами, посеченными перебегающими фигурками. И многими-многими донесеньями, отчётами, кроками, написанными, нарисованными его рукой.

И так же у его солдат — Благодарёва, Занигатдинова, Жгря, Хомуёвникова, кроме хорошего или плохого обращения с оружием, амуницией и лошадьми, смётки по службе и выполнения устава — у каждого была ведь ещё своя долгая жизнь, своя любимая местность, своя любимая или нелюбимая жена; и ещё по нескольку детей; потом у каждого хозяйство или ремесло, и много соображений вокруг того и свои замыслы; и кони — собственные, не с казённою биркой в хвосте, или охота, рыболовство, или сад; и всем этим, а не величием России и не враждою к Вильгельму жил каждый из них, — и только об этом, кто внятнее, кто невнятнее, они в ночных землянках рассказывают друг другу, да и офицеру, поговори с ними ласково. В родных деревнях и местечках ещё что-то знают о них другие по их делам, но это не выходит дальше околицы. И вся подлинная суть их жизни никогда не будет никому сообщена — и как ей отозваться на движении человечества в крупных чертах? Чем же Улезько, Хомуёвников или Пенхержевский повлияют на судьбу своей страны, а то и всей Европы, — это чисткой орудийного ствола, проворностью подле пушки, с лопатой, да быстротою сращения телефонного кабеля.

Но если движение человечества не складывается из подлинной жизни людей — что тогда люди? и что — человечество?

СЖИЛСЯ С БЕДОЮ, КАК СО СВОЕЙ ГОЛОВОЮ

3

Три взводных командира жили в общей землянке, построенной в сухое тёплое время. Она нигде не мокрела, довольно глубока, так что нагибались только в двери, и была перекрыта привозными шестивершковыми сосновыми лежнями вперекрест. Стены одеты жердинником, пол настлан досками. Батарейный жестящик сколотил им печку, хваткую на дрова, с весёлой гулкой тягой. И когда натоплена, эта землянка была теплой и уютней любой комнаты. Между столбами приладились полки, забились гвозди и гвоздки, развесились шинели, шашки, револьверы, полевые сумки, фуражки, полотенца и — гитара, на которой играли, каждый по-своему, и Саня и Чернега. Маленькое окошко выходило в донце прокопа, днём бывал свет. Строганный стол на скрещенных ножках давал простору и для еды, и для офицерских занятий, хотя теснило одно другое. Походных раскладных офицерских кроватей не было ни у кого из троих, а при откопе оставлена одна высокая и длинная земляная лежанка Устимовича, «купеческая» называли её, да к другой стене пристроены две жердяных койки друг над другом: не то чтоб не было места поставить третью на полу, но придумал так Чернега, потому что любил спать и сидеть где-нибудь повыше, как на печи или полатях. Хотя он был старше Сани на шесть лет, а плотней и тяжелей намного, он легко взбирался наверх двумя взмахами и оттуда шлёпался прыжком. Уж теперь и вообразить эту землянку нельзя было иначе, как с Чернегою, зубоскалящим сверху вниз. Света настольной лампы туда не хватало читать, да Чернега и смаку не имел читать.

Так и сейчас, когда Саня, промоклый, пригнулся в двери и вошёл в землянку (вестовой Цыж, подкарауля подпоручика, уже кинулся к своей землянке разогревать обед), Терентий лежал наверху,

считая брёвна в потолке. Перевалился на бок и рассматривал пришедшего, как он мокрое, тяжёлое снимал с себя и развешивал.

— М-м-м, это уж такой разошёлся?

Пока Саня шёл — не замечал, а дождь-то усиливался всю дорожку. Печка не горела, но тепло в землянке.

На шаровидную голову Чернеги с толстыми щеками, малыми ушами нельзя было посмотреть и не улыбнуться:

— Уже забрался? Не рано?

— Та вот, сидит куцый и думает — куды ему хвост девать.

— И — куды ж?

— Отакой дощ? И тёмно?

— Сейчас ещё видно немного, а через полчаса в яму свалишься.

Переваленный на бок, сюда лицом, не одетый, не раздетый, уже в сорочке, но перехвачен подтяжками и в шароварах, а ноги босые:

— Не знаю. Шлёпать до Густы? Чи ни?

Одинаково было Чернеге доодеться или дораздеться. А Сане приятней, чтоб он остался, — Устимович на дежурстве, почему-то не хотелось одному. Но посоветовал, как считал для приятеля лучше:

— Пока ещё видно — шлёпай быстро.

— А назад? — надул Чернега губы, пыхтел, как трубач в мундштук. Так упирался, как будто не сметана ждала там его сырную голову («с польской споткётся — был бы голодный!»).

Саня, уже без шинели, без ремня и в гимнастёрке, мокроватой по-за плечами, навывпуск (с Георгием, так и попадает сам в косое зрение), с натягом стянул мокрые сапоги, надел чувяки из обрезанных валенок, была у них тут такая домашняя сменная обувь, на одного Устимовича не налезала, и стал прохаживаться по нешаткому неструганому полу. По дурной погоде — да пошли Бог спокойный вечер и спокойную ночь. Бывает тут, в землянке, прикрыто и покойно, как дома не всегда.

— Да! — вспомнил. — Тут кидала, наверно, шестидюймовая, — близко?

— Прямо по второй батарее! — пружкал губами Чернега, безпечно.

— А я только от Дубровны отходил — вдруг, слышу, бьют, десять снарядов — и за Дряговец. Сказать, что ответили нам, — так будто не нам. А где-то близко.

— По второй батарее, — кивал Чернега. — В одном орудии щит погнуло, колесо снесло. Троиخ ранило. А лошадки далеко стоят, ничего.

— А кто видел?

— Сам ходил.

— Да ты ж дома сидел?

— Так тут близко, сбегал.

Чернега б — да на месте усидел, полверсты сбегать-посмотреть! Толстота ничуть не мешала ему прыгать и бегать, толстота его вся была силовая.

— Чевердина не знаешь там такого, хоботного? Длинного, с бородой мочалистой? Тагильский.

— Да, кажется. Да.

— В живот его. Везти боятся, не довезут.

Опять холодным помелом, из груди.

Вот как. Сушись, уютно, распоясался, чувяки. А солдат рядом Богу душу отдаёт. Да уж привыкнуть бы, кинет ночью и на нас шестидюймовый — не помогут брёвна наката.

А Цыж — проворный, заботливый, как дядька, несёт духовитые щи так щи!

— Просто запахом сыт! Ну и Цыж!

Да и хлеба мягкий сукрой, поперёк всей хлебины отрезанный, это же надо так ещё отрезать, долгим овалом, чтоб от края до края сколько раз откусить, жевнуть, пока добраться. И ещё отдельно — луковичка сырая.

— Ах и Цыж! — усаживался Саня за стол и ложку скорей окунал.

Уже в летах, пятеро внуков, подвижный хлопотной Цыж столовал всех троих взводных. Это Саня и предложил, чтоб не ухаживал за каждым отдельный денщик, стеснительно, а один бы всех кормил, других примкнули к строевому делу.

Но запах достигал наверх пуще низового. И Чернега, избочась на верхней койке, втянул широким носом:

— Цыж! А — щей не осталось?

— Эх, вашбродь, — сожалел небритый Цыж, будто самому не хватило, — последние вычерпал.

Откинулся Чернега на подушку. Саня хоть очень раззарился на щи, а позвал:

— Иди, хлебни, уступлю.

— Не надо, — сказал Чернега в потолок, — ты сегодня назяб.

— Да иди, ладно!

— А греча — есть лишняя, вашбродь. Сейчас гречу принесу, удобренная!

— Так давай, не томи! — скомандовал Чернега.

Уковылял Цыж поспешной развалочкой.

Чернега постучал по барабану живота:

— Два часа как пообедал, а из-за тебя вот... У Густы небось и курёнок припасён. Пойти, что ли?

За позициями невыселенные деревни давно привыкли к войне, жили своей обыденной жизнью, кроме обычных крестьянских заработков открыт им был извоз для армии, плотникам — укреплять ходы сообщений, парнишкам и девкам по 16 лет — копать вторые линии окопов, всем платили и ещё всех кормили с солдатских кухонь. И мужики, кому подходил призыв, некоторые как-то принимаемы были в ближние части, и в их батарею тоже. И во многих избах стояли военные постояльцы, порой и на поле выходили за хозяев, и бельё хозяйкам отдавая — не так стирать, как в подарок: армия богатая, всё новое выдавала. И тайно ещё укрепляя и расширяя эту и без того широкую семью, иные удалыцы, как Чернега, завели в деревнях полюбовниц и хаживали к ним.

Свесил Чернега в шароварах босые ноги с короткими крупноуставными пальцами и шевелил ими вопросительно:

— Пойти, что ли?... Хотя на два дня весёлая будет. А то заскулит.

— Ну, ты ж не скулишь, как-то живёшь.

Когда Чернега на своей койке сидел, голова его, мягко облепленная недыбленными волосами, была под самым накатом, фуражки надеть уже нельзя, тем более рук поднять. Так он раскинул их, как растягивая широченную гармонь, и затрясся мясистым телом под сорочкой:

— Ну, сравнил! Ну ты, Санюха, скажешь! Ну, уж чего не знаешь — бы не лез! Да у баб рази — как у нас? А отчего, ты думаешь, они весёлые или хмурые? да всё от этого, было или не было.

Мало что — сверху нависал, но — силища, но — смех уверенный, спорить с Чернегаю было не Сане. В студенчестве это всё понималось настолько тоньше, а в армии, в постоянно-плотной мужской среде, в казарменных вечерних разговорах — сплошь все говорили так, или не говорили вслух другого. Поражён был, обижен за женщин Саня, но спорить — немел, какой у него был опыт?

— Ну, Терентий, не только ж от этого, — всё же заикнулся.

— А я тебе говорю — только от этого! — крикнул Терентий и схлопнул звонко ладонями. — Другой причины — не бывает! Кажется, замучилась, ног не таскает, а только пощекоти, а?!.. Иногда и подумаешь, правда: что-то у неё кручина на сердце? Може, горе какое? А повалил, отлежалась, отряхнулась — и такая сразу весёлая, бойкая к печке побежала пышки печь! — хохотал Чернега. — Простофиля ты, Санька. Да впрочем, молод. Ещё насмотришься!

И столько раз уж он Саню вокруг этого на смех поднимал. Но всем саниным представлениям о жизни и человеке претил такой низкий взгляд. Не могло бы так быть! Никак этого быть не могло!

А Цыж нёс гречневую кашу: подпоручику — с обеденной порцией мяса, прапорщику — просто так, но торчал из миски черенок деревянной ложки стоймя.

— Сюда, сюда! — брал Чернега миску сверху, не спускаясь. И вот уже широкую деревянную ложку вваливал в рот, нисколько этим не раздирая губ. А лбом чуть не касался верхних брёвен. — Ничего-о, ничего-о... А у Густы б ещё и молочком залил.

Со вкусом кашу убирал. Присмотрелся, как Цыж наследил на полу мокредью и шевырюжками глины:

— Эт' такая слякоть? О здесь, у нас? Не, не пойду. Дуракив нэма.

Миску сбросил Цыжу, ноги опять вскинул:

— Отчего солдат гладок? — поел да и набок.

Перекатился на спину. Смотрел в брёвна.

И вслух размышлял:

— А думаешь, Григорий чем возвысился? Да слухала б она его иначе? Давно б уже в Сибирь шибанула. Значит, мужик справный. Бабе чуть послабься — сразу она брыкается.

Всё было Чернеге ясно, и возражать ему бесполезно. В том чае и состоял их разговор с Саней, что спорить — хоть и не начинай.

А — дружили.

Саня кончил обедать, сидел над опустевшим столом, рассеянно собирал и в рот закидывал последние хлебные крошки:

— Да-а... Роковые Гришки на Россию. Как нам худо, так и Гришка появляется. То Отрепьев, то...

Отпыхнулся Чернега:

— Да при чём тут Гришка? Войну им — Гришка что ль начал? Самих в сортир потянуло. Вот и за...лись.

Но всё-таки... всё-таки Сербия?.. Бельгия?.. И откуда-то же брались эти фотографии и рассказы о зверствах немцев, как нашим пленным резали уши и носы? (Правда, на их участке никогда ничего подобного не бывало.) А Чернега, по своей силе, подвижности и приспособленности к веселью воюя легче других, однако понимал эту войну куда мрачнее Сани — лишь как всеобщую затянувшуюся чуму, у которой ни цели, ни смысла быть не может.

Саня поднялся от стола, Терентий вспомнил:

— Э-э, ты отдыхать? Подожди, голубчик, ещё поработай!

— А что?

— А вон, приказы лежат, — кивнул на кровать Устимовича. Саня и правда видел ворох, не обратил внимания. — Уже все прочли, ты последний. Читай, читай и расписывайся. Барон заходил, взять хотел — я для тебя задержал, до утра.

«Барон» был барон Рокоссовский, старший офицер 2-й батареи. Этот «барон» почему-то Чернеге особенно приходился. Баронов, графов, князей он сплошь не любил, заранее материл, но что-то чудно и гордо ему было, что вот, узнав себя офицером, стал почти наравне с *бароном*, в одном офицерском собрании. И не звал его никогда ни по фамилии, ни капитаном, а всегда — барон. Кадровые между собой чинились, гордились, сравнивались: мол, Михайловское училище старше Константиновского, — а мы вот, судженско-сумские, с вашим бароном рядом, и хоть очи ваши повылазьте!

Подошёл Саня к широкой кровати Устимовича, охватил двумя руками эту россыпь подшивок, подколок, скрепок, на белой, бурой, розовой бумаге, то в ширину, то в длину и с подгибами, исполненную многими писарскими почерками, разными пишущими машинками, лентой фиолетовой и чёрной, — о, с каким усердием это всё составлялось! Сколько же тут было читать! если подряд и подробно — полнóчи верных. Да, вот это равняло позиционное стояние с жизнью тыла. Когда грозно двигался фронт и столбы пожаров стояли в небо, тогда почему-то не писали и к сведению не приносили этих несчётных приказов и распоряжений, бурная подвижная война текла и без них. Но едва она замедлялась, становилась легче и могла бы дать передых, покой, — как бить начинала эта прорва приказов и с каждым месяцем неподвижной войны всё увеличивалась. Много писанья требовали с офицеров, но и наверху не ленились! Из боязни же как-нибудь при случае не оправдаться документами войска подолгу не сдавали и не уничтожали старых дел, а все эти кипы таскали, возили с собою.

Однако, делать нечего, просмотреть и что-то в голове иметь надо, не то завтра же и ошибёшься.

Тут были приказы по Западному фронту, по Второй армии, по Гренадерскому корпусу, по 1-й Гренадерской бригаде — и только по их дивизиону приказания, к счастью, отдавались не письменно, хотя и была в дивизионе своя пишущая машинка и без дела тоже не стояла, все журналы боевых действий перепечатывались на ней.

На чистый конец стола переложил Саня этот ворох, туда подвинул керосиновую лампу и стал смотреть подряд, какая бумажка попадалась сверху: приказы на расходование сумм... Казначеем бригады титулярному советнику... вычеты с офицерских чинов на офицерскую библиотеку... в пользу семей убитых и раненых солдат... из офицерского заёмного капитала... из суммы бригадного собрания... Деньги на покупку богослужебных книг дивизионному мулле... Поименованным писарям дозволяется держать экзамен на право удостоения их к...

Как ни бегло, как ни с досадой, но только глазами пробежать — не меньше тут двух часов. А совсем не этого хотелось. Прильнувшая холодная полоска тоски требовала чего-то чистого, на чём душа успокаивается.

...Фельдшер имярек командирится в Несвиж за медикаментами... в Минск за покупкою керосина... Младший фейерверкер 5-й батареи вступил в законный брак с крестьянской девицей... внесли в его служебную книжку... Прапорщику такому-то выдать пособие в размере 4-месячного оклада на покупку упряжной лошади и экипажа...

— Да ты чего ж про себя, ты вслух читай!

— Зачем вслух?

— А я — плохо читал, я ещё послушаю.

— Терентий, это долго...

— А куда тебе торопиться?

— Да тебе ж идти надо...

— Да я, может, и не пойду. Читай! — Как будто книгу приключений или любовную историю ожидая, удобно устроился Чернега на боку, лицом к Сане, голова шаровая к подушке. — Читай!

Не мог Саня отказать... Сколько глаза просматривали и сколько язык выборматывал вслух, пропуская, пропуская...

— ...Прибавочное жалованье за георгиевскую медаль... Повозка для противогазного имущества... Согласно приказа военно-

го министра №... нижеследующих подпрапорщиков допустить к экзамену на прапорщиков...

— Так-то так, — возразил Чернега. — А всё же *хвит*-фебелем лучше. Власти больше. — (А Саня пока два приказа просмотрел про себя.) — Зато на прапорщиках армия держится... Ну, чего ж перестал?

— ...с корпусного вещевого склада в Минске офицерские сапоги отпускаются по 16 р. 25 к...

— Хо-го! Кусаются. А купить надо, мои худоваты уже.

— С ...числа начать выдачу нижним чинам ватных шаровар, телогреек, бушлатов, полушубков, байковых портянок...

— Идэ лютый, пытае — чи обутый.

— ...по провиантскому, приварочному, чайному, табачному, мыльному довольствию... Ввиду сокращения производства коровьего масла в Империи, с 1 октября сего года заменить 50% коровьего масла растительным... С 15 октября нижним чинам сахара в натуре давать только 12 золотников, а 6 золотников заменять деньгами...

— Да-а-а... В Четырнадцатом году валили в день по фунту мяса, хоть брюхо лопни, да четверть фунта сала, широко жили, собакам кидали. Теперь бы тем салом кашку заправлять.

Цыж это слышал, медный чайник внося, ещё пар из носика:

— Ничего, вашбродь, грешно жаловаться. Полфунта мяса и теперь есть. И фунт сала на неделю.

Цыж незаметно делал различие, что настоящие офицеры только с подпоручика, их называл «вашблагородь», а прапорщиков — «вашбродь». Но так это быстро языком, ухватить некогда.

Налил густо заварного да опять же пахучего в подпоручикову глиняную кружку. Заваривал Цыж по два раза в день, оттого всегда духовито.

А сахар у господ офицеров — в сахарнице.

И тарелки убирая, и со стола вытирая:

— Что ещё, вашблагородь, прикажете?

— Мёду жбан! — протрубил Чернега.

А Цыж, уже с пепелиной в волосах, улыбаясь, тряпку белую — на рукав, как полотенце трактирный половой:

— Так что, рой отлетел, вашбродь. Мёд — на тот год.

Этим тоже владел Цыж — что война любит весёлый дух. Знал он, что у господ офицеров всегда заботы и неприятности. Может,

и своих у него доставало, а покушать подать не просто надо, но весело: как будто домой пришли, к жёнке.

А стеснение — постоянное, что тебе услуживает годный тебе в отцы. Привыкнуть к этому невозможно. И, к печке покосясь — приготовлено всё и там аккуратно, улыбнулся подпоручик:

— Ничего больше не надо, иди ложись. Да, только вот что: найди Благодарёва и скажи — пусть он ко мне придёт... ну, через полчаса.

На очищенном, протёртом столе разложась теперь пошире, читал дальше. Тут шла пачка приказов по цынге. Цынга схватила бригаду в середине лета: хлеба, каш, мяса и рыбы вдосталь, но ни зелени, ни молодого картофеля, и не закупить в соседних сёлах, а привозить самим из Империи запрещено распоряжением Главногокомандующего. Да не только из-за пищи, но от постоянных ночных работ весны и лета, от недостатка отдыха разразилась цынга внезапно, и болели и сдавали многие, и не так быстро было придумано, разрешено и устроено: отбирать слабосильных и предрасположенных, помещать в санатории Земсоюза, где ждал их полный отдых и зелень; частям добывать картофель, капусту и бураки собственным попечением, даже и внутри Империи. И вот уже цынга отошла, а запоздалые приказы настаивали и настаивали: сколько раз в день и как именно проветривать землянки; добавлять окна, строить нары, на земле солдатам спать не давать или прокладывать ветки под матами; и как кого когда отводить на отдых...

— Голосом, голосом! — требовал неуёмный Чернега.

— Я думал, ты спишь. А может чайку?

— Не, без мёда не буду.

— ...Недоуздки, уздечки, попоны, скребницы, щётки, овсяные торбы, лошадиные противогазы... Коня Шарлатана, срок службы 1909, переименовываю в казённо-офицерского, а казённо-офицерскую кобылу Шелкунью — в строевую для нижних чинов...

— Шелкунья, подожди, это гнедо-лысеньякая, на передней правой по щётку? Хороша ведь ещё! Меняет, лучше нашёл?

Уж своего-то дивизиона коней Чернега всех знал в лицо и наперечёт, но и из других дивизионов многих. Тут дальше длинное шло перечисление о перемещении лошадей из разряда в разряд — офицерских собственных, строевых фейерверкских, верховых артиллерийских, упряжных артиллерийских, обозных — Шороха, Шведа, Шуга, Шатобриана, Штопора, Шурина, Шмеля, Шансонет-

ку, Шпиона, Шанхая, Щедрого, и обо всех передаваемых шла подробная опись по статьям, мастям, лысинам, звёздочкам, особым приметам, и всё это подписывал лично командир бригады, читая ли, не читая, а Саня о чужих батареях и дивизионах пропускал бы, но Чернега оживился, свесил как плеть руку толстую, короткую, помахивал, требовал, хвалил и бранил:

— Да разве в ремонтных депо это теперь соблюдают — по разрядам?! Рассылают как-нибудь, лишь бы счётом. Пока на месте стоим — ничего, а ну-ка завтра *начнись*? Каждая лошадь должна своему месту соответствовать!

Саня и сам любил лошадей и понимал кое-что, но не так же, как Чернега, не с такою страстью: по второму разу слушал и по каждому коню соглашался или не соглашался, видел небрежение или чьё-то жульничество.

— ...При проверке... у некоторых лошадей оба задних шипа в подкове острые, что ведёт к засечкам...

— Сволочи! Вас самих бы так подковать!

— ...Нижепоименованных собственных офицерских зачислить на казённое довольствие... Нижепоименованных уволить в первобытное состояние... Из бригадного скакового капитала в московском Купеческом банке...

Так ему влать всех лошадей перечёл и только тогда увидел:

— Да ты надо мной смеёшься, что ли? Ты главные приказы — вниз подложил?

— Так это Устимович. Как читал, так и кидал, значит, подниз.

— А ты б наоборот!

— Так он мне тоже вслух читал, я-то что?

Раздосадовался Саня. Тихий вечер, на что-то хорошее годился, а пробалтывался зря, через эту труху.

— Не, Санюха! — просил Чернега, не давал просматривать. — *Голосом читай! Голосом!*

Наверняка хитрил Чернега: два раза прослушать, а самому ни разу не читать. «Я из книжек не понимаю, я только сам по себе понимаю...»

А тут-то и пошли оперативные приказы. ...В полках иметь «газовых комендантов» — специально проинструктированных офицеров.

Уже был такой у них в дивизионе, Устимович. Ему и читать.

— ...На батареях иметь таблицы переноса заградительного огня со своих участков на соседние... Командирам корпусов...

— Сла-Богу, не нам! — гулко зевнул Чернега.

— ...Избрать, на какой из позиций... представить на кальке...
В октябре усилить траншейные работы...

Какая-то шумящая пустота от прокрута всей приказной машины через твою голову. Одичание.

— ...Проволочную сеть довести до трёх-четырёх полос, каждая шириной... придать брустверам надлежащую высоту, замаскировать... Дивизионному и корпусному резервам выделять ежедневно на работы одну четверть своего состава...

— Не, не дадут покою! А цыngu — лечи!левой рукой одно, правой другое... На нежонде Польша стбе, але Россия — щегульне*.

Пяток немецких разрывов трёхдюймовых лёг не так далеко. Чуть звякнуло стекло в оконце, помигала лампа, и несколько крошек земли сыпанулось из наката.

Дальше много приказов шло о связи. ...Несмотря на запрещение, продолжают использовать голый телеграфный провод... запрещается заземление односторонней связи вблизи неприятеля...

Последние месяцы была реполошка с подслушиванием. Всё удивлялись, что немцы знают расположение и смену наших подразделений. Провели опыты с усилителем — оказывается, телефон легко перехватывается. И теперь:

— ...штабам армий выработать код слов и фраз и представить в штазап для выработки единого кода... Ну, дурачьё, зачем же *единого?*.. По Западному фронту. Сегодня, в день тезоименитства нашего Державного Вождя, Наследника Цесаревича, войска Западного фронта всеподданнейше приносят свои поздравления, возносят горячие молитвы... В ответ Его Величеству благоугодно было осчастливить меня следующей телеграммой... Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, сотнях, батареях и командах... Главзап генерал-от-инфантерии Эверт... Его же: ввиду того, что до сих пор попадают случаи назначения евреев на писарские и хозяйственные должности, а равно и в гурты скота, что безусловно недопустимо... немедленно убрать и впредь не назначать...

— Уб-рать хаимов! — подтвердил Чернега плетью-рукой наотмашь. — Так и липнут в нестроевые, как мухи к печке. Где лоб подставлять — это не их!

Остановился Саня читать, поднял ясные глаза:

* На беспорядке Польша стоит, но Россия — еще больше.

— Но, Терентий, это же — развитые ребята. Есть студенты, у меня Бару — университет кончил. Из них каждый третий не то что писарем, мог бы и офицером быть.

— Да ты ополоумел — офицером?! — перекатился Чернега на самый край койки, грудью на последнюю жердь, вот грохнется на пол! — Да куда ж нас такие офицеры заведут? Они накомандуют!

— Ну, смотря какие. Есть, говорят, и георгиевские кавалеры.

— Вот разве что — говорят! Где-то есть, кто-то видел! Да сам подумай — на хрена им за Россию воевать?

Просто потешался Терентий над санькиной безпонятностью — чего тут не видеть, дураку ясно:

— Да ты пусти одного, завтра их десять будет! На голову сядут! Ты ещё глупенек, с ними не жил. Это говорится — равноправие. Только мы друг друга не вытягиваем, а они — вытягивают. И из равноправия сразу будет ихо-правие! Да ты завтра надень погоны на твоего Бейнаровича? — послезавтра сам из батареи сбежишь!

На Бейнаровича? Ну, Бейнаровича, с его черно-горящими глазами, всегда злыми, может быть, это Чернега подметил. Но — Бару? Образованный, воспитанный, сдержанный. Под его ироничным взглядом Саня всегда неловко: как ему приказывать, каким голосом, если он университет кончил, а Саня не кончил?

— Страна — наша или ихняя? — покачивал Чернега свешенной рукой-молотилкой. — У вас там, в степях, мабуть их нет? А пожил бы ты в Харьковской губернии, я б тебя тогда послушал.

Но хотя Саня и тихий был, а не поддавался легко. Не сразу скажет, и с улыбкой ласковой, а на своём:

— Так если страна не ихняя — зачем тогда мы их вообще в армию берём? Это несправедливо. Тогда и в армию не брать.

— Да хоть и не брать! — подарил Чернега. — Хоть и не брать, много не потеряем. Но — жители наши! живут-то у нас! Их не брать — другим обида, тогда и никого не брать, только кацапов да хохлов? Так оно и было поначалу — сартов не брали, кавказцев... Финнов и сейчас. Знаешь, сколько нашего брата перебили? В одной Восточной Пруссии?

Терентий только что вниз не соскакивал, а изъёрзался на своём малом верхнем просторе. Саня, хоть у него место было встать и пройтись, смиренно сидел, облокотясь о стол, локтем поверх всех приказов, пальцы вроссыпь по лбу держа у пшеничных волос. Размышлял:

— Вот видишь, как получается: нагнетение взаимного недоверия. Государство не хочет считать евреев настоящими гражданами, подозревая, что они и сами себя не считают. А евреи не хотят искренно защищать эту страну, подозревая, что здесь всё равно благодарности не заслужишь. Какой же выход? Кому же начинать?

— Да ты сам не из них ли, едритская сила? — хохотал Чернега, откатясь на спину и руки разводя гармошкой. — Что ты так заботишься, кому начинать? Хоть бы и никому. Приказ ясный: гнать жидов из штабов! А почему они во всех штабах засели, это справедливо? Это — не обидно? Говорю тебе: ты ещё глупой, с ними не жил, не знаешь. Это народ такой особенный, сцепленный, пролазчивый. Это не зря, что они Христа распяли.

Саня отнял голову от руки, и навех строго:

— Терентий, этим не шути, зря не кидайся. А думаешь — мы бы не распяли? Если б Он не из Назарета, а из Суздаля пришёл, к нам первым, — мы б, русские, Его не распяли?

Перед глубокой серьёзностью своего приятеля, в редкие минуты, старший перед младшим, тишел. Ещё с последней шуткой в голосе отговаривался:

— Мы б? Не. Мы б — не-е...

Да вопрос-то не сегодняшний, чего и цепляться.

А Саня — как о сегодняшнем, а Саня если взялся, мягкий-мягкий, а не свернёшь, хоть ему чурбаки на голове коли:

— Да л ю б о й народ отверг бы и предал Его! — понимаешь? Любой! — И даже дрогнул. — Это — в замысле. Невместимо это никому: пришёл — и прямо говорит, что он — от Бога, что он — сын Божий и принёс нам Божью волю! Кто это перенесёт? Как не побить? Как не распять? И за меньшее побивали. Нестерпимо человечеству принять откровение прямо от Бога. Надо ему долго-долго ползти и тыкаться, чтобы — из своего опыта будто.

4

Постучались:

— Дозвольте войти, вашбродь?

Голос — сдерживаемой силы, чтоб не слишком раздаться. А и через дверь узнаешь:

— Зайди, зайди, Благодарёв!

Нагибая голову и плечи даже, осторожно вошёл дюжий Благодарёв, осторожно дверь прикрыл, чтоб не стукнуть. Тогда только распрямился, и тоже не резко, не по-строевому, а всё ж от порядка без надобности не отходя, — руку к фуражке:

— По вашему вызову, ваше благородие.

Тут ему от землянки до землянки переступить пятьдесят шагов, без шинели, прикраплен дождиком по заношенным фейерверкским погонам с жёлтой каймой. Может, уже и ложился, а явился не распустёхой — пояс крепко схвачен, и на нём — кривой бебут, оружие батарейца, а темляк из белой кожи, фейерверкский. Не хмур, а без резвости: вызвали — пришёл, вот он, нате, приказывайте, хоть и вечер тёмный, да служба военная.

А у подпоручика защемила мысль, не договоренная Чернеге, защемила, помешала всякой другой — и сама забылась, ушла. Из-за этого — рассеянно, не переведясь:

— Так, Арсений... так... — и заметив, что нехорошо получилось, исправить надо, — присядь! садись, — к столу показал.

Благодарёв же понял, что утечи не будет — садись, мол, разговор не короткий, с порога обрадовать тебя нечем. Снял фуражку. (А волосы — уже и подлинней, в надежде домой.)

Он так и располагал, что не обрадуют, а всё-таки и не без надеи шёл: вдруг для того?.. Хотя, по всему солдатскому опыту: начальство, замок запря, отпирать не станет, не для того запирался. И как раз сейчас у себя в землянке около копчушки-гасника, на фанерную дощечку положив готовый складной листок для письма, дописывал на одной стороне, где место осталось, что, видно, скоро не приедет, как ему обещали. А места там — не разгонишься, на таком листике. Как он для заклейки сложен, на передней стороне зелёно-бурое поле, и по нему в атаку несётся страшная конница, выхватя сабли, это ужась на дороге ей попасться, да такие, сла-Богу, нигде теперь не скачут, но в деревне посмотрят — со страху затрясутся. Марка же — не клеится, с позиций значит. А на задней стороне — голубочки летят с письмами в клювах. И писать тоже-ть негде. Только мелко-мелко припечатано, у кого глаза хорошие: «дозволено военною цензурой». А ежели развернуть теперь — так две стороны и внутри. Но влеве опять же всё готово — красивыми такими синими буквами, как лучший писарь не напишет: «Дорогие и любезные мои родители! В первых строках моего письма спешу уведомить вас, что я по милости Всевыш-

него жив и здоров, чего и вам от глубины души желаю. И сообщаю я вам, что службой я доволен и начальство у меня хорошее. Так что обо мне не печальтесь и не кручиньтесь». И — всё. И хочешь — сразу приветы передавай и на том подписывайся, готово письмо. Но вправе есть ещё местечко для нескольких слов, и можешь... А что можешь? Мол, жёнке моей Катерине велю свёкра и свекровь слушаться и маленьких блюсти, и ждать меня с надеждой. Хоть бы и место было, а законы, по которым письма пишутся, не позволяют прямо открыто Катёне писать как главному человеку. Что завечаешь — о том не пишет никто, срам. Не дозволены в письмах пустые ласковые слова, не то что потаённые, какие только на ухо шепчутся, — письмо должно голосом читаться родственникам и соседям, кто ни придёт. И пожалиться неловко, что вот не допускают в отпуск заслуженный, эка тошно и темно, а весной война разгорится — там уж не поездишь. Тут Цыж и забеги:

— Сенька! Чой-то тебя подпоручик кличет. Через полчаса — к ему. И — не ругать, не похоже.

И занежился Сенька: а вдруг? а может, чего переменялось? Уж в таку тихую, тёмную ночь по какой боевой надобности стал бы подпоручик его вызывать — да за полчаса?

Ночи теперь холодные, и спит Катёна в избе со всеми, да и к дитю же вставать. А вдруг увидел её поздней осенью в холодных снях спящую по-молодому, скрытую полушубком с головой, она под полушубок спрячется — не найдёшь. И — шаг бы к ней! шаг!

Да кто-нибудь там ли и не шагает? Каково бабёнышке-ядрышке столько вылежать, высидеть, выждать?

Не-е. Не.

Но зря позаялся надеждою. Садись, мол, будем толковать...

А подпоручик улыбался добро, заглаживал:

— Так вот, Арсений. Ты — надежды не теряй! Сегодня я с подполковником говорил. Может, что для тебя и сделаем.

Издадем! може что для тебя издадем! — так и польхнуло по нутру. Батюшки, не ослышался? Да отцы родные, вы только пустите меня, я вам потом за две пушки навоюю!

И — поплыли, поплыли шлёпистые губы Арсения.

И рад сообщить радостью и опасаясь пообещать лишнего, разъяснял подпоручик:

— Понимаешь: не наверняка. Но — надеюсь. Только: я тебе это говорю для бодрости. А ты пока — никому, не будоражь. Потому что вообще отпуска остаются запрещены.

И как все эти месяцы, когда терялся на Арсения наградный лист, никогда он не ворчал, взглядом не упрекал, не надолго затмевалось лицо его, даже старался перед подпоручиком деликатно скрыть свою обиду, — так и сейчас не благодарил никакими особыми словами, а только губ на место свесть не мог и ладони, на коленях опрокинутые, расслабились всеми пальцами.

Двух его Георгиев не было сейчас на нём, они на шинели. А что за гордость — в своё село с двумя Георгиями! С позиций — домой! — всколочивается сердце у отпускника.

Переимчивый праздник, и у всех отпускающих тоже. Подпоручик, уже отделённый от сельской жизни университетом и многими расширенными понятиями, чувствовал сам как парень, на два года моложе Благодарёва.

А старше даже и Цыжа. Подпоручику дана мудрость судить — хорош ли солдат или плох, не повысит ли его по номеру у пушки, или из бомбардиров в фейерверкеры, или перевести в разведку, читать карты. Но Благодарёва и от пушки не отнять, бойко собирает-разбирает замок, быстро устанавливает и читает прицел, панораму, понимает устройство снаряда, действие трубок, — без таких помощников во взводе офицеру жизни нет. По сегодняшнему упавшему солдатскому уровню — это ли не гренадер?

Но Чернега, босые ноги свеся, загорланил сверху:

— А за что ему отпуск? Пусть послужит! Он уже ходил.

Взводный — не свой, а испортить всякий может. Коль никому не дают. Воззрился на него Арсений и мягко, перед офицером, хоть и босоногим:

— То — за *первого*...

— А первого — за что? — строго спрашивал Чернега. — Не бось в штабе где сидел?

— Так за что бы тогда? — И знал Благодарёв, что Чернега его задирает, и всё ж тона его насмешливого не смел перенять. Не мог тот иметь силы на его отпуск, а может и заимеет.

— Да в штабах-то их и сыплют, Егориев, парень! — гудел Чернега. — Вот именно из-за Егория я и думаю — ты при штабе был. С каким-то полковником, говоришь, всё ходил. Где эт ты ходил?

— Да вы ж знаете, — улыбался Арсений.

Ещё и это «вы» ни к ляду выговаривать, офицер из фельдфебелей. Что это «вы»? — двое их, что ли? Богу и тому «ты» говорят.

— Ничего не знаю! — кричал Чернега.

— В Пруссии.

— Скажешь, в окружении, что ль?

— Так о-ахватали, — руками показал Арсений.

— Ох, врешь, вот врешь! — тараторил Чернега, болтая ногами и одобрительно крутя сырной головой на Благодарёва. — Слушай, Санюха, отдай мне его во взвод. Ни в какой ему отпуск не нужно. Я ему и тут бабу найду, полячку! — а-а! И отпускать буду с позиций без всякого подполковника. Вот только врёт — зачем? Если ты там был, в самсоновском окружении, — почему ж я тебя не видел? Где ты ходил?

— Так и я же вас не видел, — осклабился Благодарёв посмелей. — Сколько прошли — а вас не видали. Вы-то — были, что ль? Прищурился.

— Ах, ты так со мной разговариваешь! — закричал Чернега. — Да я тебя сейчас вот на гауптвахту!

Прыг! — и на пол, ногами твёрдо-пружинисто, как кот. И босые ноги сунул в старые галоши, тоже у них дежурные такие стояли, для ночного выхода, но уже размером на Устимовича.

Положил Благодарёву на плечо тяжелокрытую руку:

— Айда ко мне, соглашайся. Будем до баб вместе ходить.

Благодарёв с тем же прищуром, уже без неловкости, и из сидяча:

— А к детям?

— Фу-у, добра! Да новых сделаем, старых забудешь. Сколько у тебя?

— Двое.

— Кто да кто?

— Сын да дочь.

— Чего ж ты на девушку скостился? А я думал, ты орёл. Чего ж тебя и в отпуск? Сколько ей?

— Девять месяцев.

— Как назвал?

— Апраксией.

— Ладно, езжай, только сына заделывай. Сыновья ещё, ах, понадобятся!

На сорочку плащ надел, на голову ничего и, волоча галоши, вышел до ветру.

Напористый Чернега такое расспросил, чего свой взводный и не знал о Благодарёве. Чернега бездельник-бездельник, а всё успевает и о конях заметить, и о людях разузнать. А у Сани много времени уходит на думанье, часами он нуждается быть один и ду-

мать. И упускает. Вот стояла где-то рядом та главная жизнь Благодарёва, которая чужда его проворству у пушки и не повлияет на ход мировой истории.

— А какое село твоё?

— Каменка. По помещику — Хвощёво.

— Большое?

— Да дворов четыреста. Мужских душ боле тыщи.

— А помещик — кто?

— Давыдов, Юрий Васильич. Только он — в Тамбове, на высоте.

— На какой же?

Сделал Благодарёв думающее движение кожи по лбу:

— Земство, что ль. Да распродались нам же... Да по арендам... Да их трое братьев, пораскидались.

— Куда ж?

Фуражку опрокинутую на коленях придерживая, принимая к себе всю благоприятственность, Арсений рассказывал с полуулыбкой:

— Василь Васильич вместе с дьяконовым сыном собирали мужиков в кустах, сговаривали против царя. Ну а мужики доложили исправнику. Схватился Василь Васильич с супругой — да во Ржаксу, а там дождались третьего звонка — и в поезд перебежали. А в Тамбове, мол, Юрий Васильич к ним на вокзале вышел и уже выправленные паспорта дал. Так и умахнули. Во Францию. Рассказывают.

— Так это когда было?

— Да я ещё малой был. — Покатал морщинку по лбу. Лоб веселел, всё больше походило, что отпуск будет. — Ещё до бунтов.

Сыростью махнул из двери Чернега. Фыркал, и крутил мокрой головой, как пёс:

— Чего? Бунтовать?.. Ну, тьмища!.. Когда бунтовали?

— Да уж лет десяток. Да в Каменке самой у нас, сказать, бунта и не было. В Александровке жгли, в Пановых Кустах жгли, Анохина купца разграбили, Солововых... А у нас Василь Васильич и всегда говаривал: вы остальных кругом грабьте, а я и так отдам! А тут староста Мохов собрал сход: «Мужики! Бывает, мол, воздержимся? Чужое добро — оно выпрет в ребро». Наши и установили: воздержаться. И в Волхонщине так же, рядом.

Чернега вылез из галош босиком на пол.

— Не, не пойду расхлюпываться. Больше поспит, раньше к коловам встанет. Сань, а печку не раздуешь?

— Да тепло.

— Поди вон, выскочи. Я-то наверху не окоченею.

Толстый в груди, в поясу́, в ногах, не столько взлез, об угловатый выступ столбика, сколько вскинулся, почти вспрыгнул наверх — и плюхнулся на свою койку, так что жерди качнулись, вогнулись, а выпрямились, крепко сработано. Сверху:

— И чем кончилось?

— А — воскорях пришли казаки, плетьюми разбираться. Генералу и докладывают: в Каменке, мол, имения не тронули. Та-ак? Тогда за ухватку выдать им на водку двадцать пять рублёв. Выкатили бочку — и миром пропили. А в Фёдоровке вповалку мужиков пороли каждого. Зимой дело было, на снегу секли. А дале повёл генерал тех казаков на Туголуково. И там сильно пороли.

— В Туголукове — бунтари? — как со строем здороваясь, весело окрикнул Чернега.

— Та-ам народ дюже волю любит. Та-ам на кулачках бьются что ни воскресенье. Без краски ни один мужик с поля не уходит.

— Ладно! — оценил Чернега. — Езжай к своей бабе! — Подбил подушку кулаком. — Эх, перяшка под головашку, — повернулся на бок, спиной к землянке, одеяло натащил.

У подпоручика забота: хорошо, а если поедешь — кем тебя заменим?

Обдумали. Справится?

— Ты его подготавливай вместо себя. И сам наготове. Чуть только разрешение получим — чтоб ты в полчаса убрался. Отменят, передумают — а тебя уже нет.

— Да ваше благородие! Да вы мне середь сна бумагу суньте, я только портянки уверну и в пять минут! Все штабы стороной обойду и на станцию!

В двери угнувшись, ушёл.

Чернега уже сопел.

А на Саню опять потянуло похлаживающей тревогой.

Это бывало с ним: в разговоре, в делах что-то процарапает по сердцу, даже точно не заметишь — что, но вот всё затемняется, сникает, что казалось со смыслом — уже ни к чему. И надо — уединиться, осознать без помехи: что именно процарапало. И как исправить? И бывает, что осознанием, перетерпением, обещанием, трудом — сглаживается.

Теперь сидел за столом, окунувшись в ладони, — и выступило: Чевердин! Почему-то — Чевердин из 2-й батареи, которому Саня никакого вреда не принёс.

Ещё б на своей батарее и тотчас в ответ на его стрельбу — тогда бы понятно. А тут — не было разумной связи.

Нет, не так, а: ландверный офицер, кто команду в телефон крикнул, никогда ведь про этого Чевердина не узнает. Так, наверно, и Саня там похоронил сегодня нескольких. Для командования русской армии очень желательно, и вся военная деятельность без того теряет смысл, иначе лицемерно носить военный мундир, надо снимать и идти в арестантские роты. А всё-таки Саня не так бы задумался, если б — не Чевердин. Не задумалось, само завязалось: умрёт? не умрёт?

Сейчас в пустой холодеющей землянке, уронив глаза в ладони, Саня сидел и собирал, собирал клочки раздёрганной, рассеянной души, чтобы как-то залечиться.

Проведен был, что называется, успешный боевой день. На редкость большая и безошибочная стрельба, несомненное одобрение подполковника. И вот, офицер, кем менее всего ожидал в жизни стать, офицер, от которого ждут уверенных распоряжений (и предательство было бы их не делать, погубишь всех своих!), он — растерянным чувствовал себя, впустую многократно прокрученным, до полной потери смысла себя. Вхолостую, и хуже — во вред, прокручивалась вся его жизнь, задуманная, кажется, так светло. И худший исход был — не то, что убьют в двадцать пять лет, а что он и пятьдесят проживёт, прокручиваясь ножом в чьей-то мясорубке.

И ни сослуживцы-прапорщики, ни командир батареи, ни, домой поезжай, отец и родные братья его — не могли ему тут облегчить.

Накинув плащ и в тех же сменных спадающих галошах, Саня вышел наверх.

Мгла была полная: ночь безлунная и в тучах, и под дождём. Не ступить ни шагу, только на память да на ошупь. Год знакомое место не различить, не узнать, даже верхушек знакомых деревьев против неба — где обуглено, где сшиблено, где расщеплено.

И ракет не бросала передняя линия.

И не стреляли. И ветра не было. Только естественный, миротворный похлесток дождя — о ветви, о листья, о землю. От него — ещё глубже тишина.

И полная невидимость мира. Ни Стволовичей, ни Юшкевичей с белыми костёлами. Ни Польши. Ни России. Ни Германии. И под невидимым тучевым глубоко-тёмным небом — один человек.

Но в маленькой землянке было ненаполненно. А здесь — полнота. И простое, немудрое и нестыдное, повседневное человеческое действие. Чистосердечное, созерцательное общение с темнотой, с дождиком, со всей природой. Со всех сторон, всем телом принимаешь в себя мир.

И Саня стоял. Привыкал к темноте. Принимал на себя дождик. И звуки его о плащ.

Переступил по скользкости несколько шагов — увиделись один-два слабых отсвета из земляночных оконных углублений.

Вскинули ракету. Красную. Немцы. Из-за того, что окопы сближены, они часто ночью бросают. Наши — нет, экономят.

Взлетела ракета, распахнулась бордово-алым, каким-то худшим из красных цветов, — и от невидимого тёмного, но верного Божьего неба отрезала попыхивающий зловещий красный сегмент. И, наступая этим сегментом, посветила сюда, за три версты, на себе показав и те изломанные, покорёженные, и ещё целые деревья.

И, вздрагивая, вздрагивая, опала. Погасла.

Но в глазах сохранялась краснота и чёрточки деревьев.

И ещё стоял Саня, лицом вверх, к мерному дождику.

Становилось примирительно.

Однако слышались шаги, по-лесному ещё издали.

Мокрое шлёпанье. Хруст задетых кустов.

Кто-то шёл, шёл, а всё не подходил.

Один человек. Близо уже.

— Кто идёт? — спросил Саня не окриком часового, тот подальше стоял, у орудий, но и твёрдо, здесь не шути.

— Свои. Отец Северьян, — раздался домашний голос.

— Отец Северьян? — обрадовался. Вот не загадывал! А хорошо как. — А это — Лаженицын. Здравствуйте.

— Здравствуйте, Лаженицын, — приветливо отозвался бригадный священник.

— Вы с дороги не сбились?

— Да немного сбился.

— Идите сюда. Вот, на голос.

Шурша и шлёпая, подошёл священник совсем близко.

— Куда ж вы, отец Северьян, так поздно?

— Хочу в штаб вернуться...

— Да куда вы сейчас? В яму свалитесь. Или в лужу по колено. Не хотите ли у нас заночевать?

- Да мне утром завтра служить.
- Так это уже свет будет, другое дело. А сейчас и подстрелят вас, поди, часовые. А у нас в землянке место свободное.
- Действительно свободное? — Вот уж не военный голос, ни одной интонации, усвоенной всеми нами, другими. И — усталый.
- Действительно. Устимович на дежурстве. Дайте руку. — Взял холодную мокрую. — Идёмте. Вы издалека?
- Со второй батареи.
- Да-а! — вспомнил Саня. А он и не совместил... — Там раненые?
- Священник ногой зацепился.
- Один умер.
- Не Чевердин??
- Вы знали его?

5

Отец Северьян был в круглой суконной шапке, сером безформенном долгополом пальто, каких в гражданской жизни вообще не носят, а на позициях у священников приняты, и в сапогах. В руках — трость и малый саквояжик, с которым всюду он ходил: с принадлежностями службы.

Увидя наверху широкую спину спящего, булыжно-круглый затылок, снизил голос:

- Удобно ли? Разбудим.
- Чернегу? Да если в землянку снаряд попадёт — он не проснётся.

Ещё раз оговорился священник, что вполне бы дошёл. Но уловя, что, и правда, тут не из вежливости уговаривают, снял шапку, вовсе мокрую, — и тогда расправились чёрные вьющиеся, густые волосы. Борода у него была такая же густая, но подстриженная коротко.

Снял шапку, ещё не отдал — стал глазами искать по стенам, по верхам, по углам. И мог не найти, как часто в офицерских землянках среди многих развешанных предметов. Но вот увидел: в затемнённом месте на угловом столбе висело маленькое распятие, такое, что помещалось в карман гимнастёрки.

Это Саня и повесил. В Польше подобрал при отступлении. А то могло и не быть. Как неловко бы.

На католическое распятие перекрестясь, обернулся священник снова к Сане, отдавал и пальто. Оно всей мокротой прилипло к рясе, Саня стягивал силой.

— Э-э, да у вас и ряса мокрая. А ложитесь-ка вы сразу в постель? Небось и на ногах мокрое. А я печку протоплю, всё сразу высохнет.

— Да неудобно?..

— Да — чего же? Мы зимой по двенадцать часов и спим, на всякий случай. А вот и ваша лежанка, вот эта, полуторная.

И отец Северьян больше не чинился — признался, что правда хочется сразу лечь. Да и видно было, что он не только устал, но — в упадке, но — удручён.

Большой нагрудный крест на металлической цепочке выложил на стол — как тяжесть, ослабевшими руками. И снял с груди кожаный мешочек с дарами.

На жердяной стене, на приспособленных для того колышках, Саня распялил пошире пальто и рясу.

В нижней сорочке, очень белой, ещё чернее стала борода и привоздушенные, несминаемые волосы отца Северьяна, глубже тёмные глаза.

Сразу и лёг, полуукрывшись, приподнятый подушками. Но глаз не смежал.

А подпоручик с удовольствием растапливал. При Цыже заботы немного, всё у него заготовлено по сортам: растопка, дрова потоньше, потолще, посуше, помокрей. И подле печки — табуреточка для истопника, вполвысоты, как раз перед грудью открываешь дверку. И кочерёжка на месте. И от последней протопки зола уже и пробрана и вынесена, пылить не надо. Только возьми несколько сосновых лучинок, подожги, уставь, чтоб огонёк забирал вверх по щепистому тельцу их, — и тогда осторожно прислоняй одну сухую палочку, другую.

Потрескивало. Бралось.

В санином настроении лучшего ночного гостя и быть не могло.

Только гостю самому было не до Сани. На одеяло положенные руки не шевелились. Ослабли губы. Не двигались глаза.

Но и молчаливым своим присутствием что-то уже он принёс. Почему-то не ныло так. Наполнялось.

Потрескивало.

Через накат землянки совсем не бывает слышно дождя о землю, даже в прикошечной ямке.

И стрельбы никакой.

Не вставая с табуретки, Саня снял кружок с ведра, жестяною кружкой набрал в начищенный медный чайник воды, кочергой конфорку отодвинул, поставил чайник на прямой огонь.

Подкладывал. Живительно, бодро хватался огонь, при открытой дверце печи даже больше света давая в землянку сейчас, чем керосиновая лампа, — и света весёлого, молодого.

Чернега там у себя наверху громко храпанул — и проснулся? В компанию принимать его? Нет, лишь ворочнул своё слитное тело на другой бок, но так же звучно посапливал что в нетопленной, что в топленной.

Взялась печка — и погуживала.

Отец Северьян глубоко выдохнул. Ещё. Ещё. С выдохами облегчаясь, как бывает.

Саня не частил оглядываться. Но сбоку сверху — ощущал на себе взгляд.

Что-то — наполнилось. Слаб человек в одиночестве. Просто рядом душа — и уже насколько устойчивей.

Отец Северьян был в бригаде меньше года. Виделись, перемалвливались понемногу. В общем-то — и не знакомы. Но живостью, неутомимостью, упорством даже учиться ездить верхом — нравилось Сане, как он хочет слиться с бригадой.

И ещё раз выдыхая, уже не усталость, а страдание, священник сказал:

— Тяжко. Отпускать душу, которая в тебе и не нуждается. Когда отвечает умирающий: чем же вы меня напутствуете, когда у вас у самого благодати нет?

Ощущая, что взглядом и лицом помешает, Саня не оборачивался, в печку глядел. Действительно, служба у священника в век маловерия: с исповедью, с отпущением грехов — навязывайся, кому, может быть, совсем и не нужно. И такие слова ищи, чтоб и обряд не приунизить, и человеку бы подходило. И оттолкнут — а ты опять приступай, и всё снова выговаривай, с непотерянным чувством.

— Был Чевердин — старообрядец.

— Ах во-о-от? — только теперь понял Саня. И сразу представился ему Чевердин — высокий, с тёмно-рыжей бородой. И вдруг теперь объяснилась большая самостоятельность его взгляда — из

знающих был мужиков. И представилось, как эти глаза могли заградно отталкивать священника.

— Отказался от исповеди, от причастия. Я ему — дорогу перегораживаю...

Во-о-от что...

И что же, правда, священнику? Отступиться? — права нет. Подступиться? — права нет. Священник всегда обязан быть выше людей, откуда взять сил? А вот — и голосом убитым:

— Мусульманам — мы присылаем муллу. А старообрядцам своим, корневым, русским — никого, обойдутся. Для поповцев — один есть, на весь Западный фронт. Тело их — мы требуем через воинского начальника. Россию защищать — тут они нашего лона. А душа — не нашего.

Алый свет прыгал из неприкрытой дверцы. Саня ушёл в печные переблески, не отводясь. Отвергающих причастие — сжигать, был Софьин указ. А покорившихся причастию — сжигать вослед. Отрывали нижнюю челюсть, засовывая в глотку *истинное* причастие. И чтоб не принять кощунственного и не отдаться слабости — они сжигались сами. И свои же церковные книги мы толкали в тот же огонь — кем же и мнитья им могли, как не слугами антихристовыми? И — как через это всё теперь продрасться? кому объяснять?

Покосился. Священник закрыл веки. Был край и его сил. Хорошо, что добрёл до ночлега.

Саня подкладывал — и отодвигался от печки.

Живучи в Москве, он бывал на Рогожском. Ещё перед храмом, на переходах — густая добротность и значимость бородачей, особенно строгие брови женщин и нерассеянные отроки. Исконное обличье трёхвековой давности, уже несовременная степенность, а вместе и благодущие — к нам!.. На Троицын день в храме — белое море, как ангелами наполнено: это женщины, отдельно стоя, все сплошь — в одинаковых белых гладких платках особой серебрящейся выделки. Иконостас — без накладок, риз, завитушек, строгая коричневая единость, — одна молитва, и поёжишься перед Спасом Ярое Око. И о пеньи не скажешь, что напев красив, как у нас, — а гремят бороды в кафтанах, забирает. И два паникадила громоздных под сводами, одно лампадное, другое свечевое, и вдруг надвигается сбоку через толпу высоченная лестница, как для осады крепостей, — и по ней восходит, с земли на небо, служитель в чёрном кафтане со свечой, там крестится в высоте

и начинает одну за другой зажигать — иные лёжа и свиснув, другие — едва дотягиваясь вверх. И медленно-медленно рукой поворачивает всю махину паникадила. А в конце службы так же взлезает и гасит каждую свечу колпачком. Электричество же мгновенное не вспыхнет у них никогда. Зато в миг единый по всему храму, по трём тысячам человек — троекратное крестное знамение или земной поклон. И кажется: это мы все — переходим, а они — не прейдут.

Печка гудела, калилась уже вишнево — и слала доброе тепло по землянке. А много ли тут надо? — брёвнами и жердями замкнулось пространство, и начинала высыхать мокрая одежда по стенам, и гостю не нужна натягивать одеяло на грудь и плечи. А сорочка его белая-белая оттеняла черноту обросшей головы, а на спине лёжа — он сам казался как больной, если не как умирающий.

— Бывал я у них, — сказал Саня. — Разговаривал. Когда ощутишь, как это перед ними зинуло — не бездна, не пропасть, но — щель безширная, косая, тёмная, внизу набитая трупами, а выше — срывчатая безвыходность. Для них, в то время, не как для нас: вся жизнь была в вере — и вдруг меняют. То — проклинали трёхперстие, теперь — только трёхперстие правильно, а двуперстие проклято. Как же этого вместе с ними не сложишь: 1000-летнее царство плюс число антихриста 666 — а собор заклатья и проклятья в лето 1667-е от Рождества Христова, как подстроено рожками? И царь православный Тишайший задабривает подарками магометанского султана, чтобы тот восстановил низложенных бродячих патриархов — и тем подкрепил истоптание одних православных другими. И кто с мордвинским ожесточением саморучно разбивает иконы в кремлёвском соборе — он ещё ли остаётся патриарх Руси? Да равнодушным, корыстным ничего не стоит снести, хоть завтра опять наоборот проклинайте. А в ком колотится правда — вот тот не согласился, вот того уничтожали, тот бежал в леса. Это не просто был мор без разбору — но на лучшую часть народа. А тут же — навалился и Пётр. Можно их понять: режь наши головы, не тронь наши бороды!

— Они веруют, как однажды научили при крещеньи Руси — и почему ж они раскольники? Вдруг им говорят: и деды, и отцы, и вы до сих пор верили неправильно, будем менять.

Священник открыл веки. Сказал на самой малой растрате голоса:

— Веры никто не менял. Меняли обряд. Это и подлежит изменениям. Устойчивость в подробностях есть косность.

Небойкий подпоручик однако:

— А реформаторство в подробностях есть мелочность. В устойчивости — большое добро. В наш век, когда так многое меняется, перепрокидывается, — свойство цепко держаться за старое мне кажется драгоценным.

Неужели православие рушилось от того, что в Иисусе будет одно «и», аллилуйя только двойное и вокруг аналая в какую сторону пойдут? И за это лучшие русские жизненные силы загонять в огонь, в подполье, в ссылку? А доносчикам выплачивать барыши с продажи вотчин и лавок? За переводчиками, переписчиками книг надо было следить раньше, а вкралось немного, так хоть и вкралось.

Тихий подпоручик, со свободным поколебом русских волос над просторным лбом, разволновался, будто это всё в их бригаде совершалось, и сегодня:

— Боже, как мы могли истоптать лучшую часть своего племени? Как мы могли разваливать их часовенки, а сами спокойно молиться и быть в ладу с Господом? Урезать им языки и уши! И не признать своей вины до сих пор? А не кажется вам, отец Северьян, что пока не выпросим у староверов прощения и не соединимся все снова — ой не будет России добра?..

С такой тревогой, будто гибель уже вот тут, над их землянками, стлалась в ночи волной зеленоватого удушающего газа.

— Сам для себя я, знаете, считаю: никакого раскола — не было. Может быть, при нашей жизни уже никто не соединится, но в груди у меня — как бы все соединены. И если они меня пускают к себе, не проклиная, то я и вхожу с равным чувством и в их церковь, как в нашу. Если мы разделены, то какие ж мы христиане? При разделении христиан — никто не христианин, никакой толк.

Несколько гулких, тяжёлых разрывов, передаваемых через землю содроганием на большую даль, дошло до них. И наложилось подтверждением, что — упущено. Что христиане рвали друг друга на части.

В своём положении, подвышенном подушками (у Устимовича много было натолкано), священник переложил голову в сторону Сани, обратил к нему печальное лицо:

— В какой стране не надломилась вера! У всех по-своему. И особенно последние четыре столетия — человечество отходит от

Бога. Все народы отходят по-своему — а процесс единый. Адова сила — несколько столетий клубится и ползёт по христианству, и разделение христиан — от этого.

Тут — запел чайник и пар погнал. А заварка у Цыжа наготове. И чайничек малый вымыт, всё приудоблено. И кружка есть глиняная, из неё пить не горячо. Из лавочки бригадного собрания — вишнёвый экстракт.

— Нет-нет, ни за что не вставайте, отец Северьян, я вам туда подам!

Священник полулёжа, на боку, с пододвинутой табуретки стал попивать заваренный чай — и едва ли не прямо с этими глотками возвращалась к нему сила.

— Да, что-то я подломился сегодня...

А Саня подвинул свою скамеечку ближе к его койке, тут и всего было рукой протянуть. И снизу вверх:

— Я вообще считаю, отец Северьян, что законы личной жизни и законы больших образований сходны. Как человеку за тяжкий грех не избежать заплатить иногда ещё и при жизни — так и обществу, и народу тем более, успевают. И всё, что с Церковью стало потом... От Петра и до... Распутина... Не наказание ли за старообрядцев?..

— Что же нам теперь — искорениться? Церковь на Никоне не кончилась.

— Но Церковь не должна стоять на неправоте. — Саня договорил это шёпотом, будто тай от Чернеги спящего или от самого даже собеседника.

Священник ответил очень уверенно:

— Христова Церковь — не может быть грешна. Могут быть — ошибки иерархии.

Слишком уверенно, как заученно.

— Вот этого выражения никак не могу понять: Церковь — никогда ни в чём не виновата? Католики и протестанты режут друг друга, мы — старообрядцев, — а Церковь ни в чём не грешна? А мы все в совокупности, живые и умершие за три столетия, — разве не русская Церковь? Я и говорю: все мы. Почему не раскаться, что все мы совершили преступление?

Касаний таких уже не одно было в короткой саниной жизни, в спорах и в чтении. Проходили эти касания по внезапным мысленным линиям и не перекрещивались в единой точке, но оставля-

ли кривой треугольный остров, на котором уже еле стояла подмываемая, подрываемая Церковь.

И когда потом государство смягчало гонения староверов — Церковь сама ужесточала, теребила государство — ужесточить.

— И к чему же пришла? — к сегодняшнему плену у государства. Но любого пленника легче понять, чем Церковь. Объявила бренными все земные узы — и так дала себя скрутить?

— Вы-ы... — всматривался священник. — Вы это всё — сами, или...

— Или... — кивал Саня. — Я, собственно, ещё со старших классов гимназии. У нас на Северном Кавказе много сект — я к разным ходил, много слушал. Толки, споры. Особенно — к духоборам... И — Толстого много читал. Больше всего — от него.

— Ну да, конечно, — теперь улыбнулся священник, узнавая. — Толстой, это ясно. Но вы? — от духоборов и до старообрядцев? — кто же вы?

Саня застенчиво улыбался, прося извинения. Пальцами разводил. Он сам не знал.

— Нет, просто над хлебом-солью сидеть, как духоборы, я — нет. И — не толстовец. Уже. Что учение Христа будто рецепт, как счастливо жить на этой земле? — ну, зачем же?.. Да чуть ли уж не так, что будто вообще оно не божественного рождения??. И что любовь есть следствие разума?.. Ну какая же?..

Где Саня не вёлся уверенным сильным чувством, а пытался разобраться, — он не умел говорить легко. Он растяжно тогда выговаривал, раздражая нетерпеливых студентов или настойчивых офицеров. Он потому так говорил, что сколько бы ни вынашивал мысль, но и в момент произнесения она ещё была не готова у него, ещё могла оказаться и ложной. Само произнесение мысли было и проверкой её:

— Да и... Уж очень начисто отвергает Толстой всё, в чём... Вера простого народа, вот, моих родителей, села нашего, да всех... Иконы, свечи, ладан, водосвятия, просфоры — ну, всё начисто, ничего не оставляет... Вот это пение, которое в купол возносится, а там солнечные полосы в ладанном дыму... Вот эти свечечки — ведь их от сердца ставят, и прямо к небу. А я — люблю это всё, просто с детства... Или вот Рогожская — разве на той службе взбрѣдет, что это — спектакль, самовольно присочинѣнный нами к христианству?.. Лепет. Но всего отчётливей я почувствовал —

с крестом. Толстой велит не считать изображение креста священным, не поклоняться ему, не ставить на могилах, не носить на шее — сухота какая! Вот именно через это я переступить не могу. Как говорится, могила без кадила — чёрная яма. А тем более без креста. Без креста? — я и христианства не чувствую.

Прислушивался, в своих звучащих фразах проверяя, нет ли ошибки.

— Одно время пытался я, по Толстому, запретить себе креститься. Так не могу, сама рука идёт. Во время молитвы не перекреститься — молитва как будто неполная. Или когда вот смерть свистит-подлетает — рука ведь сама крестится. В этот момент что ещё естественней сделать на земле, может быть последнее?.. Такое ощущение, будто креститься меня не учили, а — ещё до моего рождения было во мне.

Отец Северьян принял ласково блестящими глазами. Если даже через девятнадцать русских студентов хотя бы двадцатый воспринимает дыхание церковной службы выше рационального анализа — и то не потеряна вера в России!

— А вам не приходило в голову, что Толстой — и вовсе не христианин?

— Все? — изумился, уткнулся Саня.

— Да читайте его книги. Хоть «Войну и мир». Уж такую быть богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый, — и кто и где у него молится в тяжёлый час? Одна княжна Марья? Можно ли поверить, что эти четыре тома написал христианин? Для масонских поисков места много нашлось, а для православия? — нет. Так никуда он из православия не вышел, в поздней жизни, — а никогда он в православии не был. Пушкин — был, а Толстой — не был. Не приучен он был в детстве — в церкви стоять, и ощущать в Христе — самого Бога. Он — прямой плод вольтерьянского нашего дворянства. А честно пойти перенять веру у мужиков — не хватило простоты и смирения.

Саня — пятью пальцами за лоб, как перешупывал.

— Я — так не думал, — удивлялся он. — Почему? Разве его толкование не евангельское? Что мы от Евангелия отшатнулись бесконечно? Заповеди твердим — не слышим. А от него слышали все. Уберите, мол, всё, что тут нагромодили без Христа! Верно. Как же мы: насильничаем — а говорим, что мы христиане? Сказано: не клянись, а мы присягаем? Мы, по сути, сдались, что

заповеди Христа к жизни неприложимы. А Толстой говорит: нет, приложимы! Так разве это не чистое толкование христианства?

Оправился отец Северьян от своего упадка, вернулась живость в лицо, и, уже выздоравливающий, он с готовностью отвечал, как будто вот этого одинокого подпоручика давно себе ждал в собеседники:

— Как же должно упасть понимание веры, чтобы Толстой мог показаться ведущим христианином! Вытягивает по одному стиху из текстов, раскладывает на лоток, и при таких гимназических доводах — такая популярность! Просто его критика Церкви пришла как раз по общественному ветру. Хотя и обществу он даёт негодное учение, как оно не может существовать. Но либеральной общественности наплевать на его учение, на его душевные поиски, не нужна ей вера ни исправленная, ни неисправленная, а из политического задора: ах, как великий писатель костит государство и церковь! — поддуть огонька! А кто из философов отвечал Толстому — того публика не читает.

— Н-ну, не знаю... — ошеломлён был Саня. — Если чистое евангельское учение — и не христианство?

— Да Толстой из Евангелия выбросил две трети! «Упростить Евангелие! Выкинуть всё неясное!» Он просто новую религию создаёт. Его «ближе к Христу» это в обход евангелистов. Мол, раз я тоже буду вместе с вами верить, так я вам эту двухтысячелетнюю веру сразу и реформирую! Ему кажется, что он — открыватель, а он идёт по общественному склону вниз, и других стягивает. Повторяет самый примитивный протестантизм. Взять от религии, так и быть, этику — на это и интеллигенция согласна. Но этику можно учредить в племени даже кровной мезтью. Этика — это ученические правила, низшая окраина дальновидного Божьего управления нами.

Видно, не первый раз доставалось отцу Северьяну об этом толковать, и видно, незаурядный он был батюшка.

— Толстого завела — гордость. Не захотел покорно войти в общую веру. Крылья гордости несут нас за семь холодных пропастей. Но никак не меньше нашего личного развития — стать среди малых и тёмных и, отираясь плечами с ними, упереться нашими избранными пальцами в этот самый каменный пол, по которому только что ходили другие уличными подошвами, — и на него же опустить наш мудрый лоб. Принять ложечку с причастием за че-

редою других губ — здоровых, а может и больных, чистых, а может и не чистых. Из главных духовных приобретений личности — умирять себя. Напоминать себе, что при всех своих даже особенных дарованиях и доблестях ты — только раб Божий, нисколько не выше других. *Этого* достижения — смирения, не заменят никакие этические построения.

— На смирение — я целиком согласен.

— А Толстой ищет-ищет Бога, но, если хотите, Бог ему уже и мешает. Ему хочется людей спасти — безо всякой Божьей помощи. Перешёл на проповедничество — и как будто что случилось с ним: всё умонепостигаемое, что в мире есть и правит нами и силы нам даёт, и что он знал, когда писал романы, — он вдруг как перестаёт ощущать. С какой земной убогостью он трактует Нагорную проповедь! Как будто потерял всю свою интуицию. Великий художник — и не коснулся неохватного мирового замысла, напряжённой Божьей мысли обо всех нас и о каждом из нас! Да что не коснулся! — рационально отверг! Наше собственное бессмертие, нашу собственную причастность к Божьей сущности, — всё отверг!

Отец Северьян приподнялся от подушки, отзывный, оживлённый, смотрел твёрдо-блестяще. Добрёл он до этой землянки, как ни останавливались ноги, как ни заплеталось сердце, — но и здесь осуждён был не отдыхать.

— Неужели не досталось ему содрогаться в беспомощности и ничтожестве? Испытывать порой такую слабость... такую немощь... такое затемнение... Когда ни на какое самостоятельное действие нет сил, а последние силы — на молитву. Хочется — только молитвы, только набраться перетекающей силы от Всемогущего. И если это удаётся нам — так явственно осветляется грудь, возвращаются силы. Так узнаём мы, что значит: «сохрани и помилуй нас Твоею благодатию!» Знаете вы это состояние?!

Волнистоволосой головой со скамеечки Саня кивнул, кивнул. Тихо сказал:

— Я именно в таком состоянии и встретил вас сегодня. И даже — ждал, не точно зная, что — вас... Я именно часто ощущаю, что сил моих совсем не достаточно, даже и на суждения.

Раздалась гулкая пулемётная очередь. Раздалась — на переднем крае, но от холодного, дождливого и тёмного времени слышна была очень внятно сюда. Два десятка крупных пуль где-то там пронеслись, вбились в землю, продырявили доски, вонзились

в брёвна, может быть и ранили кого-нибудь, хотя такие дурные ночные очереди — больше для напугу.

А — как же он нёс погоны, кричал орудиям: «беглый! огонь!»?

— Отчего же вы никогда мне... ?

— Я говорил вам. Однажды на исповеди. Но вы меня, кажется, не поняли...

6

— На исповеди? Когда ж это?

— Великим Постом. Вы тогда только недавно приехали к нам.

— Ах вот, наверно поэтому. У меня несильная память на лица, а все сразу новые...

Подпоручику и сейчас нелегко, будто снова исповедь:

— Я пожаловался вам тогда... Как мне тяжело воевать. Что я пошёл на войну не по повинности. Мог бы доучиваться в Университете. Пошёл — добровольно. И значит, все грехи здешние и все убийства здешние я взял на себя — вольно.

— Да-да-да! — помнил отец Северьян. — Ну как же! Такая исповедь среди офицеров была единственная, и я бы ни за что не пропустил, мы бы продолжили, если б это не самые первые дни... Тогда исповедовались все сплошь, Страстная была. Но отчего вы сами не пришли второй раз?

— Я не мог знать, что это остановило ваше внимание. Может и другие так говорят, и вам прискучило? И... нечего ответить?.. А самое главное: вы — *отпустили* мне мой грех, мои сомненья. Но я себе — не отпустил. Всё вернулось и обступило снова. И что ж, опять к вам? — второй и третий раз? И повторять то же самое, теми же словами, — как бы отталкивать ваше отпущенье назад?.. И даже если вы меня не упрекнёте — что можете вы? Только повторить, «аз, недостойный иерей, данной мне от Бога властью...» А мне под епитрахилью заспорить с вами: нет, не прощайте! это не поможет?.. В исповеди вот это и безвыходно, и для вас и для меня: что в конце вы непременно должны меня простить.

Смотрел пытающе:

— А как бы так, чтоб *не простить* ? Если точно такое же бремя завтрашнего дня снять нельзя — так не прощайте! Отпустите меня с моей необлегчённой тяжестью. Это будет честней.

Пока война продолжается — как же снять её? Её не снять. Оттого что я не вижу своих убитых — дело не меняется. Сколько ж их начислится к концу? И чем я оправдаюсь? Выход только — если меня убьют. Другого не вижу.

Отец Северьян был прислушлив ко всем переходам мысли, и это отражалось в подвижных, молодых его чертах:

— Да, знаете, в древней церкви воинов, вернувшихся из похода, прощали не сразу, накладывали епитимью. Но есть и такой ещё выход: перепонять.

— Я пытался. Опростоуметь? вот как все рядом, как Чернега: воюет — и весел. Пытался и я так. Много месяцев. Не вышло. Вот засыпешь снарядами, не получив ответа. А ответ приходится на Чевердина.

Но священник смотрел на подпоручика не в смущении. Остро доглядывал медлительного собеседника.

Что за редкая встреча! — среди офицеров, не только этой бригады, кадровых и призванных, — кто формален, кто стыдится, кто смеётся, — но среди студентов? Среди студентов ещё большая редкость. У себя в Рязани деятельность отца Северьяна проходила в облаке насмешки и презрения от всего образованного слоя общества — не к нему только именно, но ко всей православной Церкви, и этим презрением отталкивался он — из того же культурного круга выйдя и сам, из такой же семьи, тоже к нему насмешливой, — отталкивался к мещанам, к тёмным неразвитым горожанам, ещё тупо видящим смысл в свечах и церковном стоянии вместо чтения газет, посещений театра и лекций. Отец Северьян не краснел за свой сан, одеяние, и не чуждался остаться бы в своём образованном слое, но его — выталкивали. Надо же было! — из рязанской епархии приехать на передний край войны, чтобы здесь послушать такого студента.

Однако с полынью:

— И потом же я понимаю, отец Северьян, что если вы состоите в той же бригаде и ваша задача — способствовать успеху русского оружия, то вы не много доводов сумеете найти мне в утешение. Вы сами связаны всем этим и тоже, может быть, простите, грешны. Раздавать и навешивать всем-всем-всем шейные образки... Перед атакой идти по траншеям с крестом и кропить святой водой... Или с иконой по всем землянкам и давать прикладываться завтрашним мертвецам... А иные батюшки, за убылью офицеров, и сами скачут передавать боевые приказы полкового

командира... Но почему-то страшней всего — когда служат полевой молебн, а подсвечники составлены из четырёх винтовок в наклон.

Нет, отец Северьян не уронил головы. Нет, отец Северьян не отвёл глаз. Прислушливо принимал он упрёки подпоручика, даже торопя их выразительными, подвижными бровями, даже ждя и желая больше.

— ...Я понимаю, что вы не своей волей сюда пришли, вас послали.

— Ошибаетесь. Сам.

— Са-ми?

— А вы же? Священников вообще не мобилизуют. Они просятся сами, или их посылают епархии по полученной развёрстке. Но кого епархии считают лучшими — тех удерживают, а в Действующую посылают балласт: или слабых, или судимых, или нежелательных. Впрочем, по последней категории, за реформаторство, пожалуй послали бы скоро и меня. Но я попросился раньше. Я именно считал, что во время войны естественней всего быть здесь.

— Вообще мужчине — да, — ещё не мог подпоручик принять.

— И священнику — тоже, — всё живей настаивал отец Северьян, с тем упорством, с которым он и верхом научился. — В той жизни, в которой мы живём, — мы должны в ней действовать.

От священника это странно было слышать, ожидалось бы скорей что-нибудь: любите ненавидящих вас... Подпоручик улыбнулся, пробормотал:

— Перекувырнутая телега...

— Что?

— Я — тоже так думаю, тоже. Но вы... Особое, щекотливое положение: священник — и добровольно на войну?

Отец Северьян утвердился выше на локте. Взгляд его вспыхнул:

— Исаакий...

— Филиппович.

— Исаакий Филиппович! — выдыхал он теперь готовое, то, что на исповеди не пришлось. — Мира без войн — пока ещё не было. За семь, за десять, за двадцать тысяч лет. Ни самые мудрые вожди, ни самые благородные короли, ни Церковь — не умели их остановить. И не поддавайтесь лёгкой вере, что их остановят горячие социалисты. Или что можно отсортировать осмысленные,

оправданные войны. Всегда найдутся тысячи тысяч, кому и такая война будет бессмысленной и не имеющей оправдания. Просто: никакое государство не может жить без войны, это — одна из его неизбежных функций. — У отца Северьяна была очень чистая дикция. — Войнами — мы расплачиваемся за то, что живём государствами. Прежде войн — надо было бы упразднить все государства. Но это немыслимо, пока не искоренена наклонность людей к насилию и злу. Для защиты от насилия и созданы государства.

Подпоручик — как приподнимался со своего низкого сиденья, не поднявшись, как приосвещался, хотя не калили уже больше печку и лампа горела ровно. А отец Северьян — вперялся в мысль саму, как бы какого отвлечения не упустить:

— В обычной жизни тысячи злых движений из тысячи злых центров — направлены во всякие стороны беспорядочно, против обижаемых. Государство призвано эти движения сдерживать — но оно же плодит от себя новые, ещё более сильные, только однонаправленные. Оно же временами бросает их все в единую сторону — и это и есть война. Поэтому дилемма мир—война — это поверхностная дилемма поверхностных умов. Мол, только бы войны прекратить, и вот уже будет мир. Нет! Христианская молитва говорит: мир на земле и *в человецех благоволение!* Вот когда может наступить истинный мир: когда будет в человецех благоволение! А иначе будут и без войны: душить, травить, морить, колоть под рёбра, жечь, топтать, плевать в лицо.

А выше их похрапывал безпечный Чернега, не знающий проблем, — и то был единственный звук на всём русско-германском фронте.

В печи уже не потрескивало, уголья калились беззвучно.

Отец Северьян выдыхал своё готовое:

— Война — не самый подлый вид зла и не самое злое зло. Например, несправедный суд, сжигающий оскорблённое сердце, — подлее. Или корыстное уголовное убийство, во всём замысле обнимаемое умом одного убийцы, и всё испытываемое жертвой в минуту убивания. Или — пытка палача. Когда ни крикнуть, ни отбиться, ни испытать защиты и борьбы. Или — предательство человека, которому доверились? Зло над вдовою или сиротами? Всё это — душевно грязней и страшней войны.

Лаженицын тёр лоб. Одно ухо его, ближе к печке, горело. Тёр лоб с медленным, облегчающим, но разборчивым приятием, он не умел ни быстро, ни односложно:

— Не самый подлый вид зла? Но самый массовый. Но от единичных убийств, от единичных несправедливых судов остаются и жертвы единичные...

— Тысячерённые! Такие же. Они только не собраны к одному месту и одному короткому времени, как военные убийства. А если вспомним тирании? Грозного, Бирона или Петра? Или, вот, расправу со старообрядцами? Войны и не требовалось, успешно душили и без войны. Но в сумме годов и стран — никак не меньше. А может быть и больше.

Оживлялся Лаженицын. Светлел. И священник говорил всё легче, возвращаясь к своим годам, тридцати пяти-шести:

— Истинная дилемма: мир—зло. Война — только частный случай зла, сгущённого во времени и в пространстве. И тот, кто отрицает войну, не отрицая прежде государств, — лицемер. А кто не видит, что первичнее войны и опаснее войны всеобщее зло, разлитое по человеческим сердцам, — тот верхогляд. Истинная дилемма человечества: мир в сердцах — или зло в сердцах. Зло мирового сознания. А преодолеть зло мирового сознания — это не антивоенная демонстрация, пройтись по улице с тряпками лозунгов. Преодолеть — на это отпущено нам не поколение, не век, не эпоха, но вся история от Адама до Второго Пришествия. И даже за всю историю, всеми совместными силами мы так ещё и не сумели одолеть. И упрекнуть вы можете не того студента, и не того священника, кто добровольно пришёл в воюющую армию, — естественно прийти туда, где страждут многие, — а того, кто не борется со злом.

Да Саня — разве упрекать?.. Да — себя самого только. Да он — обдумывал, облегчённо-неуверенно, боясь ступить чересчур поспешно на новом и таком важном месте.

Это была мысль обширная, тут было думать долго.

Из первых возражений вот разве:

— Но от этого всего убийство на войне разве простительнее убийства уголовного, замышленного? Или — пыточного, тиранского? Просто — ритуал тут есть, видимость заурядной службы, *все так, не я один*, — и вот этот ритуал обманывает нас. Успокаивает лживо.

— Но и ритуал на пустом месте не создашь, об этом подумайте. Всё ж ритуала убивать беззащитных так и не создали. И палачи трогаются умом, бывает. О палачестве, о неправых судах, о всеобщей разрозненности — фольклора нет. А о войне — есть, и какой!

Война не только рознит, она находит и общее дружеское единство, к жертвам зовёт — и идут же на жертвы! Идя на войну, ведь вы и сами рискуете быть убитым. Нет, как хотите, война — не худший вид зла.

Саня думал.

Отец Северьян давал ему возразить. Ждал возражений, не слышал.

Да Саню знать надо было, он трудно переубеждался — не быстро кидался на новые убеждения, медленно расставался со старыми. Но когда уступал встречным доводам, то не досадливо, а как будто даже радостно. Он дорабатывал, чтоб не ответить ошибочно. На каждой паузе проверяясь:

— Это вы — неожиданно мне объяснили. Я не додумывался. Это мне облегчает очень. Но это бы — всем объяснить. Это остаётся всем — неизвестно.

Открыл печку и домешивал кочергой. Тепло освещённый угольями, молчал. Пришлись ему доводы священника.

Соединил их случай, ночной покой, душевная расположенность. Во всей бригаде с кем же, правда, и поговорить?

— Это — надо объяснять, — опять он. — А то ведь над церковью зубоскалят, как она освящает войну. Да вообще... Молодым солдатам в казармах втолакивают религию как принудительную, только убивают её. — Помешивал, смотрел в угольки. — Вообще... Утекло человечество из христианства как вода между пальцев. Было время — жертвами, смертями, несравнимой своей верой христиане — да, владели духом человечества. Но — раздорами, войнами, самодовольством — упустили... И уж наверно нет такой силы, чтобы вернуть...

— Если вы верите в Христа, — отозвался священник из темнеющей глубины землянки как издали, — то не будете подсчитывать число современных последователей его. Хотя б и двое нас осталось в целом мире христиан. «Не бойся, малое стадо, ибо я победил мир!» Он дал нам свободу заблудиться — Он оставил нам свободу и выбраться.

Саня помешивал.

Тихо отозвался:

— О, отец Северьян. Много цитат произносится бодро. А дело совсем худо.

Сгрёб в последнюю малую кучку, она ещё дышала светом.

— И ещё в этом проигранном мировом положении — зачем каждое исповедание настаивает на своей исключительности и единственной правоте? И православные, и католики. И вообще христиане? Что они — единственные, и что выше? От этого только всё быстрее идёт к падению.

Гневаться ли — на отходы, на сомненья, на поиски? Не изумиться ли другому: как это само пробуждается даже у тех, к кому не приходила благовесть? Тысячелетиями копошатся плоские низкие существа — и вдруг озаряются догадкой: слушайте, люди! Да ведь *это всё — не само собой!* не нашими жалкими силами, — это *Кто-то над нами есть!*..

Уставясь, смотрел в последние уголки.

Как же можно предположить, чтобы Господь оставил на участь неправоверия все дальние раскинутые племена? Чтобы за всю историю Земли в одном только месте был просвещён один малый народ, потом недоумлены соседи его — и никогда никто больше? Так и оставлены жёлтый и чёрный континенты и все острова — погибать? Были и у них свои пророки — и что ж они — не от единого Бога? И те народы обречены на вечную тьму лишь потому, что не перенимают превосходную нашу веру? Христианин — разве может так понимать?

— Чем бы и доказать превосходство какой-нибудь религии — её незаносчивостью перед остальными.

— Но — нет веры без уверенности, что она — абсолютно истинна, — даже призвенивал голос отца Северьяна. — Исключительность моей веры не унижает веры других.

— Н-н-не знаю...

Это и любая секта, отколовшись, начинает настаивать на своей исключительной верности. В исключительности и нетерпимости — все движенья мировой истории. И чем могло бы христианство их превзойти — только отказом от исключительности, только возрастанием до многоприемлющего смысла. Допустить, что не вся мировая истина захвачена нами одними. Не проклянём никого в меру его несовершенства.

Темнело в землянке.

Божья истина — как Правда-матушка из народной сказки. Выезжало семеро братьев на неё посмотреть, и увидали с семи концов, с семи сторон, и, воротясь, рассказывали все по-разному: кто называл её горою, кто лесом, кто людным городом. И за неправду

рубил друг друга мечами булатными, все полегли до единого, и умирая — сыновьям наказывали рубиться до смерти ж... А видели-то все — одну и ту же Правду, да не смотрели хорошо.

Темнело.

Извне раздался сильный грозный предупреждающий звук.

А это был... как его... разрыв этого... артиллерийского снаряда.

7'

(Кадетские истоки)

Как две обезумевших лошади в общей упряжи, но лишённые управления, одна дёргая направо, другая налево, чураясь и сатаня друг от друга и от телеги, непременно разнесут её, перевернут, свалят с откоса и себя погубят, — так российская власть и российское общество, с тех пор как меж ними поселилось и всё разрасталось роковое недоверие, озлобление, ненависть, — разгоняли и несли Россию в бездну. И перехватить их, остановить — казалось, не было удальца.

И кто теперь объяснит: где ж это началось? кто начал? В непрерывном потоке истории всегда будет неправ тот, кто разрежет его в одном поперечном сечении и скажет: вот здесь! всё началось — отсюда!

Эта непримиримая рознь между властью и обществом — разве она началась с *реакции* Александра III? Уж тогда не верней ли — с убийства Александра II? Но и то было седьмое покушение, а первым — каракозовский выстрел.

Никак не признать нам начало той розни — позднее декабристов.

А не на той ли розни уже погиб и Павел?

Есть любители уводить этот разрыв к первым немецким переодеваниям Петра — и у них большая правота. Тогда и к соборам Никона. Но будет с нас остановиться и на Александре II.

При первом сдвиге медлительных, многоохватных, дальним глазом ещё не предсказуемых его реформ (*вынужденных*, как обзывают у нас, будто бывают полезные реформы, не вынужденные

жизнью) — почему так поспешно вскричала «Молодая Россия»: «нам не когда ждать реформ!», и властитель дум Чернышевский позвал к *топору*, и огнём полыхнул Каракозов? Почему такое совпадение, что эти энергичные, уверенные и безжалостные люди выступили на русскую общественную арену год в год с освобождением крестьян? Кем, чем так уверены были они, что медленным процессам не изменить истории, — и вот спешили нарушить постепенность разрушительным освобождением через взрыв? *На что* отвечал каракозовский выстрел? Всё-таки же не на освобождение крестьян, как оно ни опоздало?

Через два года после Каракозова уже сплёлся союз Бакунина с Нечаевым — а дальше перерыву не бывало, среди нечаевцев густилась уже и «Народная Воля».

Один Достоевский спрашивал их тогда: что они так торопятся? Торопились ли они обогнать начатки конституции, которые готовил Александр II? В самый день убийства он утвердил создание преобразовательных комиссий с участием земств — действительно *дни* оставались террористам, чтобы сорвать рождение русской конституции.

В 1878 Иван Петрункевич пробовал на киевских переговорах убедить революционеров временно приостановить террор (а не отказаться от него, конечно!): де, погодите, не постреляйте немного, дайте нам, земцам, открыто и широко требовать реформ. Ответил ему — выстрел Засулич из Петербурга. Да через год созрела и «Народная Воля», а в чьей-то голове уже складывалось из будущего ультиматума:

цареубийство в России очень популярно, оно вызывает радость и сочувствие.

Накалялся общественный воздух, и больше никто уже не смел и не хотел поперечить бомбистам.

Без терпеливого мелкого шрифта нам между собой не объяснить о собственной уворованной истории. Мы зовём в такую даль лишь самоотверженных читателей, главной частью — соотечественников. Этот уже поостывший, а в объёме немалый материал, как будто слабо связанный с обещанным в заглавии Октябрём Шестнадцатого, не утомит лишь того читателя, кому живы напряжённые Девяностые годы русской истории, кто может оттуда извлечь уроки сегодняшние.

ИЗ УЗЛОВ ПРЕДЫДУЩИХ

Ноябрь 1904

Июль 1906

На что рассчитывали они? Как могли они ждать, что убийством монарха получат уступки от его наследника? Только разве если был бы он раскисляй. Но никакой нормальный человек не может простить убийства своего отца. Да за 13 лет царствования был ли хоть один важный закон подписан Александром III без воспоминанья: отец мой дал свободу, дал реформы — и его убили, значит, путь его был неверен. Как аукнется... За бомбистов получило все русское общество реакцию 80-х годов, обратный толчок в до-севастопольское время. Охранные отделения только тогда и были созданы, в ответ. (Да впрочем, чего они стоили-то, по-нашему? по-советски?)

Группа, готовившая теперь убийство и Александра III (1 марта 1887), объясняла свою платформу так:

Александр Ульянов: Русская интеллигенция в настоящее время *только в террористической форме может защитить свое право на мысль*. Террор создан XIX столетием, это *единственная форма защиты*, к которой может прибегнуть меньшинство, *сильное лишь духовной силой и сознанием своей правоты*... Я много думал над возражением, что русское общество не проявляет сочувствия к террору, даже враждебно относится к нему. Но это — недоразумение.

И оказался прав: уже через 10—15 лет русское общество видело в терроре свою весну.

Осипанов: Мы надеемся, что правительство уступит, если террор будет применяться нами систематически. Мы надеемся *террором пробудить в массах интерес к внутренней политике*. В народе образуются свои боевые группы для борьбы со своими частными угнетателями, постепенно всё это сольётся в общее восстание. А уж *когда оно наступит — мы будем сдерживать жертвы и насилия, насколько можно*...

Как аукнется... Ведь и группа Ульянова—Осипанова образовалась в ответ на разгон митинга в память Добролюбова. (Хоть и к Добролюбову вернуться: тоже и он — не первый! — выдыхал в ветер этой ненависти.)

И оружием высказанная ненависть не утихала потом полстолетия. А между выстрелами теми и этими метался, припадал к земле, ронял очки, подымался, руки вздевал, уговаривал — и был осмеян неудачливый русский либерализм. Однако заметим: он не был третеец, он небезпристрастен был, не равно отзывался он на выстрелы и окрики с той и другой стороны, он даже не был и либерализмом сам. Русское образованное общество, давно ничего не прощавшее власти, радовалось, аплодировало левым террористам и требовало безраздельной амнистии всем им. Чем далее в девяностые и девятисотые годы, тем гневнее направлялось красноречие интеллигенции против правительства, но казалось недопустимым увещать революционную молодёжь, сбивавшую с ног лекторов и запрещающую академические занятия.

Как ускорение Кориолиса имеет строго обусловленное направление на всей Земле и у всех речных потоков, текущих с севера, так отклоняет воду, что подмываются и осыпаются всегда правые берега рек, а разлив идёт налево, — так и все формы демократического либерализма на Земле, сколько видно, ударяют всегда вправо, приглаживают всегда влево. Всегда левы их симпатии, налево способны переступить ноги, к леву клонятся головы слушать суждения — но позорно им раздаться вправо или принять хотя бы слово справа.

Если бы кадетский (и всемирный) либерализм имел бы оба уха и оба глаза развитых одинаково, а идти способен бы был по собственной твёрдой линии — он избежал бы своего безславного поражения, своей жалкой судьбы (и может быть, с крайнего лева не припечатали бы его «гнилым»).

Труднее всего прочерчивать среднюю линию общественного развития: не помогает, как на краях, горло, кулак, бомба, решётка. Средняя линия требует самого большого самообладания, самого твёрдого мужества, самого расчётливого терпения, самого точного знания.

Земство, как можно это слово понять наиболее широко, есть общественный союз всего населения данной местности; уже — лишь тех, кто связан с землёю, владеет ею или обрабатывает её, не горожан. В земской реформе 1864 года, тогда понимавшейся лишь как первая стадия, слово было истолковано наиболее узко: это было местное самоуправление, и главным образом помещичье.

Но оттого ли, что дворянство при добровольности земской работы пошло на неё не сплошь, корыстное не шло, именно потому, что не дело там себе корысти, а шли те, кто были проникнуты общественными

заботами и жаждою справедливости; или, как напоминает виднейший и первейший земец Дмитрий Николаевич Шипов, оттого, что не в русской традиции отстаиванье *интересов* групп и классов, но совместные поиски *общей правды*, — земская идея проявилась выше обычной муниципальной: не просто самоуправляться, но служить требованиям общественной правды, постепенно ослаблять исторически сложившуюся социальную несправедливость. Члены земского союза создавали земские средства пропорционально своим доходам, расходовали же их — для классов недостаточных.

Первоначально созданное земство ещё не срослось с коренным нижним слоем — не имело волостного земства, которое бы стало подлинным крестьянским самоуправлением; ещё не распространялось и вширь — на нерусские имперские окраины; и вверх не поднималось выше губернских земств, не имея законных прав на межгубернские, всероссийские объединения. Однако все эти три направления роста были заложены в александровской реформе — и при терпеливом, безреволюционном развитии мы, может быть, могли бы уже к концу XIX века иметь, при монархии, безпартийное общественное самоуправление с этической окраской.

Увы, Александр III, предполагая во всякой общественной самостоятельности зародыши революции, тормозя большинство начинаний своего худо возблагодарённого отца, остановил и искажил развитие земства: ужесточил административный надзор за ним и сузил ведение его; вместо постепенного уравнивания в нём сословий, напротив, выразил резче сословную группировку; ещё поволлил дворянству, просвещённостью своей отворотившемуся от самодержавия, и оставил в униженном положении, даже с телесными наказаниями — крестьянство, которое одно только и быть могло естественной опорой монархии. Однако земство и в этих условиях ещё долго оставалось верно идеям реформ — совместной работе передового общества с исторической властью. Постоянно обставленное недоверием власти, подозрениями в неблагонадёжности, земство всё более изошрялось (и раздражалось) в избегании, обходах и хитростях против правительственных помех. Но надежды общества всё же дожидаться от власти понимания и сотрудничества ещё теплились и теплились, и едва воцарился Николай — к нему с верой обратились многие земства в верноподданных адресах. Земцы предполагали, что молодой Государь не знает настроения общественных кругов, незнаком с нуждами населения и охотно примет предложения и записки.

И таких моментов, когда вот, кажется, доступно было умирить безумный раздор власти и общества, повести их к созидательному согласию, мигающими тепло-оранжевыми фонариками немало расставлено на русском пути за столетие. Но для того надо: себя — придержать, о *другом* — подумать с доверием. Власти: а может, общество отчасти и доброго хочет? может, я понимаю в своей стране не всё? Обществу: а может, власть не вовсе дурна? привычная народу, устойчивая в дейст-

виях, вознесенная над партиями, — быть может, она своей стране не враг, а в чём-то благодеяние?

Нет, уж так заведено, что в государственной жизни ещё резче, чем в частной, добровольные уступки и самоограничение высмеяны как глупость и простота.

Николай II ответил своей знаменитой фразой:

...в земских собраниях увлеклись бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Я буду охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель.

Настолько незаконным считалось всякое межгубернское объединение земцев, что в 1896 новоназначенный перед коронацией министр внутренних дел Горемыкин запретил председателям губернских земских управ даже обсуждение: как бы, вместо пустых трат на подносы и солонки (хлеб-соль) отов всех земств, сложиться на единое благотворительное дело. И большою льготою для земств разрешил им собирать совещания на частных квартирах, чтоб только ни слова единого о тех совещаниях не попало в печать*.

Министр внутренних дел Сипягин натужно крепил приказный строй, как он понимал пользу своего Государя и страны, был убит террористами в апреле 1902 — и затем ещё два года ту же линию вёл властный Плеве, пока не был убит и он под растущее ликование общества. Вился между ними маккиавелистый Витте, слишком хитрый министр для этой страны: всё понимая, он ничем не хотел рискнуть или посоветить. Он составлял докладную записку Государю, что земский строй несовместим с самодержавием, и весь тон её был — нельзя же подрывать самодержавие, а глубинный смысл, рассчитанный на сто ходов вперёд: нельзя же самодержавию и дальше сдерживать земство! — но об этом должны были догадаться другие, не он досказать.

Всё тою же цепенеющей, неподвижной идеей — как задержать развитие, как оставить жизнь прежнею, переходила российская власть в новый XX век, теряя уважение общества, возмущая бессмыслицей порядка управления и ненаказуемым произволом тупеющих местных властей. Расширение земских прав было останавливаемо. Студенческие волнения 1899 и 1901 резко рассорили власть и общество: в буйных протестах молодёжи либералы любили самих себя, не устоявших так в своё время. Убийство министра просвещения студентом (в 1901) стало для общества символом справедливости, отдача мятежных студентов в солдаты — символом тирании. 1902 ещё более обострил разлад между властью и обществом, студенческое движение бушевало уже на площадях, а напористый Плеве при извихах Витте отнимал у земства даже коренные земские вопросы — даже к «совещаниям о нуждах сель-

* А впрочем, по понятиям 70-х годов XX века, — конечно льгота, и немалая.

скохозяйственной промышленности» не хотел допустить земских собраний. Он-то имел в виду обойтись особенно без «третьего элемента» земств — наёмных специалистов в земских управах, среди которых и правда устраивались многие революционные люди, по выражению Плеве:

когорты санколотов и доктринёров, чиновников второго разбора, чей стиль отработан в тюремных досугах.

Однако земство естественно было уязвлено и взбуждено: ведь если оно устранялось даже от прямых сельскохозяйственных вопросов, то — вообще быть или не быть земству дальше? В мае 1902 ведущие земцы собрали в Москве на квартире у Шипова, на Собачьей площадке, частное межгубернское (незаконное) совещание. Оно приняло очень умеренные, благоразумные решения: как, не бойкотировав правительственных губернских совещаний, суметь связать их с деятельностью земств и тем загладить грубую неловкость правительства. Но указывало, что для успешного решения всех частных сельскохозяйственных вопросов необходимо

поднять личность русского крестьянина, уравнивая его в правах с лицами других сословий, оградить правильной формой суда, отменить телесные наказания, расширить просвещение. И построить вне сословий всё земское представительство.

Необъятная гряда задач заграждала России путь в новый век. Но терпеливое земство не кралось взорвать эту гряду, а протягивало деятельные руки — разбирать. Для умных людей, озабоченных благообращением отечества, постепенность в изменениях неизбежна.

Ш и п о в: Если желать успеха делу, нельзя не считаться со взглядами лиц, к которым обращаешься. Необходимость какой-либо реформы должна быть предварительно не только широко осознана обществом, но и государственное руководство должно быть с нею примирено.

Однако глядя так и действуя так, земцы всё равно не уговорили верховной власти. По домоганию Плеве участники этого самовольного совещания на Собачьей площадке получили высочайший выговор и предупреждение, что могут быть устранены от всякой общественной деятельности. Тем более было отказано земствам в их просьбе допускать их к предварительному — прежде Государя — обсуждению законопроектов, имеющих местное значение. Высочайший манифест в феврале 1903 обещал глущить

смуту, посеянную отчасти замыслами, враждебными государственному порядку, отчасти увлечением началами, чуждыми русской жизни.

Самодержавие так и обещало: оно не поступится ничем! оно не прислушается и к самым доброжелательным подданным! Ибо только Оно одно (без народного Собора, с приближёнными бюрократами, обсевшими лестницу взаимных привилегий) ведаёт подлинные нужды России.

Но, теряя надежду на добрую волю российской власти, тем упорнее отстаивало и земство своё общественное понимание. Всё более складывался *незаконный* межгубернский общеземский союз; через личные общения легко добивались во всех губерниях и уездах — однотипных резолюций, однотипных ходатайств, однотипной неуступчивости, в свою очередь всё более раздражавшей и власть.

Тут — незаметно, нерезко, как и все истоки истории, началось перерождение земской среды: раскол земства, очень неравный, на разливанное большинство и крохотное меньшинство; и нарастающее объединение этого большинства с не-земцами — кругами городских самоуправлений, кругами судейского сословия, особенно адвокатами, с интеллигенцией профессиональной — в общее формирование *конституционалистов*, а затем в июле 1903 в увлекательную игру, называемую «Союз Освобождения». Коль скоро деятельность не позволялась — ей приходилось быть нелегальной. Коль скоро все революционеры успешно имели конспиративные партии — отчего бы такую партию не завести либералам? Но так как им не надо изготавливать бомбы и хранить их, то им не надо и покидать своей обычной жизни — не надо скрываться под чужими именами, не надо уходить из своих удобных квартир, и эмигрировать не надо, и испытывать тяготы партийной дисциплины: всякий, кто сочувствует боевому «Союзу», — вот в нём уже и состоит, и никаких обязанностей тяжелей того с него не спросится. И вот всё *общество* уже и состояло в Союзе, куда не требовалось формального приёма. Правительству не надо было трудиться узнавать состав Союза, потому что в с е и состояли. Союз был нелегальный, а — почти просвеченный, всем известный и как будто уже и не криминальный. Всё, что нуждались они сказать, но нельзя было по русским условиям, печаталось за границей в журнале «Освобождение» и с большой свободой распространялось по России.

Не-земцы были в курсе всех западных социалистических учений, течений, решений, всё читали, знали, обо всём судили, могли очень уверенно критиковать и сравнивать Россию, и одного только не имели — практического государственного опыта, как делать и строить, если завтра вдруг придёт самим (да не очень к тому и тянулись). Напротив, земцы были единственным в России слоём, кроме царских бюрократов, кто уже имел долгий, хотя и местный, опыт государственного управления, и склонность к тому имел, и *землю* знал и чувствовал, и коренное население России. Однако по бойкости и эрудированности не-земцы брали верх, больше влияли и больше направляли.

Союз начал с программы из двух слов: долой самодержавие! Это всех объединит! Они полагали, что вся масса тёмного неграмотного народа только и жаждет политических свобод. Лишь бы свергнуть монархию! — а там дальше волшебное всеведущее Учредительное Собрание, состоящее из сверхлюдей, точно выразит волю народа, разрабатывает всё остальное. Царствующий монарх должен быть уже отныне, прежде Учредительного Собрания, устранён от всякого влияния на го-

сударственную жизнь. От существующего строя не требовалось ни перестраиваться, ни улучшаться, а только — сгннуть. *Освобожденцы* — то есть большинство российской интеллигенции, весь либеральный цвет её, и не хотели никакого примирения с властью, и тактика их была: нигде не пропускать ни одного удобного случая обострить конфликт. Они и не пытались искать, что из русской действительности и её учреждений может, преобразовавшись, войти в будущее: всё должно было обрубиться и начисто замениться. Они мыслили (теоретически изучили) Конституцию с большой буквы — введенная в России, она решит все проблемы.

Прошёл год — оказалось, что программа «долой самодержавие» не увлекла ни крестьянство, ни рабочих. Тогда разработали программу обширнее, где тех и других завлекали практическими обещаниями по их части, а весь народ в целом, вероятно же изнывающий от страсти к политической жизни, — набором буйных свобод, которые её обеспечат. В трёх десятках пунктов было собрано всё необходимое, чтобы составить жизнь по лучшим западным образцам. (Против которых невозможно найти разумные аргументы, пока не испытаешь их на своей стране и на себе.)

Принцип «долой самодержавие» как будто давал объединение со всеми, кто только хотел. Русский радикализм (он продолжал называть себя либерализмом) оказывался солидарен со всеми революционными направлениями, а поэтому не мог осуждать террор, даже порицал тех, кто порицает террор. Русский радикализм принял принцип, что если насилие направлено против врага — оно оправдывается. Оправдывались все политические волнения, стачки и погромы поместий. Чтобы смести самодержавную власть, была пригодна, наконец, хотя бы и революция — во всяком случае меньшее зло, чем самодержавие.

Редактор «Освобождения» многоишущий Пётр Струве к тому времени чем только не перевлёкся, где только не перебивал: и основывал РСДРП (и манифест их написал), и во Пскове совещался с Лениным — Мартовым об «Искре», и соглашался и расходился с Плехановым, и вот теперь в органе свободных либералов печатал:

Русскому либерализму не поздно ещё стать союзником социал-демократии.

А вот и поздно! — II съезд РСДРП оттолкнул либералов-освободенцев, чем глубоко огорчил и уязвил их. И в октябре 1904 ни большевики, ни меньшевики не поехали в Париж на 1-ю (и последнюю) конференцию оппозиционных партий, где Милюков, Струве и князь Долгоруков, по принципу солидарности с революционными течениями, заседали с эсерами и с пораженцами, кто на японские деньги закупал оружие и слал его в Петербург поднимать восстание, пользуясь войною. (Так как в борьбе с самодержавием все средства хороши, то хоть и узнать бы, что деньги японские, — почему не взять?)

Императорское правительство ещё существовало, но в глазах освобожденцев как бы уже и не существовало. Чего они никак не представ-

ляли, это — чтоб между нынешней властью и населением кроме жестких противоречий была ещё и жестокая связь гребцов одного корабля: идти ко дну — так всем. Чего Освободительное Движение вообразить не могло и не желало — это достичь своих целей плавной эволюцией.

Но именно такой путь искало осуществить земское *меньшинство* — меньшинство утлое, однако вёл его Шипов — председатель московской губернской земской управы и как бы признанный глава ещё не созданного всероссийского земства; были тут два примечательных князя Трубецких и три будущих председателя Государственной Думы.

Миропонимание и общественная программа формулировались Д. Н. Шиповым так.

Смысл нашей жизни — творить не свою волю, но уяснить себе смысл миродержавного начала. При этом, хотя внутреннее развитие личности по своей важности и первенствует перед общественным развитием (не может быть подлинного прогресса, пока не переменится строй чувств и мыслей большинства), но усовершенствование форм социальной жизни — тоже необходимое условие. Эти два развития не нужно противопоставлять, и христианин не имеет права быть равнодушен к укладу общественной жизни. — Рационализм же повышенно внимателен к материальным потребностям человека и пренебрегает его духовной сущностью. Только так и могло возникнуть учение, утверждающее, что всякий общественный уклад есть плод естественно-исторического процесса, а стало быть, не зависит от злой или доброй воли отдельных людей, от заблуждений и ошибок целых поколений; что главные стимулы общественной и частной жизни — *интересы*. Из отстаивания прежде всего интересов людей и групп населения вытекает вся современная западная парламентарная система, с её политическими партиями, их постоянной борьбой, погоней за большинством, и с конституциями как регламентами этой борьбы. Вся эта система, где правовая идея поставлена выше этической, — за пределами христианства и христианской культуры. А лозунги народовластия, народоправства наиболее мутят людской покой, возбуждают втягиваться в борьбу и отстаивать свои права, иногда и совсем забывая о духовной стороне жизни.

С другой стороны, неверно приписывать христианству взгляд, что всякая власть — божественного происхождения и надо покорно принимать ту, что есть. Государственная власть — земного происхождения и так же несёт на себе отпечаток людских воль, ошибок и недостатков. Власть существует повсюду — из-за слабости человеческой природы: неспособности человека обойтись без организованного порядка жизни и принуждения. Но и сама власть носит в себе ту же человеческую слабость, тем сильнее, что именно власть развращает человека, — и тем сильнее, чем духовно слабее властвующий. Власть — это безысходное заклятье, она не может освободиться от порока полностью, но лишь более или менее. Поэтому христианин должен быть деятелен в своих усилиях улучшить власть и улучшить государство.

Но борьбой интересов и классов не осуществить общего блага. И права и свободу — можно обеспечить только моральной солидарностью всех. Усиленная борьба за политические права, считает Шипов, чужда духу русского народа — и надо избежать его вовлечения в азарт политической борьбы. Русские искони думали не о борьбе с властью, но о совокупной с ней деятельности для устройства жизни по-божески. Так же думали и цари древней Руси, не отделявшие себя от народа. «Самодержавие» это значит: независимость от других государей, а вовсе не произвол. Прежние государи искали творить не свою волю, но выражать соборную совесть народа — и ещё не утеряно восстановить дух того строя. Шипов утверждает, что когда у нас собирались земские соборы, то не происходило борьбы между царём и соборами, и неизвестны случаи, когда бы царь поступил в противность соборному мнению: разойдясь с собором, царь только ослабил бы свой авторитет. Для такого государства, где и правящие и подчинённые должны прежде всего преследовать не *интересы*, а стремиться к *правде* отношений, Шипов находит наилучшей формой правления именно монархию — потому что наследственный монарх стоит вне столкновений всяких групповых интересов. Но выше своей власти он должен чувствовать водворенье правды Божьей на земле, своё правление понимать как служение народу и постоянно согласовывать свои решения с соборной совестью народа в виде народного представительства. И такой строй — выше конституционного, ибо предполагает не борьбу между Государем и обществом, не драку между партиями, но согласные поиски добра. Именно послеалександровское земство, уже несущее в себе нравственную идею, может и должно возродить в новой форме Земские соборы, установить *государственно-земский строй*. И всего этого достичь в духе терпеливого убеждения и взаимной любви.

Увы, задача эта очень трудна, ибо на переломе XIX—XX веков в России носители власти утратили веру в себя. А с другой стороны,

этому обществу — лишённому нравственной силы и способности к дружной работе, власть и не может доверять. В обществе преобладает отрицательное отношение и к вере отцов, и к истории, быту и пониманиям своего народа. Либеральное направление так же ложно и крайне, как и правительственное. А всё же можно устранять и устранять недоверие между властью и обществом, и достичь их живого взаимодействия.

Власти должны перестать считать, что самодеятельность общества подрывает самодержавие. Общество уже сегодня должно самостоятельно заведывать местными потребностями и не быть под административным произволом и личным усмотрением. Проекты государственных учреждений должны быть доступны общественной критике до утверждения их Государем.

Всего-то, для начала! Неужели — много, Ваше Императорское Величество? Шипов не предлагает конституции, он не зовёт к политической борьбе — но лишь к моральной солидарности с народом. Неужели земцы устроят в своей местности хуже, чем из Петербурга укажут бюрократы, никогда не знавшие земли?

Так думал и действовал Шипов четыре срока в своей земской должности, и в начале 1904 был избран на пятое трёхлетие. Авторитет его не только в московском, но и всероссийском земстве был уже таков, что даже при нарастающих спорах и расколе его оппоненты голосовали за него первого и постоянно желали видеть председателем именно его. (Душевная чистота, внимающая мягкость, основательность мысли и твердость поведения — обдают и современного читателя со страниц его медлительных записок.) В том же духе любви, внимания и добра пытался Шипов стоять перед министром Плеве, и был им — сначала обманут, затем подвергнут притеснениям, перлюстрации писем, затем — неутверждению в пятом избрании:

самозванец «всероссийского земства»; его деятельность по расширению компетенции земств и объединению их вредна в политическом отношении.

Весной 1904 Шипову осталось уйти от земских дел, удалиться в свое волоколамское имение. А 15 июля Плеве был убит террористом.

Это известие произвело на меня угнетающее впечатление. Моему мышлению и чувству всегда было непонятно, как можно, стремясь к переустройству уклада жизни на началах добра и высшей правды, идти путём преступного убийства.

А Струве и давно пророчил так:

Жизнь министра внутренних дел застрахована лишь в меру технических трудностей его умерщвления.

От убийства непримиримого Плеве — надежды либералов вспыхнули багряным протуберанцем, по всей России наступило ликование, политическая весна. А шла ж ещё и Японская война — начатая без ясной причины, чужая, далёкая и позорно-неудачная, настолько чужая и настолько позорная, что оскорбления от неё уже перешли меру, стало даже приятно позориться и дальше, и ждать поражений, чтобы в них крахнуло самодержавие и должно было бы пойти на внутренние уступки. В эти месяцы родилось слово *режим* вместо «государственный строй», как нечто сплетённое из палачей, карьеристов и воров, и в столичном театре публика кричала балерине, любовнице великого князя Алексея Александровича, возглавлявшего морское ведомство: «Пошла вон! На тебе висят наши броненосцы!» «Освобождение» писало: господа военные, «нам не нужно вашей бессмысленной храбрости в Маньчжурии, а — ваше политическое дерзание в России; обратитесь против истинного врага, он в Петербурге, Москве, это самодержавие!» В обществе не было никакого страха перед властью (да теперь-то хоро-

шо видно, что и нечего было им бояться), на улицах произносились публичные речи против правительства и считалось, что террористы — творят *народное дело*.

Правительство сразу сдало, сразу размякло и ослабло, как будто на одном Плеве держалось, как будто никогда не имело никакой самодвижущей программы (да и вправду не имело), а лишь рассчитывало силы: пока держишься — дави, а рука расслабнет — улыбайся и уступай. Революционеры же цедили сквозь зубы, что либеральная сволочь опять пожнёт плоды их революционного пота, опять смажет революцию в реформы.

И снова замигала на русском пути тёплая точка возможного соглашения. Летом 1904 министром внутренних дел был назначен князь Святополк-Мирский, хотя и мало подготовленный к этой деятельности и не сильный, но искренно заявивший в первой же речи, в сентябре:

Плототворность правительственного труда основана на благожелательном и доверчивом отношении к общественным учреждениям и к населению. Без взаимного доверия нельзя ожидать прочного успеха в устроении государства.

Да это и была программа Шипова и его меньшинства! Но уступку министра подхватило и всё земское большинство, посыпались телеграммы ему — и тут же стали готовить давно задуманный общеземский (видных, но никем не уполномоченных земцев) съезд. Именно уступчивость Святополк-Мирского толкнула радикально настроенных земцев требовать большего, чем они хотели раньше: получить не обещания очередного министра, но правовые гарантии. Всё оргбюро земского съезда были конституционалисты, почти все — члены Союза Освобождения, и проголосовали против одного Шипова (впрочем, прося его остаться председателем): снять предлагавшиеся робкие вопросы о недостатках земских учреждений, об условиях сельского быта, о народном образовании и поставить вопрос *об общих условиях нашей государственной жизни*. Доверчивый Святополк-Мирский по прежнему представлению Шипова ходатайствовал перед Государем разрешить съезд, посвящённый *местным* вопросам, а между тем съезд уже превращался в подобие желанного заветного Учредительного Собрания — и всё общество стихло, напряжённо ожидая его. А тут Государь был всё занят военными парадами, и когда Святополк доложил ему о своей ошибке, о невольном обмане — было уже поздно: уже съезжались в Петербург сто радикальных земцев. В последнюю минуту изнехотя им разрешён был статут частного совещания. 6—9 ноября они совещались на частных квартирах, меняя и тая адреса, впрочем полиция вежливо охраняла их собрания и доставляла им приветственные телеграммы с разных концов страны, даже от политических ссыльных. (В кулуарах сновал с программой Союза Освобождения Миллюков, воротившийся с пораженческой парижской конференции.) Шипов не уклонялся председательствовать, надеясь повлиять примиряюще на совещание, начатое с убеждением:

Если не дано будет правильно обоснованных начал, Россия пойдёт с неизбежностью к революции.

...Ненормальность нынешнего государственного управления... Общество устранено... Нет гарантий охраны прав всех и каждого... Свобода совести, вероисповедания, слова, печати, собраний, союзов... Неприкосновенность жилища... Независимая судебная власть... Уголовная ответственность должностных лиц... Уравнение сословий и наций... — весь этот реестр из программы Союза не вызывал расхождений в земском съезде. И всё же произошёл раскол: оговорить ли и требовать, чтобы народное представительство было законодательное, утверждало бы бюджет и контролировало администрацию (большинство)? Или только участвовало в законодательстве, для чего Государственный Совет превратить в Государственно-Земский, а его бюрократический назначенный состав — заместить многостепенно выбранными, от волости до губернии, земскими представителями (меньшинство)?

Аргументы Шипова звучат особенно интересно ныне, когда все мы приняли точку зрения его противников, когда всем нам прямые равные тайные выборы кажутся верхом свободы и справедливости. Ш и по о указывает:

Народное представительство должно выражать не случайно сложившееся во время выборов большинство избирателей, а — действительное направление народного духа и общественного сознания, опираясь на которые власть только и может получить нравственный авторитет. А для этого надо привлечь в состав народного представительства наиболее зрелые силы народа, которые понимали бы свою деятельность как нравственный долг устройства жизни, а не как проявление народовластия. При всеобщих прямых выборах личности кандидатов остаются избирателям практически неизвестными, и избиратели голосуют за партийные программы, но по сути не разбираются и в них, а голосуют за грубые партийные лозунги, возбуждающие эгоистические инстинкты и интересы. Всё население, лишь это предположение современного конституционного государства, что каждый гражданин способен судить обо всех вопросах, предстоящих народному представительству. Нет, для сложных вопросов государственной жизни члены народного представительства должны обладать жизненным опытом и глубоким мирозерцанием. Чем менее просвещён человек умственно и духовно, тем с большей самоуверенностью и легкомыслием он готов разрешать самые сложные проблемы жизни; чем большим развитием ума и духа обладает человек, тем осторожнее и осмотрительнее относится он к устройению жизни общественной и частной. А кроме того народное представительство должно вносить

в государственную жизнь знание местных потребностей, назревающих в стране. Для всего этого лучше школой является предварительное участие в местном, земском и городском, самоуправлении.

И потому вместо всеобщих прямых выборов западно-парламентского образца Шипов предлагал трёхстепенные внесловные общие выборы хорошо знакомых избирателям достойных, способных местных деятелей: в волостях избирается уездное земское собрание, в уездах — губернское, в губерниях — всероссийское, каждый раз — с особым учётом крупных городов, и с правом кооптации до одной пятой состава на каждом уровне,

чтобы не были упущены весьма полезные деятели, не избранные по случайным причинам: перевеса числа достойных кандидатов над числом допустимых гласных, неблагоприятные личные обстоятельства и т. д.

И во всех стадиях выборов обеспечить пропорциональность, так чтобы представители меньшинств нигде не были исключены или заглушены.

Затем: министры *назначаются* Государем, но из числа народных представителей; Государственно-Земский Совет может давать им запросы, но *ответственны* они — лишь перед Государем. На возражение большинства:

Так значит, остаётся абсолютизм монархической власти? народному представительству — лишь совещательный голос?

Шипов отвечал:

Да, с *правовой* точки зрения — так, если считать, что цель народного представительства — ограничение царской власти. Но если иметь в виду их *тесное единение*, если над монархом тяготеет тот же нравственный долг, что и над народным представительством, — тогда как же мог бы монарх не посчитаться с ним? и тогда избыточен вопрос — решающий или совещательный голос у народного представительства.

Увы, ни монарха такого не было на Руси в 1904 году, ни таких народных представителей не дало бы избрать шумливое образованное общество.

В том-то и дело, что раскол земского съезда был глубже вопроса о форме выборов или правах народного представительства, глубже практического и организационного, а уходил к корням мировоззрения. Шипов указывал большинству, что класть в основу реформы идею *прав и гарантий* значит вытраивать и выветривать из народного сознания ещё сохранённую в нём религиозно-нравственную идею. Оппоненты из большинства за то назвали его славянофилом, хотя не признавал он ни божественного происхождения самодержавия, ни превосходства православия над другими христианствами, — но уж так усвоено было полувеком раньше (да и полувеком позже), что всякий, кто хочет укло-

ниться от прямого следования западным образцам, всякий, кто допускает, что путь России (или другого какого континента) может оказаться своеобразным, — есть *реакционер, славянофил*.

Этот раскол на квартире Владимира Набокова, ещё не до конца осознанный присутствующими, как будто спор об одном пункте из дожины, раскол на земцев-конституционалистов и собственно земцев, так сказать, если выругаться, на земских большевиков и земских меньшевиков (игра событий, мало запомненная в нашей истории), тем отличался, однако, от раскола РСДРП двумя годами ранее, что тут большинство настаивало непременно включить в резолюцию параллельно также и мнение меньшинства. И тем, что большинство (а это и была уже партия кадетов, но ещё себя не осознавшая) желало мирных реформ, желало эволюции.

Святополк-Мирскому была подана записка об этих желательных реформах.

...Нынешняя война вскрыла язвы бюрократического строя глубже, чем севастопольская... Старый порядок осуждён человеческим и Божеским судом... Как в эпоху освобождения крестьян, правительство должно стоять впереди, а не позади общества...

Так мигала, миганием уговаривала новая тёплая точка. Хотя съезд переступил свои полномочия и границы, но, кажется, приотворялась давно потерянная возможность доброжелательного соглашения общества и власти. Святополк-Мирский, рискуя постом министра внутренних дел, представил Государю необходимость начать реформы, с искренним намерением далеко в них пойти. Да Государь как будто и не возражал, только мялся, только не сразу соглашался, по своей недоверчивости и скрытности.

А тем временем окрылённые победители — земское большинство, кинулось по России рассказывать о победе и, тут уже сливаясь с упоённым Союзом Освобождения, по его директивам из-за границы, и пользуясь святополковым же облегчением собраний и слова (над которым они же и смеялись), раскатили в единый месяц по всей России *банкетную кампанию*: в каждом крупном городе собирались многолюдно, шумно, в смешанном, случайном составе, в складчину, белоснежные скатерти, духи, шампанское, и, раскачивая друг друга всё большею смелостью тостов, седовласый профессор о заветах Вольтера, конопатый землемер о программе с-д, провозглашали во торжество общеземского съезда уже не то, что он предлагал, но — долой самодержавие! но, наполняя лёгкие радостью, — да здравствует Учредительное Собрание! — как если бы страна уже корчилась в развалинах и надо же было учредить хоть какую-нибудь власть.

Что за праздник смелых либералов! Что за радость — выйти перед длинным белым столом и, немного уже в пьяне, говорить против власти, ничего не боясь, и почтить своим тостом отважных революционеров, принесших России такую свободу!

А с трона увиделось: вот чего на самом деле земцы хотят, лишь притворяются о соглашении. Уступить сейчас этому шуму — значит скоро потерять всё. (Да ведь и правда.)

И 12 декабря Николай II отменил пункт о всяком вообще, каком бы то ни было народном представительстве, хоть совещательном, хоть законодательном. Остальная программа земцев, по сути, принималась, но обществу это уже не годилось, тем более что сборища были осуждены и запрещалось обсуждать государственные вопросы. И Святополк подал в отставку.

Точка накалилась до багровости и лопнула в темноту.

А события быстро катились. 9 января в Петербурге расстреливали рабочую демонстрацию. 5 февраля был убит московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. И сразу — новый язык и новые понятия появились у российского монарха. Если 12 декабря писалось:

Земские и городские учреждения и общества обязаны не касаться тех вопросов, на обсуждение которых не имеют законных полномочий,

то в Указе 18 февраля вдруг:

В неустанном попечении об усовершенствовании государственного благоустройства... признали Мы за благо облегчить нашим верноподанным возможность быть Нами услышанными. Совету Министров рассматривать и обсуждать поступающие виды и предположения от частных лиц и учреждений...

За что карали 12 декабря, за то благодарили 18 февраля. И — начинали подготовку Государственной Думы. Так отступала сила, признающая только силу.

А в открывшуюся калитку хлынул Союз Освобождения, который *полнее* представлял Россию, чем отсталые земцы, — и вот уже ворота разносил! Союз не имел дисциплины, организации, но все замыслы его тотчас подхватывались сочувствующей интеллигенцией, и в этом была его сила. По его директивам стали создаваться в стране союзы профессий, сперва только интеллигентных — адвокатов, писателей, актёров, профессоров, учителей, — но не для защиты профессиональных интересов, а — для подачи трафаретных единичных предложений: о всеобщем избирательном праве, Учредительном Собрании, конституции. Это раскинулось и на все и на всякие другие профессии, какие только можно было словами назвать, — союзы ветеринарный, крестьянский, еврейского равноправия, — и все подавали одни и те же предложения, а вот слились и в единый Союз союзов, который и явился уже собственно *волей народа* (Милоков) — а чем же другим? (Разве что по Троцкому: «земской уздой, накинутаой освобожденцами на демократическую интеллигенцию».) Главная задача была — раскалить общественную обстановку! Сам Союз Освобождения давно уже потерял внутренний паритет между земцами и не-земцами, всё больше затоплялся левыми интеллигентами

и разрастался налево, налево, налево. В апреле 1905 состоялось ещё одно общеземское совещание — всё под влиянием освобожденцев, банкетов, резолюций, *превосходное в радикализме, устанавливая новый политический рекорд* (Милюков).

Неповоротливая группа Шипова ушла с совещания, сметена с дороги истории.

Что за изумительное сладчайшее время наступило для мыслящей русской интеллигенции! Самодеятельный кружок седовласых законовевдов — Муромцева, Ковалевского, вместе с учёной молодёжью сидел, под тяжёлую пальбу Цусимы вырабатывая будущую русскую конституцию (где предпочитались выборы *прямые*, чтобы избранные были меньше связаны с местными условиями, меньше обязаны своим избирателям, и оказались бы не деревенские, а свободные высококультурные люди). Уже собирались пожертвования на будущую партию интеллигенции от богатых дам и широкощедрых купцов. В лучших особняках разряженная богатая свободная публика с замирием сердца слушала новых модных смелых лекторов, среди них — полулегендарного, очень революционного Милюкова, чья учёная карьера десять лет назад прервалась предвещанием российской конституции. С тех пор он жестоко преследовался: за лекцию студентам с выводом о неизбежности террора стеснён был в петербургском жительство, лишь на день приезжал в столицу, а жил в Удельной; ссылался в Рязань; но более всего ездил по заграницам, читал лекции в Англии и в Америке об извечных пороках России и бушевал в «Освобождении» под псевдонимом. Он много повидал и читал заграничного, сокасался с социализмом (и даже с Лениным), и вот — как всегда в истории приходит на нужное место нужный человек и в нужном возрасте — сорокапятилетний Милюков спустился в Россию перед созданием новой партии, чтобы стать её лидером, в лекционных гастролях по Москве и провинции выдвигал увлекательную идею *примирить конституцию и революцию*, либералов и революционеров, и если университетский друг его Гучков обвинял Милюкова в книжности, неорганичности, беспочвенности для России, то, справедливо отмечает Милюков,

общие симпатии были, конечно, на моей стороне.

Обстановка призываемой, приближаемой, изо всех интеллигентских сил нагнетаемой революции — *симуляции революции* (её ещё нет, но вести себя так, как будто она уже началась и освободила нас!), всё больше и больше нравилась передовому русскому обществу. Союз союзов проводил съезды чуть не по два раза в месяц и призывал своих членов повсюду в стране не просить свободу, а *брать её явочным порядком*, как тогда говорилось: раздвигать локтями, искать поводов для демонстраций, для политической борьбы, устраивать совещания, собрания, митинги. Председателем одного такого съезда вынесло Милюкова, и он воззвал:

Надежда, что нас услышат, теперь отнята. Все средства законны против нынешнего правительства! Мы обращаемся

ко всему, что есть в народе способного отозваться на грубый удар, — всеми силами добивайтесь немедленного устранения захватившей власть разбойничьей шайки и поставьте на её место Учредительное Собрание!

Эту *разбойничью шайку* не зря спустил с пера рассчётливый Милюков: она помогла ему прочно восстановить свою репутацию слева — а то обвиняли его уже, что он — примиритель направо, а с таким клеймом в такое время невозможно было жить. Эта «разбойничья шайка», как сам он считает, и провела границу между ним и Гучковым, между отчаянным *кадетизмом* и соглашательским *октябризмом*. Милюков убеждался всё более, что делать современную историю — лестно, интересно и ничуть не трудней, чем изучать минувшую.

Симуляция революции принимала всё большее правдоподобие. В начале июля собралось в Москве, в громадном княжеском дворце Долгоруковых в Знаменском переулке, новое земско-городское совещание, уже без шиповского меньшинства. Полиция, пришедшая распустить «явочный» съезд, была отвергнута, ибо собравшиеся «выполняли царскую волю» от 18 февраля:

облегчить Нашим верноподанным возможность быть Нами услышанными.

А резолюция их была:

войти в ближайшее общение с народными массами для совместного с народом обсуждения предстоящей политической реформы.

А понималось — просто собрать Учредительное Собрание тоже *явочным порядком*. Эти конституционалисты особенно рассчитывали разжечь народные массы на аграрном и рабочем вопросе. Да ещё и все виды социалистов в те же самые недели занимались *развязыванием* революции в массах, а боевые эсеровские дружины по разным губерниям и сельским местам убивали околоточных, урядников и даже губернаторов, — и массы все более сознательно откликались забастовками и поджогами помещичьих усадеб — «иллюминациями», как пошутил Герценштейн. Всё шло таким образом к Учредительному Собранию. Однако некоторые конституционалисты (имевшие в скромных и даже нескромных размерах весьма приятную, нисколько не обременительную собственность) как будто начинали пугаться и отшатываться — и Павел Николаевич Милюков со всею принципиальностью должен был резко отповедать им:

Если члены нашей группы настолько щекотливо относятся к *физическим средствам* борьбы, то я боюсь, что наши планы партии окажутся бесплодными. Несомненно, вы все в душе радуетесь известным актам физического насилия, которые всеми заранее ожидаются и историческое значение которых громадно.

Собрание устыдилось, приняло нужные резолюции и распространило их по России.

Всего полгода назад упрямая власть не хотела удовлетворить и самых малых требований — теперь уже и большие уступки не насыщали общества. В июле царь собирал тайно в Петергофе совещание высоких приближённых выработать проект Думы. (В то совещание был допущен и Ключевский. Милюков мило рассказывает, как

они открыли перед Ключевским все свои потаённые планы, и Василий Осипович не без лукавства, ему свойственного,

ежевечерне в петербургской гостинице всё передавал своему далеко пошедшему ученику.) 6 августа был издан новый манифест — об учреждении законосовещательной Думы. Появись она при Святополке, она, может быть, и удовлетворила бы. Но теперь не силу, а слабость показывало правительство, идя на реформу не из устойчивого доброго намерения, а под угрозами; каждым словом и каждым шагом выявляло правительство, что не понимает оно положения страны, настроения общества, и не знает, как лечить их и делать что. Все умеренные элементы стихли и отодвинулись, все рассерженные не покидали митингов и разливались в газетах. Предложенная Дума была отвергнута не только большевиками — даже и милюковская группа колебалась (очень чутко оглядываясь почему-то на Троцкого), а тут ещё эту группу на месяц посадили в Кресты — всё делая нелепо, всё делая как власти хуже, и через месяц выпустили без единого допроса, только прибавив ореола. Уже вступила верховная власть России в тот безнадежный круг, когда разум отнят Богом. В тот же нагнетённый август правительство уступило и объявило автономию высших учебных заведений — но только создало острова революции, неприступные для полиции: беспрепятственно бушевали студенты на митингах, и к ним собиралась всякая публика, желающая послушать и побраниться. И кому теперь была нужна законосовещательная Дума? Новый общеземский съезд в сентябре хотя и не бойкот ей объявил (как раз *их* и должны были выбрать туда), но: идти в эту Думу, чтобы взрывать её изнутри. После ухода шиповского меньшинства ещё новое малочисленное гучковское меньшинство тщетно спорило с интеллигентскими теоретиками Союза Освобождения. А Союз все более заливался социал-демократией, даже прятал на частных квартирах преследуемый Совет рабочих депутатов.

Так и отлилась *конституционно-демократическая* партия, *кадетская*, как вскоре же, по общей фамильярности революционных сокращений, их назовут, и примут они. (И эта кличка «кадеты» смешается с прозвищем военизированных юнцов, слегка различая их в падежном склонении, смешается сперва невинно, а через 13 лет уже и порочно — когда тем самым мальчикам достанется оборонять этих самых интеллигентов, от этой самой революции бежавших, и весь котёл их обречённый так и будет зваться *кадеты*.) Правда, скоро схватится новая партия, что сочетание «ка-дэ» очень мало объясняет российскому обществу, и на ходу они сменят своё полотно на Партию Народной Свободы, — как будто и звучно и народное что-то добывавая. Но без употребле-

ния будет трепыхаться полотно, а язык прилепит «кадетов». Впрочем, подмена была не манёвром, но верою их: кадетские лидеры так и верили, что их устами и мыслями выражает себя весь огромный народ, с трибун так часто и обмолвливались о себе, как о прямых и точных выразителях народных чаяний, им хорошо известных.

Учредительный съезд партии собрался в Москве («первопрестольная — родина кадетизма», — комично составлял Милоков) при растущей железнодорожной и общей забастовке, так что даже не могли приехать три четверти ожидаемых делегатов. Нелегальные подпольные партии уже много лет существовали в России — и в общем расколе Пятого года сами вышли на поверхность, но легальная от рождения — это была первая партия. А в программе был у неё всё тот же сворот головы налево, обязательный для радикалов во всём мире, многие лозунги и оттенки, не вытекавшие из собственного их осознания, но чтобы сохранить питающую связь с левизной. Нововзошедший лидер партии Милоков отгениал с гордостью, что они — самые молодые из европейских либералов, и что программа их

наиболее левая из всех, какие предъявляются аналогичными нам политическими группами Западной Европы.

Очень резко отъединяясь ото всех, кто остались справа, как от преследующих классовые интересы, Милоков при полном согласии съезда взывал к союзникам слева. Да новая партия сама настолько слева, что её учредительный съезд заявляет свою полнейшую солидарность с забастовочным политическим движением. Члены к-д партии *решительно отказались от мысли добиться своих целей путём переговоров с представителями власти.*

Съезд не успел ещё кончиться, как вбежал сотрудник «профессорских» «Русских Ведомостей», в изнеможении и восторге потрясая непросохшим корректурным листком с Манифестом 17 октября.

Радость! Победа! Но — верить? не верить? Хитрость? оттяжка? Противник пал духом? Делегаты валили на Большую Дмитровку на банкет, там в игорном зале подбросили Милокова на стол говорить, и он, уже смерив, возгласил:

Ничего не изменилось! война продолжается!

Надо было и дальше вести Россию, как пришла она к Манифесту: соединением либеральной тактики с революционной угрозой. Мы хорошо понимаем и вполне признаём верховное право Революции...

Стало модно повторять Вергилия — *flectere si nequeo superos Acheronta movebo*, если не смогу склонить Высших — двину Ахеронт (адскую реку).

И почему ж бы нет, если союзницу-революцию можно будет использовать против власти, перепугать, — а когда нужно, всегда остановить? Как иначе, если в эти первые дни конституции висит в консерватории плакат «На вооружённое восстание» — и под ним с интеллигентов собирают деньги? Если публично читаются доклады о сравнительных до-

стоинствах браунинга и маузера? Столько лет бесплодно бившись о неуступчивую, безмыслотупую бюрократию — как в горячности трибунных прений не окрылиться алыми крыльями революции? Если мордам неподатливым ничего доказать нельзя — где набраться терпения на тягучие бесконечные уговоры? как удержаться от желания ахнуть их дубиною по башке?

Сразу после Манифеста пригласил Витте кадетов в формируемый новый кабинет. Едва создалась партия — и сразу открылся ей путь: идти в правительство и ответственно искать, вдумчиво устраивать новые формы государственной жизни. Казалось бы — о чём ещё мечтать? не этого ли добивались — перенять власть и показать, как надо править? Но нервные, голосистые кадеты на этом первом шаге выявили: они не были готовы от речей по развалу власти перейти к самой работе власти. Насколько почётней и независимей быть критикующей оппозицией! (Через 12 лет на скольких мы это ещё увидим: при крайнем политическом задоре — растерянный самоотказ от реальной власти.) Их делегация к Витте во главе с молодым идеологом и оратором Кокошкиным сразу приняла вызывающий тон, требовала не устройства делового правительства, но — Учредительного Собрания, но — амнистии террористам, не оставляя нынешней власти ни авторитета, ни места вообще. Да иначе — что бы сказали слева? пойдя на малейшее сотрудничество с Витте — чем бы тогда кадеты отличались от правых?

Увы, левым не угодили всё равно... Едва только учредили кадетскую партию, как московские «освобожденцы» стали из неё выходить, а петербургские, не попавшие вовремя на поезд, теперь и вовсе — не входить. Союз Освобождения хлестал налево и шёл едва ли не за Советом рабочих депутатов. Даже самые отрицательные переговоры с Витте социал-демократы признали

постыдным шагом, сделкой буржуазии с правительством за счёт народа

и стремленьем уцепиться за министерские посты.

Напротив, Д. Н. Ш и по в объяснял кадетов так:

Эта партия объединила лучшие умственные силы страны, цвет интеллигенции. Но политическая борьба для них являлась как бы самодовлеющей целью. Они не хотели ждать, пока жизнь будет устроиться, постепенно обсуждаемая в её отраслях специалистами со знанием и подготовкой, — но как можно быстрее и как можно жарче вовлекать в политическую борьбу весь народ, хотя б и непросвещённый. Они торопили всеобщие выборы — в обстановке, как можно более возбуждённой. Они не хотели понять, что народным массам чуждо понимание правового начала, проблем государственной жизни, да и самого государства, и тем не менее спешили возбудить и усилить в народе недовольство, пробудить в нём эгоистические интересы, разжечь грубые инстинкты, пренебрегая народным религиозным сознанием.

К религии кадеты были если не враждебны, то равнодушны. Их безрелигиозность и мешала им понять сущность народного духа. Из-за неё-то, искренно стремясь к улучшению жизни народных масс, они разлагали народную душу, способствуя проявлению злобы и ненависти — сперва к имущественным классам, потом и к самой интеллигенции.

А Гучков круче:

Я никогда не скрывал своего безусловно отрицательного отношения к партии к-д. Я считаю, что эта партия сыграла роковую роль в истории нашей молодой политической свободы. Я присутствовал при её зачатии и рождении и сказал в своё время слово предостережения. Эта партия ловко подседа на запятки русской революции, приняв её за ту триумфальную колесницу, которая доведёт их до вершин власти, и не заметив, что это просто дрянная телега, которая вконец завязла в кровавой грязи.

День открытия 1-й Думы 27 апреля 1906 стал не днём национального примирения, но днём нового разгара ненависти. Кадеты шли на открытие Думы, размахивая в такт шляпами, политические солдаты. Дума, избранная по «пробному» виттевскому избирательному закону (и частью — из людей, чуждых всякой законности), — никак не пыталась сама себя сдерживать и требовала не меньше, как в с ё, — ни пол-вся, ни четверть-вся. Вопреки конституции 1-я Дума впала в соблазн представлять всю волю народа и государственную волю — одной собой, как новая самодержица. И Кокошкин доказывал, что Дума не обязана выполнять ничьих в стране постановлений.

Лишь через 30 лет, поздним умом эмиграции вспоминал — да не типичный кадет, а умнейший из них,

В. М а к л а к о в: В 1906 году Революции не было. Началось выздоровление. Монархия уступила свою главную привилегию — самодержавие. Она отказалась и от другого «устоя», который тяжёлым ярмом давил на всю русскую жизнь, от сословного строя. В программе правительства появилась старая программа либерализма. И постепенный переход земли к крестьянам, и развитие повсюду самоуправления, законность, независимый суд, просвещение. Общество в лице Думы получило возможность контролировать проведение этой программы, ставить преграду реакционным уклонам, даже брать на себя инициативу реформ. Почему же с самого *первого* дня, даже раньше первого заседания Думы, она вместо сотрудничества объявила власти войну? Вместо того, чтобы взять на себя неблагодарную, но почётную роль умерять безрассудное нетерпение общества, сама его подстрекала. Ни о какой постепенности реформ она не хотела и слышать. Радикальное изменение

ещё не испытанной конституции, установление полного народоправства, одновременное и массовое отчуждение частных земель, образование правительства из представителей Думы и ей подчинённого — были её *первыми* требованиями. Уступить им — значило бы приблизить революцию на 11 лет.

Правда, с-д меньшевики с колебанием, остальные левые вполне уверенно, зовя и понукая революцию вернуться, объявили бойкот 1-й Думы. От этого кадеты, внезапно для себя, оказались в Думе с голым левым боком, оказались очень левыми. Единственные, кто беззастенчиво владел европейской тактикой выборов, они захватили больше трети Думы, стали в ней самой многочисленной фракцией — но не клонились помышлять о нормальной, законодательной работе в её позорной умеренности. Победа на выборах затмила им глаза, обещала так же легко свалить и власть. Они не хотели быть осмотровыми и тратить 4 года на то, чего можно натиском достичь в 4 недели. И когда Милоков, на преддумском кадетском съезде впервые проявляя свои сильные копыта торможения, попытался свернуть партию с крылатого революционного пути на скучный парламентский, он получил отпор сокадетников: игнорировать правительство! игнорировать законы, изданные после 17 октября! игнорировать Государственный Совет! провести программу в форме *ультиматума*! если правительство не уйдёт — *воззвание к народу!* умереть за свободу!

Элоквентный Р о д и ч е в:

Дума разогнана быть не может!.. Сталкивающийся с народом будет столкнут в бездну!

К и з е в е т т е р: Если Думу разгонят — это будет последний акт правительства, после которого оно *перестанет существовать!*

В духе того и седовласый вальяжный председатель 1-й Думы Муромцев, уже готовясь стать первым русским президентом, не желал общаться и разговаривать с министрами и даже запретил называть их правительством. (Маклаков объяснил Муромцева так:

Тип, которому нужен парламент. Для формулирования своих убеждений им нужны постановления коллективов: защищать своё мнение с яростью, пока не состоялось решение, а потом повиноваться безпрекословно. Такие могут требовать в речах того, что заведомо невозможно, — и создают иллюзию, и сами верят, что реакция помешала им дать стране нужное благо. Личной ответственности на них не лежит никакой. Оценку себе ищут в газетных отзывах.)

В первом же адресе на имя монарха эта неврастеническая Дума разговаривала с Верховной властью ультимативно, та отвечала Думе настаивательно, как подчинённому учреждению. *Друзья слева*, сплочённые кавказские социал-демократы, разжигали кадетов, и Дума требовала амнистии террористам и царевубийцам, сама отказываясь вынести мо-

ральное осуждение террору. И так это прочно сидело в кадетях, что кадетский патриарх Иван Петрункевич, с миротворчества которого начала эта глава, воскликнул:

Осудить террор? Никогда! Это была бы моральная гибель партии!..

Однако этой 1-й Думе и этому кадетскому большинству всё ещё серьёзно предполагалось поручить сформировать правительство и дать вести Россию. Шли тайные переговоры при Дворе, сновали и встречались министры, так же тайно встречался с ними Милюков, «управлявший Думою из буфета и журналистской ложи», ибо не попал депутатом её. Милюков уже рвался получить премьера, но переговоры оказались тщетны, кадеты отказывались отречься от всеобщего принудительного отчуждения земли, роспуск Думы всё более проступал — и на эту роль, заменить Горемыкина на посту премьера и распустить 1-ю Думу, Верховной властью был определён... Шипов.

И что ж? Противник конституции, всех партий вообще, а кадетской в частности, заявил Государю, что роспуск уже собранной, пусть агрессивной Думы представляется ему несправедливым и даже преступным. С 17 октября он, по высочайшему повелению, как и все подданные, принял конституцию, и считает нужным быть верным ей, и ничего другого не ждёт и от самого Государя. По его мнению, Дума была бы много умиротворена, если бы правительство продолжало развивать начала Манифеста, а не отступало от них. Теперь уже возглашены и Основные Законы, по которым власть разделяется впредь между Государем, Думою и Государственным Советом, и в тронной речи объявлено, что день открытия Думы есть день обновления нравственного облика русской земли. Равно не может Шипов принять на себя и руководство предлагаемым коалиционным правительством, но считает, что очень отвечало бы духу времени правительство, возглавленное кадетами: оно вырывало бы их из антигосударственных элементов, из безответственной оппозиции и делало бы государственной партией. Может быть, они сами тогда распустят Думу, чтоб освободиться от левого крыла. На вопрос Государя о возможном главе такого правительства Шипов ответил, что самым влиятельным, талантливым и эрудированным среди кадетов надо признать Милюкова, однако в нём слабо развито религиозное сознание, то есть сознание нравственного долга перед Высшим Началом и перед людьми, а потому, стань он премьером, его политика вряд ли способствовала бы духовному подъёму населения. Кроме того, он слишком самодержавен и будет подавлять товарищей. Шипов рекомендовал Муромцева.

Но захваченные резким левым вихрем и с лево-свёрнутыми головами, способны ли были кадеты взять на себя то государственное бремя? Министр внутренних дел Столыпин уверен был, что — не смогут, что свалят под откос. Человек действия, он не мог допустить такого опыта: пусть несут, куда понесут, когда все вместе разобьёмся — тогда поймём.

Под влиянием Шипова Государь как будто и склонился создать кадетский кабинет, но лишь неделю думал так. Тем временем террор про-

должался. Тем временем встревоженные кадеты осудили Милюкова, до сих пор скрывавшего от фракции свои тайные переговоры с министрами. Тем более вздыбилась фракция против тормозных усилий Милюкова задержать такой неопарламентский приём, как воззвание к народу по аграрному вопросу (в постоянной заботе кадетов будоражить крестьянство): обратиться в их пользу земли казённые, удельные, кабинетские, монастырские, церковные и принудительно отобрать частновладельческие!

66-летний премьер Горемыкин, умеренный, вяловатый, со спокойствием, отработанным долгой службой, ничему не удивлённый, ничем не взволнованный, ибо всё в истории повторяется, и сила одного человека недостаточна, чтобы её повернуть, — все эти месяцы видел, что с этой Думой работать никак не удастся, но продолжал невозмутимо работать, поскольку так сложились обстоятельства и пока того хотел Государь. Теперь же Дума переступила через край, а у Государя, как видел Горемыкин, было желание, но не хватало решимости Думу разогнать; мелькали ужасные видения 1905 года, которые могли взметнуться с ещё большею силой. И тогда старик решился на самое большое усилие своей жизни: с фамильным образом он приехал на приём к Государю и вместе с ним молился о Господнем содействии и просил повеления себе — распустить Думу, уйти в отставку, а бразды передать из своих усталых рук в твёрдые руки молодого решительного Столыпина. И получив такое повеление, он отправился к себе, отдал распоряжение о роспуске, сам же сказался в нетях и не велел прислуге искать и звать себя ни по какому вызову. Действительно, в тех же часах Государь усумнился в отчаянном решении и вызывал Горемыкина передумать — а Горемыкина нигде не было.

Столыпин же успокоил Думу, встревоженную слухами (распустят? останемся в креслах сидеть, как, бывало, римский сенат! апеллируем к стране, вся страна поднимется! да никогда не посмеют!), — в воскресенье 9 июля расставил солдат близ Таврического дворца, повесил большой замок на двери, а по стенам — царский манифест:

Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного...

И — что же теперь было кадетам? И — как же им перед революционной Россией? С воскресного утра кинулись собирать депутатов, а тем временем в запертой квартире на пыльном рояле набрасывали новое Воззвание, и Винавер находил, что в проекте Милюкова

нет стихийной негодующей силы, а надо, чтобы крик возмущения прозвучал как блеск молнии.

Окончательно составили воззвание Винавер с Кокошкиным. Но из вызовов Милюкова так и осталось: не платить податей! (впрочем, прямые налоги составляли ничтожную часть государственного бюджета) — и не давать государству рекрутов! (впрочем, их набор наступит лишь в ноябре).

А уж раньше было задумано у них на случай разгона: всем ехать на вольную финляндскую территорию, в Выборг. Оглядчивые депутаты-

крестьяне, к кому и было всё милюковское воззвание, увы, не поехали, ни один. Поехало около трети Думы, самые пылкие (из них человек тридцать скрылись потом). В тот же воскресный вечер открыли заседание в отеле «Бельведер», и председательствовал всё тот же благообразный непременный Муромцев. Приехали и трудовики (легальные эсеры), и социал-демократы (однако, *резервируя вооружённое восстание*).

Выступали — Кокошкин, безымянный Петрункевич, Френкель, Герценштейн, Йоллос, и лидеры трудовиков Брамсон, Аладьин, — и все пылали негодованием, и никто не мог предложить разительной меры, убийственной для правительства. Такой манифест, какой получался, — за него народ не прольёт крови, увы.

Объявить себя Учредительным Собранием? Присвоить себе функции правительства? Считать себя полной Думой и отсюда не расходиться?

Ж о р д а н и я (с-д): Хотя здесь — треть Думы, но именно те, которые по праву являются...

Р а м и ш в и л и (с-д): Ещё недавно мы были уверены, что не вернёмся домой без земли и воли. Но (*презрительно*) вы на решительные средства не пойдёте.

(Т р у д о в и к и): Дело народа — в руках самого народа! Армия с оружием в руках... защищать дело свободы! Правительство — больше не правительство! Повиноваться властям — преступно!

Но — ч т о же делать? Опять оставалось: не платить податей и не ставить рекрутов. (Не желая замечать, что эти удары — по всему государству, а не по правительству.)

— Всеобщую забастовку?

— Вооружённое восстание?

— Мы не можем призывать к восстанию, это будет провал конституционализма в России.

В и н а в е р (к-д): Ехать назад в Петербург и пусть нас там целиком арестуют — это будет хороший символ и возбудитель для общественной борьбы.

Настроение падало.

Г р е д е с к у л (к-д): В конце концов мы не призываем ни к чему страшному: пассивное сопротивление, вполне конституционно. Есть ещё мера: призвать народ воздерживаться от казённого вина...

(Кто знает русские привычки, хорошо посмеётся.)

Нет, падало настроение. До разгона казались себе и противнику страшными. А вот — ощущение банкротов. Усилились разногласия. Обсуждали постатейно. И может быть, никакого Выборгского воззвания принято бы и вовсе не было, не явись в гостиницу губернатор: господа, надо немедленно закончить заседание, ведь Выборг — крепость, в любую минуту могут объявить на военном положении...

Да, да, да! Нельзя злоупотреблять гостеприимством финских друзей. Что ж, подчинимся непреодолимой силе...

Поспешно надевал пальто и уходил из президиума несбывшийся президент или премьер-министр России

М у р о м ц е в: Многие из тех, кто подписал Выборгское воззвание, совсем не согласны с ним...

Уже спорить времени не осталось, а проголосовали чохом всё как есть и приняли:

**НАРОДУ ОТ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГРАЖДАНЕ ВСЕЙ РОССИИ!
...КРЕПКО СТОЙТЕ ЗА ПОПРАННЫЕ ПРАВА!
ПЕРЕД ЕДИНОЙ И НЕПРЕКЛОННОЙ ВОЛЕЙ НАРОДА
НИКАКАЯ СИЛА УСТОЯТЬ НЕ МОЖЕТ.**

Выборгское воззвание никого не увлекло, никого не испугало, и даже жалкостью своей успокоило власти: они-то ждали революции.

Так закончился первый экзамен новосозданной Партии Народной Свободы — проигранным первым русским парламентом, где кадетам так легко досталось и так легко упустилось большинство.

ТЫ ВАШЕ'Ц, Я ВАШЕ'Ц — А КТО Ж ХЛЕБОПАШЕЦ?

8

Этим летом на одном из патриотических концертов в крупном московском офицерском лазарете, в зале морозовского особняка, Алине Воротынцевой поднесли изумительный влажно дышащий букет роз, какого в жизни никто ни по какому поводу ей не подносил, — не букет этикета, а — непомерный, в обхват на объятие, какой и может явиться женщине только в жизни раз.

Поднесла и в руки Алине передала санитарка, её сама Алина и не заметила за букетом, и потом спросить было не у кого. В тот миг Алина смотрела на эти сотни розовых, жёлтых и белых волан-

чиков, наложенных в каждом цветке, и благодарно — на зал, где ещё аплодировали и, очевидно, сидел даритель, и снова на букет, опуская в него лицо, вдыхая, впивая.

А записки при букете — не оказалось. Или её обронили?.. Алина естественно ждала, что и сам подноситель подойдет к ней — за сценой, на лестнице или в вестибюле, когда букет вслед Алине спускали к извозчику: *как это будет? Кто это будет?* Ждала, так и не придумав, что же особенное ему ответить.

Но он — не подошёл. Совсем.

Она ждала ещё и на другой день. И даже через несколько дней. Но — никто не объявился. Не пришёл. Не написал. Не назвал.

И осталось загадкой... Навсегда теперь.

А может быть — так и красивее? Своего рода *гранатовый браслет*.

Должна же быть в жизни одна точка — вершинной красоты.

Впрочем — как бы ей и послали письмо? Ведь фамилию, по новому для себя праву артистки, она принимала лишь на концерты — Сияльская, а в жизни зналась под тяжеловесной мужниной фамилией — от какого-то поворота тына, за десять лет смириться не могла, да по паспорту и имя у неё было другое — Аполлинария, с эстрады произносимое, шибующее купеческим (хотя человек с воображением проницал бы в нём женский вариант Аполлона).

Она и ещё раз давала концерт в том же лазарете, стараясь вызвать повтор чудесного стечения обстоятельств. Но ничто не повторилось.

Кто ж он был, таинственный поклонник? Скорее всего — раненый офицер. Может быть, то был его последний вечер, и он уехал в Действующую армию? Или врач того лазарета? — вряд ли. Или московский гость, зашедший на концерт случайно, но, поражённый с первых касаний клавишей, пославший за букетом тут же?..

Она — ждала дарителя, но и заранее робела, она при встрече не могла бы и найтись. От юных лет и до самых нынешних, при внешней резвости, громкости, порывах, Алина была невытравимо стеснительна: с гимназическими подругами или с матерью избегала говорить о стыдном, гордо: «я знаю! я знаю!», но из-за этой скованности не знала многого, когда все уже знали. Неумелость была неразделённая тайна её, Алина искрилась, хохотала, кокетничала, но оставалась как бы за витринным стеклом. И эта застенчивость потаилась в её характере навсегда.

И сейчас встреча с дарителем не могла бы иметь никакого разрешения или выхода.

Да она не посмела бы ничего.

Так и красивее: гранатовый браслет... Огромный неохватный букет как символ яркой жизни, полной огромных же чувств, для которой, Алина теперь это видела, она и была рождена со своим талантом, если б развила его, не утопила бы в замужестве, в скудном и безликом существовании офицерской жены. Её подруги по борисоглебской гимназии одна вышла замуж за французского дипломата и теперь жила за границей, другая — за очень богатого и много путешествовала с ним, ещё одна — за столичного тайного советника и вошла в петербургский высший круг. Алина же, встречая шумное одобрение на гимназических и уездных концертах, подумывала ехать учиться в консерваторию. Но тут тридцатилетний штабс-капитан, на концерте же, в Тамбове, и услышав её, — приступил решительным штурмом и, почти не дав подумать, уговорил на замужество.

Жорж не совпал с тем мечтаемым мужским образом, который Алина с гимназической скамьи носила в сердце: в нём не было того печоринского жестокого, гордого презрения к миру и к женщинам, которое так подчиняет. А было — открытое простоватое восхищение, впрочем, оно и подобает рыцарям. Не сразу в нём узнав своего избранного, она колебалась. Но потом поверила в него, и долгие годы верила, своей же верой в своё призвание он её и увлёк: он ехал в Академию, кипел замыслами, и товарищи шутили о нём: «будущий начальник Генерального штаба».

Поверила в него — и безраздельно отдала ему жизнь. Поженясь, переехали в Петербург, — но не тот Петербург, не с той двери, — ни досуга, ни достатка, ни выхода в общество, чтобы развить и распахнуть свои способности. Что ж, для его будущего нужны жертвы. Женский удел — жертвы. При умеренной академической стипендии нужны были усилия и ограничения для их скромного быта. Но Алина привыкла и усвоила этот стиль — больше отказывать себе, чем разрешать, она направила этот стиль на свою внутреннюю изобретательность. После неудачи с ребёнком и уже обречённые на бездетность, они стали тонко нежны друг ко другу, заботливы и внимательны в мелочах — насколько вообще Жорж мог быть внимателен к чему-нибудь, кроме своей военной службы. Он — страстно стягивался на своей работе, до того, что закрывал дверь кабинета, значит: не входи, не рассеивай. И поощрял

её больше играть на пианино, но сам через стенку воспринимал не как творение артистки, а как слитный фон для своих занятий. Однако и с этой обидой Алина примирилась. Она играла — чтоб ему лучше думалось. Она полюбила их быт, как он есть, их жизнь, как она есть, — с верой, что помогает мужу взнестись к трудному успеху.

Но не так сложилось. И окончание Академии по 1-му разряду и преподавание в ней — не привели ни к чему. Весь их военный кружок разогнали — да по затерянным гарнизонам, с их тошно-творным убожеством. Даже не Вятка, ещё глуше, безнадежная дыра. Захлопнулась над ними и угасла надежда на что-нибудь светлое, охватило угнетающее чувство, что этим — и кончится всё, ощущение тонущего в болоте, уж не говоря, что пальцы Алины от грубых домашних работ, чудилось, навсегда потеряли свободную гибкость и уже никогда ей не выйти на хорошую сцену. Но и этот мрак Алина готова была сносить, уже и к этому она укрепилась. Было тяжело падение ей — но и мужу не легче.

Однако и года не прошло — переменилось к лучшему, случилось опять возвышение — теперь в Москву. А едва переехали и устроились — сразу война.

Во время войны — жребии всех ли жён равны? Для всех: останется ли жив? Но для кадровых военных не менее важно — его место в армии: ведь военная служба вся направлена к продвижению, в этом смысл её, так она задумана. А Жорж после короткого взлёта в Ставку — тут же потерпел и крах, и ссылку в полк. Но и это крушение можно было пережить по-разному: естественно было не смиряться с унижением, пытаться исправить. Увы! Постепенно открывалось, что его охватила своего рода психическая болезнь: со своим низвергнутым уровнем он не только смирился и сам уже считал, что не заслуживает высшего, а как будто стали в нём отмирать и другие человеческие чувства, одно за другим, даже простое желание поехать на месяц в законный отпуск и отдохнуть. От письма к письму проскакивало: «мне всё более неприятен тыл, всё, что я о нём узнаю», «мне отвратителен тыл». Когда кончилось тяжкое отступление прошлого лета, и уже перетёк полный год, дающий Жоржу право на отпуск, — он окончательно написал, что в отпуск не придет, а зовёт её в Буковину, перебыть с ним недели две неподалеку от передних линий, он снимет квартиру. Чудовищная причуда, которой тут, в Москве, никому и не истолкуешь, да и сама не найдёшь объяснения. Все офицеры ищут не только отпуск, а лю-

бой служебный предлог. Но жена, понимающая свой долг, должна знать и ступени жертв. И хотя это был совсем не обычный месяц, а как раз тридцатилетие Алины, она — поехала (тоже хорошенькая встряска для женщины — почти на передовые позиции). Но вся поездка оказалась унылой.

Она нашла мужа в состоянии ещё худшем, чем можно было предвидеть по письмам. Правда, в лазарет не пришлось ему ещё лечиться ни разу, хотя перевязан бывал. Но он был таким удручённым, таким погасшим, каким она никогда его не видела. Несколько первых дней он почти всё время лежал, молчал, ничего не рассказывал, только тяжело вздыхал, сам того не замечая. Алине стало страшно: она потеряла своего мужа! это был не он! Потом, со днями, он постепенно отдыхал от своей омертвелости — и стал разговаривать. Разговаривать? Нет, какой же это разговор с женой: он только мог о своих убитых, о потерях, о нескладнице, о тошноте, а больше ни о чём, и встречно ничего не слышал, или рассеянно. Да к простым человеческим историям он и никогда в жизни не был внимателен, по своему офицерскому фанатизму. Сам он — не мог бы хорошо объяснить своего нынешнего состояния, но Алина с женским вниманием пристально наблюдала его, как никогда много, и заключала, и поняла. Не сама разлука отдалила их, но то, как Жорж воспринял войну: он дал нагрузить себе душу как обломками железа, железа, и вместе с ними тонул. Всю свою жизнь предназначив для войны, он её-то и не перенёс. Японскую — прекрасно перенёс, а эту — нет. Она с ужасом смотрела, как он заживо погибал, — и бессильна была помочь: он и сам видел, как упал, — и сам не хотел подняться. Она должна была спасти его, отвлечь, развлечь, освежить, обдать московскими струями. Но легко бы это сделать было дома, в Москве, и в полный месяц, он бы очнулся, — так ведь вот не захотел приехать. А там были убогие прогулки с улиц городка в предгорье, и никаких больше развлечений. Так для Алины свидание с мужем оказалось не праздником, а горем. О ней — он не подумал. Захолустное унижение, как будто опять Вятская губерния. А Жорж так изменился за эти годы, что они как бы снова знакомились и привыкали, с неладями и даже ссорами. Так и до конца он отдалённо не вернулся в себя прежнего. И всё его будущее, в которое она когда-то радостно верила вместе с ним, теперь уже ясно было, что не состоялось: это не просто была служебная неудача в Ставке. Жалко было его.

А с ним — и себя. И не потеряв его из жизни — она как будто его потеряла.

А ему — напротив, не хватало чуткости вникнуть в её ощущения и осознать, что ж он делал с женой, каково жене. Анализируя — уже потом, многие месяцы потом, перебирая и всю их десятилетнюю жизнь, Алина нашла и объяснение: перевес военных интересов и раньше съедал его всего, он бывал нежен, ласков, но всегда весь в своём деле. А теперь, когда его так рано поразила общая старость чувств, атрофия жизненных влечений, — это больней всего отозвалось на островке личного. Вот он лежал рядом с женой, немного оттаивал, но как будто душевно и не слишком нуждался в её приезде. Алина для союза с ним пожертвовала, может быть, яркой жизнью, и постоянно знала свой долг, и умела украсить их стеснённый быт, и вынесла даже вятское захолустье, — а ему не приходило в голову оценить размеры этих жертв. Он и не был виноват, он просто был мало чувствителен.

Расставались совсем печально. От этих двух недель не сблизились, а даже отделились. Даже чужее стали, чем когда-нибудь раньше. Зареклась Алина, что больше в такой отпуск не поедет. Пусть Жорж приезжает в Москву.

Это счастье, что перед войной обосновались в Москве. Москва — рассвободила Алину, открыла простор и разворот её силам, дала почувствовать собственные крылья — крепче, чем знала она за собой в прежней роли запечной Золушки. Восемь лет она была заперта при муже, уже забыв, сколько возможностей таится в ней самой. А так и должно было открыться! — у души тонкой и сложной всегда есть неутолённые интересы. В том общественном подъёме, который сопровождал войну, помочь победе наших орлов, нашла и Алина свою воздушную струю. Не сразу. Сперва, как все, мотала бинты, пересчитывала солдатское бельё. Но потом придумали устраивать «патриотические концерты» — сборы в пользу раненых и увечных, в помощь семьям призванных и на посылки защитникам родины. В первый год в Москве ещё мало кого зная, она быстро узнавала теперь. Все права на «энергию» прежде захватывал муж, и Алина мало применяла это слово к себе. Теперь же именно энергия Алины вошла в поговорку среди других деятельниц этого движения. Изю всех дам Алина выделялась предприимчивостью, неутомимостью, красноречием убеждать имеющих власть по Союзу городов, дважды доходила до Челнокова, успешно добивалась нужных разрешений в Управлении военного округа,

вызывала изумление и благодарность попечителей. Хотя она с мужем шесть лет прожила в Петербурге, но только сейчас в военной Москве, во всей этой живой, полноценной деятельности, ощутила и приобретала столичную лёгкость. Из первых добилась она и создания добровольной группы «летучих концертов» — для поездок в Действующую армию. И всюду же сопровождали её благодарные, без консерваторского снобизма, аплодисменты слушателей её фортепьянной игры — и Алина расцветала в живительной атмосфере. Открылось и подтвердилось, что она — самоценная личность, а не домостроевский придаток мужа. (Да и Жорж, прощаясь в Буковине, говорил ей: концертируй сколько можешь, живи полной жизнью.)

В их выездной артистической группе бывало до дюжины человек. И потешный жирнолицый исполнитель шуточных малороссийских песен. И усатый интендантский подполковник-баритон. И скрипач с демонической наружностью. И молодой помощник присяжного поверенного, декламатор. Две певицы, одна танцовщица. (Для всех них постоянный аккомпаниатор — блондин с волевым подбородком, бывший тапёр из кинематографа «Унион».) И за каждым участником стоял свой круг друзей, ещё расширяя московские знакомства Алины.

Но более других она сошлась с милейшей 35-летней Сусанной Иосифовной Корзнер, женой известного московского адвоката, выступавшей у них с декламацией и чтением, а затем Алина сама предложила ей аккомпанировать к мелодекламации — «Сакья-Муни», «Белое покрывало». Для этого понадобились ещё совместные репетиции на дому, а по поводу рассказов Шолом-Алейхема и отрывков из «Овода» — переговоры в инстанциях, насколько эти вещи соответствуют рамкам патриотических концертов. Эти хлопоты Алина охотно взяла на себя, успешно их провела, и тем ещё более сблизилась с Сусанной Иосифовной, они стали друг у друга бывать. Сусанна была совсем проста, равнодушна к аплодисментам, не завидовала успеху других, без гордости присаживалась переворачивать Алине ноты.

— Вот, — смеялась Алина, — кажется: трудна ли наука? А мужа я так никогда и не могла научить, чтоб он ноты читал и мог бы переворачивать. Бывают такие неразвитые души — их невозможно притянуть к искусству. Вот играю за стеной, играю, — «что я сейчас играла?» — никогда не ответит, хоть по двадцать раз одну и ту же вещь! Деревянный...

Сусанна Иосифовна так замечательно слушала всегда — и музыку, даже как бы зябла плечами в слухе, и простой рассказ, вбирая оливково-рыжеватыми глазами, — Алина всё охотней втягивалась откровенничать ей о себе, не всё же перегорать в замкнутой душе.

— Боже мой, Сусанна Иосифовна, сколько ж я ему жертв принесла, сколько лет я добросовестно смирялась, помогая его жизненной битве. Но всё же могла я верить, что когда-то наступит награда, когда-то мы начнём и жить как люди! Нет, в какую-то беспросветную пасть кидает он и свою жизнь до конца, и мою вместе. Да хотя бы этот отказ от отпуска! — ну какой же нормальный офицер откажется от отпуска?

Да хуже. Он и всегда склонен был высыхать чувствами, а сейчас на войне угас, омертвел, опустился, и это в сорок лет! Жизнь не состоялась. Теперь и война минует — он вряд ли станет прежним. Рассказывала и историю замужества, как не сразу его приняла, но он охватил её поклонением, — он ярко умел поклоняться, и особенно в письмах это выражать. Показывала Сусанне и старые письма Жоржа, да и свой давний альбом борисоглебской молодости, да была Сусанна и свидетельница того незабываемого букета. Конечно, этот альбом, столько раз просмотренный в одиночестве, мало понятен постороннему человеку, ведь каждая запись тут — не просто запись, но целое воспоминание, душевное общение, обаяние, взор, которого не сохраняет бумага, и записано всегда меньше, чем чувствовалось. Вот, например, в полушуточной форме — «Диане», а тут ведь не эпиграмма, но схвачено верным глазом — что-то от профиля, что-то от руки, что-то, значит, и от характера... Ах, совсем-совсем иначе могла пойти жизнь Алины...

Подружились с Сусанной и в новом столичном стиле самоограничения женщин: не шить новых платий, а переделывать старые, не ходить в рестораны, отпускать лишнюю прислугу (впрочем, у Алины была всего половинка, а у Сусанны — и кухарка, и горничная, не считая мужнина шофёра через день). По сравнению с Петербургом Москва и всегда была в нарядах строже, теперь ещё устрожилась, щеголять стало неприлично, даже шукинская дочь на сказочных лошадях под синими сетками (а движение было — и лошадей не держать) приезжала в театр скромно одетая, без бриллиантов. Дурно выделялись богатством нарядов только варшавские богатые беженки да нувориши, которые не считались ни

с кем, ни с чем, но это был слой совсем уже не общества, и источники обогащения их — тёмные. А кто был узко-скромен в средствах, как Алина, тем неотклонней было ей сдерживаться в нарядах, даже выходя на сцену, и не часто позволять себе даже новую шляпу — например, модную широкополую, с лежачим мохром, какая несёт тебя будто на крыле.

Отказывались люди от пышных приёмов, но оживлённые ужины были в ходу, где и поговорить! Алина польщена бывала попасть к Сусанне вечером. За ужинами у Корзнеров собирались по десяти и по двадцати, и весьма известные люди, больше адвокатский круг: Левашкевич, служивший вместе с Корзнером юрисконсульту Азово-Донского банка. Крестовников, заходил и прославленный Грузенберг, и лидер «левых кадетов» Мандельштам, промелькнула как-то блестящая Тыркова — член кадетского ЦК и думская журналистка, а один раз и знаменитый Маклаков, но это было без Алины, она очень жалела, что не видела его. Весь круг Корзнеров составил большое расширение её мира — знаменитости, яркости, среди них вырастаешь.

Корзнеры снимали на Ильинке, в деловом квартале, квартиру в одиннадцать комнат: кроме кабинета самого Корзнера — приёмная для его кабинетского помощника, общая приёмная, гостиная, спальня серого клёна, столовая в чёрном дубе — большая столовая с мебелью модерн, массивный стол на 12, а раздвигался и на 24 персоны, ещё закусочный столик на колесиках объезжал вокруг, а самоварный стоял при дальнем конце, и часто одного самовара не хватало, приносили второй. Комната для английской гувернантки, ещё не съехавшей от них, две для прислуги. Квартира, правда, темноватая, столовая — почти без дневного света, зато с тяжёлыми драпировками, вечерами это уютно.

И муж и 18-летний сын, первокурсник юридического, были при Сусанне, семейно война не ощущалась, жизнь их была полна, изобильна, успешная карьера мужа, свой автомобиль, дача, абонементная ложа в Большом театре. И Сусанна признавалась суеверно:

— Знаете легенду о кольце Поликрата? Когда тебе слишком хорошо — надо самой нести судьбе жертвы, задабривать, чтоб она не разгневалась.

Перед разговорами за корзнеровским столом притихали заботы армейского попечительства и даже интересы искусства. Здесь держался накал общественный, гости бывали центральными уча-

стниками крупных московских событий, они приходили ещё разгорячёнными с заседаний городской думы, её секций или московского отдела кадетской партии, или других комитетов, их теперь так много, и свежее-горячее тут и выкладывали первое.

Как и всё московское и всё русское передовое общество, здесь желали, ждали и требовали *побед*, хотя уже столько было встречено разочарований. Здесь анализировали, всему искали причины. Военным поражениям. Невиданному вздорожанию съестных продуктов — за последние недели такому, что уже и среднесостоятельный городской класс начинает это ощущать, а виной тому — жадная неуступчивость аграриев, они наживаются, а власть не хочет их обуздать, крестьяне обдирают город, везут в деревню деньги мешками, спать на них будут. А причина всех причин: парализирующая неумелость правительства и его слепое упорство не уступить власти доверенным представителям интеллигенции.

Тут давали волю гневу на трагикомические стеснения прессы, или на английских демократов, французских социалистов, как они своей усердной верностью союзу с царём вколачивают гвозди в гроб русской свободы. И давали волю остроумию, особенно — о казнокрадстве, о чиновничьей продажности: слишком поздно увидел объявление «принимают от трёх до пяти», эх, а я, дурак, дал десять! Или — как нужно понимать секретарей и младших чиновников: «мало данных», «придётся доложить начальству», «надо ждуть» или «надо ж дать»? От души смеялась Алина.

Тут обсуждались и деловые планы: как развить для внутренних политических боёв общественные организации помощи войне и её жертвам. Этой квартиры не миновал ни один из *списков*, ходящих по Москве: письмо ли Керенского Родзянке, что гнездо измены — в министерстве внутренних дел, а не среди социал-демократических депутатов; или речь в думской бюджетной комиссии, не нашедшая пути в прессу; или пикантные страницы о Распутине из книги Илиодора. Целая библиотека уже набиралась этих списков за несколько лет: от старого письма Алисы к Распутину, пущенного по рукам когда-то Гучковым, — до нового письма того же Гучкова генералу Алексееву. Даже не из этой ли квартиры списки и начинали ходить? — у Корзнеров была пишущая машинка, так что не от руки переписывать.

Кто недавно повидался с Милюковым в его последний приезд, вот в этом октябре, передавал интересные выводы Павла Николае-

вича о Москве: Москва изжила мелочные заботы и мелкие иллюзии, которыми ещё много занят Петроград. Москва сейчас — передовой город России, аванпост свободной мысли! Если в будущем году состоятся очередные выборы в Пятую Думу, то кадеты, возможно, окажутся для Москвы слишком правыми. Сейчас уже не вспомнить и не поверить, что совсем недавно Москва была оплотом монархии, и даже в прошлом году ещё очень отделяли виновность Сухомлинова от невинности царя. Но никакой разумный человек уже не может остаться монархистом. Министерская чехарда просветила умы успешнее, чем десятилетия революционной пропаганды. Москва первая прозрела, что виновата вся династия, и царь не чище своей Алисы ни в распутинстве, ни в штюрмер-протопоповщине, ни в сепаратных переговорах с немцами. Теперь в московских кругах заговорили тем языком непримиримых революционеров, каким до Пятого года разговаривали только в швейцарских эмигрантских!

Правда, пугал Игельзон:

— Чёрный Блок — теперь тоже сила, господа! Он — как туча навис над нами, и действия его к позорному сепаратному миру — ужасны! Я могу фактами доказать!

Ну, так тем более, так тем более! Все сходились, ясно было уже всем, и присутствующим, и отсутствующим: власть в России абсолютно безнадежна! Перед нами — тупоумное правительство, которому недоступен язык логики.

У Давида Корзнера был на эти случаи любимый жест и любимая формула:

— Ку л а к! — говорил он и выставлял перед собой на всю вытянутую недлинную руку свой кулак, собственно и не страшный: небольшой, с гладкой кожей, обтянутой по четырём косточкам, с посевом чёрных волосков на тыльной стороне, высунутый из крахмального манжета. Не грозен был сам этот кулак, но грозен голос, выражение лица и заложенный смысл: — *Кулак!* — единственное, что они понимают! единственный язык, на котором к ним можно и нужно, и будем обращаться!!

Эти слова экспромтом сказались у него как-то на совещании левых адвокатов, имели успех, и теперь Корзнер любил их повторять и внедрять в собеседников:

— Никакого другого языка! Ничего другого *они* не поймут. Все эти переговоры бледно-розовых либералов с правительством только заводят общество в тупик. Ку-лак им в нос! И уступят!

9

Смеялся Давид, что его Сусанна теперь записалась в черносотенные концерты. И правда, ухо трудно привыкало отличать «патриот» от «черносотенец», всегда прежде они значили одно.

И труппа их была, действительно, — не залюбуешься, без большой потребности не станешь с нею ездить. Чего стоил один тапёр с каменным подбородком, злодей и погромщик отлитой. Концертами этими через Союз городов он явно прятался от военной службы, как, впрочем, и певец малороссийских песен. Интендант был невыносимый солдафон, певица с плечами-подушками оглушающе пошлая, с эстрадной танцовщицы и спрашивать нечего, так что Алина Владимировна была тут самая приличная, вполне сносная в общении. Да на ней держалось и всё антрепренёрство, её настойчивость была воодушевлённая, неиссякаемая. В провинциальном её альбомчике верно подметил какой-то шутник: что-то диантное было в ней, гордый потрях головы, взлётные движения рук, мановенье кисти, — для нынешней роли очень подходящее. Но мягко рекомендовала ей Сусанна: выходя на сцену, сдерживаться в цветах наряда и резких проявлениях.

При совместных поездках, репетициях и заботах немало времени досталось им бывать вместе, и чем чуждей сторонилась Сусанна остальной труппы, тем ближе с Алиной. В обиходе она была жизнерадостна, симпатична, не ныла от неудобств, даже услужлива в них. Располагала и прямота её. Она детски радовалась аплодисментам и не пыталась это скрывать, глаза её сияли, и она ещё потом спустя напоминала о своём успехе. Зато, от её открытости, не избежать было и некоторых излиятий.

Сколько людей, сколько пар — столько особенных отношений, жизнь не скупа на сочетания. Вот Алина с мужем была бездетная и безмятежно счастливая, сросшаяся за девять лет пара. Жили — как будто без трещинки, но из алининых безхитростных рассказов выступало, сквозь глубь неизвестной чужой жизни, что как бы и не слитно. Настаивала читать письма от него, а письма эти были письма не боевого полковника, а скорей успешные упражнения молодого школяра в любовно-эпистолярном стиле, в облаках вы-

сокопарного заученного женопоклонения, но без живого прореза Алины самой. Особенно — ранних лет: восторженно-приподнятые, вариантно-дифирамбичные, разили ухо, так что закрадывалось даже подозрение в пародийности.

— Когда-нибудь познакомите меня с ним, хорошо? — уклонилась Сусанна.

Алина коробила кое в чём, но не раздражала, она вызывала сочувствие. Симпатии содействовало и то, что, не будучи перегружена образованием, Алина достаточно тяготела к образованному кругу, чтобы не быть потенциально враждебной в острых вопросах. То есть может быть, попадая в другие компании, под иное влияние, она могла охотно соглашаться и с противоположным, но собственного внутреннего противодействия не было в ней, это очень чувствуется всегда. Разгорался ли в труппе спор о прошлогоднем майском немецком погроме в Москве — Сусанна могла быть уверена, что Алина рядом не оспорит её.

Все они хорошо навидались тогда в Москве этих жутких картин. Как первый камень в саженное зеркальное окно немецкого магазина решал его судьбу. И потом беспощадно выбрасывалось наружу всё, что внутри, — коробки с галантереей, куски бархата, сукна, полотна, бельё и верхнее платье, гитары, игрушки, кухонные плиты и швейные машины. Циммермановские рояли с грохотом выбрасывали на мостовые со второго этажа и ещё добивали молотками. И — перьяная, пуховая метель из перин и подушек немецкой фирмы. А если магазины оказывались наглухо заколоченными ставнями и железом — то их поджигали. Поджигали добро какого-нибудь немца — а по соседству загоралось имущество русских. Ломали станки, коверкали машины, топтали на мостовых. Поджигали склады, заводы, аптекарскую фабрику Келлера, и сколько погибло добра — никому. Сгорели резиновый завод Брауна, водочный Штриттера, кондитерская фабрика Динга. Пылали пожары в Китай-городе, на Шереметьевском подворьи, в Средних, Верхних городских рядах, на Ильинке, Варварке, Никольской, на Кузнецком мосту, на Лубянской площади, на Мясницкой, Маросейке, Петровке, Сретенке, Тверской, в Черкасском переулке. Громадные клубы дыма окутывали Москву как от лесного пожара, везде пахло гарью, метались пожарные автомобили и запряжки, кареты скорой помощи. Гарь, выстрелы, гиканье, ура, ругань, грохот разбиваемого, плач, смех, свистки, гудки, лошадиный топот, трамвайные звонки, и ещё чьи-то манифестации с пат-

риотическими портретами. А от пожара винных складов — уже год как забытое пьянство, и упившиеся в лёжку на улицах. А через всю Мясницкую у конторы Тильманса — безчисленно разбросано, наваяно фактур, меморандумов, дебетов-кредитов, писем — чьё-то ненаверстаемое и никому не нужное бухгалтерское добро. Говорят — убытков на 40 миллионов. А семью фабриканта Шредера — мужа, жену и двух дочерей, истерзали и голыми утопили в канаве...

— Но народ так чувствовал! — взбоченился тапёр, непробойный лоб, не представить его смирно согнутым в кинематографической тьме. — Это был взрыв народного самолюбия, оттого что правительство не освободило нас от немецкого засилия раньше, в начале войны. Это была месть за газы! Немцы пустили газы!

Немцы пустили газы, да, но на фронте и против военных, а кому же мстить тут? (Нет, прежде, кому доказывать?..) И — разве то была месть? Не столько громили, сколько грабили. Тащили, тащили узлы с вещами — и никто не останавливал, трамваями увозили из центра в Сокольники. Конечно, в каждом городе есть чернь, и много рабочих там было, вся окраина грабила центр. Но, видели: на Мясницкой из верхнего этажа выбрасывали тряпки — студент и реалист! На Кузнецком Мосту книжный магазин Вольфа грабили — студенты и курсистки! В Замоскворечьи видели офицера, как разворачивал саблей кучу награбленного, — не им, но выбирал подходящее. На Тверской дамы в шляпках подбирали куски шёлка! Среди грабителей узнавали студентов Университета и Коммерческого института!

Усач-интендант: — А вы думаете, было бы в Берлине столько русских торговцев — их бы не погромили? Да ещё раньше!

Да не чернь поражает, а — чистая, культурная публика ходила *смотреть* и не мешала! Сусанна вывела из виденного:

— Страшно то, что это — не эпизод, не случайность! Так прорывается суть всей российской истории! Раззудись рука — это русская черта. Русские не умеют отстаивать свои интересы методически, они терпят, терпят рабски — а потом погром. Этот майский погром — напоминание о многом прошлом и предсказание будущего, ещё грозней! Под нами — дикая стихия. Во всякую минуту может прорвать — и всех нас залить раскалённой лавой!

— Ну уж, не так-то, Сусанна Иосифовна! — протестовал помощник присяжного поверенного. — Не природная стихия. Это было всё подготовлено!..

Подготовлено! Почему в газетах так и кинулись писать о зверствах немцев? Какая-то группа благодетельствовала раненым немцам — так «преступное милосердие»! Печатали списки высылаемых. Генерал-губернатор Юсупов заявил, по-княжески: «Я — на стороне рабочего люда!» Накануне погрома собирались в чайных какие-то дружины. Кому-то платили деньги, раздавали листки с перечнем и адресами немецких торговых фирм.

— Не подготовлено, а слух разнёсся, что на Прохоровской мануфактуре немцы отравили не то тридцать, не то триста человек, — возражал интендант. — А директор циделевской фабрики сам виноват, выхватил револьвер против толпы, ну и началось!

— Нет, не это главное, а: где была полиция? Почему она весь первый день не то что не стреляла в погромщиков, даже нагайками не разгоняла, только уговаривала? И даже скрывалась? Только на другой день, после ночных пожаров... Ну да ведь кое-где зашло, стали уже портреты царицы рвать...

Но Москва — всё-таки не Кишинёв! И — собирали общественные деньги, кормили пожарников, засыпающих на улице. И стенограмма срочного заседания городской думы шла по рукам. И выпустили на улицы свою общественную милицию. Но:

— Если подземной лавы нет — то вулканы не извергаются, и не вызовешь их никаким сверлением дыр, никакой подготовкой. Сейчас кричат: бей немцев! за газы! Но «немцы» — это только временный псевдоним, стечение обстоятельств, что против них воюют.

Выставляли надписи повидней: «Магазин пострадал ошибочно: фирма — русская и все служащие русские». С иностранными фамилиями пострадали больше, чем немцы. Или, парадоксально: «Не трогайте! Здесь фирма — еврейская!» Сегодня было бы перед союзниками непрощаемо — бить евреев. Однако громят немцев, а мысленно, перед глазами, представляют, конечно, жида! — ах, подожди, подойдёт времячко, как мы с тобой считаемся! Вся война и может кончиться погромной эпидемией! Многие думают: не закрывать ли уже сейчас торговые дела? — следующая волна погромов ударит по ним.

Так задел Сусанну этот разговор в труппе, что и когда уже ночевать они устраивались, по тесноте с Алиной вдвоём в гостиничном номере, она ещё искала досказать:

— Вела меня мама, девочку, зимой, одетую и сытую, покупать игрушки. И перед самым магазином неодетый мальчик протянул

голую ручку: «подайте, барыня!» Он дрожал — и дрожь его передавалась мне в шубке, и не захотела я никаких игрушек, отдай, мама, деньги ему! Так вот: представляйте, никогда не забывайте еврейский озноб, еврейскую дрожь, еврейское чувство безнадёжности в этой стране. Унизительное наше положение: повсюду закрытые пути! нет права жительство в порядочных светлых городах! Моему брату не дали учиться в Киеве, он уехал ни много ни мало — в Иркутск. Оттуда еврейская община послала его в Швейцарию, он кончил в Берне доктором философии, а вернулся в Россию — и что ж? Зубы лечит! Вот такие наши пути. Равноправие — наша грёза! Она жжёт меня с юных лет.

— Равноправие? — О, конечно! — искренно сочувствовала Алина. — Равноправие — да!

— А если ещё ребёнком ты видела однажды, как катит по улице погром, а впереди несут хоругви и распятие, — то с каким же чувством во всю потом жизнь ты будешь видеть церковное шествие и просто даже крест? Или мимо церкви проходить?.. Естественно, с ненавистью. Поймите, я нисколько не пристрастна, не подвержена чувству превосходства еврейской нации. Я благоговею перед немецкой музыкой. Обожаю французскую живопись. А русская литература — моё духовное лоно. Напротив, еврейских песен и танцев нисколько не люблю. Но я не сгибалась и не согнусь до согласия быть каким-то вторым сортом. До этого нашего самочувствия беззащитной курицы.

Она заметила, что опять надевала и накалывала уже снятые на ночь запястье и брошь.

— И всё выворачивают против нас! Вот произвели облаву на биржевиков-маклеров на Ильинке, обнаружили 70 евреев без права жительство, — так пущен слух, что маклеры — сплошь евреи. Не стало разменной монеты — опять евреи виноваты. Не хватает каких-то продуктов, дороговизна, — так евреи прячут. Теперь — эти пристрастные обвинения Рубинштейна и сахарозаводчиков. Допустим, они персонально и виноваты — так и судить персонально, но без расширения этой отравы: во всём и всегда виноваты евреи! За всё, что с государством происходит, — должны отдуваться своими боками евреи!

Влекла её страстность более сильная, чем у неё выражалось на сцене.

— Конечно, нас всегда держали в гнёте и легче всего обратить народный гнев на нас, отвлекая от подлинных виновников. И ко-

нечно, погромные настроения стольких лет как же не дадут плодов? Ещё процесс Бейлиса не остыл, у нас ещё слишком живы от него раны. Так ясен этот замысел: на еврейском вопросе расколоть русское общество, единое в своём отрицании режима. Теперь пропитывают антисемитизмом и армию, чтоб и недовольство войск направить туда же. С безстыдством раздули эту шпиономию — обыскивают синагогу в поисках безпроводного телеграфа! Из Курляндской, Ковенской, Гродненской выселяли, как экзекутировали: старых, слабых, больных, ужасные случаи рассказывают. Алина Владимировна, вы поставьте себя на их место, что значит *выселяют*: в несколько дней отрывают от очагов, от скарба, с которым приложена жизнь, и кати куда-нибудь на Волгу, или даже в сибирскую деревню, — где устроиться? чем жить? что есть? как детям расти?! И теперь предателя Сухомлинова вот выпустят гулять по столице — а евреи так и застряли по деревенским ссылкам. И мало того: беженцев заставляют насильно работать, вводят новое крепостное право, люди перестают принадлежать себе.

Да ранило её в еврейском состоянии не только то, что врезалось в тело, грубо ударяло или гнуло, но даже легчайший задев по волоску, с защитной чуткостью она вздрагивала ещё прежде, чем этот волосок задет, ещё только предвидя, что сейчас его заденут:

— И эта шпиономания мне особенно больна потому, что связывается с обвинением евреев в трусости, изо всех наших унижений — самое обидное. Вот этот мой брат Лазарь, которым я восхищаюсь, в Пятом году в Киеве создал из юношей отряд еврейской самообороны, с упоением ходил на ночные дежурства с револьвером — и впервые почувствовал, как это чудесно: не бояться! если умереть, то в схватке!

И в ясных глазах Алины не встречая скрытой насмешки, совсем уже прикровенно, перед тем как свет погасить, в ночном халатике:

— Наша история рассказывает, какими львами наши мужчины умели быть. В общественной жизни — и сегодня это видят уже все. А в военной — нет такой ситуации, а возникнет — они себя проявят.

И лампу уже задувая:

— Я не только не угнетена, но я — горда и счастлива, что я — еврейка! Что я из породы этих талантливых, справедливых, сильных духом и — храбрых людей. Да, храбрых! Спокойной ночи.

Для того и ездила она в этой жуткой труппе, по этим нелепым концертам, отрывавшим её от семьи, с тяготами переездов, с неудобными ночлегами, с декламацией, не всегда понятной молчаливой полуграмотной толпе, — чтобы отрабатывать честно долг перед войной и перед армией, и отнимать аргументы против евреев. Каждый по силам.

10"

(вскользь по газетам)

...После выступления Румынии путь на Балканы открыт. Не затянется и конец предательской Болгарии, теперь замкнутой со всех сторон...

— Теперь, сказал **генерал-лейтенант Брусилов** корреспонденту, левый фланг русской армии вполне обеспечен от всяких неожиданностей. Дух румынской армии великолепен. Генерал Брусилов уверен, что Австрия не сможет особенно долго защищаться, и война может окончиться в августе 1917 года.

УЖАСНАЯ НАХОДКА в саду германского посольства в Бухаресте: взрывчатые вещества... культура САПА...

...В Германии плохо уродилась картошка, давно нет хлеба и мяса. А кольцо неумолимой блокады...

...Имеются сведения, что крестьяне из-за какой-то совершенно непонятной боязни за будущее не везут зерна на рынок, а зарывают его в ямы... Необходимо вызвать у крестьян желание продавать зерно.

(«Речь»)

ТВЁРДЫЕ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ИНТЕРЕСЫ.

Современная психология деревни: крестьяне стремятся сберечь на чёрный день основу своего существования — хлеб. Утвердить закон о твёрдых ценах может лишь вмешательство организованных общественных сил.

...телеграмма от министерства земледелия... Устанавливается **твёрдая цена на муку**. Этой телеграммы мы ждали как манны небесной... Она развязала нам руки... Установление твёрдых цен исключает даже мысль о недостатке муки... Сельское население должно встретить эту меру с гражданским мужеством.

...Смягчить остроту хлебного кризиса можно: **понижением** твёрдых цен и применением широкой **реквизиции** зерновых продуктов.

(«Русские Ведомости»)

...На наших пленных падают гуськом по десятеро... ездят на пленных за картошкой и брюквой... заставляют изготавливать удушливые газы...

В КИНЕМАТОГРАФАХ СТОЛИЦЫ:

«АККОРД ЛЮБВИ», «МОРФИНИСТКА», «СОН О МЕЧТЕ ЗОЛОТОЙ»

СЕНСАЦИОННЫЙ ПОДАРОК — военные игры для детей и для взрослых, институт Песталоцци.

КОСМЕТИКА ДРЕВНИХ ЭЛЛИНОВ. *Восковые и мраморные мыла...*

ЛЮБИТЕЛЬ СТАРИНЫ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ПЛАТИТ за фарфор, картины, бронзу, мебель.

...пока наша армия и армии союзников не обнимутся в братских объятиях под стенами Берлина...

...Наши и румынские войска несколько отошли...

Английский журнал: «Неуязвимость Восточного Союзника. Русская традиционная тактика — отступить для лучшего удара...»

...Британские «Томми» окрестили свои новые блиндировки короткозвучным прозвищем *т а н к и*, что значит «лохани». Это — ромбовидные сухопутные корабли. Отец «лохани» — Уинстон Черчилль.

...Как сообщает агентство Рейтера, в настоящее время в Германии наблюдается полный упадок духа... Конец Австро-Венгрии близок... Под знамена призваны... от 50 до 60 лет.

...корреспондент видел собственными глазами, как немецкий солдат, не имея сливочного масла, мазал хлеб колёсной мазью. Положение Германии на третьем году войны...

Екатеринослав. На хлебном рынке — небывалое затишье. С утверждением новых твёрдых цен на хлеб аграрии предпочитают удерживать хлеб у себя. За недостатком зерна мельницы прекращают производство.

...Спрашивают: но разве легко реквизировать? Отнимать силой хлеб у помещика и крестьянина по цене, которую они считают низкой? Не значит ли это — волновать часть русского народа? Однако без рек-

визитов вряд ли обойтись. В стране, где нет элементарной честности и гражданственности, нужна угроза.

(«Речь»)

Тифлис. Тут обнаружено более 40 вагонов припрятанной муки. Часть испортилась.

ОБЩЕСТВО 1914 ГОДА. РАВНОДУШНЫМ — СОЖАЛЕНИЕ, ПРОТИВНИКАМ — УВАЖЕНИЕ, СОРАТНИКАМ — ПРИВЕТ. ...задачи далеко выходят за рамки современных событий... Освободиться от всякой иностранной опеки... на страже русской самостоятельности и народной энергии...

Специально **ДАМСКИЙ ТРАУР, готовый и на заказ...**

М а м к а, деревенская женщина, ищет места.

ПРОДАЁТСЯ СОБОЛЯ РОТОНДА...

ПОМОГИТЕ! Вниманию добрых людей! Жена землемера просит добрых отзывчивых людей о материальной помощи... в крайне тяжёлом положении, с двумя дочерьми, оставлена мужем... все вещи заложены...

АВСТРИЙСКИЙ МИНИСТР-ПРЕЗИДЕНТ ШТЮРГК ЗАСТРЕЛЕН газетным издателем Фридрихом Адлером...

...В Добрудже наши и румынские войска несколько отошли...

...В наше время с мыслью о смерти сжились миллионы людей... Умирают без единого упрека, сознавая всё громадное значение их смерти... «Пусть нас не станет, но наши дети узнают радость свободной, без печальной, красивой жизни, которая придёт на заплаканную землю...»

...Цынга в германской армии...

Тамбов. Губернатор угрожает реквизицией. Во имя патриотизма губернатор приглашает торговцев и производителей немедленно заявить уполномоченному об имеющихся у них для продажи запасах хлеба.

ОБЛАВА В ОДЕССЕ. В крупнейшем спекулянтском гнезде, в центре города... кончилась арестом нескольких десятков спекулянтов, маклеров и перекупщиков...

ПАТРИОТИЧНО И ВЫГОДНО: покупайте **ВОЕННЫЙ ЗАЁМ**, 5 с половиной процентов годовых... Это наиболее лёгкий долг перед Родиной, а после войны благодаря сбережениям по-новому устройте вашу жизнь.

...женщина — рулевой на барже, женщина — водолей...

Общее собрание **ОБЩЕСТВА ОХРАНЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ**... Санатории в Крыму...

В КОМИТЕТЕ БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМ ЗАСИЛИЕМ. ...Ликвидация немецкого землевладения по Югу России идёт полным ходом...

БОЛЬШОЙ ЦЫГАНСКИЙ КОНЦЕРТ
КАТЮША СОРОКИНА... *При благосклонном участии балерины имп. театров Тамары Платоновны Карсавиной.*

ВОЛНИСТОЙ БЕРЕЗЫ КРАСИВАЯ СПАЛЬНЯ продаётся...

РОСКОШНЫЕ ПЕРСИДСКИЕ И СМИРНСКИЕ КОВРЫ...

САМОВОЛЬНЫЙ АКТ. Герmano-австрийский манифест о создании польского королевства... не спросив поляков, хотят ли они немецкого ярма... Обычная для германского правительства гнусность... Ведь со стороны России только потому ещё не приступлено к устройству Царства Польского, что такое устройство в разгаре войны невозможно осуществить.

...Daily Telegraph: «Понемногу мы начинаем понимать русскую душу... Непокколебимая лояльность, за которую мы так благодарны... Всё, что неясно грезилося мечтателям-идеалистам, — выносливость, добродушие, благочестие славян, стали выделяться из общего ада страданий и несчастья...»

...Даже неловко вспоминать, что у нас царило всеобщее убеждение в краткости военных действий — от 4-х до 8-ми месяцев. Продолжительность более года считалась невысказанной уже потому, что население Германии должна была постичь голодная смерть. Но 28-й месяц войны показывает... Мы не только пережили острый недостаток военного снабжения, но очутились перед изумительным фактом расстройтва продовольственного дела Империи, до войны кормившей своим хлебом не одно западное государство.

КУДА ИДЁТ РУССКИЙ ХЛЕБ. В Харькове на многочисленном совещании уполномоченных по хлебным заготовкам... в то время, как наши русские города не могут получить ни куля хлеба, в Финляндию хлеб вывозится в громадном количестве и беспрепятственно...

(«Новое Время»)

Одесса. Продолжается обследование заводов Шапиро, Раухбергера, Шполянского, в отношении коих установлено использование оборонных материалов в спекулятивных целях для частных надобностей. Документы и книги полиция обнаружила закопанными в землю.

(«Русские Ведомости»)

ТОВАРИЩЕСТВО бр. НОБЕЛЬ И КЕРОСИН... Что же они опровергают? Во многих городах, не говоря о деревнях, нет керосина, цены не-

померные. Доходы с нефти таковы, что акции товарищества расцениваются в 6 раз выше своей номинальной стоимости.

ОБЩЕСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РОСКОШИ И РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ.
...Обращаемся к русским женщинам в надежде, что ни одна не примет участия в непристойном соревновании, в бале-маскараде с выдачей призов — за расточительность на туалеты и драгоценные камни...

СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ! ОТЗОВИТЕСЬ!

...Последние дни выставки *ИСКУССТВЕННЫХ ПРОТЕЗОВ*. Работа на сенокосе с искусственной левой рукой... Казак с искусственными ногами... Нос из мягкого материала... Электромагнитная рука, приводится в действие при помощи штепселя...

ВНИМАНИЕ! Не нужно больше сахара! Берегите здоровье и деньги! Пейте **РУССКИЙ ЯГОДНО-ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ**...

РАЗВОД быстро и дешево. Невский проспект №...

...Оставление нами Констанцы... Подожгли элеваторы и резервуары нефти...

...Греческое правительство приняло все условия французского адмирала...

БОЛГАРСКИЕ ЗВЕРСТВА... Нация каинов-братоубийц...

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕКУЛЯЦИЮ.

Давно ожидавшийся населением, наконец-то распубликован... За требование чрезмерных цен на предметы продовольствия... за сокрытие запасов или прекращение продажи без уважительных причин... Зачинщики... тюрьме от 8 до 16 месяцев.

ЖЁЛТЫЙ ТРУД. ...Во многих городах России китайцы появляются всё чаще.

Одесса. ДЕЛО О БАБЬЕМ БУНТЕ. В связи с земской переписью у населения продуктов по сёлам распространился слух о «возврате крепостного права»... Толпа около ста женщин...

ШАЙКА АФЕРИСТОВ. В особом присутствии петроградской судебной палаты началось рассмотрение большого дела о шайке всероссийских аферистов... Глава всей компании — Церетелли, незаурядная личность. По подложной телеграмме получил около 200.000 руб. ...пожертвовал на благотворительные цели 4000 руб. и за это окружён был почётом... «Я жил и давал жить другим»...

ВЫСТАВКА ПРОТЕЗОВ. ...Чувство изумления перед размерами остроумной изобретательности... Но попробуем заглянуть в будущее... Срок жизни каждого протеза 2—3 года, новый стоит 100—150 руб. Очень скоро увечный должен будет обходиться при помощи деревяшки, и вот на это примитивное устройство желательно обратить особое..

Что все думы, все вопросы!
Сладко зыблюсь в гамаке.
Мёртвый пепел папиросы
Чуть сереет на песке.

Были бури, будут бури,
Но теперь лишь тихий сад.
Словно сам в бело-лазури,
Я, как ласточка, крылат.

В. Брюсов

ВСЁ В ЖИЗНИ МЕНЯЕТСЯ! — только единственные папиросы С Э Р были, есть и будут всегда постоянного высокого качества!

Сегодня БЕГА

МОЛОДЕНЬКАЯ ПАРИЖАНКА желает быть компаньонкой.

УБЕЖИЩЕ БЕРЕМЕННЫХ, рожениц — секретная акушерка...

Ищут интеллигентную няню...

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Его Величество Государь Император с Наследником Цесаревичем Великим Князем Алексеем Николаевичем 19 сего октября изволил прибыть из Действующей армии в Царское Село.

...наши и румынские войска несколько отошли...

...Россия приблизится к зениту своей мощи в будущем году. 99% русских требуют продолжения войны до окончательной победы. Будущим летом решится исход войны...

НОВОЕ ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛА БРУСИЛОВА. «Война нами **уже выиграна**, — сказал доблестный русский генерал английскому корреспонденту, — вопрос лишь во времени. Неудачи румын не имеют серьёзного значения...»

...Times: «Теперь мы все — за Россию. Будем надеяться, что эти горячие чувства не заменятся равнодушием».

Вывоз мужского населения Сербии австрийцами...

...следует признать, что Германия, благодаря своевременно принятым тщательным мерам строгого порядка и экономии не испытала до сего времени существенного недостатка тех или иных продуктов...

...В Петрограде объявлено переосвидетельствование белобилетников.

ИЗОБИЛИЕ МЯСА В ПЕТРОГРАДЕ...

...Главный совет Союза Русского Народа считает, что в настоящее время России никакая революция не угрожает, всё это выдумки...

...В настоящее время наступил тахітум всех солнечных и земных магнитных явлений... В течении предстоящей зимы в Петрограде можно будет часто наблюдать полярные сияния.

«МНЕ ВСЁ РАВНО, КТО УБИВАЕТ НЕМЦЕВ» — ДЖЕК ЛОНДОН.

...Скорбная весть о кончине писателя... Таким образом приведенные выше слова звучат предсмертным заветом...

ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ПЛАЧУ за бриллианты, жемчуг, золото...
Ювелир Фистуль.

БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА мгновенно и безошибочно раскрываю магическими картами.

Молодая интеллигентная барышня предлагает массаж общий и местный...

РУССКИЙ КУЧЕР, знает троечную езду...

11

В этом году Алина твёрдо решила, что больше не поедет свидаться с мужем у фронта, довольно этих унижений. Захочет — приедет сам, как другие офицеры приезжают.

И значит, в этом октябре, в конце, ей предстояло встретить свой день рожденья без мужа. Обдумывала, как же бы его отметить пооригинальней, чтоб запомнился этот день. Кого бы позвать? (И вдруг бы! — как-нибудь разыскался бы да нагрянул даритель розового букета?.. Что бы тогда?..)

Но всё это задумывала Алина отчасти и через силу: и с деньгами было скромно (с ценами высоко), и на самом деле трудно было

ей собрать смелость на слишком эксцентричный шаг. И уж она думала: просто уехать к маме в Борисоглебск да повидать кой-кого из подруг юности?

И вдруг в пятницу, 14-го, пришла от Жоржа телеграмма — да откуда! уже из Киева: что в субботу он будет в Москве! Замечательно! Милый! Ну, тут я тебя расшевелю! Не был в Москве с тех пор, как отчислили из Ставки, и тогда-то три дня.

И получалось — почти за две недели до дня рождения. Ну, всё-таки не вовсе потерянный человек.

И — облегчение: не напрягаться, не силиться на что-то экстравагантное. Ничего не изобретать, а по-домашнему, так и легче. Всегда легче жить, как жизнь течёт сама.

Как раз в пятницу пришла и череззденная прислуга. Кинулись с нею стирать и квартиру прихорашивать — постирать и сменить тюлевые занавески на окнах, кружевные накидки на столах, выбить ковры и коврики — Жорж совсем забыл о домашнем уюте, так любовно напомнить ему каждой мелочью, и каждой подушечкой на диване.

А жили они с 14-го года, как счастливо вырвались из Вятки в Москву, — в удобном, приятном новопостроенном доме на Остоженке между Ушаковскими переулками, против Коммерческого училища. Чистая красивая лестница, мраморные ступеньки, коричневые плитки на площадках, трогательные звонки-ушки — «прошу повернуть». Чёрной лестницы не было, но был чёрный отвод марша в конце, чтобы с отбросами не выходить через парадное. Отопление было центральное, и в трудную осень, как сейчас, при дорогих дровах, не думать о топке, эта забота была — священника, построившего и содержавшего их дом на земле своей Успенской церкви. И — чудесна, теперь уже привычна и полюблена их квартирка в три комнаты на третьем этаже с окнами на Остоженку и на церковный двор. Из этих боковых окон ещё лучше виделась улица, сверху и вдаль, прямо к штабу Московского военного округа, куда Жорж и перевёлся в 14-м году. (И где у него сохранялись обширные знакомства, так что мог бы он и сейчас перекомандироваться сюда из полка — но отклонял даже намёки.)

Ещё поздно вечером Алина перекладывала любимые предметы мужа, представляя и вспоминая, как ему удобнее дотянуться и повернуться от письменного стола. Устояние семьи — это дом, и каждая мелочь в нём должна быть хороша, уместна, приспособлена, помогать жить, привязывать. А у Алины как раз есть ощущение

ние единственной верности расстановки предметов, развески фотографий по стенам. За два года своей передражной фронтовой жизни Жорж отвык, у него уже нет связи с домашними вещами, но должна вернуться! — после военных неудобств он особенно оценит их.

Теперь, если оглянуться, — и всегдашняя беда Жоржа была — душевная чѐрствость, это не новое у него. У него нет подлинного дара любви — внимания к душевным движениям, особенно женским, к подробностям человеческих историй. Жалко его, дурачка: он первый и страдает от того, как обделѐн чувствами. Что ж, вот и направление деятельности жены: следить за душой мужа и исправлять его органические недостатки. И даже с нынешним его омертвением — сейчас не может быть, чтоб он дома не оживел, не приободрился.

Убираясь, Алина размышляла, как лучше им распорядиться этими неделями, на которые он приезжает. Время — чѐдное, самое концертное, на конец месяца объявлены Рахманинов и Зилоти в Дворянском собрании, а вот с понедельника — оркестр Кусевицкого в театре Незлобина, а уже завтра — первое из шести собраний Русского Музыкального Общества, французская музыка, там соберѐтся цвет музыкальной Москвы, но на это уже не попасть. Для артистического развития, чтобы дышать музыкальным воздухом, Алине совершенно необходимо бывать на таких концертах. Но и насколько ярче — пойти не с подругами, а об руку с мужем, боевым импозантным полковником (лишь по своему упрямству до сих пор не генерал), и в антрактах, прохаживаясь по фойе, знакомить и знакомить его со своим новым московским кругом.

С утра она ждала, не зная часа приезда. Но вот зажурчал милый дверной звоночек, Алина распахнула дверь — и дала налететь на себя этим клещам, обнять, сжать (ещѐ сильнее ты стал?) и даже подбросить, и щѐкотом протереть бородой (подстригу тебе, очень выросла!).

— Цел! цел! — тянула она его за шею (тьфу, тьфу, тьфу).

И поплыла небуденная радость. Вместо фуражки — папаха, очень идѐт. Кожа ещѐ загаристой и суровой. И прежние быстрые глаза (вот уже и оживляется). Мундир — не обычного серо-зелѐного сукна, а коричневого. Красиво! А почему? Теперь тоже считается защитным? Но — не без франтовства. А в чѐм я сегодня? — ты хоть заметил или вовсе пень? Какой наш день тебе это напоминает?

Походили по комнате, обнявшись. Она пыталась ему показывать одну, другую свою затею — но он ещё не видел ничего. Ну, сожми меня ещё раз. Вот так.

Следила: известные милые предметы их обихода — вызывают ли по-прежнему его улыбку? Всё на тех же местах, а что переставлено, перевешено — не к худшему. Водила его по квартире, следила за выражением лица, появляется ли облегчение от фронтальных тягот, изумление, что целые страны изойдены, исколешены, а здесь — всё на местах. Появлялось (но недостаточно). Да ты заметил ли, как тщательно прибрано, тюлень?

— А как вот эта накидочка называется, не забыл?

Вышитая паутинкой и накинутая на чёрный круглый столик.

Улыбнулся стеснительно:

— Паучок.

Помнит!

— А вот этот комодик?

Улыбнулся:

— Пузёныш.

Многие привычные милые вещи, помогающие жить, назывались у них собственными именами. Обаяние дома.

— Слávночко дóменька? — добивалась Алина тоже принятыми ласковыми словами. — А чьи ручки всё устроили? — щурилась и протягивала для поцелуя обе.

Сбросил амуницию — но, не облегчённый, опустился на диван, как от тяжести своего тела. И даже выдохнул вслух:

— Фу-у-у-уф!

— Бо-о-е мой, — передалось и ей, своим телом почувствовала это нагруженное железо в нём. — Как же тебе тяжело! — Подошла вплотную, ворошила ему волосы. — Тяжело, да? Очень?

— Да-а-а, — ещё выдохнул он, глухо и безнадежно.

— Что? Вообще?

— Да. Вообще.

— А что именно?

Сидел неподвижно, вздохнул:

— Да так: больше мы теряем, чем когда-нибудь возьмём.

— Убитыми?

— Убитыми, ранеными, измученными... отвращёнными...

Всяко. Ничем это не возместится. Никогда.

— О-о-о, Боже мой, как ты устал! Как ты устал! — ласкала его голову. — Вот что значит — ты не приезжал в прошлом году в от-

пуск. Ты — сам себя всю жизнь мучил, сам себе — первый враг. Надо ж тебе и себя побережь! Тебе надо — развеешься!

А вот уже и звонила в маленький китайский колокольчик. Колокольчик-то он помнит? — мелодично вызванивать, приглашать от работы к еде. А уж тут ему больше всего и должно было понравиться! Вкусы к еде не изучишь и за год, здесь-то — и давность, в том-то и женатость.

В петербургские годы они снимали квартиру «от хозяйки», чтоб у неё кормиться и не нужна прислуга. А в вятской дыре офицерские жёны, по недостатку жизни, стряпали сами, Алина тоже попытала своё уменье и, как всегда, за что б она ни взялась серьёзно, стало превосходно получаться. Жоржу очень нравилась её кулинария, он никогда не упускал сделанного, всегда видел, хвалил, не жалко и потрудиться. Мир домашнего хозяйства оказался особым, сложным миром, требующим сразу и науки, и вкуса, и общего правильного распорядка, но в разнообразной богатой природе Алины всё это было и здесь применялось благодарно. С войны и в Москве стало модно обходиться на кухне самим, иные московские знакомые теперь тоже так.

Но как раз последние месяцы с продуктами сильно ухудшилось, далеко не всё достать. (Жорж высмеивает: ну не так, как отрежут подвоз в горах, и трое суток совсем есть нечего?) Не так, но чего нет — продаётся из-под полы по вздутым ценам, вдвое и втрое дороже. Захудалый Долгачёв, в подвале княгини Львовой, напротив, и тот припрятывает, допрашиваться надо. Кое в чём выручает недавно устроенная офицерская кооперативная лавка. Везде — хвосты, хвосты. Проезжал — видел?

— И ты в них... ?

— Са-ма? Ещё б я стояла! Что бы мне тогда оставалось в жизни! Мне — пять часов ежедневно надо просидеть за роялем! Ты ничего уже не помнишь...

Помнил, помнил. Не совсем ещё заглохло сердце. Бывает — за мясом. За французскими булками, с раннего утра. А сахара совсем не достать. Неделю назад ввели такие талончики, будет теперь по ним. Но у нас-то — варений маминых борисоглебских... Дорогие конфеты, мёд — это везде. Но всё вдвое.

— О, вы разве представляете нашу жизнь? У вас там — паёк, всё готовое. А тут ещё — из-за беженцев, наехало их видимо-невидимо, и богатые. И ещё им платят пособие на прожитие. А —

сколько приходится теперь прислуге платить? Чуть не каждый месяц добавлять.

— И — как же? — омрачился он.

Конечно, трудно. Конечно, плохо. Мама помогает, кто ж.

Мать Алины, вдова действительного статского советника, имела большую пожизненную пенсию. Немалую пенсию за отца когда-то получала и Алина, но по закону — лишь до замужества. Алина — не мотовка, он знает. Но офицерского жалования и всегда было только-только. А звание генштабиста не давало добавочных денег.

Впрочем — и он ведь, Алина знала, в карты не играл, не пил, в рестораны не ходил, дворянское прожигательство ему было всегда ненавистно, он фанатик дела.

— Ведь надо же мне сохраниться, милый? Для будущего? Для тебя же?

Ещё бы, ещё бы!.. Смутился, отемнился, потупился. Нет, он не безнадёжен и будет снова чуток, когда будет жить в тёплой семейной атмосфере. Да за несколько дней отойдёт, потеплеет.

Их руки, с одинаковыми обручальными кольцами, переносились над маленьким столом, беря, накладывая. — Ну как? — уверенно улыбалась Алина. — Да ещё после окопного?

Нра-а-авилось. Покручивал широковатой, а лёгкой головой.

— Уменье! терпенье! — кокетливо изгибалась она. — А у тебя сединки, сединки, смотри! — оживлённо находила она. — Надо повыдёргивать, зачем мне седой муж?

Шутила. А на самом деле: какой достался.

Между тем за суматохою и радостью встречи Алина упустила то, что замечала всегда: когда Жорж бывает потуплен и мнётся не от раскаяния, а — опасается её, что-то оттягивает, не хочет сказать. И вот теперь, когда стала говорить ему о планах, на какие бы концерты им пойти непременно на следующей неделе — Мейчик, Фрей, увидела: негладко, неладно, что-то тяготит его, и всё больше.

Наконец стал тягуче, смущённо выговариваться: что никак иначе было нельзя. Что это — не отпуск, а срочная командировка в военное министерство. Что, собственно, он должен был ехать в Петербург прямо через Могилёв, а не через Москву...

— Ка-ак? Ка-ак? — ранило Алину. — И ты — молчишь?! Да ты просто топчешь меня!

И над светлой сервировкой своей, над своими стараниями, заботами, всем приготовленным — заплакала от обиды, так это было жестоко и унижительно.

— Так и ехал бы прямо! И мне бы вовсе не объявлял! И это было бы милосерднее!

Стал позади, отаптывался виновато, за плечи брал.

— Или в телеграмме предупредил бы, что — проездом. Я б и не настраивалась. Тоже милосерднее.

Правá, права, возразить ему было нечего, копошился там сзади у плеч.

Нет, это было его особое свойство: если и доставить радость, то неполную, обязательно тут же и омрачить. Пойти в концерт — и пробурчать весь вечер, что зря пришли. В театральном антракте не согласиться пойти в буфет, будто это противоречит духу спектакля. Сам же когда-то подарил ей фотографический аппарат — а её фотографий не рассматривал, уклонялся, так что у самой пропадает интерес показывать, классифицировать, наклеивать, отдавать в увеличение, — а были презамечательные. В чём, правда, корни его душевной сухости? Погоди:

— Но — день рождения?? Ты что же — не будешь?

Будет, будет, показал лицо, вышел из-за спины. Так на сколько ж дней в Петербург? Опасливость и виноватость ещё не ушли с его лица: дня н-на четыре... Ну ладно, до дня рождения ещё двенадцать, так-сяк. Но — категорически?!

Доедали удачный завтрак. Обычный обряд после каждой еды был — целовать в щёчку. Но сегодня Алина с полным правом подставила губы.

После завтрака мыла на кухне посуду, Жорж зашёл может быть и за делом, но против лампочки, зажжённой по тёмному дню, заметил, черствяк, как у неё ушко светится, — а ушки были действительно украшением Алины! изогнутые тонкие нежные раковинки с неприросшими мочками! две симметричных изящных, как выхваченные дары океана! — поцеловал сзади в ушко. За ушком. В шею. И потянул из кухни, не давая как следует вытереть рук.

Не по времени дня, но вполне по сумеречному свету.

А на душе стало светленько. И захотелось рассказывать. За последние месяцы столько бывало!.. Например, давали благотворительный в Охотничьем клубе, чудная акустика. Сам московский голова Челноков целовал Алине ручку.

— А один подполковник на другой день сказал: вы знаете, после вашей баллады Шопена я не мог спать всю ночь!

Но Жорж оставался не захвачен: он курил лёжа (как выгнали из Ставки, с тех пор опять стал курить и не борется с собой), методично стряхивал пепел, не просыпая мимо на тумбочку, а интереса не было, слушал не перебивал, но и сердцем не встречал рассказа. И это после такой долгой разлуки!..

Ах, он оставался во мраке! Но — и очень же он отупел за эти годы окопного сидения. Почему не возвыситься к искусству — высшему, что в мире есть? Да уж не страдает ли его мужское достоинство от разворота алининого таланта — тогда как сам он заглох и опустил?

— Да ты не радуешься моим успехам? Ты что ж — ревнуешь? Ты предпочёл бы, чтоб я сидела в четырёх стенах?

Уверял, что — рад, и даже очень, и букетам, и всему.

И тут Алина спохватилась, что у них, по сути, один вечер — всего лишь один сегодняшний вечер! — и как же верней распорядиться им? надо скорей решать. — А дома не посидим? — надеялся Жорж. — По твоей собственной вине! Брал бы командировку в Московский округ. Билеты куда-нибудь? — уже поздно. Но — в гости. (А — показать его Сусанне!) — Наденешь все ордена? — Нет, все носятся при парадной. Только Георгия и Владимира. — Жалко.

Завертелось у Алины: как дать знать? у кого собраться? Она деловито одевалась. Хорошо, теперь повесили телефонный аппарат у них на лестнице, не идти в аптеку.

Пошла. Сделала удачные телефоны. Вернулась:

— Соберёмся у Мумы. Она попоёт, я поаккомпанирую.

Жорж окислился: мол, всего лишь аккомпанировать и для того тянуться? Да лучше дома поиграла бы сама, я люблю твою музыку именно, когда ты одна играешь.

— Аккомпанировать — это низко? — возмутилась Алина. — Да ты урод, ничего не понимаешь. Аккомпанемент — это высшее наслаждение для пианиста! Ансамбль! — ты можешь понять, что такое ансамбль?.. А ты задумывался: если б не музыка — как бы я вообще выносила наши длительные разлуки?

Обминался по краям комнаты.

— Ты — приехал, уехал, а я — живу одинёшенька. Я — в духовном голоде. И мои друзья — мой мир, который я впитываю и перед которым раскрываюсь. Ты уедешь — а я останусь именно

с тем, что будут думать обо мне эти люди. Ты — хоть мгновение можешь мне дать ощутить себя перед ними не соломенной вдовой? Хоть в памяти их оставить, что у меня есть какой-никакой муж? — И видя, что он расстроился: — Ну конечно, и я поиграю, и я! А ты — расскажешь о фронте, ведь это всем надо слушать, не мне одной!

Так и собрались у Мумы, хорошей алининой подруги, которая пела контральто и у которой был прекрасный беккеровский рояль. Пришли — уж кого успели собрать, кой-какое общество, даже и мумины соседи, — да главная цель была показать Жоржа Сусанне.

Музыкальная часть прошла прекрасно. Мума пела безумно красивую Далилу и другое, Алина сыграла прелестную шопеновскую мазурку и накатный листовский этюд «Рим — Неаполь — Флоренция». И ещё был — свистун, художественный свист. Всем понравилось, принимали хорошо. Алина к ужину разгорелась, выпила две рюмки виноградного, вторую не против воли.

А потом, как и в каждой компании, где появляется из Действующей армии боевой офицер, — все очень ждали рассказов полковника. Но он, вредный, ничего не рассказал, так-таки ни одного эпизода, а ведь умел. (Не мог для жёнушки постараться!) Тем не менее просто удивительно, как всем понравился, Алина была горда. Видели — планки орденов, загорелость, обветренность и дремлющую в нём волю, даже избыточную: вид у него сначала был недовольный, потом — смягчился.

С интересом посматривала Алина, какое впечатление произведёт Жорж на Сусанну. Отсели они на дальний диван, говорили немного. Алина проходила неподалеку, прислушалась — ну конечно, всякий о своём, Сусанна спрашивала:

— Ну, честно ли? — свои поражения, отступления, своё тупоголовство валить на еврейских шпионов?

— Решительно с вами согласен: нечестно.

— Но если на евреев такое возводят во время войны — что ж будет после победы? И как же евреям этой победы желать?

— Тоже согласен. Если евреи лишены какой-то части российских прав — нельзя с них спрашивать и полной любви к России. И неоскорбительно допустить, что многие больше сочувствуют Германии, где пользуются всеми правами.

Всё же Сусанна свои наблюдения успела сделать и позже в тот вечер сказала Алине:

— О нет, не похоже на старость чувств! Так что будьте повнимательней. И когда с ним в обществе — приглядывайтесь, как он смотрит на женщин, и как они на него.

— Ну уж, ну уж! — засмеялась Алина. — Спасибо за предупреждение, но об этом можно не тревожиться. Женщины — вообще не в круге его зрения. И никогда не были. И никакая ему не заменит меня. Да я бы, Сусанна Иосифовна, гордилась, если б у него было богатство чувств. Но увы, всё ушло — на русского несостоявшегося Шлиффена.

Возвращались домой — подумала: а может, поехать с ним сейчас в Петроград? Алина была весьма способна на быстрые, крутые решения, даже больше всего любила именно круто менять всегда. А?.. Но и дело в том, что через два дня она сама участвует в концерте, жалко не выступить. А вот идея! — задержись на два дня, послушаешь *полный* звук в хорошем зале, а не в комнатной обстановке, а потом вместе и поедem в Петроград?

12

В августе Четырнадцатого года, отправленный из Ставки командиром полка на фронт, Воротынцев и перенёс туда себя всего, всю полноту жизни. Он и сам сознавал, что его снование по верхам в самсоновской катастрофе оказалось бесполезно — и за то одно, а не за скандал в Ставке, он уже заслужил быть сослан вниз и впряжён в прямое дело. И он — влился в свой полк, врос в него, и даже глубже, чем был обязан: ни разу с тех пор не ездил в отпуск, ни в прошлом году, ни в этом. Стена горечи отгородила от него всякую льготную, свободную жизнь и всякий вообще тыл — и он не позволял себе бросить полк ни на неделю. Он посвящал свою жизнь военной службе? — ну вот он и попал теперь на неё, до последнего своего дня. После смены Николая Николаевича, Янушкевича, Данилова — Воротынцев мог бы предпринять попытку подняться вновь. Но не сделал этого.

Перемежно-несчастный ход войны покрывал своей ужасающей тенью мелкое служебное крушение полковника Воротынцева. Не утерев способности стратегического взгляда, он часто, сколько

мог судить, не верил в высший смысл операций, в которые втягивалась их дивизия, корпус, армия, и с высоты полка было ясно, что лезть через Карпаты да без снарядов — крупная глупость. Но запретил себе этим разжигаться. В полку он был на месте, и хватит. Он больше не стремился отличиться, украситься орденами, снова возвыситься: там, наверху, он уже побывал и не испытывал тяги снова. Он ожесточённо врастил себя в здешнюю кору, рассудил считать себя обречённым, и периодами бывал даже подлинно нечувствителен к смерти, отчаянно себя вёл. А был только дважды зацеплен, легко. Когда же наступали месяцы размеренного позиционного сидения — утверживало грудь спокойное сознание посильно выполняемого долга. И чем больше притекало через отпускников мутных, оскорбительных рассказов о тыле, как там ловчат, как привыкли к войне будто обыденности, — тем отвратительней представлялся тыл, тем очистительней было сознавать здешнюю атмосферу, видеть чистые вокруг сердца, ежечасно готовые к смерти. Давние фронтовики, они переродились тут в новую породу.

Но кто — они? Кадровые офицеры, сверхсрочные унтеры да обтерпевшиеся прапорщики. А главный солдатский поток притекал сюда по вынужденности, и держался тут на вынужденности, и почему они должны тут раниться и умирать — у них понятия ясного не было.

И переколачиваясь, и перевариваясь тут, и хороня, хороня, хороня вот уже двадцать четыре месяца — не мог Воротынцев не взглянуть на эту войну из-под солдатской покорной, обречённой шкуры.

Как будто дико: кадровому офицеру — усумниться в пользе войны?

Воротынцев сознательно отдал свою жизнь армии — и значит, никакой высшей деятельности, чем война, не могло быть у него, всё лучшее в нём было настроено на войну. С юности рвань на военную службу, он мечтал только об её усовершенствовании, — а для чего же, как не для войны. Задача военного — только исполнять объявленную войну. Никогда прежде не приходило ему в голову, что в ся война, ведомая родиной, может быть тобою, офицером, не одобрена. Провоевав Японскую, он до такой мысли не доходил. Тогда он только возмущался отдельными генералами и возмущался насмешливым и даже прямо предательским отношением к той войне образованного общества. Сам же, как ему казалось, глубоко понимал, что мы прорубаем окно на Тихий океан,

что если две исторических мощи, растя, сокоснулись упруго границами — им не избежать попытать силы и определить линию раздела, — ведь так и всё живое, всегда на Земле. (Позже он понял, что у России умеренный выход — был, а просто раззявили рот на чужое.)

И нынешнюю войну Воротынцев начинал безо всякой мысли сомнения, да ещё в угаре первого поспешного маневренного периода, им владело молодое чувство радости перед боем. Только раз, в Восточной Пруссии, у скотобойного домика, коротким видением его посетила такая странность: зачем мы оказались на этой войне?

Но проволакивались месяцы и месяцы этих двух лет, уничтожение, уничтожение, уничтожение русских солдат в его полку, на их участке и на соседних — и всё больше прорезало Воротынцева болезненное прояснение, что вся нынешняя война — не та. Как говорят в народе — не задалась. По ошибке начата, не с той ноги. И ведётся губительно. Не грозил России военный разгром, но не видно и выигрыша.

Во всех этих прокроваленных бинтах, как на себе стянутых, ощутил Воротынцев так: нельзя нам этой войны вести!

Пришлось ему задуматься: что ж он любит? — неужели своё военное ремесло выше, чем своё отечество? Он — военный, да, и должен служить войне, но не для самой же войны, а для России.

Так Воротынцев, посвятив себя войне, перестал в ней помещаться.

В этой войне, из-под досужих перьев то Великой, то Отечественной, то Европейской, — не чувствовалось неотвратимости.

А вести надо, он понял теперь, только неотвратимые войны.

Зачем мы вели Японскую? Зачем теснили китайцев? Да даже и последнюю Турецкую зачем? А — туркестанскую кампанию? Вот Крымскую — надо было вести так вести. Так мы её поспешили сдать.

Воротынцев умел воевать только не отделяя себя от солдат. Ему всегда был неприятен офицерский отдельный быт, биллиард, «потанцевать бы». Ни кия, ни игральной колоды он в руки никогда не брал. И вообще не терпел офицеров — прожигателей жизни.

Вот так, веками, занятые только собой, мы держали народ в крепостном безправии, не развивали ни духовно, ни культурно — и передали эту заботу революционерам. Но эта война послала нам такое соединение с престонародьем — когда оно бы-

вало в жизни? Разве что с мальчишками, в костромское детство, в Застружьи. Послала такое безоглядное слитие: все мы — это мы, вот сидим в земле, а те, они, вон шевелятся, ползут, стреляют в нас, а нам их надо накрыть.

В чём может состоять главный долг офицера? — беречь солдат! Солдат не знает, как воевать, он доверяет, что начальник его сбережёт. Да чем больше мы их сбережём — тем верней и выиграем войну: в благодарность за сбереженье он и воюет лучше, и в полку порядок. Незаменим оставался Воротынцев в задаче сохранять подчинённые жизни.

Но когда солдаты отдаются нам как отцам — каково же чувствовать, что мы их обманываем, не туда заводим?

Справедливое сознание вины, которым мучилась русская интеллигенция полное столетие, — вот оно сейчас и внятно: перед своим народом мы не имеем права на эту войну. И что мы сами в той же опасности — не снимает вины.

Прожив эти два года заедино с солдатом, гораздо тесней с его бытом и боем, чем это требуется от командира полка, не мог Воротынцев не убедиться, что крестьянство несколько этой войной не увлечено, ничего не видит в ней, кроме бесполезных смертей и бесполезной потери рабочего времени. В народном сознании эта война не была подготовлена, не созрела, ворвалась насильем или стихийным бедствием, — и из сотни солдат редко один испытывал к австрияку, к немцу — враждебность, а гневались только за удушливые газы, за что и следовало. (После первых, на нашу беззащитность, газов — сдающихся в плен кололи, раньше никогда.) А кроме — ни у кого не было ни обиды на противника, ни разозлённости, ни ясной цели: для чего надо принимать все эти гибели и раны, или какая опасность так уж нам от немца грозит.

Да Воротынцев и сам не видел за Германией такого корпуса и веса, чтобы завоевать Россию.

Но если солдат не разделил сердцем этой войны и мы не в состоянии вдохнуть в него — то до каких же пор, до каких граней и с какой совестью мы можем продолжать гнать и гнать его на погибель, гнать и гнать в лобовые атаки, то по голым болотам, то по лесистым кручам?

Они — всё терпят, да. Но имею ли я право терпеть за них?

За все солдатские жизни — что мы дали им? Или дадим? Неужели Константинополь заменит нам всех убитых? А больше Константинополя мы и не добудем.

Да никакой тут и не мятеж. Не Воротынцев первый до этого додумался, но ещё Александр III сказал Бисмарку: за все Балканы не дам ни одного русского солдата.

И правильно!

Эта война перешла пределы, перешла размеры войны во всех прежних пониманиях. Это стало народное повальное бедствие — но не от природы, а от нас, от направителей.

И вот какая опасность: что народ не простит нам этой войны, как не простил крепостного рабства. Затаил ведь.

Ещё очень важно: за какую именно землю зовут тебя умирать. За щемящую белорусскую, за певучую малороссийскую, за кроткую среднерусскую — всегда готов, и солдаты бы тоже. Пойди Германия в глубь России — так это была б и другая война, и другое понятие. Но — за Карпаты? но — за румынское грязное невылазье, такое чужое, бессмысленное? Хоронить здесь русских солдат ощущал Воротынцев как ежедневное преступление.

Да вся эта небывалая война ничем не обоснована и для всех стран: она возникла от жира Европы. Но сердце к своему привязано, ноет: н а м не нужна эта война. И выход к победе проглядывается из неё не близко, разве что немцам ещё хуже, они в мышеловке. А верней, эта война перешла уже столько граней уничтожения, что и победитель не много будет радоваться перед побеждённым.

Обычное народное выражение — никогда не «победа», не «мир», но — з а м и р е н и е. Народ понимает только эту единственность выхода, где не различается ни победа, ни поражение, ни ничья.

И Воротынцев, два года в земле передовой линии, через смерть и раны перепустив уже не один состав своего полка, в солдатских землянках подошёл и своим сердцем к тому же: для спасения России, для спасения самого нашего корня, племени, семени, чтоб не извелось, не вывелось оно на земле, — нужно замирение, замирение во что бы то ни стало, и никакой Константинополь нам не награда, и даже предпочтительней замирение тотчас.

Однажды он заснул в землянке, где о нём не знали, и слышал солдатский разговор:

— Начальство пора менять. И чего царь-батюшка смотрит? — пора их в шею гнать.

Их! — это ясно отделялось в солдатском сознании. И страшно то, что *они* не придуманы были, а существовали — возвышен-

ный, правящий, нажиревший, забывшийся, дремлющий слой. Они умудрялись плавать как-то над войной, позабыв, не сознавая свою жгучую ответственность.

Им — послана была военная реформа после Японской, они её отбросили. Им послан был Столыпин, человек великого напряжения и дела, — они его отвергли, свергли, дали убить. (А если бы сегодня всё было в твёрдых столыпинских руках — то и не было бы этой войны или не так бы она велась.) Им послано было — не с такой бездарностью, не с такой закислостью вести эту войну, дать же свежему ветру продуть генеральские шеренги! В германской армии задолго до войны держался безстрашный порядок новогодних синих конвертов: отставка старшего офицера по непригодности. А у нас — непригодных нет! И всё непробудно тупое, нерасчитимое, неубираемое, всё безответственное, самодовольное и живущее лишь для себя, — всё цеплялось за Верховного Главнокомандующего, за его необдуманные милости, его невзвешенную ласку.

Но так, неизбежно, от них мысль всегда возносилась к Нему. А он — что чувствует от всех этих наших жертв? Ему — ещё более было послано: вообще не вмешиваться в европейское галдёжное безумие, вообще не окунаться в эту войну, но оставить Россию неподвижной глыбой над разодранным континентом! А он — бутылкнул в войну миллионы захлебнувшихся Иванов.

Если он верит в рисованного мужика, то перед рисованным, полусвятым — тем больше должна быть его ответственность!

И это взятие поста Верховного, зная, что сам ничем не руководит, оставить в Петрограде министерский сумбур и беспомощно курсировать между Ставкой и Царским Селом, или хуже — сновать по войсковым смотрам? Что может быть досадливей войсковых смотров в боевое время? Воротынцеву стыдно было за царя, как если б сам он придумывал эти смотры, чтоб оторвать воюющих людей от отдыха во второй линии, сгонять вместе по нескольку полков, а то ещё и из окопов вытаскивают чёрных, измученных, наскоро чистят, моют, муштруют последнюю ночь, — и всё для того, чтобы прогнать перед высочайшими очами церемониальным маршем, выслушать рапорты и произвести несколько императорских фотографий, да каждый раз в чьей-нибудь новой полковой форме (и ходил бы уж в простом защитном!). Объезжая ряды верхом — с лошади какие-то никого не трогающие слова. В его обращениях к армии — ни крылатых выражений, ни государственной

мощи, так, полковой праздник. И в газетах всегда: «нескончаемое громовое ура провожало обожаемого монарха». А уже создалось на фронте поверье, что его наезды приносят несчастье.

Этой весной Воротынцев и сам повидал Государя на смотре под Каменец-Подольском. Перед появлением его, правда, нельзя миновать ожидания восторженного: пока он ещё невидим, но его присутствие близко, сердце колотится, и сознаёшь величие символа: в одном человеке сосредоточена, вот грядёт вся Россия! Невольно ждёшь необыкновенного! Но когда затем появляется полковник небольшого роста, без боевой резкости, да видимо ещё и стесняется, — восторг сразу опадает, остаётся в груди и в глазах лишь напряжённое любопытство. Бедные солдатики тянутся, вскидывают головы, кричат «ура» — а у царя утомлённое (предыдущими смотрами?), безразличное, невыразительное, даже мало-довольное лицо.

Воротынцев впился в него, хотел понять: отдаёт ли этот монарх себя России — так, как должен? Сколько в его жизни парадов! — когда же думать о государстве?

А с каким духом он подписывает каждый новый призыв ополченцев второго разряда? Думает ли, как разоряет деревню? и какие из них солдаты? и через сколько месяцев?

Воротынцев мечтал бы любить своего Государя. Но и внушить себе культ он тоже не мог. Он — страдал, что Государь таков. В роковые годы — и такой безсильный над своей страной, такой не достигающий пределов мысли, и ещё безвольный? и ещё безъязыкий, и ещё бездейственный, — догадывается ли он сам обо всём этом?..

И притом — Верховный Главнокомандующий 12-миллионной армии. И — всё перегорожено. И можно только ждать конца войны или следующего царствования. (А почему этот мальчик, возрастая, будет лучше?)

Да чем худшим мог быть наказан царь, чем вереницей нынешних ничтожных министров? Как будто на посмешище выводили одного ничтожней другого. Эту вереницу видели все, и самые ревностные подданные не могли привести слов оправдания. Во всех штабах с большой свободой говорили о негодности правительства и о придворной грязи. И даже — о Самом, с жалостью, с пренебрежением.

А больше всего недовольства было против царицы, её ругали уже совсем нестеснённо, беспощадно. Что царица «развела мерз-

кую распутинщину», офицеры бросали настолько открыто, что слышали рядовые. Сам-то Воротынцев ни минуты не верил ни что она живёт с Распутиным, ни что творит государственную измену (уверяли, что это она навела немецкую подводную лодку на корабль Китченера и что открывала немцам планы наших наступлений), — подозревал здесь общечеловеческое: на загадочные, недоступные личности наговаривают издали невозможное. Теребят и разносят всегда самый грубый, пошлый вариант.

Но даже если была верна одна восьмая из того, что говорили! Распутиństwo — как направление государственной жизни? Чтобы какой-то кудесник подобрался к кормилу власти и участвовал в назначении министров? Распутинский уровень государственных свершений — оскорблял.

Всё дочиста — ложью быть не могло. Если даже — одна восьмая...

И на фотографиях императрицы — это каменное лицо злой колдуньи, не позванной на свадьбу...

Мало было самой болезни войны — ещё и заболеть болезнью тыла? Мало было горечи от того, что видели каждый день тут, — ещё и сзади наползали облаками газа эти слухи о тыле как о чём-то худшем и горшем. Хотел бы Воротынцев не воспринимать этого удушья, оно не помещалось в груди, — но и отгородиться было невозможно, его наносили все приезжающие, слухами, сплетнями, — да и оно же почти открыто валило с газетных страниц. Печатные газетные авторитетные колонки — ведь это уже не сплетни, а вот они намекали и прямо клякали, что беда не в войне, а в дурном правительстве, даже злобном к своей стране. А ты, во фронтовой закинутости, усумнён: ты два года там не был, в России, и что там воистину делается — успеть ли тебе судить?

Однако сужденья этих самых газет о фронте были настолько все пальцем в лужу, что могли и в другом быть такие же. Газеты — Воротынцев презирал.

Но вот что: среди грязных слухов об императрице передавали и такой: что она ведёт с немцами тайные переговоры к сепаратному миру!

Передавали это крайне осудительно, а Воротынцев чуть не задохнулся: да умница бы была! И — правдоподобно: кому как не ей, русской царице немецкой крови, двоиться и муками исходить от этой войны? И — перспективно: единодушно всем было видно издали, что в царской чете она — ведущая, властная, так все и пони-

мали. Так что́ задумает — она и склонит Государя! Так это обнадежная линия?

И с новым чувством всматривался Воротынцев в портрет царицы. Не отказать в воле, в решительности — да, пожалуй, и в уме. Она — сосредоточенно знает своё. Да умница бы была!..

И как же чётко стоит проблема, и как же чётко её увидеть им сверху: если нет данных о близости исчерпывающей победы (а ведь нет! почувствовалось бы и здесь!) — то долг государственных людей не подвергать народное терпение новым испытаниям и новым жертвам.

Да — всё бы простил Воротынцев своему Государю за немедленный мир сейчас!

А вот и сам он на месте всё менее усуживал: заварилось, за клубилось: нельзя дать событиям просто течь, как они текут, в изнеможение и в гибель. Нельзя просто терпеть и ждать. Застучал в грудь порыв: действовать! Что пришла пора действовать — сходились знаки. И эта общая безвыходная брань на тыл. И это безнадежное погружение в румынскую дичь, неудачи и расхлябца двухмесячной румынской кампании, новые могилы в чужой земле.

Но как и в чём действовать? — этого он не выхватывал умом. Ясно только, что действовать — не значило со своим полком через лесистые горы, глубже в Трансильванию.

И так далеко ушёл он мыслями, что и единомышленников не видел себе нигде вблизи: все ворчали на тыл, многие на правительство, но с кем из офицеров мог поделиться офицер, что нестерпима и не нужна сама война?

Нет, если *действовать* — то очевидно где-то в тылу? в столицах? Но — с кем? как? Что офицер знает о гражданской жизни? Ничего, мы — нуки.

Но и не может быть, чтоб энергичный человек не нашёл себе союзников, путей действия. Там-то, в тылу, есть же такие люди! Записать — тоже невозможно! Нерешительность — наша всеобщая беда, сверху донизу.

Как-то раз было письмо и от Свечина, зовущего при случае заехать в Ставку. Позондировать и там?

Так — этой осенью Воротынцев потерял ту отрешённую погружённость, в которой воевал два года, — и засверлилось в нём вертящее беспокойство. Так почувствовал, что его ещё не домотанным силам маячит какое-то и другое применение. Тыл, от которого он отворачивался два года, теперь стал ему допустим и нужен. Он

созрел ехать туда даже и в не слишком спокойной обстановке тут. Ехать хоть просто на разведку. Кого-то увидеть. Если не начать что-то делать, так хоть узнать. Своё настроение проверить на думающих столичных людях? От многого он, видимо, отстал. Сидя здесь — конечно невозможно ни на что повлиять. В грязной дыре за Кымполунгом Воротынцев ощутил себя сжатой, неразряженной пружиной.

А тут попал в штаб корпуса, и дали ему прочесть — открыто, не то чтобы по тесному знакомству — письмо Гучкова генералу Алексееву, так и написанное, видимо, с расчётом на открытость, но ещё 15 августа, а Воротынцев прочёл вот только в начале октября. Это письмо с его частным как будто вопросом о полумиллионе не взятых в Англии винтовок (вопросом устаревшим, ибо в армии уже был излишек винтовок, теперь свои заводы давали по 100 тысяч в месяц) — было откровенно подстёгнуто общими бьющими словами (узнавалась манера Гучкова): «власть гниёт на корню», «гниющий тыл грозит и доблестному фронту», надвигается «пожар, размеры которого нельзя предвидеть».

И — может быть, правда? Ведь Гучков-то знает больше! Но сколько б он ни знал там, в Петербурге, — не может он знать всей трясины, которая здесь. Всей сути, к чему пришло. Он — должен это узнать! Надо повидаться!

Письмо Гучкова сослужило Воротынцеву как соскакивающая защёлка. И со всем, что в нём копилось, копилось, копилось, не находя решения, теперь он был выброшен вперёд и вверх, как с катапульты. Почти в час, ещё ходя между хатами штаба, Воротынцев понял и решил, что надо ехать, смотреть, искать, понять. Может, именно там он и нужен, на помощь? Ехать — в Петроград, очевидно. Момент подступал единственный, на это намекало письмо Гучкова.

Плечи, лопатки затомились. Какая сила осталась — её надо отдать, да!

В эти же часы, тут же, в корпусном штабе, от двух знакомых офицеров, от каждого врозь, он получил ещё один слух: что в Петрограде зреет заговор государственного переворота! — и об этом все знают!

Это — что ещё? Заговор — для чего? И — как это возможно, если до здешнего штаба дошло без телефона и телеграфа?

Каков же это заговор, если о нём все знают? Или: каков же его несомненный перевес, если его и скрывать не надо?

В тот же вечер он подал рапорт об отпуске. За три дня сдал полк заместнику. И — понёсся, швырнутый по своему жгучему вектору.

*ЗАМИРИЛСЯ БЫ С ТУРКОЙ,
ТАК ЦАРЬ НЕ ВЕЛИТ*

13

Но, прожигаемый замыслом, только сердцем несёшься мгновенно вперёд, а телом медленно: австрийская трофейная узкоколейка от Кымполунга, да первые малые поезда, да частые малые пересадки, и в поездах — одни военные, как и привыкли у себя в трансильванских горах, давно не видючи ни гражданского населения, ни живой женщины.

Дальше, в офицерских вагонах, — обычные офицерские разговоры, и хотя лица новые и сразу из многих полков, много случаев — а всё на том же быте, и поручик в чёрной гуттаперчевой перчатке, скрывающей изуродованную кисть, и рослый кавказец-ротмистр с изукрашенными ножнами шашки, и чрезмерно возбуждённый штабс-капитан с жалобами на своего начальника, «иезуита генерального штаба».

Потом — спал до Винницы. А от Винницы уже много штатских в поезде, и от каждого спутника — свои новые наслоения, предвещающие огромный тыловой мир — ведь он полудней нашего фронта! И — ни от чего не отмахнёшься, а даже и нужно всё это втягивать, в чём же смысл поездки? И всё это — тискается в тебя, не помещается, не укладывается, гудит.

А ещё ж — газеты, встречные газеты. Теперь покупал на станциях, читал — и от интереса, и уже как бы по обязанности. А в них

больше всего споры: какому министерству поручить продовольственное дело. И понять это невозможно.

А в Киеве на вокзале — вдруг такая людность, и неожиданно — столько оживлённой, будто совсем неозабоченной публики. И хотя всё так же Воротынцев внутренне нёсся со своей катапульты, всё так же прожигался единым поиском, — а вдруг почувствовал в себе расслабление, и при том приятное. Заметил, что избегает смотреть на мелькающих офицеров, козыряет, козыряет, а совсем не видит их. И избегает лиц озабоченных, скорбных, и как будто не видит женщин в трауре — а видит нарядных, оживлённых, в разговоре и смехе. Вдруг — захотелось всего того, что напоминает довоенную жизнь. И хотя ничего в этом чувстве не было неестественного, а — от себя не ожидал. И отвычное чувство, и сладкое, и как будто нечестное. Воротынцев словно от получаса к получасу молодел. И летит — не слабей, чем полетел, но характер полёта его меняется.

Задача его была — прямо в Петербург, и он думал нестись туда, не растратив заряда, не сказась жене, — а вот вдруг, под этим новым настроением заколебался, не захватить ли к жене сперва. И польготило то, что московский поезд оказался на шесть часов раньше прямого петербургского. Ждать было — томительно, не хотелось, и ещё так себя убедил: ведь Гучков часто бывает в Москве, вдруг и сейчас там?

Сам себя убедил — и обрадовался. И взявши билет на Москву — сейчас же дал телеграмму Алине, радуясь и за неё и за себя.

И — тут же, как в накрыв за ошибку, в вокзальном ресторане оказался за столиком с моряком-севастопольцем, а от него узнал ошеломительное известие, о котором ничего не писали газеты: неделю назад, под утро 7 октября, возник пожар в носовых погребах «Императрицы Марии», потом сильный взрыв, и загорелась нефть. Примчался Колчак, на накренившемся корабле сам руководил затопленьем остальных погребов — и удалось, больше взрывов не было. Броненосец перевернулся и потонул — но не пострадал ни рейд, ни город. Красы Черноморского флота не стало! Двести погибших, несколько сот раненых.

И — от чего же?? Неизвестно, виновников не нашли. Но оказалось, что на ремонтные работы — и в самую ночь перед взрывом — на броненосец привозились рабочие без всякой поимённой переписи и без осмотра их свёртков, и на корабле не было за ними надзора — любой мог бродить и из нижнего башенного помещения спустить через вентилятор в погреб любой предмет.

И — так воюют?.. И — так можно воевать?

Лучший корабль флота!..

Какие тут отвлеченья и развлеченья? как можно откладывать дело? Ах, не надо было брать на Москву!..

Воротынцев состоял в каком-то полусне-полуприсутствии. Разила на каждом шагу отвычная штатская, тыловая жизнь. А роились и подталкивали мысли о каких-то неизвестных людях, которых он собирался искать. А каждый новый спутник наносил своё, и надо было слушать, даже непременно.

От Киева до Брянска попался спутник, наседливый в разговоре, — и как о простом известном пространно рассуждал, что правительство нестерпимо, что Россией управляет гигантская фигура распутного мужика, что страну спасает только Союз земств и городов. Оказался сосед — уполномоченный по закупке хлеба и фуража для армии, и толковал о твёрдых ценах, франко-амбар, франко-станция, о мельницах, сортах помола, доставке в города и в армию.

Во фронтовом охвате зрения и в тыловом — разные предметы, несходная градация важного и неважного. Фронтовик обыденно соприкоснён с самым вечным, и только усмешку вызывает в нём то, что кажется тыловику первейше важным.

Но поезд шёл, углубляясь именно в тыл, часы текли — и Воротынцев через рассеянность и немоготу старался вслушиваться, начался вникать.

А спутник и кроме хлеба знал. Он рассказывал и о другом таком, о чём и догадаться можно бы было — а вот из окопа не вдуматься.

Закон о «ликвидации немецкого засиления». К чему он, что от этого выиграет Россия? Сгоняют с земли немецких помещиков и колонистов, 600 тысяч десятин останутся незасеянными, расстроятся культурные хозяйства, а они ещё и сами изготовляли вёялки, сеялки.

Беженство. Зачем его вообще придумали? — немцев пугать? Страгивать с места миллионы людей, забивать железные дороги, тыловые города, по всей России разливаются неприкаянно. Ну хорошо, уже давно видно, что война — не на месяц, и сажали б их на землю, ведь пустующая есть в разных фондах, да и отобранная от немцев. Давали бы ссуду на устройство, пусть пашут, — так нет. И эти миллионы людей не работают. А со стороны вербуют, везут китайцев, ещё больше толкучка.

Нет, никакой стороной головы не был готов Воротынцев освоить эти проблемы! Где ему всё сообразить в короткие дни отпуска! Только успевал он надивиться, до чего ж необъятно государственное дело, до чего нельзя решать его с наскоку, и где та голова, которая всё охватила бы?

Надо найти людей, которые всё это уже поняли. Гучков?..

По пути, уже с первых штатских станций, мелькали и оскорбляли мундиры *земгусаров* — чиновников Союза земств и городов, ни в какой армии не состоящих, ни на какие передовые позиции никогда не попадающих, — а между тем в щегольской почти офицерской форме, со вшитыми погонами, только узкими, как у военных врачей и чиновников.

И они-то громче всего в вагонах рассуждали. И уверенней всего представляли дело с российским правительством и с ходом российских дел окончательно погубленным. И с таким знанием они это всё заявляли — не только не поспоришь, а тревога охватывала: что слишком поздно Воротынцев схватился, что нечего и ехать, всё уже пропало. В тылу оказывалось гораздо хуже, чем на фронте?

И от них же услышал осудительно, что ведутся тайные переговоры о сепаратном мире. (И сердце забилося: не понимали, чего касались! Неужели ведутся??)

И среди них же попался, в такой же форме, сел от Брянска, со светлыми усами, слегка за тридцать, симпатичный, спокойный. Узнав, что полковник из Румынии, живо расспрашивал, он там бывал до войны по делам фирмы. Сам оказался урождённый швейцарец, инженер Жербер, привезен в Россию малым ребёнком, отец тоже инженер, вырос обрусевшим, много ездил по России. Когда другой земгусар надменно заявил: «За снаряды благодарите Земгор и Военно-промышленный комитет, это они поставляют большую часть», — Жербер невздорчиво ему возразил: «Не так, не так. Большая часть поступает с казённых заводов». «Откуда вам так известно?» — вспыхнул тот. «А я заведую в Москве центральным гаражом Земгора, и знаю, что возят грузовики».

Выходили с Жербером покурить в коридор, и там он досказал, что постеснялся тому в лицо: недавно был такой случай: вечером привезли на станцию партию снарядов с казённого завода, а утром перед погрузкой на ящиках оказались трафареты Земгора. Ловко работают, а на фронте и верят.

Разговорились с ним дольше, он выразил, что сейчас вся интеллигенция охвачена как бы поветрием, заразной болезнью.

ню: ругать правительство, теряя чувство ответственности перед государством и народом. Чтобы подорвать правительство — готовы на всё.

— Отчего же не коснулось поветрие вас?

— Наверно потому, — улыбнулся Жербер, — что я не русский и могу беспрепятственно смотреть со стороны. Какое бы ни плохое правительство, но менять его во время войны была бы анархия.

Ещё и Жербер догрузил впечатления, уже не вмещалось. Заснул Воротынцев за Сухиничами, спал плохо. И заботы разбирали, и непонятности, и тревожная радость перед Москвой.

Во фронтовом огрубленье не думал, что такое сильное будет ощущение — выйти ногами в своей Москве и с холмика глянуть на тот берег реки, на столпленье домов, там и здесь прозначенных голубыми и золотыми куполами.

Чтобы без денщика — Воротынцев ехал почти и без багажа. Сразу же, под стеклянным колпаком Брянского вокзала, пошёл к телефонной будке, крутил ручку и назначал квартиру брата Гучкова, Николая Ивановича. И узнал: нет, Александр Иваныч сейчас в Петрограде и в близких днях в Москву не ждёт.

И тем более стало ясно, что надо было из Киева ехать прямо в Петроград. Ах, зря в Москву поехал, не хватило терпенья дожидаться. И — эх, не давал бы телеграмму Алине, сейчас бы прямо с вокзала на вокзал, чтоб не рассеяться, не разменаться. Сколько раз в жизни обжигался Георгий на этой манере — раньше времени с размаху пообещать.

И совестно стало перед женой.

Всю жизнь таким он и был: почему-то семейное всегда отступает перед настоящим делом, никогда ему нет места.

Он дал телеграмму, потому что любил радовать Алину, и представлял её радость и разные мелкие приготовления, дорогие для неё, — так ей интересней, чем свалился бы неожиданно.

Но хотя с Брянского было уже ближе домой — Воротынцев, любя начинать с главного, поехал на Николаевский вокзал.

Шёл туда прямой 4-й трамвай, от Дорогомиловской заставы до Сокольников, но, выйдя на площадь, небывалое увидел Воротынцев: с задней площадки на ступеньках, на поручнях люди висели гроздьями, срывались, бежали вдогонку, скакали на чужие ноги, хватались за чужие руки.

Впрочем, извозчиков было много свободных у вокзала, только брали где раньше полтинник — теперь три рубля, и так себе, вань-

ка, и ничего не поделаешь. И вот уж они ехали через новый Бородинский мост, а справа, от Воробьёвых гор, по небу, и без того хмурому, ещё тянуло большую чёрную тучу.

— Кабы не снеговая! — показал извозчик кнутом. — У нас уж тут срывался. И морозец подхватывал.

Да, тут холодный стоял октябрь, а в Румынии — только слякоть. На голову догадался Воротынцев надеть сюда папаху, а вот под шинель не поддел куртки меховой — всегда ему бывало жарко, больше всего боялся запариться.

А ехали-то — по Москве! Сказка! Внутренне ещё продолжал перебирать о Гучкове, а внешне — прочнулся к окружающему и смотрел простыми радостными глазами: Москва родимая!

Как будто первый раз оценивал — как же она неповторяемо вылеплена, здание за зданием, бульвар за бульваром, — да посторонний наблюдатель и не усмотрит в городе того, что знает давний его жилец. Видит особняки — а целые усадебные сады в глубине? А переулком в сторону чуть — и трактир, как в зачуханном уезде, торговая баня, позапрошлого века жизнь, и самовары распивают на травяных дворах. Да не только всё знаешь, но через чувство, через воспоминание протекает каждый угол, каждое дерево, каждая плита тротуарная, — сколько тут невидимого задержалось! а идут, топчут, не замечают.

Так расходилось внутри — будто для этого и ехал — смотреть да смотреть Москву. Вот так, из мира другого, из совсем небытия вернуться в родное место — ну что разберёт больше! И даже не последнее вспоминается, не месяцы тут перед войной, а — давнее, давнее, детское...

Уже мог никогда не вернуться и на это посмотренье — от одного кусочка свинца, железа в два золотника.

Людей, людей, не тот стал город: толчая, сплошной поток, где его не бывало, и трамваи отчаянно звонят-стучат переходящим. И сами все набиты. Вот как, война идёт, а тут перенаселение. И много, видно на глаз, не московского люда, одеты лучше нашего обычного — привисленские? прибалтийские? Слышится с тротуара и речь нерусская частенько. Да ведь и по телефону ему барышня со станции ответила: «занэнто», он переспросил, лишь потом понял: «занято». Значит, на телефонной станции польки работают. Вспомнил, что ему в вагоне толковали про беженцев.

Много озабоченных лиц. А много — и без отпечатка, что война идёт.

Но что это? Там и здесь, загораживая проход по тротуару, скопились и стоят странно выстроенные в затылок друг другу люди разных возрастов, больше женщины, как слепые бы держались чередой или как становятся нижние чины с котелками, когда приезжает кухня, но там и наливают быстро. А в городе дико выглядит: стоят люди в затылок.

Объясняет извозчик: хвосты.

Это и Алине так достаётся?

И, чего никогда не бывало: женщины — трамвайные стрелочницы. Вагоновожатые, кондукторы. И вместо дворников. И промелькнула девушка в красной шапке посыльного.

Но это и доказывает, что прав Воротынцев: нельзя дальше воевать.

И извозчик жалуется, что отощал конёк, овсу не докупишься.

Ещё: на очень многих домах висят полотнища с красными крестами, будто четверть Москвы только и лечит раненых. Столько лазаретов? Объяснил извозчик: разрешено вывешивать каждому, кто взял хоть в одну квартиру, хоть пятерых раненых. И берут? Очень берут.

С одной стороны — широкодушие, а с другой — беспорядок, как же можно так рассыпать раненых?

И самих раненых, с повязками, много, много на улицах. И — по виду легко раненных или хорошо выздоравливающих. И увечных, костыльных — немало.

И что им теперь победа? Даже и Константинополь?

Оттуда они только уходили. А здесь — все собирались, вот. И ещё тяжче нависали на совесть. Можно ли так и дальше?..

Обгоняя ломовых и извозчиков, воняя дымом, проходили иногда грузовые автомобили. А то — бронированные военные. А то — шикарные легковые, открытые и закрытые.

Ох, велика Россия. И кто же мог бы взяться всю эту массу, всю жизнь этой массы — исправить? направить? спасти? Разве способна на это какая-то кучка? — штатских? или военных?

Своя Москва — но и чужая. Что-то непоправимое произошло. Происходило.

И на Николаевском вокзале обнаружили перебои в расписании, так что правильно Воротынцев начал с билета. Иные пассажирские поезда были отменены — для разгрузки линии, в пользу лишних товарных. А недавно, оказывается, между Москвой и Петроградом и вовсе отменяли на неделю пассажирское движение.

И даже не оказалось на завтра 1-го класса, пришлось брать международный.

Извозчик ждал, и теперь поехали домой на Остоженку.

Так напряжённо старался Воротынцев решать как лучше — а вот не ошибся ли опять? Уж если всё равно заехал в Москву — как же можно дома переночевать только одну ночь? И Алине будет страх как обидно, и самому обидно, и даже боязно, как ей сказать? Да не придумать ли себе командировку? Вот что: не отпуск, а командировка. В Петроград. Срочная.

Но так или иначе — с поездкой определилось, билет в кармане, точное время известно, — могли бы заботы и расступиться, можно бы просто смотреть на город.

Теперь — так близко оказалась Алина, и Георгий вот когда взволновался от приближения к ней. Подумать только — вот, через двадцать минут — своя жена, преданная, любимая, такая прелесть, — и почему она оказывается всё в конце ряда? Ничто в жизни не помещается.

С Мясницкой выехали на Лубянскую площадь, где по кругу, с железным подвизгиванием, раскручивались трамваи разных номеров, как и прежде неся на боках крыш крупные рекламы.

А там — Никольская, всегда деловая, густая, «Славянский базар», — такое всё и оставалось, тут война не отметилась заметно.

А дальше — самый просторный, пустой и быстрый путь для извозчика, когда он торопится, — через Кремль.

Под Спасскими воротами истинный москвич всегда обнажает голову. И Воротынцев не постеснялся, приподнял папаху — с почтением и гордостью.

Через Царскую площадь, через Императорскую площадь — эти лучшие дворы их детских игр. И лучший путь для седока, кто хочет эту свою здесь юность с лаской вспомнить.

Как доходчивы до нас воспоминания детства! Как они касаются сердца — особенней, чем всякие другие. И от их прикосновения вдруг хочется особенно жить — снова, ещё и подольше, и опять пребывать везде.

А ведь вот полоса была на фронте — совсем был решён на смерть, и даже без сожаления.

Да, и Георгий играл тут, как все, но уже с детства не были ему кремлёвские площади — просто удобные пустые дворы, уже с детства было напряжено его внимание к русской истории и предчувственно связывал он с ней свою будущую жизнь. Не побочно было

ему, что святой Георгий, второй стратег небесного воинства, — покровитель Москвы. И бросаясь тут мячом, никогда Егорка не забывал, что эта каменная твердыня не для игр тут стала, посреди деревянной Москвы, что с этих зубцов отбивали живых татар, и сюда вероломством входили поляки. Что Кремль перестоял невообразимое — и каменно-вечным противополопетровским упреком так и застыл.

И сейчас над этими пустынными плитами, где и с поросшей травой, перед тесокаменными стенами соборов, теремками, куполочками, крылечком Благовещенского — даже останавливалось сердце, так дышала история своей утверждённой плотью. И не было бы здесь извозчика и редких прохожих-проезжих — сейчас бы остановился под тёмной тучей, снял бы шапку, перекрестился бы на соборы, стал на колени и даже лбом до плиты, всей грудью принять эти камни и повторить свою верность им. Их тут древнюю тайную связь как ничто не отодвинуло, а войной даже сблизило.

Но было бы театрально со стороны. Да сколько церковью сегодня миновали и вот мимо этих соборов — Георгий не перекрестился ни разу, неудобно. Ушла эта привычка, воспитанная няней, стало неловко, несовременно, формально, и что простодушно могла проходящая старуха, то как будто не к лицу штаб-офицеру. «За веру!» — это даже стояло в начале армейского лозунга, армия считалась христианской, на том зиждилась, и не только никто не запрещал офицерам, но полагалось им верить, и первыми быть, и креститься на армейских богослужениях, — а вот какой-то улыбкой это всё тронуло, насмешливым воздухом образованности — и перешло в область стыдного. И хотя именно офицерскими приказами устраивались и полковые службы и пелись солдатские молитвы — но во всякую тяжёлую боевую минуту солдаты крестились естественно, а офицеры — или вовсе нет, или украдкой.

Из Боровицких ворот юркнули на набережную, пересекли поперёк толчею Большого Каменного моста, уже видя в пасмури перед собой терпеливое золото Храма Христа, а дальше — в огиб его террас, потом сокращали Зачатьевскими переулками — и на Остоженку выехали прямо против знаменитого часовщика Петрова — на месте, да! — спокойно работающего за большим витринным стеклом, как будто и невдомёк ему, отчего прохожие вздрагивают и останавливаются глядеть: на его невероятное (да наверно и подогнанное) сходство со Львом Толстым — будто из гроба воротился и дорабатывал ещё одно ремесло неуёмный старик!

Стало весело. Петров на месте — так и вся Остоженка на месте. Всё та же бело-синяя вывеска молочной Чичкина (да как в ней теперь с молоком?). И тот же большой крендель нависает над булочной Чуева (да с кренделями как? — но хвоста нет). А вот и наша крохотная церковка Успения (всякий раз припомнишь: самсоновский день) — с настенным образом, крестятся пожилые прохожие. (А ты — и тут нет.) Тпр-р-ру! — подкатил к парадному не без лихости.

Хотя юность Воротынцева не на Остоженке прошла, здесь только месяцы перед войной, — а всё равно: дома! Прямо и забилося сердце, что сейчас увидит Алину. Утреннее чувство досады — зачем заехал в Москву? — совсем отлегло, а напротив, разбирала виноватость: ведь только переполошил её и обманул. Но сейчас и он был к ней теплей, горячей, чем в несчастную буковинскую встречу: вот за эти дни поездки уже очнулась душа.

И сейчас он спешил к ней с нежностью — но и сокрушённо: опять расстроит. Как и всегда раньше — не мог он дать ей разворотного счастья, не помещалось. И всегда сознавал свою вину: что она с ним видела, видит, или что хорошего может её ждать? Георгию б, наверно, такую жену, чтоб не скучала и в походной палатке.

Лестница без лифта (о, телефон повесили!), но легка молодым ногам. Трудней глазам — насколько же всё по-старому! (Но — уже стала лестница? темней?) Целая война прокатилась, дивизии гибли, спускались на венгерскую равнину, потом пятились, коченели и ногти срывали в Карпатах, кувыркались назад, отдавали Галицию, брали Буковину, сдвигались в Трансильванию, — а тут всё то же начищенное опадающее ушко: «прошу повернуть».

Жив. Вернулся.

Ах ты, моя ласковая! Нет, поднять тебя всю, да прокружить! Да ты помолодела, вот новость! И куда радостней, чем приезжала в прошлом году.

Гордый взброс головы на тонкой шейке. Подобрана, как девочка. Хороша! Изменилось лицо. А струится в душу та особенная родность, какая с годами. Ну, вот и дома... Хорошо... Не для этого ехал, а переступил, пахнуло — хорошо! Ч-чудесно ты всё содержишь, золотые ручки!

Посмотрел на её милые серые глаза.

Но как сам безмерно огружен — даже только вот сейчас почувствовал, опускаясь гирей на диван.

Пытался и объяснить ей — не вышло. Да разве это так сразу расскажешь? Да разве — ей?

А готовишь замечательно. Ну просто объединение. После жизни перебродной — да так поесть.

Но всё время мучило, что надо было *сказать*. Что завтра — уже в Петроград. Духу не было сказать, омрачить её доверчивые глазки. И откладывать нельзя особенно. За своё же главное дело — как виноватый.

Бурно приняла. И тем смутительней пришлось её упрёки, что она — права. Проскок дома ей и должен показаться дикостью. А недосыгаемо — пытаться бы объяснить ей двигательный мотив. Не разделить ей эту тяжесть, и зачем бы?.. И упрекала так горько: ждала! тосковала! — а он? А что он устроил ей в Буковине? разве это был отпуск? (И правда, неладно прожили тогда, на ровном месте скоблило, и даже облегчение было, когда она уехала.) И что ж, за два года не потянуло его так сильно, чтобы приехать к жене? (Конечно, можно было...) Ты — окостенел! ты — омертвел! В тебе порок чувств! (Да, это правда. Наверно возраст...)

Но ведь на обратном пути вернётся. Скоро вернётся! Твой день рождения, конечно! Только тем и смягчил.

Слушал её рассказы о новой концертной жизни — и радовался. Да замечательно, что ты это открыла. Ну, с твоими исключительными способностями!.. Да ты всё сумеешь!.. Не надо мне о твоём поклоннике, можешь не рассказывать.

Георгий действительно любил её игру на рояле, журчистые эти пальчики. И — чем же ей сейчас заниматься, детей нет, только таланты развивать. Даже не помнил её такой оживлённой. Хорошо, что до войны довёз её в Москву. Большого он и не мог для неё сделать. Даже старости хорошо обеспеченной не даёт офицерство. После реального пойдя бы в инженерство — он зарабатывал бы куда больше.

Может быть задолго раньше он должен был воспитать из неё такую подругу, чтобы вот сейчас открыть свои намерения. Но — нужно ли это, возможно ли вообще с женщиной? И зачем? И — слишком много усилий потратить. После его скандала в Ставке она не пилила его, как делают другие жёны, — но осудила внутренне.

Сейчас он честно старался не зевнуть на её рассказы, только отвратился, когда стала — о концертных поездках на передовые.

Дома было уютно, покойно, и хороший, тихий обещал быть домашний вечер. Больше всего и хочется покоя. После гукающих, вздрагивающих, взлетающих и мокрых позиций — посидеть бы вдвоём за своим письменным столом, среди домашних верных стен, перебрать ящики — что там где покинул? Полистать старые книги, даже просто подержаться — вот соловьёвские тома, вечный долг перед древней русской историей, так никогда и не успевал разобраться во всех князьях, — и когда успеешь?

Нет! Алине вздумалось в гости! Что за нескладица — добраться домой на единственный вечер — и тащиться в гости! Показываться, знакомиться, через силу что-то выговаривать? Да Алиночка, да я отвык от всякого общества, от гостиных манер, пощади!

Алина сама не знает, что она привлекательней всего именно дома. Но сегодня — безжалостно было бы ей отказать и в гостевой повинности, раз ей так хочется. Да уж лучше в компанию живых людей, чем парадно расхаживать по концертному фойе, как она сперва хотела.

Только вечером, когда одевались, — заметила Алина, что у него эфес необычный, георгиевское оружие. Очень радовалась, но и обиделась: что ж сразу не сказал? И почему в письмах не писал? — какой же ты ненормальный человек!

А была-то сегодня — суббота, и когда они на извозчике поехали к Муме в Замоскворечье — как раз ударили ко всенощной. То же это было по отвычке дивно. Первый, близкий, загудел им в спину Храм Христа. И почти сразу все — ближние, дальние, справа, слева, впереди, позади, — все несравненные, несравнимые, неповторимые московские сорок сороков! В холодном воздухе как будто не греющий же звон, а — звончатым теплом, всем теплом детства согрело уже тёмный московский воздух, и в грудь вошло. Так живо: как няня водила его именно к вечерням, без поощрения родителей, — и поднимала к подсвечнику, чтобы свечку он оплавил и поставил своей рукой.

Тягучие, могучие, гулкие, задумчивые — все звоны сливались, и будто гудело само московское вечернее небо, — а нет! в этом золотом звоне лишь для неопытного уха всё было слито, а кто вслушивался и знал — различал: голоса Кремля, гулы Китай-города, отзвуки Хамовников, дальние вести Тверских и Садовых, и — заливы, заливы Замоскворечья, массива купеческой русской провинции, куда сейчас и въезжали они. А кто знал совсем хорошо, уже не

как Воротынцев, тот в размытом, разлитом гуле различал не только близь, даль и направления, но наслушивал отдельные голоса любимых церквей и даже колокола отдельные.

И уже в дом входили — а звон ещё не весь умолк.

Сбор гостей показался странен: две пожилых четы среднего слоя, один художественный свистун — молодой человек женовато-го вида, несколько отдельных дам и ещё две девицы. Сама Мума (Марья Андреевна) жила одиноко и бездетно, а была женщина красивая в русском вкусе, даже именно замоскворецком — избыточной русской пышностью, лицо белое, а волосы — вороньего крыла, одета же в лиловое. Она была не просто любительница, но училась петь, пела грудно, Георгию очень понравилось, аплодировал ей. Затем — и ручистой, накатистой алининой игре, затем и свисту — удивительные выделявал арии, бывает же такое.

Георгий как утеривал компас и переставал удивляться, куда это его заворачивает. Уже не удивлялся и этому обществу и не удивился, когда после концерта разговор потёк о Распутине. Распутин тут занимал их умы куда сильнее, чем на фронте, — там была лишь недоумённость да матюгались, а здесь пересмаковывали много подробностей — истинных ли, придуманных.

Ни на какой ответственный пост уже никто не может быть назначен, пока не поедет представиться Гришке. И будто такса у него: за дворянство — 25 тысяч, за крест — 3 тысячи. (Неужели так? Слушать страшно.) В его квартире на Гороховой установился такой обильный приём посетителей, что уже всем прохожим заметно, теперь ему готовят особняк на окраине. Охраняют же его крепче, чем самого царя.

— А вся эта история со взятками, поставками? Арест Рубинштейна?

— Ну, не забывайте, что дело Рубинштейна раздувают, чтобы придать ему антисемитский привкус.

— А за что слетел Поливанов? Был бы и сейчас военным министром, если б не дерзнул отобрать у Гришки четыре военных автомобиля.

Ну, так уж за это, много вы понимаете. Может, и вся цена вашим сведениям такая. Но — лень возражать.

Потолок — до того высокий, непомерно выше, чем надо человеку, чем в землянках. Совершенно не сыро, а сухо, тепло. Кресла до того мягкие — утопляешься. На столе — нежная ветчина, балык, буженина, но ворчат: «довели до разрухи, в России хлеба нет,

житница Европы», — в одиннадцать часов уже кончаются булки, остаётся ситный и чёрный.

— ...Целует всех женщин даже при мужьях...

— ...Его теория: надо грешить, иначе не в чем будет раскаиваться. Надо грешить внизу, чтобы наверху было светло. Посылает даму в церковь причаститься, а чтобы вечером к нему...

— ...А если женщина ему откажет — идёт с ней вместе молиться...

Беседа проскакивала как бы четыре угла: Распутин — Штюрмер — Протопопов — голод в России — и опять Распутин.

— ...Говорят, у него особенные глаза: загораются красным. Магнетизм.

— ...По поводу магнетизма такой рассказывают случай недавний. Одна женщина протелефонировала Распутину, была принята утром. Повёл её в спальню: «раздевайся». И обнимает. Она вырывается. «Не хочешь? А зачем же пришла? Ладно, приходи сегодня в 10 часов вечера». Дама обедает в ресторане с мужем и знакомым доктором. Вдруг к десяти вечера — сильное безпокойство: «Я должна ехать». Еле-еле доктор разгипнотизировал и удержал.

Но хотя истории эти рассказывались возмущённо — и в рассказах и в слушании угадывалась несоразмерность негодования, не столько осуждения, сколько любопытства и даже сострастия? Такое впечатление, что узнав очередную новость о Распутине, каждая дама спешит затем ехать по городу и распространять. И девицы слушали так же, ушки на макушке.

— ...Он любит абрикосовое варенье, причём берёт его из вазы пальцами. А потом даёт облизывать пальцы какой-нибудь даме, какая заслужит, остальные смотрят с завистью.

— ...Он так подчиняет, что женщины даже гордятся своим позором, не скрывают.

— ...Говорили: ему позволяют купать великих княжён.

— ...И Протопопов и Штюрмер — просто в услужении у Распутина, ездят к нему с докладами.

И опять по четырёхугольнику: Протопопов — клинический сумасшедший. Штюрмер — немецкий шпион. В России — голод. А Гришка — ...

Должен был бы Воротынецв рассердиться на себя и на жену — зачем он в этой дурацкой компании, зачем теряет вечер? Но неизвестно почему — облегалось и рассвобождалось его внутреннее

напряжённое, летящее сознание, и он не начинал ли терять скорость? Уже не жгло, что так мало времени, его достаточно будет впереди, — а сейчас он самую кожей воспринимал этот нереально-реальный московский быт. До невероятия белая скатерть. Хрустальные грани. Сервиз один, сервиз другой, где довольно бы и мисок жестяных. Тело расслабляется, и если вот сейчас бы тревога — не сразу и вскочишь.

— ...Знаете, это тот из думских кругов? — мы ещё готовы понять власть с хлыстом, но не такую, которая *сама под хлыстом*?

И поглядывали на Воротынцева — как он? О Верховной власти до сих пор не распускались — чтобы его не оскорбить? щадили офицерский монархизм?

Но его сейчас это не задевало. Осуждающе он заметил за собой, что терял напряжение своего броска. Ему сидеть сейчас тут было — хорошо, и приятно смотреть на женщин. Вечерние платья, все разных цветов и фасонов, и обладательницы их — разные, Мума по-своему, Сусанна по-своему.

А дамы, оказывается, больше всего и хотели — его рассказов. Они сошлись — не музыку слушать, всегда доступную им, а — на него. И глазами ждали, и прямо спрашивали вслух.

Не-ет, этого он не мог. Сидеть тут — неплохо, но рассказывать им о войне? — никуда. Да насколько это им нужно? Да даже оскорбительно... Да ещё каждый ли день они проскальзывают газетные депеши?

Сказали: на днях в Петрограде арестован Гучков за своё знаменитое письмо к Алексееву.

— Нет-нет! — продремался тут Воротынцев к своему. — Неверно. Я сегодня утром разговаривал с его братом.

Ах, что делают слухи! Стали вспоминать: был слух, что Гучков умирал от отравления. И отравлен Николай Николаич. А царь разводится с царицей из-за Распутина.

Тогда понесло их восхвалять брусиловское наступление, так, как это нашумлено в газетах, — хотели ли сделать ему приятное? Пришлось их обломать:

— Брусиловское? Не много оно дало. Сняли давление с итальянцев, с Вердена, вот и всё. А сами не взяли ни Львова, ни Ковеля, ни даже Владимира-Волынского. А имел Брусилов превосходство сил.

Да-а-а? — поражались. А правда ли, что немцы огненными струями сожгли наших десять тысяч?

Дикари, хоть и москвичи. Это в тыловой передаче так преобразился слух о появлении огнёмётов.

А воинственны! Все хотели войны и победы.

И ждали, ждали его рассказов.

Но ощутил Воротынцев ревнивую скупость на свою фронтовую правду. Им, здесь — как это рассказывать? как рассказать?.. Ямы да ямы... Свежие — с чёрным земляным набрызгом. А старые, если зимой, сразу и заметает снегом. Какие успели закопать — воткнули крест из жёрдочек. Из незакопанной торчит не то кочерга, не то бывшая рука... На чужой проволоке месяцами висит содрванная с кого-то нашего серая тряпка, ветер её пошевеливает...

В их четырёхугольник это не вписывается.

Ещё сам не очнулся для рассказа. Тут, среди них, он был как легко контуженный — не всё видя, не всё дослышавая, не всё соображая.

Так и с Сусанной Иосифовной: поговорил сколько-то, будто связано, осмысленно, а не взялся бы припомнить: о чём и в каком порядке. Ото всего разговора не осталось столько, как от её манеры садиться и вставать без помощи рук или от единственной нитки бело-розового жемчуга на шёлковом чёрном платьи, и больше ни цвета, ни украшения. Да ещё неназываемое струение из её глаз или со всего лица, устремлённого в собеседника, или даже с плеч, помогающих лицу. О чём-то политическом говорили они, но — как она веки суживала и расширяла, передавая глубину понимания и сочувствия, и сколько воздуха ещё сохранялось в её кофейногушевых шершавых волосах, убранных вкруговую ровно, а напротив, как золотисты были волосики выше кисти по чуть веснушчатой коже, — почему-то прочно вынеслось из разговора.

14

— Ну посмотрим, посмотрим, с кем ты едешь? — оживлённо говорила Алина, проходя впереди мужа в вагон и оберегая широкополую шляпу от узости дверей.

Воротынцев с малым чемоданом шёл красным ковром позади, опустив голову. Сегодня всё утро он ощущал себя перед Алиной виноватым.

А остановясь против нужной двери и здороваясь там громче-приветливее, чем это удобно для мягкого, малолюдного вагона, обернула к мужу передний отгиб шляпы:

— Ты будешь разочарован! Совсем и не дама.

Спутник, поднявшийся поклониться, оказался ниже среднего роста, скромный, совсем не по требованиям «международного» вагона — и костюм простенький, и галстук наброшен не так.

Алина села, хваля вагон, удобства, всё весело — и вдруг в полфразе между двумя взглядами по купе сломалось её настроение — вот это была она, бедняжка! — сразу, не дав дозвучать оживлённому тону. И Георгий, только что стеснённый громкостью жены, вот и жалел её в естественной обиженности: почему, правда, ей не ехать с мужем после столькой разлуки? Она же не знает смысла поездки... Зримый вид поездного уюта, конечно, был ей ощутительно обиднее — вот как интересно бы вместе! — чем домашние заранешние огорчения, зачем он поедет один.

Алина сникла на тонкой высокой шее, больше не шутила с соседом. Вдруг поднялась, не попрощалась — пошла!

И Воротынцев — за ней, опустив голову. Боже, как стало её остро жалко — и за что правда ей такая жизнь? Разве такого мужа ей нужно было? Разве мог он ей расцветить существование?

На перроне Алина не жаловалась, а настаивала, чтоб он вынес чемодан, а поедут вместе. Нельзя ждать концерта два дня? Хорошо, поедут завтра. Но — вместе. А иначе — просто безсердечно.

И — отшатнулся Георгий от забиравшей его жалости. Этой другой крайности тоже быть не могло, он и так уже больше суток потерял в Москве. Вместе с женой — а там что с ней делать? Вот так и доуступаешься.

На его катапультном глухом лету — выкинулась из сердца вмиг эта склонность смягчать и льготить.

Но ещё не так мало осталось минут. Остерегался он этих минут. Неизбежно было туда-сюда погуливать вдоль вагона, обшитого коричневым деревом, и поглядывать на большие часы под темноватым колпаком вокзала, где поезд уместился почти весь.

На ходу придерживал рукоять шашки с георгиевским темляком.

Закурил. Но одним куреньем всех минут не протянешь тоже.

— Алиночка... я же тебе объяснял: не отпук. Дела.

Ей, конечно, должно казаться безсердечно. А если в поездке закрутится какое большое дело — ей и вовсе места не станет.

Бедная пташка. Привлѣк её за плечи.

Да ведь она в душе ребячлива, и как ребёнок способна к образумлению спокойными доводами. Я ведь вернусь, ещё до дня рождения. Гораздо раньше? Раньше. И можно гостей собрать? Собери. И будешь всё рассказывать? Ладно, буду.

Вот и повеселела.

А когда времени так в обрез — тем более разумно пообещать, поладить, — и уезжать свободно. В чём можно — лучше всегда уступить, легче будет.

К счастью, поезд не задержался против расписания и не дал Алине ещё раз переломиться. Вовремя прогудели три наливистых удара станционного колокола, прорезался свисток старшего кондуктора, отдался ответный гудок паровоза — и, из последних объятий выпустив жену, кажется примирившуюся, уже на ходу поезда через плечо кондуктора посылая ей воздушный поцелуй, дослышал Георгий её пожелания — что-то о перчатках и каждый бы день ей писал.

А соседа никто не провожал, никто ему за окном не махал. Он записывал в записную книжку. Закрыл её и улыбнулся Воротынцеву дежурной соседской улыбкой.

Лицо его было не слишком интеллигентное, даже весьма простецкое и скуластое. Коротко стриженные густые-прегустые чёрные волосы — вразброд, так и не нашли себе достойной укладки.

Воротынцев отстегнул шапку, повесил. Разделся.

Потом хоть всю дорогу молчи, в себя уйди, но тут что-то сказать надо. Разговор обыкновенный, пассажирский. Когда должны точно приехать? Да точно теперь не скажешь, расписание расплывается. Теперь и на час опоздают, не удивят. Всё валят на войну. Да и правда, на железных дорогах пятивластие. Как так? Читайте: министерство путей сообщения, интендантство, санитарно-эвакуационная часть, Земгор, а области прифронтовые — как обрезаны поперѣк рельсов: вагоны, склады, грузы, что заглотнули — назад не спрашивай, там — другая держава, управление военных сообщений при Верховном.

Первые минуты движения, вся дорога впереди, всё — твоё, но ещё не знаешь, что с собой лучше делать: лежать? сидеть? читать? обдумывать, в окно смотреть?

А в окне ещё скучное дымное пристанционное.

А сосед — без затруднения, в том же роде. В Уральске миллион пудов рыбы, а отправить не на чем... На сибирской станции по от-

тепели стали замороженные туши гнить — а жителям продавать нельзя было, они же интендантские. Так и сгнили... На станции Кузёмовка с прошлого года куча зерна травой проросла, так и не берут... Ростов от Баку далеко ли? — а без керосина... Ни склады, ни станции к большим перевозкам не приспособлены... Паровозы изношены многие...

— Вы сами — по железнодорожной части?

— Да нет, — улыбнулся спутник. В улыбке он был прелесть и такой открытый, не в лад со своими тревожными словами. — Но наблюдать приходится. Много езжу, слежу. Охоту к этому имею.

А висели пальто, шляпа — вполне гражданские, ни значка, ни канта.

Всегда, когда её обидишь и расстанешься — ноет: жалко. А исправить нельзя. Но и это чувство — всегда только в начале, потом заглаживается.

Ну и правда железнодорожников многих в армию взяли. Топливо паровозам стало хуже. Порожние товарные вагоны не дают самим дорогам распределять. Ещё с первой военной зимы: не достанешь вагона без взятки, и всё... Кому вагонов разбейся не дают, а кто — по первой телеграмме получает... А достанешь — ещё на каждой узловой станции плати и плати, чтобы тебя подцепляли... Завелись такие толкачи — проталкивать свои грузы всеми способами. Шлют их с фронта в тыл, с севера на юг, с юга на север... Содержание грузов надо указывать — так врут. Или ложного получателя ставят, чтоб обойти запрет.

Что-то валилось-валилось опять на голову... Эти два дня в Москве рассеялся, замедлился — теперь снова собраться, вернуть себе скорость. Для чего и едет — всё это надо узнавать.

— То приказом собирают гуж и гонят продукты на станцию. А там наоборот — нельзя грузить, уполномоченный не велел... Или идёт четыреста пустых вагонов за пломбами уполномоченного, а загрузить попутно — не имеешь права, не тронь. То зов — собирать сухари для армии. И мешочками этими завалили волостные правления, в уездах — присутственные места. А — не берут, и крысы грызут. И видит население: какие ж начальники глупые...

И при соседу она разговаривала самоуверенно, как будто от силы, а на самом деле от слабости.

За этими постановлениями не уследить, никто не знает, что можно, чего нельзя, куда обращаться. Начальства везде много, а системы никакой. Одни — от властей, другие — от обществен-

ности. Как будто нарочно всё запутывают. Циркуляры — один против другого.

Ничего, она сильно изменилась к лучшему. Нашла дело, будет меньше зависеть от мужа. Пусть, хорошо.

Уполномоченные — один над другим и по каждой линии свои, и один другого отменяет. Есть уполномоченные от армии, есть от Особого Сопещения по продовольствию. Между ними борьба, каждый доказывает, что он первой. Большие города и северные губернии шлют за хлебом ещё своих уполномоченных.

И в киевском поезде был вроде этого. Как нарочно подсаживаются.

— Вы сами и есть... не такой уполномоченный?

— Да нет, — улыбнулся спутник, но как будто сокрушённо. Как если б хотел быть уполномоченным, да не вышло. Расслабил галстук, развёл высокий крахмальный воротник — стесняют его заметно.

От одного уполномоченного к другому перевезёшь пуд хлеба — ловят, сажают. И никакой уполномоченный не защищён, что не явится более полномочный и не отберёт его хлеба. Над просто уполномоченными разъезжают ещё главно-уполномоченные. И особо-уполномоченные. В особых вагонах. Вкусно обедают, ужинают.

Пересечённая местность по этой дороге. И обрывы крутые, холмы высокие. Хорошо оборону держать, вон по той гряде, например.

Крыши будок, припудейских домиков — глянцевые. И голые лески и бурая трава — мокры от недавнего дождя. И ещё будет дождь: серо, темно. А в купе тепло, сухо. Панели красного дерева. Тиснёная кожа по стенам. Кто с войны едет — как не оценить?

— На ярмарках, на базарах — засады, капканы: вдруг какой-то один продукт почему-то реквизируют. Будто нарочно отучают деревню столовать город.

В полях и на поймах — грязно, невылазно, а здесь — сухо, мирно. Кто с войны едет и на войну — каждый день такой не прогонять надо, не рваться в завтрашний, а: хорошо! сегодня — оч-чень хорошо! Нога за ногу, в откид на спинку — хорошо!

Каждый губернатор по своему усмотрению получил право запрещать «экспорт» из своей губернии любого продукта. Как будто распалась Россия опять на уделы. На новых границах — свои таможи. И свои контрабандисты. В каждой губернии —

свои *таксы*, и люди естественно стараются увезти и продать где дороже. И получается спекуляция.

Изо всего течения русской жизни и всегда и сейчас меньше всего был настроен Воротынцев принимать и понимать вот это: торговлю, промышленность, какие-то таксы. А ведь, наверно, надо? — может, без этого ничего и не поймёшь? Но так непринуждённо складывался тревожный рассказ вагонного спутника, так охоче, сочувственно — к собеседнику и ко всем людям вообще, что не тревожил, а больше даже успокаивал. А скорей — от общего спянного чувства, владевшего Воротынцевым постоянно и сверх других его чувств: как бы ни было густо-мрачно сегодня в деле, в войне, в жизни, частной или общей, — выше всех мрачных доводов и опасений всегда его выносило прирождённое здоровое ощущение: а, всё обойдётся, всё кончится благополучно, надо только перестоять. Это чувство очень помогало жить.

Спутника зовут Фёдор Дмитриевич. Мягкий, приятный человек. Но — не энергичный и в себе не уверенный, офицер бы из него не вышел, упущения да промахи: прикажет — отступится, скажет — оговорится.

— Интендантство Северного фронта наладилось заготавливать вокруг Петрограда и по всему округу запретило везти сено в город. Но интендантство не всё сено берёт, а крестьяне и в город продать не могут. Под самым Петроградом сено гноят — а в Петрограде молочный скот кормить нечем. И своего молока в столице не стало.

Рассказчик тягучий, в другое время не дослушаешь. Но в поезде — вполне сносно. Только трудно перестроиться, во всё это вникнуть. А безобразие — круговое, что за чёрт?

Извинился спутник и вовсе отнял крахмальный воротник. Шей ей посвободнел, видно, что так ему по-свойски, и в обращении ещё полегчал. Лет сорок пять ему. Усы густые, топорщенные. А бородки никакой. Без напряжения памяти, таскать не перетаскать:

— Или сибирское масло, в «Новом времени» писали на днях. С начала войны остановили экспорт, цены сразу повалились, вместо четырнадцати рублей за пуд — восемь. Тут бы государству закупать его да класть впрок. Так ничего подобного. Довели маслобоев до краха, и уже сало шло вдвое дороже масла. И стали сибирское масло гнать на мыло.

Так и ободрало Воротынцева: сибирское масло — на мыло?? Да как же это всё терпеть? Всё равно как в этом июле, в разгар страды — указ о призыве запасных, а через десять дней отмени-

ли, — что за тупоумие? Кто во главе государства? (Этот монарх запутал русский тыл ещё хуже, чем фронт?)

А у Фёдора Дмитрича тон такой, что и почище знает. Тон — не настоящий, как если бы привык рассказчик, что словам его значенья не придадут и никого он не переубедит, как и этого офицера равнодушного. Рассказывал без напряжения, в любую минуту хоть и остановиться:

— И какой же нашли выход? Опять разрешили экспорт. И — полтора миллиона пудов ушло за границу, между прочим, в Голландию и в Данию. В Данию! — своего масла там нет? Ясно, что в Германию.

Наше масло — и в Германию?? Нет, скорей бы гнал поезд! Скорей бы кого-то встречать, что-то начинать! Как же всё это можно терпеть лишнюю неделю, лишний день? Нёсся, нёсся Воротынцев — и вот ещё по дороге его подхлестывало.

— Да сами газеты читаете, знаете. Много пишут о таком разном.

Воротынцев усмехнулся, и честно:

— Представьте... газеты я — не очень...

— Да что вы? — удивился спутник, но — и смех в зелёных глазах, будто этого он как раз и ждал.

В другом каком обществе Воротынцеву, может, и стыдно было бы признаться, а этому чудаку — нисколько. Как это правда получилось? В академическое время уж как был занят — читал. Но именно на фронте стал замечать, что газеты — они какие-то деланные, неискренние, то слишком пристрастные, и всегда почему-то чужие.

— Да что ж читать? Разборы военных действий, сводки? — совершенно неудовлетворительны. Составляют их или невежды наскоком, или слишком хитрые политики, понять по ним, как осуществлялась операция, — никогда нельзя. Истинно как дело было, узнаешь только от приезжих офицеров, от очевидцев.

В том объёме и точности, как сам бы он мог, например, рассказать о делах своего полка, своей дивизии.

— Да-а, да-а, — теперь уже будто и с уважением соглашался собеседливый чудачок-простачок. — Это в каждом деле, и в тыловом, и в хозяйственном: только от живого свидетеля... А если всю правду вот так напишешь, как я вам здесь говорю, — искромсают, узнать нельзя.

— Да ведь и задача газет — какая? — развивал Воротынцев. — Если бы — осведомить в полноте. Нет — выворачивать мозги как нужно их направлению, каждому. А тем более о правительстве, о Думе, о Земгоре — кто ж будет писать безпристрастно? Так что, знаете, все эти Русские, Московские или Биржевые, Ведомости, Слова и Богатства, — они слишком безпристрастны. Газеты читать — воевать нельзя: на фронтах всё дурно, в тылу ещё хуже, а наверху всё сгнило.

Соседу бы дальше радоваться, а он, напротив, огорчился. Просто смяк, будто Воротынцев его ударил. И стал смотреть в окно.

В нём комичное что-то, отчасти котовье: от круглости лица при усах, от зеленоватых глаз. И лицо — неуверенное, немного обиженное, будто жизнь ему подсовывала всё не то, чего он ожидал.

— Ещё серьёзную журнальную статью? — попробовал его утешить Воротынцев. — А иллюстрированные издания — так и... — (Даже говорить стыдно, как если б сам он это всё печатал.) — На каждом развороте каждого журнала...

Полковнику императорской армии больше сказать вслух и неприлично. На каждом развороте — чинные портреты всей царской семьи, то порознь, то женщины отдельно, то в санитарных платях (а слышал от офицера, лежавшего в Царском Селе: перевязки делает императрица совсем неважно), то наследник отдельно, то все вместе. И императрица шлёт обязательными подарками тысячи нательных крестиков или образков, как не надеясь, что на солдатах есть свои, из деревни. Шлёт иконы Ивангородской, Ковенской крепости — они на другой день сдаются. И по всем императорским случаям, а их дюжина на году, в каждом полку непременно молебствие, и рта не скриви. Всё это — не главное, всё это недостойно даже перемалывания языком, но из этого всего складывается...

Вслух произнести офицеру больше нельзя, но больше и не надо от русского к русскому понимающему человеку: если на *каждом развороте* — так что это может быть? о ком другом?

Фёдор Дмитрич опять повеселел и смотрел с симпатией. И Воротынцеву тоже стало приятно, что в разговоре у них — не отчуждение, как много лет противостояли студенты — и юнкера, занятое политикой общество — и от всякой политики отстранённое офицерство, не смеющее рассуждать о государственном строе. Не отчуждение враждебное, из-за которого многие офицеры даже

бросали армию. А вот война, сколько бед ни принесла, открыла, что все мы — русские, прежде всего.

Можно было и без усилий ещё сблизиться сейчас на немецкой теме. И в тылу и на фронте равно ходили эти анекдоты — о Государе на парадах: «захватил в плен целую свиту немецких генералов», «со всех сторон окружён немцами и не положил оружия». Можно — но недостойно. Сам Воротынцев о немцах на русской службе думал двояко. Многие десятки их он знал лично — и все они были служаки честные. И всё же была порочность в их изобилии — наследный порок Петра, какая-то коренная неправильность, и вот, наверно, в чём: как бы честно они ни служили, но — только трону, а русской жизни — не добирали душой. И от этого — все были не на месте. Навязал России Пётр империю немецкую — так она и тянулась.

Было-таки в этом человеке комичное, но и сердечное. Не важничал он нисколько. И лицо его было: не насыщенное знанием, но как бы образования ему не достало, а хотелось бы ещё.

После того как Воротынцев намекнул на царскую тему — и Фёдор Дмитрич, через столик переклоняясь, доверчиво и печально:

— А Дума? Дума что делает — тоже не знает. *Мясопустный* закон? — четыре дня в неделю скот не убивать и мяса не подавать, а три дня убивать и подавать? Смех один! Только городские недотёпы и могут придумать: пригонять скот, а на бойне передерживать дни, чтоб он в весе терял. А в Сибири? — там одним мясом и питаются, и девать его некуда. Теперь и из Монголии перестанут скот пригонять.

Городские? Вот понял наконец-то: что-то совсем не городское было в этом человеке. А — образованное мужицкое.

— В продовольственных совещаниях сидят одни городские, кто гирку от арнаутки не отличит, да даже овса от ячменя, а уж как их вырастить и во что обходится — того и слыхом не слыхали. Городские только могут «комитеты по дороговизне» устраивать, чтоб им из кармана меньше вынуть. Ну, и чего добились? Какой дурак им по этим ценам повезёт? — с обидой, даже горло перехватывающей. — Есть пословица: «цены Бог строит». Цена — она строится от психологии, нам не уследить. Трогать цены — надо прежде хорошую голову иметь. Если прекратился экспорт, так зерна должно стать больше? И дешевле. А у нас — дороже, и нет. Как это?

Вот оно, опять! Едешь со своею болью, и кажется: ничего вопиющего нет, чем потери, формирования, усталость. А навстречу тебе

катится: что стало с хлебом?? Второй раз ему толкуют, еле хватает соображения всё это переработать: и вообще всегда цены, а ещё теперь *твёрдые*?

— Для города главное: почему деревня дорого продаёт то, что горожане кушают? А у горожан — пресса, адвокаты, создают советы городских обывателей и без крестьян устанавливают предельные цены на рынке, вот это и есть таксы. А крестьяне, хоть они три четверти России, — вьючные и немые, газет у них нет, изъясниться негде...

И какой же выход?

Уверял Фёдор Дмитриевич: твёрдые цены отменить, чем скорей, тем лучше. А правительство... Да что о правительстве, язык устал: правительство в России только и существует, чтоб делать всё не так. (Вот и этот!) Был отличный министр земледелия Кривошеин — сняли, не угодил. Поставили Наумова — с ветра, ничего не знал. Только обучился — сняли, как всегда без объяснений. И летние месяцы, самое время урожая — должность вообще была не занята.

— Неужели ж, — верить не хотел Фёдор Дмитрич, но и лезли брови сами на лоб, — неужели действует у нас такая тайная организация для Германии? В народе слухов не оберёшься. То — из Царского Села в Берлин прямой кабель и царица всё туда докладывает. То: снаряды, мол, готовят такие, что не к нашим пушкам подходят, а к немецким. То: генералы — изменники, продают военные секреты?

Слухи об измене — смрадная зараза, так и тянет ею по воюющей стране, по недовольной армии. Общество жаждет шпионской крови. Общая страсть к наказанью измены, это и у солдат. Естественное свойство замученной толпы: всякую неурядицу объяснять изменой. Но уж эти снаряды — с наших заводов да к немецким орудиям?.. Только что казалось, по хозяйству да по ценам, просто границ нет пониманию и знаниям этого человека, а вот — легли обыкновенные границы опыта. За снаряды Воротынцев обиделся.

— Это бы слишком просто было, Фёдор Дмитрич, если б генералы-изменники. Двух-трёх мы как-нибудь бы нашли. Но когда изменников нет, а — сто дураков, и искать их не надо, а снять с постов недоступно, — вот как быть тогда? А снаряды у нас — калибров своих.

— Ну а своих почему нет?

— Не *нет*, а — не было. Теперь уже — есть. И в этом, представьте, не то что измены, но даже и глупости почти не было.

— Как? А что же? — теперь изумлялся сосед.

— Так. В Японскую войну недостатка боеприпасов не знали. По тому расходу и запасались на полгода этой войны, не мало. Заготавливать больше? — а *когда* начнётся война? А если не начнётся? — эти снаряды на учебных стрельбах и за полвека не расстреляешь. А бездымный порох, дистанционные трубки вообще долго хранения не выдерживают. А за годы появятся новые типы снарядов, новые взрыватели — как же можно запастись?

Фёдор Дмитрич сильно удивился, принять не мог:

— Так что? — со снарядами и ошибки не было??

— Ошибка — была. Но не в том, что не наготовили снарядов. А в том, что — промышленности не подготовили. И была неповоротливости не по первому месяцу войны, по одной восточно-прусской операции можно было понять, что в год на трёхдюймовую пушку нужно иметь не тысячу снарядов, а тысяч семь. Но разве вдолбишь? А французы вообще вон начинали войну без гаубиц, это уже полная слепость. Но у них никто не винит правительство в измене. Всего не учтёшь. Ошибки — могут быть. Но надо уметь поворачиваться.

— Так — и Сухомлинов не виноват?..

— Я думаю: только в легкомыслии и глупости. Конечно, арест военного министра во время войны — позор, да для России — больше, чем для него. Подорвали не его, а весь государственный смысл. Что надо было — это тихо отставить его давно. Но шум об измене кто поднял? — Дума. За страстью ничего не соображают.

Всех этих вагонных спутников ещё надо и просеять. Так ли всё плохо, или это уж такая общественная интонация: во всяком неуспехе видеть злой умысел и развал центральной власти.

— И шпионства — нет??

— Шпионство — есть, конечно. Не такая германская хватка, чтоб деньги жалеть на агентов. Да вот, возьмите «Императрицу Марию» — взорвалась в Севастополе. — (Фёдор Дмитрич не знал.) — Очень допускаю, что — немецкий агент взорвал. И ведь — только что стала в строй, новёхонький первоклассный линейный корабль! Вот — сердце болит, вот это удар.

Куда-то в другое место вёз Воротынцев свои рассказы, кому-то другим, очень важным людям он должен был высипать из груди свои горящие уголья, — конечно же не в вагонном купе случайно-

му, забавному спутнику. Но ровно стучит, стучит поезд, в свой отрывающийся ритм убирая, укладывая, успокаивая торопливую душу, нетерпеливые замыслы. Не выскочишь, не опередишь. От Москвы до Петрограда сегодня полдня, долгий вечер, ещё потом ночь, ещё нерасцветающее утро — совсем лишний, необязательный день твоей жизни, на что угодно можно его истратить, а как будто и не на что. За окном — мокрая темнеющая местность, не далеко и различимая. Где ещё такие долгие переезды, как в России? Уже слабеют связи с прошлым, ещё не выступили связи с будущим, и сегодняшние реальные люди — только кондуктор, предлагающий выплеснуть светлое тяжёлое полотно простыни на бархатный диван, если хотите отдохнуть раньше, да спутник-чужак с большой записной книжкой, чуть отвернёшься, а он уже записывает или в коридор с ней выходит. Два раза Брянск помянул, так вы оттуда? Нет, там брат у меня, лесничий. Из другого рассказа — гимназическим учителем был. Сейчас — на фронте бывает иногда, с санитарно-питательным отрядом Государственной Думы. А в Румынию — не ездили, не попадали? Ну, обереги вас Господь. Кто там не бывал — ещё горя не видал.

Румыния — не союзник России, а горе и посмешище. Пока она была нейтральна, она защищала нас сбоку, как мешок с песком. Теперь мешок просыпался, и надо подставлять бок и грудь. Союзничка этого сосватала нам Франция. Сухопутный фронт удлинился в полтора раза, добавилось 600 вёрст, целые Балканы, которые отгорожены были. И всё это великое государство немцы опрокинули тремя дивизиями и неделю назад вышли к Чёрному морю. А мы подходим малыми частями на подмогу — и гибнем. Так и глотает Румыния наши войска, сама ничего не держит.

— Посмотрели б вы на эту армию! От нескольких артиллерийских выстрелов полк разбежится — в три дня не соберёшь. Отходят румыны даже не строем, а поодиночке, волокут свои винтовки по земле — зрелище! как одиночные дезертиры. Ни пулемётов, ни лопат, ни умения вкапываться. Если услышишь частую стрельбу — не думай, что обязательно стрельба: возможно, это румыны бросили без догляду двуколки с патронами, и они горят. Уверяют, что, готовясь к этой войне, мамалыжники с выгодой продали Австрии много продовольствия, военного снаряжения, вплоть до телефонной проволоки, — рассчитывали всё это готовое получить от русского союзника. Впрочем, я думаю, что телефонной проволоки у них никогда и не было: потому что о полевой связи они не име-

ют никакого понятия. Артиллерия у них — самая устарелая в Европе. Они проспали и Японскую войну, и нынешнюю. Они умудряются ставить батареи друг другу в затылок!.. Офицеры — изнеженные, ходят в корсетах, напудренные, с подмазанными губами. И — вруны, из паники перекидываются в хвастовство, или нарочно обстановку врут, стыдно русским признаться. В официальных донесениях передают сплетни от жителей. Снимаются с позиций, не предупредив русских соседей. В их армейские линии включаются частные лица. Нет, этого нельзя рассказать!..

Фёдор Дмитриевич ещё выше вскидывал брови, засуетился, открывал записную книжку, хватал карандаш, но удерживался в приличии, не записывал. Вскидывал брови, но не поразился до конца, а нашёл своё навстречу:

— Георгий Михалыч, так это — в Румынии! В Румынии — ладно, нам там не жить. Но у нас воруют и всё продают, вот что страшно! На всех станциях воруют. Раньше сахару терялось в пути на вагон пуд, а теперь — тридцать пудов! Начальники гуртов, в прошлом году при отступлении скот отгоняя в тыл, — на казённые деньги в кафе-шантанах кутили, и ничего им! Говорят, при отступлении продовольственные и вещевые склады поджигают первыми, чтобы скрыть воровство интендантов.

— Поджигают — когда жечь и надо. Сало, сахар, консервы, да, видеть невозможно! А что ж — немцам оставлять?

Ну, может быть. Да всё равно знал Фёдор Дмитрич и похуже:

— Тыловое мародёрство — вот что самое страшное сейчас. *Миродёрство*, как деревенские говорят. Именно не дороговизна, а грабёж среди бела дня. Страсть разбогатеть во время народного бедствия — откуда это? Безгранично бесовская торговля, психическая эпидемия. Как будто внутренний неприятель нас разоряет. Тьма спекулянтов развелась, достают всё исчезающее, особенно заграничное, — и торгуют. Нахватают — потом из барышей жертвуют на лазареты. Одной рукой сапоги с инвалида снимают, другой — ставят свечку. В Германии небось не помародёрствуешь, там общество строгое, там за такое — военно-полевые суды. Говорят, и у нас некий генерал предложил: на вагонной платформе повесить одного банкира, одного купца и одного начальника станции. К курьерскому поезду подцепить и возить их показывать...

Фёдор Дмитрич смотрел страдательно. Взгляд его был остёр, пытлив, ничего комичного нет, откуда показалось? Почти с ужасом говорил:

— Сказочные обороты делают ювелиры, меховщики, дамские портные — значит, есть кому прожигать жизнь, о войне не печалются! Вы на вечерний Петербург посмотрите, как он кипит в роскоши. А все эти дутые организации — Северномощь или Себепомощь, как Северпомощь называют. И на беженцах наживаются. Откуда эта всеобщая безсовестность в нашей стране?

И Воротынцев почувствовал как холодный ветерок по спине: вот — страшно! Это похуже, чем «правительство не годится». Разве такая всеобщая порча — у нас была?

— А у нас — твёрдой руки нет, — жаловался Фёдор Дмитрич, — злодейство ненаказуемо. Нужно много честных и опытных людей на всех местах. Все везде спрашивают: где — люди??

О, да! О, да! Твёрдой-то честной власти и нужно. Твёрдая власть, а главное — не бездействующая. Ах, как нужна — для спасенья страны!

— Даже от месяца к месяцу заметно, вот от этого лета к осени. Такое общее настроение сейчас, с кем ни заговори, куда ни поедь, — все считают себя обиженными, обделёнными, ограбленными. Кто винит деревню, кто город, кто банки, кто беженцев, кто рабочих, кто полицию, кто Думу, кто внутренних немцев, и уж все вместе — правительство. За правительство — никто и гроша не даст. И какое-то, знаете, распространилось ожидание чего-то неизбежно плохого: то ли убийств представителей власти, то ли какого-то заговора...

— Заговора?

— Какое-то угнетённое настроение непрочности, недоверия. И честят министров и, простите, августейших особ — просто последними словами. Потом ещё этот Распутин: да, мол, простой мужик у себя в доме такого похабства бы не потерпел, как терпит Сам... Такого сраму... Как с начала войны сдвинулось с места, пошло не по порядку — так и пошло. До чего устойчиво раньше жизнь текла! — казалось, на века. А вот расхлябалась — и боком, боком. Лежит арбуз на бахче, кожа — цела, кажется крепкий. А в руки возьмёшь — разваливается, ладоней не выдерживает.

Нет, не может быть так плохо. Склонны люди сгущать мрак. И в этом особенное думское и газетное направление — всё чернить, что в России есть. Так и этот человек будто собрал с чужих голосов всё, что только есть плохое.

— Ну, не хуже ж прошлого года, когда отступали.

— Тогда боялись немецкого нашествия, чуть Минска не сдали, — и страна была единая, и тыл здоров. А теперь армия воору-

жена, в Петроград и в Москву никто уже врага не ждёт. Но и в Берлин никто не собирается, как в Четырнадцатом. Теперь не объединяет страну ни порыв, ни страх. И всё внутреннее обострилось.

Уговорительный человек: и не настаивает как будто, а сыпет, сыпет примерами, лёт уверенным знанием дела — и спорить с ним не возьмёшься, откуда всё столько знает, пройдоха-дотоха? В санитарном поезде если ездил — много ли он там видел? Вот уже и о Донецком бассейне, везде успел:

— Все валят на шахты за отсрочками, чтобы спастись. Кто и никогда там не работал, кто и в заработке не нуждается. Все откровенно войну переживают, скорей бы мир. — И сам с сочувствием: — Ах, Георгий Михалыч, соломенный мир лучше железной драки.

Хорошо сказал! Хороша пословица. Верно.

Но теперь уже даже противительное подымалось защитное фронтовое чувство: ну, у нас-то, слава Богу, ещё такого нет. У нас — чистота, здоровый дух. Опасность равняет, близость смерти — очищает. А в тылу от опасности дальней, люди и гнутся, вот и расплывается гниль и гнусность.

— Да, — сказал Воротынцев. — Крестьяне честно дают себя в армию загребать. А сколько городских уклонились? Первые и законные дезертиры — Земгор. Вы, простите, не из них ли, случайно?

— Не-ет, — добродушно улыбнулся спутник.

— Выдумали себе погоны с какими-то фантастическими вензелями, спрятали здоровое тело.

Сосед согласен:

— Призвать их в строй, не надо и таких бешеных окладов платить. Даже два им платят: по старому месту службы и по Земгору.

До чего б ещё добрались, но шёл по коридору кондуктор и радостным голосом объявлял Клину.

С другого конца коридора крикнули:

— Кондуктор, вы что, дверь мою заперли?

Весело отозвался молодец-кондуктор:

— Крепче дёргать надо, дверь — международная!

Фёдор Дмитрич схватил записную книжку и записал.

И записывал дольше, чем было сказано. Наверно ещё что-нибудь.

Выйти пройтись? Оделись.

В тамбуре не упустил Фёдор Дмитрич ещё допросить кондуктора и услышал:

— Получаем всего 30 рублей, а бывает и ремонт на свой счёт. Лопнет труба, позовёшь монтажника — отдашь десятку свою любезную.

Да уж как-нибудь и кондукторы ловчат, наверно.

Опять записал Фёдор Дмитрич.

Вышли на сырой холод. Сперва приятно отдать лишнее, долгое вагонное тепло.

По платформе прохромал один калечный, другой. И просили милостыню у богатых пассажиров.

А не так давно были бравыми солдатами. А перед тем — мирными обывателями, не предвидевшими своей судьбы. Ушли в калечество — и забыты в своей невылазной жизни.

Но вдесятеро многочисленней их околачивались на платформе и близ вокзала — запасные: дурно подпоясанные, со включенными шинелями, кривыми погонами, а уж выправка, а уж честь отдают!.. И — не строем, не командами, не патрулями, не по службе, — но группами, одиночками — гулять, что ли? на поезд смотреть?

— Да они — на всех станциях, на всех базарах, — наговаривал Фёдор Дмитриевич. — По курятникам шарят, яйца выскивают. Ленивые, наглые...

Хоть коменданта ищи, да времени нет.

Нависла чёрная туча, опять дождь начинался.

Вернулись в вагон.

Уже не просто они были чужие люди, простлалось между ними взаимное расположение. И Фёдор Дмитрич лукаво предложил:

— А не желаете по стаканчику винца донского?

— Да ведь запрещено. Откуда ж?

— На Дону всю войну самокурку пьют. А днями — сняли запрет с виноградного вина, не крепче 12 градусов. Разрешено из винодельческих местностей вывозить, продавать, даже экспортировать. Вот и я везу родного петербургским друзьям. Солнышка поглотать.

Вступил на приставную лестницу, приподнялся к багажной нише и оттуда двумя ладонями нежно притянул четвертную бутылку в соломенной оплётке. Оплётка — из больших квадратов, через них — тёмно-золотистая жидкость, стягивающая глаза.

Домовито распорядившись со стаканами и уже наливая мягкими наплесками, и самой жидкости улыбаясь, Фёдор Дмитрич протянул:

— Когда есть оно, как в станице, дома, так и даром бывает не надо, не дороже воды. А в военное время или в тюрьме — вспомнишь.

— А вам что, и в тюрьме приходилось?

— Да был немного. В Крестах, три месяца. Я — выборжанин.

Выборжанин? Только подумал, что с Дона этот бродячий вездешний человек, — нет, из Выборга. Или — Выборгского полка? 85-й Выборгский? Сама память подавала готовое связно, но что-то не то: Уздау, окопы, обстрел, Арсений Благодарёв, жёлтый игрушечный лев... Нет, конечно, какой же он военный. Просто — выборгский мещанин?

— Выборжанин?

Фёдор Дмитрич жадно смотрел, уголками бровей на отлёте, ждал отзыва, строгого слова какого-то. Не дождался. И с улыбкой неприязнательной, даже виноватой:

— Я — Выборгское воззвание подписал.

— Ах вот оно что!.. Да, да... — (Наудачу.)

Выборгское воззвание? Никогда не слышал. От кого к кому? почему Выборгское? Да мало ли этих разных воззваний? Революционер, что ли? Вот уж не похож. За два часа от простого среднего человека — одни загадки.

А тут поезд тронул — мягко, без толчка, как поскользился, так что стаканы, налитые всклень, ничуть не расплескались.

И огорчённый было, Фёдор Дмитрич снова улыбнулся:

— Хорош машинист. Это ведь трудно — так взять состав. Пассажирских машинистов да ещё на Николаевской дороге — молодых не бывает.

— Почему?

— Долгая выслуга. Начинает смазчиком, потом кочегаром, потом помощник машиниста, потом машинист маневрового, потом товарного, только потом — пассажирского. И то разный класс бывает. Ну, ваше здоровье!

— Ваше!

Потягивали. Смаковал Фёдор Дмитрич.

— Опытный машинист, да ещё если участок знает — чудеса может делать. На станции Елец — 10 минут стоянка, никак пассажирам пообедать нельзя. Но, бывало, бежит к паровозу официант и поднимает машинисту серебряный подносик — рюмка водки и бутерброд с чёрной икрой: «Василь Тимофеич, примите-с! Вас Абдула Махмудович... — а арендаторы буфетов — все казанские

татары... — насчёт остановки, чтоб не шибко скоро отправились». — «Скажи Абдулке: ладно». Помощнику: «Сходи к дежурному, заяви смазку подшипников». И стоит поезд 25 минут, на паровоз тоже три полных обеда подаётся. А расписание — нагонится до Грязей: знает Василь Тимофеич все уклоны, все подъёмы.

Не давая допить, долил сосед снова до полна. И вдруг почему-то стало Воротынцеву — жалко его. Что-то неудачливое было в нём или обречённое, а нисколько вот не озлобленное. При его всезнании и уверенных доводах — что-то неуверенное. И неумение в себя уйти, обрезать, замолчать — у независимого человека какая-то зависимость ото всех и всего.

А поезд шёл, небыстро, но с ровным хорошим стуком, и располагал и велел всматриваться: мимоходом встреченный — ещё мимоходный ли человек?

— Простите, не помню я это Выборгское воззвание. Это — какое же? когда?

Посмотрел Фёдор Дмитрич опять огорчённо. Зеленовато.

— Когда Первую Думу разогнали — мы в Выборге собрались, и там... Обсуждали, что делать... И подписали Воззвание...

— А кто мы, простите?

— Члены Государственной Думы. Некоторые.

— Так вы... что ж? Член Думы??

Шутит?

— Бывший. Первой, — извинительно улыбался спутник, вполне допуская своё несоответствие.

Ах Первой. Давно это было.

— А сейчас — нет?

Стеснялся Фёдор Дмитрич за полковника, и оттого явней выступало в нём доброе:

— Так вот нас... с тех пор... и лишили... политической деятельности.

— Вы — политический деятель? — не совсем без насмешки всматривался Воротынцев.

— Да нет... Вовсе нет... Так, попал.

— А, простите, как ваша фамилия?

— Ковынёв.

— Н-не слышал, да. — И обижать человека неудобно, но — не слышал. — А — откуда депутатом?

— С Дона. Усть-Медведицкого округа.

— А партии какой?

— Да к-как вам сказать. Назывался трудовик. Обвинялся ещё и в создании народно-социалистической. Отпало, а то бы год дали. Вообще в ту пору свободы, в те дни упований без меня митинги не обходились. Меня потом наказной атаман с Дона высылал.

— Так вы — казаком были?

— И есть.

— Ну, теперь какой же!

— А на сенокос, на уборку, за садом ухаживать — домой езжу. Сёстрам одним не справиться, незамужние.

Улыбнулся, как бы внутрь себя:

— Казаки! Знаете вы, что значит казаки? Вот июльский день, все на уборке хлеба. Вдруг через станицы и по полям скачут гонцы-казаки с красными флажками на пиках, это значит — война, боевой сбор. Сегодня засветло к пяти часам вечера всем быть обмундированными, на боевых конях и в полном снаряжении у станичного правления! И вот — бросают хлебную страду, полосу на середине, бросают жену, ребятишек, — и через несколько часов четырёх реста снаряженных бойцов — у станичного правления.

И даже заблистал от гордости. И сам готов на коня?

— Так вы где ж постоянно живёте?

— Теперь в Петербурге.

— И — преподаёте?

Потупился Фёдор Дмитрич, повёл глазами по столику, на вино, на записную книжку.

— Теперь нет. Я теперь... в общем... так сказать... очеркист.

Ах вот кто! Ах из тех как раз, кто и пишет все эти Слова и Богатства!..

15

(Из записных книжек Фёдора Ковынёва)

* * *

— Вашескобродие, — робко говорит Сигней, подвигаясь к войсковому старшине, — позвольте вас спросить, правда, нет ли, гуторят тут у нас... — и понижает голос до таинственности, — будто мериканский царь прислал в Расею письмо... Желает у себя каза-

кбв завесь... Мол, русский царь не кормит своих казаков, пушай едут в Америк, у меня голодными не будут?

— И чёрт их знает, — закричал войсковой старшина на Сигнея, — какую ерунду собирают! Откуда это?

— Болтают тут, вашескобродие... Больше бабьи брехни...

— Плюнь ты в глаза этим смутьянам! Твоя родина вот — степь привольная Дона Тихого...

— Самой наш корень, — уныло поддакивает Сигней.

— И нигде на свете ты лучше места не найдёшь!

— Так точно, вашескобродие...

* * *

Приехал со службы казак, в офицеры выслужился. Горница полна гостей, старики за столом, по лавкам — родство и соседство, и женщины, молодые казаки у грубки стоят, в чулане жаркой грудой зрители.

— Это самая ваша форма, Гаврил Макарыч?

— Вобщем — присвоенная чину подхорунжего.

— Очень прекрасная форма.

— Только по этому чину хлебопашество вам будет трудно, пожалуй. За время службы от нашей польской работы небось отстали?

— Желание было, конечно, послужить в полку, ну, родитель не благословил. Ну, и на родину, конечно, пожелалось — посмотреть родимые предметы.

— Тут и кушанье простое: лапши побольше — это так! Наелся, чтобы блоху на пузе раздавить можно — вот это по-нашему.

Бородатый умственный сосед:

— Ну как, спокойно сейчас по России?

— Пока ничего, бунты усмирены.

— То-то по газетам не видать, чтобы...

— Сейчас затихли. Как раньше, например, были эти самые забастовки, сейчас этого ничего не слышать...

Старик с голым черепом и с Георгием на синем суконном халате:

— Гаврюша! Скажи ты мне на милость, через чего эти самые бунты бывают? По какой причине купоросятся те народы?

— Да конечно — от неудовольствия...

— Земли хотят?

— Одни — земли, другие — в дороговизне товаров стесняются. А в общем итоге надо счесть — от необразованности.

— Да кто же виноват, какая сторона? Зык идёт и на начальство...

— Начальство начальством, дедушка, да и сами виноваты: надо учиться...

Дед крутит головой:

— Не в том сила, я думаю... Жили вперёд их, не учились... а жили, не бунтовались. Просторней было... Садов не было, вишни в лесу сколько хошь рви, яблоки, груши, тёррен... Рыбы этой!.. А нынче всё перевелось. Все образованные, все в калошах ходят...

Карпо Тиун, вставая, голосом спотыкаясь:

— Вы говорите — учиться, Гаврил Макарыч. А дозволейте спросить: иде свободный доступ? Окупить права — например, чем?

Служивый строго собрал подбородок:

— Кто в голове имеет, доступа добьётся.

* * *

Яркий мартовский день. На Неве сухой лёд, ноздреватый, с тёмными извилистыми полосками. Радостная тревога на сердце. На набережной встретила нарядная, тоненькая, в чёрном, с чёрными глазами и бровями, вся накрашенная, как будто смутилась чего-то. Может быть певичка. С жалостью и симпатией встретился взглядом.

* * *

24 мая 13 г., СПб. Вчера вечером, на Вознесение, у нас было заседание редакционного комитета. Короленко не спеша, очень подробно, делал разбор рукописей. Потом пошли чай пить. Он говорил со мной о рассказе с таким энтузиазмом, ласково, мягко блестя прекрасные небольшие глаза. Прекрасное лицо у седой квадратной бородки и головы в тёмно-серых кудрях. В его изъеденном, но твёрдом лице физически сильного трудящегося человека — привлекательность силы, выдержки, мысли и осторожности. Кольнулось сердце, любовалось им. Тихий, волшебный, ровный голос необычайной грусти и живости. А когда он встал из-за стола, я заметил на сапогах его заплаты...

* * *

23 июля. Едем со станции. Белые платки табором, повозки, арбы, радостные рабочие. Луга зелены, как весной, — корма-то! Мощь зелени, давно небывалая. «Это когда в Турцию шли, тогда так было». Трещит барабан лобогрейки. От спелой пшеницы запах родной, сытный, хлебный. Почему-то думаю: больше в жизни такого урожая, такого богатства и буйства я никогда не увижу.

* * *

Сухой ковыль волос на старых казачьих головах.

* * *

Усы, похожие на укороченные турецкие ятаганы.

* * *

Я написал З^{*}: теперь по станице катят на велосипедах молодые люди в котелках и блузах прозрачной материи, в карты играют при взрослых. Барышни в узких платьях и французских туфлях идут по пыльной улице, обходя свежие, густо-ароматные нашлапы прошедшего стада. Меняется быт...

Она: не быт, а — *брать* как можно больше хочет теперь молодёжь, особенно в любви. Всё реже способность отдаться и привязаться.

* * *

По листве шелестит мелкий дождь. Пахнет укропом. Сижу в шалаше, жду — не придёт ли какая. И ничего в груди, кроме желания, да ещё страха заболеть. Птички звенят в саду.

* * *

Старый бородатый казак поёт общую песню, а сам топырит в воздухе пальцы, наклоняется к соседям, будто им что рассказывает крутя головой.

Другой старик вспоминает: «Был такой атаман — фон-Рябый... (значит — фон-Граббе или фон-Таубе. Что казацкому языку делать с таким «атаманом»?) Лютой был генерал, как-то сразу в нём воспарение делалось. Одному казаку за возражение карандашом ноздрю пропорол».

* * *

В саду у Памфилича. — Ну, когда ж, Памфилич, лучше было? в старину аль теперь? — Да теперь, сказать, лучше. Посветлее стало. Грамахоны, наряды! У нас-то, бывало, всё холстинное, самоделашное. — А — что ругается молодёжь? — Да, мы такого не ведали. Как это — матерным словом? Ведь она Владычица наша, заступница... — А мой дедушка, помню, говорил: детям нашим — *подступает*, а внукам и вовсе худо будет...

* * *

Сизая степь с низкими холмами и бучерачками. Низкорослый дубнячок по балкам и по мелкой Медведице. Низенькие курени, пахнущие кизячным дымком. Облупленная станичная церковь. Вспомнил, как в лаптишках любил бегать к вечерне, в полупустоту. А ещё больше — кругозор с колокольни, когда пускали.

* * *

Ласковые недра неспешной жизни.

* * *

«Нитнюдь не проницать!»

* * *

— У меня сын имеет медаль за храбрость. Гришка, ну-ка зацепи, где она у тебя?

Рябой неуклюжий казак достаёт из кармана серебряную медаль на алой ленте, прикладывает к груди, торжественно:

— Святыя Анны...

— За какой же именно случай? — почтительно спрашивает сват.

— Это — на конюшне я стоял. Командир пришёл ночью, видит — всё исправно, и всю ночь я напролёт не спал. «Вот это молодец!» — говорит. И представил к медали.

* * *

З* после тамбовской постановки «Мещан»: «Гнетущее настроение, из театра шла как автомат посреди улицы и вязла в грязи. В душе такая пустота, будто вынули из меня всё и ничего не положили взамен. Главный вопрос — во имя чего жить — не решён. Все отрицательные (по Горькому) герои находят, что жизнь скучна, мертва, неинтересна, а все положительные его типы только восклицают “хорошо жить!”, “жизнь хороша!”, но никто и попыток не делает объяснить, почему так. Нил, самодовольный откормленный бык, душит и давит всё, что попадает под ноги, — и он по Горькому герой будущего? Но разве героизм будущего в жестокости? Горький вслед за Ницше восклицает: “падающего подтолкни”. Я понимаю — отжившие учреждения, но не людей же? За что? что родились раньше нас? Гадко, тяжело, просто погано. Если бы не было так поздно — полетела бы, не знаю, к тётке своей в монастырь. А вы, друг мой, выставите “наши теперешние условия”, “российские порядки”? Если я угадала — не пишите этого, это ложь, самоутешение».

Провинциальная девчёнка, ничего не видела, но как смело судит. Поди-ка скажи такое в редакции «Русского Богатства».

* * *

Гримаса усилия (грузчика), похожая на улыбку.

* * *

Шибарёвая баба.

* * *

— Если более или менее утробистая бабочка попадётся, ну... А что касается бессмыслицы жизни — это не моя специальность.

* * *

— Жизнь моя, ежели мне про неё начать, то целая библия. Сколько я перенёс на своей груди, то в Волге воды столько не найдётся.

— А именно что же?

— Мало ли!.. Раз калоши новые у меня украли и самовар новый невладанный — в один день.

* * *

— Вы ж не социалист, надеюсь? — отчего ж нам не выпить по одной?

* * *

Шум отвечающих многих голосов издали — как опрокинутый ковш со щебнем.

* * *

Ильич про сына:

— Первым долгом — по ногам он не годится. Ноги у него ни к чему, до того потеют — хочь выжми.

Слабосильный мужичок Агафон, ростом в аршин три четверти:

— Раненого я надясь встрел. Без ноги, а смеётся. Надо, говорит, сукина сына германа придавить хорошенько.

— А как думаешь, Агафон, если нас с тобой возьмут? Германец вон грозитя в Дону коней попоить.

Агафон, держа цыгарку на отлёте против уха, надменно отзывается:

— Чего потребуют, то и сделаем, а уж герману уважать я не согласен.

— А налетит на ероплане — цап! и упёр?

— Пуцай по всей комплекции бьёт — не поддамся!

* * *

Повороты душ, предположить нельзя: после всех разжалованных Филипп попросился в армию добровольцем! Вернули подьесаула и вместе с сыном-подхорунжим — в один полк. Три первых же недели оба не вылезали из разведок. Отец — повышен до есаула,

Владимир 4-й, Анны 2-й и георгиевское оружие. Сын — до хорунжего, тоже орден и в атаке убит.

* * *

Крест на крест: георгиевский кавалер, подпоручик, — и сестра милосердия.

* * *

Пишет сестра Маша: вчера заходил казак с хутора Себряково, перешить посылку сыну на войну. Говорит: мать уважки напекла на масле, на яйцах, да присметанила, а на почте начальник спросил — что в посылку зашил, говори истинно. Я мол: тёплая рубашка, поштанники, варежки, да мать горстку сухариков всыпала в чулки. А вот этого, говорит, никак нельзя, перешивай. К себе на хутор далеко идти, он — ко мне. Пока порет, спрашиваю — что сын-то пишет? Да в последнем письме написал — объявили поход на немца. Кроволитие идёт громадное, силы несметные гибнут. О Господи, один у нас сыночек-то. Дитина и бабочка у нас тихие, сиротные, и дитя-то у них одно. Пришёл Сёмушка с действительной, лишь успели деточку родить, а вот опять на войну... Ну, ягодка, распорол я, да думаю: хоть с десяток сухариков суну в поддёвку-то? — дойдёт ли, нет? Мать хотела уточку положить, баба — нет: сухарики в карман насыплет, ходя съест. А ещё обвела ручёнку и ножёнку Ванюши и приписать велела: вдарь, батенька родимый, моей рукой и ткни моей ногой лютого врага немца, чтоб не успели испить твоей родительской крови и осиротить твою единственную чадушку и уложить в гроб твою родимую матушку. Вот и её слёзочки, видны на бумажке, уж кричала, кричала.

Зашиваю: ну, а ещё что пишут казаки? Вообще пишут: всю сущность писать не велят и неколи. Из Карпатов пишут: голод, холод, мяса много, а хлебушка редко, лошади под седлом без силы. Из Александрополя пишут: ждём турку, чиним крепость. Работу несём словно каторгу, на себе таскаем кули песку, а всё-таки, милые родители, надёжней, чем где бой. Отдохнём от песку, разобьём кулаки на морде турка. Теперь уж надо идти, не опускать голову перед кривоносыми чертями. Как ни говори, ягодка, много русской силушки закрыли землёй. Зашила? Ох, за сухари старуха будет бранить...

* * *

Рязанец псковскому:

— Надо средственно махать косой, а ты рвёшь. У косе понятия не имеешь. Острамотил Скопскую губернию на всю Европу.

— А ты дай струмент следующий, тогда говори. Такими косами мёрзлое дерьмо сбивать, а не косить.

— Соболезную я не столько об тебе, сколько об лугу. Пошматуешь ни за что...

* * *

«В выпитом разе — сурьёзный человек».

* * *

В Ксенъинском лазарете зашёл я в рентгеновский кабинет. Принесли молодого татарина. Тонкий, совсем мальчик, трудно дышит, лихорадочный взгляд. — «Замечательный случай, — сказал врач (артист), — парализованы ноги, а никакого ранения. По-видимому, контузия». Сделали снимок — нашлась пуля в спинном хребте, что изумило ещё больше: нигде никаких признаков входного отверстия. Рассуждали, обдумывали. Татарин тяжело дышал. Подошла сестра: «Люблю я их, татарчат, — ласково утирая ладонью щёку и подбородок его, — такие они милые. Домой хочешь? Ах, ты...» В мутных лихорадочных глазах мальчика блеснула радость, он беззвучно засмеялся, разинув рот, забывая страдания. Служители уносили носилки с татаринном, но светлое так и лежало на его лице.

Магическое и великое в ласке женщин.

* * *

Жирный голос — похожий на шкворчанье горячего жира.

* * *

Брат Александр пишет: по «Русскому Инвалиду» надо скоро ожидать на фронте больших оживлений. Хоть бы ломанули немца! Удастся ли? Всё так напряжено, боюсь катастрофы. На Страстной

и на Пасхе не было бы голодных бунтов: всё перед праздником вздорожало на 500%. Прямо надо удивляться нахальству торгового класса. Не кончилось бы разгромлением тыла.

Для домашней работы никого не найдёшь, девчёнка и та за 10 рублей к ребёнку идти не хочет, и правильно: раньше 10 р. были деньги, а что сейчас? И служи сам, и по дому сам, и весна настала, мясо кончилось — сели на жидкую кашу да молоко, вот тебе и лесничий.

* * *

Потянулись по станице слухи о наживе там, на полях войны, дразнили воображение. Уляшка, хорёк-баба, сигнула к своему первая, аж до Карпат. Воротилась — облепили её бабы. Сухопарая, рябая, но чернобровая, рассказывает:

— И-и, мои болезные, и поспать сладко не привелось: всё на стороже были, как гуси на пруду под осень.

— Ну а как, деньжонками, правда, нет ли, поджился?

Бабы, затаив дыхание, ловят, как пофортунило Родьке.

— Да всей касции двадцать три рубля было у него.

— Ну, не грехи.

— Ей-Богу, как перед Истинным! — Уляшка крестится на вывеску потребительской лавки. — Я два дня посидела — трюшница осталась, крынули как следует. И он меня с касции сместил.

— А говорили, добра много набрали.

— И-и, тётя, один разговор. Може кто и поджился, а мой чего и зашиб — всё в орла прокидал. Тут им — поход, и он мне: с меня теперь гнедого достаточно. Куда тебе за нами с мешком сухарей тлюпать? Езжай домой. Служите там молебны.

— А у нас по всей станице зык пошёл: поехала, мол, Уляшка деньги забрать.

— Вот, купила себе на жакет сукна, и всё нажитие.

* * *

Прошлогодняя ржавая листва, и сквозь неё пробивается травка в первых днях своей жизни: зелёные напилочки, крошечные вёсла, зелено-золотые копьёца, бархатная проседь распластавшегося полынка.

* * *

Пьяный казак своей случайной возлюбленной:
— Я баб лучше всякой скотины люблю!

* * *

Зинаида: «Страстная неделя. Мимо моих окон идёт народ со стояния. Все несут свечи, лёгкий ветерок их колышет, слышен смех, в лицах бодрое оживление. А я стою у окна — в душе мрак, на дне — холод и смерть. И на живое чувство их откликнуться не могу».

* * *

— Не дерзай (= терзай) ты своо сердца!

* * *

Пишет Александр: задумали строить лесопильный завод для заготовки шпал и дров. Цены на всё бешеные, рабочих нет никаких — ни плотников, ни каменщиков. Ничего не достанешь, не купишь, не найдёшь. Учреждения военные и земгоровские с ценой не считаются, они и вздувают. Ужасно тяжело, но всё-таки надо сделать. Немцы за это время использовали огромные леса наших западных губерний. А мы сидим без шпал.

Ещё пишет: получил 37 человек военнопленных. Теперь верчусь: накормить, обуть, одеть, дать работу, заинтересовать. Душаю, нашим солдатикам в плену не видать таких попечений.

* * *

— Был я вахмистр, из себя черноусый, тело белое, настроение развязное. А она — плюнуть не на что, вся с напёрсток. А пока я служил — тоже... приобрела мне одного...

* * *

Утром в лесу. Над ухом тихо звенят комарики. Редко с расстановкой стрекочет какой-то кузнec. Кочета кричат за рекой. Зелено, шорох. И нет мыслей, кроме тоски: женщина бы встретилась!..

* * *

— Надесь тут офицера немецкого провезли раненого, бабы окружили. Одна старуха: «Глаза бы тебе выцарапать, немецкая морда! Двух сынов через вас лишаюсь!» А он по-русски говорить знает: «Тётушка, у меня у самого дети, не охотой покинул». И заплакал.

* * *

«За это, голубь, скребанут!»

* * *

Зина: «Нужно идти или навстречу друг другу или в разные стороны. Других отношений между людьми не ценю и не желаю поддерживать».

Вечные милые враги (мужчина и женщина).

* * *

Спина косца в синей рубахе взмокла пятнами и кажется заплапанной чёрными латками.

* * *

— Режется трава не чутно, косить её — как блинцы с каймаком есть.

* * *

Извозчик: Старший сын зиму в школу походил, стал читать хорошо, ну бедность, отдал в колбасную к зятю. Зять у меня в колбасной приказчиком. И девчёнку малую ему же отдал, за детьми ходить. — Не обижают? — Ничего. Только в Бога верить перестали. Не говоря, что скоромное жрут всё время, а уж веру самую потеряли. Я им про Бога, а они: что я заработал, то и есть, а Бог мне не поможет. Там такие слова, дескать ничего нет. Ну а природа? Да и природы нет! Врё-ошь! Природа есть, и должен быть у неё великий хозяин. Кабы тебя отец с маткой не родили, как бы ты на свет явился?

— Выехал чуть не ночью, на козлах подремлю, опять за работу. Лошадь одну поставил, другую запрёт.

* * *

Ходит по рукам такой Акафист Григорию, Конокраду Новому: Радуйся, Церкви Христовой поругание... Радуйся, Синода оплевание... Радуйся, Григорие, великий сквернотворче!..

* * *

Брат: Распущенность в народной среде такая сделалась, ни чувства достоинства, ни совести. Все и всё в каком-то смятении. Мечутся, где взять побольше, а сделать поменьше. На наших глядя, и военнопленные стали хуже работать.

* * *

Зина не признаёт различия «малых» и «великих» дел: мол, у каждого свой запас нравственных сил, и всякий истративший максимум своих сил — вот уже и совершил своё великое дело: между собой эти люди равны, хотя для внешнего мира поступки несоизмеримы. — А и верно?

* * *

— За такой вилок — пятак?

— Прошу пятак, а может и за четыре сойдёмся.

— А такса?

Заседатель пренебрежительно тычет пальцами в кочни. Взгляд его леденит. Баба безмолвствует.

Из толпы сострадательный голос, заступаясь за бабу:

— Да ведь кабы мы грамотные народы, ваше благородие, а то мы народы степные, не письменные... Слыхали, такция мол, а в какую силу такция, мы не знаем... Слепые мы народы...

— На все предметы первой необходимости... На капусту установлено 40 копеек за пуд. А иначе для чего же такса?

— Да мы её сроду на вес не продавали, а вилками... Иде ж я весы возьму? Я вашей хозяйке и так один пожертвовала, вилочек как слеза чистый...

— Такцию, вашбродь, надо на всё, коль такцию, — глухо гудят в толпе голоса, — а то ситец — доступу нет...

— А спички? а карасин?

Баба осмелела:

— Ты бы пополивался её летом по такции, узнал бы, почём сотня гребешков. Я на твою такцию не подписываюсь!

* * *

Такса появилась на станичном базаре тишком: наклеили таблицу на заборе вокруг отхожего места, и всё. Кому надо, те и без того наизусть её уже знали.

Казаку-хуторянину и невдомёк, почему прежде покупатель торговался до изнеможения, а теперь выбирает без лишних разговоров:

— Караси, что ль? А сазан есть?

— Есть, ваше степенство. Вот извольте, фунтиков пяток потянет. Или вот...

— Весь!

— Обех возьмёте?

— Обоих весь!

Казак взвесил на безмене, покупатель, не справляясь о цене, положил в корзину, отсчитал 74 копейки и молча передал казаку.

— Господин! Это что ж такое будет? — изумился казак, держа на бурой широкой ладони запачканные современные монеты-марки.

— По таксе, голубчик, — кротко отвечает покупатель, ткнув пальцем к забору, — коль грамотный, должен сам прочесть.

— Давай сюда рыбу! — закричал казак, выкидывая в корзину покупателя его марки. — Как бы у тебя живот не заболел, по таксе кушать!

— А полицейского шумну?

— Шуми, а рыбу подай сюда!

И вцепилось в корзину четыре руки.

* * *

«Сам рявёт, а сам бягёт».

* * *

— Низвините!..

* * *

В Усть-Медведицкой коробка спичек доходит до сорока копеек. Все цены в гору.

А брат: Брянск всегда был дорогим, а теперь торговцы вовсе разнуздались. Цены повышаются каждый день. Некоторые товары периодически скрываются, а вновь появляются сильно поднятыми в цене. Что ж дальше будет? Во всём виновато, безусловно, правительство: оно ведёт организованную борьбу с русским обществом в пользу Германии. Надо ожидать ещё худшего стыда и позора — измены союзникам. Революция — необходима. И будет весьма кровавая. Ужасно всё это...

* * *

При луне скакала на одной ноге. «Так ждала!..» А я не приехал...

* * *

Дороговизна — не сами высокие цены, дороговизна — настроение, это всеобщий испуг: если сегодня хуже, чем вчера, то что же будет завтра? Это особенное чувство безнадежной незащищенности, которое охватывает человека на рынке и при каждой покупке: неместимыми ценами тебе сжимают глотку; невидимые люди с уже огромными деньгами — где-то рядом, вот может за этой каменной стеной, прячут товары, а из твоего горла выжимают ещё и ещё! И в обиде кажется, что этих спекулянтов, этих мародёров — поощряет власть и куплена ими полиция. А иначе — как простому человеку объяснить: почему же правительство не обуздает мародёров? Ведь не может быть, чтоб на Руси не было продуктов, Русь всегда полна, почему же в лавках нет? Значит, прячут, «сдирай, сколько сможешь!». И от этого горше всего обида на власть, не за что-нибудь другое.

* * *

Извозчик: «Вот у нас всё свободы требуют, а обязанностей не помнят. Живёт профессор, химик, семья 8 человек, а прислуга у них — старуха, встаёт в 5 часов, ляжет в полночь, так они этого не замечают. А свободу им дайте...»

Проезжая мимо церкви Михаила Архангела: «Воин небесный. Я книжечку об нём читал. Диковинное дело, какие войны были. Ведь — дүхи, чего б им воевать? А бились».

16

Он сказал о себе «очеркист», постеснявшись как истинно думал: «писатель». Для уха нелитературного, как у этого полковника, который вот не читает ни газет, ни журналов, а может и книг? и ни с какой стороны не знает имени Фёдора Ковынёва, — «писатель» звучало бы смешно, с надутой претензией. Да Ковынёв был и очеркист: уже не двадцать ли скоро лет, как всё окружающее, а особенно свою родную станицу — с неё начав и более всего её — он без отказа и без отсева втягивал через глаза и уши, жадно подхватывая все диковины просторечия и простомыслия, и тотчас же вгонял мелким наклонным почерком в очередную из многих записных книжек. Коллекция этих записных книжек становилась как вторым вместилищем его души, так что, потеряв бы вдруг свои записные книжки, Ковынёв оказался бы обокраденным на всю прошлую жизнь и почти без смысла на будущую, как при смерти сразу. Однако в тех записных книжках собранный материал не залёживался: всё то время, что Ковынёв не наблюдал, он понужден был этот материал перерабатывать и выпускать в люди, это была форма его жизни: не для себя записывалось, а чтобы люди, особенно не дончаки, это всё тоже увидели, услышали, узнали. А подхваченного было так много, так распирало оно кожаные переплётки записных книжек, что еле успевалось, не обдумывая хитро строения, не расставаясь с природнённым, лишь перегревать и перегревать лопатой эти записи, переписывать из записных книжек на листы, уподобняя, дополняя объяснениями, новыми тёплыми воспоминаниями, — и так получались именно *очерки*.

И пока неутомимо записываешь в книжечки, и переписываешь в очерки, и отсылаешь в редакцию — нет работы ясней и прямой, чтоб освободить душу от требовательного груза. А когда уже отвалится очередное давление и сколько-то спустя найдутся просветы времени полистать эти очерки — вздохнёшь и узнаешь для себя, что, пожалуй, они велики и слишком многочисленны. А когда эти черновые записи переставишь терпеливее, сочетаешь ина-

че, а потом в неожиданной счастливой погонке не поразогнёшь спины, — увидишь сам, что сверкнуло намного сильнее. И подписываешь: «рассказ» или «повесть».

Это — как масло из семечек: надо по несколько раз отгнетать, отжимать и отцеживать. Или как обработка леса: всего нужнее людям простые дрова; но если дровами уже снабжены, и леса много, а ты про себя знаешь, что ты не дровокол, но затаённый столяр, то удел твой — с терпением гнуться у верстака, обтачивать, опиливать, выбирать четвертные пазы, пока вложенный твой труд не станет дороже взятого дерева; и люди от самых тёплых печей вздрогнут и потянутся к твоей работе.

А в общем, это прирождённая потребность твоей души постоянно тихо изливаться: как в зелёной балке между пашен лопаются почки на кустарнике и курится золотистая их пыль под трели жаворонков; или как провожают служивого, весь печальный и лихой этот обряд, со всеми подробностями, и какие песни старинные поют, — хочется и песенную манеру передать и даже все слова привести, ведь их не знают не дончаки, — и уже забываешь, к чему всё начато, лишь бы вместился этот быт, повествование раздаётся разливом Дона и Медведицы — и уже протестует редакция, что страниц много.

Как и всякого начинающего, Ковынёва сперва долго не признавали, в журнальном море плавали его обломки малозамечаемы. Лет его уже за тридцать вышла первая книга рассказов «Казацкие мотивы». Тогда сам Короленко назвал и выделил его как особого донского писателя, двери и обложки «Русского Богатства» открылись перед ним — сладкий миг поверить в себя! Так уже всё достигнуто? Нет, всё только ещё начинается. Ему уже заказывали, его просили, ждали, — но заказывали и ждали как-то не совсем того, и всё более даже не того, о чём лилась душа. Картины, как цветут овраги или как тучи плывут по ту сторону Дона, находили редакторы и критики очень милыми, однако ждали от него, чтоб он отстаивал справедливость, свободу, а если уж непременно о казаках, то тогда — как отвратительно использование казаков для угнетения, иначе казацкая тема выглядит реакционной. А то б — и на другие важные редакции темы, например, что столыпинское выделение на отруб — это жестокий эксперимент над народом. И вообще, что-нибудь такое, в чём ярко выразится свободолюбие.

Да что ж Фёдора Дмитрича уж так просить? Он и сам разве так не думает? Он и сам глубоко считает оскорблением чести казаков

карательное использование их. Он и сам видел в приволжской степи безудачливых отрубников, мог описать их. Он и сам три месяца сидел в Крестах — так об этом публика и ждёт рассказа! Да свободно, о чём угодно, но хорошо если с писательским метким глазом он не упустит хоть какие-то общественно важные эпизоды: самоуправство хоть железнодорожного жандарма или корыстные расчёты жадного попа. А ещё же, сколько лет гимназический учитель — как ярко может он вылепить гадкую фигуру верноподданного тупого педагога-монархиста, у которого, вероятно, и нечистая страсть к гимназисткам и он тайком отдаёт деньги в рост.

И правда, Ковынёв много чего видел, а о другом догадывался, и, в лад ожидаемому, всё это пишет — и гладко катится по журнальной дороге, признанный в общественных кругах, иногда и упрекаемый, что образы интеллигентов у него духовно немощны, малосодержательны. (И это — так, про себя с сокрушением знает Фёдор Дмитрич, что хоть и сам интеллигент — а интеллигентов он постигает не таё, не очень.) И — снова, снова о казачьей жизни, всласть.

В кругах — похваливают, но покупатели что-то не очень берут его книги, что-то не очень знают имя. Подойдёшь к прилавку — аж зло берёт: лежит книга Ф. Ковынёва, от солнца выгорает, от жара коробится — не раскупают! Эх, баре, ... вашу так, — выругаешься про себя: о чём душа казачья поёт — вам не надобно?

Знала Ковынёва родная станица Глазуновская, и звала «пересмешником». Знали Ковынёва донские читающие круги, числили своим бардом. А вся Россия необъятная никак не хотела знать.

И кто ж иногда жесточе других, так что согласиться невозможно, принять нельзя, — вдруг впечатает тебе твои промахи? Что излюбленная твоя медленная лирика, вот с этими самыми почками, жаворонками и старинными песнями, растянута даже до нудности? И все описания донской степи — повторяются и даже разваливают композицию? И лучшие фразы, которыми автор особенно горд, — красивая нарядная печаль с тихой умирающей зарёй; и подстреленная птица сердца; непобедимое обаяние и тревожное замирание восторга трепетной искрой, — что всё это не вершины красоты слога, но литературный мусор, который стыдно видеть за подписью Ковынёва? Вот странно, об этом не Короленко скажет ему, не какой-нибудь из славных сочленов по «Русскому Богатству», — но станет писать ему такие письма дерзкая тамбовская девица, его бывшая гимназистка, которой он же и толковал литературу, — Зина Алтанская.

(С гимназистками — это ведь не так просто, что только педагог-черносотенец и ростовщик испытывают к ним нечистую страсть. Да всякий нормальный педагог мужеского рода — как удержится в безразличии, в неотличии этих тридцати девичьих лиц, повёрнутых к тебе в старшем классе? Как не выделить тайной симпатией одну, другую, не подумать мельком, тетрадку от неё принимая, или мел из обелённых пальцев: а вдруг *если бы когда-нибудь...* ?)

Но откуда у девушки провинциального кругозора, у твоей же ученицы, эта хватка, эта уверенность вкуса, этот уровень суждений, тобой на уроках не внушённый? Так обидит — хоть писем её не вскрывай, а походив да перечитавши — вдруг обнаружишь, что прилипли сужденья девчёночки, уже не стряхнуть. И порой для шутки перепишешь брату, в ответ на его восхищение, брат удивляется: ну, ты к себе безпощаден! ну, ты действительно, значит, гений, если можешь так!..

Но что Фёдор Дмитрич знал верно про себя, не вышибить, укрепляла и Зина: поразительная память на всё, что *прозвучало* однажды, реплики персонажей как будто годами носятся в голове неискажёнными. Или — вытянуть кусок жизни до того изглуби, что и психологией украшать не надо, и на то засмотришься. Это — знал он за собой отлично. Знал ту истинную возможную силу, какой за пятнадцать лет литературства в нём никто не предполагал, а он — знал. Внутреннее, тайное, удивительно сообщаемое нам едва ли не в ребяческом возрасте, отчего и путь этот выбран, по нему поплёлся. Странное дрожащее предчувствие: как высоко ты способен подняться, как душезадевательно когда-нибудь написать. И вот уже в последние годы что-то, кубышь, переливается из заготовок в формы: главные лица, и эпизоды, и целые главы — так ли? хорошо ли? Границы точной нет, всё колышется, не застынет: роман не роман, а может Поэма в прозе, и с названьем, наверно, самым простым — «Тихий Дон», потому что черезо всё растекаются — Дон да кормящие запахи любушки-земли. Да первая часть и готова, но Федя по робости не осмеливается предложить публике: ведь ещё что из того выйдет? И сразу укажут дружно, что слишком много безцельного быта, слишком много пейзажа — а как же со свободолобием?

Главные помехи — не супротивники или завистники, а ты сам: может быть, и правда нетребовательность вкуса? Или образ жизни твой не тот? — перестать бы мотаться по России, да ходить по редакциям, да даже и газеты перестать читать, как этот полковник?

Оторваться от охотливых собеседников, собутыльников, разбитых друзей и доискливых женщин?..

Так и вовсе, может быть, ничего не напишешь.

А вот спутника вагонного между тем не упустить. Но едва выйдет в коридор — тотчас распахивать записную книжку на столе и воровато скорей вписывать чёрточки его. Может никогда и не понадобится, а может в Роман ещё вставится, вперёд не знаешь. На всякий случай — и жену его в широкой шляпе, с властно-хрупкими нотками голоса. Много воли такая баба захватывает, Фёдор таких боится, визгу не оберёшься, лучше уступить. Странно, мужа одного отпускает, такие всегда вместе ездят.

Полковник — с аксельбантами генштабиста. Сильно занят своим, на Федю сперва — как в тумане. Тёмно-русовая борода не виснет, но крепкой щёткой, густая, короткая, обводная. Очень решительный (после ухода жены). Сидит, нога за ногу, совсем неподвижно, даже без мелких перемен позы, в покое, но не расслаблен (фронтальная вымучка, выучка, прокалка?), как врос в диван, и руки не суетятся — не потрёт колено, не потеряет бороду. И рот без пожимок. А лёгкие повороты головы, мысли меняются быстро — и глаза меняются, меняются. Когда слушает — одни, вбирает, когда говорит — другие, как досылает. И по глазам наперёд видно — сейчас скажет или промолчит.

По всему направлению нынешней литературы, по настроению редакций, интеллигенции — офицеров не любили, даже презирали как исполнительных, тупых слуг режима, которых натаскивают в их тёмных училищах на высокомерие, самонадеянность, жестокость. И тех, правда, что из высоких бар и стелется им незатруднительно гвардейская служба, — тех Федя тоже не любил. Но как казак по рождению и сердцу, несчастно отведенный от службы недостатком зрения и затем без верховой езды омешковатившись, — Федя как бы мог не любить, не понимать военную службу, и втайне как не завидовать этим подхватистым, дерзким людям, служба которых была раз навсегда под бой поставленная жизнь? Ещё как бы со страстью Федя и сам показывал! Не делился он с литераторами, а — любил офицеров. И приятно было оказаться с таким в дороге, и хотелось быть с ним вравне.

Хотя, конечно, обидно: вишь ты, ничего нашего не читает. И даже никакого Выборгского воззвания не слышал, вот те да!

А что творилось в выборгской гостинице «Бельведер»! Мятёжным собранием депутатов председательствовал сам глава Думы

благолепный Муромцев. В кулуарах очаровательные интеллигентные женщины вскакивали туфельками на мягкие стулья и оттуда разили пламенем доводов знаменитых юристов. Разгон Первой Думы казался переломом всей русской истории, концом всего Освободительного Движения. Если примириться — то никакой больше Думы не соберут, конец юному парламенту, конец юной свободе! Правительство совершило государственное преступление, и народ не простит своим избранныкам, если они за него не ответят ударом на удар! После думских яростных обличений — и как же теперь смолчать? Да не словами, а — делом (каким?? каким??) указать народу путь сопротивления, — и он *пойдёт*! (И хотя Ковынёв как трезвый житель глухого сельского угла отлично понимал, что никуда народ не *пойдёт*, что этот крик депутатский — не давать солдат, не платить податей — оборвётся, никем услышан не будет, — и он тоже, в высших обязанностях свободы, подписал с другими горячими депутатами.) А потом возвращались из Финляндии в жаре: распространить воззвание в *миллионах* экземпляров, и в безстрашии — всем быть арестованными тотчас в Белоострове! Но никого не тронули.

Однако и глыба народа — не пошевельнулась. С большим опозданием мятежных депутатов потом судили. Невозбранно длинные речи обвиняемых, жалкенький трёхмесячный тюремный приговор да 10 лет не занимать должностей в своём крае. И вот через десять лет полковник генерального штаба не понимает слова *выборжанин...*

И каким же манером сдвигаются? вообще сдвигаются ли массы?..

Первая Дума! Депутаты вступали в Таврический дворец не сотрудничать с трухлявым правительством, но — продолжать великое шествие революции! На железнодорожных станциях едущим депутатам кричали провожающие непримиримо: «Земли и Воли!» И когда на пароходе переезжали депутаты из Зимнего дворца в Таврический — петербургская образованная толпа с набережной кричала: «Амнистии!» (террористам). В Екатерининский зал ломались депутации избирателей, дохаживали дальние ходоки, а нарядные женщины, спустившиеся с хоров, оглаживали думцев после смелых речей и нащebetывали напутствий перед выступлениями.

И через десять лет... ?

И что же собственная скромная речь Ковынёва (в кулуарах тогда захваленная, да на публику и построенная: без высокого гра-

дуса гнева тогда не всходили на речи)? — уж её и вовсе не осталось в русской истории. А подымаясь на думскую трибуну, мнишь: сейчас сотрясётся и по слову твоему изменится... Почему именно казаков заставляют давить революционный народ? Ярмо службы, покрывшей позором казачество! Вывернутая присяга: защита отечества гипнотически подменяется подчинением начальству. Страшный кодекс — повиноваться без рассуждения! (А как же иначе может быть в армии?..) Демобилизуйте наши полки! Освободите нас от палачества! Наша старинная казачья свобода — и есть та самая свобода, которой сегодня добивается весь русский народ!

А виноградное вино, двумя руками наливаемое из тяжёлой четверти по стаканам, не крепостью, но ароматом, но сознанием, что — своё, донское, черкасское, отепляет с этим полковником — да дружелюбным человеком, со взглядом *нитнюдь* не тупым, способным понять и не своё, только сильно отвлечён.

— Вот и войдите, каково ж положение тех немногих казачьих... ну, пусть полунинтеллигентов, кто полистал Герцена с Чернышевским, а сам — в чекмене и шароварах с лампасами, от раннего возраста, от землелашества и станичной жизни уже неминуемо, без выбора был включён — защищать трон ото всех врагов? Есть у меня сверстник такой и земляк, Филипп Миронов, не слышали? Войсковой старшина сейчас, помощник полкового командира 32-го Донского?

— Да н-нет, пожалуй... Хотя 32-й Донской не так далеко от нас.

— Могли б вы его и по Японской слышать, он очень там отличался. И сейчас. То разведки, то захваты, то переправы невероятные, просто на смерть лезет казак! То в немецком тылу взорвал мост, то одной сотней выручил окружённый полк, у него этих орденов сейчас — семь или восемь, включая Владимира. Так вот, в Шестом году послали его с отрядом давить восставших крестьян — а он возьми и сам разделил им помещичьи луга! Вот так действовал! Тогда ж в Усть-Медведицкой на станичном сборе...

...В окружной их станице Усть-Медведицкой в те упоительные дни свободы кто ж и ораторы были главные, как не Федя да Филя?..

— ...подбил второочередных казаков не мобилизоваться на полицейскую службу! И не пошли!! Тоже и Филипп был кандидатом в Думу, во Вторую, но прокурор отвёл его. И было восемь месяцев домашнего ареста. И стихало уже революционное время.

И наказной атаман, тогда генерал Самсонов, в те же месяцы, что меня изгнал из области, его — простил, послал служить. Но если в тебе уже *сознание* проявилось, то объясните: как служить? Или народу — или царю, или совести — или присяге, ведь тут неизбежный выбор.

— Отчеству служишь — вот значит и народу, — возразил полковник.

Ну, так. Или не так. В общем, казак мироновской сотни получил письмо: умерла жена, а мать больна, двое детей безпризорные. Миронов пообещал ему месяц отпуска и уволил в город дать телеграмму. А казак до того затемнился с расстройством — встретил в городе командира полка и чести ему не отдал. Приказ: наложить взыскание. Филипп поставил казака под боевую выкладку на два часа, а сам пошёл хлопотать ему отпуск. Ответ полкового: взыскание недостаточно, в отпуске отказать. Ну ведь есть же такие твари с погонами, скажите?

— Увы, есть, — даже слишком просто согласился полковник. — Но и от отдания чести однажды отказать — армия в прах.

Звякнули тяги — а вагоны почему-то не стронулись. Паровоз дал легонько назад — и тогда уже снова мягко взял.

— Но ведь наказал же! Нет: за тяжкий проступок неотдания чести — 25 розог в присутствии сотни. Вот мы, казаки, палачи какие: нас самих дерут как детишек... Миронов пошёл просить отмены. Ах так? — пороть в присутствии полка! Ну скажите, как с ними служить?

С ними?.. С вами?..

— Побои теперь изжиты, это прошлое, — уверенно сказал полковник. — Среди офицеров это считается позор. И розги — редкость. Их вводили — как избежание военного суда.

— И Миронов перед строем полка скомандовал: «Такой-то, десять шагов вперёд! Как твой непосредственный начальник я *запрещаю* тебе ложиться на эту позорную скамью! Кругом, на место в строй!»

Взрыв бровей промелькнул у полковника: честь отдавать надо, но *так* — тоже лихо!

— И что ж?

— Третье преступление! Значит укоренённый! Отозвали в Новочеркасск и перед тем же генералом Самсоновым снял адъютант с бунтовщика подъяесаульские погоны, и кончилась служба в Войске Донском. Вот так... И герой, и прославленный, и кавалер, но

ежели начинаешь *размышлять*... Как нам, казакáм, размышлять, скажите? Ведь потрудней, чем остальным прочим? А все нас клянут...

Ковынёв потёр лоб. Пощурился в окно, почти уже безвидно, серело там.

— Вот это и мучит. Какая ж всё-таки насмешка... истории. Именно казаки. Самые непримиримые к холопству. От него бежавшие на край земли за волей. И в потомках своих воротились в Россию — эту же самую волю отымать? У той же самой голытьбы, из которой вышли? Скакать, гикать и хлестать — в самую гущу своего народа. Разврат души. И жалость. Ведь не злодеи, а: не ведают, что творят.

Не отозвался полковник насчёт холопства и воли, а о Миронове: чем же кончилось?

— А вот что Филипп придумал. Когда-то отец его, несостоятельный, справиться сыну строевого коня не мог, развозил по Усть-Медведицкой воду в бочке. Так теперь и разжалованный подбесаул: на шинель без погонов нацепил все ордена и тоже в бочке воду повёз, по копейке ведро!

Картинка — для лучшей художественной страницы, а соришь вот так вагонному спутнику, толчком из груди выносит само. Столько в жизни людей, событий — какому перу за ними успеть?

— Устыдились. Назначили писарем земельного стола в Новочеркасск. Так не унялся Филипп и там: представил проект перераспределения всей донской земли!.. В кого зёрна свободы брошены — того уже не исправишь.

Как и Федю самого.

— А в эту войну подал добровольцем. И представьте же, как воюет лихо!

А свет за окном убывает. Отпадает приманчивое мелькание заоконного перемежного мира, всё меньше отбирает внимания на себя, всё больше оставляет спутников друг другу.

— Так вы, значит, коренной донец?

— Да даже отец мой — станичный атаман.

— А сами не служили?

— Сам я нет, — каждый раз со стеснением, как о позоре, признаётся Фёдор Дмитрич, — по глазам. Брат тоже, по хромоте, так что и коней не справляли. А учился я в Петербурге, на историко-филологическом. Десять лет в орловской гимназии преподавал, четыре в тамбовской.

— В Тамбове? И я там был один раз, — усмехнулся полковник. — Женился.

— Да-а? — Фёдор Дмитрич поколебался. — Представьте, я тоже там чуть не... — Перевздохнул. — Зимой я в Петербурге, но всякий год и в станице, месяца три-четыре. И — признают меня земляки, идут ко мне как к судье мировому, к адвокату. За доктора иногда. И председателем станичного кооператива.

Ещё — с казачками холостыми под плетнём, под вишнями покатаешься. И на пятом десятке ничего-о, даже на пятом особенно. Свои казачки, родные, и земля родная и трава.

— Так и внятно мне: что деревня думает? и как понимает город? Живу в станице — всё петербургское как забываю, чувствую себя только дончаком. И всё в мире видится: как это для Дона одного будет — хорошо или плохо? А возвращаюсь в Петербург, и с первых же часов, с первых редакционных встреч или в Горном институте, где я библиотекарем, и квартирую у земляка, — опять вразумляюсь, расширяется обзор опять до России, и уже странно, что три дня назад я шире Дона не видел и знать не хотел. Из России глядя, Дон — как шалопутный сынок. А с Дона Дон — как и не Россия.

— Как так, Дон — не Россия?!

— Странно?

Как так, Дон или какая другая река может возомнить себя не Россией? Да не то что Дон, а даже клинышек вот этот между Доном и Медведицей, пусть неудачлив, неплодороден, а тоже особлив.

— Другая какая река не может, а Дон вот — может. Песни свои, сказанья свои. И степь особо пахнет.

Нет, неверно выразил, что оба взгляда понимает одинаково:

— Когда меня в Седьмом году лишили Дона, это горше всего пришлось. Тамбов — далеко ли? а как в ссылке.

Конечно, в стране с развитым цельным сознанием отечества быть бы так не должно — каждая река отдельно. А вот у нас...

— Чуть в Пятые годы заколебалось — и сразу это в грудях поднялось. И того же Филиппа фотография у меня есть: «За автономию донских казаков лягут наши головы!»

Нет, не понимает полковник, чуть не смеётся.

— Мы вот ваше вино допьём, это да. Хватит. Прямо с Дона едете — и земляку не довезёте.

— Да я не прямо. Я ещё по дороге... заезжал...

Пристукивание вагонное сближает со случайным человеком, вчера и завтра чужим, а сегодня как будто в чём-то и свояком. Подрагивающий этот переместный домик на колёсах освобождает от связей дисциплинарных, служебных, партийных, семейных, отъединяет даже от весёлого кондуктора, от пассажиров, невидимо проходящих за толстым зернистым стеклом двери. И оставляет доверчиво их только друг другу.

Можно сказать, можно и миновать. Что эти подробности спутнику? — а почему-то сладко открыться: в Козлове сошёл с ростовского поезда, вещи сдал, а сам... А сам! — помолодев на двадцать лет, с колотящимся...

— ...в Тамбов.

Так они и сейчас сидели, так ехали: Воротынцев — быстрее вперёд, лицом к завтрашнему Петербургу, Ковынёв — ещё бы задержаться, лицом ко вчерашнему Тамбову.

Тамбов! Даже только вслух назвать — удовольствие, радость губам, как имя той женщины. Город назвать — как будто её саму: Зина Алтанская!

17

Весь этот перешаг — от надоевшего безнадёжного жребия провинциального гимназического учителя к писателю, члену редакции столичного толстого журнала, Ковынёв совершил именно в Тамбове: приехал изгнанником с Дона, уехал признанныком в столицу. И в Тамбове именно, сам долго не поняв, оставил... Сколько их за партами пересидело, учениц, сколько в пелеринках протягивали руку получить своё сочинение после проверки... И никогда за все годы, хотя рисовалось... А именно Алтанская... И под самый уже конец, неудачно так.

А вечер впереди — немеряный. Поезд идёт укачивающе ровно. Двое мужчин, уже не молодых, уже достаточно знающих жизнь, на твёрдый маленький столик четырьмя локтями опершись... От чего б и не рассказать?

Да только откуда ж это рассказывать?

— Да, конечно, знакомств осталось много повсюду, разные там любви, как понимаете...

Думаешь иначе, выговариваешь иначе. Мужчина мужчине вслух, без усмешки, без небрежения и не скажешь... Разные там любви...

— ...Но те все забылись, закрылись. А из-за этой девчушки... — на «девчужке», кажется, голос его подвёл, — и сейчас заезжал, да. Сто вёрст не околица.

Присмехнулся снисходительно.

А в груди — всё раскалённое, непродорное, отчего весь досюдошный разговор только был отвлечением. Уж отмахнуто было, уж быть его не должно ничего! — нет, слез в Козлове, пересел на тамбовский...

Не только полковнику армейскому, никому вообще этого рассказать нельзя, да ты сам десять раз это забыл, и только теперь вспоминаешь: то коса, спустившаяся на тетрадь; то какой-то дутый чёртик из бумаги; то особенная закладочка именно в тетради по литературе; то — прыснула необъяснимо; то — с первой парты во все глаза за тобой, во все глаза. Дорого то, что это — к тебе самому, не к бывшему думцу, не к будущему писателю, ещё когда не замерли тамбовцы в ужасе и надежде, что Фёдор Ковынёв теперь их *пропишет*, — нет, к тому сорокалетнему, довольно опущенному гимназическому учителю.

И ведь — уже она отучилась, уже гимназию кончила, ушла. Совершенно случайная встреча: пройди бы один на минуту раньше или позже — и ничего бы...

— Вы в Тамбове не помните — там такая долгая милая набережная, приподнятая над рукавом Цны? А ещё повыше — односторонняя улица, деревянные домишки. И сидят на всех крылечках или у распахнутых окон — с самоварами. Попивают да на реку глядят. На лодки, на луга. И на виду у всех этих чаепитников встретились мы, остановились всего на две минуты, дольше не постоишь, сплетни сейчас же взорвутся. А она уже — ростом с меня, и прежние косы перемотаны на взрослую причёску, а лицо ещё девье, пухленькое, и ещё не мятое, не худевшее, — подбородок закинула и спросила отчаянно: «Фёдор Дмитрич! А можно я к вам сегодня или завтра — *домой приду?*»

Это соотношение «учитель—ученица» — оно и частое, однако и чистое оно. Тут столько рубежей, тут столько «принято» и долга. Но отношение к твоей гимназистке, даже и бывшей, — особенное, не такое, как ко встречной зрелой женщине: с самого начала ты уже поставлен к ней сверху вниз — и вместе с тем к тебе несётся

такое юное, на первом своём переломе к женщине... И чем учитель старше, вот уже и под сорок, тем более лестно ему, тем невозможнее отказаться... Однако и с другой стороны, чем ты старше, тем ты и скованней, тем невозможнее решиться. Тем ты робче и не можешь быть интересен. Если сам себя в рассказе, со стороны, описываешь так: учитель был мужицкого склада, смиренный, неэффективный, с тощими усами, жидкой бородёнкой; растерянно мигающие глазки, спотыкающийся голос, лицо плебейское, тусклое, ни одной яркой черты... На самом деле — не до того же плохо, но минутами? Но — для семнадцатилетней статной девушки?

Да потом, это всё — по незнанию затевать, с девицей юной, боже! Это сколько будет изворотов, сколько будет выкрутасов. Зачем все эти хлопоты, беспокойства, когда есть учительские жёны, есть разные встречи в разъездах, а в станице — и вдовы, и молодки, ждущие служивых? Да скоро из Тамбова уезжать навсегда... Да, кажется, повесть большую в те самые дни начинал?.. Не помещалась никакая встреча, лишняя она тебе. И потом: если девушка так начинает — это что ж за характерец? это что ж будет дальше?

— ...Две минутки протекли, ничего я придумать в ответ не успел, — ещё выше голову задрала и ушла. А через два дня по почте письмо: зачем ещё вам пишу — не могу ясно представить. Хочу вам разъяснить, что я вас не люблю, как вы иной раз, кажется, думали и как могли бы подумать на набережной. Однако вы нравитесь мне как недюжинный человек, которых я встречала довольно редко... (Кого она там могла встречать, недюжинных? Смех один...) Если же это письмо разгласится — лично мне совершенно всё равно, но очень бы огорчило маму... Прочёл я — и такое раскаяние меня взяло: да что ж я за увалень? как же можно этот самый первый аромат пропускать?.. Пишу и я, приглашаю к себе на определённый вечер. И какой же, вы думаете, ответ?.. В тот день, когда я просилась к вам, мне было очень скверно на душе, а ни к кому бы в Тамбове! А сейчас миновало, спасибо. К тому же в вашем приглашении мне почудилось что-то фривольное, вы меня как-то не так поняли... Теперь пиши, объясняйся: что вы, что вы, я конечно не понял вас превратно!.. Ну, а через два месяца я вообще из Тамбова уехал. Навсегда в Петербург.

Мужчина мужчине — стыдно и рассказывать: началась безконечная с девчёнкой переписка, из тамбовских с нею одной, и письма её сохранял, и даже перечитывал. В Тамбове для этой девчёнки одного вечера не нашёл, а из Петербурга сколько же вечеров ухло-

пал на ответы, когда недоработанные писательские материалы грудились. Перед полковником неловко.

Но тот неожиданно принял:

— Письмом навёрстываешь расстояние, разлуку, возмещаешь в нежности. Письмо всегда получается ярче, сильнее, чем скажешь в обычной жизни. Через шейку пера так оно и... закручивает.

— Да я сперва и не писал, адрес мой она сама нашла. Что-то, видите ли, милое, что-то близкое ей во мне... И она дорожит тем, что есть. А если бы, мол, наши отношения перешли известные границы, то было бы утеряно...

Да ведь польстит, что письма твои наполняют её «какой-то безпечной удалью». То: сейчас такое чувство к вам, будь у меня воздушный шар или крылья — прилетела бы к вашему изголовью и навеяла бы «сон золотой». Нет, при встрече не буду так свободна, мне даже боязно узнать вас ближе... И стояла как рядом — у письма, у стола, у кресла, уже кажется, вот склонилась, ярче видная, чем въявь, перехваченная в поясе, в запястьях, по горлу, — влекущая! Но не ехала. Только письма.

Полковник размял папиросу двумя пальцами, вышел покурить в коридор. (Всё-таки не могут люди без любовных историй, с чего другого поважней — а всё на это переползут.)

И откуда у неё взялась лёгкость, с какою гимназистки не пишут? И почерк такой же, влетающий в душу, что-то слитное между задорным слогом и почерком — летишь, летишь, куда в этот раз? И даже на странице начертание: то между фразами просвет, между абзацами вздох, то вместо ровного обруба строчек — лесенка, будто не хватает ей наших тире и многоточий. От настроения — разный рисунок на странице, сразу понятный, едва распечатаешь конверт. Письмо прочесть — как увидеться. (Фёдор Дмитрич и это всё примечал, предполагая описать когда-нибудь.)

И — не льстила ему, не похваливала. Писала не увещательно, не упрощиво, но — гордо, свободно. Девочка, на двадцать лет моложе, досматривала в нём через письма, через очерки, через статьи, и резко высказывала, как он не привык, как при людях даже бы обиделся, а промеж них текло, никто не знал: а вы очень подлаживаетесь к обществу, в которое попадаете! а вы слишком в плену у *передовых идей*, это вам мешает как художнику! Да ваша передовая журналистика вон что выдула из Мани Спиридоновой, что ж, я её не знаю? она в нашей гимназии и училась, все знают, её из 7-го класса выгнали: классная дама нашла записку при-

сязного поверенного, что она с ним в связи давно. И она продолжала с ним ездить по губернии, и застрелила из ревности — а ваши передовые журналисты сочинили, что она идейная эсерка, что стреляла в него как в подавителя восстаний, и тут же её взвод казаков, дескать, изнасиловал. Так ни взвода не было, ни насилия: сидела на коленях у любовника и ухлопала — и вошла революционной иконой, — вот до чего ваши передовые журналы доводят, берегитесь!

Сама Зинаида тоже не рисовалась под *служение*, так и лепила: никаких «общественных» чувств, никаких «высоких стремлений» на пользу прогресса у меня нет, с тем и кушайте! Высмеивала «красные кружки», но отмахивалась и от тётки своей, монашки. Бунтовала, но неизвестно против чего, а вообще. Никаких невыгодностей своих не скрывала, так и писалась, какая есть. Но и ему не прощала: жалко мне вас, во всём вы расплывчивы, ничего до конца, только брюзжите на «российские порядки», а явись вам полная свобода — вы б и не знали, как жизнь устроить. Ещё напишете ли когда настоящую книгу — неизвестно. То у неё восторг: а как, наверно, жить светло, когда молодёжь перенимает ваши мысли! То снова: в некоторые часы так жалко мне вас, вы — обойдённое в жизни нечто, хочется разглядить ваши морщины и даже поцеловать в чёрную мужицкую вашу голову. Люблю увидеть на конверте ваш мышинный почерк. «Мышинный почерк» — дерзко, неприятно, а метко, сам не замечал. И унижительно так много меткого для себя получать от девчёнки — и уже втянулся, скучал без писем её.

Вернулся полковник. В купе уже посерело, в углах и лица хуже видны, но не предлагал света зажечь — а Федя и тем более. Для такого рассказа настроение нужно, в сумеречном купе уютнее.

— Ну, конечно, чтобы такая переписка поддерживалась, иногда, сами понимаете, надо написать: *так, как к вам*, — ни к одной женщине никогда не относился, не относусь, и сам поражаюсь: что за загадка?.. Однако звал её приехать — не приезжала. Вдруг забьётся в сомнениях: ах, ах, неужели невозможны другие отношения между разнополыми существами?.. Как будто именно *другие* ей нужны. Ну, поясняешь, Зиночка-Зиночка, если нет чувственной подкладки — люди друг другу неинтересны. Ответ: эту неделю строго рассматривала моё отношение к вам и не нашла в нём ничего нескромного. Да разве на уроках вы нам о такой любви рассказывали!.. Видишь ты, уроки! то — уроки. А по-жизненно-

му, объясняешь, всё на свете есть только порыв инстинкта. И надо брать, что жизнь даёт. Так и занозилась! — Нет! Не всё, что жизнь даёт! — а с большим выбором! Иначе столько дряни наплывёт — хорошего не заметишь! Брать всё подряд — себя не уважать! Да вы сами так не думаете, не может быть!.. Пойди вот, объясни им, в чём мы с ними разные. Иногда, для раззадору, что ли, сбрыкнешь ей, намекнёшь про какую-нибудь свою мимопутную женщину. А ну-ка, голубушка, ты со мной так откровенна — а как ты мужскую откровенность выдержишь? Всегда от женщины других женщин скрывают, а вот буду с тобой в открытую — откинешься? И что скажете? — выдержала! Не покинула писать.

Усмехнулся Фёдор Дмитрич между понимающими.

— А их понять — и вовсе голову сломишь, лучше не затрудняться. Заведутся три станичницы — и чего ссоритесь? — страшно мне ваших ссор. Да в сердце моём хватит любви на всех вас троих, не сорьтесь! Над женской изломкой ещё голову трудить — пропал казак! Какая сохнет по тебе — ту и не пропускай.

Как-то подвинулся, шатнулся полковник в сумерках, — хотел сказать? Нет.

— Всё равно такой любушки не бывает, чтоб на век, всё пройдёт, всякая минует. А отдай себя бабе в руки — перекорёжит тебе всю жизнь.

А так и бывает: то пренебрёг, а то раззаришься — вынь да положь, именно её.

Зиночка! Упустим мы с вами наш праздник сердца, приезжайте! Приезжайте!

Нет! Мол, человек всегда одинок, и встретясь — мы только локтями коснёмся.

— Всё-таки приезжала раз: думала в Питере на зуболюбные курсы устраиваться. Не локтями коснулись, один разок и грудью я её хорош-шо притянул... Нет, ушла!

И шарфик её запомнишь длинный жёлтый, как свешивался по груди. Да хоть все четыре колеса отвалились и все под гору!

Уехала, но не замолчала: хоть вы и знаете женщин чуть не с пятнадцати лет — а всегда будете чужой у чужого огонька, никогда вам вашего праздника сердца не видать! Слишком вы осмрительны, и желанья ваши на самом деле вялы. И фиту вашу (в Фёдоре) ненавижу, еле выписываю вам в угоду. Вам бы и грибы собрать и ноги не промочить. А идите-ка вы защищать отечество! Всех благ!

Неуговорная девчѐнка, ещё и оскорбления выслушивать, тем особенно обидно, что — верные. И на войну, правда, надо: Японскую пропустил — жалел, писателю — надо. А казаку — тем более.

И вот когда, наконец! Вот только когда хмуро-шутливый черноволосый кондуктор принёс и им на подносе полуведѐрный, ещё поющий самовар с наставленным вверху заварным чайником. Почти уже в сумерках купе яркое самоварное поддувало полило заметным алым присветом через круговые скважинки.

Из коридора через плечи кондуктора упал электрический свет. Забеспокоился кондуктор, не испорчена ли их лампочка. Нет-нет, просто не зажигаем, — объяснил Фѐдор Дмитрич. И покладистый полковник не возразил.

А сахара не приложил кондуктор, извинился, нету. Но Фѐдор Дмитрич, изумляя спутника запасливостью, опять привстал наверх — и достал на ощупь из корзины баночку.

— Да вы действительно всю жизнь в дороге? Как у вас прилажено!

— Люблю хозяйство, люблю порядок, — довольно устраивал Фѐдор Дмитрич. — Так что, не обойдѐмся ли пока без света, правда?

Ему не надо было сейчас собеседника видеть, только отвлечение. А внутри так жѐт — и света не надо.

Алые, тайные, тёплые горели скважинки самоварного поддувала — и на столике свободно отличишь стаканы, ложки, пальцы. А огоньки теплятся как из тебя самого — и выше тут, уже в черноте невидимой, — как вѐтся дух её.

Полковник и тут согласен. Тоже на ощупь прибавил на столик — обычная дружеская вагонная складчина, у кого что есть, вдвоѐм всё вкуснее. Ну и варенье у вас! Какая вишня крупная!.. Донская. У нас первое вишен — разве только виноград. Ещё — дыни.

На еде-питье отвлечение, заминка, — можно на том историю прервать, забыть?

Но ало горят огоньки поддувала — и тревожным тоном ещё отзывается, допекает латунное туловище.

Нет, уже не остановиться. Через раз, то вслух, то про себя пробега.

— ...Ребѐнок... — (Это, кажется, вслух.)

— Ах, всё-таки?

— Нет, от другого, — размышлял Фѐдор Дмитрич и волновался: правда, как же это объяснить? Сам с недоумением: — Но удивляться будете? Нисколько на том не конец. Наоборот, начало.

Что на лице полковника — не видно. То же ли нетерпеливое, сосредоточенное выражение, с которым он вошёл в вагон? Или разгляделся и вот слушает?

Шестой год это всё тянется, но где же был шаг необратный сделан? И неужто сейчас — уже и ноги назад не выдернуть?..

Как и тогда на набережной, вскинув голову, но теперь другую совсем, уже окунутую и вынутую, уже освещённую знанием, смыслом, даже властью, не с пухлыми щёчками, но с просеченными чертами страдания, — устремлённо спрашивала как бы: *а можно — я к вам сегодня?*

— Весь Пятнадцатый год мы переписывались, ни разу не встретясь. И всё меньше у неё проскользало сочувственных или там ласковых слов, больше насмешек. А то вдруг как криком: если у вас на душе плохо — *поделитесь!* если хорошо — *пожалейте!* Потому что моя душа — смятена!.. А в следующем, как ни в чём: какую книжку прочла или в театре что видела. Да ведь письма женские, сами знаете, не будешь по пять раз перечитывать, искать, где она там иголкой между букв прошла. Они наши письма и на просвет и вверх ногами читают. А мы как читаем? — выбрал, что послаже, отжал, а письмо в сундучок. В том и по-разному мы устроены: что для них первой важности — мы даже не замечаем. Нам кажется — стакан разлился, для них — целое наводнение. Ей проведи пальцем по спине умело — это её сотрясает больше, чем разгон Государственной Думы. Был у неё и прежде характер путаный, а теперь и ещё испортился. Да и время военное, у всех независимости больше.

Как и обычно: оттолкнутая девушка не может же вечно крутиться одна. Того и надо ждать: какая-то компания с тамбовского Порохового завода. Там — инженер какой-то, «чистокровно чеховский», застенчивый, тоскующий, мечтательный, в общем растяпа. Жена его, узнаём от Зинаиды, конечно, «крайне бледная, мёртвая личность». Сперва за предположительное только словечко «флирт» Зинаида хлобучила ему голову. А после скольких-то поворотов сдалась, но тут же послала инженерика — открыться во всём жене. Чтобы та — з н а л а!

— Прямо вот так? Самому жене открыться? — с живостью слышалось от полковника.

— Да. Самому пойти — и сказать.

— Да зачем же??

Фёдор Дмитрич и сам плохо понимал:

— Мол... не могу питаться крадеными отношениями! Чёрт его знает, этот девичий ход мысли, я говорю — мозги сломаешь, если за ним следить.

— И что ж инженер?

— Пошёл. И открылся.

Чмокнул, хмыкнул спутник.

— И?

— И так вот жили. Несколько месяцев.

— А что вы думаете? — а какой-то резон есть: честно, открыто. А почему в самом деле всегда иначе?

За тёмным окном проносился и вовсе тёмный мир, лишь с бледной дрожью от соседних освещённых окон да иногда с мерклыми сельскими огоньками.

— ...Или вдруг: а вы можете себе вообразить — бесовский полёт? Все оковы сброшены за миг полёта! — вверх? или вниз? куда бы ни пришлось — разве не завидно? Пожелайте себе пережить такое!

...Из тёмного окна девчёнка эта дальняя — как нависала, ввисяла в их купе — неслась за поездом через тёмное пространство — ногами? крыльями? метлой?..

— ...Или вдруг: ау, ау! — кричит один выжатый лимон другому: как мы весело плясали подбоченясь! а сок потёк кислый, мутно-обыкновенный, как во всех лимонах. Так стоило ли, Фёдор Дмитрич?

А Фёдор Дмитрич тебя толкал к тому, что ли? Жалко-жалко, да и Бог с тобой. Фёдору Дмитричу теперь только ребус разгадывать, почему лимон? Кончилось у них там. Жена там бледная ли, мёртвая, от истории ещё мертвей, — а мужа своего отобрала назад. А девчёнку, как с карусели сорванную, — фью-у-уть!

...Голова окунутая и вынутая, освещённая знанием и властью, на кого посмотрит... Тамбовский перрон.

Фёдор Дмитрич забыл и чай попивать, склонился над стаканом, как прихваченный, — думал. Как будто тут, меж них двоих придуматься могло.

Огоньки поддувала умерились, запеплились.

Сидели как у погасшего костра.

— А тут: Фёдор Дмитрич! Мама у меня умерла! А я... я не могла и на похоронах её появиться... — Да почему ж? Мать-то — за что же?.. И письма уже не из Тамбова, а из Кирсановского уезда. Что, почему? Опять ребус, опять должны новые письма приходиться,

чтобы тебе догадаться: потому упустила смерть матери — скрывала беременность, в деревне рожала тайком.

И здесь, одна, донашивая, рожая, кормя, беззащитная, подстреленная, — именно к Фёдору она не замолкла, именно его — не стыдилась. В развалюшке с приплюснутым потолком, еле печку успевая топить, впервые сама стряпая неумело, — не старалась щегольнуть оборотом стиля или мыслью, и не разыгрывала безопасности более, и без заносов тех полоумных. Молоко высохло! Это красиво называется — внебрачная любовь, неподкупное чувство, — а вот измученная мать, слабая кроха, нет молока, смена кормилиц... Будущее России? — неизмеримо выше, согласна, но когда милый, нежный ротик тянется к своему источнику жизни, а ты обманываешь, не можешь ему дать... Без прежнего хорохорства, без дерзкого тона, без подраживаний, открыто за утешением: Фёдор Дмитрич, позади ничего, впереди ничего, безтолково прожито и силы исчерпаны... И в Бога-утешителя — не верю.

Впрочем — и не раскаивается. Ни в чём. И не терзается дальней городской молвой. И — не уязвлена гордость. Только свистящий страх одиночества.

Из наружной тьмы, из вихря, через двойное стекло окна не может вступить плоть. Но — за ними вдогонку, за поездом, со скоростью их, не отставая — летит! И может быть втягивается в купе позыбливающей стружкой.

Вдруг почему-то ответил ей с чувством, каким прежде никогда не писал, — с простой сердечностью, как между ними не бывало, и ничуть не испытывая ревности, что ребёнок от другого, — и в недели изменились письма Зинаиды: зачистили, перекрывались, уже не ответ на ответ. Со светом и лёгкостью писала она о своём «типуленьке», и как над ним дрожит, и смеялась, как прежде ахали все, что из такой сумасбродной девицы не выйдет матери, а она пелёнками и сосками вот занята, напевая. А когда засмеётся малыш беззубым ротиком, то даже жутко становится от наплыва счастья.

И не знает: откуда у неё столько нежности к Фёдору Дмитриевичу. И: несмотря на ваш *порыв инстинкта* (помните?), я всегда чувствовала вашу душу! Всегда знала, что через ваши мелкие увлечения вы на самом деле ищете счастья высшего.

Вдруг, неожиданным взрывом: хочу — Художественного театра!

И в дождливую августовскую ночь: сын спит, ветер толчками, стучит ведро о колодезный сруб, за окошком — тьмущая тьма, на

столе — коптилка, керосин экономим, а мне — я знаю, во время войны хула, стыдно! — мне хочется света, шума, красок, музыки!.. В «Тамбовском вестнике» прочла объявление о концерте польской пианистки, я слышала её раньше, и готова хоть сейчас в Тамбов на концерт! — от нашего Коровайнова 12 вёрст до инжавинской ветки, и потом ещё ждать пересадки на кирсановский, — да нет, я шу-чу, я никогда же не брошу малыша.

А дальше — какой-то туманный угол, неразобранные чувства. Вслух сказать: она позвала. Но уже и сам придумал: да поехать навестить её в деревне, хоть и инжавинская ветка, хоть и на лошадах 12 вёрст.

Полковник очнулся:

— Слушайте, а почему вы на ней — раньше?.. Просто не женились? До всякого инженера?

Ну вот. Самое простое, что ты так цепко понимаешь, — а другому иди объясняй.

— Да Георгий Михалыч, да ведь... Да как же?

Неужели сам не понимает?

Бережно сдвинул к окну подносик с самоваром. Стаканы тоже. Банку с вареньем.

— Так если вам уже пятый десяток? Если жизненные взгляды ваши совершенно устоялись? Если основа вашей жизни — независимость?

И вдруг лишиться душевного простора, досуга? Ты всё время ей что-то должен? Ты — уже не ты?

Оба локтя — прочно на столик. Голову — между ладонями. И — в угадываемый четвертьсвет:

— Да как же можно быть уверенным, что из женитьбы получится? Разве характер женщины разгадаешь до женитьбы? И — что тогда?.. И если вот сирот вас осталось четверо, два брата, две сестры. Одна сестра больная, как говорится — с порчей. Другой — тоже никогда замуж не выйти. И младшего брата тоже ты в люди вытянул. И ради них-то четырнадцать лет уроки задавал, уроки спрашивал, удушиться можно, а какой выход? За сирот — я отвечаю? Надел и дом — неделёные, от отца. Не на казачке жениться — как же так? А на простой казачке — мне теперь?.. Да вот Петьку я усыновил, сейчас в реальном училище, славный будет казачок. Подрастёт — всю казацкую справу ему сгношить, боевого коня, вьюк, тринадцать предметов, это кроме амуници.

...И правда! правда! Приезжайте ко мне! Вот сюда, в глухой кирсановский угол, которого ни один писатель ещё не посетил и не опишет, и который ничем не прославится, а вы — приезжайте! Здесь Мокрая Панда — река овражная среди степи, особенное место. Фёдор Дмитрич, правда, приезжайте, вот сейчас, в сентябре! Я вас очень жду!

И как раз Фёдор мог поехать. Складывалось. Обещал.

Навстречу — испуганное письмо: сколько мы переписываемся, а как мало виделись! Как я боюсь!!..

Но — не поехал, задержался в станице. Были осенние работы по саду, помогал сёстрам. Да не так, чтобы вовсе помешало, вообще-то можно было усилиться успеть. Но опять — тот туманный угол, того прежнего неназванного поворота... Какая-то заминка, или размышление... Не поехал.

...А как я вас ждала!.. Мне казалось, вы везёте мне обновление всего мира! Тут был вечер один лунный, такой лунный, блестела река, шелестел лес, на склонах оврага спала деревня, — а я! такая молодая, покинутая, с новой жизнью на руках, а всё равно беззаботная, — бродила, бродила по двору и даже скакала на одной ноге и загадывала: вот если б сегодня приехал! Я бы вас повела лунной просекой по лесу, тараторила бы, смеялась, мы сели бы на траву, — да почему же вы не приехали?!.. Но вы не приехали — и настроение миновало. Пишу вам с удовольствием, а видеть больше не стремлюсь. Да и ничего хорошего из этого свидания не вышло бы.

Но уже! уже какая-то сила включилась, выше обеих волей. Уже катило их друг на друга, и ничто не могло помешать. Свидание отменилось, но тут же понеслись телеграммы: что он — успевает! но не в деревню — в Тамбов. И пусть она приедет в город!

...А как же сын? Я не могу его оставить! Мне трудно оставить!.. Я никогда его не оставляла!.. Еду! Еду!!

А разогрелась, а разгорелась, а раскалилась — после родов, пусть не твоих, — какой не бывала, ни в жизни, ни на карточках, — едва узнал, встретив её. И как же был бы глуп, не приехав!

С инженером? Это и не измена была, вот удивительно. Это — к нему же и был путь, такой кружной.

Так не помогли никакие осторожности, ни откладывание годами: всё равно швырнуло туда. И слушать радостно и страшно, как она, волосами, серьгами меча, над подушкой приподнявшись:

— Нет, ты ещё очень мало меня любишь! Ты ещё полюбишь меня сильнее!

О-о-о, не задушило бы! До сих пор чем удачна феина жизнь была вся — никогда не завяз, не дал себя стреножить. А вот — сносило, катило с откоса, не ухватиться, не задержаться.

— Почему ты мне никогда не приказал решительно: *иди за мной!*? Из-за этого всё...

В том и захват, что сколько уже от Тамбова — а всё рядом, и рядом, и даже ещё сильнее! Как тёмно-горячим брызнула — в лицо, в грудь, облила — и горело, не утихая. Вообще, после женщин чуть отвернёшься — зевнёшь, забудешь, а тут... Тем опасней поддаться. Как же так? С его опытом, с его разумом, с его возрастом — и так опрометчиво не уберечься? С этой — очень серьёзно, она — до души добирается, она — его всего хочет. Нет, что-то придумать. И — написать. Спасительное дело — написать. Завтра же, из Петербурга.

Приласкивалась, объясняла:

— Это слово — расхожее, им пользуются все и по пустякам. А бывает оно, а бывает она, Феденька, — не часто...

Как-нибудь так: да, я увлёкся тобой, но дело в том... но я тебе не сказал... у меня есть другая... «Другая» — это стена. От женщины ничем в мире нельзя загородиться, только другою женщиной.

Защититься — да. Но — и отдать её — грудь разрывает горячими крючьями. Под пятьдесят лет такая послана — как отдать?..

Всё реже говорил Федя вслух, потом и вовсе обеззвучили губы его. И — слышал ли ещё что-нибудь спутник, или дремал, — не отзывался. Может, и выручил бы Фёдора советом, но — не отзывался.

Кто катится с горы — у того мало времени, его бьёт головой, затылком, подбрасывает, подбрасывает, расшвыривает руки по воздуху, — а когда они придутся на камень, на корень, на стебель — хватайся! хотя б глазами не разобрав — хватайся! дальше — не будет, заборов — не будет, отлоги — не будет, ничто не спасёт!

А Воротынцев слышал из этой истории больше, чем склонен был и привык. Он невольно сманился от своего напряжённого строя мыслей — и слушал — и удивлялся.

Не — Феде, это был ещё один распространённый пример человека, напугавшего в простом вопросе женитьбы. А впрочем, уже

не было к нему снисходительной жалости, но слушать его было — страшновато.

Поразила — эта женщина. Как прыгала на одной ноге... Не приведи, конечно, Бог, с такую крученою связаться, но неужели так бывает? Такие — бывают? И если ещё с ребёнком чужим — и так бы притягивала? Вот эта жгучесть под бытейской коркой — она изумляла.

И вызывала зависть.

И глухое чувство упущенного.

*
* * *

*Ты раскинула печаль по плечам,
Ты пустила сухоту по животу.*

18

Вера Воротынцева была на четырнадцать лет моложе своего единственного брата, так что общего детства не было у них. Георгий кончил военное училище и ехал по назначению в полк, когда Веру лишь готовили в гимназию. В год его женитьбы она ещё не сняла гимназический передник. Она переехала в Петербург, когда Георгия уже вытолкнули из Академии в Вятку.

У них не было общего детства, и даже отец и мать запомнились их детским глазам разными: в детство Георгия — дружными, весёлыми, с ворохом надежд, с целою жизнью впереди, в детство Веры — печальными, постаревшими, разъединёнными. Разъединёнными — это тоскливей всего и очень рано почему-то понималось девочкой, хотя смысл остался загадкой для неё на всю жизнь. Надо было ей подрасти, чтоб оглянуться, сосчитать, размыслить: что её-то собственное рождение, сама она и должна была стать опорой семьи, и даже стала — но не надолго. Будь Вера возраста Георгия — она бы вникла и поняла, чего он и искать не догадывался по самозанятости: что ж это было между мамой и папой? Как будто не взрыв, не ссора, не раскол — но стали обособляться, разделять-

ся душевный мир того и другого, сосредоточиваться каждый отдельно. Как будто и поцелуи, как будто и ласковые обращения, но что-то из них ушло? — вероятно, им двоим очень заметно, однако не названо. Всё меньше они нуждаются друг во друге, опадают связи, и каждый уединён в своей покинутой горечи: как же это рассыпалось? неужели ничем не исправить? Но не выясняются причины, не высказываются упрёки, у обоих достаточно благородства, — а каждый безнадежно устаивается в своём.

И — распалось.

Так и Застружье — разное было в воспоминаниях брата и сестры: у него — счастливыми семейными наездами, всегда полное жизни, у неё — щемящее, полупустынное, с поседевшим грустным отцом, покинувшим московскую службу. В Застружье, таком же хилеющем, уединялся отец просторно тосковать — и одиноко, в замёте снегов, умер там.

Не было общего детства у Веры с Георгием, но вполне общей, неизменной, одинаковой в оба детства была их няня Поля — одна и та же Пелагея Степановна, от взрослого мальчика наезжавшая и вовсе уезжавшая в свою родную деревню, но тут родилась Вера — и всё милое нянино началось опять сначала. И это общее нянино осталось настолько одинаковым, общим у брата и сестры, как будто они выросли плечо о плечо. Легко, без двоенья, всегда в совпаденье вспоминалась им любая мелочь: как на окском высоком берегу стоит село Муратово — никогда ими не виданное, а видное всё до бора на обрыве, до былинки на выгоне, не тускней своего Застружья. И как там няня пряла отменный лён — расстилала на стлище, а затем чесала кудель да пряла. И как её младший брат был конокрад, за то забитый башкирами, а старший — лотовой, не такой знаменитый, как дядя их, но от московской пристани до Нижнего нигде никогда не посадил на мель каравана барж. Из их села от дедов и прадедов многие ходили по Оке лотовыми, тем и славилось Муратово, и сама няня Поля смолоду, со щеками красными, как яблоки, с весенней воды и до осенней ходила на братней барже, готовила на всех, обстирывала и пела им. Она и Георгию пела, потом и Вере — по праздникам духовное, по будням трогательное или весёлое, через четырнадцать лет всё те же песни.

Замечательно это родство — не кровное и даже не молочное, но родство через воспитание. В сознание детей вступала жизнь этой крестьянки почти как своя родословная, часто — плотней

и ярче, чем слышанное от родителей. Знали её в селе как работницу, скромницу, и хорошие женихи её брали — только к себе в дом: никому не хотелось вступать в её бедный и тянуть их со старухой и племянницами, конокрадскими детьми. Но брат-лотовой привёл ей с реки доброго жениха Ивана, не муратовского, и два счастливых года они прожили; и сын родился, и только то было огорчение, что крестил его поп Архипом, как ни отплакивала Поля, очень уж ей не нравилось.

Не ровно ли рассказывала няня или не ровно запоминалось, но выходило вперёд и в памяти заклинилось на всю жизнь будто совсем и незначашее: как няня Поля носила своего Архипушку к отцу на покос, там на заливном лугу оставались от разлива озерка-бакáлды, в них — рыбы большие, как в ловушки попаденные. Архипушка сидел на камне — и всё на́ воду, всё на воду смотрел. Предчувствие ли, угроза ли в том была, но особенно выговаривала няня «всё на воду», и особенно сжималось в детях.

А потом Ивана забрали в солдаты, почему-то неурочно, прежде льгота ложилась на него. И войны никакой не было, а провозжала плакала: навсегда. Год писал, обещали ему даже унтера, коль останется на сверхсрочную. Потом письма прервались, потом пришло извещение — и будто такими словами, только так говорила няня: «Иван Тихонов не́ жив». Ничего не пояснили, так Поля и не узнала никогда почему, а — не жив.

В ту же осень Архипушка долго ходил по воде, пришёл весь мокр, зуб мимо зуба. Дала ему Поля горячего молока, положила на печку, но к утру разболелось горло, что говорить не мог. И схоронила. И тут же с последним пароходом уехала в Муром, наниматься в люди.

Отмала чаще маминого лица виделось детям лицо няни. И даже образок помнился больше не свой над кроватью, но над кроватью няни: сторбленный старенький Николай Угодник с котомкой за плечами идёт по дремучему лесу. И всякое *странствие* именно в таком виде представилось детям. (Писал Георгий: в Грюнфлиссском лесу узнал он тот самый лес с няниной иконки.) Ещё висело подле образка на шёлковой ленточке фарфоровое яичко, а если на свет через дырочку в него заглянуть, то открывался Христос в Гефсиманском саду. Очень понятно рассказывала няня об Иуде, о Страстях Господних, и упрашивала маму отпустить ребёнка в церковь почаще, и на Двенадцать Евангелий не-

пременно (сами папа и мама в церковь никогда не ходили). И своего Архипушку твёрдо верила няня встретить в будущей жизни. Не только понятная, но простая до смешного была у няни Поли вера. Варку яиц она мерила молитвами: всмятку — два раза Отче наш, три раза Богородицу. Как-то в детской, на вечерней молитве, отдала земной поклон и при том заглянулось под верину кроватку. Прервав молитву, озаботилась: «Гляди-ка, горшочек я тебе на ночь не поставила!» И с того же полуслова молилась дальше. Была ли слабость в такой простоте веры? или, напротив, сила? Для няни Поли, чем старше, все мелочи жизни проходили перед ликом Бога и ангелов, и не было каких стыдиться.

Георгий в своей подвижности, в мальчишеском рыске по миру мало задержался на детской вере: что-то наслоилось в основанье души, а повыше сдувало ветром действий, бросков и сражений. У сестры же этот нянин мирок, эта простосердечная постройка так и сохранилась, так и носилась в груди. Ей-то досталось много больше брата прочесть книг, натекало в голову много противоположных теорий, течений, но тихий тёплый нянин заклад оставался ими всеми не уязвим, как будто даже им не сокосновенен.

Сроднясь с семьёю Воротынцевых, очень обижалась няня, если её называли «прислужгой» (хотя, в отлику от городской горничной, не звала папу с мамой по имени-отчеству, а только «барин» да «барыня»). Мать, когда сердилась, говорила подросткей дочери, что Поля глупа. Веру это огорчало, она не видела так. С терпением и сочувствием читала она няне письма из деревни с длиннейшим перечислением поклонов и приветствий и под нянину диктовку писала такие же в ответ. Няня и не живя в родной деревне — жила в ней. Из нажитого, из подарков (каждое Рождество, Пасху, в день Георгия Победоносца и на Веру-Надежду получала она от каждого из родителей по золотому), накупала и слала подарки своим, хотя как будто и не осталось там никого роднее племянниц. Её помяник, подаваемый в церкви, содержал три-четыре дюжины имён, как образованная женщина никогда не напишет, — совсем другой охват сродства и попечения. От повзрослевших детей иногда отпрашивалась няня Поля съездить в село. Долго собиралась, навязывала тюки подарков, брала извозчика до пристани, но не садилась на пароход, как все, а на дебаркадере в каморке сменных лоцманов ночевала ещё несколько ночей: как в юности, ставила им самовар, готовила обед. Подплывал же муратовский лотовой — с ним отбывала.

Папа и мама умерли, Георгий был как вырванный, перекасти, а незамужняя Вера так и осталась с нянею. Перед войной вместе с нею, беззубой, а всё певучеголосой, струнулись из Москвы, и повезли воротынцевскую старую мебель в Петербург, где устроилась Вера библиографом Публичной библиотеки. И что ещё можно было назвать домом Воротынцевых (в согласии с сестрою брат охотно тоже называл, только от жены тайком), то и были теперь они с нянею в трёх комнатках на третьем этаже, на углу Итальянской и Караванной, у Михайловского манежа. В одни окна наискосок — Фонтанка, в другие — площадь с памятником, а летом, если высунуться с подоконника, то по изломанной Караванной в конце проглядывает Аничков дворец. Эту квартиру Вера так и нашла, чтобы близко ходить в библиотеку, всего десять минут приятной прогулки: или обогнуть по Фонтанке, чтобы вдоль воды, а потом по Невскому; или по Караванной; но обычно шла Вера мимо Благородного Соборания, сворачивала на Екатерининскую, два шага — и уже у себя, под полусумрачными сводами Публичной. И меж вечно тихих полок, глушащих шаги, таким же вечно тихим шагом, тоже узкая, тоже в сером или тёмно-коричневом, уйти в уголок за свой стол (окно на Александринку), и по два часа без единого движения, не поведя плечами, только пальцами книгу перелистывать. Никто не внушал Вере, а природны были ей безшумные, нерезкие, экономные движения. Так же и почерк (свой, кроме обязательного библиотечного) был у неё из разборчивых стянутых буковок, наклонённых не более, чем наклоняешь голову при письме, бережливый, ни лишнего провода пером, — писать-то приходится больше, чем говорить. Так и текла верина жизнь — днями, а то и вечерами, и даже целые недели складывались так, что лишь этот уличный отрезок она прошагивала четырежды или шесть раз в день, остального Петербурга даже не видя.

Живя за нянею, не испытала, почти не замечала она и того нового, ухудшенного Петрограда, каким он стал особенно к этой осени. В кварталах, где она ходила, хвостов не было, а недостат на столе Вера тоже не замечала бы рассеянным взглядом и ртом, если бы няня не охала, не ужасалась настойчиво: что сколько она себя помнит, и в Муроме и в Москве, и в ту войну и в бунтовское время, — повсюду купи, что тебе любо, и ступай, — а чтобы друг за дружкой, в спины уставясь, час и другой, да, гляди, под дождиком? да ещё не всё надобное и купить? За пшеничными булками

поставив, за молоком поставив, да оно всего дорожей, хорошо не дети у нас. (Чего хорошего! куда б светлей с детьми! да что-то Верочку, ангела, не берут.) Сахарок уже был совсем облизнись, бери конфеты или мёд, а теперь, сла-Богу, по талонам. Когда пришла телеграмма о егоркином приезде, няня и всплеснулась, и заплакала, и зардовалась, но пуще того и поперёд того заколотилась: Царица Небесная, муки-то ситной горсть, не купить, а шанежки непременно испечь ведь! — Ну, пеки ржаные. — Нет уж, чего скажешь! Аржаного он и в окопах наглотался!

Брат! С начала войны ни разу не виделись. И писал нечасто. Но даже в солдатских полузакрытках, даже в нескольких фразах оставалось всегда искреннее, дружеское, незатаённое, обоим несомненное: что ни даль, ни время не сделают их чужими. И отзывно к этому чувству и с двойным тем же чувством своим, Вера никогда не обижалась и не ждала ответов, а сама, в месяц раз или два, обстоятельно писала, как рассказывала. О няне, о себе — мало было что, не менялось, зато — о Петербурге, о театрах, о диспутах, общественной бурной жизни, и о многих известных личностях, не минуящих Публичную библиотеку, а в ней — библиографа Веру Михайловну. Вера гордилась знакомством со многими из них, запоминала их суждения, обрывки бесед, сравнивала или оспаривала — и с большой охотой делала это в письмах к брату. Ему негде почерпнуть, а полезно и всегда нужно, он хотел знать пошире, но как-нибудь на лету ухватить, не теряя времени и не садясь штудировать. Тем более в окопах в пустой, тоскливый час такие письма с частицей петербургской жизни не могли не быть ему интересны. И этой осенью, уже предчувствуя свою поездку, он тоже черкнул ей из Румынии, что, если будет в Петрограде — хотел бы познакомиться с кем-нибудь интересным из деятелей, на её усмотрение.

И она подготовила ему такую встречу. И после живых ему писем Вера сегодня, идя встречать брата на Николаевский вокзал, не ожидала испытать ни минуты стеснения, должна была встреча сразу быть простой, как и неотвычной. Если...

Если только он придет без жены. По телеграмме неясно.

С Алиною Вера виделась очень редко, и не переписывались они совсем, кроме нескольких в год поздравительных. Никакой ссоры между ними не было (как, впрочем, и дружбы, а Георгий вечно мечтал их сдружить, не соглашался на рассуждение), но присутствие Алины сейчас охолодит, напряжёт, испортит всю

встречу. Даже не отдельно Алина испортит, но их качество мужа и жены вместе. При нём Алина лучше, не так резка, и помолчит. Но и Георгий при Алине — всегда не тот, хотя, кажется, о том не знает сам, хотя, кажется, и не оглядывается на её суждения, и не подтягивается к её контролю, но сразу: смеётся — не так беззаботно, рассказывает — не так увлечённо, и всё, что высказывает, — мельче, чем ждёшь, чем он умеет.

Георгий мог нестеснённо жаловаться сестре, что голоден или не выспался, обезденежел или пал духом, — но никогда не открывался в своём семейном. Во всех других областях жизни друзья и близкие способны остеречь, посоветовать, помочь, и сам человек незатруднённо спрашивает их. Но в этой заколдованной запретен совет, не приняты предостережения, нетактичны попытки что-то объяснить человеку о нём самом. В этой единственной области человек и сам себя гордо обрекает, и все окружающие обрекают его обходиться всегда лишь своим недовидением и своими неуверенными движениями — как игрока в «опанаса» с завязанными глазами. И какая ты ни сестра любимая, хоть за ухо тебя потяни, хоть чёлку натрепи, а суждений твоих об *этом* — не спрашивают, не ждут.

Гимназисткой услышав о женитьбе брата, Вера радостно взволновалась, она рвалась скорее видеть Алину, и полюбить как старшую сестру, — уж если мой, такой, брат выбрал — должна быть всех милей!

Но с первых встреч — откинулась, и даже растерялась. Что-то не так, что-то не то, а даже сразу не назовёшь.

Как-то позже сказала ему: ведь женитьба — безповоротнее перевода из полка в полк, безповоротнее даже может быть военных команд на поле боя, — он очень смеялся...

И своего брата единственного, яркого, умного, смелого, вот так отдать — чужой, придуманной? да в любовь ли? И хотя б твой неусыпчивый взгляд уже видел потом всё отчётливо — а братовы глаза не видят. А — мама?

Угадала девочка, что маме тоже не нравилась Алина. Но мама и раньше того, ещё не тридцатилетнему капитану, не бралась ничего советовать такому решительному сыну: Егорка с годовалого возраста уже всегда точно знал, чего он хочет, чего не хочет, никакой игрушкой не отвлечь.

И потом — такт, воспитание. Мама — не могла сказать.

А мужского влияния вовсе не было, воля отца не чувствовалась никогда у них, и советы его не звучали.

Как это устроено? Почему ж Егор сам не видит — ведь смотрит ближе всех, дольше всех, пристальней всех — и не видит?!

А в каждом соединении двоих — свои тайны. Ты видишь внешнее, и оно плохо, но может быть внутри между ними, напротив, отлично? И если это само держится год, три, пять, вот уже десять, — то значит и хорошо, не тебе судить.

Да хоть и судить, что толку? Венчанный брак.

— Не опаздывает? Благодарю вас.

Раскрыла зонтик, хотя дождь не шёл. Нависал, но не шёл. Петербургское.

Не девушке судить о семейной жизни — но и как же не судить, наблюдая, наблюдая? Когда подлинно счастливо, так видно всем, — как у Шингарёвых. Воплощённое счастье, без биения тонов, всё в совпадении. И пятеро детей — как будто не груз, а упятерённая радость, поддающая сил. И через своих пятерых — обширное сердце Андрея Ивановича ко всем детям, где б ни увидел, где б ни знал, как и все шингарёвские чувства — обширные, щедрые.

А у Михаила Дмитрича — не так же ли наглядно? С его ровным, но и скорбным светом. Его силы никогда не могли проявиться во всю полноту — и видно же отчего: от женитьбы (связи), как железной сетки, накинутой на него.

Самонакинутой. Такой крупный, здоровый, естественный человек — и полубезумная эфироманка. Ещё и с девочкой от кого-то. И — любит?.. И любит.

Как судить, сама не перейдя порога?..

А перейдя — уже будет поздно.

Но пока видишь таких, как брат или Михаил Дмитрич, нельзя не верить, что и других же таких по земле насеяно. И как можно «лишь бы», «а, как-нибудь!» — отдать свою жизнь? В раз один — навсегда? Не настоящему?

Нет, дождь не пошёл. Со сложенным зонтиком, с сумочкой на запястьи — вдоль перрона.

«Лишь бы» — это последнее малодушие.

Если знаешь в себе сердце собранное, как буквы почерка.

Такое место в жизни у неё, так повезло: работать в лучшей русской библиотеке, для лучших русских читателей — думцев, пуб-

лицистов, писателей, учёных, инженеров. Лучшая судьба женщины — тихо работать для тех, кто *ведёт*.

Но в лесу, в пустыне, в пещере — где угодно легче держаться, чем в полноте сочувствующих людей. С тобой консультируются, рассыпаются в благодарностях, принимают каталожные карточки из рук, а в глазах так и чудится сожальный приговор. Да может быть вовсе нет, но чудится, что про себя отсчитывают, как в тебе молотками гулками: двадцать четыре! двадцать пять! двадцать шесть! И никому не объяснишь, не топнешь: *сама* не иду! отстаньте!

И даже с братом черта: об *этом* — никогда вслух. Даже с братом нельзя, сцепившись руками: брат! поддержи, убеди, подтверди! Ведь стоят же в осаде?!

Паровоз. И белый парок, резко заметный в сером дне. Гудит о подходе.

Ожидая своей предназначенной грозной тяжести, счастливо стонут перед локомотивом гибкие крепкие рельсы.

Сколько ни стой, как ни угадывай, а в последние секунды к нужному вагону всё равно полубежком. А взглядом — быстрее, по чередке окон — вот он, вот он! — в вагонном проходе на зеркальное стекло упав ладонями поднятыми и ими же хлопая по стеклу — уже видит! смеётся! Бородка как будто длинней и гуще. И загорел-обветрел, не петербургская кожа.

Один?.. Кажется, один. Как хорошо!

Из вагона выходят люди медленно. Корзины какие-то, большая бутылка в оплётке.

То ли брат! — малый чемодан в левой руке, правая свободна честь отдавать, и такой же прямой, в движениях быстрый, лёгкий, — поцеловались! Сошлась с его бородой пожестевшей и не отрывалась. Обхваченная рукой и чемоданом.

Да разглядеть тебя, брат!! Да целых же три года!.. Сколько раз мог быть убит, ранен, — а ведь нет, не врал?

— Серьёзно — ни разу, правда. Там заденет, здесь, по пустякам.

Такой же поворотливый, а как будто кора на нём. Коричневая твёрдость войны.

— И всегда будешь такой?

— До генерала, — смеётся. — Значит, ещё долго.

Гладил — по шапочке, на висок, по щеке, плечу.

Как и ждала: от самой вагонной ступеньки ни натянутости, ни незнания, будто и видятся часто. Пошли плотно под руку.

— Ну как няня? Сорок два колена родословной по Матфею — так и не одолела? Так же в книгу смотрит, а читает по памяти?

— Да, только теперь через очки. И — к телефону сама подходит. И с большой важностью умеет заказать барышне номер. Сегодня тебе шанежек напекла. А ты-то как? А — Москва как? — (С усилием:) — Алина?

— Я дней на несколько.

— Это что ж, рукоять золотая, Егорка? Что тут написано? «За храбрость»?

— Георгиевское.

Брат — прежний: няня — хорошо, шанежки — хорошо, но расслаживаться сейчас не будем, день — понедельник. Письмо Гучкова Алексееву, не слышали про такое?

— Давно! Да весь Петербург читает. Да все эти списки через нас и проходят. И письмо Челнокова к Родзянке, и...

— Через библиотеку? Надо же! И имеют успех?

— Да какой! До дыр читают. Целые рукописи даже — о продовольственном кризисе, о войне... Разные *взгляды*... Куда попадут в учреждения — там размножаются. На пишущих машинках, на ротаторах. На гектографах. Любители — от руки переписывают. Нам теперь цензура нипочём...

Поражён. Головой трясёт.

В живой, мелькающей суете вокзала Воротынцев, глядя на строго-милую лучистую сестрёнку, чья сборчатая коричневая шапочка набекрень была ему до носа, вдруг испытал — праздник приезда! свободу движений! свободу распоряжаться собою! И сколько можно повидать за эти дни! А пока не упустить:

— Скажи, тут на вокзале будка телефонная — где?

Все решения принять уже на вокзале, не ошибиться в направлении, куда ехать сначала.

Зашёл, вызывает.

— Могу я Александра Иваныча?.. А сегодня позже?.. И завтра не будет?.. Но вообще-то он здесь?.. Спасибо...

Озаботился.

— Нет, Веренька, домой я сейчас не пойду, — сузил светлые твёрдые глаза, соображая. — Мне поручений навешали, Главный штаб. Да ведь и тебе небось на службу?

Когда ей не надо? Она и сейчас еле ушла.

— Приду к обеду. Когда?

— А вечером? Ты всё по своей программе? Или немножко и по моей?

— А что бы ты?..

Наглядываясь на брата, сама с обычной скромной тихостью:

— Ты ведь хотел с кем-нибудь знакомиться? Я о твоём приезде сказала Андрею Ивановичу Шингарёву. И он захотел тебя пови-
дать. Просил посетить.

— Шингарёв? — удивился и задумался Георгий. — Тот извест-
ный кадет? Член Думы?

Не погоняя речь нетерпеливой мыслью, как брат, но с той же
неуклонностью:

— Сказать о Шингарёве «кадет» — ничего не сказать. Он —
единственный в России. Наше чудо. И любимец Петербурга.

Руку в тёмной лайковой перчатке положила на шинельный от-
ворот, как и не коснулась:

— Ты увидишь, это совсем даже не политик, нет! Это — чело-
век, вот нарочно сделанный по всем образцам русской литера-
туры.

— Шингарёв? — вспоминал брат. — Это который перед вой-
ной выступал против военного бюджета?

— Ну, сейчас совсем другое! Теперь он даже председатель дум-
ской военной комиссии. И — в Особом Совещании по обороне. Он
очень старается следить, что на фронте.

— Это хорошо. Ну, зайдём кофейку выпить, что ли?

Зашли в буфет, сели.

— Знаешь, этот горящий идеал? С ранней юности уже *вино-
вен* перед народом. Блестяще кончил естественный факультет,
оставляли на кафедре ботаники — ушёл искать *правду жизни*. По-
том кончил и медицинский: считал, что именно врач лучше все-
го может сближать народ и интеллигенцию. Знаешь эту интелли-
гентскую крайность: ничего не стóят ни наука, ни искусство, ни
политика, если не служат народу?

Да какая же крайность? — выражало лицо брата, с напо-
рым наклоном. И военное дело — тоже ведь?..

— Пошёл врачом, без земского жалованья даже. От дифте-
ритного ребёнка едва не умер. Собрал статистику «Вымирающая
деревня» — жуткая книга. Два издания, 901-го года, — и до сих
пор её спрашивают. Он просто знаешь кто? Народный радетель.

И вот — даже националисты так одобрили его, что сняли своего кандидата, и председательство в военной комиссии уступили Шингарёву. А просто, понимаешь, он любит Россию и любит людей, и все это чувствуют, даже в Думе. Враги кадетов ненавидят Милюкова, Родичева, кого хочешь, только не его.

— А зачем ему я? Меня он — зачем?.. А сколько ему лет?

— Скажу точно... Сорок семь.

— Ну, раз старше меня, то иду.

— Честно говоря, он про тебя знает, что ты — опальный, за правду пострадал.

— Ну вот! Рассказала?

Что ж, пока нет Гучкова — отлично и к Шингарёву. Всё равно начинать Петербург... Разным духом надо подышать, это впрок.

— А как: с глазу на глаз? Или званный вечер?

— Да какой званный вечер в понедельник? Девиз: не жить лучше народа. Никакой никогда прислуги. Бутерброды если будут — то с чёрным хлебом, не с ситником. Да картошка.

— А ты со мной?

— Звали.

Уже на Знаменской площади колотнуло сердце: тоже своё, не откинешь. А повернули на Невский — эта прямь! эта даль! даже в пасмури свинцовой под аспидным небом. И, неясно, шпиль адмиралтейский — как награда в дальнем пути.

Вот так, далеко и прямо, перед Воротынцевым открывалось теперь: действовать!

19'

(Общество, правительство и царь — 1915)

С первых дней этой войны кадеты попали в неожиданное и сложное положение. Даже не в днях первых, а в самых первых часах всеобщей мобилизации во всенародном и даже общественном настроении властно проступил тот самый «патриотизм», которым до сих пор бранились и о котором даже думать забыли как о реальности. И выступить против этой войны, как выступали против Японской, — сразу оказалось невозможным. И невозможно стало вообще поносить правительство, как делали всё время, — потому что оно внезапно оказалось популярным. И кадетским лидерам оставалось определить:

Да будут забыты внутренние распри. Да укрепится единение царя с народом.

Не возомнить, что кадеты полюбили царя, но уже формировался у них пронизательный, дальний расчёт: вступив в войну в союзе с Англией и Францией, русский император сам себя отдал в руки великих западных демократий, и будущая победа будет — уже не царя, но — свободной русской общественности. Довольно быстро кадеты сообразили и даже нашли вкус в патриотизме: не в примитивном дикарском смысле — к России как обиталищу русского духа, но — к государству, крепко сколоченному, твердо ставшему, в котором есть где пожить и есть чем поуправлять, войдя в наследство.

Отложим наши споры... Удержать положение России в ряду мировых держав...

Неяркий, но в своих средних решениях упорнолобый, Милоков протолкнёт через всю войну:

Константинополь и достаточная часть примыкающих берегов, Hinterland... Ключи от Босфора и Дарданелл, Олегов щит на вратах Царьграда — вот *заветные мечты русско-го народа* во все времена его бытия.

Ну и добавочно:

Защита культуры и духовных ценностей от варварского набега германского милитаризма. Эта война — во имя уничтожения всякой войны.

И Милоков с Пуришкевичем в Думе публично обменялись рукопожатием.

Но так безотказно поддержав свою ненавидимую отечественную власть, в какое же кадеты попали положение? — идти в хвосте за правительством? Немыслимо! К такой роли они не привыкли! Значит, у них не было теперь иного выхода, как опередить правительство в патриотизме и даже в самой борьбе с германским милитаризмом. И даже оттеснять правительство от многого, что связано с войной (не от ведения военных действий, конечно), и тем временем захватывать повсюду как можно больше видных мест.

В соревновании перехватывать себе отрасли вокруг войны помогали Земский Союз и новосозданный Союз городов (вскоре почти слитные под именем Земгора). В чрезвычайной атмосфере первых дней войны они получили у Государя разрешение помогать больным и раненым воинам на государственные средства — и при этом оказались не связаны никакими формальностями в расходовании казённых денег, ни отчётами, ни сметами, ни штатами, ни размерами окладов, — ибо не потерпели допустить государственных контролёров из общественной гордости. Они необузданно платили своим служащим в 3—4 раза больше, чем на таких же должностях у казны. А так как работа в Союзах ещё и освобождала от военной службы, то они быстро и беспрепятственно набирали численность. Ещё Союзы сами выбирали и области работы, дающие наибольший внешний эффект и симпатии общества,

а казне невыгодно доставалось обслуживать всё подряд. А правительство не смело препятствовать, уже так довольное общественной поддержкой.

И ещё не все были исчерпаны у кадетов возможности, как постепенно подрывать престиж правительства. Например, им неплохо удалось превратить в издевательство сухой закон. В первые дни войны, создавая очищенную народную атмосферу, Государь распорядился отменить (государственную монопольную) продажу водки в России. Это собрало правительству всенародное сочувствие. И тогда кадеты публично предложили: а пусть правительство запретит и всем частным торговцам всякую продажу всякого вина, даже и слабого виноградного. Расчёт был: если правительство откажется, значит, оно покажет, что с водкой лицемерило, но хочет спаивать другими средствами, увеличить доход с акциза. Правительство — клюнуло приманку и согласилось, был провозглашён запрет всеобщий. Но так создалась, выяснилась с месяцами всеобщая нелепость: торговля вином лишь была загнана в тайную продажу, озлобляя многих.

Такие манёвры то и дело представлялись кадетам, иногда местные, и они их нигде не упустили.

И всё же несколько месяцев вынужденная лояльность кадетов была паразитерна — правда, тем облегчена, что не было в стране ни студенческого движения, ни социалистического, все сидели тихо, кроме единственной большевицкой фракции Думы. И когда в феврале 1916 её судили (по обвинениям совсем пустяшным: составление прокламаций — «Смести с лица земли царское самодержавие! за горло его и колено ему в грудь!»), «У нас нет врагов по ту сторону границы», для России благо, если победит Германия, шифры, фальшивые паспорта и подготовка вооружённого восстания) — кадеты удержались от своего постоянного долга влево и не вступились за судимых депутатов.

И, как всё-таки принято в людском общении, имели они право за такую долгую лояльность ожидать широких ответных уступок от власти: укрепления Думы, благожелательного акта евреям, амнистии революционерам. Но не последовала амнистия. Кадетского подвига власть не вознаградила.

А так далеко вклинились между российским обществом и российской властью — раздор, недоверие, подозрение, хитрость, в таком взаимном разладе они вступили в войну, что, даже оба теперь желая победы, подозревали другое в пораженчестве.

Что война сразу потекла дурно — долго не ведали думские круги, заставленные щитами сводок о наших блестящих победах в Галиции. И когда Гучков первый, ещё осенью 1914, приехал из Действующей армии и привёз преувеличенные вести, что всё разваливается, что война «уже почти проиграна», — вечно оппозиционные кадеты не поверили этому разгорячённому бретёру, постоянному хвастуну в знании армейских дел. Только к январю 1915 через бюджетную комиссию Думы стали они что-то узнавать и понимать о недостатках со снарядами и снаб-

жением. Но и на закрытых заседаниях комиссий жизнерадостный, упоённый собой Сухомлинов напевал так же несмущённо, как всё в армии хорошо. В январе 1915 на кадетских закрытых заседаниях уже было решено, что конфликт с правительством возобновляется. Но на открытой сессии Думы — насмешно короткой, трёхдневной, чем выражало правительство, что не нуждается в Думе, — Милоков сохранял прежде взятую линию: хотя правительство и пользуется перемирием с оппозицией, чтоб укрепиться во внутренней политике, — а кадеты не вступят в публичную борьбу: не подрывать бодрость армии, не давать пищу злорадству противника.

Это был уже не тот Милоков, приглашавший студентов к террору (с тех пор и ему ведь грозили покушениями, а это совсем неприятно) и примирявший конституцию с революцией, — погосударственел он и сильно поосторожнел. Да и нехотно было идти на штурм власти, когда так не молчали студенты и так пугливо социалисты. Кадетам приходилось занимать первый ряд?

Коротка была январская сессия, но Дума ещё и не настаивала на долгих: при длящемся перемирии с правительством думцы сами не знали, как вести себя. Однако в мае 1915 вернулся с фронта председатель Думы Родзянко и нарисовал уже такую картину грандиозного отступления — едва ль не до Западного Буга! — что стало невозможно дальше молчать: правительство явно губило Россию — и не заговорили это был? Нарочно отдать страну под немецкий сапог, чтобы подавить общественность? Один за другим тут сдали и Перемышль (взятие которого праздновали так недавно и так необдуманно, с поездкою самого Государя), и пресловутый, столь отпразднованный Львов. Ещё как бы в насмешку возглавлял правительство не кто иной, как двубородый царедворец Горемыкин — ослабелый 75-летний старик, он никак не умирал, непотопимый статс-секретарь: он был министром внутренних дел ещё до Столыпина, до Плеве, до Сипягина, — но тех всех убили подряд, а он, чередуясь с обречёнными, не попал ни под одну революционную бомбу — хотя разогнал Первую Думу. И теперь, как старая шуба, вынутая из нафталина, снова был в употреблении. Всех поражало, что во главе правительства в такое грозное время — дряхлый старик.

Современникам не бывает известна тайная подкладка правительственных перемещений. Прошёл, правда, в обществе слух, что министру земледелия Кривошеину не раз предлагали быть министром-председателем, и как будто многие были к тому данные, и в кабинете он состоял уже семь лет, дольше всех, — а вот почему-то не он.

И действительно, это было собственное решение Кривошеина — не принять место премьера, предложенное ему уже не раз. И даже к этой проблеме — единогласного кабинета, он имел касательство самое внутреннее и давнее: это он был автором проницательной докладной записки Государю летом 1905 года, ещё до взрыва революции: в русском правительстве все министры рассогласованы, каждый из них подчиня-

ется непосредственно царю и на короткое время после доклада как бы выражает высочайшую волю и тем менее считается со своими коллегами. Это напоминает состояние правительства Людовика XVI в момент созыва Генеральных Штатов. Между тем созываемой Думе должна быть противопоставлена сильная объединённая власть, и недопустима оппозиция правительству в нём самом. Тень революционной Франции произвела впечатление на Государя, он чуток был к истории, и он хотел это условие включить в Основные Законы 1906 года — однако снова колебнулся, отговаривали, не включили, — и правительство поплыло дальше без неотклонимого регламента. (Да если правительство будет жёстко объединено — то не оказывался ли самодержец в стороне?..)

В кругу русских государственных людей Кривошеин был фигурой выдающейся. Не принадлежа к высоким ветвям и не имея высоких знакомств, всем своим восхождением он был обязан лишь собственным талантам и усилиям. Но совпадая с другими в погоне за успехом, болезненным переживании личных неудач, он отличался от них большим политическим смыслом, жаждой делать крупные дела, — плодородный государственный тип. Вместе с тем он и знал пределы своего возможного взлёта: у него не было столыпинской воли творить Историю, стать вождем. И так, при его осмотрительности, тонком чутье, он избегал занять самое первое место (да оно и стягивает людскую зависть и ненависть), но избрал находиться близко к нему, чтобы сохранять преимущества реальной власти. Его характер был — направлять события, но не брать полной ответственности за них, не имея уверенности в полной удаче, да ещё зная ненадёжность царского характера. Кривошеин имел поразительную чуткость угадывать благовременность шагов и действий. Он слыл устойчивым консерватором, был лично хорош с бюрократией, с придворными кругами, с каждым, кто становился влиятельным, даже стал близок царской чете, мил императрице (через русские кустарные промыслы), доверенный советчик царя (и это он написал возвышенный царский манифест об объявлении германской войны), — но и, когда-то верный сподвижник ненавистного обществу Столыпина, с годами всё более приятен и приемлем для общества, а с круглым военравным московским купечеством так и прямо связан через жену, Морозову (одновременно и обезпечен денежно всегда). Он был готов и к Столыпину, с 1896 года уже возглавляя Переселенческое управление, и к его земельной реформе (он раньше Столыпина уже работал в кругу этих проблем, но не имел волевого решения избрать спорящую сторону), и после смерти Столыпина много лет честно дорабатывал и реформу общины, и укрепление земледелия и землеустройства, и переселенчество, и довёл их за зримый победный перевал, — но при этом широко и доверчиво использовал общественную самодеятельную помощь, в земстве доверял «третьему элементу», и тем благорасположил общество, особенно же своим небольшим киевским тостом в 1913 году:

В таком огромном государстве, как Россия, нельзя всем управлять из одного центра, необходимо призвать на по-

мощь местные общественные силы и в их распоряжение предоставить материальные средства. Я считаю, что отечество наше лишь в том случае может достигнуть благоденствия, если не будет больше разделения на пагубное «мы» и «они», разумея под этим правительство и общество, а будут говорить просто «мы» — правительство и общество вместе.

Он искал выход из конфликта, действительно основного для России с XIX на XX век: как прорвать органическое взаимное непонимание правительства и общества? Он решался стать посредником между ними. (Впрочем, кадетская «Речь» увидела в этом призыве бессилие и капитуляцию правительства. И министр-председатель Коковцов тоже выговаривал за него как за капитуляцию.) Ещё умел Кривошеин, 7 лет министром, сохранять лучшие отношения с Думой, через личные знакомства с влиятельными депутатами, и получать кредиты для земледелия, — и ни разу не выступить в самой Думе: в таком бы выступлении пришлось бы чётко формулировать взгляды и действия, а значит не угодить либо обществу, либо Верховной власти. А Кривошеин достигал невозможного: одновременного доверия и Государя и Государственной Думы!

Весть об убийстве Столыпина застала Кривошеина в Крыму, на даче. Его положение в кабинете было уже настолько видным, что он мог теперь ждать предложения занять пост премьеря. Но — не хотел бы его принять. Однако в тот момент и отказаться было крайне неудобно: это выглядело бы как боязнь террористов. А Государь как раз ехал в Крым! Кривошеин же поспешил разминуться с ним, умчавшись в Киев на похороны.

Но то же самое увенчание карьеры было предложено ему Государем в Ливадии через два года — и Кривошеин уже открыто отказался, сославшись на болезнь сердца, что придётся публично выступать, а он слишком волнуется во время выступлений. Роковую черту высшей власти он переступить не посмел, у него не хватало дерзновения. А между тем уже становилось тесно ему в кабинете под рукой сухого Коковцова, и к тому же Коковцов, как министр финансов, более всего заинтересованный не в развитии производительных сил страны, но в накоплении мёртвого золотого запаса, отказывался широко кредитовать развитие земледелия и землеустройства («такая бережливость разорительнее самых безрассудных трат», — говорил Кривошеин). Чтобы сменить финансовый склероз развитием, Кривошеину же было и необходимо сменить Коковцова. И это тоже ему удалось, заманеврировал закулисно. Но стать самому премьером — снова отказался Кривошеин и предложил старика Горемыкина, с которым был в наилучших отношениях ещё с давнего времени, тот не мешал Кривошеину вести власть в кабинете реально, а если понадобится — то старик и охотно уступит пост премьеря. (Настоящей власти после Столыпина никому не дадут, — объяснял Кривошеин близким, — при ревливой подозрительности Госу-

даря премьеру достаётся больше ответственности, чем власти. А Коковцов, почти повторяя Столыпина: «В России первому министру опереться не на кого. Его жалуют, пока он не выдвигается слишком определённо в общественном мнении и не играет роль действительного правителя».) Вот такой длинной скрытой историей объяснялось, что в начале рокового 1914 дряхлый уступчивый Горемыкин возглавил правительство цветущей могучей России.

В этом правительстве Кривошеин и состоял фактическим премьером, и в конце 1914 ещё усилил свои позиции, введя в министры просвещения либерального земца графа Игнатъева, своего сторонника. (Царь, исключительно памятный на лица и встречи, согласился охотно: он помнил, как 21 год назад граф Игнатъев, унтером преображенцев, был отличным запевалой после утомительных манёвров. Как вскоре затем и князь Шаховской был назначен министром торговли-промышленности при благодарной государевой памяти: как он в стольпинском сентябре благоустроил речную поездку Государя из Киева в Чернигов по плохосудоходной Десне, а в май 300-летия династии — чудесную поездку по Волге, и к тому же отлично совершенствовал и крымские шоссе, по которым Государя возили с большой скоростью.) Горемыкин преднамеренно выдвигал Кривошеина на первый план и предоставлял ему действовать. По всем крупным вопросам они были согласны до лета 1915 года. Влияние Кривошеина распространилось и на общую политику, и на иностранную (было хорошее понимание с Сазоновым). Он носил звание статс-секретаря Его Величества, и это давало ему право устных приказаний от имени Государя. Однако в правительстве сохранялась группа министров, никак ему не подчинявшихся или в устойчивой оппозиции справа: Сухомлинов, Николай Маклаков, Щегловитов, Саблер. Внутренний конфликт вёл к тому — в интересах единогласности правительства — чтоб от этих министров освободиться. На заседаниях кабинета Кривошеин и Сазонов делали вид, что не видят и не слушают Николая Маклакова, Щегловитова. Отступление Пятнадцатого года ускорило события.

Полгода войны при сияющем оптимизме Сухомлинова и особенностях его управления войсками, от которого правительство было отодвинуто, министры разделяли общее незнание о недостатках военного снабжения. Лишь в феврале 1915 года узнали о катастрофической нехватке снарядов. Тут накладывалось весеннее отступление и возбуждение общественной оппозиции, — и среди министерского большинства возник тайный сговор — энергично убрать министров, ненавидимых обществом, иначе угрожая общей отставкой остальных. Первая мысль о том была Сазонова, а собирались тайно на квартире Кривошеина — его кружок, и включая морского министра Григоровича. И так возник мятеж внутри правительства! — но он казался благодетельным: успешное ведение войны возможно только в примирении правительства с общественностью. Сам Горемыкин не виделся им помехой, и слишком много было бы — просить убрать ещё и его. Все заместель-

ные кандидатуры тотчас представил Кривошеин, он хорошо видел, кого брать.

Государь, хотя был возмущён, что одна группа министров сговорила за спиной других («в полках так не делают»), но сдался: военные поражения смягчают к уступкам. Он был ошеломлён отступлением от Перемышля и Львова, не хотел ссориться ни со своими министрами, ни с обществом, и авторитет Кривошеина стоял у него высоко как никогда. И как ни сердечно любил Государь Николая Маклакова — он согласился снять его с внутренних дел.

Смена военного министра потребовала больших усилий: Кривошеин поехал в Ставку раньше, чем туда вызывались другие министры, и энергично убедил сперва Николая Николаевича на замену Сухомлинова Поливановым. (Поливанов был настойчивая кандидатура Гучкова, с которым Кривошеин и дружил и был связан родственно.) На июньском Совете министров в Ставке, в Барановичах, торжественно опубликованная фотография, все министры в белых кителях, — не присутствовали Щегловитов и Саблер, и тем легче было тут же убедить Государя уволить и их. Горемыкин выполнял волю Кривошеина и тоже стремился к необходимому единству кабинета. Только министром юстиции назначили не кривошеинского кандидата, но горемыкинско-го — Хвостова-дядю. Зато уж обер-прокурором Синода был назначен Самарин, избранный Кривошеиным по его влиянию в Москве.

А ситуация — утекала. В июне кадеты на конференции сформулировали свои обиды на правительство. Военные неудачи и дурная организация тыла шли для них даже на последнем месте, а раньше того наболело: почему оказывается недоверие общественной помощи, раздражающее наблюдение за сношением интеллигентных работников с нижними чинами (отбираются у раненых книжки революционных лет)? почему так круто гнали галицийское униатство и нет уступок в еврейском и польском вопросах? почему осуждены большевицкие депутаты, а террорист Бурцев, патриотически воротившийся из эмиграции, не почтён, но отправлен в ссылку? Кадеты клонились теперь к тому, чтобы начать публично критиковать правительство, главную беду видели в составе его (не насытятся двумя отставленными министрами): так пересоставить правительство, хотя б из бюрократов, но симпатичных, чтоб оно пользовалось *доверием общества*. (Это был новейший кадетский ход. Словом «доверие» прикрывалось невозможное пока парламентское ответственное министерство. За такое легче агитировать, легче и добиться, — а потом оно постепенно превратится в «ответственное».) Кадеты намеревались теперь настаивать на созыве Думы и длительной сессии её.

Горячие головы предлагали собрать Думу *явочным* порядком, то есть не спросив властей. М и л ю к о в о хладил:

Вся Россия сейчас повёрнута лицом в сторону фронта. А если Дума соберётся явочным, революционным порядком — на секунду вся Россия повернётся с изумлением по-

смотреть на зрелище, которое может радовать только наших врагов. А сама «явочная» Дума будет без труда распущена. И получится бледная скверная копия выборгского воззвания... Или звать на помощь выступление масс? Правительство не отдаёт себе отчёта, что происходит «во глубине России», но мы, интеллигентные наблюдатели, ясно видим, что ходим по вулкану. Характер сохраняемого равновесия таков, что достаточно лёгкого толчка, чтобы всё пришло в колебание и смятение. Это была бы вакханалия черни, новая волна мути со дна, которая уже погубила прекрасные ростки революции в 1906. Какова бы ни была власть — худа ли, хороша, но, твёрдая, она необходима сейчас более чем когда-либо... Всё, что можно сделать, это — раскрыть глаза правительству и обновить кабинет без особого нажима.

Отступление армий под Варшавой и едва ли не за Неман казалось современникам ни с чем не сравнимой военной катастрофой. Часть подробностей была в печати, другая нагонялась слухами. И кого же могла обвинить печать и молва, если не бездеятельное, неспособное, а может быть и злонамеренное правительство?

А царь молчал, замеревши в Царском Селе, как будто всё это отступление его не касалось, не на его земле происходило?

И на кого же могла быть надежда, если не на Государственную Думу? Думцы самочинно съезжались в Петроград и требовали длительной сессии.

Тем временем на правительство стали давить и Союзы, Земский и Городов. Всё более видели они своей дальнею целью не столько военную победу России, от которой будет ли ещё прок для свободы, а — занять политические позиции для будущих конституционных изменений. Теперь на своих съездах в июне, требуя созыва Думы, они предупреждали правительство крепчающим голосом:

Тот, кто умеет работать, — тот и будет хозяином страны.

Усиленно распространялось убеждение, что правительство и весь государственный аппарат работать не могут, и всё больше отраслей снабжения фронта захватывали Союзы. И власть, как будто признавая худшее, что о ней думали, безропотно отдавала новые и новые поля деятельности в воюющей стране — самозванным комитетам, не подчиняя их никакому единому руководству. Общественные организации настаивали на своём безкорыстии и своей талантливости — и не было голоса, кто посмел бы усумниться.

Правительство, избалованное 10-месячной молчаливой поддержкой Думы, именно в эти горячие июнь — июль 1915 оказалось обнажённым, упрекаемым и всеми поносимым. В сводках уже появилось Рижское направление, а из угрожаемых Либавы и Риги, из полутысячи их заводов, не вывозили станков (то распоряжался вновь возвышенный Курлов), — в таком раскалении снятие нескольких ненавидимых мини-

стров нисколько не ублажило разгневанное общество. 11-го июля Союзы самочинно созвали всероссийский съезд о дороговизне — раскалённую сковороду да оплеском! — что ещё можно придумать жарче против правительства? — общество само собралось обсуждать дороговизну! (Позвали и рабочих.)

И верно, со стороны в отчаяние могла привести беспомощность, неуверенность, бездельствие правительства, особенно в хаосе прифронтовых областей при отступлении. Невозможно было изобрести объяснение, и никто не давал его услышать гласно.

Мы ещё мало ведаем, как многое в великой истории народов зависит от ничтожных людей и ничтожных событий. В марте 1914 российский военный министр, болтун и царедворец Сухомлинов (более занятый капризами своей молодой красивой жены, чем обороной Империи), рекомендовал императору назначить на пост начальника Генерального штаба — своего выслуженца, профессора военной администрации, вкрадчивого лжевоенного генерала Янушкевича. Как всегда при нашем троне, такие важнейшие назначения легко решались по расположению к просящему, не слишком сообразуясь с качествами, нужными для должности. Этот ничтожный, самопоённый Янушкевич начерпал России столько зла, что достало бы трём выдающимся злодеям. Упущений довольно набралось и прежде него, но за 3 месяца в должности он не только ничего не исправил, а даже не осмыслил, что нуждается в исправлении. Так в июле 1914 он оказался без плана частичной мобилизации и был тем главным советником и действителем, кто втянул царя во всеобщую мобилизацию, не оставляя России избежать злосчастнейшей войны. И в тот же роковой день 16 июля он подсунил императору, и никогда не слишком ретивому к скучным бумагам, а тут истомлённому кризисными днями, подписать, не вникая, ещё толстую бумажную пачку — «Положение о полевом управлении войск».

По этому Положению, очень удобному для военных и для самого Янушкевича, поскольку он рассчитывал занять пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего, — военному командованию отводилась полнота прав кроме театра военных действий также и на всей территории развёртывания вооружённых сил (куда входили Петербург и даже Архангельск!) — и не оставалось прав Совету министров даже в самой столице, ни даже порядка его сношений с Верховным Главнокомандованием, ни — как решаются на территории развёртывания общегосударственные вопросы. Империя делилась на две отъёмные части: одна подчинена Ставке, другая правительству. Так один неконтролируемый случайный выскочка определил весь ход тыла.

Правда, Положение составлялось исходя из того, что Верховным Главнокомандующим будет сам Государь и примирит две части Империи. Когда же оказался не он, то отмена военных распоряжений достигалась длинным путём: жалобой Государю, от него передавался великому князю Николаю Николаевичу, а там всевластен был Янушкевич, который и объявлял правительству решение. Это ещё не проявилось

резко, пока мы не испытали глубоких отступлений. Но с началом отступления 1915 года такое сношение и вовсе не успевало. Прежде армии покатились назад военные администраторы, распоряжаясь уже глубиью страны. Невозможно было понять, чьи приказы следует выполнять. Приказывали любые этапные коменданты и прапорщики, а ответственных людей не было. Особенно хаотически производилась эвакуация, затеянная широко. Иным учреждениям давался приказ всего за несколько часов до сдачи города. Почти всем указывались места водворения без согласовки с теми губерниями, куда они направлялись. Так поезда с чиновниками, грузами и эвакуированные лазареты прибывали на места совершенно неожиданно, для них не было ни помещения, ни продовольствия.

Правительство повсюду теряло власть, но, ещё сложнее и горше, оно не могло о том заявить публично, ибо это подрывало бы Верховную власть, императора. Министров прорвало 16 июля — на секретном заседании, всегда следовавшим за открытым обычным. (Старательный секретарь Яхонтов донёс нам крупные обломки тех заседаний 1915 года.) Когда остались одни, военный министр *П о л и в а н о в* заявил резко и театрально:

Считаю своим гражданским и служебным долгом заявить, что отечество в опасности.

Наступило нервное молчание. Ещё никто не заявлял перед полным правительством так сенсационно. (Впрочем, группа министров частно встречалась на даче Кривошеина на Аптекарском острове, и они были подготовлены сегодня к этому выступлению.) Военный министр, побывший в должности месяц и с трудом осведомлённый, но не замкнутой Ставкой, а по косвенным донесениям, теперь спешил заявить свои выводы. Приближаются моменты, решающие для всей войны. Пользуясь неисчерпаемыми запасами снарядов, немцы заставляют нас отступать одним артиллерийским огнём, не пуская в дело пехотные массы и не неся потерь, тогда как у нас люди гибнут тысячами. Нельзя предвидеть, чем и как нам удастся остановить наступление. Вера в военных вождей подорвана. Учащаются случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен. Людей вливают в боевую линию безоружными, с приказом подобрать винтовки убитых.

П о л и в а н о в: Но особенно чревато последствиями, о чём больше нельзя умалчивать: в Ставке — растущая растерянность, ни системы, ни плана, ни одного смело задуманного манёвра. Вместе с тем Ставка ревниво охраняет свои прерогативы и не считает нужным посоветоваться с ближайшими сотрудниками.

Министры, частью уже подготовленные, дружно согласились — ходатайствовать, причём указать Государю, что население недоумевает по поводу внешне безучастного отношения Царя и Его правительства к переживаемой на фронте катастрофе.

К р и в о ш е и н: Никакая страна не может существовать с двумя правительствами. Или пусть Ставка возьмёт на себя всё и снимет с Совета министров ответственность, или пусть считается с интересами государственного управления. Жутко становится за будущее.

Князь Щ е р б а т о в (внутренних дел): Губернаторы заваливают меня телеграммами о невыносимом положении с военными властями. При малейшем возражении — от них окрик и угрозы.

Х в о с т о в (юстиции): Польские легионы, латышские батальоны, армянские дружины формируются без согласия Совета министров. А потом они лягут бременем на нашу национальную политику.

Р у х л о в (путей сообщения): Мы все так же работаем для России и не меньше господ военных заинтересованы в спасении родины. Невыносимо: все планы, предположения нарушаются произволом любого тылового вояки. Нам, министрам, дают из Ставки предназначения и рескрипты.

За всё время войны ещё не было такого тяжёлого заседания правительства. И, кажется, все единодушно и неуклонно осуждали Ставку. Только предусмотрительный царедворец **Г о р е м ы к и н** предупредал:

Господа, надо с особой осторожностью касаться вопроса о Ставке. В Царском Селе накапливает раздражение против великого князя. Императрица Александра Фёдоровна, как вам известно, никогда не была расположена к Николаю Николаевичу и в первые дни войны протестовала против призвания его на пост Верховного Главнокомандующего. Сейчас же она считает его единственным виновником переживаемых на фронте несчастий. Огонь разгорается, опасно подливать в него масло. Доклад о сегодняшних суждениях Совета министров явится именно таким огнём.

И предложил — отложить, ещё хорошо подумать. Убедил министров.

Прошла неделя — не только не стало лучше, но 23 июля сдали Варшаву. Это произвело в стране оглушительное впечатление: Варшава — не рядовой город, но столица. Давно ли по её улицам демонстративно проводили лучшие сибирские дивизии, ещё не тронутые боями, как знак, что мы не отдадим Польшу немцам, — и с тротуаров, из окон, с балконов и крыш восторженно приветствовали их польки и поляки, поверившие в обещанную нами автономию. И вот — сдана?..

На другой день секретное заседание министров снова было напряжённо-нервное — уже при созванной Думе и всё большим общественном негодовании, подогреваемом печатью. Министры дружно соглашались, что великий князь должен быть освобождён от Янушкевича.

Для единства ли с обществом или наперекор царскому раздражению критика министров всё более поворачивалась не на великого князя, а лишь на Янушкевича. Да воинственный вид и высокий рост великого князя располагали к нему и армию и публику, его всё более возносили как национального героя, передавали легенды о его строгости к генералам и любви к простому солдату, и всем импонировала его известная ненависть к немцам. Теперь тяжесть отступления и брань о поражениях как будто не висла на нём.

19 июля, в годовщину войны, собралась Дума. И лидер кадетов отточенно возгласил, что Дума переходит

от патриотического подъёма к патриотической тревоге.
...А источник ошибок — в ненормальном отношении с общественными силами. Народ хочет сам исправить, в нас он видит первых законных исполнителей своей воли.

Как всегда, русский либерализм говорил прямо от имени народа, от народного ума и чувства, не предполагая отличия или трещины между народом и собой.

Тон Думы и пафос её быстро повышался, с возбуждённым красноречием вносились сотрясательные запросы, особенно о хаосе в прифронтовой полосе, но запросы не Ставке, это и в голову никому бы не пришло, а — всё тому же неказистому, нерасторопному, немому правительству. Обличительные речи падали на правительство, расходились по стране и за границу, вызывая всеобщее мнение о безнадёжной бездарности министров. Их скрытых обстоятельств никто не обязан был знать и не мог предположить. Во всех слоях населения думские речи произвели грозное впечатление и глубоко повлияли на отношение к власти.

А едва не больше всех других зажгли ниспровергательным духом промышленники, купцы и банкиры. Ещё в конце мая собрался их промышленный съезд, якобы для существенного дела, но нет: для поношения негодного правительства. К истерической речи Рябушинского добавил негодования и Коновалов. И началось движение предпринимателей: самим снабжать фронт, отобрав у правительства! Повсюду стали создаваться «военно-промышленные комитеты», не везде успевая разграничиться между собой по географическим районам и отраслям деятельности, но все напряжённо-возбуждённые. Это движение перенял и возгласил Гучков, всегда предприимчивый, а тут и обиженный, за эти годы растеряв и свою партию октябристов, и общественное лидерство. 25 июля он был избран председателем Центрального Военно-промышленного комитета. (Экстраординарно пригласили Гучкова на заседание кабинета министров, он держался огрызчиво, как в стане разбойников, и не дал ничего существенно исправить: предприниматели желают служить безкорыстно и нечего здесь отвергать.) И в газетах появились сообщения о кипучей деятельности военно-промышленных комитетов, спасающих страну, тогда как проклятое правительство губит её. Всё перемешалось: члены этих комитетов получили свободный доступ в военное министерство, в отделы заказов и заготовок, от них не

стало там секретов, и всё распределение заказов между заводами стало зависеть теперь от них, возбуждая к ним заискивание производителей, а их патриотическое посредничество оплачивая за казённый же счёт процентом от многомиллионных военных заказов, — для воюющей страны достаточно безумная обстановка. Центральный Военно-промышленный комитет изображал теперь ещё одно правительство, более озабоченное ходом войны, чем Совет министров.

И — как же было Совету министров в этом общественном разгоне? прежде всего с Думой? вместо работы, законопроектов её тон повышается. Всё ярче видны захватные стремления. Это уже не «штурм власти», но наскок на власть.

Призыв ратников 2-го разряда был ещё одной непомерной и тиранической крайностью Ставки: не смеяясь с национальными силами, с хозяйством тыла, великий князь требовал новые миллионы под ружьё (и даже не под ружьё, потому что ружей не хватало). Правительство разумно не хотело мобилизовать ратников. Но уж если мобилизовать, —

Щербатов: Безусловно важно провести закон о ратниках через Государственную Думу. Наборы с каждым разом проходят всё хуже и хуже. Полиция не в силах справиться с массой уклоняющихся. Люди прячутся по лесам и в несжатом хлебе. Без санкции Думы, боюсь, при современных настроениях мы ни одного человека не получим. Агитация идёт повсюду, располагая огромными средствами из каких-то источников.

Григорович (морской): Известно каких — немецких.

Кривошеин: Обилие бездельников в серых шинелях, разгуливающих по городам, сёлам, железным дорогам и по всему лицу земли русской, поражает мой обывательский взгляд. Зачем изымать из населения последнюю рабочую силу, когда стоит только прибрать к рукам и рассадить по окопам всю эту толпу гуляк? Однако этот вопрос относится к области запретных для Совета министров.

Харитонов (государственный контроль): А на Кавказе шествие вперёд не прекращается. Куда мы там, с позволения сказать, прём?

Поливанов: Известно куда — к созданию Великой Армении. Собираение земли армянской составляет основное стремление графини Воронцовой-Дашковой, — жены Кавказского наместника.

Но едва ли не всего разрушительнее от нашего отступления на Западе катится волна беженства. Поднялась стихия — и никакие учреждения не могут ввести её в правильное русло.

Кривошеин: Из всех тяжких последствий войны — это самое неожиданное, грозное и непоправимое. И что

ужаснее всего — оно не вызвано действительной необходимостью или народным порывом, а придумано мудрыми стратегами для устрашения неприятеля. По всей России расходятся проклятия, болезни, горе и бедность. Голодные и оборванные повсюду вселяют панику. Идут они сплошной стеною, топчут хлеба, портят луга, леса, за ними остаётся чуть ли не пустыня. Даже глубокий тыл нашей армии лишён последних запасов. Я думаю, немцы не без удовольствия наблюдают результаты и освобождаются от забот о населении. Устраиваемое Ставкой второе великое переселение народов влечёт Россию к революции и к гибели.

В 1812 году маневрировали сосредоточенные армии на небольших площадях, тогда бегство не было таким массовым. Теперь, обезьяничая с той войны, повторяют его при сплошном фронте, опустошая десятки губерний, вырывая миллионы из вековых жилищ, не смеяя, что же делать со скотом и лошадьми в век железных дорог. Только под жильё беженцев занято 120 тысяч товарных вагонов.

Но и ещё, может быть, удержался бы Янушкевич, при своём всевластии всё же недостаточно заметный рядом с великим князем, если бы он не применил такого же насильственного массового выселения во внутренние русские губернии и ко всем евреям, да ещё обвинив их сплошь в сочувствии к врагу и шпионстве. Янушкевич горел боязнью оказаться виновным в грандиозном отступлении — и так пришёл к злополучной идее свалить военные неудачи на евреев. И хотя все его меры утверждались же великим князем — внутри страны был безусловно обвинён Янушкевич. А извне — обвинена вся Россия. Ожесточённая реакция на Западе была мгновенна. Союзные правительства твёрдо указали, что надо с евреями примириться немедленно, иначе это отразится на положении России.

В начале августа этот вопрос большой спешности обсуждался на нескольких закрытых заседаниях русского правительства: повсюду на Западе (и от внутренних банков тоже) тотчас были обрезаны кредиты России на ведение войны, недвусмысленно закрыты все источники, без которых Россия не могла воевать и недели. Наиболее ошутительно это сказалося в Соединённых Штатах, ставших банкиром воюющей Европы.

Щ е р б а т о в: Наши усилия вразумить Ставку остаются тщетными. Мы все вместе и каждый в отдельности говорили, писали, просили, жаловались. Но всемогущий Янушкевич считает для себя необязательным общегосударственные соображения. Сотни тысяч евреев продвигаются на восток от театра войны — и распределение всей этой массы в границах черты оседлости невозможно. Местные губернаторы доносят, что всё заполнено свыше пределов вместимости, и кроме того, они не отвечают за безопас-

ность новых поселенцев ввиду возбуждённого состояния умов и погромной агитации возвращающихся с фронта солдат. Это приводит нас к необходимости хотя бы временно водворять эвакуируемых евреев вне черты оседлости. Эта линия уже и сейчас нарушается. Руководители русского еврейства настойчиво помогают легальных оснований. В пылу беседы мне прямо говорилось, что среди еврейской массы неудержимо растёт революционное настроение. За границей тоже начинают терять терпение, пожелания принимают почти ультимативный тон: если вы хотите иметь деньги на ведение войны, то... Мы должны временно приостановить действие правил о черте оседлости. Нужен акт, который служил бы реабилитацией для еврейской массы, заклеимённой слухами о предательстве. И надо спешить, чтоб не оказаться позади событий. Иначе значение жеста пропадёт.

К р и в о ш е и н: К министру финансов на днях явились Каменка, барон Гинцбург и Варшавский с заявлением о всеобщем возмущении. Кратко беседа была: дайте, и мы дадим. Нож приставлен к горлу, ничего не поделаешь. Пока ещё вежливо просят, мы можем ставить условия: мы существенно изменим черту оседлости, а вы нам дайте денежную поддержку и окажите воздействие на печать, зависимую от еврейского капитала (это равносильно почти всей печати), в смысле перемены её революционного тона.

С а з о н о в: Союзники тоже зависят от еврейского капитала и ответят нам указанием прежде всего примириться с евреями.

Щ е р б а т о в: Мы попали в заколдованный круг. Мы безсильны: деньги в еврейских руках, и без них мы не найдём ни копейки.

Г о р е м ы к и н: Право жительство евреям — только в городах. Сельские местности мы обязаны оградить.

Щ е р б а т о в: И есть убедительный мотив: в деревне растёт погромное настроение. Против него мы не в состоянии оберечь евреев, так как сельской полиции у нас почти не существует.

К р и в о ш е и н: Сами евреи отлично это понимают. Их и не тянет в деревню. Все их интересы связаны с городскими поселениями.

С а з о н о в: Я знаю из верного источника, что и всемогущий Леопольд Ротшильд не идёт дальше городов.

Р у х л о в: Вся Россия страдает от тяжестей войны, но первыми получают облегчение евреи. Подтверждается разговорка, что за деньги всё покупается. Несомненно все уз-

нают происхождение акта и мотивы. Какое впечатление это произведёт не на еврейских банкиров, а на армию и на весь русский народ? Как бы не явился взрыв возмущения и кровавые бедствия для тех же самых евреев. Постановка вопроса для меня неожиданна, я затрудняюсь дать ответ по чистой совести.

С а м а р и н: Я вполне понимаю это чувство протеста в душе. Мне тоже больно давать своё согласие на акт, последствия которого огромны и с которым русским людям придётся считаться в будущем. Но таково сплетение обстоятельств, приходится жертвовать.

П о л и в а н о в: В качестве министра, ведающего казачьими областями, я обязан заявить, что едва ли право свободного жительства евреев применимо в этих областях даже в отношении городов. Казачьи городские поселения следовало бы изъять в интересах самих евреев. Казаки и евреи исторически никак не могли ужиться друг с другом, встречи их всегда кончались неблагоприятно. Не надо упускать из вида и то, что казачьи отряды — главные исполнители приказов генерала Янушкевича о спасении русской армии от еврейской крамолы.

Через день, 6 августа, министры заседали вновь, и секретная часть началась с того же. Горемыкин доложил, что он сообщил Государю о суждениях министров — и Его Величество в принципе одобрил отмену черты еврейской оседлости в отношении городов. (На что он не согласился в 1906, когда настаивал Столыпин. Нужда убеждает. В это летнее отступление 1915 года отрыгались России три раздела Польши.)

Р у х л о в: Моё чувство и сознание протестуют, что военные неудачи отзываются в первую очередь льготами евреям. Достаточно припомнить роль евреев в событиях 1905 года, и какой процент иудеев приходится на лиц, ведущих революционную пропаганду и участвующих в подпольных организациях. Я категорически отказываюсь дать свою подпись.

Б а р к (финансы): Не мы создали этот острый момент, а те, кого мы тщетно просили воздержаться от возбуждения еврейского вопроса казацкими нагайками. Сейчас заграничный рынок для нас закрыт, и мы там не получим ни копейки. Мне откровенно намекают, что нам не выйти из затруднений, пока не будет сделано демонстративных шагов в еврейском вопросе. Иного выхода я, как министр финансов, не вижу. Времена Минина и Пожарского, по-видимому, не повторяются.

К р и в о ш е и н: Я тоже привык отождествлять русскую революцию с евреями, но тем не менее подписываю акт о льготах. Будемте спешить. Нельзя вести войну сразу

и с Германией и с еврейством, это непосильно даже для такой могучей страны, как Россия, хотя генерал Янушкевич и держится другого мнения.

Обсуждения исчерпались, стали готовить форму проведения.

Горемыкин: В настоящих условиях недопустимо возбуждение в Государственной Думе прений по еврейскому вопросу, они могут принять опасные формы и явятся поводом к обострению национальной розни. Нет уверенности в благополучном прохождении законопроекта. И длительный законодательный порядок лишит меру необходимой демонстративности и характера милости.

Харитонов: Поверьте мне — никто и не пикнет о незакономерности и не станет протестовать. Не только кадеты и более левые, но и октябристы сочтут долгом приветствовать акт, какие тут запросы и протесты.

Барк: Наше сегодняшнее постановление крайне благоприятно отразится на наших финансах.

(Однако этого не произошло. В августе же союзники потребовали для начала отправить в Англию и в Америку четвёртую часть русского золотого запаса для обеспечения платежей по военным заказам.)

Харитонов: Значит, с ножом к горлу прижимают нас добрые союзники — или золота давай, или на грош не получишь. Дай Бог им здоровья, но так приличные люди не поступают.

Кривошеин: Лондон и Париж восхищаются нашими подвигами для спасения союзных фронтов ценою наших поражений, миллионами жертв, которые несёт Россия, а в деньгах прижимают не хуже любого ростовщика. А Америка пользуется обстановкой нажиться на несчастьи Европы.

А тем временем ещё на заседании 6 августа ожидала министров новая встряска. До этой минуты во всём обмене мнениями генерал Поливанов принимал малое участие. Он сидел мрачно, и обычное у него подёргивание головы и плеча проявлялось особенно сильно. Затем Горемыкин попросил его сообщить о положении на театре войны.

Но — Поливанов для своих коллег ещё худшее приготовил:

Как ни ужасно то, что происходит на фронте, есть ещё одно гораздо более страшное событие, которое угрожает России. Я сознательно нарушу служебную тайну и данное мною слово до времени молчать. Сегодня утром Его Величество объявил мне о принятом им решении устранить великого князя и лично вступить в Верховное Главнокомандование.

И тут среди министров поднялось сильнейшее волнение! Все заговорили сразу, и поднялся такой перекрестный разговор, что невозможно было уловить никого отдельно.

Поразительно: казалось бы, насточертела им всем самоуправная Ставка, и оголтелый великий князь с интриганом Янушкевичем. Казалось бы: теперь-то, когда Государь возьмёт Верховное Главнокомандование, только и могло оправдаться действующее Положение о полевом управлении войск, ничего и менять не надо. Но нет! Именно этой новостью министры были оглушены более всего.

П о л и в а н о в: Подумать жутко, какое впечатление произведёт на страну, если Государю пришлось бы от своего имени отдать приказ об эвакуации Петрограда или Москвы. Его Величество ответил, что всё им взвешено и решение неизменно.

Щ е р б а т о в: А великий князь, несмотря на всё, происходящее на фронте, не потерял своей популярности и пользуется благорасположением среди думцев за своё отношение к общественным организациям!

— то есть к Земгору. В этом был и ключ: а вдруг царь станет ограничивать Земгор? Общественность истолкует неприязненно. Народное впечатление будет глубоко задето: за что сняли великого князя? И как же быть, его фотографии всюду. И как же Государь, став Верховным, сможет отлучаться в столицу? Да со времён Петра I цари не становились сами во главе армии!

...И если Его Величество отправится на фронт, я не могу поручиться за безопасность Царского Села. Войск там почти нет, полиция недостаточна. Кучка предприимчивых злоумышленников — и гарнизон окажется в тяжёлом положении. От сообщённого легко потерять равновесие.

Г о р е м ы к и н: Я не считал себя возможным приглашать то, что Государь повелел мне хранить в тайне. Сейчас говорю об этом лишь потому, что военный министр счёл возможным нарушить тайну и предать её огласке без соизволения Его Величества. Должен сказать, что вы никакими доводами не убедите Государя отказаться от задуманного им шага. В данном решении не играют роли ни интриги, ни чьи-либо влияния. Оно подсказано сознанием Царского долга.

К р и в о ш е и н: Вполне соответствует душевному складу Государя и мистическому пониманию своего царского призвания. Но абсолютно неподходящий момент. И правительство поставлено предрешённо перед актом такой величайшей исторической важности. Ставятся ребром судьбы России и всего мира. Протестовать, умолять, настаивать, просить, удержать Его Величество от безповоротного шага! Ставится вопрос о судьбе династии, о самом троне, наносится удар монархической идее, в которой вся сила и будущность России! Народ ещё с Ходынки и японской кампании считает Государя несчастливым, незадачливым.

Напротив, великий князь — это лозунг, вокруг которого объединяются великие надежды. Нужно иметь особенные нервы, чтоб выдерживать всё происходящее.

Щербатов: Решение Государя будет истолковано как влияние пресловутого Распутина. Об этом влиянии уже идут толки в Государственной Думе, и боюсь, как бы не возник скандал.

Шаховской: Просить аудиенции всему Совету министров и умолять Государя о пересмотре решения.

Все были напряжены сверх меры, и только преклонный председатель сохранял покойное углубление в отстранённую мудрость. Он был председателем и того правительства, год назад, когда они дружно отговорили Государя брать Главнокомандование.

Горемыкин: Я против такого коллективного выпендривания. Вы знаете характер Государя и какое впечатление на него производят подобные демонстрации. Государю и без того нелегко, чтобы нам ещё тревожить его нашими протестами. Я уже всё сделал, чтоб удержать Государя. Но решение его непоколебимо. Я призываю вас преклониться перед волею Его Императорского Величества, сплотиться вокруг него в тяжёлую минуту и посвятить все силы нашему Монарху.

Но обновлённый, олиберальный Совет министров уже был не таков, чтобы возвышенный призыв председателя произвёл тут впечатление: даже не все и вслушались, продолжали горячо о том, как отговаривать. Все были возбуждены и даже раздражены: как мог Государь принять такое решение, не посоветовавшись с правительством?!

А Государь уже несколько месяцев готовился к этому решению. Он никогда не мог простить себе, что во время Японской войны не поехал стать во главе Действующей армии. Долг царского служения — в момент опасности быть среди войск. В первые дни нынешней войны Государь твердо хотел брать на себя Верховное Главнокомандование, но в те дни его отговорила сплотка негодующих министров. А дядя (Николаша), его бывший эскадронный в гусарском полку, стал очень видное лицо в русской армии, и мог пока естественно возглавить её, — и так был назначен Верховным Главнокомандующим, хотя государыня уже и тогда была против этого назначения. С тех пор Государь постоянно сожалел, что не взял на себя своего естественного жребия. Его многочисленные поездки на фронты и смотры полков были попыткой соединиться с армией, хотя бы и помимо Ставки. Он любил свою армию и себя в армии, и ревновал к Николаше. Теперь же, когда на фронте наступила катастрофа, — Николай тем более считал своим священным и мистическим долгом стать во главе войск, вместе с ними победить или погибнуть. (А к тому ж переход на военное существование обещал освободить его от тягостных тыловых проблем, размышлений, министерских приёмов и петербургских сплетен.)

Государыня давно разделяла такое его решение и укрепляла в нём. Николай Николаевич не делал Государю регулярных военных докладов. Минуя Государя, вызывал к себе в Ставку министров для объяснений и указаний, и ряд дел Государь получал уже решёнными в Ставке помимо него. Николай Николаевич слишком много занимался делами всего государства, а не фронта. Нам сохранились те из настоячивых внушений государыни, которые были высказаны в письмах во время разлук:

Он старается играть твою роль. Перед Богом и людьми никто не имеет права, как он это делает. Он так мало понимает во внутренних делах и нашу страну, но импонирует министрам громким голосом и жестикующей. Говорят, что Государя лишили власти. Нашего Друга и меня одинаково поразило, что Николаша, отвечая губернаторам, составляет телеграммы в твоём стиле. Николаша далеко не умён, упрям — и его ведут другие. Он действовал неправильно — к твоей стране, к тебе и к твоей жене. И так как он пошёл против Человека, посланного Богом, — его дела не могут быть угодны Богу, и мнения его не могут быть правильны. Солдатам нужен ты, а не Ставка. Помни, что ты — император, и другие не смеют брать на себя так много. Ты долго царствуешь и имеешь больше опыта, чем они. Пошли Господь тебе больше уверенности в твоей собственной мудрости, чтобы ты не слушался других, но только нашего Друга и твоей души. Никогда не забывай, кто ты есть и что ты должен остаться самодержавным императором. Иногда хороший громкий голос и строгий взгляд делают чудеса. Будь решительней и уверенней в себе! Они должны лучше помнить, кто ты такой.

Так за весну и лето 1915 созревало решение Государя сместить Николая Николаевича и взять на себя Верховное Главнокомандование — одновременно разрушив затеваемый (только болтаемый) в Ставке заговор уволить императрицу в монастырь.

И в эти же месяцы, уступая негодованию общества, Государь сменил нескольких министров. Часть этих смен произошла с ведома и согласия императрицы, и их она считала правильными. Так, министр юстиции Щегловитов, хотя и очень правый,

не нравится на своём месте. Не обращает внимания на твои приказания, разрывает прошения, пришедшие, по его предположению, через нашего Друга.

И разделяла тяжёлое сердце Государя при отставке Сухомлинова. Но императрица не уследила за всеми назначениями новых министров, часть этих назначений была внушена Государю и подписана в Ставке, в отлучке из дому, — и быстро сочла она, что назначения эти неудачны.

Прости, но мне не нравится выбор военного министра. Такой ли человек Поливанов, на которого можно положить-

ся? Хотелось бы знать все основания, которые у тебя были? Возможно ли, чтоб он разошёлся с Гучковым? И не враг ли он нашего Друга? А это всегда приносит несчастье.

Но хуже всего обернулось с Самариним в роли обер-прокурора Синода: Я в отчаянии от его назначения. Он — из скверной ханжеской клики, московской банды, которая опутает нас как паутину. Теперь у нас опять начнутся истории против нашего Друга, и всё пойдёт дурно. Я несчастна с тех пор, как услышала об этом назначении. Его предложил Николаша, специально зная, что он будет вредить Григорию. Глуп, нахал, дерзко разговаривал со мною. Я чувствовала его антагонизм. Он не успокоится, пока он меня, нашего Друга и Аню не впутает в беду. При первой же встрече говори с ним очень твёрдо, что ты запрещаешь всякие интриги против нашего Друга или разговоры против него. Ты — глава и покровитель Церкви, а он старается подорвать тебя в глазах Церкви, начинает сомневаться в твоих приказаниях. Самарин упадёт в яму, которую он для меня роет. Россия не разделяет его мнения. Мы должны выгнать Самарина, и чем скорее, тем лучше. Кто угодно лучше него... Если бы ты знал, какие слезы я сегодня проливала, ты бы понял огромную важность этого, это не женская чепуха, но настоящая правда.

И ещё, при таком изменённом составе правительства, почему ты должен ездить к Николаше в Ставку и собирать своих министров там? Могут воспользоваться твоим сердцем и заставить сделать тебя вещи, которых ты бы не сделал, если бы был тут. Меня — боятся и приходят к тебе, когда ты один. Меня боятся, зная, что моё дело правое.

Но вот — все убеждения и колебания были, кажется, позади, и в горшую минуту отката русских войск Государь принимал бремя Верховного. И военного министра Поливанова (не понимая его истинного настроения) он 9 августа послал в Ставку, чтобы тактично, негласно объявить Николаше решение и столкнуться с ним о порядке сдачи командования. Великому князю предлагалось принять пост Кавказского наместника вместо Воронцова-Дашкова.

Для великого князя отставка в период сплошных неудач была как бы открытым признанием негодности. Но он — перенёс удар, не взбунтовался, даже как милость воспринял, что его не вовсе отставляют, а посылают командовать Кавказом, — и только одного настоятельно просил: отпустить с ним туда же драгоценного Янушкевича.

Но и тут же Государь ответил великому князю, что смена командования произойдёт не так быстро, в течение недель.

А города сдавались за городами. Под салюты немецких фугасов 5 августа сдано было Ковно (комендант Ковенской крепости генерал Григорьев сбежал), к 15-му — Гродно и Брест-Литовск. Многим не вери-

лось, что такое отступление происходит не от измены. Рабочие Коломенского завода и некоторых других волновались, обвиняя своё правление в нежелании напрячь производительность предприятия и в угоде немецким интересам. Волнения грозили насилием. Рабочие готовили депутацию, но не к правительству, настолько было всюду втолковано, что оно ничтожно, а в Думу и в Ставку.

Ш а х о в с к о й: Вообще сейчас на заводах настроения напряжены до последней степени. Рабочие повсюду ищут измены, предательства, саботажа в пользу немцев, увлечены поисками виновников наших неудач на фронте.

Щ е р б а т о в: Настроением рабочих пользуется революционная агитация, раздувает в массах патриотическое негодование о нехватке снарядов. Этот вопрос самый модный и в Думе, и в обществе, и в печати. На нём удобно создать почву для беспорядков. Кому-то важно любимыми способами вывести толпу на улицу.

Но и снова же, снова тяжело обсуждали, как остановить решение Государя, пока оно не объявлено официально.

С а м а р и н: Я был в Москве и не присутствовал на последних заседаниях. Дай Бог, чтоб я ошибся, но я жду от перемены Верховного Главнокомандования грозных последствий. Смена великого князя и вступление Государя Императора явится уже не искрой, а целой свечою, брошенной в пороховой погреб. Революционная агитация работает не покладая рук, стараясь всячески подорвать остатки веры в коренные русские устои. И вдруг громом прокатится весть об устранении единственного лица, с которым связаны чаяния победы. О Царе с первых дней царствования сложилось в народе убеждение, что его преследуют несчастья во всех начинаниях. Я хорошо знаю многие местности России и особенно близко Москву и утверждаю, что весть будет встречена как величайшее народное бедствие. Надо на коленях умолять Государя не губить свой престол и Россию. Неужели ближайшие слуги Царя не могут добиться, чтоб их выслушали? Как же они тогда могут вести госуда-рево дело?

Кривошеин, мастер составлять толковые бумаги, предложил: если смена командования, действительно, решена безповоротно, то как бы сделать её мягче и понятнее народу? Просить Государя объявить свою монаршую волю в форме всемилостивейшего рескрипта на имя великого князя и в нём объяснить: не в победное время Царь идёт делить опасности с войсками, он готов погибнуть в борьбе с врагом, но не отступить от долга. И как он ценит великого князя. Кривошеин уже набрасывал проект. Таким рескриптом можно сгладить многие углы, и великому князю тоже не будет обидным перемещение. Сазонов взял доложить эту мысль царю на своём ближайшем докладе. (Один Самарин

упорно возражал, что нужен не рескрипт, а отговаривать.) Государь одобрил и просил представить проект рескрипта поскорее.

Государь все недели и все дни — мучительно думал. Он поехал в Елагин дворец к матери, и она отвечала ему: ты не подготовлен к такой роли, и тебе этого не простят, не веди Россию к гибели, и государственные дела требуют твоего присутствия в Петрограде. Не повтори ошибку Павла I: и он в последний год стал удалять от себя всех преданных людей.

И верный старик Воронцов-Дашков тоже отсоветывал: сейчас вы — глава государства и судья. А сделаетесь главой войска — можете быть судимы.

И только неумолкающий, лучше всех слышимый голос царственной супруги поддерживал взятое направление:

Будь уверенней в себе и действуй! Будь энергичен ради твоего собственного государства. Все пользуются твоей ангельской добротой и терпением. Будь твёрд до конца, дай мне в этом уверенность, иначе я заболела от тревоги. В России, пока народ необразован, надо быть господином.

Ото всей этой разногласицы Государь, видимо, ослабел, и решённая смена никак не происходила. Ни на что в жизни ему не приходилось решаться так трудно. Самое ужасное: кому же верить? кто же говорит истину? Опыт октября 1905 с Витте Государь вспоминал как кошмар: непоправимо ужасно — уступить, когда уступать не надо. Вот на него наседали министры в мае: уволь только этих четырёх министров, и сразу всё пойдёт хорошо. И он — уволил четверых, и своего любимого преданного Николая Маклакова, — и чем же смягчил общество? Всё равно не угодил, не умилиствовал, как если б и не увольнял: Дума заявляла теперь, что и с нынешним правительством работать невозможно. И новые министры не изобрели же новых способов управления. Как будто добавил четырёх министров вовсе и не левых — а правительство в целом сильно полевело, и еле сдерживал его старый верный Горемыкин. Уступки, нет, никогда не приводили к лучшему. Чтобы спасти Россию, чтобы Бог не оставил её — может быть и вправду нужна искупительная жертва, — вот Государь и станет этой жертвой. И если нужно будет отступать до крайности — он и возьмёт это отступление на себя. Но вместе с тем не мог Государь забыть и своей извечной неудачливости: все несчастья, которых он опасался, всегда на него падали, не удавалось ему ничто предпринимаемое. Он теперь молился — наедине и в разных церквях, и с государынею ездили в Казанский собор. Он уверял себя, что тут — не только внушения её и Григория, но, когда он стоял в церкви Большого царскосельского дворца против большого образа Спасителя — какой-то внутренний голос будто убеждал его утвердиться в принятом решении. Всю жизнь он страдал от робости — но надо было её превозмочь!

А время утекало, слух о возможной смене Верховного распространился.

К р и в о ш е и н: С великим князем, по-видимому, кончено. Популярность его упала не только в войсках, но и среди мирного населения, возмущённого наплывом беженцев и бесконечными наборами в то время, когда некому убирать великолепные хлеба. Есть пример в истории. Когда наше отступление перед Наполеоном приняло чересчур поспешный и безнадёжный характер, то Аракчеев, Шишков и Левашёв потребовали отъезда Александра I из армии: если бьют Барклай — Россия только огорчится, если же будут бить Императора Всероссийского, то Россия этого не вынесет. Пусть генерал Алексеев сыграет роль Барклая, а Государь пусть собирает армию в тылу.

Да правительство теперь не было уверено, что само-то оно долго останется в Петрограде, тайно предусмотрительно обсуждало, не начать ли эвакуацию сокровищ Эрмитажа, дворцов, Публичной библиотеки — водными путями, до Нижнего Новгорода. Но опасались этим породить панику: и без того уже в столицах выбирали вклады из сберегательных касс в опасных размерах. А генерал-адъютант Иванов предлагал эвакуацию позади Юго-Западного фронта глубиной в 100 вёрст, а через несколько дней, и вовсе никого не дожидаясь, стал готовить эвакуацию Киева, даже не спрося правительство.

К р и в о ш е и н: У меня вся душа переворачивается при мысли, что Киев — мать русских городов, вековая русская святыня, обрекается на ужасы эвакуации. Действительно, невероятные условия созданы отмежеванием части России под театр военных действий. Надо умолить Его Императорское Величество на созыв военного совета, элементарную меру, о которой 13 месяцев не желали подумать. История не поверит, что Россия вела войну и пришла к краю гибели вслепую, что миллионы людей приносились в жертву самомнению одних, преступности других. Военный совет и выработал бы план дальнейшего ведения войны и строгого порядка эвакуации.

У населения отбирали запасы, расплачиваясь какими-то бонами. Штабы отступали как в безумии — не во временный отход, но так разоряя местность — сжигая посевы, постройки, убивая скот, угрожая оружием землевладельцам — как будто никогда не надеясь вернуться. От генеральских распоряжений отступающие войска провожались проклятиями. Смоленская губерния и соседние стонали от наплыва беженцев, нехватки продовольствия, перегрузки солдатами. Санитарные поезда и военные грузы стояли в пробках на железных дорогах. А Ставка уже проектировала отодвинуть границы театра войны — границу своей сумбурной власти и правительственного безвластия — ещё в глубь страны, до линии Тверь—Тула.

Правительством овладели и высшая нервность, и чувство бессилия. Министры горячо и подолгу обсуждали все проблемы, и обрывали обсу-

ждения, и не решались постановить, и сами всё более видели, что от их обсуждений ничего не зависит. У них не было мер и методов воздействия, и даже при крайнем возмущении они не находили, как заставить, а только — поговорить, предупредить, внушить. Они ни в чём не проявляли решительности, категорического мнения, противостояния. Не только отобрана была от них четвёртая часть страны в управление генералов, но и в остальной её части они не имели ни в ком опоры, ощущали себя как бы висящими в воздухе. По рождению правительства и подчинению его естественная поддержка могла быть от монарха — но тот почти не ставил их ни во что, устранился от них и не прислушивался к их мнениям. Земский и городской Союзы распоряжались по всей стране, не спрашивая правительства. Дума и общество всё ярее действовали захватно, игнорировали правительство нарочито — а в законодательной деятельности Дума только тормозила всё, так что ни одного серьёзного закона уже нельзя было провести, тем более спешного.

Столичное общество билось в патриотической тревоге «всё для войны!», но не отказывалось от кафе-шантанов и пьяного сидения до утра, аквариумы и рестораны гремели музыкой и сияли огнями.

С а м а р и н: Все эти торжествующие кабаки производят в народе крайне тяжёлое впечатление. Власть винят, что она допускает разврат в столице. Святейший Синод призвал православный народ к посту и молитве по случаю постигших родину бедствий. Православному правительству следовало бы закрыть увеселительные места на покаянные дни.

А печать — та и вовсе была распущена, как не пустили бы ни в какой республиканской стране (во Франции она под жёстким режимом служила борьбе с неприятелем).

С а з о н о в: Наши союзники — в ужасе от разнузданности, какая царит в русской печати.

Г о р е м ы к и н: Наши газеты совсем взбесились. Всё направлено к колебанию авторитета правительственной власти. Это не свобода слова, а чёрт знает что такое. Даже в 1905 они себе не позволяли таких безобразных выходов. Военные цензоры не могут оставаться равнодушны к газетам, если те создают смуту в стране.

К р и в о ш е и н: Наша печать переходит все границы даже простых приличий. Масса статей совершенно недопустимого содержания и тона. До сих пор только московские газеты, но за последние дни и петроградские будто с цепи сорвались. Сплошная брань, возбуждение общественного мнения против власти, распущение сенсационных ложных известий. Страну революционизируют на глазах у всех — и никто не хочет вмешаться. Ведь есть же у нас закон о военной цензуре?

Щербатов: Гражданская предварительная цензура у нас давно отменена, и у моего ведомства нет никакой возможности помешать выходу в свет той наглой лжи и агитационных статей, которыми полны наши газеты. У нас в законе нет права устанавливать гражданскую цензуру, ни наложить штраф, ни закрыть газету. Только на театре военных действий (правда, включая Петроград) существовала военная цензура, но она задерживала лишь то, что могло принести пользу неприятельскому осведомлению. Военные цензоры освобождены от просмотра печатных произведений в гражданском отношении. Распоряжением Янушкевича из Ставки запрещено только затрагивать августейших лиц — а всё остальное можно бранить, военная цензура не вмешивается в гражданские дела. Печать открыто проповедует решительный штурм на власть, нагнетает общественное мнение. То возбуждает неосновательные надежды («амнистия!»), чтобы тут же свалить на власть невыполнение их.

И тон Государственной Думы стал самый нападательный. Например:

Керенский: Та катастрофа, которая совершается, может быть предотвращена только немедленной сменой исполнительной власти... Мы должны сказать тем, кто сейчас не по праву держит в своих руках флаг: «Уйдите, вы губите страну! А мы хотим её спасти. Дайте нам управлять страной, иначе она погибнет!»

В Думе это звучало звонко. А из кабинета министров виделось:

Харитонов: До какого абсурда могут довести людей партийные стремления. Следовало бы всех этих господ посадить в Совет министров, посмотрели бы они, на какой сковороде эти министры ежечасно поджариваются. У многих быстро бы отпали мечты о соблазнительных портфелях.

Но эти мечты — были очень упорны. А русская власть казалась уже настолько несуществующей, что 13 августа Рябушинский со своей обычной грубостью возьми да и ляпни в своём «Утре России» на всю страну проект нового правительства: премьер — Родзянко, внутренних дел — Гучков, иностранных — Милоков, финансов — Шингарёв, юстиции — В. Маклаков. Из бюрократии оставлены на местах лучшие для общества: военный — Поливанов, земледелия — Кривошеин.

Сознавая своё особое положение не проклинаемого обществом бюрократа, Кривошеин взял на себя и поиск выхода. Заседания Думы продолжились на август. Дума громчала, резчала, — надо было искать с ней сотрудничество. Взору предносилось, как удавалось Столыпину: не воевать с Думой, но управлять, опираясь на думское большинство, — и притом не будучи перед Думой ответственным. Однако в Четвёртой Думе даже большинства не было, а дробные фракции. И Кривошеину первому пришла в голову мысль — создать такое большинство: воз-

можно больше фракций сплотить в блок — и на этот блок премьер может опираться открыто, даже не считаясь с колебаниями и зигзагами царских настроений. Ибо только два пути и могло быть у правительства: либо внушительно указать, что власть в России существует, ввезти железную диктатуру (но ни обстановки такой сейчас немислимо было создать во всеобщей распущенности, ни диктатора такого, человека такого найти); либо — уступить общественности и править с нею заодно.

И думцы — переняли идею. В эти августовские дни в кулуарах и на частных квартирах стали собираться на заседания *прогрессивные деятели* и стало из них выпестовываться и спланиваться желаемое большинство — **Прогрессивный блок** — включая и кадетов и как будто не совместимых с ними октябристов и националистов, исключая только крайне правых и крайне левых. Предусмотрительный трудолюбивый Милюков вёл краткие записи тех тайных переговоров.

Ш у л ь г и н (националист): За то, что кадеты стали полупатриотами, мы, патриоты, стали полукадетами. Мы исходим из предположения, что правительство никуда не годится. Мы должны давить на него блоком в триста человек.

А. Д. О б о л е н с к и й (центр): Напротив, если мы не сплотимся с правительством, немцы нас победят.

Блок создан, но что-то не проявлял расположения к умеренному правительству. В Блоке моден такой образ:

Мы с правительством — спутники, увы, посаженные в одну купе, но избегающие знакомства друг с другом.

(Сравнение — интеллигентское. А — есть ли кто на паровозе?)

В л. Г у р к о (правый): Можно дать стране *все свободы*, а в войне получить поражение. Надо организовать — победу.

Обстоятельный Милюков предложил составить единую для всех программу.

Е ф р е м о в (лидер прогрессистов, бывших левых октябристов): Что — программа! Не программа, а — смена правительства!

Всё же начали обсуждать программу. Это сложно. Всякое естественное требование — уравнивание сословий, введение волостного земства, кооперативы, утверждение трезвости в России на вечные времена — кажется далёким мирным делом. А что неотступно сейчас, ждёт и отлагательства не терпит? Все национальные вопросы, и первее их еврейский.

О б о л е н с к и й: В еврейском вопросе — три четверти значения всей программы. Это нужно для кредита, для значения России. Американцы ставят условием свободный приезд американских евреев к нам.

К р у п е н с к и й: Я прирождённый антисемит, но я пришёл к заключению, что для блага родины необходимо сде-

лать уступки евреям. Евреи — большая международная сила, от них зависит поддержка союзников.

А второй по важности вопрос — амнистия, уже третий год, как нет её.

Оболенский: Пока правительство не даст амнистии, мы ему верить не можем.

Милюков: Причём требовать амнистии всем политическим, включая террористов.

Наташено было в программу многое, а главное:

Привести отечество к победе может только правительство из лиц, пользующихся доверием страны.

«Правительство доверия», то есть кому доверяют триста членов Прогрессивного блока, а значит весь народ. И — кто же эти лица?.. Заветный вопрос. Ясно, что мы, всем известные думские ораторы. Людей этих — знаем. Но —

В. М а к л а к о в: Лица, популярные в Думе, быстро погаснут в министерстве.

Ну уж! неужели справимся хуже, чем тупоумные царские бюрократы?!

Ах, как легко когда-то отвергли Витте с его министерскими постами для кадетов! Как легко отказались от власти в Пятом году — а с тех пор так никто и не предложил больше...

Милюков и склоняет называть кандидатов в желаемый кабинет. Предлагает — он, а называть, естественно, — не ему. Когда станут называть, то первым именем может произвестись...

Неожиданно стали называть — Кривошеина! Вот русская робость, даже среди передовых! Называть бюрократа, когда есть прогрессивные деятели!

Милюков: Это меняет весь политический смысл блокирования.

Как воздуха на горе, не хватало смелости лёгким. От лозунгов к именам — всё же страшно перейти. Как это, не они привычные правители, а мы?

Назвали Гучкова.

Милюков: Это нас не устраивает.

А может быть и правда — ещё преждевременно называть премьера? Опытный, бывалый, даже вялый царедворец Горемыкин, с утомлёнными глазами, пушистыми усами и долгими бакенбардами, свисшими в две боковые бороды, ездит потихоньку между Петроградом и Царским Селом, а с Блоком в переговоры не вступает. Обязанности свои Горемыкин тянул в полном равнодушии к занимаемому посту. Он не делал движений подлаживаться к Думе, по старости не боялся террористов, по опыту — бунта министров, и уже не боялся царского гнева, а жалел царя.

И сам Кривошеин теперь с изумлением увидел, что, столько раз отказавшись от премьерства, так уверенный, что всегда можно за-

ступить вместо старого Горемыкина, — вот и не мог заступить. Такое пришло время: Горемыкин перестал быть согласным, послушным, он дальше всякого смысла упирался в верности царю, особенно в этом проклятом вопросе о смене Главнокомандования. Он тяготил либеральных министров, он портил отношения с Думой, его надо было убрать теперь!

Есть пределы в каждом характере: как и прежде, так и сейчас, Кривошеин просто не решился бы принять на себя ответственность премьера. Он был исконный, природный человек — второго места.

Почти все министры, кроме Горемыкина и старого Хвостова, интриговали, тайно частно собирались — по душному столичному лету на берегу Большой Невки, в Ботаническом саду на Аптекарском острове, на даче Кривошеина. И там, на их тайных совещаниях, стали решаться судьбы правительства. Кем заменить Горемыкина? Пришли к мысли: Поливанов. С Поливановым, человеком Гучкова, Кривошеин был в понимании, и Поливанова будет приветствовать Дума (он в каждом выступлении льстил ей), — и самому Государю должна понравиться такая мысль: в военное время сделать премьером военного министра!

И действительно, Кривошеин представил эту мысль Государю, и тому понравилось, хотя он и не любил Поливанова. Тогда Кривошеин ещё осмелел и предложил взять в министры — Гучкова.

Государь отемнился, сразу уклонился. Гучкова — он понимал как своего личного, закоренелого врага.

И сразу всё предложение ему показалось заговором. (Оно и было им.)

И, рикошетом, он впервые за много лет отвратился и от Кривошеина.

А недремлющие события покатали дальше. Казалось уснувший, почти обойденный вопрос о смене Верховного Главнокомандования взорвала московская городская дума. 18 августа она приняла три резолюции: послать демонстративную восхищённую телеграмму великому князю; требовать *правительство доверия*; и требовать, правда в почтительной форме, приёма своих представителей Государем. Никакой городской думы не было это дело, но московская считалась знаменем российского общества, излюбленным голосом и центром его.

И 19 августа снова завихрились прения в напуганном, бессильном Совете министров. Спорили, не дослушивая и перебивая друг друга. Всего несколько дней назад они все уже примирились со сменой Главнокомандования, искали мягкие формы рескрипта, — теперь московская дума ожигательно подстегнула их прежние возражения.

К р и в о ш е и н: Таковы и мои сведения из Москвы: настроение там очень повышенное, и может создаться обстановка, в которой ведение войны окажется безнадежным. Надо избегать обострять общественное раздражение. Вопрос представляется ещё более широким и принципиальным. В каком положении мы окажемся, если вся орга-

низованная общественность будет требовать власти, облечённой доверием страны? Такое положение не может длиться долго. Надо это откровенно сказать Государю, который не осознаёт окружающей обстановки, не даёт себе отчёта, в каком положении находится его правительство и всё государственное управление. Мы должны открыть монарху глаза на остроту настоящей минуты. Золотая середина всех озлобляет. Или сильная военная диктатура, или примирение с общественностью. Ставшее повсеместно известным решение принять Главнокомандование — пагубное, результаты его будут самыми тяжкими для России и для успеха войны. Увольнение великого князя недопустимо, однако теперь и полный отказ отразился бы на авторитете монарха. Нужен компромисс.

П о л и в а н о в: По слухам, доходящим до военного ведомства, солдаты в окопах высказываются, что у них хотят отнять последнего заступника, который держит генералов и офицеров.

И г н а т ь е в (просвещение): Среди молодёжи высших учебных заведений идёт брожение на почве симпатий к великому князю. Со стороны студенческой массы возможны выходы и протесты.

С а м а р и н: А какое впечатление произведёт на верующих, когда в церквях перестанут поминать на ектеньях великого князя, о котором уже год молятся как о Верховном Главнокомандующем?

Так создалась стена дерзких министров, и Горемыкин согласился не препятствовать их последней попытке. Он доложил Государю — и на вечер 20 августа они были позваны в Царское Село.

Государь поражался: его кабинет бушевал как левое крыло Думы? — хлестнула волна и сюда! И даже ещё в чём-нибудь другом он мог стерпеть их оппозицию, прислушаться к ним, — но как они смели залезать в самую сокровенную глубину царской души: в его долг перед страной, соединение со своим народом? В его царское положение как орудия Божьего Промысла? Почему они лезли туда, где может парить только беззвучие и царская молитва? И что они понимали в военном деле — разве они служили в полках? участвовали хотя бы в манёврах? И разве могли они оценить, что Николаша дерзко повёл себя как повелитель России? — он так использовал свой пост, что и действительно мог бы посягнуть на Верховную власть. И почему Верховное Главнокомандование должно решаться не Царём, но московской думой, но адвокатами и журналистами? да даже хоть и министрами? И не общественная ли запальчивая критика Ставки первая и толкнула Государя на мысль о смене? Целый год Царь казался недвижим и безучастен — и всем это приходилось плохо. Наконец он решился проявить себя — и всем это пришлось ещё хуже.

А командовать своею армией — была его заветная мечта. Его звал к этому жребию внутренний голос, долг Помазанника, независимо от победы или поражения войск. Его совесть не могла обмануть!

И не оставял его поддерживающий голос императрицы:

Они слишком привыкли к твоей мягкой всепрощающей доброте. Они должны выучиться дрожать перед твоим мужеством и твоей волей. Я знаю, как тебе это дорого обходится, но быть твёрдым — это единственное спасение. Слава твоего царствования приходит тогда, когда ты твёрдо держишься против общего желания. Меньше обращай внимания на советы других. Ах, когда ты наконецхватишь рукой по столу и накричишь, что они неправильно поступают. Тебя — не боятся. Ты должен их напугать, иначе все садятся на нас верхом. Если бы твои министры боялись — всё шло бы лучше. Меня приводит в бешенство, что министры ссорятся, это предательство. Ты слишком мягок, так не может продолжаться. Все, кто любят тебя, хотят, чтобы ты был строже. Ах, мой мальчик, заставь их дрожать перед тобой!

Но вот — предстояло ещё раз выдержать столкновение с министрами, — и Государь боялся, зная свою уступчивость, прислушливость, — боялся, что его отговорят. И перед выходом к министрам он расчесался магическим, как уверял Григорий, гребешком, придающим стойкость. И знал, что императрица с Аней Вырубовой будут подходить извне с балкона, к окнам их освещённого вечернего заседания — смотреть на него, молиться и гордиться.

И с напряжением небывалым, уже в крупных каплях пота, Государь выдержал это мучительное заседание 20 августа, выслушивал горячие, слитные отговоры, возражения и убеждения министров — и всё-таки не сдался! Устоял! Стягом всей своей воли, высшим усилием он ответил: да! да! да! Принимаю Верховное Главнокомандование, и немедленно уезжаю в Ставку, и вопрос окончен обсуждением.

Да ведь уже знала вся страна! — как же было отказаться?.. И ещё такое торжество доставить Николаше?..

И оттого, что он так редкостно не уступил хору министров, — Государь им простил их дерзкое сопротивление, простил — за то, что оказался увереннее их. Восторжествовав над ними — он настроился благодушно. (А если б он уступил им — через час он уже тяготился бы своим поражением невыносимо и должен был бы всех их увольнять, освобождаться от них.) И благоугодно согласился: через день, 22-го, торжественно и милостиво открыть Особые Совещания по военному снабжению, топливу, перевозкам, куда члены Думы и общества допускались теперь работать с министрами.

Но ещё 21-го кабинет собрался в Елагином дворце, крайне возбуждённый от своей неудачи. Сазонов и Поливанов исходили от раздражения. У них появился тон такой резкий, как если б они были не из правительства, а из думской оппозиции. Кривошеин вообще отсутствовал,

уже не теряя времени тут. Оппозиционные министры тайно собирались и накануне царскосельского заседания, пришлось им тайно собраться и вновь.

Оказалось, что хотя проспорили с Государем весь вечер — а ничего не решено: каково же будет направление внутренней политики: диктатура или уступки? и что же отвечать московской думе?

Горемыкин предложил: изъявить высочайшую благодарность за верноподданнические чувства. Ему возразили, что это будет ирония, а московская телеграмма написана кровью болеющих за родину людей. Самое правильное — исполнить все пожелания московской думы.

С а з о н о в: Наш долг в критическую минуту откровенно сказать Царю, что при слагающейся обстановке мы неспособны управлять страной, безсильны служить по совести.

Г о р е м ы к и н начал понимать, что министры без него сговорились тайно:

То есть, говоря просто, вы хотите предъявить своему Царю ультиматум?

И г н а т ь е в: Мы должны снять с себя упрёк, что мы молчали в минуту величайшей опасности для России.

С а м а р и н: Вопрос идёт о грядущих судьбах России, и мы участники великой трагедии. В общем голосе страны проявляется здоровое, правильное чувство, навеянное тревогой за родину.

Г о р е м ы к и н: Чрезмерная вера в великого князя и весь этот шум вокруг его имени есть не что иное, как политический выпад против Царя. Добиваются ограничения царской власти. Левые политики хотят создать затруднения монархии и для этого пользуются несчастьем, переживаемым Россией.

С а з о н о в: Мы категорически оспариваем такое истолкование общественного движения. Государь — не Господь Бог. Он может ошибаться.

Г о р е м ы к и н: Хотя бы Царь и ошибался, но покидать его в грозную минуту я не могу. Не могу требовать увольнения в минуту, когда все должны сплотиться вокруг Престола и защищать Государя. Весь этот вопрос о командовании раздут намеренно. Сейчас отказ Государя от своего решения был бы гораздо более чреват последствиями.

С а м а р и н: Я тоже люблю своего Царя, глубоко предан монархии и доказал это всей своею деятельностью. Но если Царь идёт во вред России, то я не могу за ним покорно следовать.

Х а р и т о н о в: Если воля Царя грозит России тяжкими потрясениями, то надо отказаться от её исполнения и уйти. Мы служим не только Царю, но и России. Нельзя

принимать участие в том, где мы видим начало гибели нашей родины.

С а м а р и н: Русскому Царю нужна служба сознательных людей, а не рабское исполнение приказаний. Царь может нас казнить, но сказать ему правду мы обязаны. На порыв обществу мы должны ответить благожелательством.

Г о р е м ы к и н: Русскому человеку нельзя бросать своего Царя на перепутьи. Так я думаю и в таком сознании умру.

И лишь один человек в правительстве поддержал председателя, министра юстиции, старый

Х в о с т о в: Я сомневаюсь в правильности анализа, что мы имеем дело с безкорыстным патриотическим движением. К нему примазываются тёмные личности, его используют для достижения партийных стремлений. Наиболее рьяные патриоты и приверженцы общественных домогательств обращались за активной поддержкой к московским рабочим, но потерпели неудачу: заводы ответили, что будут работать до окончательной победы. Подобные обращения — не патриотический акт, а уголовно наказуемый. Предъявляются требования об изменении государственного строя не потому, что такое изменение необходимо для победы, а потому что военные неудачи ослабили положение власти, и на неё можно давить, ножом к горлу. По-моему, политика уступок вообще непригодна, а в военное время недопустима. Политика уступок нигде в мире не приводила к хорошему, а всегда влекла страну по наклонной плоскости. Призывы, исходящие от Гучкова, левых партий Думы и съездов, рассчитаны на государственный переворот. Это повлечёт за собой гибель отечества.

С а з о н о в: Вы не верите даже Государственной Думе! А она со своей стороны не верит нам. Мы и считаем, что выход — в примирении, в создании такого кабинета...

Так снова и снова спор возвращался к главному. Дело было не в великом князе, а в министрах, которым доверит общественность. Нынешнего правительства не хотела Дума — и сами министры не хотели себя здесь. Они бушевали, не умеря себя и сами себя уже не вполне понимая. И в тот же вечер, собравшись в служебном кабинете Сазонова на Дворцовой площади, у Певческого моста, 8 министров (было бы 10, но военный и морской не могли по уставу) подписали коллективное письмо Государю: их коллективную отставку по несогласию, в сущности ультиматум, — небывалый случай в истории императорской России.

А на следующий день, 22 августа, в Зимнем дворце состоялась заранее назначенная процедура открытия Особых Совещаний по обороне —

и все министры должны были присутствовать и сверкать всеми орденами. Это был акт официального привлечения законодательных учреждений и торгово-промышленного класса к делам ведения войны. Государь произнёс речь, составленную для него Поливановым и Кривошеиным, затем милостиво обходил присутствующих. Министры с тревогой следили за Государем и удивлялись, что он не переменялся к ним в обращении. (А он просто ещё не получил их ультиматума.)

Казалось: страна сотрясается в свои роковые дни — а церемония в Зимнем выглядела мирно, торжественно, благожелательно.

И в тот же вечер, покинув министров в неведении о судьбе их отставки, Государь отбыл в Могилёв, сменять великого князя.

Сего числа Я принял на Себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, находящимися на театре военных действий.

И в тот же день оглашено было важное заявление о создании Прогрессивного блока. Блок от соединения партий не стал средним арифметическим, а полевел, и ещё повраждебнел к правительству.

Каждый день заседали между собой вожди Блока и другие прогрессивные деятели.

Рябушинский: Никакая работа при данном правительстве невозможна. Сейчас клячат в Англии заём. Как только получат — Думу разгонят.

Ефремов: Разгонят Думу — не расхотиться! Воззвание к народу!!

Милюков: Думу ни в коем случае не распускают.

А депутаты, прибывшие из Действующей армии:

Да что вы! Да если только Думу тронут — вся армия встрепётся!

Шквал налетал за шквалом в это ужасное лето. Не успели перебоиться народного взрыва от перемены командования — начинали бояться народного взрыва от роспуска Думы. У Горемыкина лежали уже готовые, подписанные Государем (из-за того, что он уехал в Ставку) указы о перерыве занятий законодательных учреждений, и ему предоставлено вписать день отпуска. Но — какой? но — можно ли?

Хвостов: Господин Милюков, как мне передавали, откровенно хвастает, что у него в руках все нити и что в день смены Верховного Главнокомандования стоит ему только нажать кнопку, чтобы по всей России начались безпорядки.

Горемыкин: Я настолько верю в русский народ, что не допускаю мысли, что он ответит своему Царю безпорядками, да ещё в военное время. При всеобщем шатании умов — смуту создают речи левых депутатов в Думе и злоупотребления печатным словом.

Щербатов: Ведётся напряжённая пропаганда во внутренних гарнизонах и лазаретах.

Григоревич: Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоположительные организации. Сейчас особенно остро на Путиловском заводе: рабочие стоят у станков, но ничего не делают, требуя 20 процентов прибавки. Я очень опасюсь, что прекращение занятий Думы тяжело отразится на внутреннем положении в России.

Горемыкин: Ставить рабочее движение в связь с роспуском Думы — неправильно. Оно шло и будет идти. Не спору, роспуск будет использован для агитации. Но и если Дума будет оставаться, мы ничем не гарантированы. Будем мы с Блоком или без него — для рабочего движения безразлично.

А между тем 25 августа Прогрессивный блок опубликовал и предложил правительству свою программу. Положение ещё более усложнялось.

Что за лето такое ужасное? Какой вопрос ни возьми, все они двоятся, троются, множатся — и где же истина?

Пришли к тому, что нужно провести переговоры, пока неофициальные, частью министров с несколькими вождями Блока. Продемонстрировать, что правительство не отвергает общественные силы.

Анализ программы Блока приводил к удивительному выводу: кроме демагогических всплесков о власти, опёртой на народное доверие, программа Блока была достаточно робкая, его требования либо уже находились в стадии выполнения, либо не были кардинальны, либо Блок не очень на них и настаивал, готов был смягчать и уступать. Требовали политическую амнистию, но легко разгадывалось, что хотят прошения участникам Выборгского воззвания, дать им наконец возможность быть избираемыми, — против этого не возражало и правительство. По польскому вопросу уже многое делалось и ничего ярко определённого Блок не мог присоветовать. Льготы малороссийской печати (не сепаратной, вскормленной австрийцами) ничего не стоило и дать. По еврейскому вопросу сама программа Блока была петлично-сговорчива: «вступление на путь отмены ограничения в правах», — но черта оседлости только что была разломана, открыты все города, а в деревни евреи давно и не просились; и в учебные заведения ограничения для евреев всё снимались, и в профессиональной деятельности тоже. Не вызывала спора «благожелательность в финляндской политике». Да уж куда было больше благожелательности? Финляндия не участвовала в расходах на войну, её марка спекулятивно, головокружительно повышалась за счёт рубля, за счёт основной России; её население было освобождено от призыва и не несло натуральных повинностей. Преследование рабочих больничных касс? Его и не было, если те не служили прикрытием подпольной деятельности.

И вот оказалось, что по большей части программы нет непримиримых разногласий, легко сговориться. Четверо министров встрети-

лись с лидерами Блока с целью взаимного осведомления. И встреча показала то, что уже и было ясно министрам: их разделяли с Блоком не пункты, и в пунктах Блок готов был уступать, но расплывчатая преамбула:

...власть, опирающаяся на народное доверие... Создание правительства из лиц, пользующихся доверием страны.

(Так сразу — доверием целой страны.)

Что ж это за люди? Где они?

Вожди Блока подразумевали самих себя, и вся-то программа их только и сводилась — к людям, которые составят власть. Нынешняя обстановка казалась им очень удобной для такого вхождения. Они ждали возможностей поторговаться, а роспуска Думы как будто не ожидали.

Г о р е м ы к и н: Правительству нечего идти в хвосте у Блока. В нынешней внутренней и внешней обстановке надо действовать, иначе всё рухнет. Разойдется ли Дума тихо или со скандалом — безразлично. Никого, кроме газет, Дума не интересует и всем надоела своей болтовнёй.

Это заседание, 28 августа, Горемыкин вёл в прежнем убеждении, что обсуждается только факт, акт и дата роспуска Думы, и всё никак он не мог получить ясного согласия от министров. А между тем воротившийся из Москвы и долго сидевший непроницаемо молча, вступил

К р и в о ш е и н: Какое возможно при роспуске правительственное заявление в Думе? Ведь требования Думы и *всей страны* сводятся к вопросу не программы, а людей, которым ввернется власть.

Да ведь уже 7 дней прошло, как они решились на коллективную отставку — а Государь молчал. Весьма сомнительна была милость Государя, оставлявшего бунтовщиков на местах. Теперь возник неповторимый момент: овладеть правительством, опираясь на разгон Думы!

Мы, старые слуги Царя, берём на себя неприятную обязанность роспуска Думы и вместе с тем твёрдо заявляем Государю Императору, что положение страны требует перемены кабинета и политического курса. Пусть Государь пригласит определённое лицо и предоставит ему наметить своих сотрудников

(как ещё никогда в России не делалось, Государь всегда сам назначал всех министров).

Г о р е м ы к и н: Значит, поставить Царю ультиматум — отставка Совета министров и новое правительство, в согласии с пожеланиями Прогрессивного блока? Навязывать Государю Императору личностей, ему не угодных, я не считаю возможным. Мои взгляды архаичны, мне поздно их менять.

Но к прениям опоздал С а м а р и н. И хотя именно он неделю назад был главным зачинателем коллективной отставки — теперь он показал свою самобытность:

Я бы затруднился подписаться под ссылкой на желание всей страны, ибо анкеты не было и никто истинных стремлений не ведаёт. Государственная Дума не может считаться выразительницей мнения всей России, её непримиримые требования зависят от партийных соображений и интересов. Если же смена правительства есть наше личное требование, то мы не в праве переносить на Государя тяжесть выбора и тем отягощать его трудное положение. Надо представить Его Величеству основания программы и одновременно доложить, что в Совете министров нет сплочённости и поэтому мы ходатайствуем о создании взамен нас другого правительства. И тогда наш долг указать приемлемое лицо, ибо общие фразы об общественном доверии ничего не значат и являются лишь приёмом пропаганды. Если же Государь наше общее ходатайство отклонит, каждому из нас останется поступить, как подскажет долг верноподданного своего Царя и слуги России.

Всё расплылось, и Горемыкин уже не мог просто вписать в указ недостающую дату отпуска. Уже несколько дней сказывалось отсутствие Государя в столице. Горемыкин повёз свои старые кости в Могилёв — получить решение о Думе и доложить Государю о новом министерском бунте. Этот осмеянный всем русским обществом старик сохранял мужество и твёрдость взгляда, которых не было у его министров, ни у лидеров Думы в их расцветном возрасте. Он незамутнённо видел, что ещё новое волнение его министров — ажиотажное, до потери самоконтроля, но без веского основания. Уезжая в Ставку, он сказал:

Тяжело огорчать Государя рассказом о слабонервности Совета министров. Моя задача — отвести нападки и недовольствия от Царя на себя. Пусть ругают и обвиняют меня — я уже стар и недолго мне жить. Но пока я жив, буду бороться за неприкосновенность царской власти. Сила России только в монархии. Иначе такой кавардак получится, что всё пропадёт. Надо прежде довести войну до конца, а не реформами заниматься. Когда повсюду видишь упадок веры и духа, тысячу раз предпочтёшь отправиться в окопы и там погибнуть.

В Могилёве он доложил Государю обо всех новых разногласиях в правительстве, предлагал и своё увольнение как выход. Получил высочайшее повеление: Совету министров оставаться на своих местах, а Думу немедленно распустить на вакансии.

1 сентября Горемыкин воротился из Ставки. 2 сентября на заседании правительства царя небывалая нервность, у Сазонова почти до истерического состояния. Поливанов, по свидетельству секретаря, обливался желчью и готов был кусаться, держал себя в отношении Горемыкина неприлично. Кривошеин был безнадежно грустен. (Вот, он решился наконец на прямые действия — а события отталкивали их.)

Поливанов: За роспуском Думы все ждут чрезвычайных событий, всеобщей забастовки.

Горемыкин: Одно запугивание, ничего не будет.

Сазонов: Говорят, члены Думы вместе с Земским и Городским съездами собираются провозгласить себя Учредительным Собранием. Везде всё кипит, доходит до отчаяния, и в такой грозной обстановке последует роспуск Государственной Думы. Куда же нас и всю Россию ведут? Для всякого русского человека ясно, что последствия будут ужасны, что во весь рост встаёт вопрос о бытии государства. Что побудило Его Величество на такое резкое повеление?

Обстановка действительно была удручающая. Только что открытые Особые Совещания претендовали руководить всеми делами оборонного снабжения через общественность — и даже посылать в Америку для казённых закупок представителей Земгора, а не правительства.

Щербатов: Земский и городской Союзы являются колоссальной правительственной ошибкой. Нельзя было допускать подобные организации без устава и определения границ их деятельности. Их личный состав и конструкция не предусмотрены законом и правительству не известны. В действительности они являются средоточием уклоняющихся от фронта, оппозиционных элементов и разных господ с политическим прошлым. Эти союзы произвели фактическое, захватное расширение полномочий и задач.

Кривошеин: Князь Львов стал фактически чуть ли не председателем какого-то особого правительства, он спаситель положения, он снабжает армию, кормит голодных, лечит больных, устраивает парикмахерские для солдат — какой-то вездесущий Мюр и Мерелиз. Но кто его окружает, его сотрудники, агенты? — это никому не известно. Вся его работа вне контроля, хотя ему сыплют сотни миллионов казённых денег.

И теперь эти два подозрительных союза чуть ли не намеревались объединиться в Учредительное Собрание России? И на этих днях в Москве они громко и грозно собирали свои съезды. А так как эти съезды изображали себя учреждениями, то закон даже не мог послать туда чиновников для наблюдения.

Щербатов: Что прикажете делать министру внутренних дел, если в Москве я не обладаю полнотою власти, там распоряжаются военные. Взрыв беспорядков возможен каждую минуту, а у власти в Москве нет почти никаких сил: один запасной батальон в 800 человек, из них половина занята караулами, сотня казаков, да две ополченских дружины на окраинах. И всё это — далеко не надёжный народ, двинуть его против толпы будет трудно. В уезде войск

совсем нет. Городская и уездная полиция не соответствует потребностям. Ещё в Москве — 30 тысяч выздоравливающих солдат, это буйная вольница, не признающая дисциплины, скандалящая, отбивающая арестованных в стычках с городовыми. В случае беспорядков вся эта орда станет на сторону толпы.

Вся беззащитность русского государства. Её и видели — и не могли внять.

С а з о н о в: И съезды Союзов будут происходить на фоне роспуска Думы. Не жду ничего хорошего.

А Прогрессивный блок, торопя свою победу, перешагивая почти не существующее правительство, обратился прямо к Государю с меморией: теперь же учредить правительство доверия и точно определить направление политики (в пользу общества, разумеется). И им это казалось вполне возможным в обстановке тех дней. Волновались и московские рабочие, бастовали петроградские, к забастовке Путиловского присоединился Металлический (на поддержку забастовщиков всё время брались откуда-то обильные таинственные деньги) — и требовали не распускать Думу и вернуть из Сибири большевицких депутатов.

Однако 3 сентября опубликовали указ о перерыве думских занятий — но армия не *встрепенулась* вся, как грозили.

Собралось бюро Блока на частной квартире. Тянулись руки — чем-то ответить обнаглевшей короне.

Е ф р е м о в: Если примиримся с роспуском — значит, говорили на ветер. Первое средство борьбы: выход всех членов Блока изо всех Особых Совещаний.

Всегда невозмутимый и точный

В. М а к л а к о в: Участие в Совещаниях не есть акт доверия правительству, а работа на Россию. Что ж, тогда пусть и Россия погибает? Если бы страна забастовала, власть, может быть, и уступила бы ей, но *этой* победы я бы не хотел. Наше лучшее реагирование на разгон — в том, что мы промолчим.

Отчуждение с властью было — непереходимо, непреодолимо.

Но — чем ответить? Не расходиться? Объявить себя Учредительным Собранием?

Действие перенеслось в Москву, главный центр противоправительственного раздражения. Московские круги придумали: создавать по всей империи «коалиционные комитеты» в поддержку блока. И — торопили съезды Союзов земств и городов, по телеграфу созывали их экстренно на 7 сентября.

Тем временем императрица в ежедневных обширных письмах общала в Ставку и предупреждала:

Левые в ярости, потому что всё ускользает из их рук. Запрети съезд в Москве, это будет хуже, чем Дума. И думцы тоже хотят собраться в Москве — пригрози им, что за

это Дума будет созвана позже. Я теряю терпение с этими болтунами, вмешивающимися во всё. И следует крепко забрать в руки прессу: они собираются выступить с кампанией против Ани — это значит против меня, собираются писать о нашем Друге и Ане — всё для того, чтоб и меня запутать.

(И помощнику военного министра по цензуре было послано: запретить какие-либо статьи о Распутине и Вырубовой.)

Я уверена, что за всем этим стоит Гучков. Надо бы отделаться от него. Он стремится к анархии, и он противник нашей династии — отвратительно видеть его игру, его речи и скрытую работу... Ах, неужели нельзя было бы повесить Гучкова?.. Серьёзное железнодорожное несчастье, в котором он бы один пострадал, было бы хорошим Божиим наказанием и хорошо заслуженным.

А московские рабочие (теперь они чувствовали себя крепко: в армию их уже перебрали, везде на заводах не хватало, и начинали из армии возвращать) — на перерыв Думы ответили трёхдневной забастовкой, зримее же всего — стал московский трамвай. Ловя подорожавших извозчиков или прошагивая много кварталов пешком, осязали московские деятели эту тяжёлую убедительность материального аргумента. И начали склоняться, что всякая смута — помощь внешнему врагу.

Но как же вести съезды Союзов и что там говорить? Собственно, съезды Союзов должны были заниматься практической помощью фронту. Но узнав, что родина на краю гибели, оба съезда, то порознь, то вместе, стали обсуждать *текущий момент*.

М. Ф ё д о в: Теперь *не время для деловых разговоров*. Мы, очевидно, накануне вооружённого восстания!

(О, как давно оно грезилось, в своих таинственных пурпурных ризах!)

Недалеко то время, когда штыки с фронта повернутся на Петроград. Мы должны спасти Россию.

На обоих съездах всё же склонялись к тому, чтобы послать Государю депутацию и осведомить его о настроении всего русского общества (как это делали в 1905). А если депутация не поможет, то мы знаем, что нам нужно будет делать.

Впрочем, резко возражал против депутации, считая её бесполезной и унижительной для общества, а ответ — известным заранее, присяжный поверенный

М а р г у л и с: Время челобитных прошло. Сейчас — *требуют*, а не просят! И подкрепляют требования — *силой!*

Левое крыло городского съезда требовало не к царю обращаться, а прямо к народу! Прекратить обслуживание фронта и тыла, начать открытую борьбу с правительством!

Но большинством съездов избрали именно депутацию к Государю, чтобы раскрыть ему глаза, что правительство обманывает его, не желая

доводить войну до победного конца. Голосовали за почтительный всеподданнейший адрес.

Всё ж при закрытии земский съезд поднялся и крикнул царю троекратное «ура».

Кажется, это первый — и последний — раз за два десятилетия своего царствования император Николай II выдержал две недели волевого усилия в одном направлении не сбываясь.

И хотя всё взметнулось и вскричало, предвещая катастрофу, — тут же всё и улеглось. Не сотряслось бытие государства, и Россия не окунулась в бездну, и не потекла реками кровь. Вдруг даже окончилось самое грозное отступление этой войны. Давно ли эвакуирован Киев, считали пропащими Ригу, Двинск, опасались за Псков, — а вот остановились. Прекратилась беженская волна. Угомонялся тыл. И даже снаряды стали появляться. И теперь устояние наше даже можно было приписать новому Верховному Главнокомандующему.

Оппозиция не утихала, пожалуй, только в Совете министров. Государыня зорко следила за министрами и сообщала в Могилёв, и понуждала:

Горемыкину невыносимо управлять министрами, так как все против него. Он очень просится отпустить его. Щербатов отказался послать лиц от министерства внутренних дел наблюдать за сентябрьскими съездами в Москве. Поливанов показывает Гучкову все военные распоряжения и все военные бумаги. Кривошеин тоже слишком много в контакте с Гучковым, он тайный враг и фальшив по отношению к Горемыкину, ведёт подземную работу. А Сазонов — хуже всех, кричит, всех волнует и вовсе не является на заседания. (Но где взять человека вместо Сазонова?..) После заседаний они расходятся и рассказывают обо всём, что обсуждалось. Ненавистные министры, их оппозиция приводит меня в ярость! Мне так хотелось бы отхлестать почти всех министров и поскорее выгнать Щербатова и Самарина. Ты должен разнести их! С Самариним — я теряю голову и прошу тебя торопиться. Не дай унижать Государя или его жену. Ты не имеешь права смотреть на это сквозь пальцы, это последняя борьба за твою победу. А как только уйдёт Самарин — ты должен пустить в ход твою метлу и вычистить всю грязь, которая скопилась в Синоде. Агафангела — услать на покой, других двух — убрать из Синода. Выгони всех, пожалуйста, моя птичка, и поскорее!

На 16 сентября все министры были приглашены в Могилёв. Они были провезены в губернаторский дом — и там на заседании Государь, с трудом сдерживаясь, произнёс как будто спокойную, сухую речь —

ответ на их коллективное заявление. Подписавшим министрам он выразил крайнее своё неодобрение. Теперь министры могут видеть и насколько они ошиблись по существу. Истинная Россия думает иначе (и Государь получает многочисленные телеграммы с выражением восторга). Суждения министров он объяснил «страшно нервной атмосферой Петрограда». Вот здесь, в тишине и спокойной обстановке, он смотрит на вещи иначе.

Наступило мучительное молчание. Невозможно было министрам ничего не ответить, и трудно было что-либо сказать. В коротком обращении Государя можно было увидеть, как раз наоборот, признание его поражения: вот он отодвинулся ото всех бурь и пытается показными телеграммами. Ушёл от центра власти и центра борьбы, и как это может сказаться на судьбе России? Разве на нём держалась Ставка? Разве без него мог функционировать правительственный Петроград?

А можно было видеть и так: что они, министры, переоценили роль общественной негодовательной волны. Вот она и схлынула, а государственный корабль идёт. Их коллективное письмо было пережимом — расчётом на государеву слабость.

После царского реприманда было ясно, что министрам-бунтовщикам придётся уходить в отставку. 26 сентября были уволены Самарин и Щербатов. Тем более ясно теперь видя всю безтолковость, нестройность августовской пьесы — и со стороны общества, и со стороны министров, и справедливо не рассчитывая на царское прощение, Кривошеин понял, что, не дожидаясь отставки от царя, должен подать сам. (Да и не мог он задерживаться в реакционном правительстве, не позоря себя в глазах общества.) Государь сразу облегчился, почти обрадовался: теперь он не должен был сам увольнять своего долголетнего сотрудника. Отставка Кривошеина была объяснена расстроенным здоровьем, сопровождается самым похвальным государевым рескриптом и орденом Александра Невского.

Ещё оставалось решить о приёме земско-городской депутации. Но Союзы были невыносимы. Они занимались не своими делами, вносили в воюющую страну хаос, подрывали дух войск, теперь лезли и вовсе не в своё дело управления государством. (Но вы же сами их великодушно утвердили, Ваше Величество?..) И не были они настоящая сила, только очень громкий голос исходил от них. И на съездах уже прозвучали намёки о сепаратном мире?

А ещё — саднило Государя воспоминание о приёме земской делегации в Петергофе, в 1905. Ведь он тогда с открытым сердцем поверил им и был милостив, а они потом — улюлюкали, и сами надсмехались над своей делегацией, и открыли, что это был — всего лишь манёвр.

И — опять?..

И указал Государь через министра внутренних дел, что не может принять депутацию по вопросам, не входящим в прямую задачу земско- и городского Союзов (помощь раненым).

И — всё верно. Так.

Но — когда-то же и к чему-то же надо было склонять самодержцу ухо, хотя бы в четверть наклона. Можно было представить, что в этой огромной стране есть думающие люди и кроме придворного окружения, что Россия более разномысленна, чем только гвардия и Царское Село? Эти беспокойные подданные рвались к стопам монарха не с кликами низвержения или военного поражения, но — войны до победного конца. Просила общественность — политических уступок, но можно было отпустить хоть царской ласки, хороших слов. Выйти и покинуть светлыми очами. Всё это было у них неискренне? Ну что ж, на то ремесло правления. Нельзя отсекал пути доверия с обществом — все до последнего. Даже после пылающего лета 1915 года, сдачи Варшавы, грозного отступления — ещё многое можно было исправить добрыми словами. Всё же — смертельная рознь власти с обществом была болезнь России, и с этой болезнью нельзя было шагать гордо, победно до конца.

Но за десятками нерастворных дубовых дверей неуверенно затаился царь.

Пребывающему долго в силе бывает опрометчиво незаметен приход слабости, даже и несколько их — включая предпоследний.

20

Жил Шингарёв на Петербургской стороне, на Большой Монетной. Извозчики сильно подорожали, да уже за день перенял Воротынцев бережливую сжатость семьи, что оскорбительно мотать на извозчиков, а лучше добавить в нянино хозяйство (дрова подорожали вчетверо, мясо и масло — впятеро). И Верочка со смехом рассказывала, как один важный прокурор, опаздывая на доклад к министру, а трамваи набиты, а извозчики не попадают, — нанял пустые дровни из-под угля и, стоя с портфелем, балансировал в них по Фонтанке. И с душевной свободой поехали брат с сестрой трамваем.

Уже повидал Воротынцев сегодня кусок вечернего Невского, и обидно сжалось сердце. Множество красиво одетого и явно праздного народа, не с фронта, отдыхающего, — но свободно веселящегося. Переполненные кафе, театральные афиши — всё о сомнительных «пикантных фарсах», залиvistые светы кинематографов, и на Михайловском сквере, в «Паласе», рядом с верочкиным домом, — «Запретная ночь» (подумал: мерзко ей), — какой нездоровый блеск, и какая поспешная нервность лихачей — и всё это од-

новременно с нашими сырыми, тёмными окопами? Слишком много увеселений в городе, неприятно. Танцуют на могилах.

Теперь избежали Невского: скосили по Манежной площади мимо Николая Николаевича-старшего, невдали от Инженерного замка дождались синего и красного огоньков второго номера, уже не переполненного в вечерний час, — и повёз он их, как будто выбирая и показывая (да только уличного освещения не хватало сейчас), что есть покрасивее в Свято-Петрограде: с оглядом на Михайловский дворец через Мойку, Лебяжьей аллеей вдоль Марсова поля и прокидистым Троицким мостом с лучшим видом столицы от туда налево — на Зимний со звеньями Эрмитажа, на стрелку Васильевского, особенно в тот миг, когда причудливые и мощные роstralные колонны, угадываемые в подсвете уличных фонарей, захватывают Биржу точно посеред себя и тут же, обращаясь, упускают. Одно светилось, иное было темно, но привычный взгляд вспоминал и в темноте всё равно как бы видел и контуры, и цвета, а больше — бурый нездоровый цвет петербургских дворцов.

Смотрел-то Воротынец смотрел, и любовался с отвычки, но истога москвича не собьёшь, не смутишь: наша Москва — с душой, а тут — нет. Наша Москва всегда лучше.

Да и трамвай петербургский — не московский: у нас в трамвае незнакомые соседи разговаривают, здесь — тишина, только спутники между собой.

А там — успевай переводить глаза на крепость, всегда различимую на небе, если оно не вовсе черно (тёмный призрак, та крепость и та стена, напоминание всем будущим заговорщикам...). И покатил трамвай самым современным, самым лощёным проспектом столицы, успешливым соперником Невского. А вот уже и сходить. От Каменноостровского направо недалеко было им пешком.

Дорогою, подготавливая брата, Вера рассказывала ему о Шингарёве ещё, и он со вниманием слушал. По нужде Шингарёв стал и финансистом: профессоров-кадетов в Думе полно, а специалиста по финансам не оказалось, так взялся он. Знаменитые его бюджетные турниры с Коковцовым... Недоброжелатели из своих же кадетов зовут его дилетантом: мол, где-то надо остановиться...

Георгий прислушивался и к самому голосу сестры — тихому, уговорливому, что не болтает она по-сорочьи, но подаёт самое важное. Ещё от первой минуты, как увидел её, тоненькую, миловидную, на перроне, поразился, что мало думал о ней все эти годы,

как мало чувствовал, что есть у него такая сестра — не яркая, не дерзкая, а взгляд такой понимающий, такой свой. И сейчас в трамвае: не потому, что твоя сестра, но правда же — какое скромно одушевлённое лицо. Человеку, кто направляется в трудную самоотверженную жизнь, только на такой и можно жениться: неслышно, неустанно, незаметно горы переверотит избранному, в постоянном некрикливом, работливом скольжении. И почему, правда, сестрёнка, всё не замужем? Благодарность и даже влюблённость в сестру всё более забирали Георгия сегодня.

Рассказывала Вера, что Шингарёв одновременно и гласный петроградской думы и гласный усманского земства, и половину России объехал с общественными лекциями, с успехом невероятным:

— Он даже статистику так излагает, что заслушиваются люди. Не какой-нибудь блеск в его речах, он даже может и неправильно выразиться, а вот... искренность! захваченность!

Между тем, придерживая под невесомый локоток, вёл её Георгий по Большой Монетной, и номера нарастали. Тут ещё немного пройти, и дома попростеют, будет граница приличного района, уже рядом с малоприличной Выборгской стороной.

— Он очень русский человек, но активность у него даже не русская, вроде твоей, почему я и думаю, что вы друг другу поправитесь.

— Слушай, а мы не наскочим на какое-нибудь кадетское собрание?

— Петербург! Жизнь в том и состоит, что друг ко другу всё время ходят и обмениваются — новостями, мыслями, теперь вот *списками*... Чем-то надо гражданские свободы заменять.

Вот был и 22-й номер, по фасаду отделанный под светлый плиточный кирпичик, значит постройки недавней. В парадное. Лифта нет, но лестница — шире обычной, можно рядом свободно идти троим, и окна лестничной клетки — трёхстворчатые, просторные.

— Пятый этаж? Всё-таки не понимаю. Такое положение в Думе, в партии — почему уж так стеснённо живёт?

Лёгким дыханием, несмотря на подъём. Вера объясняла:

— И даже за такую квартиру он отдаёт половину думского жалованья. Депутатам платят весьма умеренно. Да по пятьдесят рублей теперь каждый отдаёт на думский санитарный поезд. Да — пятеро детей. Да — трём племянникам ещё посылает. Да он и ас-

кет прирождённый: удобств не ценит, к еде равнодушен, сладкого совсем не ест. Он и сам вырос одним из шестерых детей.

— Вы так близко сознакомились?

Потолки не снижались, однако, ни на третьем, ни на четвёртом. На дверях квартир — узорчатые чугунные номера.

— Я сама: через меня предлагали ему литературную работу — так он и не всякую берёт. А только — какая по душе, хоть и бесплатная. Ну, вот ещё за лекции получает. Семья у него, правда, трудовая, поворотливая, особых забот не требует. А сам уж — и болен, на воды посылали. Годами без отпуска, месяцами без отдыха.

Из далёкого фронтового угла, из землянки представлялись главные думцы на некоей сияющей высоте, поставленные высоко над средними русскими гражданами. И вот не соединялось это теперь с рядовой петербургской квартирой и всем вериным рассказом. С тем большим интересом поднимался Воротынцев.

Лидеры кадетов, подобно знаменитым артистам, изображались на почтовых карточках. Так видел Воротынцев Милюкова, Маклакова, Родичева, Набокова — а вот Шингарёва почему-то нет.

А он сам и дверь распахнул, Андрей Иванович, — и каково это движение было, и всё сразу, охватимое одним взглядом, ещё не разделённое на признаки, открыто передавало, что этот человек из себя ничего не корчит, не строит.

— Здравствуйте, здравствуйте! Высоковато? Я, знаете, по сельской привычке терпеть не могу, чтоб у меня над головой ходили.

Энергично подал большую ладонь, жал не расслабленно.

— Зато, — пошутила Вера, — как и прилично теневому министру финансов — на Большой Монетной.

— Да разве вы ещё сельский?

— Вот, тринадцать лет по городам, а привыкнуть к городу не могу.

Правильно ли показывал первый взгляд, неправильно, но сердце Воротынцева всегда шло по нему. И сейчас, отстёгивая в передней оружие, зародовался он, что можно со встречной открытостью, без чинов, без кривляний.

— Мы-то — в земле живём, над нами — всё топают.

Обе верины руки подхватил Шингарёв размашистей, чем это делают:

— Ну как хорошо! Как хорошо, что привели.

С первого вида и гласа вступал в душу этот человек.

Квартира вся в глубину, там кто-то ходил, был, выглянула девочка из другой двери, но кабинет Андрея Ивановича — тут же, первый. Тем же широким движением хозяин распахнул, пригласил и Веру, но та:

— Спасибо, спасибо, я — к Евфросинье Максимовне.

Узкая комната, ещё суженная книжными полками с обеих сторон да стульями, однако не свободными: на каждом стопы журналов, брошюр, бумаг. Проваленный диван — и тот не весь свободен, и на нём стопа. К единственному окну в глубину удвинут письменный стол, а на нём — тот ужасный разброс и наброс, который только одним хозяином понимается как осмысленный порядок.

А уж хозяин, в костюме домашнем, не новом, держится ещё и проще своего пятого этажа: вот, председательствует в военноморской комиссии Думы и важен ему всякий понимающий человек с фронта, чтобы перенять наблюдения и выводы: сам же за всеми делами много не выберешься в Действующую. В этом году и в Европу катались на два месяца парламентской делегацией, и там успевай понимать. Мотался и на Западный фронт — но наездом, посторонними глазами — что увидишь? А заседаю в Совещании по обороне или в думских комиссиях, сколько надо чужого опыта собрать, соединить, стянуть, чтоб уверенно опираться. И он старается чаще видеть армейцев, очень нужны свежие оценки.

— Да знаете, фронтовому офицеру только и мечта, чтоб тебя послушали, ведь колотиться — пожаловаться некому.

На продавленный диван усаживая, а себе подтягивая плетёный стул:

— Так вы в какой армии сейчас?

— В Девятой.

— У Лечицкого? Кажется, хороший генерал, да?

Верно видит, молодец.

— Из лучших.

— Значит, вы — с самого, самого левого фланга?

— Как шутили до этой осени: мы — «крайние левые», левее всех социалистов. Того крайнего левого фланга, где был у нас бок защищён, а теперь румынами обнажился. И — потекло.

Вопрос — ответ, вопрос — ответ, — деловые, понимает, помнит. Да, да, с Румынией — всё самое горячее и непонятное. Как же Добруджу отдали? Как там Дунайский корпус? А что под Дорной-

Ватрой? (И без карты всё представляет, молодец.) Почему же мы отступаем? А летние месяцы ваша Девятая ведь наступала, и удачно. Так — боевой дух сохраняется?

Вот ему что — боевой дух! Сейчас, сейчас, будем добираться, через румынские участки. Ждёт его узнать куда больше, чем он доведывается.

Но тут же и остановил Шингарёв — раз, и другой: дело в том, такая случайность, позвонил Павел Николаич, он тут, на Петербургской стороне, и собирается зайти, вот в течении часа...

— Павел Николаич? Простите, это... ?

— Милюков. Такой случай жалко пропустить, ему тоже бы очень надо послушать! И Фёдор Измайлович придёт... Вот мы бы все сразу толком вас и послушали.

Ах вот как, всё-таки затащила Верунька на сборище. Ну что ж, даже и забавно начинается Петербург.

А пока — что? А пока Шингарёв, виноватый в задержке, и сам готов — отвечать, объяснять. Вот он весь, неукрывный, не похожий на думского лидера. Подстрижен, правда, как модно у общественных персон — бобр, лишь чуть длинней. И на голове, в усах и в бороде уже непоправимо двинулся тёмный цвет в проседь. Но в рассеянном свете матового колпака настольной лампы — вот эта карточка на стене: в белой косоворотке навывпуск, с кроликом на коленях — молодой лохматый весёлый цыган, прицыганенная порода, как много у нас по прежней степной границе, — и спросить неловко, вдруг не попадешь, и не удержаться:

— Неужели вы?

И самому не верится? — где теперь эти буйные, неулёжные чёрные волосы враспад, эти глаза горячие, бегучие, — улыбка! вскочить в секунду! — бежать, скакать, делать!

Двадцать лет назад, даже не земский, вольнопрактикующий врач за пятачок. Тех сельских участков, ему намежёванных, скудость, убогость, невежество — как же вспоминаются нежно:

— То корова «не пришлась по шерсти» домовому — значит, продавай. То от скотьего помора голые бабы идут вокруг деревни и пашут... А эта «народная медицина»? Трудные роды, так свешивают мать вниз головой с печи и — гонца в церковь за три версты: просить батюшку открыть царские врата, чтоб роженице легче. А детям — *пригрызают грызь? А — умывают с уголька?*

Он как будто жаловался на народ? Но — не с презреньем, а с печальным состраданьем.

— В Усманском уезде, где у меня хутор сейчас, — поразвитей, почище, и всегда были. А в Ново-Животинном, где мы эту статистику проводили, боюсь, что и сегодня... К земле прикованы как обречённые. Уже безземельны, безлошадны, нищи, двор неогорожен, хата убога, живут уже не от земли вовсе, отхожими промыслами, а всё равно: земля! Копаются в последнем клочке.

— А когда вы последний раз там были?

— Да уже семнадцать лет. Сейчас — везде лучше, да, и даже несравненно, деревня — другая, но ведь я же не врал: в 99-м году так было: что зимой не хватало кислой капусты! не сварить щей! Кто же смел так довести деревню, скажите!?

Его голос нутряной, забирающе-искренний, повлажнел.

— Ново-Животинное стоит над Доном. Вдоль берега — мощные слои известняка. Известняк — ничей, как говорится Божий, издавна его ломали на строительные работы. Так нашёлся сукин сын догадливый, свой же мужик, наплевал и попрал это народное представление — *ничей*. И отеческое начальство ему помогло: в Воронеже сунул взятки кому надо и все эти залежи получил в аренду. И никто уже больше не смел брать известняка, все подчинились, деться некуда. Вот так разлагается народная душа — и непоправимо от нас уходит. И как же можно с этим — на пять минут примириться и не бороться?

Даже не видя бы приветливого лица Шингарёва, только один его голос слыша, тембр удивительный, нельзя было к нему не расположиться: этот голос, ещё рождаясь, ещё по пути, как будто снимал с души всё тепло, не жалеючи, не оставляя в запас, — и выносил на собеседника:

— Раньше ломали камень вольно, везли в город, от себя продавали. Тут стали получать у арендатора, сколько заплатит, лучшему работнику 30 копеек в день. Вкапывались узкими шахтами, душно, сыро, керосиновый ночник, согнутая поза. Креплением уже никто не занимался, лишь бы заработать, верхние слои обваливались, особенно весной. То про одного, то про другого: «задавило горой». Один молодой, кормилец семьи, не успел выскочить за товарищем — глыба в спину, паралич обеих ног, калека, и хуже: отказал сфинктер прямой кишки, отходы не сдерживает. И вот лежит на соломе в тесной избе, без ропота, и родители, и жена тоже покорились: знать, Бог велел... Страстотерпец наш великий, безответный серый русский люд...

Пробрало Воротынцева — и тот сукин сын арендатор, и тот парень раздавленный... Верный человек Шингарёв — и понимает, что надо. Да, он и солдатское горе поймёт, ему — и не стыдно будет открыть такое, что вообще офицеру стыдно. Они друг друга поймут. Удачно попал.

— ...Не перестанешь поражаться ему никогда. Но и надежды на него не удержишь: нет, сами они свою жизнь никогда не изменят. Вытащить их можем — только мы.

Каменоломня ли та. Дифтерит на грязной соломе. Или всё, что стугилось в окопах за двадцать семь месяцев войны?

— ...И как же пять минут жизни отдать — чему-нибудь другому?.. Я пошёл в народ — лечить. Но, собственно, — и не лечить. Что ж прикладывать пластырь голодному и безграмотному? Нет, ты разгрузи его спину, ты просвети его нагнутую голову. С университетских лет меня и поразило этот разрыв: между торопливыми идеалами интеллигенции и покорной непросвещённостью масс. Разрыв — слишком опасный для страны, этак ей несдобровать.

— Сегодня он — не меньше, — предупредил Воротынцев, уже о своём.

— Конечно, и сегодня не меньше, в том и беда, — не понял Шингарёв. — Тем хуже. И значит, задача не изменилась с конца того века: всеми силами, как можно скорей, сближать верхи с низами. В этом — решение всех русских вопросов. А нам времени не дают. Тогда — война началась, потом революция, потом реакция, теперь — опять война, ничего мы не успеваем. Сближать — а как? Мне казалось, что естественней всего врачу: он в каждую хижину входит как свой, желанный.

Так и вязалось у Шингарёва в те годы: сперва — санитарные условия деревенской жизни, а их не понять без крестьянского бюджета, а дальше надо понять и бюджет земства. Сперва — устройство амбулаторий, школьных горячих завтраков, яслей-приютов на время страды, а там — печатные работы, публичные выступления, в 26 лет — уже гласный тамбовского губернского земского собрания, и борьба против князя Челобаева, главы тамбовских консерваторов.

Но что можно было сделать в земстве, если ему не давали даже поговорить спокойно, а его лучшие проекты возвращались с выговорами? Сами же допустили общественную мысль — и сами же потом надругались над ней. Всё больше вырисовывался конфликт с центральными властями, с правительством.

А это — совсем уже как бы не о прошлом, это сегодняшний день и есть, и этому полковнику тоже надо было отчётливо понимать:

— В 902-м году собрал Витте земский съезд о «нуждах сельскохозяйственной промышленности» — первый земский съезд! Все заволновались, везде отголоски. Выступил и я в Воронеже с докладом: «Что казна взимает с населения и что даёт ему взамен». Так приехал давить нашу крамолу сам товарищ министра внутренних дел! И за мнения, высказанные не по нашему задору, а по запросу Витте, разносил уважаемых, пожилых людей, не стесняясь ни возрастом их, ни положением, высмеивал, издевался. С той безбоязненностью, с тем хамством, которое так свойственно самодержавной русской бюрократии! Меня как букашку даже не вызывали, просто взяли под полицейский надзор. Но именно и было тяжело, неловко — остаться не пострадавшим, когда вокруг крушат честных людей. Только когда ко мне пришли с ночным обыском — только тогда отлегло, стало чисто на душе.

Воротынцева уже брало нетерпение — начать бы говорить о своём главном, а то ведь придут помешают. Но не решался он прервать, когда так охотно рассказывал именитый депутат. Странно, Воротынцев эти же годы жил в России, и самым напряжённым образом, а вот этого не знал, как и Выборгского воззвания.

И так он сидел, утопленный в старом диване, и выслушивал давно изжитые подробности пятнадцатилетней давности. А Шингарёв — с плетёного стула, повыше.

Вот так и закручивался беспартийный врач во всепартийный водоворот. Сперва вступил в увлекательный для всех интеллигентов Союз Освобождения. А стали объявляться партии — оказался кадет. Впрочем... Ещё в студенческой молодости, в рождественское гадание, Фроня — тогда курсистка и ещё невеста Андрея Ивановича, надписывала много билетиков, их потом лепили по развалу большого таза, а в тазу по воде пускали ореховую скорлупу со свечкой, кому к какому билету пристанет. Шингарёву пристало: «Будет депутатом первого русского парламента». Тогда ещё царствовал Александр III, и, даже глаза зажмуря, нельзя было тот русский парламент реально вообразить. А сбилось — точно. От Воронежа Шингарёв был уже и в 1-ю Думу первый кадетский депутат. Но воронежский кадетский комитет не хотел отпустить его в столицу, поберегли для Воронежа, и что ж? Тех первых неизбежно ждало Выборгское воззвание, тюремная отсидка, запрет поли-

тической деятельности — а Шингарёва избрали во 2-ю, потом и в 3-ю. Когда же запретили ему баллотироваться от Воронежа, то в 4-ю дружно выбрали по Петербургу, уже знали здесь его.

Это к тому всё рассказывалось, что ничего нельзя совершить, не борясь против власти. Да если вдуматься, так может так оно и есть? А с чем Воротынцев ехал — в том тоже ведь как будто?..

Во Второй Думе никто не понимал долг народных избранников как работу-работу-работу. А будто нет ни России, ни народа, только партийное самолюбие. Крайне левые кричали: «Такой Думы нам и не надо, провались она!» А кучка правых: «Вы и такой Думы недостойны, слишком много урвали!» И всё-таки разгон её был — щемящий день.

— Я предвидел, что государственный переворот пройдёт для народа как бы незаметно...

(Разве то был государственный переворот? Странно слышать, Воротынцев и не заметил, не запомнил.)

— ...Но и при всём ожидании тишина Петербурга и Москвы 3-го июня была поразительна. Не только волнений, но даже малейшего интереса, что с Думой произошло какое-то событие. На стенах — отпечатанный манифест, прохожие даже не останавливаются почитать. Гонят себе извозчики, тянут ломовые... Мы-то, Вторая, себя считали — «Дума народных чаяний», а разогнали нас — никто и не моргнул.

(Так может — и не была беда?)

И Шингарёв пересел к нему на диван, утонул в другом проямке. От воспоминаний к делу стал пристально проглядывать собеседника серыми допытчивыми глазами. Такая была в нём нестольность, доступный уездный врач, в тревоге за собеседника готов и сейчас осмотреть его и выстучать.

А где Воротынцев был в то время?

Июнь Девятьсот Седьмого? Да здесь же, в Петербурге. Кончал первый курс Академии, экзамены. Честно говоря, ничего не заметил.

Так, так, кивал Шингарёв. Этого заболевания он и ожидал.

— В Третьей Думе всё же было согласие в работе. Но сейчас, в Четвёртой, всё заклинилось, ничего не идёт. От упрямства и тупости власти. А ведь война была бы для них самый благодарный период для сближения с общественностью! Не захотели. В прошлом году, после отступления и преступной сдачи крепостей, наша военно-морская комиссия подала царю очень откровенную за-

писку. И — никакого ответа не было. И это ещё, скажите, мы — в комиссии, хоть можем всё знать и обсуждать. А в Третьей Думе Гучков нас и в военную комиссию не пускал, объявил кадетов «не патриотами».

На открытость — открытость:

— Лично о вас, Андрей Иванович, этого не скажешь, но если перебрать ваших товарищей по партии — какие они в самом деле патриоты? Я бы сказал: Александр Иванович был довольно прав. — Смехом смягчил свою дерзость.

Шингарёв с горячностью:

— Если мы ищем народу добра — кто же мы?

— Ну, по-разному можно искать, — смелел Воротынцев к своему. — Если прочность России вам для того не нужна, Россия хоть развалилась, была бы свобода.

— Как прочность не нужна?? Мы желаем именно — победы! Мы строим все расчёты — именно на патриотизме населения! Это — одно наше спасение, неожиданный народный дар, целитель всех недугов, — это после всего, как над народом издевались!

И изглядывал Воротынцева как своеобразного, но представителя того же народа.

Вот как, они уже патриоты — больше Воротынцева? Не решился напомнить Шингарёву, что он перед войной мешал военному бюджету.

Вжался в продавленный диван.

Очень закурить хотелось, но неудобно. В кабинете — густокнижный воздух, и без табачинки.

А Шингарёв — всё пригружал:

— Какая-то чёрная полоса, никого не рождающая. Не рожаем великих деятелей. Покинули Россию и пророки, и великие писатели. Но самое удивительное: почему не выдвигаются полководцы? Третий год небывалой войны, какой Россия никогда не вела, 14 миллионов перебивало под ружьём, — отчего же Суворова нет? Ни даже Скобелева?

Полководцы?..

— Разрешите, я закурю?

Полководцы! Воротынцев ли не думал о них?! (И о себе...) Что они не рождаются — не случайность. Они — рождаются, но верхи служебной лестницы непроходимы для них, из-за тупости. На дивизиях, на корпусах, даже на армиях по сравнению с началом войны сейчас толковых генералов немало: вот — Лечицкий, Гурко,

Щербачёв, Каледин, Деникин, Крымов... А выше — не пройти им. Ну, как и у вас с министрами.

Это — понравилось Шингарёву. И, уже нетерпеливо сплетая пальцы, он задавал вопросы такие, чтобы вырвать из груди полковника предвидимый и желаемый ответ. Что в армии — ещё неисчерпаемые возможности! Что сил её — хватит на все испытания до победы, и полководцы ещё просверкнут. Мы — победим, только освободите нас от этого гнилого правительства!

Но на такого полковника он попал, что ничего этого страстно желаемого тот обещать не мог и не хотел. И о правительстве, и о верхах, которые сам Воротынцев нисколько не уважал, — такой мольбы-обещания тоже не мог выговорить.

Полное взаимопонимание — только примерещилось обоим?

И росло желание начисто объясниться с Шингарёвым — и невозможное же, смешное положение для боевого офицера: приехавши с фронта, перед тыловым штатским вдруг выступить каким-то пацифистом. Как басу сорваться фальцетом. Они тут — за войну и за победу, а ты?.. Ишь как легко они — «набрать полное военное напряжение»! — ты набери его в окопе, крючась день за днём. Очень они уж тут воинственно победоносны. Но чем прямой Воротынцев видел истинную народную нужду — тем трудней было, оказывается, выразить её на образованном языке.

А Шингарёв ждал: к а к же нам вытянуть войну? Чем мы для неё дорожились? что жалели? Столько жертв уже положив, как же мы смеем не искупить и не победить? Тени мёртвых подымутся, спросят: за что вы нас погубили?.. Да кадеты готовы атаковать правительство с любой новой силой!

Вот этот вопрос: а для чего же принесенные жертвы? каков же наш долг перед умершими? — всегда стоял поперёк и против нынешних мыслей Воротынцева. Этот долг перед умершими он чувствовал живее тех, кто мог ему возразить в Петербурге, — это были вереницы знакомых или теперь уже полузабытых лиц и имён, и со многими обстоятельствами их смерти, или закопки в землю, или отправки тяжело ранеными. Но всех их не забывая никогда, он ещё настойчивей слышал стон живых.

Ясно, что надо сказать. И кому ж говорить — председатель военной думской комиссии. А выговорить — трудно. Начал издали:

— Ну, хотя бы первое что: сократить армию. Сильно сократить. Просто — на одну треть. Нам нужна армия не огромная, а отборная — почти б одних охотников, в решающие места. А у нас на-

тянута уже не армия, а сбор да сброд. Мы пытаемся тем покрыть недостатки нашей военной техники.

— Так, так, — не удивился Шингарёв. — Такие мысли мы иногда слышим, — и вы, значит? В Думе вслух мы об этом не осмеливаемся. Но — работников на поля, да? И — меньше ртов кормить, меньше эшелонов на снабжение?

— Самое главное — меньше толкотни в окопах. Раненых на одну треть меньше. Воевать надо уменьем, а не числом. А запасные части сейчас? — батальоны чуть не в дивизию. Перегруженные скопища, гнойники, киснут без оружия, без дела, — поймите: уже в запасных полках у солдат создаётся ощущение своей фатальной — и бессмысленной! — обречённости. И приходят пополнения в полк — ничего не умеют, заново учи. Но у нас в военном ведомстве, в правительстве окостенели мозги: что раз большая война, то надо как можно больше солдат согнать. *Уж наверху* что задолбят — разве их переубедишь? разве им объяснишь?

Наверху?? О, это Шингарёву сверкающе понятно! Русское *наверху*, свисающее над каждым здравым вопросом, поперёк каждого здорового пути! — ещё бы! Так и думцы в парламентских прениях упираются в стену, а свалить голосованием — не такой у нас парламент.

Но не только наверху — а вот рядом, глаза в глаза, этого искреннего полковника, одушевлённого одною Россией, — его ли можно переубедить? Уже раздумался:

— Возвращать рабочих на заводы массами? — пойдёт неудовольствие в армии, просьбы, нарекания: а почему не я? А крестьяне — тем более. Будет деморализация оставшихся. А что скажут союзники? В момент такой войны — подобие демобилизации? Они это воспримут как измену. Я в этом году много беседовал в Лондоне, в Париже, — я просто не представляю, как решиться промолвить им такое. Как доказать им, что этого требует дело, а не силы свои мы бережём за их спиной? Что на самом деле — не утеряна наша решимость воевать до последнего солдата и до последнего рубля.

Что?? Что Воротынцев слышал? И от этого самого человека!

— Андрей Иваныч! — заволновался он. — А как же новожилингцев? Тоже — до последнего солдата? Вы... вы отдаёте себе отчёт: пехота — замучена! Крестьянин — не охватывает необходимости этих жертв, третий год подряд, он только видит, что кем-то и зачем-то принесен в жертву, и должен неминуемо или умереть,

или покалечиться. Вы сами сказали об этом арендаторе — вот так разлагается народная душа. Так вот так — она и разлагается!

Нет! Не понимал! Те же глаза в горячем блеске, переходящие к влажности, тот же вид задушевный, подкупающая интонация, — нет! не понимал! тот парень, задавленный в известняках, — был жертва не патриотизма, а тут — война, победа, союзники, исторический жребий России...

— Да разорвались бы эти союзники! — не выдержал Воротынцев. — А то они наши жертвы берегут! Да я б для них и предпоследним солдатом не пожертвовал.

Шингарёв был изумлён выпадом полковника:

— Но для такого крутого поворота?.. Но что и как пришлось бы делать?

— Ну, конечно, понадобились бы *решительные действия*, — с выражением сказал Воротынцев, однако ведь и сам не представляя ясно таких.

Но так удивителен был кадетский разгон, что эти «решительные действия» Шингарёв понял всё в той же своей заведенной линии:

— Да, вы правы! Для спасения страны нужны решительные перемены! Поймите меня, — говорил он раскаянным голосом, — я не левый, я понимаю, что серьёзная ответственная партия даже в оппозиции должна поддерживать правительство, если то попало в затруднительное положение, иначе всё государство полетит — куда?.. Мои товарищи опасаются: как бы мы не разоблачали правительство слишком мало, и после войны, когда его будут судить... да дождёмся ли, что его будут судить?.. как бы не попрекнули нас тогда, что мы... Но я... я бы сотрудничал с ними до последнего! Я бы всё им простил, всё простил бы этой власти, если б знал, что и там сердца горят о народе. И там, просыпаясь в бессоннице, думают только о нём. Но нет, не горят! Не думают! — даже и белым днём, в вицмундире, за казённым столом. Они не понимают, не чувствуют, какие надвигаются на Россию события — неизбежные, скорбные, ужасные!

Жгуче застлало эти глаза доброго разбойника, он должен был прикрыть их.

— Правительство — в распадае. Царь, ведущий армию, — катастрофа. Возможно, мы подошли к самому обрыву. Скоро и Государственная Дума уже не сможет остановить народное движение!

Ого! Свободно ж тут говорилось. Смелей, чем в армии.

— Андрей Иванович! — останавливал Воротынцев. — Неужели вы допускаете... можно допустить революцию?

Шингарёв глядел осушенными, напряжёнными глазами:

— Для того мы, Дума, и существуем, чтобы революции не допустить. Мы — клапан, выпускающий лишнее давление. Революционный взрыв снимет ответственность со всех: вот он помешал, а то бы!.. И какой услугой Германии была бы русская революция! Мы — клапан, и выпускаем давление, сколько можем. Но если — власть не поддаётся никаким убеждениям? Если в правительстве зреют предательские мысли?

— Ну, это вздор! Такого нет.

— Ну как же? Если валят и сталкивают Россию в поражение?! — Его руки обречённо уронились на колени. — Увы, последний год я всё меньше вижу возможностей отвратить... Допускаю, что это уже не в нашей власти...

Раздался дверной звонок.

— Наверно, Павел Николаич! — обещающе, уважительно вскинул палец Шингарёв. Проворно поднялся, пошёл открывать.

Теперь и профессор Милоков! Ну, сейчас навалятся, только успевай соображать да возражать.

Воротынцев быстро дожигал, докуривал папиросу и спешил обдумать главную неправильность в последних словах Шингарёва: что тот уже сдаётся на революцию? — тогда бы тем более действовать, даже малыми подобранными силами, — не робеть, не зевать, время не терять. А вот что ещё у них неверно: почему они соединяют правительство с поражением? Не с поражением, а с измотом народного духа. Кадеты хотят — спасти войну, когда надо: от этой войны — освободиться.

За дверью слышны были два женских голоса, оживлённых. Шингарёв воротился один:

— Нет, не Павел Николаич. Это наши дамы, партийные.

Уселся в ту же ямку дивана, вспомнил, вернулся. Слова — обречённые, а тон уже, пожалуй, и одобрительный. Пронырнув сквозь отчаяние, он шёл к своему опять:

— Если станет революция роковой необходимостью — что ж? Остаётся только не приходиться в ужас. Остаётся верить в чудо, что даже из революции Россия сумеет возродиться. Эта кровавая война, даст Бог, принесёт и полную свободу... — Не за себя одного он говорил, он многих знал за кого: — Ещё будет у нас широкий расцвет общественных сил! Ещё появятся у власти светлые, разумные

люди, уважающие свободу великого народа. Только не потеряем веру в будущее России! Надо верить в самодвижущие силы общества. Надо верить в народную правду!

На народной правде опять углубился, увлажнился голос Шингарёва — и на миг ему стало нельзя говорить.

В какой же суматохе их мысли! — еле успевал Воротынцев ловить: то — победа во что бы то ни стало, то — согласны на поражение, на революцию, лишь бы свобода?

Нет, это как-то у них соединялось:

— Зато после революции наберётся новых сил армия, как это было во Франции. Обновится командный состав. Укрепится дисциплина. Разольётся воодушевление — и войска...

— Вы так думаете? — Воротынцев хотел спросить без насмешки, но оттенок лёг.

— Мы все так думаем, — простодушно ответил Шингарёв. — А без этой веры как же можно годами... ?

О, святая вера, только отдайся. Но один полк — один народ, другой полк — другой народ. И тот же самый полк — утром один народ, вечером другой. А вообще всякий полк занимает только протяжение, содержит невыразительное число, а войну делают — охотники, разведчики, смельчаки, первые атакующие. Как и историю делает — отборное меньшинство.

Скомканно это, не всё, ему сказал. Не убедил.

Ну, а как же парень тот, перешибленный в известняке?

А Шингарёв своё:

— Я вот недавно почитывал историю Франции, конца XVIII века. Слушайте, какое страшное сходство! Так и привязывается мысль: да ведь это наши дни! да ведь это наша разруха! Да ведь это наша слепая безумная власть! Да ведь это наши неуспехи в войнах! Да ведь это наши змеиные слухи об измене наверху!

— Андрей Иваныч! Андрей Иваныч! — взялся всё-таки Воротынцев остановить его разгон, дружески взялся, обеими руками за обе его. — Не сами ли мы эти параллели нагоняем? А как бы усилия приложить — распараллелить? Мало нам хорошего — ту историю повторять. Как бы её — обминуть? Нет, я очень прошу — увольте нас от революции!

— Да, пожалуйста, уволью, — рассмеялся обаятельно Шингарёв. — Но получим ли мы что-нибудь взамен?

Правда, когда государство застывает в безвыходности — как должны все штатские смотреть на своих армейских: что же вы

ждёте? почему не поможете? И этот долг — Воротынцев остро и стыдно на себе чувствовал. Но как помочь? Он и приехал за тем: узнать.

— Конечно, — вздохнул Шингарёв, — умеренный государственный переворот бывает прекрасным выходом. Но мы, русские, нерешительны на такое. Даже может быть неспособны. Гучков говорит: власть не держится ни на чём, только толкни. Неправильно. Она на многом держится. На государственной машине. На инерции человеческих представлений. На корыстно заинтересованных кругах. На отсутствии мужества у подданных.

В «отсутствии мужества» был ли упрёк? намёк? Нет, это он обдумывал вслух. Да кроме мужества ещё ж надо смекать, сообразить, узнать, понять. Вам тут хорошо, близ самого центра. И опять наложился Гучков, как всё сужено и малó даже в раскидистой России.

— ...Так что по-русски больше остаётся надеяться, что как-нибудь *само*, само... Власть ли очнётся? — самое бы простое! — так не очнётся она. — Шингарёв сдавил темена с ещё густыми, но чуть седеющими волосами. — Это поразительное непонимание беспощадного хода истории! Что уступить всё равно придётся, так лучше же вовремя, лучше же мягче? — нет! Ни вершка не уступят, пока их не разнесёт! Не признают, что лестницы прогресса никому не миновать! И теми же ступенями, изжитыми на Западе, поплетёмся и мы, всё равно. Но тяжело за русский народ, слишком дорого мы платим за то, что другим достаётся дешёво. Вы не знаете легенду о Сивилле? Её приводили в первом номере «Освобождения»...

Какого ещё «Освобождения»? И спросить неловко.

Позвонили опять.

— Павел Николаич! — взмахнул Шингарёв с готовностью, и поспешно, — да он и всё время так двигался. Пошёл открывать.

Послышался мужской немолодой голос. На «ты». — «Приехал?» — «Ждём, нет ещё». И вот уже Воротынцев поднялся приветствовать ещё одного видного кадета — несколько напряжённого, несколько ироничного или как бы играющего, с нарочито задолженным клинышком светлой бородки, с острым взглядом через пенсне.

— Фёдор Измайлович Родичев, член нашего ЦК и член думской фракции... А я как раз начал Георгию Михайловичу рассказывать легенду о Сивилле. Ты не расскажешь, у тебя лучше?

Конечно расскажет! Не прося повторить приглашения, несколько не интересуясь, зачем этому непросвещённому полковнику легенда о Сивилле, несколько не подготавливая вида своего, голоса или настроения, Родичев опустился на тот же диван, не замечая проямка, и засказывал сразу не одному этому слушателю, но целой аудитории, для чего артистически заработала его мимика, и голос, и таинственно заколебались тёмно-бордовые боковины исторической сцены:

— ...К римскому царю Тарквинию пришла она и предложила купить Книги Судеб. Однако цена показалась царю высока, он не дал. Тогда Сивилла тут же швырнула часть книг в огонь — *а за остальные потребовала ту же цену!* Ца-арь заколебался, но всё ещё отказывался. Тогда Сивилла бросила в огонь ещё часть книг — *а за остаток потребовала ту же цену!!* Ца-арь, — рассказчик многозначительно раскатывал это слово, тут выходя из исторических одеяний, — дрогнул, посоветовался с авгурами и купил остаток. Вот так!! — через пенсне на длинном шнурке от воротника Родичев посмотрел на публику, различил в первом ряду какого-то военного и объяснил ему мораль спектакля: — С исторической необходимостью торговаться опасно: чем дальше, тем меньше она уступает! И кто не хочет читать Книгу Судеб в её естественном порядке, тот дорого заплатит за последние страницы, за страницы развязки!! — И, спустясь со сценического помоста, уже тут, в комнате: — Это мы опубликовали четырнадцать лет тому назад. И что же поняли наши правители? Уступить обществу, уступить Думе и избежать революции? — они упускали каждый год. Все годы. И в прошлом году. И даже в этом.

Позвонил в коридоре телефон. Шингарёв торопливо вышел. Вернулся:

— Павел Николаевич звонит, что задерживается.

БЕГИ-БЕГИ, ДА НЕ ЗАШИБИ НОГИ

ДОКУМЕНТЫ — 1

Октябрь 1916

К ПРОЛЕТАРИАТУ ПЕТЕРБУРГА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Преступная война, затеянная хищниками международного капитала... Правящие классы, только выпустив все жизненные соки из народов противной стороны, скажут, что их задачи выполнены. Война несёт небывалые выгоды господствующему классу, давая громадные проценты на капитал.

Для России дело усложняется господством разбойничьей царской шайки. Над свистопляской зарвавшихся хищников парит двуглавый орёл.

Только объявив решительную ВОЙНУ ВОЙНЕ... **ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭТА ВОЙНА! ВРАГ КАЖДОГО НАРОДА НАХОДИТСЯ В ЕГО СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ.**
Да здравствует РСДРП !

Петербургский комитет РСДРП

21

На чётких кругах военной службы и в руки бы не беря газет, можно бы позволить себе не одобрять кадетов или даже презирать их. Но, попавши в их оживлённую, быстроумную компанию, нельзя было не испытать смешанного чувства: лестности быть среди них приветливо принятым и растерянности от их знаний и осведомлённости. Два думских лидера — один порывисто-открытый, другой самодостойно-едкий. Две дамы — но не просто из женского большинства, не из тех, что при мужьях, а партийные активистки — сейчас занятые сбором книг, табака, белья, карамели и мыла («Петроград — защитникам родины»), вообще же — организацией чего-то важного, а в поведении — отменные равноправием, старшая (назвали двойную фамилию — Пухнаревич и ещё как-то) — и умом, и определённой политическими суждений. Младшая зато собою недурна; самое значительное хоть и не сошло с её языка, но так и дежурило в выраженьи её лица: что вот могла бы она очень важное сказать, но повода нет, то ли паузы. По сравнению с ними хозяйка была упрощена большою семьёй и никак не супруга депутата парламента. Зато пришёл ещё приват-доцент, экономист, молодой, в тёмно-роговых очках, весь-

ма осмотрительный в высказываниях и сдержанный в чувствах. Но уж когда говорил — то убедительным, вкусным, молодым баском, не допуская сомнений. И больше, чем два кадетских лидера, вот именно этот доцент пригнёл Воротынцева: совсем молодой, совсем неизвестное имя, а сколько же знает и как явно умён! И сколько таких приват-доцентов в петербургском обществе? — море умных людей. И что они знают — того ты не знаешь. И пойдди как-нибудь иначе завтра государственное развитие России — так к ним же придёшь и на спрос, они и укажут.

Но с этими-то и интересно, с военными он наобщался довольноно.

Когда вышли из кабинета и познакомились, как раз приват-доцент обстоятельно объяснял, что в Петрограде сейчас живёт на миллион с четвертью жителей больше обычного. Не упустил продолжить (не потускнел и при Родичеве), что вообще российские города составляли до войны 30 миллионов, то есть шестую часть Империи, а сейчас от передвижения масс — 60 миллионов. Потому и удваивается в трудности задача вырвать у деревни продовольствие. У крестьян — жадный дух наживы, нежелание везти хлеб, и если такую тенденцию не переломить, то это — начало общественного распада.

Он объяснял и довольно удивительное, но собеседницы его как будто это всё знали и тут же встречно объясняли ему своё — про правительство, которое, напротив, этого ничего не ожидало. Уже не хватает возмущения против всех нелепых шагов правительства. Общество и Дума отдали родине всё, что могли, и не общество виновато, что эти жертвы не принесли плодов.

И от этого момента таким послышался Воротынцеву весь разговор: будто собеседники и дальше наперёд всё знали, что скажет каждый другой, но необходимо нуждались встретиться, выслушать и высказать то, что все они вкруговую знали. И хотя все они были подавляюще уверены в своей правоте — но ещё нуждались укрепиться в ней от этого взаимообмена. И только Воротынцев совсем ничего этого не знал, отстал, не успевал вымолвить ни слова существенного, лишь ловил. Но уже и так ощутил, будто и его вкруживает в эту общую уверенность — да! да! он с ними заодно узнаёт, узнаёт, да уже знает давно нечто несомненное.

Ещё ловил для ободрения тёплые верины взгляды. Она, кажется, была очень довольна, какими вышли они из кабинета, довольна, что привела брата сюда.

И вот столичная жизнь! — не созывали никаких гостей, не назначали никакого вечера, да и понедельник же! — но гости набрались, как будто все и по делу, и вечер сам составил, и надо было всех кормить. Впрочем, что ж за вечер, если дамы не в вечерних были платьях, а разве лишь блузка поновей, как принято у дам оппозиции (от курсистских времён наследовалась полунебрежность одежды как форма своих). И причёски у всех были гладкие, как можно меньше обращать внимания на свою наружность. Строгое узкое коричневое верино платье выделялось даже.

К ужину высыпали и три девочки, от четырнадцати лет и моложе, представлялись. Сыновей не было дома, а старший кончал уже и военное училище. (А ещё, предворяла Вера, теперь скользнуло по памяти, одна девочка у них умерла.)

Неловко отцу при посторонних, но расслаился Шингарёв, поглядывая на детей.

А у Воротынцева не было никогда ни одного. Обязательным обрядом знал, что дети — цветы жизни, принято любоваться ими, задавать вопросы. Но сам не нуждался в этой связке.

Ну что ж, если Павел Николаевич не скоро — так и за стол? Как Вера и предсказывала, хлеб на столе только чёрный, да рыбное заливное, маринованные грибы, варёная картошка, квашеная капуста. Но, отдать справедливость этой компании, как пренебрежительны они к одежде и к продавленной мебели, так и к наложенному в тарелки. Убирали дружно, но ртов их как будто не касалось, а главное был разговор.

— Нет, *они* ничему не научатся!

— Нет, *они* безнадежны!

— От самодержавия ничего добром получить нельзя!

У старшей дамы рукава были по локоть и казались как засученными к делу или бою:

— Скажем, ясней: практическая деловая работа может начаться только с удаления этой власти!

У приват-доцента — два роговых надбровья, да составленных твёрдых предлокотья:

— Без полной перемены правительства не остановить ни немцев, ни народного возмущения.

А Воротынцев выслушивал без чувства оскорбления. Да ещё с детства и с юности он повсюду, и в семье, был охвачен этой всеобщей нотой: что России хотели добра декабристы, и только продолжая их светлую традицию можно спасти страну. И что здесь се-

годня все открыто хотели республики — тоже он не видел предосудительным. В военной среде так не говорится, не думается, но если взглянуть шире — добро для страны может прийти в разных государственных формах. Как угадать?

А девочки охотно, крепко ели, ни слова лишнего. Правда, хорошие девочки. Можно, конечно, вообразить это счастье: большая, дружная, удачная семья.

Евфросинья Максимовна имела время пояснить: вот эта капуста — покупная, а вот эта — со школьного огорода, великолепную вырастили классом, лазарет снабдили и по девочкам разделили, и квасили сами. А грибы — из Грачёвки уж не по нужде военного времени, а заведено у них každогодне. — Грачёвки?.. — Это в Усманском уезде, хутор покойного отца, достался Андрею Ивановичу как старшему из шести детей. Сад и огород управляемса обрабатывать своими руками, каждый год с весны до осени мы все там, кроме Андрея Иваныча. А уж землю, посевную и луговую, сами обработать не можем, а нанимать безнравственно, так отдаём соседям.

С пятью детьми забот — как с целой ротой, да.

И опять об этих тренепомятных твёрдых ценах. И Шингарёв оказался — уверенно за них. Не успевал Воротынцев связать, понять: если Шингарёв такой радетель деревни — а теперь, как толковали в вагоне, это — против деревни? Не успевал понять, но скользило без трения.

К чему-то скажи, не обдумав, такую фразу:

— Но твёрдые цены, вероятно, требуют и твёрдых рук?

Он даже ничего особенного в это не вложил, а так, по аналогии.

А ему сразу настороженно выдвинули:

— Но твёрдые руки не всегда бывают чисты!

— Но твёрдые руки обычно принадлежат твёрдым лбам!

Воротынцев не нашёлса и даже покраснел: не на него ли намёк?

Повторяя постоянную ошибку новичка в чужом окружении, он забывал, что наблюден и виден больше, чем наблюдает и видит сам. О нём уж тут, конечно, предварительно передали, но скорей — как о бунтаре против Ставки, который *пострадал за то, что...*

Кому-то ответил:

— Нет, я в кадетском корпусе не училса, я реальное кончал.

Обрадовались:

— Реалист?.. Так значит — не к военной карьере?.. Колебались?..

Тут бы как раз ему и подладиться, в цвет им, но он по правде: — Я — не колебался, я — с детских лет. Но мой отец надеялся, что я передумаю, и уговорил на отсрочку, в реальное.

А Шингарёв за твёрдыми ценами видел и мрачней. Прозревал и сам пугался:

— Если война затянется — поздно уже будет говорить о свободном почине, о частном обороте: не пришлось бы объявлять, кто сколько *должен* продать, пропорционально своим запасам.

Родичев под строгим пенсне поднял строгий палец, как на думской трибуне, и будто стяхивая с пальца слова:

— Ни-ко-гда! Такого нарушения свободы... !?

Шингарёв — уверенно вполне:

— Словом «свобода торговли» пользуется и Протопопов, будь осторожен. Теперь свободу торговли нам возвещает министр внутренних дел. Но это — свобода хищничества, а мы — да, за регламентацию, в интересах самого же населения. Таков парадокс. А что было бы с Россией, если, по принципу свободы, пустили бы частным оборотом, например, набор в войска? Так и с хлебом. Война требует жертв. Надо поглядывать, перенимать у врагов. Шутят немцы о нас: знаете ли вы страну, в которой в с ё есть — и н и ч е г о нет? У нас от неорганизованности обилие превратилось в недостаток. У них, от совершенства организации, при недостатке — и всем хватает. По всей Германии разъезжают кухни с дешёвыми обедами. Государство умеет всё взять, но умеет всё и дать. Отобрали наши в этом году свои Пинские болота — а они уже, от немцев, обстроены дорогами, как мы за сто лет не собрались.

Такой растопляющий человек, а вот голос раскатывается и повелительно. Не случайно он там, на верхах политики.

— ...Хотим побеждать — не избежать нам создавать организацию принудительную, как уже во всех европейских странах. Вся война есть принуждение, и никуда мы не денемся, всё равно затанемся в тот «военный социализм», который уже затопил Германию. И хлеб, и сахар, и чай, и керосин — всё придётся централизовать, лишь бы вытянуть войну. У немцев — всеобщая трудовая повинность от 16 до 60 лет. И если мы хотим победы — не избежать и нам.

— Только у немцев, — решил вставить Воротынцев, — общество и правительство — союзники, а не враги, как у нас.

Но его возражения как не заметили: видимо, Шингарёва понесло на что-то своё, отклонённое от партийной линии. Не успевал приехать Павел Николаевич обломить эту ересь, но Фёдор Измайлович был достаточно тяжёлой артиллерией и сам:

— Позволь, Андрей Иванович, ты что ж — становишься на сторону *правительства*? — И даже ужас прошёл ветром по кадетскому застолью и заставил всех откинуться. — Это — правительство носится с проектом милитаризовать рабочих, чтобы, видите ли, избежать нежелательных им забастовок. Рабочих — к станкам, как в солдатский строй? — Родичев вскинул нервную, выразительную руку и стряхивал, стряхивал с пальца выразительнейшие фразы: — Но *наша* партия не может принять такой цены — для победы установить диктатуру. Ещё одно крепостное право? Для победы отнять последнюю свободу у народа? *Такой* ценой не нужна России победа! Мы — все заедино горим желаньем победы, да! Но *наша* победа — в том, чтоб одновременно отвоевать народу гражданские права!

Воротынцев жадно поглощал этот спор, слыша сразу всех, и второстепенные голоса тоже. Очень его поразило, как сочетается у них блистательная образованность — и категоричность решений, нужная для власти.

Кажется, все остальные были за Родичева. Но Шингарёв не колебался:

— Тут немцы на верном и неизбежном пути, это неотразимый ход вещей — принудительная организация труда. Это — всеобщее требование современной войны, оно заставляет уклониться от идеала свободы. И установись завтра правительство общественного доверия — к тому же будет вынуждено и оно!

— Да? Никогда!! — остро поглядывал через пенсне и остро посмеивался Родичев. — И если ты осмелишься повторить такое с думской трибуны — ты сразу станешь непопулярен!

Но как будто на той трибуне и почувствовав себя, глазами степняка загораясь, Андрей Иванович уже не по-комнатному:

— Что делать, осмелюсь! Да, настал момент жертвовать, соотечественники! Государство нуждается в вашем хлебе, мужички! В труде ваших рук, сограждане!.. И если у власти станут просвещённые люди, действительно любящие свой народ, — будет та-акой подъём! Рабочие станут к станкам безропотно! Хлеб

потечёт — неудержимыми реками! Народ отдаст хлеб, как отдавал детей!..

Надкололся голос. Шингарёв в растроганности должен был отдышаться.

Зашумели во все голоса. Старшая дама с толстыми локотками не ждала ничего перевеса или мнения, а решительно присудила:

— Ну, разве что при ответственном министерстве, тогда возможна и диктатура! А сейчас правительство нарочно создаёт трудности с продовольствием, чтобы вывести Россию из войны.

Младшая дама с руками тонкими, гибкими, но до запястий скрытыми блузочной тканью, не сробела поправить:

— Нас предупреждали не пользоваться термином «ответственное министерство»: это может нас поставить под удар черносотенной агитации. Надо говорить: «министерство народного доверия».

Блузка у неё была тёмно-зелёная, а по ней — бурые всплески, непонятные.

— Можно говорить: «правительство из доверенных лиц».

Так это легко выговаривалось, скороговоркою даже, будто такое правительство уже существовало, всем хорошо известно, объявлено наперечёт — и к тому же замечательное и героичное, — а Воротынцев по фронтовой дикости не знал, пропустил? И спросить было неудобно, и места не оставляли для спроса.

Но явна была уверенность, что правительство такое будет желанным, популярным и спасительным. *Такому-то*, понял Воротынцев, и всё допустимо, а из рук нынешнего правительства и даром не надо!

— Прогрессивный блок уверенно выведет Россию из тупика!

— Да неужели же общественность справится хуже, чем тупые бюрократы! Россией правят тупейшие из тупых!

— И что делать русскому обществу с этим правительством? Просветить дураков? — невозможно. Переубедить дураков? — невозможно! Десятилетиями жить в полной власти дураков, а чуть хочешь протянуть на помощь и свои руки — на тебя шикают: осторожней! все будем в пропасти!

— Но как наложить на себя узду молчания? Мы лишены инстанций апеллировать к правде!

— Они объявили войну — всему народу!

— Правительство азиатского деспотизма, каннибальского кровожадия!

— Позиция умеренности к нему преступна как позиция предательства!

— А Милюков думает действовать в европейских манжетах.

— Да швейцары, дворники — и те знают правило: лестницу начинать мести сверху!

— Ка-дэ могут спасти Россию — но поступаясь долей своей умеренности и в контакте с левыми.

— Надо было с самого начала блокироваться налево, а не направо!

— И одной только сменой министров общество не удовлетворится. Нужна — всеобщая амнистия! Нужна отмена еврейских ограничений.

И куда-то, куда-то все они (с участием и Верочки) — весь разговор понесло ещё сильнее, покружило, или посыпало — заговорилось не меньше, напротив больше! громче! — они все, оказывается, только начинали разговариваться! — но несло их куда-то прочь от человека, желающего определить себе правильные действия. Смысл мелькал до того карусельно, его нельзя было придержать, да даже нельзя было не утянуться им. Несомненно звучало сквозь весь поток: о народных нуждах, что присутствующие отлично знают их, и выражают их собою, и безошибочно могли бы их утолить. А правительство — никогда. Заведенный и ослабленный этим общим уверенным кружением — Воротынцев молчал и сползал.

— Против этой безумной власти наши парламентские действия — слишком слабый аргумент!

— Нет-нет, господа, только парламентские! В нашей стране насилие никогда не будет признано правом!

— Два года мы так ждали известий о победах! А нам подсовывали какое-то потопление в Рижском заливе!

— Тут и мы, думцы, виноваты. Мы слишком долго берегли престиж армии.

— Русский старый, вечный грех долготерпения.

Шингарёв в этой компании тоже изменился, не тот. Отчего всегда гнёт человека подделаться под общий тон? Да была завихрывающая сила у этого кружения, и Воротынцев сидел несвойственным барашком, даже и лицом не решаясь выразить, насколько он всё-таки несогласен.

— Надо всегда помнить, что правительство неискренно с обществом!

(Ну, да и вы ему: говорите одно, а думаете другое?)

— Не-ет, с э т и м царём победа невозможна!

— Идти против народа, против Думы, когда неприятель вторгся в страну, — это и есть пособствование ему!

— А внешняя расстановка благоприятна для победы как никогда: извечный враг Англия — с нами! Недавний враг Япония — с нами!

И — идиотская операция союзников в Дарданеллах, подумал Воротынцев, да куда тут вставишь? Они были все — патриоты больше него: не согласны меньше чем на полную победу.

— Чтоб отстоять Россию от немцев — нужна немедленная коренная смена режима!

— Совершенно ясно: они нарочно провоцируют тяжёлое экономическое положение, чтобы под этим предлогом выйти из войны!

Зацепился за эту ущербинку на гладком карусельном диске: позвольте, что-то не то! А перед 14-м годом не говорили вы наоборот: *они* нарочно провоцируют войну, чтобы выйти из будто тяжёлого экономического положения?

Однако он не осмеливался возражать. В этом общественном кружении подавительность была — властная. Впрочем, заметил он; рассуждения их были — всё самые общие. А по деталям-то они знали куда меньше Фёдора Ковынёва.

Но слова у всех как наготове, переполняя грудь и рот, и чуть куда щёлочка — выливаются, друг друга уже и не удивляя новизной.

— Россия — просто большой сумасшедший дом!

— Новые министры даже не стали переезжать на казённые квартиры: всё равно через месяц каждого снимут.

— Да гвардия готовит переворот, это всем известно! Переворот будет непременно, вот-вот!

Напрягся Воротынцев: да что ж это за переворот, если о нём так болтают?

— Иначе и быть не может! Общественное недовольство так велико, как не было и в Девятьсот Пятом!

— Господи, о чём ещё говорить, если Сухомлинова собираются выпустить из Петропавловки!

— Выхода нет! Вспышка народного недовольства должна быть опережена подготовкой революционных действий теперь же!

И всё больше поглядывали на Воротынцева: мол, это по его части? И если он действительно *прогрессивный* офицер — что скажет нам он?

А Воротынцев к тому и летел со своей катапульты — чтобы вмешаться? Но теперь видел, что, кажется, не туда попал. И досадно было на себя, зачем он так поддаётся им безвольно, нигде ничего не может отстоять, возразить.

А варенья — три сорта, тоже из Грачёвки, свои. Уже пился чай, и девочки уходили, всё говорение прослушав немо. Да наверно привыкли, не каждый ли день такое и слушают?

Позвонили в дверь. Павел Николаевич? Все насторожились, подтянулись. Шингарёв молодо вскочил, пошёл открывать. Прислушались — нет, женский голос. Мелодичный, и с неторопливым достоинством.

— Странно, — удивлялся Родичев.

Не уходила. Видимо, раздевалась. Но сюда не вошли.

Верочка сидела с братом рядом и прошептала:

— Профессор Андозерская. Как говорится, «самая умная женщина Петербурга».

— Да ну?

— Ну, знаешь, как принято в каждой столице насчитывать по пятьдесят «самых умных женщин»?

— Запрещеньями, стесненьями, подозреньями они сами же толкают людей в левых!

— Они — и не Германию больше всего боятся, а уступить общественному мнению у себя в стране. Для них и Земгор и военно-промышленные комитеты — всё крамола, везде революция! Уж заподозрить самодетельный, самоотверженный Земгор...

Держался-держался Воротынцев, но тут за живое задела. Нельзя не отодвинуться:

— Знаете, совсем уж так — безкорыстный — сказать нельзя.

Только это и произнёс, вот только это одно! — но сразу все насторожились! Замолкли так же дружно, как дружно говорили, — и на полковника! Приват-доцент поправил роговые очки, старшая дама надела черепаховые, оттого очень грознея, ещё и при толстых быстрых локотках. Все ждали объяснений.

Начал — так вытягивай. (Верочка смотрела с тревогой.)

— У нас на фронте к Земгору... — (как бы это им поаккуратнее?) — ...отношение и такое и сякое. Делают немало, да... но

и... штаты же велики, уж слишком. И все должности заняты почему-то не стариками, не инвалидами, а военнообязанными. Большею частью — молодыми интеллигентами... Дезертиры — у них санитарями...

Уже чувствовал слитное осуждение себе.

— Но ведь делают же — какое дело! — вырвалась старшая дама, первую изо всех. — Работают — для победы!

Ещё не возражали — ещё только напряжённо-неодобрительно замолчали, — а Воротынцев ощутил, что краснеет. Оказывается, вот что: совсем не просто среди них говорить. Послушаешь — так легко всем болтается, а начнёшь сам — почему, при ясности мысли, выглядишь смешным?

— И банный поезд — ещё не самое дальнее, а то — рытьё колодцев в пятнадцати верстах от передовой линии, или осушка болот, — могло бы и конца войны подождать... Удовлетворяют уже не действительные потребности армии, а придуманные. И раненых содержат неправильно. — Но под силой осуждающего давления: — Я сам как раз не считаю, что...

Солгал, скривил, отступил — да почему ж не получается? *Моё* мнение! именно я так думаю! Почему такая мямля, мысли не складываются, и краска на лице, позор! Какая-то тугая препятственная атмосфера. На генералов шёл — не боялся. Потому что там шёл — *революционно*. А здесь боязно: *реакционно*, самое уничтожительное.

Толкнулось — передать им рассказ Жербера, как подделывали знаки на снаряжных ящиках, — но это никак! никак невозможно было бы тут объявить: и не поверят, и обрушатся!

Родичев поднял вещий палец:

— Но вы упускаете моральный фактор! В прошлом году, во время «великого отхода», во время народного отчаяния, — общественные силы загорелись священным огнём — и вдохнули его в ряды поколебленной армии.

За армию Воротынцев обиделся. И — резче:

— Ничего они в нас не вдохнули. И предпочтительней — не вдохновлять, а...

Пятьдесят лет вы жаждали идти в *народ*, вот и идите в *народ*. Народ — это пехота.

Но — не выговорилось. А:

— Хотя хаоса бы в работе не создавать. Нельзя же вести военное снабжение по трём системам сразу.

Не так, не так! — взволновались. Полковник не понимает и ловится на удочку правительственной агитации. Дело в том, что тупое правительство ведёт против Земгорсоюза травлю, обвиняет в пропаганде среди войск, даже в шпионаже, а потому велено нижним чинам не общаться с деятелями Земгора. И назначаются соглядатаи — в чайные Земгора, в питательные пункты, парикмахерские...

Эти чайные — как раз и первые разносчики всяких сплетен и революционных подзуживаний. Но уж — не возражал. Отступил, смолк. Не потому, что неправ, а — *реакционно*... Да, приходят такие бумаги в дивизии: офицерам — следить за земгоровцами, ибо они ведут подрывную пропаганду и готовят революцию. Так — и ведут! И отчего ж бы им не вести? Устроились, привыкли, почувствовали себя в безопасности — и отчего ж им не накинуться на солдатские мозги? А правительству — почему ж запрещено отстаивать свою армию? Неприкосновенность личности — хорошо, но как с неприкосновенностью Отечества?

А вот сказать — неловко. Презирал себя. Хотелось уйти поскорее, что ли.

А общество — такое малое, но такое динамичное, разочарованно убедясь в сомнительности и этого полковника, — да и чего хотеть от законопослушной монархической императорской армии? — перекатило через него гремливым своим потоком:

— А краснорожую полицию небось на войну не посылают.

— В низах растёт раздражение. Народ *им* этого не простит!

Даже странно: так мало их, но так быстро успевали друг другу отзываться. Подумал о Верочке: а ведь она — часто с ними, вот она, кажется, это всё разделяет. Да это — нечто, похожее на болельнь: передаётся от соприкосновения и никак нельзя устоять. Заливает, поддаёшься.

— Даже гимназисты отламывают гербы с кокард!

— Мы перевалили какую-то роковую грань и решительно идём к развязке!

— Правильно пишет горьковский журнал: пора перестать бояться того, что на полицейском языке называется «безпорядок»!

— Да власти очень быстро трусят! Это только кажется, что они — неприступно-крепкие. Эту трусость мы уже видели в Пятом году!

— Да в конце концов, *чем хуже, тем лучше!* И катастрофа тоже нас куда-то приведёт! Всё лучше, чем так позорно гнить!

— Смирение — позор! Если Россия не перегнуилась в крепостничестве, то события — будут!

— Что-то должно произойти! Так дальше продолжаться не может!

И выдвинулся Родичев, вознёс напоминающий грозный палец для стряхивания:

— Кто столкнётся с *народом* — тот падёт в бездну!!

И вся его ораторская уверенность, белейший воротничок, точная увязка галстука и постоянное пребывание в Государственной Думе не только не мешали, но определённо окрыляли считать себя пиком, вершиною того народа, от столкновения с которым и упадёт правительство в бездну.

Но если народ и есть пехота, то фронтовой полковник Воротынцев, пропустивший через свой полк несколько составов, и при настоящей свободной манере расспрашивать даже между двумя перебежками, — узнал, запомнил, ёмко уместил в себе шестьсот — восемьсот — или тысячу лиц, характеров, жизненных историй. А Родичев? — скольких пехотинцев знал? Они всё время талдыкают о вине правительства — но как легко они сами, языками, толкают солдат в смерть. Как же это им всё легко видится из петербургской квартиры!

И почувствовал Воротынцев толчок освобождения из своего непереносимо стеснённого, даже околдованного состояния. Потянуло его — оскорбить их на их территории! Голос его перестал быть извинчивым, возвратилась к нему свобода. Дерзко, громко, ко всем зараз:

— Вот вы, господа, повторяете и повторяете, что Россией правят тупые из тупых, министры сплошь дураки, и как бы вам хотелось лучших. А будем откровенны: общество совсем и не х о ч е т хороших министров в России! Появись завтра хорошие — оно ещё больше возненавидит их, чем плохих!

И вот уж теперь не теснился, не ужимался, а если покраснел, то от задора.

Маленькая сумятица, но оправились тотчас:

— Хо-ро-шие? Да когда же в России были *хорошие* министры, назовите!

Ах, вас не берёт, неймёт? И в реванш за унижение, и следя, чтоб не угнуться ни на кивок, а проломиться по самой прямой, через общественное мнение и свист:

— Да уж не буду перечислять хороших, но был великий! Был — великий русский государственный человек, и кто из общества это заметил и признал? Его бранили, поносили хуже, чем Горемыкина или Штюрмера. И так он и ушёл — неузнанный, непризнанный и даже проклятый.

Онедоумели дамы и господа, но ещё последняя надежда была, что не махровый этот полковник, а просто задурманенный: кого он имел в виду? Неужели...? Конечно же, не...?

— Столыпин, да! — взмахом руки дорубил Воротынцев и их надежды и свою общественную репутацию. Да вызывающе, да со звонкостью: — Пришёл человек цельный! неуклончивый! уверенный в своей правоте! И уверенный, что в России ещё достаточно здравомыслящих, прислушаться! А главное — умеющий не болтать, а делать, растрясти застой. Если замысел — то в дело! Если силы приложил — то сдвинул! Видел — будущее, нёс — новое. И что ж, узнали вы его тогда? Именно его смелость, верность России, именно его разум — больше всего и возмутили общество! И приклеили ему «стольпинский галстук», ничего другого, кроме петли, в его деятельности не увидели.

(Не задумавши, не помня, — как раз и попал тут в сочинителя клейма!)

Что ж тут отвечать? Как взрывом была выхвачена непереходимая яма. И если *такие* полковники слывут за бунтарей — то каково ж остальное офицерство, не бунтующее? И если Столыпина принять за выражение России — то эта страна, и так уж без прошлого, имеет ли будущее? И достойна ли выволакивания?.. Бедное, бедное наше общество! Несчастливы передовые люди в этой дикой стране!..

Всё так, и на том бы можно расплеваться, развернуться, друг друга не видеть, — да ведь не в клубе это, не на улице, а в гостях, в квартире Андрея Ивановича, и как-то же надо прилично выйти из положения. Но даже простых вежливых слов после *этого* не хотелось произносить.

А Воротынцеву стало легко, и только безпокоил его испуг на верином узком побелевшем лице.

И вдруг положение спас Андрей Иваныч сам. Он, оказывается, уже был в комнате, за спиной Воротынцева, и слышал его выступление. Теперь он обошёл обеденный стол к одному из освободившихся детских мест, очень запросто уселся, одну руку вольно свеся

через дугу стульной спинки, другую отодвинув испитую чашечку. Не тот раскатистый громкий оратор был, звавший к народным жертвам, — а очень смущённый и тихий... Неуверенно посмотрел на Родичева, на приват-доцента, на дам... И опять тем голосом нутряным, душевным, выносящим наружу все пузырьки тепла, облепившие внутренние стенки груди:

— Вы знаете... Удивительная у меня была со Столыпиным встреча... ещё во Второй Думе... То есть в зале-то я его видел, конечно, много раз, слышал «не запугаете!» и «вам нужны великие потрясения», и кажется, всё было ясно: душитель, властолюбец, карьерист, других оценок мы к нему не применяли. Его земельную реформу я сам в Думе резко осуждал, и искренно: затея чиновников, вносит смуту в каждое сельское общество, в семью, ломает вековые устои. И я же в Одиннадцатом году был первым подписавшимся под запросом против действий Столыпина по западному земству... Но несколько раз приходилось мне к нему обращаться о смягчении участи разных людей — и всегда он смягчал. Особенно помню первый раз. Моего друга, тоже земского врача, административно выслали из Воронежской губернии «за пропаганду среди крестьян». Откровенно говоря, он пропаганду и действительно вёл, ну проще: от пациентов не скрывал своих освободительных идей. Однако обидно отдавать друга на расправу, если я всё-таки депутат Думы? Взял и написал Столыпину письмо.

Андрей Иванович рассказывал виноватым тоном и сам себе удивляясь. (Это — сейчас, через восемь лет. А ведь тогда — встретиться со Столыпиным было всё равно что предательство. Наверно скрывал.)

— Вдруг приглашает на приём. Иду. Стиснув зубы, враждебный. Встречаемся, в небольшой комнатке министерского павильона, вдвоём. Не в белом сверкающем думском зале, где под люстрами режует каждая черта лица, и сами мы, и каждый звук речи усиливается в значении, — а в комнатке, с одним столом. Столыпин не только не напряжён, не сановит, не приподнят, а усталый, даже измученный. «Так вы — земский врач? Вот не знал!» — улыбается, и лицо просто мягкое, доброе, поверить нельзя. Борюсь с собой и не могу сопротивиться: он производит хорошее, да просто наилучшее впечатление!

Перевёл глаза и на Воротынцева тоже, усмехнулся ему добродушно, а всё в удивлении:

— Чувствую, что так можно поскользнуться, изменить принципам, но и сам не могу сдержат улыбки, приветливой...

А не всякому улыбка так идёт, как Шингарёву, с улыбкой его ни за кого не отдашь.

— ...доброжелательного голоса. Отвечаю откровенно: да, мой друг придерживается освободительных идей, но он нисколько не крайний, ни к каким сотрясениям призывать не мог бы.

Улыбка, растворяющая и тебя, и себя, — как ей отказать?

— Обещал. И сделал, воротили моего друга домой.

— Исключения только подтверждают правило, — жёстко напомнил Родичев.

— И другой раз, — Шингарёв своё. — Ходил к нему и умиловал члена Думы Пьяных, эсера, за убийство — вместо казни на пожизненное заключение. Он возражал: Пьяных подложил бомбу в дом священника, не хочу вмешиваться в суд, — а всё-таки помилование устроил. И ещё раз: осудили к смертной казни десять воронежских крестьян за убийство помещика. Я опять к нему: двое сознались, но не все же убивали, остальные невинны. Он мне: вы не знаете, за кого заступаетесь; если убийц не держать ужасом — они пережуют всех, кто носит сюртук, и вас, и меня. Если они захватят власть — вы будете из первых, кого они казнят. Достал, показывает мне диаграмму: вот, смотрите, с каждым днём, как идут разговоры в Думе, — увеличивается число убитых, особенно городских, стражников, помещиков. Террор растёт — и я за это отвечаю. И всё же — по телеграфу распорядился в Воронеж провести новое дознание.

И всем открытым лицом своим открыт Шингарёв всем сомнениям:

— И с тех пор я иногда задумываюсь: насколько грубы, громовещательны даже самые лучшие парламенты. Вот и английский, и французский, как мы этой весной повидали. Мечтаем — и нам бы так. А разобраться — мы все там ожесточаемся, говорим резче, чем думаем... А какая-то наверно есть высшая возможность — по-человечески убеждать даже самых лютых противников?

Уж там есть ли, нет ли, утопия, конечно, но Родичев протёр пенсне и обошёл молчанием.

Так ли, иначе, а взорванная Воротынцевым яма как будто и затягивалась плёнкой.

А тут — опять звонок, телефонный. Шингарёв поспешил — остальные прислушались. На этот раз — Павел Николаич!

Но Шингарёв воротился смущённый: просил дальше его не ждать, приехать никак не сможет, возникло срочное дело. И намекнул — что с Протопоповым.

С изменником Протопоповым? Вот как? Всю компанию так и резануло любопытством.

А пока там телефонный разговор — за спиной Воротынцева ещё один голос, женский, тот самый мелодичный, теперь что-то высказывал, и довольно самоуверенно.

Чтоб не сидеть спиной, Воротынцев обернулся. Маленькая неяркая женщина в английском тёмно-сером костюме, строго ровно держа небольшую голову с тёмными, как бы чуть включенными или запутанными в причёске волосами, доканчивала приват-доценту.

Да тут все знали всех! — и не представлялись, один Воротынцев новичок.

Он круто встал, шагнул, звякнул шпорой, приставляя ногу, — и хотя в этой комнате не целовал рук — тут наклонился к руке профессора Андозерской, почувствовал так.

Она приподняла маленькую кисть, подала ему. И улыбнулась. Её глаза открыто-одобрительно блестели.

Слышала она его взрыв!

*
* *

*Знаменитые сибирские полки! —
Все штыками как щетиной обросли.
Эй, говори!*

*Проходили мы варшавские мосты —
Все красавицы бросали нам цветы.
Эй, говори!*

22

Человека, долго переносящего невзгоды, опасности, как бы он с ними ни сжился, как бы ни запретил себе думать о жребии ином, — неприметно для него самого истомляет тяга расслабиться, тоска испытать сочувственное внимание да и оценку своих заслуг. Даже мальчишка, целый день пролазавший по деревьям, пробродивший раков, требует вечером у семейного стола такого признания и удивления. И самый молчаливый, терпеливый труженик после дня, недели, месяца нужи и стужи ждёт признания и заботы хотя бы от единого человека — от своей жены. Тем более дуплится такая телесная и душевная нехватка в нутре фронтовика, всякий день не уверенного даже в длении собственной жизни.

Воротынцев, постоянно стянутый на делаемое дело, сам не предполагал, до чего уже подкатила в нём такая жажда. Растянясь на полке обыкновенного — во всём необыкновенного! — мирного вагона из Киева в Москву, предчувствовал он в себе всплеск этой жажды. Но дома, в Москве, где естественней всего было её утолить, покатило нестояще, и не открылось рассказывать своё заветное. Кое-что внешнее, с краю, обломил в вагоне Фёдору Ковынёву. Ехал в Петербург — а найдутся ли здесь заинтересованные, требовательные, понимающие люди, чьим центром проверяющего и благодарного внимания он усядется и отдастся рассказам? — сам страдая снова от сути их и сам наслаждаясь, как освобождаются ноющие кости от протраданного в глухоте, как оправдаются заклятые военные неудачи тем, что это дружественное общество на жилке ума воспримет их и переработает?

И вот на Монетной, на пятом этаже, как будто сошлось такое общество, и намерены были слушать его, и задавали вопросы, — да может быть только из вежливости, а на самом деле зачем им слышать, когда все интересы их — партийные? От послушанья их самих что-то опала охота высказать тут своё сокровенно-горькое, загубливалась возможность рассказа и здесь. Ведь эти, пока не было войны, над военными смеялись, вот уж не стали бы слушать. Пока Воротынцев сверх Академии набирался артиллерийской тактики на лужском полигоне, да иппологии, да вольтижировки, —

эти считали «патриот» позорной кличкой. Где-то, может быть, на другом этаже другой улицы сейчас собрались те, кому Воротынцев вёз ворох своего наболевшего, — да как найти их!

Да вообще всякое внутренне-несомненное теряет в звучании, в громком назывании, в пересказе, и лишь между близкими вполголоса передаётся верно.

Так что лучше бы всего Воротынцев сегодня ничего бы не рассказывал. Но отчасти неприлично было отказаться, все ждали, и особенно перед Шингарёвым как же? С Шингарёвым они начали, не договорили — ему-то и надо было выразить дополна. Шингарёв очень тронул своим задумчивым воспоминанием о Столыпине. Его открыто восприимчивое лицо, его незаграждённый взгляд ждали узнать. А внезапная стычка о Столыпине дала Воротынцеву взбодриться — и он настроился к этому обществу не снисхожденья просить, а вызывающе, — и швырнуть им, чего на самом деле эти предметы стоят, о которых они так легко рассуждают, в своей воинственности несравненной, в своём нечувствии. А и Верочка ничего не слышала толком, и ей отдельно он не соберётся рассказать. Но и это всё ещё не сложилось в нём до конца — не появившись тут эта маленькая профессорша в кружевном воротничке, однако с мужским пожимом маленького лба — и неотрывно-одобрительным взглядом к полковнику.

И эта профессорша — окончательно перевесила, неизвестно почему: они и словом не обмолвились, и не просила она его ни о чём. От одного только присутствия её вдруг стало Воротынцеву свободно, уместно и нужно — вот именно здесь сейчас всё рассказывать. Вот именно тут-то его и ждали!

А тем временем все и пересели, приготовились. Павла Николаевича больше не ожидали, а Родичев снизошёл остаться послушать полковника.

Но — как отбирать? но что рассказывать? Что в его фронтовых днях было воистину главное, даже кричало, с полуслова понятное товарищам по полку, — здесь, в просвещённом кадетском обществе, выглядело бы эпизодами мелкими, безсвязными, пожалуй даже свидетельством неспособности обобщать.

Но полковник как раз с румынского фронта. Все фронты застоялись, а этот один действует — так что там?

Румыния? Вот потому немцы туда и ударили, что новый, открытый и незащищённый фронт. 300 тысяч войска — а посыпалось как гнилая труха. Румынскому королю неймётся Трансильва-

нию захватить, но со спины боялся Болгарии и долго договаривался, как союзники от Салоник начнут, а мы через Дунай в Добруджу. Союзникам что ж: лишняя страна — гуще свалка. (Впрочем, здесь о союзниках поосторожнее!) Но у нас — где была голова? Все твердят, что успех нужен на главном фронте — а движемся на второстепенный. Кто-то думал тем усилиться, пододвинуться к Босфору. А пошёл Макензен через это королевство маршем да нашу дунайскую армию и подвинул наоборот, от Босфора подальше. Забрали немцы румынскую нефть, забрали лошадей. О румынском участке? — пересказать нельзя, представить невозможно! Назвать бы опереттой? — так слишком кровавая, слишком много маршевых рот мы гоним туда на затычку. А послать нам туда надо не меньше четверти миллиона. А железные дороги их ничего не пропускают, даже нормальных санитарных поездов — и отправляем раненых в товарных вагонах из-под прибывшего провианта. Или в дачных вагонах, без уборных и с выбитыми стёклами. А в устье Дуная ещё и холера. На днях вот Констанцу сдали.

Да не ждали от него рассказа свободного, как ни сложится, что на себе ни вынесет, ждали подтвердительных фактов к уже известному, в Петрограде лучше всего, смыслу: что неисчерпаема, нескончаема, непробиваема тупость Верховной власти и Верховного Главнокомандования, но неизменен, светел и несокрушим дух русских воинов, простых солдат и офицеров, на которых и может полагаться в своих расчётах либеральное передовое общество. И о Румынии, и о Галиции ждали от него не столько живых картинок с чёрными фугасными столбами и лошадьми вверх копытами — а таких эпизодов, чтобы на светлом фоне народного героизма выступали бы чёрными заляпами ошибки только самого Высшего командования и особенно министров, которые всё и губят, и посему с этой властью нельзя победить.

Так и для самих армейцев это было самое естественное направление срывать досаду! Кого ж и ругали в офицерских землянках, если не тыл, не Ставку, не штабы фронтов и армий, не корпусных и не дивизионных! Такого — сколько угодно мог Воротынцев рассказать.

Хоть и с того, что 1914 год мы начали даже без наполеоновской нормы — 5 орудий на тысячу штыков. Да на первые недели, на предстоявшую тогда трёхмесячную короткую войну мы гнали полки в переполненном составе — в роте по 4 офицера, фельдфебели на взводах, сверхсрочные старые унтеры в строю за рядо-

вых, — а потому что на унтеров в мобилизационном плане даже не было отдельного учёта, так работало сухоумлиновское министерство. И в те первые месяцы столько выбито унтеров, что вот третий год соскребаем кое-каких, подучиваем неумелых — командовать и вовсе неумелыми солдатами, ратниками да ополченцами. И кадровые офицеры тоже выбиты на три пятых, да одна пятая прикалечена, и разведены морем прапорщиков-разночинцев, осталось кадровых в полку по пять, по шесть, как воевать? На ротах и батальонах — подпоручики, а то и прапорщики.

А эти новые прапорщики? Чуть грамотен, кончил не кончил городское училище, — за 4 месяца становится «их благородием». И иной понимает, что ещё не годен, и старается учиться, а другой возомняет, распоясывается, показывает свою власть над солдатами. От таких «народных» прапорщиков не сблизилась офицеры с солдатами, но расчуждились.

А как присылают пополнения? Московским округом, хорошо известным Воротынцеву, стал командовать надменный генерал Сандецкий. И владела им дичь недоучивать новобранцев, как можно больше и скорей посылать на фронт необученных солдат, не умеющих ни стрелять, ни вперевежку. И особенно люто он изгонял на фронт недолеченных офицеров, где они и воевать не могли, а домирали от своих болезней. Врывался на медицинские осмотры и вмешивался. Вот один случай, не попавший в газеты лишь оттого, что пострадавший смолчал. Освидетельствовался офицер, у которого от ранения были скрючены на правой руке четыре пальца. Комиссия постановила уволить его от военной службы, Сандецкий возмутился, приказал офицеру положить большую руку на стол — и трахнул по ней кулаком изо всей силы. Все четыре пальца — сломал, офицер лишился сознания.

Оживлённый переполох. Вот это попадало слушателям в цвет и в потребу. Что ж, клюйте. Всё — именно так, увы, и никуда не денешься. Говорят, великая княгиня Елизавета Фёдоровна стала обличать Сандецкого, но её отношения с царственной сестрой испорчены, а тут Сандецкий стал её самое травить в Москве как немку. В конце-то концов Сандецкий ушёл — но куда? на Казанский округ, не много потерял, и мы не выиграли. А на Московский назначили Мрозовского — не такого рьяного, но такого же тупого.

Сколь многие в России заняты не службой, а личным благополучием. Высокие штабы — преувеличенно множественны, даже преобилие переписки, личных адъютантов, офицеров для связи,

лишних экипажей, досуг, еда, питьё, карты, а штабная угроза: в окопы пошло! В таких штабах и планируют вялые операции, где губят по 50 тысяч человек, и такая мелочь в историю не записывается.

А — покрупней? Хотя бы всё та же Восточная Пруссия. Разве самсоновская армия — это всё, что мы там положили? Да в Пруссии с тех пор ещё несколько катастроф. Ренненкампф, на помощь другому медлительный, вскоре и сам уносил ноги из такого же мешка, да проворно, и орудия бросал. И ту же Вторую армию, только что снова сформированную, в тех же месяцах едва-едва не отдали под Лодзью в такой же мешок. (Кстати, это мы опять торопились спасти французов, теперь на Изере...) А затем — снова дважды на Пруссию, по тем же несчастным дорогам, с юга и с востока, ничего не изменив ни в тактике, ни в вооружении, опять мы напирали голпой, всё думая взять числом, напирали на свою повторную и третью гибель. В ту зиму растрепали в Пруссии Десятую армию — положили 20-й булгаковский корпус, уж не считая отдельных полков. Так три раза совались мы в Пруссию неготовые, чтобы только выручить французов!

И за всё то... за всё то... Ну, тут все знают и подсказывают. Рассыпано много наград высшим генералам. Вытащен из старья Куропаткин — на Гренадерский корпус, а там и на Армию, а там и на Фронт. Окостеневший генерал Безобразов, приятный Двору, вместе с Брусиловым перемальвает гвардию, но не спускается ниже корпуса. Как и генерал Вебель, не вылезавший из поражений. Как и генерал Раух: в Пруссии опозорился с кавалерийской дивизией — за это получил конный корпус, отобрал у него Лечицкий корпус — вознаградили Рауха от Верховного Гвардейским корпусом, а этот послал он на Стыри по болотам, австрийцам даже стрелять не пришлось, тонули наши и так. А Жилинский, это вы знаете, стал полномочным русским представителем при французской главной квартире. А Артамонов, погубивший самсоновскую армию, вышел из-под следствия чист, и Николай Николаевич поздравил его поцелуйно. И когда взяли Перемышль, то в череде празднеств не нашли коменданта пригожей Артамонова. А он, упустивши 20 тысяч пленных и сдавши крепость противнику, стал законно ожидать нового назначения.

И не смерив первого военного полугодия, всей невозвратимой потери офицеров, унтер-офицеров, кадровых солдат, истощения снарядов, даже нехватки винтовок, постоянного превосходства не-

мечкой артиллерии — и в численности, и в калибрах, у нас почти только трёхдюймовая, у них много тяжёлой, — ничего этого не смерив, не оценив — к первой военной весне кроволитно потянуться в скалистые проходы Карпат, чтобы их переваливать в Венгрию. И при этом — даже не прикрыть как следует фланги наступающих корпусов.

Карпатская авантюра! — она жгла сердце чуть не ярей всего. Как невыносимо вспомнить: после взятия Перемышля — не сметь сил, попёрли, попёрли через горы, какие кручи одолевали пушками, брали штурмом перевалы, — какие рывки! какие потери! сколько крови!! И всё — зря! Вот развернулась венгерская долина, только спустились — и тут же приказ: отступить! И с какой поспешностью, на те же опять кручи пятясь, заклиниваясь в ущельях, — какие потери опять!.. Списывали полк в один час... Таяли целые корпуса... Карпатские ущелья — кладбища удальцов...

Тем особенно невыносим приказ с далёкого верха, что необходимости его не знаешь, глазами не видишь, а только: зачем?? зачем же мы туда лезли?

А смахнул все наши Карпаты — макензеновский прорыв под Горлицей. От прорыва под Горлицей и покатилося всё великое отступление Пятнадцатого года — без снарядов, от современной армии отбиваясь штыками, а где и чуть не дубьём. Начальник дивизии благодарит командира батареи за отличную стрельбу и тут же грозит отрешить за перерасход снарядов. Отходили ночами, когда немцы отдыхали, отходили и среди бела дня, то и дело в угрозе окружения, а немецкая артиллерия молотила по нам. (А ещё ж, не забудьте: отдаём хлебные зрелые поля, и рядом тащатся вереницы беженцев в лохмотьях, с покорными взорами, их скарб щемящий на телеге, а лошадь падает — и слезы над ней, и холмики похороненных детей.) Уходили из Галиции уже и без патронов, никак не отвечая. Пополнения, едва выгрузясь из вагонов, тут же попадали и в плен. Аэропланы в небе — только немецкие. И как мало бы этого всего — тогда ж пустили немцы на нас и газы, и морили сразу тысячами — в зелено-жёлто-серых мертвецов, с выкаченными глазами, вздутыми животами, всё в той же Второй армии — 9 тысяч отравленных с одного разу. А мы — совсем не ожидали, совсем готовы не были, защищаться нечем, марлевые повязки на рот? целлулоидные очки на глаза? — все гибли. И вся наша поздняя выдумка: зажигали хворост на бровке окопа, чтобы пламенем перекидывало газ через окоп.

Прежней русской армии, избывающей солдатским здоровьем, какая топала в Четырнадцатом, — её уже в Пятнадцатом не было. Вот так она руководилась Верховными. (Это — здесь хватают.) При спокойном бездействии благодарных союзников, жалевших для нас даже винтовок. (Ах, пардон, про союзников здесь нельзя, такое — нигде вслух не говорится, не называется.)

— Позвольте, но — как же тогда...

Мы и Шестнадцатый год начинали — ещё с тысячами безоружных в строю, лишних. Надаём таким сапёрного инструмента да ручных гранат, и вот — «гренадеры»...

— Позвольте, но как же тогда брусиловский прорыв?!

Дался им этот брусиловский. И прорыв этот, господа, а особенно его развитие, — не так уж славен. Два месяца густых боёв, крупных потерь — а взяли уездный Луцк да несколько заштатных городишек. Это не наступление, когда толкают, а не охватывают. Никакого решительного результата, вслед за тем мы и отходили. Весь успех Брусилова ничего не стоит, если посчитать, сколько он в последующие месяцы потерял, за четверть миллиона наверно. Этот прорыв как раз и показал, что наступать мы не умеем и сегодня. А сколько — глухих, безпросветных наступлений, даже названьем отдельным не отмеченных? — в этом марте, к началу распутицы, у озера Нарочь, например?

Нет, господа, пока что совершённым в этой войне — России не похвастаться. Разве это — достойное ведение войны? От такого гиганта да при напряженьи всех сил — не такие бы успехи ждались.

Тяжёлая заминка в гостинной.

Да легко рассказывать, злорадно слушать о бездарности и путанице *верхов*. Но — сам ты? и кто из нас склонен рассказывать? — о путанице рассыпанной, а не менее губительной, об ошибках и несовершенствах среднего и малого боя, чем и наполнены будни. Неудачи местных боёв скрываются от соседей и от начальства, о них и не узнаёт никто вообще. Скрывают свой отход, подводя соседей. И в донесениях — «потери выясняются», когда уже знают их, но надо скрыть. Или «с боем взят», когда без боя (и «в моём присутствии» — значит, мне награду). Или рапортуют о вовсе не взятом.

Или к бою пришлют несколько ящиков гранат, а ящик с капсюлями забыли в штабе. Значит — без гранат.

Или идём в атаку, даже не зная позиций противника — не сфотографировав с воздуха, не зарисовав с земли. Потому что

атаки бывают — и не для прорыва настоящего, и не отвлечение с другого участка. Атака — для отчёта перед начальством. Просто — посылают Елецкий полк и устилают им высоту.

А ещё же — работа рыть. Фронт состоит из работы и терпения ещё гораздо больше, чем из боя. Окопы — ведь это открытые ямы, и от дождей в них — всегда вода, а в землянках и в блиндажах всегда сырость. И это счастье, если есть чем их перекрывать, а в безлесной местности приходится сидеть на позициях необорудованных, или за 10 вёрст, не преувеличиваю, носить на себе брёвна пешком, и будешь носить, чтобы жить остаться. И каково узнать, что позиция оборудована «не там» — по ошибке начальства или по смене обстановки, — и надо переходить на новое место — и лес переносить на себе опять? Все инженерные работы делает сама пехота. И столько достаётся солдату ходить, что не хватает никаких сапог, изнашиваются до бродяг, плетут на замену лыковые лапти. Отдыха — никогда. Так что солдат, прибывших необученными, — некогда и обучать. И до того уже находятся и натрутся, что сама позиционная война кажется отдыхом. Не в перебежки, когда грязь прилипает к ногам пудами, не наступление по пояс в рыхлом снегу, раненые так и тонут.

А ещё: на весь полк — десяток ножниц резать колючую проволоку (военное министерство не подсчитало больше). Сколько лишних солдат уложено из-за того, что ножниц не хватило.

Война — она идёт третий год, и за это время в разных местах отечества разные люди успевают и привыкнуть, и пожить, и познакомиться о событиях, и порассуждать о будущей победе, — а какому-то батальону или полку вдруг остаётся всей жизни — один-два часа. Присылают команду — атаковать, и непременно в лоб, и непременно через большое открытое пространство, и хорошо, если в атаку поднимают бежать не за версту. Нудная знакомая тоска. Да расчёт сколько-то пожить-полежать во время нашей артиллерийской подготовки, если она ещё будет. Как долго будет помнить жена, и вспомнят ли малые дети?.. А вся ваша атака, может быть — для демонстрации, боковая диверсия. А до противника — три четверти версты открытого снежного поля, чернеет его опушка леса, и там, под издых, у него конечно всё залетено колючей проволокой, а прежде того — ни укрывёца, и только надежда, что снежная пелена где-то скрывает и увалы, где-то можно будет провалиться с его взора и прервать атаку. Поползли вперёд разведчики и гранатомётчики — а дивизия звонит: почему батальон

не поднят в атаку? — Надо переждать, пока они... — Приказано не ждать!

И эта виноватая прибитость пехотного офицера, не могущего не подчиниться. И прибитость лежащих пехотинцев, пока предсмертная их тоска не взорвётся в бодрящий отчаянный ужас атаки.

И никому бы не приведи Бог слышать это беспомощное жалкое «ура» из боевой кромешки — крик не торжества, но отчаяния, вымученный в перебежке. А снег усыпан, как мухами, упавшими людьми — и кто тут уже убит? а кто только переживает? И только те тебе кажутся уцелевшими, кто достоверно с тобой рядом, остальные убиты.

Да бегущий в атаку хоть имеет утешение в выборе остановок, может обманывать себя зигзагом направления, кочкой, камнем, даже пучком сухой травы. Но телефонист, посланный исправлять линию под обстрелом, лишён и этого самообмана: его провод — его судьба.

Случаев всех не регистрирует история, не сохранится на всё участников. Да тому, кто способен понимать, не надо рассказывать ни всё, ни много, — тому довольно об одной деревне Радзанов, о высоте 58,6 с прекрасным обзором, укреплённой рядами колючки, которую разрушить ещё не было снарядов тогда. Ещё и подходы болотисты. Но пехотному полку приказано — взять! Командир полка находит невозможным и просит приказ отменить. Штаб дивизии настаивает. Выхода нет. Утром — атака. Потеряли триста человек, среди них — невосполнимых офицеров. А через несколько дней встречаются офицеры-драгуны — их полк на этом участке прежде был, уходил, вот вернулся. Рассказывают: так же без артиллерии эту же злосчастную высоту 58,6 они уже брали — и в конном строю, и в пешем, потеряли семьсот человек, не взяли.

Это называется — *мертвоприношение*. И навидавшись его достаточно, даже теряешь достойное уважение к ране, к смерти, к трупу. Совсем обыденно воспринимаются и окровавленные фуражки на одиноких крестах, и над целой братской пехотной могилой воткнутая сапёрная лопата — «солдаты такого-то полка». Как убитый лежит на боку и подвернул окровавленную голову под руку, будто ему холодно. Или — как отпевают скрюченного, не снимая с носилок. Ещё обыденней — полудюжина раненых в телеге с наставленными боками — как их перетряхивает, переламывает,

выставлены и качаются толсто обинтованные береговые конечности, а из глубины — глаза, уже знающие своё непоправимое увечье, — вы такую картинку, господа, всё же поймите в виду. И не все доедут до правильной перевязки без столбняка и гангрены.

Не всегда неудача. Иногда и в январской воде по поясу, винтовки над головами, — атакуем пулемёты, и берём! Так — Сан переходили.

А иную позицию — взяли! Победа! Ликование. Вдруг — необъяснимый приказ: отойти на прежнюю...

Зачем же?! Зачем же брали? Зачем не подумали?..

Всю эту пирамиду награждаемых, возвышаемых, неотклоняемых генералов ты держишь на своей голове, как восточная женщина кувшин воды. Кажется: командир полка, и твоя голова свободна принимать решения? О нет! Почти нет движения скованной шее. И за малое самовольство, за отход на сто саженей вызывают в штаб корпуса для дачи показаний о *недостаточно доблестном поведении*... Кто переймёт, кто перечувствует эту зажатость нелепым, непоправимым приказом?! Ты видишь в нём ошибку, просчёт, злую волю или пренебрежение — но ты скован, и честь, и гордость, и военное подчинение не позволяют тебе возразить. И в день последний, перед завтрашней твоею смертью, даже и некому переповедать, к а к это было.

Молоденькие гвардейские офицеры, собравшись, ищут форму протеста: господа! пойдёмте в безнадежную эту атаку одними офицерами, а солдат не поведём!..

Или вот: не устаивал Рьльский пехотный полк на Стрыпе, выбит, подавлен. Надо спасти их, а нечем. Есть — драгунский Каргопольский полк. Как раз у них праздник — юбилей полка. Всю войну и близко не подвозят водку на позиции, даже и в морозном сидении выжимают трезвость. А тут — раздобыли драгуны, выпили, песни запели. Дело к закату, а подъехал начальник дивизии: «Будем рыльцев спасать, ребята!» И понимая, какая то будет атака: «Каргопольский полк умереть не должен! От каждого эскадрона оставить на развод по одному офицеру и по десяти драгун!» Жребием... На прощанье обнимались. Впрочем, хмель ещё в голове, ноги лёгкие. А тут стемнело. И по полю, покинутому пехотой, изрытому окопами, ячейками, воронками, опутанному колючкой, где и днём-то без ножниц не пройдёшь, тем более не проскачешь, — в темноте и молча пошли на рысях!! («С Богом, ребята!») Проваливались в ямы. Ломали ноги, рёбра. Опрокиды-

вались. Повисали на проволоке. Ночная скачка в жуть, и лошади страшней, чем человеку, не зная опоры следующей ноге. Немцы заметили — поздно. Ракеты, прожекторы! А каргопольцы — на галоп!! И от прожекторов — растущие тени по полю и по небу — привидения!! Кто — в опрокид, кто — растёт и близится! И немцы — не выдержали, бежали! Победа...

Хуже всего, что укореняется и так уже всеми и принимается: чем больше потерь, тем, значит, лучше был бой, тем больше и начальства представляется к наградам. Даже когда и можно атаковать в обход — нет, гони через трясины! Командир 49-го казачьего полка радостно доносит штабу походного атамана: «Сотня шла на укрепленную позицию по открытой местности, под обстрелом и в конном строю. Надо было удивляться героизму этой сотни, шедшей по приказу на верную гибель — из преданности престолу!»

Вот от такой бараньей преданности мы и изливаем нашу силушку.

Да если мерить по презрению к смерти, то героев доподлинных много больше, чем этих фотографий во всех журналах вместе — «Воины благочестивые, кровью и честью венчаные» (у кого расторопней родственники), и много больше, чем отсыпанных георгиевских крестов. Осколком раненного в живот ведут под руки двое легко раненных, он бредёт согнувшись, придерживая двумя руками живот. Из встречной резервной колонны горько-весёлое подбодрение: «Неси-неси, не растеряй!», — и он находит отозваться: «Донесу, чай своё».

В полку приходится устанавливать очередь наград. А в штабе дивизии, в штабе корпуса перечёркивают и посланные наградные, оставляя место для Руководства да для писарей.

Да в победе и рана, и смерть легче, горчей — в безтолковости. Этим летом в одном полку наметили применить газы: с полночи трижды, через час, выпустить на немцев по 100 баллонов, а затем атаковать. Но завозились, первую волну пустили только в 3 часа ночи. Немцы обнаружили — ракеты, сигнальные трубы, рожки, чугунные доски, разожгли костры. Тут наша метеостанция доложила, что ветер становится неустойчив, — но начальник дивизии приказал пускать вторую волну. И — подравили соседний полк, выдвинутый вперёд. Стало с ветром ещё хуже — а приказали третьей волне. Эта волна прошла немного, остановилась — и хлынула назад на свои окопы. А ещё: баллоны должны выноситься вперёд

окопов, а шланги — ещё вытягиваться в сторону противника, но тут вопреки инструкции баллоны оставались в окопах, а шланги — на козырьках, а немцы открыли по нашим окопам сильный огонь и перебивали их, — паника, надевали противогазы впопыхах. Братская могила на 300 офицеров и солдат. Мало облегчения, что начальника дивизии отрешили.

Кто ранен — это Шингарёв. Во всю грудь он принял рассказ и выдвигается, как те несчастные, на укреплённую позицию без ножниц и не в обход. Откатясь на руку, облокоченную о стол, — высматривает меж тёмными глыбами светленьких зайчиков надежды.

И ещё какой-то появился в комнате новый: с неусыпаемым тревожным лицом, нервными бровями. Так и вонзился в рассказчика.

Но — и нельзя на себе не заметить несводимого переливчатого взгляда профессора Андозерской. Как будто в жизни не видела военных, он — первый. Весь рассказ его вбирала неприкрытым взглядом, не возражая ни движением губ, ни бровей против самых его резких и неожиданных слов. Очень свободно для неё рассказывалось.

Да и Веренька — неподвижна, мила, тиха, вся — в глазах. С детства слушать умела как никто.

Но — дух? но — дух нашей армии сохранён же? — безмолвно горят глаза Шингарёва. Какая же страсть и взмыла его от сельского врача до первого парламентария? Если ему не верить в наш благословенный народ, если ему не верить в новоживотинцев, попавших на фронт, — для чего же тогда вся деятельность его? и вся Дума? Бывший врач теперь считает пороховые заряды, таксирует цены на хлеб, в Сорбонне и Оксфорде произносит кипящие речи от имени целой России, — но лишь пока он верит, что не расколется и на затмится дух новоживотинца.

Он — спрашивает. Но уверен, что знает ответ и сам.

Дух?.. Когда полки бывают по 300 штыков, а дивизии по 800? Когда вид выжженных деревень и костры из деревенских заборов уже не трогают даже крестьянского сердца? Но ищут, как уклониться от боя, — хотя бы раненых сопровождать? А какво непомерное множество пленных?

Остёр через пенсне находчивый думский фехтовальщик Родичев: *воля к победе* — ведь не утеряна? Веру в победу — ведь сохраняет армия? Рядовой солдат? И вот, полковник?

Экий же поворот... Когда мы горбимся в осклизлых окопах, отираем глину шинелью, или 48 часов на морозе, не спавши, в пулемёте смазка мёрзнет, надо греть его на огне, — у нас там общая фронтовая обида: *они* в России забыли нас! Такая затяжная война, кого не потянет отвлечься в мирные удовольствия, в рестораны, в элегантность. Шлют нам в утешение кисеты и конфеты, а сами...

Но нет! оказывается — не равнодушны! Даже: дайте победу! Даже: где ваша воля?.. И надо бы броситься к ним в обнимку: а мы-то гршили на вас!..

Но, по дурному ли свойству человеческого сердца, обида не рассеивается, она остаётся, лишь поворачивается вокруг своей оси: господа либералы! господа русское образованное общество! (Это — не вслух.) Могу ли я верить? Да может быть я ослышиваюсь? Да всего 12 лет тому назад чей же это был крик, чей же это был вопль, что не нужна великой державе война, что преступно посылать на бойню нашу безценную молодёжь с общественными идеалами? Что есть проблемы только внутренние, а снаружи можно хоть отступить, хоть проиграть, да поскорее! поскорее!! Из-за кого же мы проиграли ту войну, и чьи нервы, если не ваши, так поспешно сдали тогда, уроня Россию? Как же могла страна воевать, когда всё образованное общество открыто (и для врага) *требовало* поражения? И когда наша несчастная пехота на своих телах для всего мира вынавала новую тактику войны двадцатого века, ещё не пряталась в земле по одному, но в зоне огня *ходила ящичками*, и даже в ногу, — отчего же тогда вы нас не спрашивали о духе и воле к победе?

Ну, допустим, допустим, чьи-то надменные расчёты над неиспробованными японцами да личные интересы ничтожного адмирала Алексева, — Воротынцев, сидя на этой войне, переменял мнение и о прошлой. Но ведь с тех пор, в 907-м, и Германия тянулась к «русскому курсу», а мы отвергли, а мы предпочли неверную дружбу с Эдуардом. А почему же здесь, на западе, сокоснувшись — надо непременно пробовать силы? А почему *эта* война так нужна, и что такое мы можем в ней выиграть? Тогдашний удар по телу страны — вы думаете, не отольётся вам? За *тем* поражением, в далёкой войне, не могли не прийти пораженья поближе. Конечно, если считать, что Россия кончается нашим поколением, тогда можно позволить всё. Столыпин, такой вам ненавистный, не он ли вытащил нас оттуда, куда вы нас столкнули? Ах, господа

(это — не вслух), да когда же всё повернулось, что вы теперь такие воинственные? А нас, *младотурок*, бранили либералами, а мы были всего лишь патриотами. Но поздно, господа! — когда осенил вас патриотизм, наша армия, наша армия перестала... как бы вам назвать?..

Андрей Иванович, на облокоченной руке, приниженный, придавленный косою тяжестью к столу: но всё-таки солдаты — не просто же гонимые жертвы? В шинелях серых соотечественники наши, они же всё-таки понимают цели войны? Задачи России и всеобщей свободы — не чужды же русскому солдату? Да и Дарданеллы — это не выдумка Петербурга, их требует экономика всего русского юга...

И Воротынцеву — неловко. Не отвечать неловко, но даже услышать этот вопрос от государственного мужа, кем восхищался весь вечер.

Ведь вот как хочется вам: всё Верховное — чем хуже, тем лучше. А чтоб армия — хотела воевать и побеждать, и желала бы Константинополя.

Да солдаты сердцем опередчивее нас: кроме как за газы — нет у них на противника зла. А ещё — австрияки некоторые «гуторят похоже на наше». Это здесь — легко произносится: вообще наступать до победы, вообще верность союзникам. Но всё, что ведаете вы, господа, об отечестве, — солдатам ведь никто никогда не рассказывал. Нет у них такого неотступного видения — «страна Россия», не так чтобы просыпались и засыпали с мыслью о России. У солдат совсем нет этого понятия — «победа», а только «замирение», перестали бы стрелять, да и всё. И молодёжи и старым запасным — лишь бы выйти из боя, они уже не воюют, как прежние строевые. Пехотинец пробудет от раны до раны на войне — ему и вспомнить нечего, он только служил мишенью. Его дух — это обречённость. Пехота Четырнадцатого года была самоуверенная, весёлая и крупная. Сейчас — безучастная, равнодушная и мельче ростом. Вот почему я и говорю, что наша армия перестала, перестала...

Нет церковушки сельской, где не служили бы панихид. Долготерпение — о да, на это мы и надеемся, — но может быть, нам очнуться раньше?.. Земским врачам, парламентариям и офицерам — какое нам оправдание, если мы выживем через труп Ново-Животинного или Застружья? (Это — должен сам понять.) Если дух армии — уже упущен, если тела — уже передержаны, — куда ж

ещё, ещё, ещё испытывать народное терпение? Если среди солдат — глухое, меж собою: обороняться — как не нять, а наступать — чой-то ноги не шагают. Не надо ждать, когда это вспыхнет наружу!

Вот их состояние выше усталости: застывшее недоумение. Так и умирают — недоуменными. Их дух третий год не поддержан никакими разъяснениями, никаким вдохновением, а только: надо умирать! Крестьяне очень верят в высшую справедливость. В эту войну они утратили её ощущение: они гибнут, но им непонятно — зачем. Они всё тянут не из страха — но через силу. Они выросли бы на любые жертвы, но должны видеть необходимость этих жертв. Наш народ — с таким хорошим сердцем, так послушен, — но мы этим послушанием злоупотребили. Они тянут, тянут непонятный им долг, — но будет ли это до конца? Вы говорите — народ не простит этой войны, — да, но не правительству, а — нам всем!

Профессиональному военному перед столь воинственной командией этого почти вымолвить нельзя, это непонятно, а: *надо где-то знать меру даже и России!* Существует некая мера расширения. Она познаётся через плотность распирающего духа, через пропаханность и пророслость каждой квадратной сажени внутренней земли. Расширение — не может быть безграничным. Неужели Россия нуждается в расширении? Она нуждается во внутренней проработке. Кадровому полковнику — да, неловко вымолвить: война — всё же нужна не сама по себе, но для жизни государства?

И: что же правильно значит — любить свою страну?

Вот эти фотографии павших *воинов благочестивых*, которые вы все рассматриваете за утренним кофе между пятью газетами, — вы пропустите их через себя, вообразите, что они *через вас* протекли и всосались в землю бурными пятнами. И поймите, что это — лучшие-лучшие-лучшие, кто не умеет отлынивать и хорониться. И этих потерь не восполнить России за два поколения!

Ощущаете ли вы, что такое ранение в живот? Да и когда грудь прострелена? Когда выворочена челюсть? Разрывной пулей вырвана щека? Отсечен угол черепа?

Кто этого не ощущает — почему он имеет право судить?

Я сегодня успел побывать на Марсовом поле на выставке лицевых протезов. Вы не были? — а это так близко. Сходите, господа, и почувствуете. Этому — нет названья на человеческом языке,

и Гойя такого не рисовал. Лица, настолько искромсанные, разодранные, раздробленные, безкостные, ослеплённые, утратившие человеческий вид, — и так им жить теперь до смерти. Сходите, господа.

Да, офицеру о раненых лучше не думать, это расслабляет. Но вот — зайдёшь в перевязочную проведать своего героя, раненного два часа назад. Вечер. Землянка. Небольшая керосиновая лампа — высоко на полочке, сжигающая воздух. Тусклая полутьма, несколько топчанов вдоль стен, на каждом раненый. И вот этот чуть расширенный, полуосвещённый, безвоздушный гроб санитарной землянки — последнее видение Земли, последний образ жизни! Чтоб увидеть лицо раненого — надо поднести к нему свечу. За два часа смелое молодое лицо стало неузнаваемо: глаза увеличились, и столько знания в них, рот провалился, щёки выжелтели. Ждёт, когда же причастие.

Да вот (няня рассказала): месяц назад, оказывается, приезжал в Петроград японский принц — и главные улицы изукрасились русскими и японскими флагами. И простой народ спрашивает: а зачем же мы с ними воевали? И стоило ли нам на Японской войне убиваться? А через несколько лет вот так же будут и немцев встречать?

Я не знаю, может какая другая война, к которой мы бы внутренне подготовились... А к этой мы не были готовы. И сейчас — нельзя исправить дела никакими другими мерами, как... прервать... Я не знаю, может быть уговорить союзников мириться. А то, так... А то, так... (но этого уже решительно никому здесь не сказать) разбиралось бы Соглашение с энтим четверным Союзом Центральных, а наша бы Матушка, наша бы Матушка... убралась бы, полы помыла, печку протопила...

Странно от меня это всё?.. Но только тот, кто и сам двадцать лет — частица деятельная этой армии и не пропустил ни дня войны ни той, ни этой, — только тот и может решиться. Профессиональный военный, офицер своего Отечества, должен для Отечества каждую войну изо всех сил выигрывать?.. А я не знаю — я ещё профессиональный?.. Сто пятнадцать недель, восемьсот дней вот так — самый воодушевлённый офицер не готов в таких дозах принять своё ремесло. Или я слишком чувствителен оказался?.. Это — такая усталость, такая однообразная смерть, такая тоска и обида, выело всё нутро, — и жить в этом ремесле дальше некуда. Колени слабеют — сесть. Руки виснут в плечах. Сваливается голова.

А что же — офицеры? Это — не народ? Да это — пружина и воля нашего народа. Вот — газ пришёл, уже все солдаты в масках, но надо по телефону предупредить следующую линию о газовой волне, и поручик Грушецкий, тамбовец, снимает маску, передаёт предупреждение — и отравился. Вот, из укрытия наблюдательного не всё видно. И чтоб вести ответный огонь своей батареей — капитан Шигорин встаёт во весь рост и командует. И через четверть часа убит осколком в висок — но дело сделано. Лучших-то — и убивают. Счастлив офицер, о котором говорят солдаты: «с нашим не пропадёшь». Счастлив офицер, за которым дружно пошли в атаку. Но и не тот ещё самый несчастный, у кого солдаты разбежались, но он хоть два пулемёта притащил на себе.

Наших кадровых строевых офицеров, начинавших эту войну, остался из семи один. И солдаты — в отчаянии чувствуют, что их новые офицерики — не разбираются в деле, а только губят всех.

Да знать надо было — поручика Скалона, штабс-капитана Новогребельского (и постоять над живым ещё, лицо уже бледно-мертво, а ресницы вздрагивают), подполковника Чистосердова, и утратить их навсегда — чтобы понять: *русской армии больше нет.*

Перестала — существовать.

Надо было видеть капитана Таранцева, очумелого, одеревянелого, под пулями, в ста саженях от Радзанова: «Капитан Таранцев! лягте! в укрытие!» Чуть повёл головой: «Роты нет. Теперь всё равно».

Сам ли ты ещё живой, если сдал деревню, и в ней, горящей, видно при пожаре, как немцы ходят и пристреливают твоих раненых оставленных солдат? Командир полка, у которого за год состав полка сменился четыре раза, так что иных солдат и видеть не успевал, а только посылал их в бой, а потом относили их, если было что относить, — до сей ли ты поры командир полка или уже убийца?

Если помнить, как учил генерал Левачёв: офицер должен быть беспощадно строг — только к самому себе. К другим офицерам — мягче. А к солдатам — ещё мягче.

Тому, кто с ними бегивал через эти пустые непроходимые вёрсты. Кто радовался внезапному увальчику — и вместе с ними утыкивался под спасительное его плечо. И под грохочущим обстрелом слышал ухом через землю, как слабеет ход солдатского сердца, да и своего. По этому ритму тот мог бы сказать (но — кому? каде-

там — нельзя, правым — нельзя, власти — нельзя, кому ж говорить?!), что наша лучшая сейчас победа и наша лучшая честь — это спасти русский народ, кто ещё остался. И только.

И — не важно, как будет называться тот мир, — без Константинополя, без Польши, без Лифляндии, меньше беспокойств. Только бы нам остаться *нами*.

Дошёл ты до такого наблюдения, нет ли, — дошла война до такой черты, что спасти Россию, спасти себя, какие мы есть, пока не перебиты до неузнаваемости, — это уже будет победа.

Даже если — через какой переворот?.. (Но это — не вам.)

...И сообщаю я вам, что службой я доволен, и начальство у меня хорошее. Так что обо мне не печальтесь и не кручиньтесь.

(Типографское солдатское письмо)

*
* *

*Не надо нам, православный царь, злата-серебра:
Пусти нас, православный царь, на свою сторону,
На свою сторону, к отцу, к матери, на святую Русь.*

А как только затянутая пауза дала повод думать, что рассказчик не склонен продолжать, — тот новый слушатель с подкидывыми, нервными бровями, гололицый, только с подштриховкою усов, — теперь в эту первую паузу первый же и врезался, не дав никому ни отозваться, ни возразить:

— Скажите пожалуйста, а каковы ваши наблюдения над противосамолётным станком Иванова? Вы видели его? Как он в работе?

Воротынцев своим мучительным рассказом совершил какой-то крупный шаг в самом себе. Вся эта наросшая кора сердца и тела как будто треснула — и открыла ему расщелину выйти. Теперь — ему нужно было сколько-то часов плавной неподвижности, — не говорить, не шевелиться, отдыхать, даже может быть просто научиться сидеть на стуле рассвобождённо, как все сидят, а он не умел — ведь он по привычке сидел, как легче ему сорваться по первой тревоге. Благодетельно открылась ему возможность омягчить и вернуться к своему утерянному, забытому нормальному состоянию. И для этого очень нужно было, чтоб эта милая Андозерская продолжала бы сидеть прямо перед ним близко, глубоко одобряя его глазами, иногда и вспыхивая зеленоватым огоньком. И так — он хотел бы не участвовать пока больше в беседах. Вот и пришло то признание, которое так ждётся после невзгод. Вот и угадал он время и место, куда тащил и притащил свой тяжёлый воз, как будто свалил и освободился. И сейчас ни на какую политическую реплику он не хотел бы даже отвечать — если вот опять будут возражать ему о необходимости кадетской «скорой и решительной победы» или невозможности победить с *этим* царём, — с этим, не с этим — он уже выразил, надеялся, достаточно: что не побеждать надо, а скорее выходить из войны. Да кроме повторения ходов в этой компании уже ничего не могло возникнуть: говори им, не говори, что военная усталость через меру, — они будут всё своё: что только благодаря войне родина держится спаянной, а то бы всё рассыпалось от недовольства царём. Они ещё больше встряли в войну, чем царь.

Но чего угодно он ожидал, только не этого вопроса о станке Иванова. Шея Воротынцева снова напряглась и он взял голову: среди чужих петербургских — тут свой сидит, замаскированный в городской костюм? На любое ожидаемое возражение уже не хотелось поднимать душу, но на это?! —

— Замечательна быстрота перевода из походного положения в боевое и наоборот. Поэтому если идёт в колонне и появились самолёты — запряжка выводится в сторону и в несколько минут установка готова к стрельбе. И прочна. Лучше, чем Радзивиловича.

— А стреляет?

— Ну, стреляют все они не на полный угол возвышения. И прыжок выстрела сбивает наводку, так что нужно всякий раз ставить новый прицел. Поэтому...

Тот — с тревожными глазами, требовательный, вкловчивый, говоря быстро, со смыслом, обгоняющим неизбежную длину слов, переклонился к Воротынцеву, а Воротынцев к нему, и так они через полкомнаты заговорили плотно, а потребовалось что-то нарисовать — тот вытянул блокнот с ручкой и пробирался, нёс полковнику.

Как будто всё рассказанное было не для них двоих, и Воротынцев только притворялся, и вы там как хотите, а вот — самое главное. Наступила граница неловкости. Но исправил Андрей Иванович:

— Господа, господа! — подходил он с добродушным смехом (со смехом, а — не смеясь, с лицом серым, как у контуженного, вставшего из земляной осыпи, глаза не собраны, и собственный голос неверно слышится), — да разрешите прежде вас друг другу представить... Пётр Акимович Ободовский... Если хотите, тоже почти военный: недавно в Лысьвенском горном округе успокоил бунт рабочих с решительностью полковника, хотя без капли крови, одними речами.

Ободовский страдательно дёрнул бровями — к чему это всё? Ладонь его была горяча и суха.

— ...По русской нашей удивительности Пётр Акимович почти бросил горное дело и занимается одной артиллерией. При гучковском комитете создал комитет военно-технической помощи.

Вот сколько сразу. Да как же сошлось! Инженер да на артиллерии — почти как офицер-академист. И сотрудник Гучкова? — в первый же случайный вечер второй след его!

— Вы часто Александра Иваныча видите? Он... ?

И захлебнулись бы над блокнотом, хотя неприлично было так пренебрегать обществом, но другой усердный слушатель Воротынцева, маленький профессор в стоячем кружевном воротничке, возвращала их в общую комнату:

— Скажите пожалуйста, а эмигрант Ободовский, из круга Кропоткина, не родственник ваш?

И голос её отозвался в Воротынцеве радостно: она не вставала, не уходила, не увела своего внимания. Ему бы хотелось: вот она бы, хорошо бы, знала всю его прежнюю историю, опалы. Вот для неё, к ней — его история была нужна.

Ободовский головой вертнул, не сразу понял:

— Кто? А. Да, я. Да.

И — к делу опять. И невольно втягивая опять Воротынцева, ну как этому инженеру откажешь? Но и Андозерская, не отставая, чуть посмеиваясь над ними:

— Простите, я из чисто теоретического интереса...

(Какой мелодичный голос у неё. И так мило поигрывают струны шеи.)

— ...Как же связываются убеждения той и этой жизни? Анархизм и артиллерия?

Анархизм? Никогда в жизни Воротынцев не видел живого анархиста. И этот инженер с заглатывающим вниманием... ?

Ободовский обернулся-дёрнулся, как бы ища защиты:

— Как прилипло. Кто-то пустил, и носится. За границей я имел счастье стать близок к Петру Алексеевичу, оттуда заключили, что анархист.

На помощь пришёл Родичев. Выдвинул сильно, безповоротно:

— Дробление русской интеллигенции на партии носит случайный характер. А из корня мы выросли все из одного — служенья народу, мировоззренье наше едино. Служит кто как понимает, и анархизмом, и артиллерией.

Всё отвечено, дальше настаивать и неуместно. Но Андозерская, с головой ниже верхушки кресельной спинки, как девочка, приглашённая на взрослый разговор, — настаивала. При несильном, тихом голосе у неё была владетельная манера спрашивать:

— Но всё-таки ваша эмиграция имела революционную причину?

— Да дело дутое, — озабоченно отмахнулся Ободовский. — А пришлось бежать.

Интересно вот что: оправдался ли термитный снаряд Стефановича? Вы — видели его действие?

А за Ободовского закончила жена — плавная, спокойная, тоже лет под сорок, объяснила Андозерской, Вере и кто ещё слушал:

— На полчаса опередил полицию. Только я проводила на вокзал, вернулась — пришёл околоточный, брать подписку о невыезде.

Она была одета не то что скромно, но близко к скудости. Умеренно-полна и мягка в движениях, в возмещение худощавой безпокойности мужа. А сохранилась — при темноватых волосах, покойной русской, даже сельской красоте, под сорок лет могла бы так

выглядеть Татьяна Ларина. Ободовский бывал в Публичной библиотеке, жену Вера видела первый раз.

Вера — очень была довольна. Горда за брата. Всё получилось даже лучше, чем она задумала. Хотя по лихости он и сделал несколько политических безтактностей, но исправилось его ошеломительным рассказом, все слушали не пророня. Вера и всегда считала брата выдающимся, лишь по прямоте своей и по кривизне путей восхождения не занявшим видного места. И с Андреем Ивановичем они друг другу понравились. И вот как свободно отвечал на вопросы Ободовского. И внимание Андозерской явно забрал.

Вот это деловитость! Воротынцев охотно отвечал. Не знал он о комитете военно-технической помощи! Такая встреча — неисчислимой пользы: тут можно многое посоветовать или просить иметь в виду, о чём с фронта не докричишься:

— Скажите, а как с траншейной пушкой? Будет ли у нас траншейная пушка? Когда?

— А уже первые экземпляры на фронте. Отличная пушка, великолепная! Сейчас налаживаем серию на Обуховском. Я думаю, к весне в каждом полку штуки по две будет. Да вот как раз Андрей Иванович тоже следит...

Андрей Иванович присел к ним потолковать — кому ж нужней? Он и Ободовского не в гости звал, откуда эти гости набрались, приват-доцент и профессорша — книги взять-отдать, дамы со сбором завернули, Петербург! Он и приглашал Ободовского за советом по делам оборонной думской комиссии.

— Простите, Андрей Иванович, как раз по поводу траншейной пушки должен был мне сегодня вечером звонить инженер Дмитриев, и я имел смелость дать ему ваш номер телефона, что буду здесь, ничего?

— Конечно, пожалуйста, Пётр Аки...

Телефон — как раз и зазвонил. Вера приротовела. Спрашивали Андрея Ивановича. Квартира затихла, лова отзвуки.

Шингарёв вернулся от трубки недоуменный: Павел Николаевич просит немедленно ехать к нему, а если Фёдор Измайлыч ещё не ушёл — то и он.

Что-то случилось! *Что-то случилось.* Оба лидера засобирались, слегка переговариваясь, а приват-доцент и кадетские дамы сильно заволновались. И старшая улучила Родичева выведать хоть толику.

Тот сказал:

— Возьмём извозчика.

Шингарёв отмахнулся:

— Теперь извозчик до Бассейной — три рубля. На трамвае доедем.

Вежливость хозяина: Андрей Иванович предложил обществу не расходиться: может быть, вернется скоро.

Активисты партии Народной Свободы и расположились дожидаться: интересно! важно! От старшей дамы тотчас и распространилось: изменник Протопопов предложил думским лидерам частную встречу! И надо решать тактику: идти на встречу или оскорбить его отказом? или поставить ему требования? или только понаблюдать и разведать? добивается забрать продовольственный вопрос? — не давать ему! А может быть, наоборот, его тайно подослали пригласить в правительство кого-то ещё? Манёвр!

Что Протопопов — очередной новый министр внутренних дел, Воротынцев ещё знал. Но почему и кому он изменник и почему тогда встреча с ним так важна?..

Шингарёв прощался с Ободовским. Так и не поговорили. Но Ободовский должен будет теперь задержаться, подождать телефона от своего инженера.

Андозерскую? — не предполагал Шингарёв ещё сегодня увидеть, вернувшись. Прощался пожатием руки.

И Воротынцев спохватился, как вырвали кусок из бока: начинается разезд, и Андозерская сейчас тоже уедет, а он даже с ней не успел...

Тем временем принимал тёплую, мягкую, сильную ладонь Шингарёва. Лоб откровенный, ясный, добрые глаза. И — с ним не успел. И с ним были пути что-то открыть? Но — уже не повидаться больше.

Да ведь теперь и Воротынцеву что ж и как же оставаться?..

А Андозерская сидела без движенья к уходу, как ни в чём не бывало — и взгляд её тоже никуда не уходил.

— А светящуюся шрапнель у вас применяют?

— Это — бенгальский огонь на парашютиках? Видел. Хорошо... Но вообще надо добиваться: в боекомплекте уменьшить шрапнель в пользу гранат.

— Это мы уже проводим. Но гаубичного усиления не ждите. Нужно больше использовать горную пушку как гаубицу.

А Андозерская ничуть не скучала. Так и сидела рядом, свидетельница их захватывающего разговора, слушала того и другого, внимательно переводя глаза, как если бы свойства гаубичности и утверждённый состав боекомплекта глубоко затрагивали её. (А может быть — учёному всё интересно?)

И радостно было, что она не отсела, не ушла, ещё не уходит, сидит рядом — и смотрит. Но тогда надо прекратить бы артиллерийский разговор, а тоже неудобно.

Через мостик этого милого взгляда к Воротынцеву что-то перетекало. И по нему же утекала часть его самого. Воротынцев менялся и освобождался под этим взглядом.

Никакого освобождения не наступило, конечно: с его полком, с их корпусом и фронтом не изменилось на ноготок, и через три недели он сам вернётся и будет барахтаться во всём том же, и вскоре, может быть, достигнет его так долго щадившая смерть. Не освободился, но в этом женском соседстве чувствовал себя всё более облегчённым. Отделённым от своей же высказанной мрачности.

И так артиллерийский разговор при зеленоватом попыхивании приобретал восхитительный оттенок. И никак не хотелось прервать и подняться.

И жена Ободовского, наискось позади мужа, при их разговоре, не дававшем повода для улыбки, сидела с тихим дремлющим удовольствием, на пути к улыбке. Не ища быть замеченной, даже говорить.

И — Веренька была тут, остальные где-то. Всё понимающая милая сестрёнка, она всё время весело поглядывала, но вот — какое-то беспокойство стало пробегать по ней? Может быть, без хозяина неудобно оставаться, время? Не мог понять, занятый и без того.

Да всё равно не было сил подняться.

А разговор с Ободовским, пробежав через всё главное, ослабевал.

Да даже из уважения к Андозерской, мягко закованной в английский костюм, в самом центре разговора, — надо было тему изменить, постараться.

— А как по тем дорогам проходят тракторы Аллис-Чалмерс?..

И зорко углядев эту первую вялость их разговора, профессор Андозерская мягко и твёрдо вошла в него как килем в воду:

— Пётр Акимович, не сочтите назойливыми мои вопросы, но, — полуизвинительно губами, — я тоже — в пределах моей специальности. Всё-таки революционеров мы привыкли чаще видеть разрушителями, и поэтому революционер-созидатель не может не привлечь внимания. Не откажитесь объяснить: с вашей нынешней деятельностью — как соотносятся прежние партийные убеждения?

— Партийные? — резко обернулся Ободовский, морща лоб под ёжиком приседенных волос и бледно-голубыми несвежими глазами увидев Андозерскую, как будто впервые тут севшую. При этом повороте — не одного лишь подбородка деятельного, но самой мысли через сектора-сектора-сектора, его как центробежной силой прижало к откатистой спинке стула, и он должен был переждать, ответил не вдруг: — Я же сказал, я ни в какой партии никогда не состоял. Потому что всякая партия есть намордник на личность.

— Так именно из-за насилия? — уточняла Андозерская.

— Именно, — моргнул измученно-энергичный Ободовский, в этом морге как будто и отдохнув на полмига украдкой, а много ему и не нужно, уже посвежели глаза. — По убеждениям я — социалист, но — независимый. В Пятом году мы с Нусей... помнишь, Нуся?.. «социал-демократами» даже ругались, ругательство у нас такое было в Иркутске.

Нашлось место Нусе — и она из своего полудрёмного удовольствия плавно вступила с объяснением:

— Там такие были горлохваты, так развязно себя вели. Так пятнали свою тактику. И хотя мы сами тогда готовы были идти в баррикадники, даже под пулями умереть...

Она — в баррикадники?.. Вот с этой мягкостью, ненастойчивостью?.. Невозможно представить.

...А между тем, да, в Иркутске доходило почти до баррикад. Интеллигенты и офицеры шагали по улицам вперемешку, пели марсельезу и дубинушку. Железная дорога бастовала, никакой публике билетов не продавалось, ехали одни солдаты: их сила была сильнее забастовок, и непослушную станцию они разносили в пятнадцать минут. Ободовский, застрявший на забайкальском руднике, добрался в теплушке железнодорожников тем, что всю дорогу говорил им политические речи и читал лекции по социализму. В Иркутске бушевали собрания и митинги. И на них —

деловитостью, ясным умом, напором, сразу же без труда выделялся Ободовский. И его, никогда прежде не знавшего другой формы жизни, как работа горняка, в эти безумные недели выталкивало вперёд — делегатом, депутатом, представителем, выборщиком, в одно бюро, в другое бюро, председателем местного союза инженеров, и в какой-то секретариат, и в сам иркутский Исполнительный Комитет.

Самое приятное и было — вот это расслабление. От безопасности, от выполненного долга. Вдруг перестать себя ощущать летящим снарядом. Просто сидеть, даже вопросов не задавать. Закурить? — разрешили. Закурить. Как будто слушать Ободовских. А на самом деле — пересматриваться с Ольдой Орестовной. Ловить её взгляда не надо. Он — вот он. Он — вот он.

Она же, всё это успевая, не дала себя уклонить иркутскими воспоминаниями, а направляла на выделенную точку.

— Но ненавидя насилие, вы должны ненавидеть и всякую воинскую службу?

— К-конечно! — соглашался Ободовский. — И военную службу, и армию! Досталось и мне послужить. Вместе с мундиром надеваешь сердцебиение. Перед каждым генералом — во фронт, каждому офицеру — честь, без спросу не отлучись, думают — за тебя. Чтоб не попасть под униженьё, под замечанье, держишься так напряжённо, нервов не хватает. И я только тем спасся, что откопал в уставе пункт, никто его не знал, что после производства в прапорщики можно хоть на другой день уволиться. И уволился!

И засмеялся облегчённо. Да давно это было — ещё до эмиграции, и до революции. Он спас из армии свои слишком отзывчивые нервы. И принципиально ненавидел военную службу, как часть насилия. Но, в том же Иркутске, по честности, не обойти восхищеньем генерала Ласточкина.

...Ему остались верными две роты. А весь гарнизон взбунтовался и пришёл на них, на верных. Раскалённая революционная масса вооружённых солдат, и с офицерами! Ласточкин вышел на крыльцо без охраны: «Стреляйте в меня, я вот он! А сдать? Не могу: присяга и честь!» Что ж гарнизон? Гарнизон — перенял! Гарнизон закричал коменданту: «ура-а!» — и в полном порядке, лучшим строем ушёл!!

— Военная статья! — Андозерская повела головой, узнавая, любуясь, любуясь тем видом Ласточкина на крыльце, — Ласточкина, но по соседству взглядывая и на Воротынцева.

И он всё больше легчал и веселел. Как будто не он полчаса назад раскатывал тут самое безнадёжное.

А Верочка как будто немного беспокойна, отходит, подходит, старался не понять. Рано ещё. Сама уговаривала сюда...

Он — прикипел к месту.

Ольда Орестовна дальше хотела вести, да Ободовский уже схватил, куда она:

— Вы хотите сказать, ненавидя воинскую службу, надо же последовательно отвергать и войну?

Профессорская логистика школьная — то-то скука, наверно, на лекциях. Так прозрачно было Ободовскому, и так по-детски, на какое противоречие она его тянет.

— Вообще — отвергаю.

— Но тогда как вы можете руководить комитетом военно-технической помощи?

Усмехнулся. И вдруг — импульсом, с нерастраченным задором:

— Вот так! Армию — ненавижу. Но когда все трусили и бегут — понимаю коменданта Ласточкина! Могу — рядом стать! Я — против насилия, да! Против всякого насилия, но *первичного*! Не непротивленец — а *против*! А когда насилие произошло — чем же ответить, если не силой? — Перебежал нервный огонь по глазам: — Не обороняться — это уже просто слюняйство!

Ах, молодец! — Воротынцев засмотрелся.

А жена — так плавно, безсомненно:

— Что вы, господа, он никогда пораженцем не был! Он и на Японскую рвался. После потопления «Петропавловска» надел траур на рукав, говорил: не сниму, пока не победим. Так ведь, Петенька? От сдачи Порт-Артура — заболел, есть и пить не мог. — Сочувственно коснулась мужниной руки. — Только уж после Цусимы и когда выяснились лесные концессии... И то хотел — мира, но не поражения... А на *эту* войну даже форму купил, ходил напрашиваться, только Гучков отговорил...

Ободовский наморщил лоб, посмотрел на собеседников — где ж они видят противоречие?

— Разве, любя свою страну, надо непременно любить и её армию?.. Чтобы защищать отечество — надо быть сторонником насилия? Я просто не переношу быть битым! Это — естественно? А когда бьют Россию — бьют и меня. Так вот я не даюсь быть битым ни порознь, ни вместе!

Но с кем он спорил?

Воротынцев? — ему и не возражал. Воротынцев покуривал, поглядывал, послушивал. Что надо — эта милая разумница скажет. И Ободовский скажет.

Андозерская? Она и спорила-то академично, а вот уже и вовсе рассеянно. Но, наверно, не привыкла уступать, всегда цепляется, — и поэтому что-то о логическом разрыве. Полуулыбнулась, махнула ресничками:

— Тогда вы должны испытывать к врагу сильные чувства?

Искала поддержки у Воротынцева.

А он замешкался. Сильные чувства?

— Да. Ненависть! — кивнул Ободовский.

— Ненависть? — понял Воротынцев. Подумал. — Странно. А я сколько воюю — ненависти к немцам не испытываю.

Теперь — накатные морщины на лбу инженера. Как это?

В самом деле, как это? Воротынцев и не понимал. Но — верно, так. Как ведь и у солдат.

— Ни-ка-кой... Вспоминаю, что и к японцам не было. Воюю — Россию защищаю. Воюю — как работаю по специальности. А ненавидеть?.. Подозреваю, что и в немецких офицерах... тоже...

А как же, напомнила ему Нуся Ободовская, подстрел раненых в горящей занятой деревне?

Да, что-то он запутался... Или нет?.. Разодранное сердце, пыль драки... Ненависть? Да! Но — к высшим нашим, тем, по чьей глупости деревню эту отдали. А противник в свете пожара — как стихия... как адовы тени... Ненавидеть можно — живых, реальных.

Он понимал, что нельзя упустить сегодняшнего вечера: надо сказать Ольде Орестовне нечто особенное. Какую-то отметину положить, как любимый шрам. Но не нашёл — в какой момент? Не ошибётся ли в тоне? И как она это... ?

Подошла Верочка. Стояла за спинами Ободовских, не садясь.

Утихли споры. Слышались детские голоса из другой комнаты. Кадетские деятели — тоже в другой. Побрякивала посуда в кухне. Так мирно было. Ни взрывов, ни выстрелов, ни ловушек, ни мин.

Взгляд сестры показался брату тревожным, каким-то нововнимательным, — он отвёл глаза.

24

Теперь, под сорок лет, но даже и в тридцать, Нина Ободовская совсем разучилась ждать восхищения, уже не нуждалась привлекать к себе внимание, искать хоть толику своего отдельного успеха. «Замужество — это судьба», — давно приняла она, приняла, и не раскаялась никогда нисколько. Судьба — мужа, а её — прилитая, и так — хорошо, верно. Всегда была работа, дело и борьба, ни на что больше не оставалось и щёлочки. И когда сегодня предложил муж пройтись тут с ним ненадолго, недалеко, от Съезжинской до Монетной, то непривычной вольготностью оказалась для Нуси та сторона затянувшегося визита, которую можно было назвать «сидением в гостях».

Нина Александровна по рождению была Бобрищева-Пушкина и в юности присутствовала на коронационных торжествах молодого Государя: кричала «ура» ослепительному царскому въезду в Москву; в придворном платье с треном, открытыми плечами и в кокошнике стояла при царском выходе в Большом Кремлёвском дворце; и взросла, узнавая себя на балу московского дворянства в честь нового царя. В те годы она с жаром изучала генеалогию, реликвии и предания своего рода (хотя, в согласии с русскими романами, и разносила по избам лекарства, чай-сахар, белый хлеб и крестила детей крестьянских). Она была изрядной красоты, у неё часто сменялись обожаемые *пассии*, и поначалу совсем её не привлекал, а больше досаждал своей неумолимой критикой случайный в их доме сын портнихи, некрасивый остробровый, вскидчивый нервный молодой человек, провинциал, репетитор брата, студент-горняк, от голода упавший в обморок на Николаевском мосту. Даже запершись с девушкой в тёмном шкафу для опытов с электричеством, он по убеждениям честности не разрешал себе лишний раз коснуться её руки.

В семнадцать лет, среди сменчивых увлечений, так трудно понять, кого истинно любишь! Но неопредёленно для нас самих развиваются наши решения, и тот непоправимый выбор, который даётся девушке единожды, Нина истратила на безрасчётную, без-

наградную судьбу Петра Ободовского — и уже никогда не видывала знатных дворянских балов, да даже Петербурга, да даже и России, а — глухие избушки сборища рудничных служащих, где соревновались пирогами и водкой, или скудные эмигрантские любительские вечера на средства кассы взаимопомощи.

У Пети с самой юности уже были прочные убеждения, у Нины — по сути никаких, и так получилось естественно, что она стала думать, как и он. Он не терпел ничего, что *принято* в обществе, и само высшее общество, особенно гвардейцев и правоведов, уже за то одно, как смотрят они на женщину, — и, пожалуй, единственный раз за жизнь поступился убеждениями, согласясь на церковное венчание, — просто потому, что обряд этот неизбежен. Для Пети мучительно было при этом исповедоваться (впрочем, понимающий передовой священник задал лишь два-три формальных же вопроса) и причащаться. Да Нина и сама, ещё в 17 лет, отказалась от причастия: «Не верю, что это — кровь и тело Христовы!» (Внушала мать: «Ниночка, теперь и никто не верит, но все же причащаются!») Не верила Нина и в таинство венчания, но сам обряд тянул, завораживал, был действительно открытием новой жизни и высшим праздником женщины.

На том уступки жениха и кончились. Он отказался делать свадебные визиты. Отказался от «романтических глупостей» идти на кладбище предков. Не любил сентиментальных воспоминаний жены, не любил их старого барского дома на Волхове, и само-то именование считал преступлением, так что Нуся отказалась от своей доли наследства. (Да даже и своими руками работать на земле, самую связь с землёю Петя отвергал, сельского хозяйства не любил, как дела, куда вмешиваются внезапные, неучитываемые силы: какие-нибудь град, засуха, и пропал твой технический расчёт.)

В молодой петербургской жизни ещё бывали у Нуси минучие досады: в 20 лет и даже в 25 хотелось же потанцевать! Но никогда не было ни платьев, ни туфель, а первый же на платье родительский подарок муж взял на общественные нужды, займы, но безвозвратно. Да и времени не стало ни на концерты, ни на лекции, какие грезились: уже гнулась Нуся днями и вечерами, умножая и деля цифры рудничных обследований, разнося их по карточкам, много путала, да и скучно, сидишь дома целый день, как на службе, а муж требует неуклонно. Неуклонно — но и нежно. И при малом огорчении на лице мужа Нуся готова была отказаться от чего угодно. Так и приучилась она жить — в радостном угодении.

«Прости, Нусенька, что я тебя в чёрном теле держу. Это — первое время. А там станет посвободнее — будем всюду ходить», — но ник-когда «а там» не наступило за всю жизнь!.. Петя всегда как в котле варился, даже на студенческом балу у него были обязанности кассира каких-то сборов, даже на первом пароходе во Францию он на море не смотрел, а учил французский язык, — где же что могло остаться для жены? Однажды вырвалась она на рождественский костюмированный бал — но куда что делось? была неумела в игре, не бойка на язык и, прелестно одетая японкою, не привлекла внимания. Мечтала читать с мужем по вечерам серьёзные книги — не дождалась и этого. «Ты хоть просвещай меня!» — прашивала она, очень нуждаясь в авторитете. Но возражал молодой муж: «Я слишком уважаю тебя как личность, чтобы навязывать тебе свои взгляды. Выбатывай сама».

Какие ж иные? как выбатывай? Мужнины и приняла всё равно.

Предлагали Ободовскому остаться в Горном институте по окончании его — тесно, отказался. Звали в благоустроенный Донецкий бассейн — слишком легко там работать, отказался. Его манило на новое, он был природный пионер. Поехали в Сибирь, на дикий Головинский рудник, и это было ещё не самое изнурительное, скоро завёлся черемховский «Социалистический рудник», где каждый рабочий после года работы получал бесплатно пай и долю в управлении, — невероятная затея для 1904 года, от властей прикрыли его социалистичность мнимой компанией акционеров. Уезжая в Сибирь, Петя из подъёмной тысячи рублей тут же отдал семьсот на какое-то общественное дело, даже не спрося жену, не надо ли ей чего. Какого человеческого чувства он никогда не понимал, отталкивался — это скупости. На Головинском по несколько месяцев не получал жалованья, выплачивая рудничные долги, или получал — и из него расплачивался с рабочими. А уж «Социалистический» стал пропастью, только поглощавшей деньги, уголь же выходил плохой, никто его не покупал. С этим Социалистическим рудником Петя замучился до того, что в 32 года стал сесть, отказывало сердце и посещали приступы неврастении — до рыданий.

Пётр Ободовский был так устроен, что не только не уклонялся от ответственности, как очень склонны русские натуры, но напротив: лишь где видел ответственность, хотя б и в стороне, — туда кидался, впрягался и лез на рожон. Он знал, что всякое дело

сметит и организует быстрее, точнее и успешнее другого смежного человека. И все другие тоже быстро угадывали в нём это свойство, и все дружно толкали его на самое трудное. На любом инженерном заседании, съезде, учёном совете несло Ободовского выступить со своими проектами, и проекты эти тотчас всех увлекали, за что его звали то сиреной, то златоустом, и всюду тотчас он был избираем в бюро, в комитеты и на осуществление. Появлялся ли он в иркутском Общественном Собрании, клубе интеллигенции, или в Географическом обществе, — едва послушав ораторов, он не мог не выступить с опровержением и поправками, а после выступления не могли его не избрать!

Богатый, деятельный иркутский мир инженеров, адвокатов и купцов узнал, оценил Ободовского, легко принимал его к себе, но Ободовский не стал им свой, он не мог принять их беззаботности и веселья. Все они жили широко, кутили, азартно играли, иркутские инженерские жёны шили по сорок платьев в год, даже заказывали наряды из Парижа, — Нуся не всякий год могла сшить одно платье. Всё расплачиваясь по векселям за Социалистический рудник, Ободовские стеснились до того, что подлинно голодали, и в Общественном Собрании, среди шумно ужинающих инженеров и адвокатов, тихо сидели с занывающими желудками и лгали знакомым, что недавно обедали дома.

Но Нуся искренно смирилась с такою их судьбой, сжилась и даже, кажется, полюбила её: была в такой жизни вечно сохраняемая молодость. «Не хочу богатеть! не хочу и привыкать!» Усвоила она ясно, что у них с мужем никогда не будет ни достатка, ни покоя, ни досуга, ни развлечений — и уже не зарилась на то. Дело жизни её состояло в одном: быть его женой. И если он вёз из Иркутска на рудник динамит, оформлять же такой груз официально на все предосторожности было слишком долго, — то просто вносили динамит в пассажирский вагон, Нуся садилась на роковой ящик и распушенной юбкой прикрывала от кондукторского глаза страшную упаковку. Так на потряхивании и ехала.

Зато постоянная взаимная нежность не покидала их от самого медового месяца. Девственным вступил Петенька в брак и незапятнанным прожил всю жизнь, не зная никакой другой женщины. «Я не требовал от тебя, чего не давал сам». И уходя в тюрьму, уверенно мог ей завещать: «Ты моя жена, это всё равно что я сам». Уговорились они: кто останется жить, возьмёт с умершего себе на палец второе обручальное кольцо.

Рок Ободовского был: избирать пути не общие, всегда свои собственные, всегда поглотительные для сил, иногда и опасные для жизни.

С наступлением же Революции, застигшей Ободовских в Иркутске, этот рок проступил лезвием. Уж теперь-то, когда на Россию, по всей видимости, снизошла пора, званная и моленная честнейшими страдальцами глухих поколений, и уже решительно никто не мог заниматься простой работой или дома усидеть, а всех безудержно несло куда-то шагать, кричать и голосовать, когда распалась будничная связь частиц, и каждая частица в радости и ужасе ощутила как будто свободу двигаться отдельно от всей материи, и даже нужду непременно двигаться, а как это всё потом установится — не пытаться и вообразить, — теперь с какой же удесyтерённостью должен был завиться, закружиться Ободовский, и прежде не знавший покоя! Вся сотрясаемая среда так и выталкивала его на вид и наверх. Но от безчисленных ораторов и избираемых строго отличался он тем, что не покидал простую *работу*.

И даже когда Ободовского арестовали, его свойство оказываться всегда на виду и устраивать жизнь не свою только, но всех окружающих, нисколько не потускнело: в каждой камере, и в Новой Секретке, он избирался старостой, и старостой же этапа в Александровский централ, и при общем лёгком режиме многое мог устроить, целыми днями устраивал: и порядок, и послабленья, и удобства, и связь с волей. И даже в центре вынесло его составлять план тюрьмы для сметы ремонта, и тайком снять копию — и та копия ещё долго потом передавалась по арестантским рукам как руководство к побегу.

Так и при первой же поездке в Петербург навестить родных сразу напоролся Ободовский, что Союз Освобождения созывает всех передовых ехать на музыку в Павловск протестовать против войны, — и (это уже было после Цусимы) конечно поехал тоже, да и с Нусей. На музыку не пускали в картузах или платочках, там собиралась исключительно чистая публика — и тем разительней, как эта чистая, прервавши музыку, стала топать и кричать: «Довольно крови! Долой войну!», — и Пётр надрывался в том же крике. Музыканты убежали с эстрады. Публика стала городить скамейки баррикадами, городовые разбрасывали их — Ободовский и тут завозился дольше всех, и уже бежали все в парк, а ему бежать было непереносимо, и белый от гнева он взял Нусю под руку

и повёл её не прочь от фронта выстроенных солдат, но торжественно-медленным шагом вдоль фронта. Мимо ненавистного армейского фронта шёл он бледный, закусив губы, закинув гордо голову. Уже заиграл горнист, уже офицер повернулся давать команду на залп в воздух, но сам терялся и волновался, что беззащитная пара попадает под близкий залп. (Нусе было хоть и страшно, а насколько не тянула она мужа быстрее. Раз так он решил — вместе с ним хоть и умереть.) «Вы рискуете! Пожалейте вашу даму! Уходите как можно скорей!» — упрашивал офицер Ободовского. Петя же отвечал резко, будто фронт подчинился его команде: «Я уйду, когда сочту нужным!» И так супруги медленно-медленно, всё медленнее прошли до ворот. И залпа не было.

Уже в эмиграции, в Париже, жили на мансарде, на седьмом этаже, беднее студентов, даже на конке не ездили, экономя на обед, — и тут настигла их сибирская телеграмма, что один товарищ отказался и надо немедленно оплатить тысячу рублей по векселю Социалистического рудника. И хотя ненавистно было *имение* нусиной матери — пришлось обратиться к ней.

Всё-таки революционерить из дворян легче, чем из других словий.

Эмигрантская жизнь — полуголодная, в поисках заработка, безъякорная, с детскими затеями драматических спектаклей (вот уж на сцене играть — никогда у Пети не получалось), внепартийными вечерами, дружескими бюро труда и кассами взаимопомощи, где-нибудь в Англии замкнутой русской колонией, не зная по-английски двух фраз, — эта жизнь оказалась для Нуси даже самым лёгким и счастливым временем.

Ободовские не пристали к дрязгам, хандре и бездеятельным мечтаниям эмигрантского существования. В Европу бежавши как гонимый революционер, Петя (с одобрения Кропоткина, которого он не партийным лидером считал, а учителем жизни) хотел в Европе работать инженером, но опять-таки не на службе у иностранцев и не для стран тех иных, а — для России, хоть и оставаясь за границей. К счастью, в русских инженерных кругах достаточно знали его, и такую работу ему предложили: обследование европейских портов и монография о них; и плавучая выставка с пропагандой русских товаров; и промышленная выставка в Турине. И там он работал с восьми утра до двух ночи, платить же ему опаздывали на год, а потом: «кредиты исчерпаны, в ваших услугах более не нуждаются». Аплодировали его речам о программе русской

промышленности, а всё написанное им не печатали на родине за неизысканием средств — и так не доходило его слово до уха и внимания России.

Сердился Ободовский на соотечественников так, что разливалась желчь и опять, как в юности, трепала неврастения. Так негодовал на Россию, что уже хотел навсегда уехать в Аргентину.

Но загадочным образом: дело человека заложено и ждёт его именно там, где он родился. Происхожденья Ободовский был польского, но к Польше не причислял себя, жил всецело одной Россией.

И едва узналось, что судебное преследование снято, — Ободовские тут же, на убогие франки, соскребённые займы, ринулись на родину.

Хотя отечественная жизнь светлела, и как будто разрежалось тёмное и не грозило возвратом жестокое, — а Нусе почему-то совсем не хотелось возвращаться под тяжёлые своды отечества. Где никогда уже не будет так безответственно, как в их эмигрантской жизни.

Предчувствие было у Нуси, да так ей и нагадали: что ожидает их обоих на родине страшный конец.

И ДАЛЬНЯЯ СОСНА СВОЕМУ БОРУ ВЕЕТ

Ольду Андозерскую оскорбительно жгло, когда могли её в мыслях, по виду, по соседству объединять с кланом незамужних неудачниц — старых дев или почти таких. Она была в 37 лет незамужней, да, но — принципиально, совсем по другой причине, чем

все они. Они — не умели устроить своей жизни, она — сто раз могла это сделать, да не находила достойного. И умные — понимали. Но для глупого большинства: нет кольца на пальце, значит — не сумела. И она — отталкивалась, сторонилась даже рядом сесть, не то что дружить, дать себя сравнить, время проводить с непристроенными женщинами.

Впрочем, и с женщинами вообще. За всю жизнь она насчитывала нескольких интересных женщин, всё старых, а масса их — так бледна и так неравна ей, что не вызывала у неё даже и вообще никаких чувств и никакого интереса.

Веру Воротынцеву знала она по Публичной библиотеке, но плохо понимала её назначение там: мастер своей отрасли сам знает, какие книги в ней есть, какие привлекать, разве можно этот поиск передоверить какому-то «библиографу»? По молодости (а впрочем, не первой), Вера ещё не вступила (но уже вступала) в тот заклятый клан — но и ни с какой другой стороны не было у Андозерской склонности привечать её. А сегодня лучшее, что могла эта девица сделать, — не так тревожно мелькать бы и не так пристально всматриваться, как будто она не сестра этого полковника, а жена.

Да, разумеется, полковник этот был женат, но и положение Андозерской позволяло ей не так внимательно приглядываться к черте, разделяющей женатых от холостых, не придавать повышенного значения случайностям уже происшедших браков.

Ольда Орестовна зашла к хозяину по малому книжному поводу — и давно бы ей уйти, и вечер уже исчерпался. Но — ещё только она вошла, ещё не видела лица этого полковника, лишь сильные широкие заплечья, только услышала несколько его слов — ах, молодец! И развернулся он, весь в ветре и загаре фронта, с бело-золотым крестиком Георгия, малиновым Владимиром, и ещё как надерзил кадетской компании — в подобном обществе таких перечных речей не привыкли слышать. Ольду Орестовну это сперва позабавило, потом увлекло, разыграло, и взвинтилось в ней — самой бы тоже что-нибудь созоровать тут. Правда, вся компания уже разошлась, но сидел этот полковник — и даже для него одного она готова была изошряться. Чтобы дать ему знать об их свойстве.

А тем временем она поддерживала диалог с оставшимися Ободовскими. Диалог этот тоже был не без интереса, хотя не вызывал задора. Скорей для изучения собеседника, чем для убеждения его.

Никогда не перестаёт забавлять и восхищать дробимость и несчётность людских воззрений, всё новая и новая сочетаемость в них ограниченного числа звеньев. Эта множественность, неповторяемость убеждений так явна, так поминутно истирает всякую разделительную групповую черту, что только фанатизм и недобросовестность могут настаивать, что люди делимы на партии. Поддаются люди делению на партии лишь по недосмотру, по безопасности или по душевному неустоянию. Деление и объединение людей очевидно могут производиться по признакам и принципам более высокой ступени, чем их убеждения.

И этот революционер-инженер-патриот выказал ещё новую конфигурацию звеньев, по-своему тоже непротиворечивую. И отчётливо отвергал всякие партии. Хорошо.

А ещё была у Андозерской способность — лишняя ёмкость — поверх всякого разговора и не ослабляя интенсивности его, сопоставлять и откладывая выводы из наблюдаемого глазами. Так, без цели и без усилий, Ольга Орестовна делала выводы из этой мягкой покойности супруги рядом со вскидчивым, безпокойным мужем, из ласковых касаний и обмена слов между ними, и, кажется, могла бы суммировать историю долгого, ровного, чистого семейного житья Ободовских, ни разу не взорванного порывом безрассудной страсти, не позабыленного подкорковым жаром. Такую видимую полноту жизни Ольга Орестовна считала бедностью. Неопробованно-рано кажется человеку, что всё уже достигнуто и узнано. Мужчины, захваченные своею работой, без затруднения находят в жёнах свой единственный, навеки не тревожимый, окольцованный, очерченный до смерти мир, а жёны воспринимают свою единственность как взаимно-верную правоту выбора. Да пожалуй и так.

С такими мужчинами незамужней женщине только и остаётся говорить о политике.

Нет! Не так понимал Ободовский:

— Дело именно в надменной самоуверенности немцев, которую надо сбить, иначе они будут нас теснить и давить! Вы в Германии не жили? Вы посмотрели бы, что это за народ! Безжалостный, отдай только им Россию! Да и нудный...

Запутывали опять Воротынцева в словесные состязания. Хотелось ему — спокойно отсиживаться, отходить от гари, оживать. Косить глаз на стреловидную аметистовую брошь в скрепе воротника.

Россию отдавать?.. Вот как раз чтобы не отдавать. Однако это не связано непременно с ненавистью к немцам. *Отдать* — он и вершка русского не согласен. Но... (приличествует ли такая точка зрения полковнику императорской армии?) ...во-первых — вершка действительно *русского*. Во-вторых, если не отдавать, то, последовательно: и не брать же! Простая совесть.

Молниеносно, взглядом наискось, подхватил Ободовский:

— Да ведь Сибирь у нас, вон, пустая лежит!

— Вот именно. И почему же столько ярости о Польше?

Чудо многообразия: могли быть — противники, а вот шагнули — и притёрлись как две полированные плиты. Сошлись: поменьше мешаться в дела остального мира, пусть поживут вольготно без нас.

Воротынцев был ещё одним примером причудливого сочетания индивидуальных убеждений, подтверждадал общий взгляд профессора Андозерской. Так бывает, когда не логикой соединено, а самим человеком.

В этом офицере поражало противоречие его жестоких рассказов — и вовсе не угнетённого вида. Осевши в стуле, это был камень неподъёмный, но иссылающий силу из себя. Немотивированный оптимист.

(А объёмным чувством, не мыслью: камень весомый, но не изощедший падений. Камень нерасщеплённый, но и необработанный.)

— И чем же именно немцы так жестоки?

— А вот, например, я жил на Рейне около школы и видел, как каждую субботу, систематически! — подскочили в изгибе боли подвижные брови Ободовского, и боль была в срыве голоса, — по списку вызывают детей, провинившихся за неделю, — при их возрасте они от понедельника и забыть могли и измениться! — и секут, сколько назначено, усердно и не смягчая!

Воротынцев рассмеялся:

— Всего-то?

— Да я от этих субботних экзекуций нервно заболел. Видеть не мог! Мы уехали!

— Вообще — ничего плохого не вижу в телесных наказаниях мальчиков.

— Как??

— Ну, не с такой методической отсрочкой, не на субботу. А по-русски, под горячую руку, — в этом есть правда и родителя, и учи-

теля. Молодому крепиться — вперёд пригодится. Когда он вырастет — его настигнут в жизни строгости покрепче, всё Уложение о наказаниях — сразу, в один день совершеннолетия. Так пусть привыкает смала, что есть его своеволию границы.

Хотела Нуся спросить, секли ли полковника самого в детстве и есть ли у него свои дети. Хотя у них с Петей своих не было, а вот...

Возмущался Ободовский:

— Но так никогда не вырастут свободные, гордые люди!

В окопах слякотных одичав, Воротынцев:

— Так смирение ещё полезней для общества.

Тут рассмеялась Андозерская. Во всякой интеллигентской русской компании, да пойти сейчас в соседнюю комнату спросить, любой бы согласился с Ободовским, никто не осмелился бы поддержать безнадежно-мракобесный взгляд полковника. Но маленькая узенькая профессорша дерзнула присоединиться:

— Трудно уследить черту между защитой детей и вознесением их. А вознесенные дети презирают своих отцов, чуть подрастая — помыкают и нацией. Веками длились племена с культом старости. А с культом юности не ужило б ни одно.

Однако помимо всей его военной отваги, самостоятельности, решительности — улавливала в нём Ольда Орестовна какую-то неполноту осознания самого себя, странную в сорок лет. Вот та самая необработанность, и её не скрыть. Вот так, голубчик, почему-то, да...

Но чтобы согласиться о задачах воспитания, надо прежде чётко определить, к чему предполагается юность готовить. Инженеру ясно:

— Образование прежде всего нужно для того, чтобы страна была сильна и работоспособна.

Однако и профессору:

— Но притом оно должно не противоречить устоявшемуся мироощущению народа. А когда в учителя выходят озлобленные скороспелки — образование приносит разрушительное душевное действие. И от размножения школ только увеличивается разложение.

В чём скороспелки, если они знают дело? Какому это устоявшемуся мировоззрению не противоречить? Религиозному? — не принимал Ободовский:

— Но если наука сама ему противоречит?

— У каждой нации есть свои предрасположенности. В частности — к форме общественной жизни.

То есть? При какой форме правления народ предпочитает жить? А что, для России — как-нибудь особенно?

Ободовский отлично знал и мог обосновать, какой формы хочет: самой широчайшей социалистической демократической республики, но без участия партий во власти. Каждый рудник, каждый университет должны самоуправляться, как можно больше решать без верховной власти. Швейцарский принцип: община сильнее кантона, кантон сильнее президента. Только так и оправдывается термин *res-publica*, дело общества, а не немногих. Только так общество будет реально участвовать во власти и понимать власть. (Да начало такой власти он и сам ставил на Социалистическом руднике, хоть и неудачно.) А верхняя отдалённая власть людям всегда чужда — и была, и есть, и будет, и никакие парламентские краснобаи никогда не возместят обществу его отчуждение от власти. (Хотя, когда социалисты многие бойкотировали 1-ю Думу, Ободовский метался по их митингам с речами: «Предлагают оружие — надо брать!»)

Инженеру возразил полковник, но леновато, как о слишком явном, — что если уж республика, то почему такая расхлябанная крайность, чтобы каждая рота управлялась сама собою и делала что хотела. Ну там какой-нибудь совет дождей или директория. А как способно большинство само собою управлять непротиворечиво? Будут только шарахаться, хоть и с обрыва, старое сравнение со стадом. А делать историю может лишь крепкое, верное, самостоятельное, началоспособное меньшинство.

...Вот и в этом сошлись...

Да отчего ж это мы — в крайнем, и сразу сходимся? Отчего мы с вами сразу — и... ?

Но если иногда и наплывали у Воротынцева потаённые мысли о возможных изменениях структуры правления в России — то устраивать это надо было руками, а не обсуждать здесь сегодня, хоть и с этим деловым инженером, хоть и с этой растреумной дамой.

А вот — другое... От вас тянет как бы тёплым сквознячком. Так и разнимает, со стула не встать.

Я думала — вы сильнеей.

Что ж будет, когда вечер кончится?..

Если вы хотите, он не кончится...

Ободовский так и отпрянул к спинке стула: *большинство* — и отметить? А для кого же всё, всё делается? (Впрочем, это толь-

ко — в принципе. А вне социальных идей, простецки обобщая собственный опыт, замечал он: что и сам всегда тянет за двадцатерых, и немногие другие, наперечёт, создавали осуществление в любой области. А большинство, действительно, вело себя не так, как ему полагалось по теории: тяготело к нерешительности, осуждало риск одиночек или уж кидалось крушить — так всё подряд.)

В образованном русском обществе — такой уклон, боковой повал, что далеко не всякий взгляд допускается высказать. Целое направление, в противность этому уклону, морально воспрещается — не то чтобы там на лекциях, но даже в беседах. И чем *свободнее* общество, тем строже давит этот негласный запрет. Если о человеке предупреждают — «так он же правый!» — «как, правый?» — и все шарахаются. Обрывается тому человеку жить, общаться с людьми, высказывать мнения. Как будто можно было бы всем отказаться от правых рук или покупать перчатки только левые. Как сегодня нарубил тут полковник — только и может новичок, с первого шага, не оглядась.

Но именно от него — и осмелела сегодня Андозерская. В своей университетской среде она жила под постоянным гнѐтом этого запрета нежелательных обществу мыслей. Она так выбирала каждое выражение, она так неполно и косвенно смела высказываться! Но завидно свободная речь Воротынцева потянула и её. А риск — при растекшейся компании — был даже и мал: чудаковатый этот инженер едва отвлекался от своего блокнота, а дремная счастливая жена его была не из настороженных общественных спорщиц. И, дерзко снимая все запреты, до самых неуклонимых (и предвидя ликование полковника), Ольда Орестовна сощурилась на одного, на другого и сказала весело:

— Как вы сразу и решительно шагнули к республике, господа! Как легко вы отбросили монархию! А вы не подчиняетесь просто моде? Кто-то крикнул первый, и все повторяют почти попугайно: что монархия — главное препятствие к прогрессу. И это стал отличительный признак *своих* — хулить монархию в прошлом, будущем, вообще всегда на земле.

Она — шутила? издевалась? Что за дикость? Профессор всеобщей истории и в XX веке обороняла — что? —

— Са-мо-державие??

— В частности. «Долой самодержавие» застлало все мысли, всё небо. Во всѐм на Руси — виновато самодержавие. *Любимый враг.*

А между тем слово самодержец исторически значит только: неданик. Суверен. А отнюдь не значит, что всё делает сам как хочет. Да, все полномочия власти у него нераздельны, и ему не ставит границ другая земная власть, и он не может быть поставлен перед земным судом, но над ним — суд собственной совести и Божий суд. И он должен считать священными границы своей власти — ещё жесточе, чем если бы они были ограничены конституцией.

Что это? что слышал Ободовский? Образованный человек в полный голос защищал дикое мракобесное самодержавие? Нельзя было ушам поверить! Неужели ещё сегодня можно подыскать слово в его защиту? Даже не вообще абстрактной монархии — но и русского полицейского самодержавия? И — может быть, этого конкретного царя? Да самая мысль об этом ничтожном бездарном царе так издёргивала Ободовского, что когда их плавучая промышленная выставка стояла в Константинополе и всех сотрудников позвали на раут к русскому послу — голодный, ободранный эмигрант отказался единственный раз вкусно поесть, чтобы только ему не поднимать тоста за Николая Второго.

— Но неограниченная власть формируется жадностью царедворцев и льстецов, а никакой не божьей совестью! — воскликнул инженер. — Но отобрал волю у народа, самодержавие тупеет, гложет и само не может проявить добронаправленной воли, а только злою! В лучшем случае оно изнемогает под своим могуществом. История всех вообще династий, не только нашей, — преступна!

Когда Андозерская бралась серьёзно излагать, такой был жест у неё: обе маленькие кисти держать зонтиками перед грудью и одно поглаживать по другой, со значительностью:

— Да, многие народы поспешили поднять руки на своих монархов. И некоторые невозвратно потеряли. А для России, где общественное сознание — лишь тонкая плёнка, ещё долгое-долгое время никто не придумает ничего лучше монархии.

Ободовский косовато подкинул брови: его дурят? над ним смеются?

— Но позвольте, монархия — это прежде всего застой. Как же можно желать своей стране застоя?

— Осторожность к новому, консервативные чувства — это не значит застой. Дальновидный монарх проводит реформы — но те, которые действительно назрели. Он не бросается опроретью, как иная республика, чтобы сманеврировать, не упустить власти. И именно монарх имеет власть провести реформы дальние, долгие.

— Да какие ж вообще разумные доводы в наш век можно привести в пользу монархии? Монархия — это отрицание равенства. И отрицание свободы граждан!

— Отчего ж? При монархии, — невозмутимо отвешивала Андозерская, — вполне может расцветать и свобода, и равенство граждан.

Но и на лице полковника с ветровым загаром она тоже не различила вздрога присоединения. Он ждал.

И тогда, напрягши маленький лоб и собравши силы (взялась — не сорваться), уже не так авторитетно-вещательно, но с проворностью знающей хозяйки, как отполированные столовые ножи, протирая один за другим, выкладывают на скатерть, — Ольда Орестовна подавала им фразу за фразой:

— Твёрдая преемственность избавляет страну от разорительных смут, раз. При наследственной монархии нет периодической тряски выборов, ослабляются политические раздоры в стране, два. Республиканские выборы роняют авторитет власти, нам не остаётся уважать её, но власть вынуждена угождать нам до выборов и отслуживать после них. Монарх же ничего не обещал ради избрания, три. Монарх имеет возможность беспристрастно уравнивать. Монархия есть дух народного единения, при республике — неизбежна раздирающая конкуренция, четыре. Личное благо и сила монарха совпадают с благом и силой всей страны, он просто вынужден защищать всенародные интересы — хотя бы чтоб уцелеть. Пять. А для стран многонациональных, пёстрых — монарх единственная скрепа и олицетворение единства. Шесть.

И улыбалась чуть. Легли широкополотенные негибкие столовые ножи параллельно — и сверкали.

И смотрела победно на полковника. Она ожидала наконец его уверенной сильной поддержки, вот сейчас они соединятся в доводах.

Но он — молчал, как-то замято, опозданно.

Неужели вы этого не разделяете? Откуда такая неуверенность? Подобаает ли она столь славному воину, да ещё из началоспособного меньшинства?

Я... что-нибудь не так?.. Вам что-то смешно?..

Ах, просто ваши военные дороги — это далеко ещё не все дороги жизни. Бывают такие тропинки, над такими безднами, о-о!..

Но — горная пушка проходит там? Но — лошадь со вьюками?

Не-ет, конечно, нет, как вы могли подумать!..

— Да как же можно рассчитывать на его самокритичность? — воскликнул инженер, измученный, что вдруг надо доказывать снова это всё пройденное: — Монарх окружён вихрями лести. Он поставлен в жалкую роль идола. Он боится всяких подкопов и заговоров. Какой советчик может рассчитывать логично переубедить царя?

— Чтобы провести свои взгляды, — хладнокровно отбивала Андозерская, — всё равно надо кого-то переубеждать, не монарха, так свою партию, и потом разноголосое общество. И переубедить монарха никак не трудней, и не дольше, чем переубедить общество. А разве общественное мнение не бывает во власти невежества, страстей, выгод и интересов? — и разве общественному мнению мало льстят, да ещё с каким успехом? В свободных режимах угодничество имеет последствия ещё опаснейшие, чем даже в абсолютных монархиях.

Но чем была так хороша? Закидом головы с уверенным взглядом? Чуткой струнной шеей? Или вкрадчиво певучим голосом?

Но если не лошадь со вьюками, то как же там пройти?..

Пустяки. Возьмётесь за отлёт моего платья. Пройдём!..

— И вас не коробит подчиняться монарху? — пытался пронять её Ободовский простейшими чувствами.

— Но вы и всегда кому-нибудь подчиняетесь. Избирательному большинству, серому и посредственному, почему это приятней? А царь — и сам подчиняется монархии, ещё больше, чем вы, он первый слуга её.

— Но при монархии мы — рабы! Вам нравится быть рабом?

Андозерская гордо держала головку никак не рабью:

— Монархия вовсе не делает людей рабами, республика обезличивает хуже. Наоборот, восставленный образец человека, живущего только государством, возвышает и подданного.

То есть чисто теоретический образец? Но так можно далеко забрести.

— Да какая же во всех этих доводах ценность, если все они перекрываются случайностями рождения?! Родится человек дураком — и автоматически царствует четверть века. И поправить никому нельзя!

— Случайность рождения — уязвимое место, да. Но и встречаемая же случайность — удача рождения! Талантливый человек во главе монархии — какая республика сравнится? Монарх может быть высоким, может не быть, но избранник большинства —

почти непременно посредственность. Монарх пусть средний человек, но лишённый соблазнов богатства, власти, орденов, он не нуждается делать гнусности для своего возвышения и имеет полную свободу суждения. А затем: случайности рождения исправляются с детства — подготовкою к власти, направленностью к ней, подбором лучших педагогов, — отважно защищалась девочка в кресле, держа две кисти зонтиками. — И наконец, метафизическим...

Я такого — никогда не говорила на лекциях. Я это — для в а сказала. А вы — не рады? не согласны?

Я вас огорчил? Я не хотел... Но есть вопросы, через которые...

Через которые... Да вот — Николай I и Александр III заняли трон, никогда к тому и не готовясь, немалые примеры. А к сегодняшнему Государю, с его несравненным умением окружать себя бездарностями, а честных людей предавать, — к нему плохо относятся все эти доводы. А когда случайность самодержца ещё превращается в случайность Верховного Главнокомандующего...

Но хотя полковник так и не поддержал её вслух — он сидел совершенно на её стороне, как бы издавна записанный в её гвардейцы.

— ...Метафизическим пониманием своей власти как исполнения высшей воли. Как помазания Божьего.

Ну уж, этого «помазания» даже и в шутку не мог инженер слышать!

— Да что это за формула трухлявая, «помазанник Божий», до каких пор? Что за маниакальный гипноз «помазанничества» у самого заурядного человека? Кто из образованных людей сегодня может верить, что некий там Бог в самом деле избрал и назначил для России Николая Второго?

— Нисколько не мёртвая! — отважно настаивала Андозерская. Уже отступленья и не было. — Она выражает ту достаточную реальность, что не люди его избрали, назначили, и не сам он этого поста добивался. Если престолонаследие не нарушается насильственно, а мы ведь разбираем именно этот чистый вариант, то людская воля оказала вмешательство лишь при выборе первого члена династии. Впрочем, при воцарении первого члена этой династии некий перст Божий, согласитесь, на Руси был.

Перст, может, и был, но потом дровишек наломали. И за престол дрались, и отнимали, и убивали. (Но не вслух, это не для лёгкой беседы.)

— А дальше течёт независимая от людей, от политической борьбы традиция династии. Как в Японии: одна династия третью тысячу лет. Это уже как природа сама.

И Вера, оказывается, стояла тут. Без прежней тревожной ревности, удивлённо, впитчиво слушала.

— Вот в этом и суть помазания, что даже отказаться не волен монарх. Он не гнался за этой властью, но и избежать её не может. Он принял её — как раб. Это — больше обязанность, чем право.

Сестра — очень внимательная студентка. Как раб! — это её поразило.

Но брат — так и не поддержал ни в чём ни разу. Да ведь он уже и заговаривался, что если например республика, совет дожей...

А Ободовский спорить любил, если что-нибудь выпаривалось к делу, — тогда земля подбрасывает сразу бежать и делать. А уж когда пошло насчёт помазания — увольте. У него достаточно хорошо была уложена и продумана вседемократическая республика. Да вообще пора уходить, но теперь надо было дожидаться звонка Дмитриева, так неудачно. Он и слушать покинул. Перелистывал блокнот и вполотворота на крае стола рисовал.

Воротынцев переклонился к Ольде Орестовне и снизил голос. Чуть издали можно было подумать, что он ей шепчет комплименты:

— Так в чём же тогда цель этого несчастного помазания? Чтобы Россия безвыходно погибла?

Вера отошла.

— Вот это нам — не дано, — почти шёпотом ответила и Ольга Орестовна.

Даже глазами больше. Карими? зелёными? совсем не учёными глазами.

— Поймётся со временем. Уже после нас.

Скажите, а когда загорается надежда — как узнать: не обманывает ли она? Это — о н а?..

Надо иметь опытность сердца.

Но всё-таки республики она ему простить не могла:

— А при республике? — спросила. — Все разумные решения несравненно сложнее, потому что им продирается через чашу людских пороков. Честолюбие при республике куда жгучей: ведь надо успеть его насытить в ограниченный срок. А какой фейер-

верк избирательной лжи! Всё — на популярности: понравился ли? В предвыборной кампании будущий глава республики — искатель, угодник, демагог. И в такой борьбе не может победить человек высокой души. А едва избран — он перевязан путами недоверия. Всякая республика строится на недоверии к главе правительства, и в этой пучине недоверия даже самая талантливая личность не решается проявить свой талант. Республика не может обеспечить последовательного развития ни в каком направлении, всегда метания и перебрсы.

— При республике, — очнулся и протрубил Ободовский, — народ возвращает себе разум и волю. Свободу. И полноту народной жизни.

— Люди думают, — отбивала Андозерская, — только назвать страну республикой — и сразу она станет счастливой. А почему политическая тряска — это полнота народной жизни? Политика не должна поедать все духовные силы народа, всё его внимание, всё его время. От Руссо до Робеспьера убеждали нас, что республика равносильна свободе. Но это не так! И — почему свобода должна быть предпочтительней чести и достоинства?

— Потому что закон обеспечивает честь и достоинство каждого. Закон, стоящий выше всех! — Ободовский снова загорячился. — А при монархии — какой закон, если монарх может перешагивать закон?

Ольда Орестовна зябко повела плечами (оба так легко охватывались бы одной рукой!), но позицию держала:

— А закон — разве безгрешен? Всегда составлен провидчивыми умами? В рождении законов — разве нет случайности? И даже перевеса корысти? Личных расчётов? *Dura lex sed lex* — это дохристианский, весьма туповатый принцип. Да, помазанник, и только он, может перешагнуть и закон. Сердцем. В опасную минуту перешагнуть в твёрдости. А иной раз — и в милосердии. И это — христианнее закона.

— Ап-равдание! — подёрнулся, отмахнулся инженер над блокнотом. — С такой формулировкой и любой тиран охотно переступит закон. А кстати, тиран — чей помазанник? Дьявола?

Если вырвалась — и горит, бежит по рукам, по локтям — это она?

Да! Она!! Да, конечно!

Но ни голос, ни связь доводов Ольды Орестовны не продрогнули:

— Тиран в том и тиран, что переступает закон *для себя*, а не властью, данной свыше. У тирана нет ответственности перед Небом, тут и отличие его от монарха.

Ну, если серьёзно упоминается в споре Небо как действующая историческая сила — то о чём остаётся разговаривать?

— Но мы не случай тирана разбираем. Республика тоже может расколебаться до смуты и гражданской войны.

Зазвонил наконец телефон, и всё решилось.

С ожиданием высунулись дамы из той комнаты.

— Мой Дмитриев, наверно, — сворачивал блокнот Ободовский.

Евфросинья Максимовна из коридора:

— Пётр Акимыч, просят — вас!

Ударило алым по лицу Веры. (Андозерская не видела её, а — видела.)

Ободовский взметнулся туда. Никому не интересно, но услышался его заволнованный голос:

— ...Да, но простите, здесь уже поздно, теперь ни к че... Тогда завт... Что?.. Что?!.. Что-о???.

Дамы высунулись опять, а за ними возвысился и приват-доцент.

— ...На Большом Сампсо... ? А где вы сейчас?..

Ободовский отнял трубку и с бровями смятенными, голосом недоуменным? или горестным? или радостным? — спросил вдоль коридора:

— Вы знаете, господа... Как бы не... Кажется... Началось!

Н а ч а л о с ь?!? Ну мало ли что могло начаться: отливка оружейного ствола, хирургическая операция, тяжёлые роды, наводнение Невы, война со Швецией, — нет!! Все до единого одноминутно, однозначно, безошибочно, уверенно поняли это безличное слово как удар басового колокола: **НАЧАЛОСЬ!!!**

Что ещё другое могло **н а ч а т ь с я?!?**

И кто же теперь в силах уйти? Как же теперь по домам разойтись, не узнав, не поняв?

— Он — далеко?

— За Гренадерским мостом.

— Так зовите! Зовите его сюда!!

Все — оставались.

Н А Ч А Л О С ь !!!

26

Теперь в столовой все объединились — или разъединились — как на вокзале, ожиданием поезда.

Общего ли? Не с разных ли сторон и в разные?..

И как при вокзальном ожидании сбиваются мысли, не собираются на связном разговоре, успеть бы только себя проверить, всё ли твоё с тобой, если поезд подкатит вдруг, — так и в шингарёвской столовой сейчас восьмеро гостей не занимали друг друга, пренебрегли обычаем посверкивать зубами, побрякивать языком, коль свёл их случай лицами друг ко другу.

А ушли в ожидание. Или глазами проверяли *своих*.

Ведь — близко! Ведь скоро. У входа...

До Гренадерского моста, да мост, да мимо гренадерских казарм, да по Монетной — кварталов десять?

И как на вокзале одни проводят последние минуты непринуждённо, благодушно или деловито — читают газету, сидят в ресторане, в почтовом отделении, а другие не усуживают даже на пассажирских диванах, но, чемоданы пододвинув к выходу, сидят на них, а третьи и вовсе не в состоянии сидеть, когда поезд уже объявлен, и беспокойно ходят по залу, мотаясь перед глазами всех.

Так и младшая из дам-активисток, в тёмно-зелёной блузе с бурыми всплесками, найдя изломанный путь в обход стола, но с достаточною проходкой, напряжённо и непрерывно по нему ходила, точно в одном месте изламывая направление, точно в тех же паркетных клетках разворачиваясь. Головою опущена, она никого не видела, углублена в своё молчание, но кажется не молчала, а что-то говорила ритмически, про себя или шёпотом:

Народу русскому: Я скорбный Ангел Мщенья!

...Кидаю семена. Прошли века терпенья...

А старшая не ходила, не дёргалась, сидела с выражением удовлетворённым, почти радостным: поезд не опоздает, билет у неё в кармане, место — хорошее. Или даже злорадным: к тем, кто

не верил в расписание, ждал задержки поезда на семафорах и стрелках, а теперь и вещей не соберёт.

А приват-доцент, такой положительный, несмотря на молодой возраст, прочно сидел за пустым обеденным столом, выложив руки перед собой как отдельные инструменты, зубные ли клещи огромных размеров или гаечные ключи. Сам же за темнороговыми очками прищурился, перебирая в представлении известные ему далее несколько перегонов: прочны ли там мосты, не слишком ли круты подъёмы и спуски, каковы радиусы закруглений, достаточно ли поднят наружный рельс. И молодое учёное лицо его хотя и было озабочено, но оптимистически.

Младшая дама в напряженьи расхаживала, но ритмом не своим, а — Этого, Ступающего. Тем ритмом она была давно заражена гипнотически и, когда никто ещё, уже слышала стук о стыки, железный катящий скрежет и даже слитное гуденье вогнутых рельсов. И, преобразуясь в известные слова, это звучало в ней, а может и произносилось чуть громче шёпота:

*Я синим пламенем пройду в душе народа,
Я красным пламенем пройду по городам.
Устами каждого воскликну я: «Свобода!»,
Но разный смысл для каждого придам.*

Не сиделось и Ободовскому. Он всё подходил к окну и откидывал шторы — ожидая ли увидеть с пятого этажа, не катит ли Она уже по Большой Монетной?

А Нуся, двойное беспокойство уступивши мужу, двойную стойчивость взяв себе, сидела малодвижнее всех, без морщинки, без заботы на гладком и правда же молодом лице: все невзгоды уже в прошлом видены. Как Ту переплыли, переплывём и Эту.

А Верочка тихо жила среди книжных полок, и вдруг завихрило в один вечер — и на улице, и здесь. Тоненькая, выходила в коридор, возвращалась, выходила, возвращалась.

У младшей дамы потягивание, покручивание рук, опущенных вдоль боков, не находило себе ни места, ни сомкнутия. И вот когда непонятные бурые всплески на её блузке получили смысл: это были Огни, никак не пробьющиеся через тёмно-зелёный туман быта.

Что ж до полковника с профессоршей, то, сознаясь на этом вокзале, хотя ещё не близко, не упустили они поглядывать друг на друга более чем дружелюбно и соображать: не до одной ли станции они едут? не в один ли попадут вагон?

И среди всех, весь вечер насквозь, каждый шаг этого знакомства видела Вера одна, хоть не всё время рядом и половины не слышала слов. Она видела и дальше, чего сам брат не видел! — а сказать ему не могла.

А от телефонного звонка — задрожала. Зачем-то послано было ей, чтобы сюда, в шингарёвскую квартиру, неурочно, негаданно грянул — именно Михаил Дмитриевич. Зачем-то совпало, чтоб этой Новостью грянуть сюда довелось — именно ему!

Ей стало зябко, и она пошла просить у Евфросины Максимовны платок на плечи.

У Фрони — дети, у Фрони — хозяйство, у Фрони — гости пересидевшие, но Фроня — жена своего мужа и знает вместе с ним: увы, *Это* неизбежно, *Это* — будет всё равно, к *Этому* идёт, *Это* — у всех на уме. Была же и Фроня когда-то курсисткой, и помнит давнее-давнее-давнее, ещё — как ожидали Ту.

А как к *Той* шло? Студенческие напролётные ночи в пророчествах о светлом будущем. «Студенческие волнения одни встряхнут всё русское общество!» Неумирающее студенческое движение заставит правительство подчиниться исторической необходимости! А среди гимназистов становится модно помогать сидящим в тюрьме. А вот и приказчики-красноярдцы готовят прокламации в купеческом подвале в пору сладкого-долгого послеобеденного спанья хозяев. А там и лавочники в базарной лавке собираются читать нелегальную литературу: они этого слова «социализм» не понимают, но щекотно, что — против власти. Они читают, а гордовой оберегает их снаружи: не накрыл бы квартальный надзиратель или свои же доносчики. Богатые ссыльные едут катером за Волгу на пикник, там поют революционные песни — и полицейские прислуживают им. А посылать деньги политическим эмигрантам, от них получать письма и принимать посланцев — насколько не преследуется. И вот уже не продвигается по службе губернатор, чуждый либеральных идей. И только когда мясники в фартуках идут по улице и бьют камнями окна — где взять икон, поставить на подоконник в защиту? — своих ведь нет ни у кого давно, просить у кухарки с кухни. И вот — добились университетской автономии, и на этих островках свободы, куда воспрещено полицейской ноге, на сходках с рабочими собирают средства на Вооружённое Восстание! И всё общество дружно считает позором трусливую попытку университетского совета: сохраняя лаборатории и коллекции, не превратить университет в штаб рево-

люционной борьбы. Бойкот реакционным профессорам! Университетами пусть владеют не профессора, а студенты! Университеты — ещё и обогревалки для прохожих, какие-то образины курят в шапках.

Зябко стягивая вокруг себя оренбургский платок, узкая — ещё уже, с ожиданием и тревогой ко входной двери, Вера возвратилась в столовую.

То хранимое обещательное выражение младшей дамы, во всех спорах так и не высказанное, — не оно ли стекало теперь с её пророческого лица, выстанывалось из горла буревестницы:

*Я напишу: «Завет мой — Справедливость!»,
И враг прочтёт: «Пощады больше нет»...*

И только это было полужуком. Потому что если вспоминать да спорить — этой даме полнокровной с энергичными локотками; этому приват-доценту с басовитым покашливанием, неистощимому на доводы, но по-милюковски и осторожному; этому анархическому инженеру оборачиваться из-за шторы на каждую несогласную реплику, страдальчески подрагивая веками; этой профессорше самодовольной скрывать волнение за твёрдостью тона и тихостью речи; да этому полковнику, лжелибералу, обмякшему, а готовому и вскинуться, как полкан; да библиотечной этой девице розоветь, преодолевая робость, — если бы все они наперебой кинулись говорить, что помнят и думают, — швырнуло бы их сквозь ночь да в утро, пропусая и вестника, и весть его.

...Легко рассуждать о революции в стране, где её не бывало. Но мы пережили — и видели.

А что мы плохого видели, позвольте?

Казалось, наоборот: не за призрак ли бьёмся? Вообще возможен ли когда-нибудь, когда-нибудь переворот в такой безнадежно инертной стране?..

В те годы каждое крупное убийство встречало благоговение, улыбки и злорадный шёпот.

Не убийство! Если есть партия, идейная основа, — террор не убийство, это — апогей революционной энергии. Это не акт мести, но призыв к действию, но — утверждение жизни! Террористы — это люди наибольшей моральной чуткости.

А не находка ли была — *захватный путь*? Объявился Союз Издателей: возникаю! запрещаю посылать хоть страницу на про-

верку в Цензурный Комитет! И все, до правых, охотно сразу присоединились! И вмиг: *цензуры нет!* Без капли крови.

Ну да наборщики устанавливали свою, революционную цензуру: что не нравится — не набирали.

А почему было не принять Манифест? Разве мало? Нет, только разъярил: не надо вашего Манифеста, лучше пинком ноги *раздавить гадину!* И выборов в Думу не надо — *додавить гадину!*

Между прочим: как раз сегодня — 11-я годовщина Манифеста. 17-го Манифест, 18-го — Совет Рабочих Депутатов: выдать оружие пролетариату и студентам!

В Москве — всеобщая забастовка, нет электричества, тёмная ночь. Во дворе университета студенты рубят деревья, зажгли костры, поют революционные песни, эсеры спорят с с-д. Курсистка, дочь полковника: «А пойдёмте, товарищи, собирать еду и револьверы!» Приоткрыли ворота, вышли на Никитскую, просят в темноте у публики: «Жертвуйте студентам деньги, еду и оружие!» И в корзинку к ним сыпятся французские булки, колбасы, шелестят бумажные деньги, а в карман суют то револьвер, то нож.

Когда в больнице левые врачи — лечили только революционеров и солдат. А из народа, кто крестится, того не брали.

Учредительного Собрания добивались кронштадтские матросы, пока не разгромили 140 магазинов и лавок. На том успокоились.

В легальной «юмористической» прессе — прямые угрозы царевубийства. Свобода слова! — но только ораторам, угодным большинству. Говорящих не в тон толпе — заглушали свистками, кулаками, сталкивали.

Осенью Пятого года многие напуганные уезжали за границу и переводили деньги.

Москва тогда вся оцетинилась баррикадами, но больше по озорству: валили полицейские будки, трамваи. На извозчике едет барыня в меховой ротонде, а под ней везёт бомбы — и патруль, конечно, не смеет её обыскивать.

А интеллигенты накупили револьверов, хотя стрелять не умели. Потом — куда их деть? И зарыть не умели. В уборные сбрасывали. Прислуге отдавали — куда-нибудь деть.

Да какая то была революция? Всё авантюрно, ничто не подготовлено. Всё главное было *до* и началось *после*: террор! террор! террор!

*...Отдам во власть толпе. И он в руках слепца...
Им сын заколет мать, им дочь убьёт отца...*

Ну, в Сибири было посерьёзней. Красноярск целый месяц был в руках революционеров, управлялся Союзом союзов. И войска брали его форменным сражением. А Чита держалась два месяца, хотя потом сдалась Ренненкампуфю без боя. Во Владивостоке офицеры стреляли в митинг, а матросы перебили офицеров. В Елани, да по всей дороге, Меллер-Закомельский железнодорожников и телеграфистов кого вешал, кого порол резиновыми палками, голых на морозе.

А в Иркутск по амнистии привезли тысячу сахалинских уголовников да и бросили там. Они с революционерами объединились, стали шайками грабить, револьвер к виску. Даже днём и на главной улице нападали.

То был — праздник смелой жизни, гордая песня простора! Уповать ли, что ещё воскреснет и вернётся?

Революция прокатилась, а хлеб так и остался полторы копейки фунт, мясо так и осталось 20 копеек.

А дальше пошло — *ограбное движение*: кассы, почты, магазины, казённые винные лавки — сплошь. Ежедневные дерзкие грабежи.

Террористы писали в инструкциях: бомбы делать чугунные, чтобы больше осколков, и начинать гвоздями.

Ростовская лаборатория даже выпустила иллюстрированный каталог бомб с похвальными отзывами покупателей.

А военно-полевые суды? Расправа как с неприятелем в завоёванной стране!

Военно-полевые суды — не начало, а ответ. Они — в тех очевидных случаях убийств, разбоя, взрывов, насилия, когда расследовать — нет и надобности, а откладывать наказание — распад общества. Сегодня бросил бомбу — завтра повесили, и следующий бросатель призадумается. Они только и смелые, чтоб до казни убежать или попасть под амнистию.

А чем террор революционеров справедливее военно-полевого суда? В тех тайных революционных судилищах, в неведомом подпольи, где выносятся смертные приговоры, там руководствуются уже вовсе не законами, а только своей ненавистью. Кто видит и проверяет тех анонимных судей, решающих смерть человека?

Значит, если убивают революционеры — это Освобождение с большой буквы, если убивает правительство — это палачество? Арест и обыск — гнусное насилие, подпольная фабрика бомб — храм народного счастья?

Но какая ж это христианская власть, если на террор отвечает террором?

Если бы Государственная Дума хоть раз осудила бы террор — не возникла бы необходимость военно-полевых судов.

Господа, первая речь Робеспьера была... об уничтожении смертной казни...

Просто цифры, господа! За первый год русской свободы, считая ото дня Манифеста, убито 7 тысяч человек, ранено — 10 тысяч. Из них приходится на казнённых меньше одного десятого, а представителей власти убито *вдвое* больше. Чей же был террор?.. Остальные — несчастные обыватели.

Например, священник в храме читал послание о примирении. Студент выстрелил в него и убежал из церкви.

Например, цеховой заходит в знакомую квартиру, пятилетний мальчик доверчиво идёт к нему. Цеховой закалывает мальчика в горло и ворует... бельё.

А то — убили двух стариков и нашли у них... 44 копейки.

И такое зарегистрировано: хозяйева не угостили гостя пивом — и он убил их обоих.

Стреляли наугад в окна поездов.

В Питере 12-летний мальчик убил мать за то, что она его не отпустила на улицу. А 13-летняя девочка убила брата топором.

*Я в сердце девушки вложу восторг убийства
И в душу детскую — кровавые мечты.*

Только — начать. Начать убивать, например во имя прав человека и гражданина.

— Позвольте, позвольте, да верите ли вы в народ или нет?

— Это мало — народ.

— Что же важнее народа?

— Ещё — и *крыша*, под которой народ живёт. Общий дом для народа, иначе называемый российским государством. Пока крыша есть, мы ни во что её не ставим: в России, мол, нечего беречь и хранить, растаскивай да пали как чужое имение.

— Но избежать всеобщего пути прогресса нам тоже не дано!

Никто ещё не объяснил: почему миллионы людей, скопленных в одном месте, надо полагать умнее людей, просторно расселённых в другом месте? Почему предпочитать опыт первых — опыту вторых? У Западной Европы уже были такие очень спорные выборы после Средневековья — а мы ни одного выбора проверить не хотим, всё за ними, стопа в стопу.

...Нет, эта профессорша только тем и держалась, конечно, что скрывала от курсисток свои истинные взгляды да занималась давними тёмными Средними веками, ещё и западными. По русской истории давно б её высвистали с Бестужевских.

Мимо гренадерских казарм, а потом по Монетной. Тут бы — три трамвайных остановки, только линии такой нет.

Отчего ж тогда так долго?.. Он цел ли? жив ли? Как зябко.

А за окнами — обычный тихий вечер. Ни выстрелов, ни зарев. Ошибка? Не так поняли?

Во всех сборищах, во всех компаниях образованных людей — устала Андозерская от одиночества. С кем же дружить? Никуда не ходить?

Отливала она отлично, умница! А Воротынцев — для споров ослабел. Я только хочу вам сказать... Но всё нет повода... Но вы уже понимаете — что?..

О нет... Я думала — мы просто единомышленники?..

А младшая дама так и не присела ни разу, как дева неспящая в ожидании Жениха. То бормотала скандальный стих Волошина, то встряхивалась от картин, видимых ей одной. И вдруг остановилась, никого за спиною, всех сразу обнимая глазами — их ожидание затянувшееся, ожидание выше разногласий, такой единственный вечер! — и содрогнулась от красоты его, и заспешила, пока не постучали в дверь, пока грубой действительностью не разрушили очарование ожидания, — передать им красоту их же минуты! И позади себя всеми пальцами нащупав стену, с этой опорой как мелодекламируя от роля:

— Господа! А какое жуткое и красивое ощущение! Куда мы идём? Что будет? Надвигается — что-то грозное! Мы несёмся — в бездну, сомнения нет! Несёмся в поезде со слабоумным машинистом. Всё быстрее! Всё быстрее! Уже наклон неотвратимый! Всё проносится косо, вагоны болтает, сейчас развалится, спасенья нет! Но какая жуткая в этом красота, оцените! И как интересно будет узнать тем, кто останется жив! Наша гибель неизбежна, но

форму гибели — даже вообразить нельзя, и что-то в этом завлекательное!!

Было, было здесь отзывное. Кому-то передалось.

Гнетущая атмосфера! Давящий штиль. О, если бы грянула буря!

Она — фаталистически неизбежна! Ч то - то будет!

И чем скорей Она грянет — тем меньше будет страшна и опасна!

Петрункевич сказал: да, вступают дикие, необузданные силы — но этому надо радоваться! Это значит: мы живём не на кладбище!

Да, мы ждём и чаем эту катастрофу! Мыслящая Россия совершенно готова к революции!

А после войны — мы Её уже и не дождёмся.

Хоть бы узкий переворот эти военные подготавливали! — что ж одни разговоры только?!

К а к это распахнётся? Сладкое замирение.

Но благоразумный приват-доцент с гигантскими зубными клещами на столе выразил взвешенно:

— Ещё и сегодня можно всё спасти. Если отдать власть ответственному министерству.

Очарование — из тонкого стекла. Младшая дама вдруг утёрла, как выдохнула, всё то неистовое вдохновение, какое полчаса носило её по комнате. Подкашываясь, шагнула и опустилась на стул.

А старшая дама, не расслабив боевитости:

— Но до каких пор терпеть издевательство над общественным мнением? Списки будущего правительства — составляют уже второй год, а всё впустую, царь на это никогда не пойдёт! Парламентарии сами виноваты — они не делают ничего решительного!

А Ободовский, покидая своё пустое наблюдательное место, отмахнулся то ли от него, то ли от приват-доцента:

— И ответственное министерство тоже не будет знать, с какого конца братья.

Старшая дама изумилась:

— Как с какого? Спасать народ!

И сказала бы дальше и объяснила бы непременно — да позвонили в дверь. И — бросилась старшая дама встречать вестника!

Но, по своей ширине, цеплялась за стулья, да и не ближайшее было её место к коридору. А младшая дама, как подпахнутая ветром — откуда силы вернулись? — порхнула и — первая!

Нет, не первая. Уже была там Вера. И открыла.

В кепке, загнутой как ветром, в кожаной куртке, входя, ожидаемый вестник Необыкновенного сам удивился:

— Вы??

Что́ он там принёс — лицо его не пылало, не кричало, не раздиралось, длинноватое крупно-упрощённое лицо. А увидел Веру — удивился:

— Здесь??

И сняв кепку с гладких тёмных волос на пробор, приподнял узкую белую руку, открывшую ему.

Поцеловал.

Но дальше сразу много нахлынуло дам:

— Что?? Где??

— С Выборгской? А в город не пошли?

— Невский не захвачен?

— Тогда рассказывайте по очереди!

— Тогда раздевайтесь — и с самого-самого начала!

Что-то косоватое или угловатое было в его движениях, может от медленности, — куртку снимал, и одна рука долго с другой не выравнивалась, — от медленности, так не подходящей к этому случаю. Тужурка на нём инженерская, в петлицах — скрещенные молоточки или что там у них.

Он даже не знал, в чью квартиру пришёл, он только сейчас прочёл на медной пластинке и думал — не ошибка ли? Вера успела шепнуть ему. Он ещё глазами ожидал хозяина, а вместо него — Ободовский наконец, но уже накоротке:

— Проходи, проходи, Миша. — И руку пожимая, невольно тише почему-то, а может от этого разноголосого крика: — Серьёзное?

Дмитриев ещё тише, большеглазый, тёмный:

— Очень.

Очень! Очень! — всё равно слышали дамы, и обгоняли его и предворяли остальных. А Ободовский ввёл его в столовую:

— Господа! Инженер Дмитриев.

Не стал он обходить здороваться, таково нетерпение было общее, кто сел, а кто и нет, кто к столу внаклон:

— Пожалуйста! Пожалуйста! Рассказывайте!

— Ждём и слушаем!

— Только по порядку, по порядку! — предвкушали.

И Дмитриев тоже не сел — остался при стене, близ коридорной двери, да так, кажется, и удобней рассказывать девяти человекам. Он и стал косовато: на одной ноге тяжесть, и плечи неравны. И голова наклонена.

Он сам, кажется, не охватывал, откуда ж, если «по порядку».

— Н-ну... Вообще по заводам никаких забастовок не было всё лето, сентябрь, октябрь... Но последнее время среди рабочих какие-то странные слухи. Такие упорные, как кто-то их специально распускает. То будто на какой-то фабрике, а точно не называют, рухнуло здание и несколько сот задавило. То на каком-то заводе будто бы взрыв — и тоже несколько сот. Спрашиваешь: а — на каком? Я вот с одного на другой езжу, и на Невскую сторону, и на Нарвскую, и на Выборгскую, — нигде не было. Не верят. То больше: что в Москве общее восстание, и полиция отказалась подавлять, и войска отказались. Приехал с московского завода знакомый, а там, говорит, наоборот: будто в Питере восстание, и Гостиный Двор разгромили, разграбили, и полиция не мешала. И даже листки пошли — о том же... Последнюю неделю такое напряжённое настроение: лист железа упадёт, грохнет, обычное дело, а сейчас — бросают станки и толпятся к выходу: может, уже обваливается? Тут ещё слухи, что на днях опять призыв и будут учётных брать. И белобилетников проверять.

Так, так, но — на Выборгской что?

— А на Выборгской — самые высокие ставки, самый лучший подбор квалификаций. От этого — уверенность, что их не разогнут, в армию не возьмут. От этого и самый большой задор: нам всё можно! И к полиции — тоже злее всех Выборгская сторона. С Эриксона из окна если вылетит железная плитка, то не куда-нибудь, а — по затылку городовому. От рабочих — к солдатам передаётся: в запасных полках есть рабочие здешние, да солдаты с работницами гуляют, всё это связано. Вот ведёт унтер команду солдат в баню — мимо постового так не пройдут, кричат из строя: «Фараон! Харя!», и все смеются, а городской только утирается, что ему делать?.. С этого четверга — на Эриксона, на Новом и Старом Лесснере — летучие митинги, как обычно: при выходе со смены делают пробку и кричат. В пятницу Старый Лесснер после митинга не разошёлся, а пошёл к Финляндскому с марсельезой, там их рассеяли. На Минном кричали: «громить купцов, товар прячут!».

Это сейчас легче всего зажигается: если лавочники — мародёры, так бить лавки — законно! А сегодня утром на Минном забастовала дневная смена, и вышли три тысячи человек с марсельезой на железнодорожное полотно, сели...

Три тысячи? Да с марсельезой? Нет, тут *что-то есть*, не зря его ждали.

Чтобы толкнуть, чтобы в с ё толкнуть — только ведь и нужен один такой эпизод. Как рождается лавина: от Выборгской — Питер, от Питера — вся Россия!

Дмитриева и самого забирало. Да он и пришёл-то вовсе не спокойный, теперь разглядели, это бывают такие люди, их волненья даже не заметишь: не тонкая, не светлая кожа, грубоватые губы.

— А — какие требования? — спросила старшая дама.

— Да вот... — никаких, — Дмитриев мрачно.

Никаких! — даже леденит. Вот это уж самое серьёзное, когда и разговаривать не хотят!

— А днём сегодня — Рено, человек с тысячу, среди работы вышли — и пошли по Большому Сампсоньевскому. Несколько человек забежали в Новый Лесснер, тоже подбивать на забастовку. Их там арестовали, но забастовка всё равно началась — и тоже пошли по проспекту. Сначала спокойно...

Только не по виду Дмитриева.

— ...А все они рядом, Русский Рено напротив Нового Лесснера. И тут же, против Рено — бараки 181-го запасного пехотного полка. И когда, уже часа в четыре, Новый Лесснер пошёл по Сампсоньевскому, как раз мимо казарм...

Э К Р А Н

Заводские корпуса, тёмно-кирпичные,
как они видятся поверх высоких кирпичных оград.
Те неудобные здания, где мы не бываем, культурные люди,
там делать нам нечего.

А — есть они. Высытся. Тянутся.

Неясный шум.

Ниже.

= Из проходной вываливают, вываливают рабочие...

И идут по улице
 скучной, каменной, окраинной,
 беспорядочно, не строясь в демонстрацию, ещё и сами как
 бы не решив, зачем и куда они, а —
 несёт их!

Говор беспорядочный.

Кепки, кепки, картузы... Иногда — и котелки.
 Дублёные куртки с барашковыми воротниками, осенние
 пальто, тужурки, плащи... Черно-серое.
 Лица — все бритые, бритые, молодые и старые, редко у кого
 борода или усы (но — щегольские). В этой ли бритости,
 в сходстве одежды — сравнены возрасты, сравнены лич-
 ности.

И несёт их — с заботой общей. Несёт, а весёлых нет.

= А там дальше на улице —

полицейский патруль: с десяток пеших городских,

ближе они,

в чёрных шапках, чёрных мерлушковых воротниках, в туго
 подпоясанных шинелях, с шашками, револьверами,
 снабжены изобильно, исправные молодцы.

И околоточный надзиратель — в сером офицерском паль-
 то, с узким ремнем.

Ещё ближе.

У всех — оранжевого немного: плечевые жгуты городских,
 тесьма петлиц, у околоточного — кант погонов.

Чем вот — *другие* лица полицейских? А — совсем дру-
 гие. Больше усатых? Больше мордатых, где их набрали?
 А главное: чувств — никаких, а — каменная служба.

Околоточный, галуны серебряные, рукой взмахнув,

дальше они,

= команду подаёт.

Мы не слышим её.

Да ведь кучка их! — а пошли, пошли сюда строим!

Могут! Закон! — вот что они. Поди-к не послушайся...

Строим идёт на нас команда! Всего десяток, а — давить
 идёт!

Боязливые голоса: что не попрёшь, надо заворачивать.

= Перёд толпы. Сплочены тесно, молодых больше.

Всё-таки вперёд не шагается. Начинают пятиться,

но — запекает рядом невидимый дерзкий одиночный голос:

*Богачи, кулаки жадной сворой
Расхищают тяжёлый твой труд!*

Пятятся, отступают. Не подхватывают.

Не подхватывают, но песня — действует: сознание горькое от этих слов, лица — жёстче.

А рты на экране — молчат.

Но невидимых присоединилось два-три голоса:

*Твоим потом жиреют обжоры,
Твой последний кусок они реут.*

Ну, не последний кусок, уж таких измождённых не видно.

Есть — и с важностью уважаемых мастеровых. Кто распахнут — в пиджаках, есть и с белыми сорочками. А — верны слова песни! — вот так и чувствуем: рвут последний кусок, и только песней докричишься. Давай, давай, братцы!

= А полицейский десяток — ближе. Марширует — подавительно.

Околоточный подхватистый что-то увидел среди нас, кричит:

— Военнослужащие! Выйти из толпы! Взять в строю!

= В толпе-то, оказывается, несколько солдат затесалось, выдравливающие! на них узды никакой!

Перевязанный по уху,

рука на бинтовой подвеси, георгиевский кавалер.

И ещё. У вас — служба, а у нас? Кровь кто проливал?

Голос околоточного, близко, резко:

— Военнослужащие! Последний раз предупреждаю!

Перевязанный по уху — распущенный парень, отвечает всем ртом и лицом,

нам не слышно,

а видно, крепко ответил: хохочут рядом!

Хохочут! Осмелели!

Теперь видно и запевалу: длинный, худющий, без шапки (обронил?), волосы раскиданные. Лицо истянулось в усилы за всех, рот вперекрив, кадык так и прыгает:

Голодай, чтоб они пировали!

Голодай, чтоб в игре биржевой

Они совесть и честь продавали...

И — не зря! Начинает перениматься! Запалает сердца песня, ярее всяких уговоров! Уже и в дюжину глоток ему помогают, кричат через песню своё душевное:

Голодай, чтоб они пировали!..

= А полиция — шашки! обнажила!

И — наступает!

Шашки? ещё не значит — рубить, может — и плашмя разгонять, как повернут. Но лица у городских — хоть и рубить, не дрогнут.

Околоточный — как в бою:

— Нижние чины! За мятеж будете арестованы!

= Всё ж — оседает толпа, подаётся. Страшно. Подбодряют друг друга теснотой, плечами, множеством, да и голосами, напев марсельезный, а слов не зная, один запевала рвёт до надрыва, отчаянно:

Царь-вампир из тебя тянет жилы!

Царь-вампир пьёт народную кровь!

Соддат с крестом георгиевским мрачен, руку больную зажали, — а не уйдёт! Не на того напали!

= Но... и шашки! шашки поднятые идут! Страшно!

= Пятится толпа, проиграно дело...

Отступает косовато, жмётся к забору какому-то, дощатому, низкому, высотой аршина в полтора.

Из сил последних, как последнюю песню в жизни, ведёт запевала:

Ему нужны пиры да палаты,

Подавай ему крови твоей!

= А полиция — уже вплотную!

во весь экран

передние! Плашмя? или рубя?

Что у этих леших разберёшь?.. Шаг на нас!

Шаг на нас!

Лица чужие: над нами смеётесь? так и мы вдарим!!

Экран пошире.

= Пятимся, нет дураков под шашки. Вдарят — и побежим. Тысяча — от десятка, так уж сила ломит. Передним-то лише всего, задние — в безопасности...

Все голоса упали, нету.

Шаг! Шаг! От забора оттесняют рабочих, очищают вдоль забора. Продвигается полиция с поднятыми шашками.

Но последний голос отчаянного запевалы:

*На воров, на собак, на богатых!
Да на злого вампира-царя!*

Ах, к сердцу!

И — опять, опять попыхало глухими голосами, как дрова сырые заняло.

И — остановились! Нельзя нам бежать. Побежим — уже мы не люди...

И зло веселеем в отчаянной песне, эх, нечего терять:

*Бей, губи их, злодеев проклятых!
Засветись, лучшей жизни заря!*

У забора так и сошлись встречными клиньями: передние из полиции и передние из толпы.

У вас шашки вскинуты? А у нас кулаки выставлены. Да глаза выворачиваются от люто-родных слов:

Бей, губи их, злодеев проклятых!

= У полицейских — песни нет. Им песня и не нужна, у них — команда! Первый злодей околоточный:

— *Бей плашмя!!*

И — ударили!

У-дарили!

Ай, кому по голове, это силища!

И — ухатому тому солдату, да!..

Потеснились, попёрли, поваливаемся, повалили назад!.. Ну, куда тут...

И — пошла полиция вдоль забора.

Самый широкий экран.

= С поворотом распахивается перед нами долгота этого низкого забора,

а за ним — плац!

А на плацу — маршируют солдатики, правда, с палками вместо винтовок.

= Кто — строевую ходьбу,

= кто — ружейные приёмы. Ученья — с унтерами, без офицеров.

Не то что ружей, они и шинелей носить не умеют, а туда же — солдаты.

Ученье ученьем, но замечают,

замечают, что здесь, сюда поворачиваются,

и даже, по произволу покидая расхлябанный свой строй, идут,

идут сюда,
 да — с палками, как были!
 да с палками!! А одеты — армия, сытая, здоровая:
 — *Не сдавайтесь, мастеровые!*

= Полицейские с поднятыми шашками застыли, не бьют.
 И околоточный тоскливо ищет глазами:

панорама плаца

за забором невысоким, в полтора аршина
 сколько их! — сотни, сотни. Кто — занимается, кто — сюда
 смотрит, кто — идёт. А офицеров — как вымело, нет.
 Сами, одни, с унтерами, такими же.

= Но — забор. Стоит забор, отделяя.

= Городовые — ещё со взнятыми шашками.

Околоточный — один! Озирается: один за всю российскую
 власть, вот сошлось!

А рабочий передний клин — растаял, оттянулся, ещё не-
 сколько стоят, как ототкнутые, согнутые, к земле,
 к земле молодой подмастерье клонился, клонился,
 да выворотил булыжник!! да через несколько своих го-
 лов —

в голову городовому! Шибануло, откинуло, шашка опала,
 шапка слетела и —

кровь!

И команда:

— *Руби!*

У-далили!

Кровь!

Панорама:

бегут! бегут! бегут сюда солдаты! с палками!

Улюлюканье по всему широкому пространству:

— *Морды фараонские!*

— *Гэ-гэй, своим на помощь!*

Вес-село бегут!

Кто половчее — через забор, заборчик: прыг! прыг! прыг!

Отступя.

А остальным солдатам, у забора?

Все ли сразу толкнули, все ли сразу шагнули —

у-пал забор!

Затрещал,

у-пал вперёд всей длиной! И через него

весело шагнула армия! шагнула через поваленный — да с палками!

Ещё отступя.

А там, по плацу — ещё, ещё бегут! на фронте не увидишь такой атаки радостной: не стреляют, и враг известен!

Целый полк — врассыпную, в полный рост, палки над головами раскручивая.

Дотрескивает забор под сапогами.

Озорство на солдатских лицах: мы-то сила и есть! мы-то не боимся!

Бегут от души:

— Эй, наших не трогать!

— Бей сволочей фараонов!

— Ура-а-а-а!!!

- = Какой-то пехотный офицерик, пересекая атаку, поднял руку, кричит, останавливает, — куда там! не слушают, бежит братва солдатская!

Выстрел. Выстрел. Выстрел, — то

- = Отступает, отстреливаясь, полицейский десяток.

Им не крикнуть «ура», служба не такая. Обречённо отстреливаются: не жить им, все их ненавидят.

- = И стрелять уже — близко, смешалось, и шашкой не взмахнуть, поздно!

Разделили их — шинели, куртки, кепки...

Околоточного — кирпичом по голове, сгинул, провалился под ноги.

- = Разделили, шашки отобрали, шапки сбили,

револьверы выкрутили из рук, пригодятся!

- = Один городской огрызается — растерзанный, а смелый.

Сзади его — железкой по голове! Есть!

- = А запевала — как вырос ещё на одну голову, уж и был длинный, а таких не бывает, полтора Ивана, или подмостился? Вот надрывается, за всех:

Купим мир мы последней борьбой!

Купим кровью мы счастье детей!

Мы поднимаемся.

- = Сампсоньевский. Сотни людей перемешаны. Солдаты обнимаются с мастеровыми. Палками размахивают.

Ещё какое-то шествие, с кулаками поднятыми.

Круглое малое сужение, как в трубу.

= Издали — конница,
ближе

полицейская конная стража.

Ближе, крупней, расширяясь:

полусотня на полном скаку, шапки с султанчиками, ремни
крест-накрест, выхватив шашки!

Эти — уже не плашмя! Эти — рубить! и команда — была!

= А толпе — не страшно. А в толпе — перекур, обнимка.

= А в стороне — подростки, на какой улице их нет. С камнями,
железками. Замахнулись, тоже воюем! кинули! кинули!
да — дёру!

= И бежит какой-то суматошный, как сумасшедший, кружит
в руке — головню, горящее полено.

= Скачет конница с шашками!

= А офицера — с лошади сбили.

Задержалась скачка.

= А тот, безумный — головнёю крутит, вот — кинет!

А толпа — туча, швыряют и палками!

= Смятенье в полицейской коннице. Поворачивают.

= И крутится, крутится головня, отдымливая, — сливается
след огненным кругом,
красным колесом.

И тот же голос неисконный, дерущее-резкий, победивший:

*Купим мир мы последней борьбою,
Купим кровью мы счастье детей!*

* * *

Монархический строй плывёт на золотом корабле русской буржуазии
по безбрежному морю крови и слёз народных. Разбивайте обломки иллюзий
освобождения народов штыками всероссийского деспота! За работу,
товарищи! Да здравствует Вторая Великая и последняя Российская Революция!

(РСДРП)

* * *

27

Событие на Выборгской стороне поразило Воротынцева не только революционностью своей (такого гнева не ожидал он, и это был лишний довод спешить с переменой метода войны), а: 170-миллионностью существа, называемого «Россия». Кажется, сколько было российской армии на дальнем-дальнем юго-западном плече фронта, какая гуща дивизий, полков, людей, своих событий, горь и надежд, — а вот за другим плечом, за две тысячи вёрст от первого, на северо-востоке Петрограда, кишели свои другие тысячи людей, заводских и запасных, со своими горями и надеждами, и общего не было в опыте и в настроении тех и других, а лишь — принадлежность к необъятной России.

Тем более опыт Воротынцева должен быть сличён и проверен на опыте других. Никто так не вспонятлив и не всеведущ, чтобы взяться действовать за Россию. Очень много ему дал сегодняшний вечер, мысли так и толклись, бродили.

Однако, возвращаясь с Верою на Караванную, нигде не заметили они никакого следа беспорядков или безпокойства. Петроград и сам по себе тоже был ломоть немалый.

Георгий заснул по обыкновению быстро, но необычно проснулся посреди ночи, даже, по ощущению, недолге: наше спящее тело чем-то измеряет и нам отдаёт, как долго спали мы. Проснулся, испытывая какой-то незапомненный, но блаженственный сон, нет, не сон, а сквозное состояние чего-то хорошего, удачного, до радости. Подобного давно не ощущал он, память большой общей беды давила его и днями и при просыпах, затяжно спал он и в поездах, и дома в Москве, — а сейчас отчего такая очищенность была разлита по телу, с готовностью лучше не спать, а лежать и наслаждаться этим состоянием?

Тут в сознание перелилось, хотя он ещё проверял и хитрил: не оттого, что в отпуску, не оттого, что в Петербурге (так он и не полюбил Петербурга), не оттого, что у сестры и няни, хотя и очень родно, и даже не от интересного такого вечера, а: познакомился с Ольдой Андозерской!

Это счастье, что он с ней познакомился, разбирало и овладевало им уже на вечере, но там некогда было уллубиться, по-

нять, — да то и казалось интересно и приятно, что он встретил внимание и частью единомыслие такой умной, образованной женщины.

Но сейчас радость ударяла в грудь как морской прибой — и, подставляясь и принимая эти плески, он должен был признаться, что не от эрудиции профессора вся эта радость, а — от неё самой. Не от её умных доводов, пусть бы она говорила и глупо, и наоборот, — а от того, как она их высказывала и как выглядела при том.

Общий мрак никуда не отступил, даже напротив выявился в восстании запасных, — но почему ж этим вечером Георгий так легчал и веселел? Он потерял и охоту к спору, до того полегчал, что потяжелел, и только способен был смотреть — на достойные плавные повороты маленькой головы, на тонкие, мелкие движения бровей, опережающие речь, на властное пожатие маленького рта. Ещё этот милый жест — две кисти зонтиками и поглаживать одной другую.

Кажется, ничего вечером не совершилось, да даже слова прямого сказано не было, — а так много, что не хотелось, невозможно было спать, плески били в грудь! Да соскучился Георгий по самому чувству радости, так давно не испытывал её, забыл, что и есть она, — теперь жалко было уснуть и пропустить тёплые часы, светлые в темноте.

Курил. Пытался вернуться к мыслям, слышанным на вечере, обдумывать их — куда там! — опять к ней! Вот не ожидал такую женщину встретить.

И не взялся бы сказать — чем. Никакой писаной красоты, никакой уж такой особенной стройности или пропорциональности. Умно говорила? — так и другие были не глупые. Близкие мысли? — так не во всём, и напротив иногда. Держалась особенно? — не с податливой женской гибкостью, но стерженьком, знающим своё твёрдое место в мире? Или — как она на Георгия взглядывала? В этих взглядах было и понимание, и признание, и даже непрятое восхищение — и уже от одного того стал Воротынец чувствовать себя как бы необыкновенным. И содержалось в тех поглядываниях — выразительно, как слова, а не произнесенное, — или показалось?

Как бы что-то от неё перетекало и оставалось уже в его обладании.

Померещилось?.. Как это теперь точно знать?

Стало его в постели крутить. Курил. Вдруг вот — понадобилась ему эта женщина! Ещё видеть, ещё говорить? да нет, не для консультации, что уж такое она могла ему сказать? А — понадобилась. А — загорелось.

Странно, но Георгию как-то сравнить было не с чем: правильно ли он понял? А может быть — это только сочувствие политическое к его речи, и можно в такой просак попасть?..

А если правда всё это в её глазах было — тогда нельзя не продолжить, это слишком необыкновенно!

Но — как?..

И — что тогда будет?..

Крутило, палило — куда там до сна!

И — почему-то она не замужем, сказала Веренька.

Бесцельное, счастливое, полыхающее возбуждение!

Долго лежал Георгий, даже не ища сна.

А утром, прежде чем куда собраться, прежде чем определить и понять приложенье своих сил, так немного времени имея на поиски в Петрограде, — едва дождался приличного времени для телефона, но первому не Гучкову, а — ей.

Вчера никак не предполагалось — звонить ей на другое же утро. «Вот вам мой номер» — то есть вообще на все эти дни, пока он в Петрограде. А сейчас перед коричневой настенной коробкой аппарата расходился Георгий в двойном волнении: и — что неудобно так быстро, так сразу, и — скорей, пока она не ушла на лекции!

Дома! И несколько не удивилась. А мелодичный голос её оказался в телефоне и вовсе пением нежным (или так она разговаривала именно с ним?). Телефон как убирал всё, что было в её голосе разговорного, и подчёркивал певучее.

— ...Вот и пригодился ваш номер раньше, чем я думал.

— Я очень рада.

Так и затягивало к ней туда, в трубку.

— ...Как-то мы вчера с вами... не договорили. Такое ощущение.

— У меня тоже.

— А так как я в Петербурге буду всего недолго... Вы бы не разрешили увидеть вас ещё?..

— Чудесно. Сегодня вечером и приезжайте. Посмотрите, как я живу.

Превосходно! Как охотно пригласила сразу.

Но — Гучков?? Но если теперь Гучков и назначит на этот же вечер?

Держал трубку — и боялся: услышать прямо и сразу Гучкова, а тот назначит ему на сегодняшний вечер!

Но к счастью: Александр Иваныч ещё в город не вернулся.

Да пожалуй, Ольду Орестовну и вернее повидать раньше: она так убеждённо говорит обо всём, интересно её допросить.

А днём пока — сходить ещё по делам и поручениям, в министерство и в Главный Штаб.

Сколько же, сколько тут сидело полковников и генералов, и как уверенно судили обо всём, ничего не выдав. Когда-то в молодости задорился на таких Воротынцев, теперь отсердился: сами места рождают таких себе и людей.

А весь день внутри — упрятанная своя, как в шелковистом коконе, никому не открытая радость: вечером — к ней! вечером — к ней! И даже: как он мог ехать в Петербург, не предчувствуя подобной встречи?..

Ещё ему надо было в Общество ревнителей военных знаний, там в журнале будут статью его печатать, — но это уже не успевается, завтра.

Извозчик для офицера, да ещё старшего, всегда несётся изо всех, не спрашивая, нужно ли ему так скоро. Но сейчас и самому — приятно мчаться. И опять, как вчера, и не так, как вчера: вольный длинный Троицкий мост, с редкими парами тройных фонарей. От твоей езды обращаются ростральные колонны вокруг Биржи. И башни Петропавловки, и едва различимый в тёмном небе ангел.

На гонком, резвом извозчике — по виду такой уверенный прибородый полковник, в папахе чуть набекрень, победно мчался по сырым осенним мостовым. А внутри уверенности не было, она с утра упала. Была опасность смешать дружелюбие Ольды Орестовны и собственную расположенность с... с...

И снова — Каменноостровский проспект, опять близ Шингарёва. Да днём и думать забыл: революции — так ведь и нет в Петрограде, революция никакая не случилась. Нарядный проспект — к увеселениям островов. Круглая площадь около Ружейной, говорят: её вид — вполне скандинавский.

Можно — никакого шага не делать, тогда и не ошибёшься. Но — уже раскалился, а дни — утекают меж пальцев. Такие встречи бывают в жизни — раз? два? Или вообще не бывают.

Чёрно-белый причудливый, с башенками, дом на углу Архирейской, во время Воротынцева, кажется, его не было. Как модно строятся здесь, не похоже на классический Петербург.

Если днём и видны — хвосты, недостатки, то к вечеру всё украшено электричеством, кинематографы, кафе, витрины — с фруктами, цветами.

Но сегодня это уже не раздражало его, как вчера.

Соскочить. Букет фиолетовых астр. Дальше погнал.

Спортинг-палас. Дом эмира Бухарского. Силин мост.

Но как можно? — к такой уважаемой женщине сделать какой-то прямой грубый шаг — на основании каких-то вчерашних перехваченных взглядов, когда ему померещилось?.. Невозможно, всё перегорожено приличиями, обычаями.

За Карповкой — особняк под итальянскую виллу. Всё гуще деревьев по проспекту. У Лопухинской — тополя. В каком хорошем месте она живёт.

Весело от скачки. Весело, что встретимся сейчас.

Свернули. По Песочной набережной. Справа — искоричнево-чёрная вода Малой Невки, слева — усадьбы, дачи, огни в глубине садов. А вот и скромный серый дом с шероховатыми стенами (тоже мода), над входом — 1914. Сколько же строили перед войной! Где бы уже были без войны!

Снаружи прост, а внутри — необычный: вместо лестничной клетки — ротонда, и лестница — винтом по стене, а на втором этаже — круговые хоры и уже оттуда квартиры.

И какая же в ногах молодость гимназическая, и какая в сердце лёгкость! Где же та безысходная мрачность стольких месяцев, где та тяжесть, которую еле довёз, еле выгрузил вчера в шингарёвской квартире? Отчего всё так взлетает обновлённо? Чудо.

Как рассказывал вагонный спутник, Фёдор, эта смесь — удивления, радости и боязни: как от женской любви бьёт пламя в лицо. Георгий ему почти не поверил (или позавидовал — бывает же!), а вот — и себе досталось! Било прямо в лицо, не защититься, и защищаться не хочется.

Нежно коснулся податливой костяной пуговицы звонка. Едва не зажмурился на открывшуюся дверь, чтоб не ослепнуть.

Она!

Выше вчерашнего? Нет, такая же трогательно маленькая, узкая. Букетом закрыло её всю. Рука без веса, кожа чуть смугла.

Состояние: когда разладилось, и слышишь — не разумеешь, не хватает слуха и внимания совместить, может вспомнишь потом, а то — переспросишь невпопад.

И вот уже — большая комната. Кабинет? Стола — и не видно, под косыми падающими книжными стопами. Бумаги, бумаги. Полки с книгами. Крупная икона святой Ольги — но не в углу наверху, а на стенной плоскости, посередине, без лампы, как и не икона, а картина. А на полочках — во множестве почему-то игрушки, безделушки, крашенные и некрашенные: Иван-Царевич на сером волке, бой со Змеем-Горынычем, золоторогие бараны в людской одежде с кружевами, не успевает охватывать глаз.

А что-то! что-то вчерашнее — не нарушилось, тут! Неуловимо: здесь! Удивительно, ни слова прямого, а — так...

Всего было наставлено и навешано, легче заметить, чего на стенах нет: обычного у всех везде множества фотографий, каждая в своей рамке или десятками в группе. Нетипичная комната. Ещё картина: на ночном лугу сидит какой-то ручьёбородый старик с рожками и могучими голыми плечами.

От самого взбега по лестнице как не ухвачены были связанные фразы, так и в следующих сбой, и мысли перетревожены, как бывает в ошеломительную боевую минуту, и не успеваешь расставить на места, а говоримое — покатилося, покатилося... Хозяйка и гость ещё не успели сесть, Воротынцев задержался на провинциальном пейзаже, не по выбору, без смысла: луга от реки и за ними маленький городок. Ольда Орестовна стала объяснять, и это первое, что Воротынцев стал усваивать ясно: то — Макарьев на Унже, где она родилась и выросла, где сосланный отец её, доктор философии Гёттингена, стал уездным предводителем дворянства.

Но сама же прервала своё объяснение, повернулась к нему от макарьевского пейзажа (Воротынцев видел и не видел, он ещё смотрел на пейзаж: если сослан, то как же тогда предводитель?..) — подняла руку, невесомо положила ему на плечо, на край погона, ближе к шее, и звучно, полно сказала:

— Боже, какое счастье, что есть ещё у нас такие люди, как вы!

Сказала не стеснённо, не скороговоркой, не украдкой, но как бы награждая его высоким орденом, на ленте через шею.

Всё дело было в сбое впечатлений, движений и брошенных фраз, такой жест был бы неуместен, если б они тихо, размеренно

вошли и чинно сели бы в отдалении: после того кто б это мог встать, подойти и руку класть?

Но само это необычное движение как беззвучный снаряд разорвалось у щеки Воротынцева — и ещё более завихрилось всё, не успевшее объясниться в короткой суматохе входа. Вспыхнув ушами, контуженный, потрясённый, совсем под откос утеревший связь гостиных вежливых мыслей и слов, — Воротынцев однако устоял на ногах и не упустил того единственного, последне-возможного мига рассчитаться с этим уверенным маленьким генералом, наградившим его передо всей Россией, — того мига, когда рука профессора Андозерской уже начала соскальзывать с его плеча, последнего мига, после которого уже была бы грубая невоспитанность, непростительность отвечать ей чем-то таким же, —

а в этот миг он ещё успевал и ничем другим ответить не мог, и не ответить не мог, а перехватил награждавшую руку и соединился губами с её нежной кожей, и дольше, чем церемониально, и горячее, чем церемониально, как погрузился и всплыл. И тут же то же повторил с рукой не награждавшей. Тут в сознание его вошло, что надо же что-то сказать, приличное моменту, не просто же молча. И сказало само, кажется:

— *Счастье наше — что вы есть... Такая, как вы...*

Так ли, не так ли, и чьё это *наше*, не прямо же счастье всей России? — но они ещё продолжали друг против друга стоять. А Воротынцев, изъяснясь этой фразой, теперь мог как будто и ещё придержать обе руки этой живой статуэтки, и придержал вполне корыстно. От рук её и от самой её исходил не сильный, но точный в аромате запах.

Дальше границы наградного церемониала обрывались, Воротынцев освободил её руки, и Ольга Орестовна, не покачнув-шись, не поалев, лишь чуть поправив волосы и с малой прикровенной улыбкой, повернулась опять в сторону картины, договаривала о Макарьеве.

Вот по этому лугу бродить босиком, когда сойдёт вода и земля согреется... Какие цветы тут растут... Вот здесь проходит городское стадо... Вот здесь бывает ярмарка... (Тут вспомнил: макарьевские сундуки — на всю Россию.) А вот наша гимназия... Либеральный отец, много посвятил преобразованию уезда. Простонародная няня. (Везде — няня! Всех нас сделали простые няни.) А вообще девочка росла такая ко всему допросчивая, что взрослые имели обыкновение много рассказывать ей.

Они уже не смотрели на картину, сидели. Ольга Орестовна как лекцию вела: ровным голосом, связно, последовательно. А Воротынцев так и не оправился ото всех внезапностей поспешных первых минут. Да столько тут проплывало произнесенного, что и паркет под ногами утерял свою надёжную горизонтальную опору. Воротынцев и в кресле не испытывал своей нормальной земной тяжести, и подлокотники были ему не опорой, а держалками, чтобы не взлететь выше кресла. И как с первых минут разорвалась соотнесенность звуков и смысла, так и неслись фразы и мысли несцепленно, не всё дослышивалось, не всё додумывалось, но надо всем плыло уверенно, как пышное белое облако в знойный день: что он — совершенно *согласен* с Ольдой Орестовной, что она права во всём, что говорит: и об атмосфере уездного бойко-торгового городка; и об игрушках глиняных дымковских — вот этих баранов золоторогих и пёстрых утках; и об игрушках богородских — резных из липы крестьянских группах; и троице-сергиевских, ярко раскрашенных; а там о Врубеле, о Скрябине. Он кивал глазам её, внимал распевному голосу и ещё рассматривал, как верхняя губа чуть выкружена, а нижняя подпухлая. И подпухающее облако восхищения тихо плыло надо всем.

И надо было делать над собой усилие, очнуться, чтоб не обязательно быть согласным и с тем, о чём она будет говорить следующим.

Как вчера у Шингарёва он почувствовал себя остановленным в напряжении и беге, тепло расслабленным к сидению, так тем более и сегодня: куда делся его гимназический взбег по лестнице? отчего в ногах такая сладкая остановленность? Да ведь он, кажется, приехал к ней зачем? — вчерашнее важное, при нём затронутое, ещё дояснить? Но не находил в себе силы спросить, как Ольга Орестовна:

— А как вам Шингарёв?

Воротынцев ответил, что просто сердце раздвигает своей обыкновенной искренностью.

— Но страшно смотреть, как его портит партия. Он — кадетский член трёх Дум, и это не прошло даром, длинная история. Ему приходилось, выступая о терроре, уклоняться от осуждения его.

— Меня поразило, как он вчера сказал о Столыпине.

— О, Столыпин — в его груди заноза. Столыпин для него ещё глубже загадочен, чем он высказал вчера, он мне открывался и больше. Он мучается этой разнотой в понимании истины: что

вот всегда по партийной обязанности боролся против Столыпина, а тот старался для тех же самых крестьян, что и Шингарёв. Воевали с ним — а он нам укрепил народное представительство. Обвиняли его, что он нарушил конституцию, а сами при случае готовы нарушить её и не так. Партия — это ужасная вещь.

Всё верно, но наслаждался Воротынцев и её манерой говорить — так тихо, по-женски, но и убеждённо, и убедительно. Владела мыслью, владела словом — и знала это.

— Кадеты поразили меня, — отозвался. — До чего воинственные.

— В кадетскую патриотическую тревогу никогда не верю, она отдаёт игрой. На самом деле недостаток снарядов их окрылил. А вот вы, Георгий Михайлович, — вдруг взгляд её соединил твёрдость и лукавство, — вы ведь к кадетам ближе, чем думаете.

— Я-а-а? — И почувствовал, что глупо краснеет, будто застигнут за неблагоприятным. Но он-то твёрдо знал, что нет! — Откуда вы... ? Я? — нет!

— Есть, есть, — печально кивала она.

Выдавал Воротынцева предательский румянец. Прямо говоря — она ошиблась, но глубже говоря — заглянула, куда он её не пускал бы.

— Кадетство — это не только партия, — кивала Ольга Орестовна. — Это — резкость и отравка, разлитая по всему русскому воздуху, и мы все ею надыхиваемся, даже не замечая. Очень трудно удержаться в убеждениях, совсем отделённых от кадетства. Вот и вы вчера так легко бросили о республике... У нас это вьётся в головах или рядом, как самое допустимое. А между тем скажите: когда в России существовала республиканская идея? Стала побеждать в Новгороде? — он из-за неё и погиб. Всю Смуту искали — царя, но не республику. Даже и Семибоярщина. Мы совсем не республиканский народ. Идея анархии — та трогает нас, погром, захват, безвластье, — но не республика же, нет! Да если бы вы пожили в Европе, вы бы поняли: западные государства — на поспешных рычагах, но износивших, их не хватит на опасности трёх веков.

Под её тревожным взглядом Воротынцев не спорил. Да он, собственно... Да он нельзя сказать, чтобы... Но она настаивала:

— Республиканство — это клич к честолюбцам: власть — можно захватить! захватывай! Республика зовёт каждого бороться за свои интересы, но республиканец всегда рискует оказаться в под-

чинении у своего безжалостного врага. И — когда вы видели, чтоб не управляемая единой волей толпа понимала бы верно свою собственную пользу и куда ей нужно? Во время любого пожара в толпе душатся и губят друг друга. Нужен властный, внятный голос — один. Уж вы-то в армии это знаете.

— Да конечно, — усмехнулся Воротынцев.

Всё так. Но почему так горячо она убеждала? Да может — только за тем и звала, а он-то возомнил?..

А она смотрела на него пытливо-призывно, как будто добуживалась, опасалась, не умер ли:

— И если наши сегодняшние партии да получают власть — то будут они высшую справедливость доискывать? Да им только обезпечить большинство на выборах. Демократическая республика в непросвещённой стране — это самоубийство. Это зов к самым низким вождениям народа. Наш доверчивый простодушный люд сразу и проголосует за тех, кто громче кричит и больше обещает. И повыбирает всяких проходимцев, да горлопанов-юристов. А положительных кандидатов — в толкучке оттеснят и подавят.

— Да я — просто так выразился, — оправдывался Воротынцев. — Я не имел в виду республику как перспективу.

Но что-то — она верно в нём угадала. Не имел в перспективе, но и — не отказывался.

Её глаза зеленовато попыхивали, и губы так страстно шевелились, как будто она говорила о предмете чувственном.

— И чем гордится демократическая республика? Всеобщим смешением и мнимым равенством. Дать голоса юнцам — и 50-летний мудрый человек имеет столько же прав и влияния, сколько безусый юнец? Тяготение к равенству — примитивный человеческий самообман, и республика его эксплуатирует, требует равного от неравных. И монархия, и армия, и твёрдая школа строятся на разноценности, на лестнице ценностей. И так же — живёт вся природа. И только общество мы хотим перемешать как кашу. Но если все высокие уровни мы срежем, свалим... Всякому высокому качеству надо радоваться и открывать ему государственную дорогу, а не растерзывать его.

А он — не столько слышал, сколько губы её видел в движении — и хотел угадать, узнать их туготу.

Она же — совсем не со вчерашней невозмутимой стройностью, но с приклонённым интересом:

— Нет-нет, Георгий Михайлович, вы, оказывается, захвачены кадетским поветрием. Я вчера ожидала в вас твёрдого союзника, потому и говорить начала, — а вы оказались едва ли не оппонентом? Как же так, ведь все кадровые офицеры — устойчивые монархисты. А вы?..

— Я-а... — не мог не признать Воротынцев, — тут, знаете, более сложный случай... Что значит «захвачен поветрием»? Да, если сознаёшь долг перед народом, то и... Мне, напротив, понравилось, как вы защищали вообще монархию... Но у нас — тот исключительный случай... Оговорка...

— Да, Георгий Михалыч! — у нас тот исключительный случай, что, потеряв монархию, мы потеряем и Россию. Как царь ни высоко вознесен — но он народу свой, и куда ближе всех этих думцев. А их я навидалась. Их опыт — совсем не конструктивный, они только и умеют бурлить в оппозиции, а дай им завтра власть — они страну не поведут. И без царя — они даже не удержатся.

Он — и слушал. Но даже и не слушал, а любовался, всё путалось.

— Для нас утратить монархию — это не структурно-государственная перемена, а изменение всего нравственного строя жизни. И даже художественного рисунка. Хотя быть монархистом — дано не каждому, как не каждый умеет верить, и не каждый умеет любить. Заметьте, человек верующий — всегда скорее монархист, человек безрелигиозный — всегда скорей республиканец. Для республиканца, да, преданность монарху — это околпаченная глупость. А без преданности монархия превращается в видимость.

— Так вот... именно... — трудно выговаривал Воротынцев. Не мог и не хотел он так прямо ей сказать, что монархия превратилась в видимость. Но ведь — именно так.

А она — с тревогой узнавания? неузнавания? задетости:

— Чтобы *иметь* Государя — надо его любить. *Любить* — иначе его нет. И быть готовым служить ему — до конца!

Блестели её глаза, как будто сама она была офицер и готова служить до конца.

Эх, если б это было так просто! А те пустые множественные парады вместо дела? А десятки idiotских, всё губящих назначений на посты? И если при безнадежной неспособности берёт Верховное Главнокомандование?.. Кто пропустил через себя жертвы этой войны, — тому остаётся предпочесть монарху — Отечество.

Но — не место было это ей говорить, и не лежало сердце. Усмехнулся:

— Ну да, трагедия монархиста: быть только довольным, восхищаться и благодарить. Ни своей мысли, ни своего действия, одна лояльность.

— Нет! Не так! — настаивала Андозерская и поддерживала слова мановеньями маленькой кисти. — Монархист имеет право на свободное слово! на честное возражение! Это — даже священная обязанность его, даже часть присяги! Но каждый подданный в каждую минуту должен посылать Государю луч преданности и поддержки — и в сплетении этих лучей Государь обретает свою силу.

Что ж, красота в этом всё была. Но отвлечённая. Если не знать обыденности и загрязности сегодняшней войны.

А в общем, вчера и сегодня, Воротынцев только и слышал как будто одни противоречия себе. Это надо было ещё переварить.

Но — не сейчас же.

Сейчас — они, к счастью, переплыли в столовую, где им подали чай.

Только тут Воротынцев очнулся: да ведь мы же земляки-костромичи! Не так далеко от Макарьева и Застружье, а никогда Георгий не добирался до Унжи. А Костромская губерния — она ведь рубежная в чём-то: как будто именно в ней Средняя Россия переходит в Северную, именно в ней теряется наше плодородие, необильная пышность цветения, необильное тепло, — и на оголённых, холодноватых, но всё ещё не северных увалах просторно удалённые деревни, церковки и мельницы будто веют этой тоской, а дома растут и крепнут под северные, забирая в себя жизнь на больше суровых месяцев. Да и Костромская ведь разная: вверх по Унже — леса, глухомань.

Потом Ольда Орестовна рассказывала о своём преподавании. Не избалована она открыто выражать свои мысли. На Бестужевских курсах за неугоду слушательницам уже пострадали профессора Введенский, Сергеевич. Да что! — студенты десять лет и Ключевскому не могли простить его похвального надгробного слова Александру III. От Пятого—Шестого года курсы поздоровели, много серьёзных курсисток, но они не умеют кричать, спорить. А ещё довольно и «радикально мыслящих», даже прямых эсерок и социал-демократок. Тех, кто хочет победы России, называют «социал-предателями», в студенческой столовой ведутся откровенно пора-

женческие разговоры. В годы войны студенчество опять накренилось в политику. Устраивают «кружок по изучению» — марксизма или французских революций, а на кружках — прямая агитация. Ольда Орестовна только потому и может преподавать, что занимается западным Средневековьем. Но и профессора состав своей коллегии пополняют самоизбором — и принимают даже самозванцев, без научного ценза, лишь бы угождал вкусу времени.

Воротынцев смиренно слушал её ручьи́стый голос, разглядывая её сбок себя сдвинутым центром мира, не уставая радоваться находке и опасаясь какой-нибудь своей ошибки, от чего всё развеется, как не было.

После чая согласно возникло намерение побродить. Вышли, постояли-посмотрели на тёмную Малую Невку — по ширине куда не малую, на мало огнистый Каменный остров и пошли по набережной налево к ещё более тёмному Крестовскому. Небо было в тёмных тучах, но без дождя. Оказывается, в этом году был ранний густой снег, 6 и 7 октября, и заморозки, и здесь на островах держался зимний вид. А вот опять всё разгрязнилось.

Разгорячённой голове было жарко в папаче, но стали они выходить на открытость — налетел закрутистый ветер с моря, толчками, и всё сильнее. А её пальто — слишком лёгкое.

Ольда Орестовна вздрагивала.

— Вам холодно? — обезпокоился он. Перебрав и вторую руку её в свою, нашёл, что у корней перчаток руки холодные.

— Зато какие тёплые у вас.

— Да, у меня всегда почему-то.

— На фронте это хорошо.

— Не только на фронте.

Кончились последние дома набережной, а дальше — открытый тёмный пустырь в толчках и завихрях холодного, сырого ветра — и не было видно впереди границы, где оконечность Аптекарского острова переходила в воду, а потом из воды выдвигался Крестовский.

Вздрагивала.

— Вам холодно!

— Нет, мне весело...

Пошли изрытины. Покинутые позади последние фонари уже почти не досвечивали сюда нисколько, но Ольга Орестовна тут знала места, как видела в темноте, и с крутой малой горки, потягивая спутника за руку, побежала резво.

— Тут — качели должны быть.

Действительно, нащупались грубые маленькие качели, простая доска на проволоках, и уж теперь не так удивился Воротынцев, что Ольда Орестовна захотела качаться на них. Почти без подсадки уселась на доску и крикнула:

— Качайте!

Он начал осторожно, она лихо крикнула:

— Сильней!

И стала взлетать сильней, а боковой охальный ветер толкал её, грозя закрутить или ударить о столб — и Воротынцев кинулся придерживать.

— Отчего ж не качаете?! — ещё лише требовала она.

Но он всю её, с качелями, захватил в руки и сказал:

— Вы, профессор, просто девочка! Девочка Ольженька. Если бы я имел право звать вас по имени, я бы звал вас — Ольженька.

— Вот удивительно! Как меня ни сокращали, а так — никто за всю жизнь. Вы знали такую девочку?

— Нет. Сейчас вот понял.

— Очень мне нравится.

— Так может быть я буду вас так звать?

— Когда никто не будет слышать.

— А такое время будет?

— Как вы захотите.

И он стал её просто целовать, в губы, в губы, которых насмотрелся в этот вечер, всё более запрокидывая, всё более запрокидывая на качельной доске — и шляпка её свалилась, покатилась, а тут ещё ветер.

Вдогонку шляпе, в полном дурмане, Воротынцев побрёл косолапо.

28

Этого никогда не было! — и сравнить было не с чем. Кувырком под гору — главное дело, вторые дела, распорядок суток, обратный билет в Москву, обещанное жене, обещанное сестре, — всё потеряно! — и сладко, что потеряно!

Не потеряно — найдено! И — в первый раз.

С утра скорей к телефону, ведь уже несколько часов не виделись. Телефонный голос — неповторимый, такой певучий, несравненный с голосами всех телефонных барышень. И какая значительность в медленно выговариваемых словах:

— Приезжайте пораньше. Чтобы вечер был дольше.

— Как вы спали?

— Я не спала совсем. И нет ощущения, что не спала.

Сам телефонный разговор — улаживает, оторваться от трубки нельзя.

— И как же вы на ногах?

— О, этого не расскажешь... — (Улыбка загадочная, он уже знает её и по тону голоса — видит. Видит и комнату, и телефонный аппарат, как она около него стоит.) — Тела совсем не ощущаю. Его нет. Так легко-о! И ничего в мире не хочется.

За одним бы этим голосом вытянулся по проводу в струнку весь!

— Но — ваши занятия?

— Прекрасно, всё светится. Приезжайте скорей!

А Гучков — уж сегодня наверно дома. А весь остальной Петроград?

Александр Иванович? Вернулся, да. Но отлучился. К вечеру будет. Что передать?

Что передать?.. Ведь опять столкнётся. Вечер — занят. Да занят и долгий день.

Хорошо, спасибо, я позвоню ещё.

Пока не позвоню.

Телефонный разговор — томленье, но и маленький отвод огню. А проходит ещё три часа — так накалилось! — надо ехать, надо гнать, гнать на дальний конец Петербургской стороны!

Непогодные серые дни — но какая же распирающая светлость в груди! Ощущение победы — огромной, на больших пространствах, какой врагу уже не отнять.

По тем же проспектам, мимо тех же дворцов, домов, ресторанов и кинематографов, но ещё менее на них сердясь, — не замечая даже погоды, — перенёсся как ковром-самолётом, ехал, не ехал?

У неё. Вместе. Одни.

В её кабинете с окнами на Песочную набережную, на серо-бурую вспухлую Невку и на Каменный остров, где в глубине деревьев, оголённых и с удержанными бурыми и красными листьями, угадывается, а в театральный бинокль и хорошо видно: в петуши-

ном стиле деревянная дачка, фантастическая каменная с чёрными башенками, да деревянный Каменноостровский театр.

Мы непременно ходим туда погуляем.

Но гулять — никак не остаётся времени. Ни — на что в Петрограде. Только — на эти две комнаты. Книги, книги — но и их некогда с полки снять, пересмотреть названия, недосуг прочесть одну страницу. Или пересмотреть все игрушки — этих резных гусар и модниц, конные тройки, Илью Муромца с Соловьем-разбойником, Иону и кита, медведей, свиней и зайцев, кувшинчики обливные со зверьими ручками. И тот голоплечий Пан в полутьме, с бронзовым обломком старой луны на горизонте, не так он стар. И присядка его, ночной взгляд и замысел — много понятней теперь!

А ещё несколько дней назад Георгий не понял бы, не заметил.

То Ольда ставит на граммофоне пластинку со скрипичным концертом какого-то бельгийца — и впивается в руку: слушай, слушай! вот это место!

То рассказывает.

— В двадцатипятилетие смерти Достоевского — изо всей читающей и интеллигентской России, ото всей нашей просвещённой столицы, от нашего гордого студенчества — знаешь, сколько человек пришло на его могилу? С е м ь! Я там была... Семь человек! Россия пошла за бесами. Даже буквально, через несколько дней после смерти Достоевского — убили Освободителя. Повернула, повалила за бесами... Правда, в этом году, на тридцатипятилетие собралось больше гораздо. Но, думаешь, привлечены его главным? Не-ет. Привлекает, и на Запад уже потянулось: описание душевной порчи, выверта, да ещё как изнутри! Появляется на Достоевского мода. Да ты сам-то его любишь?

Утаить нельзя и сказать неловко. Замялся:

— Да нет, не мой писатель. Очень уж много у него эпилептиков, непропорционально. И конфиденты разные лишние болтаются. И разговоры непомерные, и всё ковыряются. По-моему, жизнь гораздо проще.

Усмехнулась:

— Ты думаешь? — Губку верхнюю выкругляя, с грустью: — А кого ж ты любишь? Толстого?

Да что притворяется, терять так терять:

— Если честно говорить, после Пушкина и Лермонтова — никого. После них наша литература лишилась энергии, действия.

Герои стали все — какие-то размазни или рассуждают кручено. Те же Пьер с Болконским — читай, читай: о чём они? их и не разделишь, не поймёшь. А я люблю — решительных людей.

Ну, это право она за ним признаёт, улыбается.

Прелестно сидеть разговаривать с этой умницей о том о сём — но вдруг сметается разговор, и —

и! — сами руки подхватывают её — маленькую, лёгкую — она же для этого! нет, ещё легче того: она в точный нужный момент отталкивается от пола и сама взлетает в руки!

— О, какой ты большой! Какой ты большой, тебя не обвести руками...

И ноги сами несут, само петляется, кружится — выносит в другую комнату, к необходимому месту.

Каждый раз всё туда — а не повторяется ничто ни разу — и это врожительно. С Ольдой невозможно предвидеть, что произойдёт и как: всякий раз, всякий час — неожиданное, захватывающее и вместе лстящее твоей силе. В каждом жесте — новизна, и нет обрыва этой чередой. То — ещё есть время и дают тебе, неучу, самому разобраться несладными руками в последовательности этих нежных завес. То — сама, всё сразу! и не благоразумно, но куда полетит с размаху, как отчаянный игрок последнюю карту! — и этот задор переполыхивает на тебя!

И — удвоенье, троеенье и умножение событий, и жалобы в задыхании. И восклицания удивлений, и крик, выносящий тебя в восторг: да так бывает ли? да это не придумано? да ты — не смертный, ты — Атлант!

Всё качается — стены, полки, картины, мир мысли и мир непримиримости — и нет противоречий! — да, вот такая! — да, вот такая! — да, вот такая! — и чем безстыднее, тем ближе и нужней.

Глаза полуживые, смеженные до щёлок.

Длительный, собирающий покой.

Разговор — необязательный, ленивый.

— Ты понимаешь разницу между «любимый» и «желанный»?

— Нет, не задумывался. Разве не синонимы?

— О-о-о!..

Вот на эти душевые перекопки всегда есть досуг у женщины, даже учёной.

— В тот первый вечер у меня — ты не подумал, что я так и других встречаю?

— Ну что ты!

Тогда не подумал, до сих пор не подумал, а после вопроса мелькнуло: не то чтобы всех, но может быть — иных?..

— Это — само выступило. То есть я когда тебя слушала, ещё у Шингарёва, я ощутила, что...

Да, да, как это получилось само? С первой встречи.

— И я руку положила — как на русского рыцаря, только. Как символ. Это — ничего за собой не влекло.

— Как символ, я так и понял.

— Я вообще, наоборот, всех держу на расстоянии. Стараюсь, чтоб даже под руку меня не брали. Потому что от самого малого прикосновения могу потерять голову.

— Даже — от под руку?

— Даже... Моя кожа чувствует каждый пробежавший волосок. А ты разве не замечаешь?

Да что там, когда и собственная кожа его, все годы чёрствая, — вот обновилась, переменилась? Его всего она обновила, такой остроты он не знал.

Георгий закуривает в постели, просит папироску и она.

Так и курят рядом.

И уже серьёзней:

— Я ведь на людях совсем не часто откровенна, как в этот раз прорвало у Шингарёва. Но последнее время такое ощущение, что всё доходит до края. И вдруг мне показалось — я нашла в тебе союзника. Особенно когда ты замечательно сказал, что смирение полезней для общества, чем свобода. А ты — отшатнулся?

— Да я... — не мог точно определить Георгий. — Я не против монархии как таковой. Я — только этого царя... Он меня оскорбляет.

— Вот это и есть в тебе — подхваченная общая зараза! И давно?

— Скажу точно: от убийства Столыпина.

— Но что он мог?

— Перед тем — очень многое. А в этот момент — хотя бы подойти и наклониться к раненому. Навестить в больнице. Когда верную собаку убьют — и то уделяет ей хозяин больше внимания. Если мы простим Столыпина безо всяких выводов — никуда мы не годимся.

— Но у всякого человека, значит и у монарха, может произойти минутный сбой чувств, ошибка. Нельзя так решать по единичному...

— Да в чём хочешь! Хоть это пышное трёхсотлетие. Зачем так пыжиться: о, великая династия! Мало у них было промахов, переворотов, ничтожеств? то слишком слабых воль, то слишком жестоких?

— Не-ет, ты заражён, ты заражён! — почти с отчаянием покачивалась она.

— Почему бы не огласить сердечно: «Подданные мои! Это праздник — ваш, это вы перестояли страшную смуту 300 лет назад. И это вы проявили милость, оказав нашему роду доверие. Хотел бы и я по силам оправдывать завет». Но — нет у него этого порыва всенародной откровенности, тем и не наш. А жалкая, позорная поездка его в Червонную Русь? — близорукая поездка снять пенки с ликования — как раз перед тем, как начали нас из Перемышля и изо всей Галиции гнать?.. Именно нынешний наш император именно с нашей страной — не справляется, и уже четверть века, и это ужасно! Не жалеет он русской крови, думает — в запасе её океан.

— Но — законы войны, что ж он может?

— Войну-то — по-разному и можно вести. Если вообще в неё вступать, этого надо было избежать.

— Но ты же, надеюсь, не делишь с кадетами обвинений, что правительство ведёт войну в проигрыш?

— С чисто военной точки зрения — нет, мы её даже постепенно выигрываем. Только непонятно, что мы от этого возьмём. И слишком много за это заплатим. Для русского будущего, для целостности народного тела и духа — полный бы нам расчёт дальше войны не вести.

— Но — как же её можно бросить? — изумилась Ольда. — Это лёгкое насекомое может вдруг свернуть полёт. А слон топает — ему не повернуться. И если бросить теперь войну — зачем были все прошлые жертвы?

— Скорей всего — зря.

Не ожидала от него! Вот не ожидала!

— Но это было бы преступление против всех павших!

— Думать надо о тех, кто ещё на ногах, — хладнокровно отвечал Георгий. — Что-то должно смениться, что заклинивает всю Россию на погибель. Что-то бы сменилось — и пошла бы Россия на поправку.

Ольда испуганно встрепенулась:

— Что ты имеешь в виду — смениться? Тронь Государя? — и можно потерять всю монархию. Можно потерять вообще всё! У народа только и есть — вера и царь.

— Да я не сказал — ему смениться. — Георгий сам не знал, как он думал. На кого-то из великих князей? Но — стоят ли они чего? Но кто из них стóбит? Не худшая ли была бы ошибка? — Во всяком случае — да, в чём-то важном перемениться. — И, задирая ещё для проверки: — Ну, а в крайнем случае? Если было б условие: спасти Россию через то, что стать нам республикой?

Ольда поднялась на подушке, избочилась и строго, не по-любовнически, с замедленным, отчётливым произношением:

— Как естественно кажется нам, что наверху над нами — Бог, один, и совсем ералашно было бы иметь небесных правителей сразу двести или триста, друг с другом не согласных и воюющих партия на партию, как олимпийцы, — так на земле и народу, особенно простому, естественно иметь над собой одну личную волю. Для мужика именно так: *хозяина* нет иначе. Монархия — это малое повторение мирового порядка: кто-то есть надо всеми равно признанный, милостивый или строгий к тебе равно, как и к твоему врагу.

Ну, равномилостивым быть трудно. Но не враг никому из подданных, да.

Однако, день ото дня позорно упуская Гучкова и все задуманные поиски, Воротынцев тем охотнее прислушивался к Ольде, пожалуй даже и ища быть переубеждённым. Как поддразнивал её:

— Ну, согласись: убогая династия для такой расцветающей, обильной, великой страны? Вся династия — в безпамятстве.

— Не соглашусь! Всё человеческое умение, а в политике особенно, — это иметь дело с тем, что есть, а не придумывать, чем бы заменить.

Она натягивала простыню для тепла, трогательно одиноко пересекали её плечи поворозки сорочки, — но это где-то в краю внимания, вот уж не предполагал, где и с кем придётся выяснять. Снова курил.

— Есть такое русское слово — «зацарился». Не именно об этом царе, старое. Но значит, в народном представлении есть такое допущение? Это значит: забиться, царствуя. Перестать ощущать себе пределы. И своему делу. И своему народу. А всякому расширению нужно знать меру. У народа — тоже есть пределы.

— Страну надо беречь! Она создавалась веками! — мрачно предупредила Ольга.

— Вот именно! Я это и говорю! Потому и говорю! Имея власть да попав в бурю такой войны, надо же уметь эту власть проводить!

— Но он — поставлен на это место! Это — его долг!

— Так если бы! Если б он сам так относился — как к року, как к бремени тяжкому, просил бы других помочь! Если б он нёс корону, страдая, а не... с улыбкой какой-то неуместной...

Вспоминал эту виденную на параде улыбку.

— Ему и трудно! — так уверенно возразила Ольга, будто вчера виделась с Государем накоротке. — Ему и трудно! Он — страдает. А какой клеветой он обложен! Чего стоит одна ложь, а она прилипла, будто он сразу после Цусимы давал в Зимнем бал? А там вообще не было балов с Третьего года! Он улыбкой и пытается прикрыть своё страдание. — Её голос ещё потишел. — И даже — свою беспомощность. Ему, может быть, жутко. Он — пленник и мученик престола! — говорила так уверенно, будто хорошо и близко знала.

— Но если ему так тяжело! И если он так понимает свой жребий, как ты описываешь. То, чувствуя себя слабым для этой страны, не должен ли он...? Перед страной — есть у него высший долг? Вплоть до того, что и... отказаться?

Ольда охвачена была как горем:

— У-у-у, тогда ты — вообще не монархист. Отец — не может отказаться от семьи, хоть и сознавал бы себя плохим. Он связан и саном своим, и властью своей, и подчинённостью других. Ты от своих передовых военных занятий заразился прогрессизмом. Русская монархия держит в мире больше, чем ты можешь предположить. Она подпирает по крайней мере всю Европу.

— Европу? Не вижу. А — что мы Европе? Я вот что вижу: в первую очередь надо спасать не монархию, а народ. Мы заклинились в самоуничтожение — и надо вырваться. А он — бездействует. Я не виню его одного. Тут, видимо, накопился какой-то грех династии — ещё от Петра, а то и от Алексея: они изменили своему избранию Земским Собором, они перестали чувствовать ответственность перед землёй. Так вот, пришёл момент — эту ответственность вернуть. Для спасенья народа.

Разорвалась бы она, узнав, до чего тут можно дойти. Если только уход Государя с Верховного может открыть путь разумным и та-

лантливым силам армии, поменьше — изменить метод ведения войны, а побольше — вообще спасти из неё Россию? Увы, монарха нельзя отстранить от Верховного Главнокомандования никаким легальным путём... Георгий не мог ей выставить практически (он сам практически не знал) — но мог проверять на ней позицию, высказываясь даже непримиримей, чем думал, — и ждать, чем она его поправит.

Ольда по-бабьему сжимала руки в один кулачок:

— Что так думаешь *ты* — это самое страшное. Что я должна это тебе доказывать. Ты что же — замахиваешься на самую монархию?

— Да не-ет, не-ет...

— Пойми: отказ от монархии — это отказ от тысячи лет нашей истории. Если бы традиция была неудачна — не могла бы вырасти великая нация.

— Но если стала власть бесконечно тупа? не слушает доводов? неспособна?

— Это всё ты набрался от общества! Но оно — в истерике. В прошлом году говорили, что власть не может выиграть войну без них, теперь — что власть стремится проиграть. Интеллигенция наша — глупая, у неё совести много да мало ума.

— Что ж ты советуешь делать?

— А — ничего не делать. Перетерпеть. Трон — только тронь. И — покатится всё, и не оберёшься. За близкими целями нельзя забывать далёких, — покачала она. Покачалась.

Да что он уж так спорил? Даже и очень хорошо бы теперь, чтоб Ольда оказалась права. Тогда и его преступное лежание здесь вдруг оказывается самым верным действием?

— Так вот, — уже не настоятельно бурчал Георгий, — значит, нет таланта. Вот она и есть случайность рождения.

— А семь пядей во лбу ему не обязательно иметь, таких он может набрать себе советчиков.

— Значит, не тех набрал. А если выслушивает умных — почему это незаметно в действиях?

Похолодалыми ладонями Ольда стесняла, уговаривала его:

— Но может быть и случайности руководятся Провидением, может быть и в них что-то заложено таинственное? Слаб по рождению? — так усилим его нашей верностью!

— Что ты ни строй — монарх не имеет права быть размазней. Ты сама говорила: если к Государю нет таинственной люб-

ви, то его и самого нет. Так разве он дал нам сохранить к себе такую любовь? это святое представление о троне? Теперь, от тебя, я ясно и вижу, чем больна наша монархия: утеряна несомненность доверия, и Государь не спешит его вернуть. Так в этом он и виноват. Он много сделал для того, чтоб ореол утерялся. Вот ты и сказала. Так пусть возвращает! — волей, дальнзоркостью, мужеством.

— А ты?! — вскричала Ольда.

Уже был совсем скуден последний серый свет дня через окно незадёрнутое — но видно, как Ольда раздосадовалась, сбились волосы:

— Это ужасно! Офицер — с таким военным опытом! С такой твёрдой рукой! С таким общественным горением. И даже, наверно, ты оратор хороший. И в какое грозное время! А — потерял перспективу, потерял волю.

— Волю? К чему?

Ольда двумя кистями подняла его одну, потрясла, как взвеси-ла:

— Вот этими мужскими руками, в наше крайнее время — Россию спасти!

— Так я этого и хочу! Я этого и хочу! А — как? — добивался он от неё, внутренне посмеиваясь. Не знала она, что, тут его уложив, хотя б нейтрализовала. Сама не зная, почти и добилась своего.

Его руку отпустила — вытянула перед собой свои две нагие, тонкие, не мускулистые, вряд ли два ведра способные поднять, — но и не к вёдрам вытянула, а — к рулю, или к возжам, или к удилам, — вот, направляя уверенно бег колесницы сама, раз уж мужчин не осталось:

— Подкреплять монархию! — прокричала она ему на пролёте колесницы. — Давать ей поручни!

Как ни быстро, а Воротынцев успел метнуть:

— Столыпин и давал! Оценили!

— Да что ж это! — тряхнула она голыми предлокотьями, как рукавами в сказке. — У тебя от женской близости больше энтузиазма, чем от твоей ясной задачи!

— Укоряешь? — завыл-засмеялся он — и ткнулся головой, лицом, бородой в её лоно.

Так и замерли.

Не спорить, не шевелиться.

Да уж так Георгий упоён был Ольдой и так благодушно благодарен ей, в примирительных лапах держал её маленькие бочки. Всё тёплое притягательное тельце лектора ощущая рядом с собою, притиснутым к своему, под одним одеялом — ещё бы не примиришься, с чем не согласился бы в зале?

За далёкими целями не забывать близких. Нашёл, с кем спорить.

Или подремать?..

Но — от малого прикосновения...

От самого малого...

Самая маленькая рука. Передвигается где-то по коже. Даже не по коже, но если бы пальцы умели дышать, так вот — их дыхание слышит твоя кожа.

Шажок. Шажок. Одно скольжение лёгкое, но чем легче, тем и сильней!

Обтрагивают — как узнавая. Ошерстённую, закалелую грудь.

И — коготочком.

Узнав — сильней. Сильней.

Что за дар! Тебя — уже изменили! В тебя что-то влили вот этим обтрагиванием воздушным! Ты никак не ждал, был покой уроненный, безоглядный, — но тебя уже переменили!

Один перебор пальцами — и тот же перепых, обжегший в первом свале! —

а дальше? Что будет дальше — всякий раз неизвестно. Всякий раз поразит неожиданностью! Как с неба опрокинется, —

как увидел бы конь свою амазонку, если бы на скаку, если бы скачка так ему позволяла, мог бы вывернуть голову и снизу вверх смотреть на душевлённую всадницу, как её швыряет на скаку —

не швыряет, но взяв удила уверенно, но с замыслом воинственным, но с привычкою опыта и власти, правит она непослушного бег коня — к видимой ей победе! —

не амазонку: не изуродована её симметричная, свободная, несвязанная, скачкою размётанная природа, а ноги, подобранные для скачки, пружинят в стременах,

а скачка с губами сжатыми, с глазами зажмуренными, как будто так лучше проглядывается, провиживается, простигается, простёгивается путь. Распущенные волосы относит ветром скачки, а всадница, потерявшая страх и разум, несётся навстречу предписанной гибели, навстречу гибели! гибели! вот ранена! вопль!! —

сникает — сникает — глаза закрыты, и свешиваются волосы по безветрию, занавесив лицо, и руки ослабшие, где там удила! — тщатся только удержать опору, только б не рухнуть ей.

А скачку доканчивать достаётся верному её коню. Донесёт, додержит ли конь её сам — уж там как конь...

29

Кажется, бастовала половина петроградских заводов, кто-то с опозданием сказал им потом. Кажется, вывешивали флаги на правительственных зданиях, да, верно, день восшествия на престол, сняли потом. И упоминалось в газетных сводках «южнее Кымполунга», а голова не брала. И ещё новый был пропечатан государев указ о призыве ратников 2-го разряда — о боже, куда они тянут? наоборот всему. И что-то же делалось эти сколько-то дней в Петрограде, да сколько же? потом не хватило шести дней, значит неделю и значит не всё были праздники, но и будни тоже? А у Георгия с Ольдой, как потом запомнилось, было только лежанье, лежанье, лежанье, да редкая прогулка, когда выдавалось два часа погожих. Собирались съездить в Мустамяки, где у Ольды маленькая дачка, — и тоже времени не хватило, ну другой раз когда-нибудь. Если жив буду... Да в Петербурге в конце октября какие там дни? — ночи одни, не успеет рассвети — уже и смеркается, их за полные дни и считать нельзя. И даже свет дневной — гаснущий, затменный.

И обронил, утерял Воротынцев, зачем он приехал в этот город, после первых непопадов покинул искать Гучкова, да уже и времени на то не оставалось, хотя трижды отсрочен был отъезд. Хорошо, что в первые два дня успел побывать в военном министерстве и в Главном Штабе, кому где обещал, потом бы не собрался. А уж к ревнителям военных знаний так и не попал. И с Верой — милой, внимательной Верой, ловящей мысли и желания брата наперёд, даже с ней после первого шингарёвского вечера почти и не побыл, почти и не поговорил, не расспросил и о ней самой: да отчего ж не замужем? да ведь уже двадцать пять лет! — но ведь такое спросить — как ударить, он и не мог. У них с Верой и вообще было какое-то неловкое закоснение в этом одном, не добирались они до распахнутой открытости, и так он и про Ольду ничего ей не объ-

яснил теперь, да она и сама поняла, конечно. Да уже и на самые малые братние долги не доставало, скоро и ночевать не возвращался под нянин кров, лишь присылал за письмами и телеграммами Алины.

Что раскалывало и губило блаженные эти дни — необходимость через день составлять ответные письма и телеграммы Алине, объяснять, почему ж он не возвращается, уехавши на четыре дня (и как понимать: с дорогой четыре дня или чистых?). Не причину придумывать было трудно, можно валить на службу, но кричала Алина при провожании — пиши каждый день! А вот: невыносимо складывать фразы, да каждое одно-однёшенькое слово за другим находить и в строчку ставить, особенно в обращениях и в окончаниях: как будто все слова стали подменены и каждое самому же резало фальшью ухо и глаз. И эту фальшь надо было замазывать.

Да не то что писать самому, но даже прочитывать приходящее от Алины вдруг составило для него чужой неискренний труд, в эти дни совсем ему и ненужный. Он изумился, как он вдруг ощутил Алину — посторонней себе. Год не видел её — и не чувствовал так, и писал же письма. А в эти несколько дней вот...

Ещё чего из ряду вон Алина потребовала — прямого телефонного разговора из Петрограда в Москву! — такие устраивались теперь. Но на счастье портилась на два дня телефонная линия между столицами, и так Георгий уклонился от телефонного разговора. Уж прямой голос, как в трубке ни сдавлен, выдал бы его. Прямой разговор был совсем нестерпим.

Да дни-то проскакивали, заглатывались непостижимо! А 27 октября ему неминуемо быть в Москве на алинином дне рождения. Теперь Алина телеграфировала, что ждёт его по крайней мере за день до дня рождения. Посоветовался с Ольдой, как она думает: «за день» — это значит 25-го или 26-го? как принято понимать? Ольда считала, что — конечно накануне, так все понимают.

Но хотя Георгий и обманывал жену, а не было никакого ощущения обмана или подлости: просто — здесь было совсем другое, не относящееся к Алине. Ни с Алиною, ни с кем вообще он себя таким не знал, он чувствовал себя теперь совсем другим, обновлённым человеком. Первый же вечер с Ольдой рассек его жизнь на две части, как рассекает тяжёлое ранение, только здесь не к падению, а к парению, такому чувству, как ни на чём не держишься, а взмываешь, и упадая — не разбиваешься. И тот он, который плавал сей-

час с Ольдой, никогда прежде не бывал с Алиной — и значит, это не была измена.

Ему сейчас — не хотелось вспоминать об Алине, но Ольда сама к тому несколько раз обращалась, и это было ему очень неприятно, ни к чему. Касалось ли того, другого, — она спрашивала: а как к этому Алина относится? или как в таком случае поступает? А один раз прямо спросила:

— Ты её сильно любишь?

Он уклонялся.

Такую освободительную лёгкость испытывал в себе Георгий, забыл ощущать, что она бывает. В сердце — такой перетоп благодарности к Ольде, что в объёме груди не оставалось места ни для сомнений, ни для вины.

Все эти пролетающие сутки была Ольда, с Ольдой и вокруг неё, — нечто безобманное, законное, да, именно законное, вполне заслуженное после всей его позиционной вымерлости, после всех его не оценённых военных, служебных заслуг. Ладно, Верховное Главнокомандование не оценило его, — эта маленькая женщина стала ему сама собою лучшая живая награда от плодов России, лучше всех орденов.

Да не была ли она — та самая безымянная, никогда не встреченная, даже и не воображённая, — но, за пределами точного зрения, с такой же остротой ощущений однажды явившаяся ему во сне, под Уздау?

Как раз Ольда сама и заговорила однажды, созерцательно вдаль, фантазируя, как вспоминая:

— А ведь мы давно друг друга знаем. Ты это ощущаешь?

Не то чтоб именно так. Именно такую — не мог бы он прежде составить и вообразить. Но вот, знаешь, однажды...

— Под 14 августа 14-го года — где ты была? с кем? о чём думала?

Рассказал. Улыбалась. Водила рукой по его усам, бороде:

— Ты очень ярый.

— Вот уж не думал.

Сожмуривалась пытливо:

— Ты ещё сам себя — совсем не знаешь. Хоть и в сорок лет.

Ты — неправильно с самой юности жил.

— А иначе б я не успел ничего, Ольженька!

— А что уж ты так успел?

Тоже правда: что он успел? Одни только замыслы, замахи да поражения. Да опала. Обычно полковники генерального штаба уклоняются быть на полках, это для них не карьера, генштабист — лишь четвёртый-пятый, они дорого обошлись в ученьи, чтоб их использовать так. Но вот прокомандовав два года полком, Воротынцев имел право быть генералом. А не был.

В том сне не разглядел он ни черты незнакомки, но увиденные теперь в Ольде вьявь казались ему уместны и привлекательны. И даже все эти игрушки — не для детей, а для себя. (И что о детях она почти не устаивала говорить, не на тех высотах обитая.) И пренебрежительно о большинстве женщин. Зато о птенчиках и животных — с детской захваченностью. На Каменном острове протащила Георгия полсотни шагов назад — пересмотреть котёнка, он не так его увидел. И даже вера профессора в астрологию, гадания и приметы почему-то не выглядела противоречием. Ольга молча прижимала к груди уроненную дорогую ей вещь, прежде чем поставить на место, — тоже примета. Или как садилась с подобранными ногами, боком, чуть покачиваясь, глуховатым голосом, уже изошедшим страсть, но обещающим снова её, могла читать и читать наизусть какие-то модные стихи:

От тебя, утомлённый анатом,
Я познала сладчайшее зло,

а то пересказывать о каком-то теургическом искусстве. Чепухи тут был ворох, но Георгия восхищало всё сплошь: эта любимая поза Ольженьки, мелодичный голос, неутомимый в вещании, и то, что можно было, слушая, руками перебирать по ней самой.

Когда-то же они подымались, одевались, ели, а то вскакивала Ольга в халатике отдёргнуть-задёрнуть оконные занавески или бегом-бегом принести поесть в постель. Не надолго и расставались, но это эпизодами, а слаще и дольше всего, встречая перемены света и тьмы, — лежали, весь поток времени проглатывало счастливое лежанье. И какой разговор ни вспоминался потом — почти всё лёжа.

Нет, однажды, в конце дня тучи разорвались, засверкало голубое меж серого — и они пошли на большую прогулку. На набережной попался лодочник, перевёз их на Каменный остров.

Было холодно, плескало стужёным, но светило редкое солнце, расчистился запад — и так просторно, светло на душе. Как славно

с Ольдой! Посмотрели вблизи и на те дачки — и петушиную, и с чёрными башенками, и швейцарское шале. Ещё не всё было сорвано ветрами и дождями, ещё додержались какие-то краснолистые и, конечно, дубы перепоздние, тёмно-коричневые. Речушка Крестовка, без течения, была покрыта густым листовым покровом, кажется — перейти можно по нему. Опять дачки, дачки — деревянные, разнооконные, со шпилями, резьбой, кокошниками, балкончиками. У Елагина моста стоял деревянный резной забитый, забытый Каменноостровский театр. По аллеям плотная земля, а чуть в сторону — грязно.

— И ты гуляешь тут иногда?

— Да бывает.

Но не спросил — с кем, когда, как-то не тянуло. С него довольно было того, что он видел и держал. Пожалел:

— А мы... а я в Петербурге шесть лет жил — и на островах-то почти не был. Всё некогда. Да как-то — место гуляний, а мы... а я человек негулящий.

Оговорился — и уклонился, не упоминать Алину, хотя и не тайна же была, что жили с ней, а не хотелось, не шло сюда. Но Ольда не пропустила момента и тут же мягко остро впустила коготки:

— А вы хорошо с ней жили?

Ну, как на это ответишь?

— Дружно? друг друга понимая? — допрашивала.

— Дружно, — должен был ответить. И покраснел.

— Ты — не из тех людей, — заключила Ольда, — кто много раздумывается над своей жизнью или пытается понять себя. А понимать себя самого — совершенно необходимо.

Георгий, не так-то стремясь к политическому разговору, но чтобы только перебить:

— Скажи, а Милюков — действительно крупный историк?

— Да какой там, — недовольно отвечала Ольда. — Его очень рано с научных занятий своротило на фронду, и покатился колобок по лёгкой звонкой дороге. Носится с учёностью, а подлинной не имеет. Сильных природных мыслей у него нет, и души нет, а упорства много. Он, поэтично говоря, та смоковница, которую...

И вдруг обеими руками обернула его — чтобы месяц молодой, да уже в первую четверть, он увидел бы через правое, а не левое плечо.

Георгий увидел на западе зеркальный серпик и:

— Насильно не считается.

Хотя все эти счастливые дни уже попали в новый месяц. А Гучкова — упустил.

Пошли по северной набережной — простой деревянный помост по краю леса, и близко, у самых ног — холодная чёрная вода Большой Невки.

И он опять её спрашивал о кадетах, а она рассказывала вяло, как общеизвестное:

— У них у всех нет чувства ответственности перед глубиной русской истории. Им даже в голову не приходит, что они совсем не понимают веры этого народа, ни его особого понимания *правды*, ни главных опасностей народному характеру. Смело выражаются: «народ хочет», «народ требует». Но на Западе никакие радикалы с таким презрением не отзываются о собственной истории. Чувствовали б они нашу историю — перетерпели б эту войну и без ответственного министерства.

И — смотрела выразительно, уже в сумерках. Она догадывалась. Вот намекала: перетерпеть.

— А всякий *правый* мыслитель заранее опорожен, к нему студенты и не притрагиваются. И неоткуда им узнать другую точку зрения.

Обогнули Каменноостровским мостом уже при фонарях, возвращались. Да не целых ли три часа они гуляли, всё на людях, не в комнате вдвоём? Уже хотелось в тепло, в уют, да граммофон послушать.

С месяцем уговорились, что — довольно. Георгий сидел в кресле и рассказывал боевую историю, когда действовал совсем неосторожно, а — выиграл. Вдруг из ольдиных глаз — зелёный вспых, пересела к нему на колени, приникающе, одно короткое слово шепнула на ухо — и весь запрет разнесло в осколки.

Убыстрённое, сумасшедше сжатое время!!

И опять — течение медленное...

Удивляться...

Покой победный.

Если бы даже не было других признаков — по одному тому, как Ольда, когда он брал её на руки, всегда отыгранным ловким движением в точный момент отталкивалась от пола, можно было догадаться, что она прыгала так не с первым с ним. Но это ощущение её опытности и многопонимания почему-то нисколько не было обидно для него, а даже нравилось, — как не может обижаться опоздавший к обеду гость, что без него тут уже пировали, но лест-

но ему, что для него спешат сервировать как для самого первого, не опоздавшего. О том или о тех, предыдущих, даже не было ревнивого толчка расспрашивать, никак он не относился к ним или они к нему. Ни разу не спросил, почему ж она не замужем, и есть ли кто сегодня. Заметила она как-то, что теперь по столицам стали очень часты разводы, во многих парах один из супругов — разведенец, что сейчас бы Анна Каренина не кидалась под поезд, а спокойно развелась бы через консисторию и вышла бы за Вронского, — Георгий выслушал, а невдомёк: что ж она — разведена? Он наслаждённо вверялся её опытности, а если кто-то помог этой опытности создаться, то и спасибо. Сегодня — они все нисколько не отнимали у него Ольды.

Она же не раз пыталась рассказывать ему о своём прошлом, и даже как бы о муже, но не венчанном, — Георгий не нашёл внимания вникнуть: её рассказ попадал в ряд тех неинтересных повторчивых личных историй, какие все всем всегда рассказывают.

А тем более он не задумывался, что ведь Ольда кроме говоримого вслух ещё что-нибудь думает своё отдельное, притаённое, когда лежит со смеженными веками, безсильная и немая. Только блаженство и благодарность к этой женщине затопляли его. За своими вздыбленными чувствами, как за горами, никакого другого мира он не видел и не искал.

Зато Ольда добивалась узнать побольше о прежних любовных историях Георгия. Ну что ж, он подчинился, очень нехотя, взялся рассказывать — и вдруг оказалось почти нечего: немногие его рассказы и все вместе взятые — над этой огненной постелью прошли такими жалкими тенями, что самому стыдно, хоть и брось, а есть для губ другая работа, лучшая. Как это всё было разрозненно, случайно — и почему-то душевных впечатлений не осталось никаких.

По сути, только Алина и была у него.

— Но т а к у вас с ней не было?

— Не-ет, никогда.

— Ну расскажи, — вела Ольда.

Да тут-то — что ж рассказывать? Это уж и совсем не складывается. Было — и было, есть — и есть. Десять тысяч мелочей, что ж тут рассказывать?

— Она умна?

Неглупа, конечно. Ну не так, чтоб специально.

— Любит тебя?

— Конечно, что за вопрос.

Ольда лежала на высоко приподнятой подушке, с волосами разбросанными как попало, в коричневых развивах, глазами строгими смотрела в верх стены, не на Георгия:

— И предана? Твоему пути?

Георгий и рад ответить, но...

— Ну... это... вообще не для женщины... Не для нее.

Настойчиво, и как бы с недоверием спрашивала Ольда.

Да как это передать? Это не попадает в логическую сетку. В такой сетке пропадает главное: что Алина — привычная, что с ней столько прожито, всё устоялось. Когда-то думал — и разделяет весь долг, весь темп, всю обречённость. Потом оказалось, что это — только терпенье её, а ждала она — награды беззаботности. Ну, какая есть. А ответственность — на мужских плечах.

(А как же вот: не мог даже писем её читать?.. А это ничуть не противоречило.)

— И — ты любишь её? — почему-то не верила Ольда. И всё — туда, на стенку.

— Конечно.

Очевидно, Ольда не могла взять в толк, что одно не касалось другого: вот они здесь — и жизнь с Алиной там. Вот он лежал, тоже на спине и чуть улыбаясь своему видимому: лежал, вот, любимый ими обеими, каждой по-своему, — и это нисколько одно другому не мешало. Такое довольство наполняло его, лень была все эти разговоры вести.

Ольда — немного шутливо:

— И ты когда-нибудь решился бы это испытать?..

— А зачем?

Улыбалась:

— Так, чтоб убедиться. В личных решениях нисколько не помогают общие законы. Здесь всё так индивидуально-лабиринтно. На земле нет задачи трудней, чем задача личного чувства.

— Ну уж! — благодушно отпыхивался Воротынцев. — Ну уж! От историка ли слышу! Например, задачи такого колосса, как Россия?!

— О, не говори! — на маленьком лице длинные брови теперь занимали строгую линию. — Те задачи крупны, как горные пики, они видны издали, видны многим, и сотни и тысячи с равным правом судят о них, и можно что-то вывести. А в личном чувстве обречён на поверхностность всякий посторонний совет, и даже двое видят совсем по-разному.

Ну нет. Воротынцев-то твердо знал: до задач устройства государства редко дорастают люди, чтобы понять их, — а ведь ещё надо и остальных убеждать, того трудней! А устройство семьи решает вообще каждый на земле, проще нет, и никого больше не касается. Твёрдо это знал, но по сытому довольству не возражал: что б она ни сказала — уже потому хорошо, что она. Ладно.

А ей ещё мало. Повторяя свою любимую, в одежде или раздежде, позу — девичьи тонкие ноги поджав сбоку под себя, подтянись на подушку и голые плечи прикрывая одеялом:

— А ещё, милый мой, в делах сердечных нужна твёрдость и решительность несравненно большая, чем в государственных.

— Что-о-о?..

Ну, сморозила!

И ещё смотрела насмешливо или как будто жалела:

— Ну, дай тебе Бог никогда не узнать, как это трудно. Ты — очень согласен сам с собой, ни один вопрос у тебя не в трещине.

Вдохнула:

— Твоё новое чувство ещё должно окрепнуть.

Но в том чудесная особенность постельных разговоров: за словами не обязательно идут слова. В голосе вдруг возникает глухота.

Сникает, сползает с подушки.

А — поздно уже, и хочется спать, и уши плохо дослышивают, что она там бормочет под одеялом.

— Что ты там?

Отзывается оттуда:

— А ты не слушай, я не с тобой.

Давно бы спать, ведь ни одной ночи не спали как следует. Но от замирающей, полусонной игры — однако настойчивой этой игры — от заполуночной, невпорной игры — всё опять взметеливается! — и, не таясь ночной тишины, Ольда кричит прорезающим голосом, криком охотничьим и безстрашным.

«Ты — обречённый! — всегда говорила Нуся. — Ты так и упадёшь в упряжке».

И Пётр Акимыч знал, что — так. И — готов был.

Давно привык он к удивительному закону, что при великом множестве вообще людей в нашей стране — всегда и везде не хватает людей на дела. И поэтому самого его всю жизнь рвали во все и дальние стороны на ожидаемое и неожиданное, и он привык все эти назначения с охотой принимать.

Кажется, неизглубны были русские недра и не хватало сведущих в горном деле, как и в других русских промышленностях, — а война увела горняка Ободовского от его основных занятий. Всю будущую хозяйственную мощь России выводя из недр её, Ободовский ощущал и видел эти невидимые недра, как большинство людей ощущают и видят весёлую переливчатую зелень земной поверхности. Но чтобы недра те когда-нибудь освоят, подступило прежде — отстоять от неприятеля поверхность над ними. Так война всё более обращала этого рудничного инженера — в организатора других инженерных линий.

Впрочем, страсть и талант устроителя едва ли не первенствовали в Ободовском и отроду. Да и усвоил он давно, что хорошее управление шахтами удваивает выбираемый уголь, хорошее управление железными дорогами как бы утраивает подвижной состав. И так повело его от Всероссийского союза инженеров образовывать комитет военно-технической помощи при гучковском Центральном Военно-промышленном комитете, а по своему вечному неотклонимому жребию — оказаться и председателем его, значит погрузиться в чуждую ему военную технологию, ещё новые справочники и книги долиставая по вечерам.

А тыловая работа огромной войны ворошилась так хаотически необъятно, что не угадаешь, где тебе достанется тянуть. Так и сегодня, в пятницу 21 октября, в одной из малых комнатёнок Военно-промышленного комитета, в глубине здания по Невскому 59, Ободовский с тёмного утра сидел и вёл приём — артиллерийских инженеров, и даже не просто инженеров, но — изобретателей. Набиралось много их, охотников, ходить сюда и просить содействия тут — кому не посчастливилось в военном министерстве. И нельзя было пренебречь — тут мог встретиться бриллиант.

Редко в какой человеческой среде так трудно дать истинную оценку людям, как в изобретательской, так трудно отличить гения от безумца, безудачный талант от проходимца. Даже обладая полным знанием по области предлагаемого изобретения (чего никак не было у Ободовского в артиллерии), всё равно трудно не дрогнуть перед этой фанатической настойчивостью в тумане неведо-

мого, перед этими глазами лихорадочными: тройное ли зрение загло их далее того, что видно тебе, или просто безумие, или жажда славы и денег (впрочем, изобретателям русским ни того, ни другого не достаётся). Но помогает не только степень знания, а и собственный инженерный склад: отличаешь себе подобного от не подобного себе.

Ободовский вёл приём, но не было в нём ни придуманной осанки, ни самозначительности, и только по расположению от настольной лампы под белым матовым абажуром и чернильницы можно было различить, кто тут заседатель, а кто ходатай.

В Киснемском, от волнения со сбитым галстуком, подвернувшимся воротничком, сомнений не было, его подлинность была проверена прошлыми изобретениями. Но вот — он потерпел неудачу с прогрессивным порохом и не желал сдаться, и заарканил, привёл с собою тихого, податливого инженера с тамбовского Порохового завода, который уже уговорён был Киснемским продолжать эти опыты.

Возникшая проблема прогрессивного пороха была изворотом проблемы дальнобойности. До войны не предполагали стрелять дальше, чем вёрст на шесть: это уже превосходило глубину решительного боя, и наблюдать дальних разрывов тоже ещё не умели. Но позиционный период последнего года потребовал (и авиационное наблюдение разрешило, и немцы уже осуществляли такую) дальность стрельбы до 15 вёрст, — потребовал с той настойчивостью, как и всё другое рушила и перестраивала эта необычайная европейская война, с той настойчивостью, когда не успеть создать новых пушек, а надо увеличить дальнобойность существующих. Как же? Подрывать землю под хоботом лафета, тем увеличивая угол возвышения? Так набавлялось всего 30% дальности, зато падала скорострельность и удолжалось время подготовки орудия к стрельбе. Стало быть, увеличить начальную скорость снаряда. Но чем? Увеличением сгорающих зарядов? Возросло бы давление, как не позволяла прочность орудийного ствола, и энергия отката, как не позволяли лафеты. И тогда-то стали искать прогрессивные порохá. Обычный порох сгорает вмиг, единым толчком посылая снаряд, а пока тот продвигается по каналу ствола, позади снаряда давление падает. Порох же прогрессивный должен гореть так, чтобы в каждую следующую тысячную долю секунды количество газа возрастало бы прогрессивно — и тогда не уменьшается давление на дно снаряда и не увеличивается на стенки ствола. И вот из фор-

мул геометрии и формул горения надо было нигде не подсказанным методом выбрать и соединить: какова же должна стать форма пороховых зёрен?

И Киснемский предложил тогда призматические бруски с каналами квадратного сечения, жарко настаивал, что к моменту вылета образуется десятикратное количество газа. А нет, не вышло! Теперь уже достаточно было проведено опытов на полигоне, и не было сомнения: не так. Зёрна распадались раньше времени и догорали дегрессивно. Киснемский же не хотел признать поражения, уступить другим конкурентам. И вот искал поддержки Военно-промышленного комитета перед военным министерством: его опыты, прерванные в Петрограде, разрешить перенести на тамбовский Пороховой.

А Ободовскому надо было соотнести степень надежды и риск неправильного использования завода. И как это сформулировать перед министерством.

А настольная лампа всё меньше была нужна, и поздний петербургский осенний рассвет уже проявлял за окном голокаменный скудный двор и просачивался в комнату анемичною серостью.

За этими двумя вошёл инженер из Комиссии по изготовлению удушающих средств, тоже просить содействия. Полтора года назад невозможно было даже выговорить такое, дичей того вообразить себя участником: из любви к родине изготавливать удушающие средства! На настояния химиков великий князь тогда не давал согласия: это — не для России. Но после газовых немецких атак на Ипре было уступлено: если противник неразборчив в средствах, то готовить и нам. И вот больше года существовала такая Комиссия, и двести заводов тем занимались, крупные учёные работали там — и запросто вот так, в кабинетах и в лабораториях, беседовали о сильнейших видах отравляющих веществ. И вот — Ободовский теперь с ними, на логическом пути так и не заметив сотрясающего ухаба.

Шло к полудню, и уже полностью забрал комнату вялый свет безвидного морозящего дня. В двенадцать ждал Ободовский Дмитриева, как тот телефонировал ему вчера домой, прося принять срочно. Тем временем проник между артиллеристов и добился своего наряда и инженер-путеец с Амура, с нуждами только что открытого железобетонного двухвёрстного моста, самого длинного в России. А тут прошмыгнули и заняли два свободных стула — Подольский и Ямпольский, два егозливых изобретателя, которых

уже не пускали на порог Арткома и отвергло Главное Артиллерийское Управление. Отказался было Ободовский их принять, но им приёма и не надо, а всего три минуты, они и не просят ничего им разрешать, а только чтобы Пётр Акимович попросил Александра Ивановича, а уж тот не сможет остаться в стороне от грандиозного проекта, обещающего России стремительную и полную победу.

Эта пара отлично знала, что сейчас решается вопрос дальности, и, покинув свои прежние отвергнутые проекты, они предлагали теперь бросать снаряды вообще не порохом, а электромагнитными силами: построить магнитно-фугальное орудие длиной в 70 аршин — и осуществится выстрел на 300 вёрст! Немного продвинуться нашим войскам — и можно обстреливать Берлин! И какие преимущества: выстрел без звука, без дыма, без блеска! И не нужно толстой трубы, простота отливки! и — практически вечное орудие, никакого износа!

Всё-таки втянули Ободовского в обсуждение. Но хотя и геолог, он всё же достаточно тут видел. И прокатывал требовательными бровями:

— Но позвольте, господа, а не понадобится вам ток в миллион ампер? А чем вы будете его накапливать? А какая у вас мощность электростанции?

Хотя почти наглядно это был фанатический или недобросовестный вздор, но они так переваливались через стол по обе стороны, — каково было горняку взять на себя отвержение величайшего, может быть, оружия XX века?

— А не могли бы вы, господа, перестроить ваш проект всего на 15 вёрст, но чтоб и ствол был в 20 раз короче?

Подольский и Ямпольский переглянулись. Они могли и так, но чтоб сегодняшней проект тоже доложить Гучкову.

Тут вошёл Дмитриев в обрызганной дождём куртке, стоял и прислушивался. Его сдержанно насмешливый крупноносый вид окончательно утвердил Ободовского, что не загубит он величайшего изобретения, покинув его своей поддержкой.

Но ещё долго он от них отговаривался и выручал один стул для Дмитриева.

Ещё ждали сегодня объяснения по проекту придания пушке свойства гаубичности, по новой идее универсального взрывателя с переменным замедлением, — а вот пришёл Дмитриев по поводу траншейной пушки. Уже не техническая идея — готовы были

опытные образцы и испробованы в бою — но переход к серии требовал многой поддержки, о чём и собирались они в минувший понедельник говорить у Шингарёва, да не пришлось. Уже не об идее — о простой станочной заводской работе, — но крупно-покойное лицо Дмитриева было устало-печальным. Опустился на стул искоса, ноги вбок.

— Акимыч. Обуховцы отказались от сверхурочных. На воскресенье мне некоторые обещали выйти — теперь не выйдут.

Вот и всё немудрое. После того возбуждённого и технологического, что было наговорено тут сегодня, — вот и всё простое короткое. Замышляйте, чертите, фантазируйте — всё это пыль блестящая, пока не сгустится в металл через цех, станок и рабочие руки.

Дмитриев — отдыхал на стуле? Он и правда, кажется, не много присаживался с тех пор, как в конце лета воротился с испытаний своей траншейной пушки на Северном фронте. И правда, не лишнее было ему посидеть.

И это мрачное его спокойствие передалось и Ободовскому. Его многоизломанные, нервные губы с лёгкой настриховкой усов сложились печально:

— А что случилось?

— Ничего не случилось. Просто докатились до них агитаторы: почему во вторник и среду пол-Петрограда бастовало, а обуховцы нет? Как смели не поддержать?

Несчастливая траншейная пушка! Ещё в Японскую войну поняли, что такая нужна. В 910-м утверждали путиловский образец скорострельной штурмовой. Утверждали, утвердили, а выпускать не начали. Так от Японской до Германской войны 10 лет продумали — и начали войну без траншейной артиллерии. А как оборвался маневренный период и сели в окопы, так понеслись вопли: нужна! скорей! и полегче! Таскали горную трёхдюймовую четвёркой лошадей — не то. С прошлого года проволочивается по инстанциям проект полуторадюймовой траншейной — но у скольких же петербургских генералов и сановников надо ему согласоваться, — а на них снаряды не падают, пулемёты им не досаждают. Год пошёл на проект и опытные образцы, теперь серию запускать — так рабочие...

— А без сверхурочных?

— Вечер и ночь станки стоят, литейка не льёт. Да я даже слышал хуже: со дня на день *всеобщую* готовят.

— Всеобщую? — взлетели брови Ободовского, ненадолго угомонялись они. — Это почему?

— Нипочему. Готовят, и всё.

— Годовщина какая-нибудь?

У социал-демократов страсть годовщин и табельных дней не жиже, чем у царской фамилии. Есть в году дежурные революционные даты, в которые непременно надо бастовать: 9 января; и ленский расстрел 4 апреля; и конечно 1 мая; а там и 4 ноября — день ареста их думской фракции; а там в феврале — день суда над ними; а там... Трепали календарь, не щадя русского производства. И все всплывавшие вдруг даты были обязательны к стачке, и только изменники рабочего класса могли уклоняться от них.

— Или в Туркестане чёрная оспа?

Занялась в Баку чума, умерло десятеро среди рабочих — весь Петроград немедленно должен был бастовать, бред какой-то.

Не шевелился Дмитриев, не помогал угадать.

— На Металлическом недавно: уволили какого-то худосочного агитатора — так весь завод два дня бастовал. Им объяснили, растолковали: четыре миноносца стоят в ремонте, вы останавливаете! За каждый день забастовки вы не выпускаете по 15 тысяч снарядов. За каждый такой невыстрел может быть ляжет два наших пехотинца. Тридцать тысяч братьев-солдат? Наплевать, отдайте нашего агитатора!

Ободовский барабанил нервными пальцами.

— В Англии, во Франции сейчас, во время войны, представить такую забастовку? Немыслимо. Если возникли ясные требования, так их рассмотрят, согласуют. Видимо, свобода осмысливается только с определённого уровня сознания. А ниже этого критического уровня — бессмысленные тёмные силы, медведь катает чурбан...

В свободной Англии военизировали промышленность, и это никого не оскорбляет. А у нас — «предательство рабочих интересов», «тираническое подавление личности»... Мобилизовать армию можно, а военную промышленность нельзя? Солдат подчиняется команде даже на смерть и не кричит, что это насилие. А рабочий военного завода должен иметь право увольняться, прогуливать, бастовать? Как же одной рукой воевать? По петербургским заводам судить, так мы войны ещё и не начинали. А петербургские заводы выпускают половину всех боеприпасов.

Да что ж друг другу доказывать ясное?

Судьба штатского, всю жизнь ненавидевшего армейщину.

Туча государственных чиновников, вставая утром и потом весь день по своим кормушкам, не бьётся такими заботами. А кадеты и эсдеки требуют — свободы от феодализма! А гучковские комитеты? Тоже не рвутся к военизации.

Гучковские комитеты возникли новым, свежим сочетанием колёс рядом с медленно-ржавой системой бюрократического механизма и, казалось, посвежу могли повернуть и подать там, где отказывал прежний. В гучковских комитетах Ободовский сразу угадал, ожидал те самоотверженные общественные силы, которые отовсюду стягиваются, хоть поодиночке, на прорванное место, чтобы затянуть его, спасти. И ошибся. Теперь, за полтора года, на его глазах система военно-промышленных комитетов обратилась в такую же неуклюжую, самодовлеющую систему, обременённую избыточными штатами, — да если бы хоть самоотверженными. Каждый служащий в этих комитетах рвал получить себе повыше оклад, каждый подрядчик — повыше комиссионные, каждый завод — наивысшую оплату продукции, так что вся помощь гучковских комитетов стране становилась роскошно дорогой: их трёхдюймовая пушка стоила 12 тысяч, когда казённая — 7, за пулёмёт «максим», по казённому 1370 рублей, Терещенко желал получить 2700, да ещё чтоб ему предоставили казённые стволы. И — вся продукция комитетов была так, в полтора-два раза дороже казённой, и гучковские деятели нисколько этого не стыдились, но считали себя благодетелями и спасителями страны: за быстроту (да и не такую уж быстроту) подачи. И даже Родзянке, поставлявшему берёзовые ложа для винтовок, военное министерство накидывало за штуку по лишнему рублю — «чтоб его задобрить», — и Родзянку не отказывался, брал!

Там, где Ободовский ждал встретить сплетение самоотверженных мининских жертв, он горько обнаружил сплетение корыстей и задних расчётов. Так не только людей дела у нас не хватало в России, у нас не хватало и просто самоотверженных? Их не было в государственном аппарате, но не было их и в общественности, где ж они были тогда? Кто же тянул для родины, не думая о себе? По горькой усмешке это доставалось бывшему революционеру и изгнаннику. И не густо видел он вокруг себя таких же.

А ещё важней гучковские комитеты были заняты не поставкой вооружения, но укреплением своих общественных позиций и атакой на власть. Ещё этот задний расчёт не скрылся от Ободов-

ского, даже и в самом Гучкове. То и дело без надобности собирались совещания и съезды представителей военно-промышленных комитетов, и на каждом главный вопрос был не деловой, а политический: власть не соответствует задачам страны, правительство вдохновляется тёмными силами, ведёт страну к гибели, кабинет должен состояться из лиц, которым доверяет страна.

Ободовского ли убеждать, что Россия нуждалась в широкой свободе и в притоке общественных сил к управлению! Но и его коробило, что позиции занимаются и политическая борьба ведётся во время войны. Нечестно! И опасно для России.

Да, власть совсем оказалась не готова к темпам и сжатию этой войны. Но — и ни одна европейская страна не была полностью готова, только они жили динамичней, их власти — не в самодовольной дрёме. У нас же не хватает быстроты поворота. Быстроты поворота? — так каждый должен приложить свою. И даже чем больше корысти встречается в показных помощниках — тем отчаянней должны тянуть истинные.

Дмитриев вздохнул сильной грудью, повернул к Ободовскому косо-крупную голову:

— У меня там сейчас при траншейной пушке старший слесарь такой, Малоземов, говорит мне тишком: «Михал Дмитрич, добивайтесь, чтоб не было забастовки. Мы тут, все мастера доконные, не хотим её. Мы — исстараемся, всё сделаем, только избавьте нас от хулиганов. А сами противиться не смеем». Так вот негодники и чернорабочие приказывают лучшим мастерам.

Так они ведь, русские забастовки, так все и делаются, от первой же обуховской, знаменитой. Идут себе рабочие на завод, ничего не предполагают. А на перекрестках стоят молодцы с надвинутыми козырьками, иногда и чужие, прибудни какие-то, и задерживают каждого: подожди, товарищ, будет забастовка. А не задержится — палкой его или камнем в голову. А из цеха — выходи! А кто не выходит — болтами и гайками. Теперь приучили и без гаек, просто пробку в дверях: внимание, товарищи, будем бастовать.

— А прошлой зимой в Николаеве, помнишь Воронового, мастеравого? — был против забастовки, и ухлопали его из револьвера. И убийцу даже не искали: не великого князя убили, мелочь. А вот так проигрываются целые заводы. И города.

Барабанил, барабанил пальцами.

— Нет, этого нельзя допускать! Мы просто становимся трусами. Если мы против насилия, навсегда раз и всякого, и самодер-

жавию всю жизнь не уступали, — так почему же *другому*? Зачем же всё, если менять одно насилие на другое? Бояться самодержавия — уже для всех позорно, а бояться хулиганских камней — нет? Рабочий класс? — и ему пойду скажу...

Да если успокоил Лысьву разбушёванную, где рабочие убили директора... От сопротивления только упорней становился Ободовский, вот уж, в том и жизнь прошла. С лёгкостью из стула выброситься, накинуть пальто, а шарф хоть и свеся, шапку как-нибудь — и в трамвай, на завод!

И остановился — мыслью:

— А на Западе — разве не то же? Только без камней и лиц не прячут, а — *пикеты*. Сейчас милитаризация, ладно, а раньше устраивали такие пикеты забастовщиков: мы, мол, забастовали, так и вы тут, рядом, смежные, тоже не дышите. Это разве — не насилие? Ты — бастуй, пожалуйста, право твоей личности, а право моей — не бастовать, и ты меня не трогай. Не-ет, тут не образованием пахнет, что это мы всё на Россию?

Тревожные брови его прокатались, прокатались. И тогда, пристыв:

— Как бы в самой идее *свободы* не было порока. Чего-то мы в ней не додумали.

И — когда это отделились инженеры от рабочих? Ещё в Пяттом году поддерживали их петициями, солидарно увольнялись. В одну шахту одной клетью спускаемся. А зазмеилась трещина и отвела инженеров от работников к хозяевам. И уже трудно переступить, доверия нет, мы — баре. И тот инженер, который идёт уговорить рабочих по-человечески, — ему опять прыжок покаянный к младшему брату, на чём сломано столько дворянских шей за прошлый век.

А без доверия — как же работать на одном заводе?

А рабочим, правда, чем отвечали, кроме полиции и казаков? Много ли с ними говорили как с соотечественниками?

Переминался и Дмитриев перед той же покаянной чертой русских образованных людей. Но не стереть же образования с лица. Надо — д е л а т ь. Вот, траншейную пушку. Чтобы к весенней кампании она уже была в батальонах — нельзя пропускать теперь ни дня. Но то была задача не для платных наёмников, а сочувственных сотрудников.

— Да-а-а, — всё не двигался Дмитриев, так и сидел искося, одним локтем уцепясь за спинку. — Если бы в батальонах солдатам

сказать, что пушка уже есть, но к ним не придёт из-за какой-то забастовки... Да в какой это голове уложится?

Спасать! бороться! действовать! перепрокидывать препятствия! — это было самое понятное и привычное для Ободовского, и он готов был бросить всё сейчас и ехать на завод. Но всё же, с годами остепенясь, лучше знал он свой несчастный порок: всегда бросаться самому, в нетерпении не верить, что и другие успеют и сделают не хуже, что в России люди — всё же есть, есть.

Из этой комнатки голой, без единого станка и напильника, где только чертежи разворачивались да ведомости, и откуда на Невскую сторону, в литейку и слесарку Обуховского завода не восемь вёрст, а через гору перевалить, — как было помочь траншейной пушке?

Однако друг друга видя, набирались они и помощи. В углублённом взгляде Дмитриева уже сказывалось решение его, с ним и пришёл:

— Я поеду, да. И буду говорить. Соберу два цеха, от кого всё зависит, и просто расскажу им как есть. Что такое траншейная пушка и почему нельзя с ней медлить. Я с администрацией уговорился уже, что в конце смены сегодня соберу. Но вот что, Акимыч, это бы надо — в согласии с Рабочей группой. Чтобы они помогли. Я потому и пришёл.

— Рабочая группа? — додумывал Ободовский. — Это ты прав. Но и у них мозги закручены — ты не представляешь. Они этими партийными лозунгами заклёпаны так, что не прошевелинутся. Там — меньшевики царствуют, я с ними разговаривать не могу, ругаюсь. А ведь правильно задумано — представительство рабочих в центре. Но наверно Козьма сейчас там, пойдём попробуем.

Подбросился из стула.

Надо было перебежать по Невскому наискось — и ещё по Литейному.

С тех пор закончилась та война, и проklubилась революция, и прокатали страну советскими катками (и расстреляли чекисты Ободовского), и ещё была война, не счастливей для нас, чем первая, и опять катали советские катки, — но кто видел Козьму Гвоз-

дева и в Спасском отделении каторжного Степлага, в третью десятку его невылазной неволи, говорят, что и к семидесяти годам, под четырьмя наляпанными номерами, Козьма Антонович сохранял, от глаз и выше по лбу, эту задержанную на нём светлую детскость, это беззащитно-удивлённое выражение.

Да так ясно, так просто его жизнь начиналась: хотя по нужде не доиграл он своего детства, но парнем славно крестьянствовал при отце, и будние дни хороши, и праздничные хороши, натянуло крепости в хребет, силы в мышцы и размеренности в нрав. И за сохой на месте, и в хороводе на месте — очень уж петь Козьма любил, запевалой. (Он и в Питере тут, в Народном доме, Шаляпина не пропускал.) В 20 лет женился, увёз жену во Ртищево — там на узловой станции по механической части работа толковая, прилежная. А потом помощником машиниста ещё лучше, ах, лётывали! Потом — Пятый год, никуда не денешься, все стали революционеры. Потом ещё в Саратове три года покойно жили. Да и Питер не сразу вошёл беспокоем: к войне Козьма стал из первых токарей на третьем этаже эриксонского завода, куда и вообще-то стянулся цвет петербургских металлистов. Ладилась у него работа, послушны, отзывны были ему станок, резцы и металл, а от этого не по возрасту рано стали другие рабочие величать его Козьмою Антоновичем.

И на том бы всё могло уравновеситься и остановиться, кабы не особое время такое: партии, лозунги, война. О прошлом годе потянулся по питерским заводам клич — называть выборщиков, а они будут выбирать Рабочую группу, какая представит мнение и волю российского рабочего класса в военном производстве. Такое время пришло, что этого сплетения никак не обминуть. А как Питер привык выдавать себя за всю Россию (и Россия к тому привыкла), а Эриксон был в Питере из молодых да бойких заводов, а на шестиэтажном Эриксоне ведущий бойкий цех — третий этаж, — то и вытолкнули Козьму вдруг из толпы вперёд, вперёд, где уже нет рядом дружеских локтей и плеч, — вытолкнули первым кандидатом завода, Выборгской стороны, города и всей России — и вышагнул Гвоздев на помост как переднего ряда первый российский рабочий.

Шаг этот был куда маховитей, чем посильно обычному рядовому человеку. Да может обошлось бы, просидел бы Козьма среди сотен уполномоченных, не избрали б его самым главным, остался б он в покое и малоизвестности, если бы то первое собра-

ние выборщиков в сентябре 1915 не перекорёжили бы, не переиначили, не взорвали бы большевики. Известно, чем отметны большевики: у меньшевиков, у эсеров — фракции, дракции, всегда тринадцать мнений, а большевики ходят все заодно, и кричат ли, голосуют — всегда в один голос. Так и на выборное собрание понапёрлось их, не званых никем и не выбранных, не уполномоченных вовсе, а просто в дверях не могли их удержать. Понапёрли и кричали: не надо этого собрания, не надо никого выбирать, а — долой войну, долой империалистическую буржуазию. А в президиум влез ихний путиловец Кудряшов — на случай, если их верх возьмёт выбирать, так его председателем. Однако узнали, разобрались: совсем он не Кудряшов и не путиловец, а выборного путиловского уполномоченного Кудряшова куда-то большевики задевали, мандат же украли и пристроили к своему человеку. И так собрание то засвистали, переорали, развалили, и выборов не было.

А пуще всего придерживался Козьма всегда — справедливости. От ранних лет он привык любить, чтобы всё укладывалось по-правому, по-справедливому. И на том собрании более всего надсадило его: зачем же так несправедливо? на горло зачем? И напечатал он в газете (меньшевики грамотные помогли написать) о том, как дело произошло. И уж не покидал, добился в ноябре нового собрания в инженерном клубе. И уж теперь-то в дверях стояли строго, допускали только уполномоченных, а с улицы никого. И так оно само вынесло Козьму — в председатели Рабочей группы. А Рабочая группа должна была состоять при Военно-промышленном комитете: и в помощь ему, и в отстаивание рабочих интересов.

На том собрании чинно говорили кто как понимал: зачем же это, что, куда — Рабочая группа? Говорил с Трубочного Емельянов: конечно, мы противники этой войны, но как до мира нам добратся? Конечно, спасение России не в военной обороне, а в торжестве демократии. Правительство преподносит рабочему классу страшные скорпионы, и для борьбы за демократию надо объединить все живые силы страны. Конечно, указывал нам Маркс, что буржуазия чем дальше на восток, тем подлей, а в России особенно подлая, так мы за то будем её критиковать и толкать против отживающего режима. А зато через Военно-промышленный комитет мы поможем организовать рабочую демократию. — И с Лесснера Брейдо очень грамотно говорил: Гучков и Коновалов — наши классовые враги, но в известные моменты политической жизни мы идём рука об ру-

ку с буржуазией и подталкиваем её влево. Нельзя просто кричать «мы против всего!», когда решается государственное бытие. Требования Прогрессивного блока так же полезны нам, как и им: если будет дана свобода всем гражданам России, она не может не коснуться и рабочих. Буржуазия — наш союзник против правительства, и совместно с ней мы революционизируем всё общество. — И с Вестингауза говорили: пойдя в промышленный комитет, мы будем препятствовать увеличению производительности за счёт эксплуатации! — И с Путиловского: мы, конечно, не можем стать на точку зрения разгрома Германии. Но и не дать же разгромить Россию. Если мы защищаемся от немцев — это не значит, что мы поддерживаем царское правительство. Россия принадлежит русскому рабочему народу. Защищая Россию, рабочие защищают путь к своей свободе. — И с Воздухоплавательного: если мы отмахнёмся от войны, раздадутся голоса, что мы сыграли в руку немцам и реакции. Конечно, мы идём в Военно-промышленный комитет не для выделки снарядов, а для организации народных сил! — И с Трубочного опять: мы идём в комитеты не увеличивать производство снарядов, а сорвать спячку, чтобы страна перестала молчать.

Говорили все как будто почти согласно, друг другу не перечая, а нагромождалась попереча: вот тут и натужься умом — для чего же именно мы идём в промышленный комитет? На дверях всё так же строго держали, и большевиков не проникло в зал больше, чем выбрано их на заводах, — лишь малое меньшинство. Однако перед каждым выступающим как будто стояла стенка разгневанных большевиков, и каждый оратор старался так уступчиво и осторожно выражаться, чтоб не сердить их. Говорили как будто ясно — а затемнялось. Говорили в пользу выборов — а как-то и расплзлось. Меж тем пришлось и Козьме говорить, не миновать. Не за станком, а с помоста, перед толпой, как-то колеблемо почувствовал он себя, как-то уши будто заложены, самого себя не дослышивали или в глазах расплывалось, и перед большевиками опять же вина за это второе собрание. И понятием — не ухватывалось. И выговаривалось не как Козьма на самом бы деле думал — что надо помочь нашим братишкам на фронте, этак сказать было непозволительно почему-то. А выговаривалось как бы в извинение: что идти в промышленный комитет — один только и выход у рабочих: выбраться из подполья, куда загнали нас и душат. Что центральным вопросом жизни является замена власти помещиков вла-

стью буржуазии, которая теперь сильнее всех экономически. (Меньшевики написали ему бумажку, но он её не держал, а какую фразу запомнил, какую по-своему.) Итак, перемена существующего политического строя диктуется непреложной логикой всей жизни. Не значит, что всякий, кто защищает свою страну, уже и отказывается от участия в классовой борьбе. Но царское правительство оказалось неспособно защитить страну, а если Россия войну проиграет, то поскольку германский пролетариат изменил долгу солидарности, то наденут нам петлю германские юнкера и двинут промышленность назад, и не будет условий для успешной классовой борьбы, и первой всего на рабочих и отзовётся. Так что выбор у нас — положить гирию рабочей силы всё-таки пока за буржуазию. Мы можем добиться свободы только путём национальной обороны.

В несравнимом меньшинстве остались большевики, вопреки им избрали Рабочую группу из одних меньшевиков и чуть эсеров, но так оминались неловко все, так видели, чуяли перед собой там, на улице, эту разгневанную стенку — что, проголосовав избранцев идти помогать русской обороне, тут же проголосовали им, никто не нудил, наказ, который составили большевики: что рабочие, идя в Военно-промышленный комитет, не берут на себя ответственности за его работу; что война ведётся не Россией, а командующим классом, за захват рынков; что правительство безответственно, а Дума труслива, и цель Рабочей группы пусть будет — не помощь заводам, работающим на оборону, а — созыв всероссийского рабочего съезда и подготовка себя для взятия власти в качестве временного совета рабочих депутатов; и 8-часовой рабочий день устанавливать сейчас же, невзирая на войну; и — полная свобода профсоюзных завоеваний немедленно сейчас; и — неприкосновенность личности; и немедленно — всю землю крестьянам; и немедленно — амнистию всем политическим врагам правительства и террористам, кто где ещё остался в тюрьме или на каторге.

И с веригами того наказа и с полной уже задурманенностью, зачем же она создана — помогать ли промышленности оборонять страну или бороться с царским самодержавием, — пошла Рабочая группа в гучковский центральный Военно-промышленный комитет и в его втором помещении, на Литейном за Жуковской улицей, получила две комнаты с телефоном, штатного секретаря, секретарского помощника и двух конторщиков на жалованьи от

Комитета. И стала открыто заседать и действовать как единственная в России легальная рабочая организация, тогда как припрещены были с войны профсоюзы, закрыты рабочие клубы, и редко где на фабриках сохранялись рабочие старосты (да большевики и не давали их выбирать). А Рабочая группа получила право циркулярных обращений к своим отделениям в других городах, рассылки протоколов, резолюций, — да не как грязные подпольные листки, но отличным шрифтом, на лучшей белой бумаге! — объезд городов и заводов, созыва широких рабочих совещаний без присутствия полиции, а ещё самозванно провозгласила и свою политическую неприкосновенность наравне с фракциями Государственной Думы! (Сам бы Козьма не придумал, два приставленных советчика убедили.) По условиям военного времени это было ах как много.

Но вошёл Козьма в новые комнаты как будто с теми же ушами заложенными и в глазах расплывчато, как бы за станок стать страшно: смотри, резец ковырнёт, деталь из центров выскочит. Очень неясное дело: кто же главный враг — Германия или самодержавие? 15 членов группы оставались всё же на своих заводах, сюда собирались только сиживать-заседать, а Козьма-то здесь осел весь, не потолкаться меж эриксоновскими станками, — и что б он делал, как бы вёл, сам не знал, но подпёрли его меньшевики двумя расторопными быстроумными советчиками — Гутовским и Пумпянским: заняли они места секретарей, а секретарскую работу перекинули конторщикам.

Гутовского у социал-демократов так и звали «газом» — за быстроту, как он во все стороны поспевал (кличка сперва была «ацетилен», от отчества его Аницетович). И чего только Гутовский не знал про рабочий класс и про социал-демократию! — просто всё знал, и на любой вопрос мог ответить ещё прежде, чем этот вопрос ему до конца досказали. Да он и газету одно время выпускал, а листовки сочинял прямо десятками. А Пумпянский хоть и не «газ», но тоже очень поспешный и перехватчивый, — и вдвоём они ещё лучше излаживали и выкладывали, даже и не в полный соглас, а всё как-то улегалось. Без них-то двух Козьма бы тут пропал.

И как-то всё опёрлось и устроилось. Гучковский комитет был группою доволен (хоть бы она и обороне и революции помогала кряду), в передней комнате обсуживали организацию рабочей силы для производства, а в задней занимались и конспирацией, составляли и распределяли нелегальные листовки и каждому коман-

дированному, едущему по России в провинциальные рабочие группы, кроме его открытого задания в помощь обороне давали и скрытое задание в развал её. Козьма и не услеживал за всем, что тут делалось, писалось и распространялось.

Прыгнуть ему сюда досталось через силаньку. И озадачился он: за что ему званье такое — Гвóздев? Если и был в роду его гвоздь, так похоже, что не он. (А скорей — просто кузнецы были.)

А безо всех слышимых мудростей, сердцем, сам перед собой, он так понимал: Россию от Германии — надо оштитить. Непутёвая это забава — во время войны вытрясать революцию. Когда уж слишком закруживалось — вот какой маячок у него был: а солдаты — что ж, не наши? о солдатах — как же не озаботиться?

И когда вскоре за выбором Рабочей группы какой-то бзык или чесотка пошла по Питеру, как подговаривал какой бешеный: на 9 января 1916 устроить стачку, да всеобщую, да не на один день, да сразу и царя свергать, — Козьма уверенно повёл: удержать от этих стачек, не время! И по заводам сам ездил.

И удержал.

На самое 9 января из-за того разгорелась и драка на Эриксо-не: с нижних этажей и со двора подзуженные подсобники прибежали бить ихний третий этаж мастеровых за то, что они, «гвоздёвцы», требовали: забастовку не на горло решать, а — по справедливости, точно голосовать. Дрались молотками, гаечными ключами, метчиками, прутьями, швыряли гайками, самого Гвоздева ушибли табуреткой, и много побили аппаратов, изготовленных третьим этажом, гвоздёвцев спихивали с лестницы. И хотя администрация ещё раньше сбежала вся — «гвоздёвцы» отстояли, чтоб забастовки не было.

Ну, уж тут понесли их большевики, дружно и сплошно бранили, заплёвывали, заляпывали со всех немощёных переулков Выборгской стороны как изменников рабочего класса, лакеев империалистической буржуазии, как кучку политических мошенников и ренегатов, продавших классовую непримиримость пролетариата за честь заседать в мягких креслах с соратником Столыпина (значит — Гучковым). А затем забурлили по рабочему Питеру кампанию — вообще отозвать Рабочую группу: пролетариат не может входить в организации буржуазии!

Ну, влип Козьма! — никогда его раньше такими словами не бранили. А вместе с тем уверенно он понимал, что *отзываться*

им никак не время, что только сидя тут и можно отстоять условия и выгоды для рабочих. Но чтобы тут усидеть, приходилось уступать большевикам, в чём только дёрнут, говорить совсем не то, что думаешь: что цель Рабочей группы — коренная ломка режима; что правительство готовит еврейский погром, когда и духу такого не было. Или требовать от фабрикантов, чего им неоткуда было взять. Или кричать, что военизация заводов — это крепостное право, когда всякому было ясно, что спокойней бы нет — уставить сразу и работу, и питание, и свободу от военного набора. Надо было безперечь гавкать и нападать на власть. И под видом «комиссий» Рабочей группы собирали в главном зале гучковского Комитета многоядные рабочие собрания, и никакую не оборону страны обсуждали там, но будущее правительство: чтоб оно было не просто «ответственным», как требует Дума, но *Временным Революционным* — и в него бы входили демократы-социалисты. (Хотя Козьма не мог ума приложить: с чего бы вдруг такое правительство понадобилось и утвердилось.) Или высказывали там, что переговоры о мире народ должен взять в свои руки, помимо властей.

И шептали Гвоздеву близко тут: да! да! И кричали с улицы, даже вламывались в комнаты на Литейном: предатели! А из Парижа писал Плеханов: революционное действие во время войны — измена родине!

Ну, влип Козьма.

Да ещё ж не только большевики, но травили его и забегливые межрайонцы, и вьедливые интернационалисты-инициативники: мы вовсе не поручали гвоздёмцам говорить от лица всего российского пролетариата! они кощунственно прикрываются именем рабочих масс!

И даже Чхеидзе с Керенским сторонились Рабочей группы, стыдились, отгораживались, как бы не запачкаться.

И рабочие, избравшие группу, волновались, надо было их чем-то успокаивать.

Даже всё самарское отделение — и то слало центральному наказ: «Мы шли в промышленные комитеты не для того, чтобы ковать пушки и убивать товарищей немцев, но — добиться отделения церкви от государства, конфискации помещичьих земель и демократической республики». И до того очадевал Козьма, по три раза перечитывал, не ухватывал, в чём они тут сбrehали: отделение церкви? говорят — так надо; конфискация? велят — так надо.

Ах вы, губодуи, вот где профуфырились: пушки-то ведь не *куют*, а *льют*! Небось семинарист писал...

А — с Гучковым как? Сплошь все социал-демократические резолюции и листовки внушали и объясняли Козьме (да ему ж и самому завели карточку социал-демократа), что русская буржуазия, ведомая кровожадным Гучковым, пользуется этой войной не для обороны России, а чтоб набить свои карманы и постепенно захватить власть.

Да может, оно так и было? Как в чужую душу глянуть? А мы-то, простофили, поджимаемся, уступаем?..

Но приходил в Рабочую группу и сам Александр Иваныч, едва прихрамывая, невысок ростом, что-то и лицом нездоров, тяжёл, жал руку и говорил:

— Дорогой Кузьма Антоныч! И вы — русский человек, и я — русский человек. Язык наш общий, и мы вот друг на друга смотрим и понимаем. От того, что сейчас происходит, от того, как кончится эта война, зависит всё будущее России. Если мы проиграем — будет рабство у Германии, и, может быть, на много десятилетий. Я знаю, рабочие были долго и несправедливо притеснены. Накопилось много счетов, наболело много болячек. Но у вас и ваших друзей — ведь есть же русское чувство, правда? и есть государственный смысл: не сейчас эти счёты сводить, не сейчас эти болячки вскрывать. Не у вас одних — и у нас, у всего русского общества, есть жестокий счёт к правительству. Но — погодим, прежде кончим войну, не дадим сломить самый русский хребет. Вас — послушают рабочие. Разъясняйте им, не ленитесь, что каждый забастовочный день — это удар в спину армии, это — гибель наших же русских людей. наших с вами братьев.

Козьма слушал этакое, глядел поблизку в глаза Гучкова, совсем же не бриллиантовые, а как у нас у всех, глаза — с просьбой, с доверием, и от болезни опухшие (в самые первые недели Рабочей группы Гучков и вовсе умирал, уже печатались предсмертные о нём бюллетени), — и от души к душе понимал его, растворён был сердцем, вполне согласен:

— Да Александр Иваныч, будем ли обиды месить? Ну, погнетали нас, верно... Не прислушны к нам хозяева были, я не про Эриксона, а где поглуше. Конечно, дороже бы прежде войны спохватиться. Ну, коли сознание взошло, так и нынче не поздно. Что ж, разве не понимаем? Рвутся немцы до России, шею нам согнуть да хлебушек наш лопать...

По-простецки, безо всяких партий, да и на языке своём же природном — чего тут было не понять? Через простецкий их стол, сидя на стульях двух жёстких безо всякого умягчения, в голову никак не вклинивалось, что сидит перед ним вождь империалистической буржуазии, соратник кровавого Столыпина.

— Понимаю, Алексан Иваныч. Поддержим. Для того сюда и пришли.

Но таких бесед, даже таких минут почти не было ему разрешено, потому что не был он отдельный Козьма Гвоздев, а по партийности заедино с мозговитыми, многовитыми, письмовитыми и речистыми, к нему приставленными неутомимыми зоркими секретарями, и если упускали они один момент, то хлопали тут же вослед как крыльями:

— Ах, что вы наделали, Кузьма Антоныч! Ведь скажут большевики: блок Гвоздев—Гучков, вы об этом подумали?

Не был он, как Минин, отдельный себе Козьма, выйти да крикнуть: «Гэ-эй, спасай родину, русские люди!», — но:

— ...К о г о спасать, Кузьма Антоныч, вы подумали? Романовскую монархию? Вкупе с черносотенцами да либералами? А кто за нас будет пробуждать классовые противоречия?

— Да ведь так от нас откажутся инициативники!

— От нас отшатнутся интернационалисты!

— И тем более сибирские циммервальдисты!

И так не допускали Козьму много разговаривать, самого от себя, а при секретарях, с двух сторон, в плечах как бы ужатый, головой несвободный, как бы впряженный:

— *Побеждать* Германию, Александр Иваныч, рабочему классу вовсе ни к чему. А чтоб не было забастовок — так пусть потеснятся фабриканты. Им — болячки можно пережить, а нам терпению не осталось нисколько.

А ежели Гучков уезжал в Крым долечиваться, то и вовсе письмо сочинял за Козьму «Ацетилен», и не велел ни слова менять, а лишь подписывать: мнение наше, всех товарищей, что «социальный мир» — это ширма для эксплуатации, и пока есть класс промышленников — не допустит рабочий класс социального мира, ни даже перемирия! Победа над Германией — это путь завоеваний для вящих классов.

Эх, прошло времячко недавнее, постаивал Козьма у своего станка, в субботу получал получку — и домой, горя не знал. Точил детали по своему умению, и никто ему локти не подбивал. Теперь

же опутан он был этими языкатыми, и раньше, чем созрела в голове думка и спускалась в горло, сложиться в подходящие слова, — раньше того, не давая ему додумать, Гутовский и Пумпянский подсовывали ему ответ, и даже сразу несколько ответов. Вот это особенно его оглушало: что сразу — несколько! И все ответы — быстрые, все — разные, и все — правильные.

О самом-то непонятном: так как же братцы мы сами-то, между собой, взаправдоху, — подкреплять нам русскую оборону аль нет?

Прежде всего: эта война — вредна для освободительной борьбы рабочего класса. А с другой стороны, все народы имеют право на самозащиту. А самозащита может привести и к революционному перевороту. А значит, оборона страны *и есть* непримиримая борьба с самодержавием, чего никак не поймут большевики. Двухединая национальная задача!

Так мы-то, значит, выходит, эти... *оборонцы?*

Тс-с-с! Ни слова дальше, товарищ! «Оборонец» — это позорнейшая кличка, клеймо пособников реакционной клики. Мы же — *революционные оборонцы*, в чём заложен радикально другой смысл.

Так стало быть это... Работать? Во всю мочь?

Тш-ш-ш! Промышленную мобилизацию, Кузьма Антоныч, надо понимать не в узкотехническом смысле, а как мобилизацию общественно-политическую, то есть не дать мобилизоваться одним цензовым слоям. Однако, например, под видом мобилизации военнизация заводов есть величайшая опасность для интересов рабочего класса — это новая форма фабричного феодализма.

У Гутовского были сильно уши оттопырены от рождения, а на них — накинута проволочка очков, а глаза и через очки такие метучие, поворотливые, бросчивые.

Да-а-а, покручивал Козьма головой на науку, и молодая прегустая русая шапка его волос пошевеливалась, рассыпалась, закидывал её рукой на место. И учителя-то его были по тридцати лет, моложе его самого на пять, а всю эту премудрость прочли же когда-то, ухватили, приспособили. Спасибо помогали, а то ведь загнинешь тут, в комнатёнке этой.

А коли так — чем же нам от фидеализма отстояться? Тогда — забастовкою, ничем больше?

Да, иногда для отстаивания элементарных рабочих нужд не остаётся других форм, кроме дезорганизации производства. Но с другой стороны, безоглядный большевицкий стачкизм, заста-

релые бойкотистские предрассудки есть наименее перспективное средство классово́й борьбы. Большевики безцеремонно используют политическую неподготовленность широких народных масс...

До того они были оба наострѣнные, секретари, — какую бумажку ни отсылать, какое распоряжение телефоном ни передавать — прежде того закруживали, занюхивали, примерялись: а — как это примут западные социалисты? а — одобрят ли окисты? а как отнесутся объединенцы? а меньшевики-интернационалисты? а петербургская инициативная группа? и потом — межрайонцы? И — самое резкое, пилой по горлу, кляпом в рот: а что резанут большевики? Большевиков — пуще самодержавия нельзя было из глаза выпустить.

И в какой газете вдруг похвалят Рабочую группу за помощь обороне, за верность родине — и лестно как будто, и страсть у секретарей: опровергнуть? — будет вред работе. Не опровергнуть? — большевики заключают.

И потому к каждой фразе, устной и письменной, уже как будто законченной, обязательно приставлялось, приписывалось: в полном сознании международных пролетарских обязанностей... говоря словами копенгагенского рабочего конгресса...

Как сам Козьма не мог шевельнуться свободно от своих секретарей, так и секретари его, да даже руководящие меньшевики из ОК никогда не ступали несвязанно, никогда не решали уверенно, а прежде ёжились и воротились налево: а что рубанут большевики?

А большевики кричали: *на тачке вывезем* гвоздѣвскую сволочь! То бишь, на мусорную свалку, как вывозили рабочие неугодных своих мастеров, — а после такого сброса уже не восстановить им было лица.

Но не большевики всей оравой у Козьмы в груди болели, а — Сашка Шляпников, их главарь. Они — ладно, но Сашка ведь сам прокламацию писал: «предатели гвоздѣвцы!» — как раз ко дню, когда Козьму углом табуретки в темя огрели. В том самом цеху когда-то рядом они с Сашкой, одногодки почти, эка стружку гнали, состязались, кто чище. А вот...

Рассыпался горох на четырнадцать дорог...

Чужого ума заняв, чем только Сашка Шляпников не честил Козьму: и что он на привязи у Гучкова, и что он служит маклером по распределению заказов между капиталистами...

Зачем же, Сашка, ты меня дёгтем мажешь, если я стачку где не допустил, примирил? Что ж тут плохого? Неужели заводы стоят на стачках, а не на работе? Достачкуемся до того, что каски немецкие в Питер придут — неуж ты этого хочешь? Ты как что задолбишь одно, у тебя это есть, будто крепко знаешь. А что мы знаем, браток? Это деды наши в лесу жили, каждую тропинку знали, там всё своё. А тут — эвон какие стволища торчат да дымят, дымом зрение застилают, а под ногами — камень убитой, на нём живого следа не остаётся. Только и видим, что видим: городской на перекрестке, да в экипажах подъезжают-отъезжают Парвайнены, Айвазы, Нобели да Розенкранцы. Раньше нас и до слуха не допускали, теперь вишь уважают: знаем, знаем ваши нужды, но дайте войну кончить. Правильно, могли б они раньше очунуться, — так ведь это людское всеобщее: пока гром не грянет... Может, и надо поверить им, Сашок? Ну как же перед ратями германскими счёты сводить, кто ж мы будем? Нам бы с тобой сойтись да столкнуться: что это мы во врагах? Не годен гвоздь без шляпки, но и шляпка без гвоздя. Тебе, Сашка, николи нипочём это не давалось: а что, мол, коли я — от самого начала неправ? а ну-ка де, в чужую башку вступлю, да за неё подумаю? Понесли вы, понесли — «грязная язва гвоздёвщины». К чему это, ребята? Жутко на душе. И округ меня умники снуют, и округ же тебя: быстро-быстро пишут, говорят, всё знают. Ты — своим-то веришь? Смотри, не обожгись.

Близ Гвоздева советчики — никогда не терялись: как бы ни пошло, как бы ни скособочилось, они успевали извернуть: случилось именно то, что всегда предвидели и на что давно указывали представители рабочей демократии! И Козьме только глаза оставалось тарачить.

И — всё на ходу объясняли. Потёк слух, что забастовки эти не на пустом месте колышатся, что забастовочные кассы откуда-то деньги получают неведомые, — да уж не германские ли те деньги?

— Нет! — загорался Ацетилен-Газ, — дело не в немецких прописках, обывательство так рассуждать! А дело — в господстве дворянско-бюрократической клики, вся система управления которой представляет одно сплошное издевательство над народными интересами, одну сплошную провокацию. Эти стачки — предостерегающий голос, что дальше так жить нельзя.

И тоже-ть правильно.

Так и сегодня сидели они в задней комнате, Козьма за своим столом, в косоворотке под рабочей курткой, а Гутовский и Пум-

пянский — по оба края, в одинаковых чёрных пиджаках, воротниках стоячих и при галстуках, — и уже не первый раз рассуждали и объясняли председателю, как понимать разные важные сегодняшние вопросы.

Припекающий новый вопрос наседал: дикий произвол гучковского Комитета над своей же Рабочей группой: что поскольку группа является частью Комитета, то не должна она ни одного документа, резолюции и обращения печатать и распространять без согласия остального Комитета. (Опасались, что будет группа звать прямо к перевороту, да от имени Комитета.)

— То есть по сути, — кидался Гutowский, кипятясь, — Комитет под видом согласования объявляет цензуру нашей деятельности!

— Цензуру наших мнений и взглядов! — пояснительно поигрывал пальцами Пумпянский. Он не имел революционного сибирского прошлого, как Гutowский, и должен был неусыпно отстаивать своё значение.

— Но это есть насилие над свободой убеждения рабочего представительства!

— И это сразу изолирует Рабочую группу от рабочей массы!

Каждый вопрос они вот так объясняли ему по многу раз, как если б Козьма мог тотчас забыть, выйдя за порог, и особенно наседали, что всякий вопрос — сложный, очень сложный, очень-очень сложный. И Козьма тоже стал бояться не понять, забыть, в простых уже вещах путался, да простых вещей как будто и не оставалось.

— Здесь есть определённая граница! — ребром по столу точно, не колеблясь, вёл эту границу Гutowский. — Граница, дальше которой мы пойти не можем!

— Потому что станет вопрос о бесплодности нашего пребывания в Комитете! — выставлял палец Пумпянский.

— Это особенно опасно при отзовистской кампании, которую ведут большевики против Рабочей группы!

— Это подрывает значение того классового оружия, которым должна быть группа!

А ведь верно помнил Козьма, как он ещё прошлой осенью по заводу легко носился, по лестнице взбегал через ступеньку. А за этим вот столом посидел-посидел — и как огруз или как прирос, как стал расти из пола заодно со стулом, коренаст по-пнёвому. Рос — а встать не мог. Расправиться больно хотелось, а лишь потянуться мог от плеч назад, позадь себя.

То ль — запели они его, заморозили.

— Не надо убаюкиваться, Антоныч. Общаясь с гучковцами, не забывайте, что это — испытанные вожди боевых организаций капитала.

— Ловят нас, Антоныч, на «единении народа», а превращают его в единение крупно-промышленного капитала с властью.

Да, чтой-то худо складывалось для Рабочей группы. Чтой-то опять они как бы не в западне. А ведь до чего Александр Иванович добёр держался!

— На самом деле не они нас, а мы их должны проверять! — так-таки и колол по худшей догадке Аницетович. — Даже нет уверенности, что узкие задачи технической обороны они решают в интересах страны!

— Да наверняка против страны! — не уступал, вполне соглашаясь, Моисеевич.

У-у-у. Ну, влип Козьма.

Губа его верхняя детски была поднята, рассыпались мытые гладкие свободные волосы, а глаза — на учителей просительно.

— Разве дело сводится только к внешней опасности? — взмахивал Гутовский чёрными локтями, как взлетая.

— Разве дело сводится только к военному разгрому? — грозно прочерчивал и Пумпянский пальцем из чёрного рукава.

— А хищный замысел отторгнуть Галицию?

— А подавление Польши?

— А константинопольские аппетиты?

— А антисемитская погромная политика?

— И это всё — оборона?

— А преступный замысел с жёлтым трудом?

Жёлтый труд — была такая плавильная точка, где сходились, не дробились все партии и фракции рабочего класса и сам рабочий класс: с прошлого года взяли эту моду контрактовать на работу китайцев — сперва на Мурманскую железную дорогу, но вот уже как бы и не в Питер. И тогда:

— Безпокойных рабочих — в окопы, а на заводы — китайцев?

— И — конец революционному движению!

Одурачили-таки Козьму Гвоздева хитрющие буржуи. А отчего китайцам и не дать работать? Это ж будет, вроде, этот... интернационализм?

— Э, нет! Э, нет! Допустить, чтобы корыстный промышленный класс ещё более нечеловечески эксплуатировал китайцев?

— Не оставить китайцев без защиты — именно наша первейшая интернациональная задача!

— Законтрактованный жёлтый труд — это откровенная работоговля!

— Вот почему питерский пролетариат не может их допустить в столицу!

И тут распахнулась дверь — и порывом вошёл — не сам кровавый Коновалов или Рябушинский, нет, — но инженер Ободовский из Военно-технического комитета.

Достойный подсобник тех капиталистов.

Или недостойный пособник.

Вошёл — как с бега, в пальто без шапки, всегда он торопился, и лицо как будто рассеянное, а глаза острые.

Рассеянное — на меньшевицких секретарей, а острое — на Козьму.

А сзади — ещё какой-то чёрный, неуклюжий, большой, в кожаной куртке технического состава.

— Инженер Дмитриев! — поспешно представил его Ободовский, сам прошагнув сколько было пространства до гвоздевого стола, и здоровался с Козьмой.

И ведь до чего Козьма прирос — от стула, от пола не оторвёшься. С Ободовским поздоровался, а уж к Дмитриеву не шагнуть. И тот издали.

А Гутовский и Пумпянский поставили локти в защитное положение, не здороваясь.

Ободовский торопился, не садился.

— Кузьма Антоныч! У меня к вам... — порывался, сильно озабоченный. Но повёл глазами на встрепенувшихся, развернувших меньшевиков — и уже с тенью уклончивости: — Мне бы с вами... поговорить.

Но что за секреты?

Но с какой задней империалистической мыслью?

— Пожалуйста!

— Пожалуйста! — показывали ему и на стул настороженные бойкие.

А Козьма с приподнятой губой и бровками, на губе всё сбрито и брови короткие, выражал глазами светло-сенными, что и рад бы встать, выйти поговорить, — да как же, если растёшь? Со всеми корнями не вырваться.

— А чем могу, Пётр Акимыч? — И тут же поосторожней, строже: — А что случилось?

Ободовский — не садясь, рассчитывая к делу сразу:

— На Обуховском задерживается выход траншейной пушки, без которой лёт лишнюю кровь наша пехота, могла бы поберечь. Помогите уговорить мастерские, занятые этим заказом, выполнять сверхурочные и воскресные. И удержать их от возможной на этих днях забастовки. Нельзя ли для этого собрать заводскую комиссию?

Заводские комиссии были легальные, от Рабочей группы, организации по заводам. Формально — да, для помощи оборонным заказам. Но...

— Но не может рабочий класс, забыв свои классовые интересы, обратить заводские комиссии против самого себя.

— Это будет ошибочное направление, господин Ободовский.

— Хотя, пожалуйста, давайте обсудим всесторонне. — Ещё удобней уселись, развернулись, приготовились оба.

Этого «Газа», ещё юнцом, знал Ободовский по Сибири Пятого года: он был из главных крикунов в сибирском социал-демократическом союзе и добивался непременно вооружённого восстания. А потом обкатался, много меньшевицкой бумаги извёл, и был советчик социал-демократической фракции Думы, а вот теперь и здесь. С такими забияками Ободовский и в Пятом году в Иркутске время не тратил, а уж теперь-то!

— Господа, — повёл он головой, как от оводов. — Я, простите, не журналист. А вы не знаете ни допусков литья, ни режимов резанья — о чём нам говорить?

И смотрел горячо — на Гвоздева.

А Гвоздев отзывался сенными глазами, он — рад бы помочь, он и потянулся плечью — нет, всё держит, всё связано.

А советчики-меньшевики быстро метали и за собой же заметали:

— Не сочтите нас, господин Ободовский, сторонниками консервативного стачкизма под флагом словесного радикализма.

— Если вы способны усвоить нашу точку зрения, то вот она: в сегодняшних условиях стачки даже неблагоприятны рабочему классу.

— Стихийные вспышки идут даже во вред рабочему классу, — выправил Гутовский.

— Стихийные вспышки, — не давал себя поправить Пумпянский, — только ослабляют и разбивают нарастающий конфликт всего русского общества с властью.

Ободовский бровями подрожал и замер: так тут, неожиданно, все согласны? Сейчас будет помощь?

И Дмитриев переминался, мрачно-довольный.

— Но стачка, — закинулся Гутовский очками и прикудрявленной головой, — единственный выход для рабочего класса, цинично-безцеремонно отправляемого на фронт пушечным мясом!

— Чем же, кроме стачки, — закинулась и прилизанная голова Пумпянского, — может рабочий класс освободиться от петли полицейского режима?

— Оборона страны — да, но не ценой стачечного воздержания!

— И никакие сверхурочные работы не помогут в стране, где происходит безумное мотовство народных ресурсов.

— ...Как не раз предупреждала и указывала революционная демократия.

— ...К которой и вы когда-то имели некоторое отношение, господин Ободовский.

Против таких ренегатов более всего пламенело сердце Газа. Такие сбившиеся деляги и нарушают стройность рядов демократического движения.

А Ободовский на них перестал и смотреть. А, не садясь, — на Козьму, допытчиво и недоуменно, с изморщенным лбом.

А по обширному открытому лбу Козьмы не перебегали те змеистые стремительные мысли советчиков, ни руки его не промётывались по воздуху, ни пальцы, — руки его тщетно тянули стул из пола, и кряжистые плечи были напряжены.

С боков сыпали:

— Выход — не в сверхурочных работах, а в немедленной коренной ломке всего политического режима!

— Вырвать власть у безответственного реакционного продажного русского правительства!

Ободовский не удержался:

— Но не в ущерб же войне? Но — не к потерям нашей пехоты?

А те — только и взвились. И с изумительной лёгкостью и быстротой соображения метали с двух сторон, метали и заметали.

Промелькнул индифферентизм уродливой Думы. И рабочая демократия будет апеллировать к демократиям союзных стран...

Но — Козьма?

Но — траншейной пушке?

Мог ли помочь?..

От закланного, приращённого своего места оторваться он не оторвался, нет. Но ведь — пехота! пехота наша лила лишнюю кровушку! И — двумя лапищами упёрся в столешницу сверху, и натужился шеею и всем тулом, — как если бы волен и мог подняться, — и, в пень замороженный, со светлым растрёпом наросшей копынки сена на теменах, вдруг, как в сказке, промолвил человеческим полным голосом:

— Ладно. Там у нас на Обуховском член группы — Гриша Комаров. Я ему сейчас позвоню. Он чем может — пособит.

Гутовский и Пумпянский только вздрогнули, только моргнули на четверть мига, — и не переменялись, а переменялись, и лица такие же подвижные, и слова такие же быстроскладные, настигая:

— Мобилизовать промышленность? Конечно, такая возможность есть.

— А в чём же и смысл нашей деятельности? — почва и легальность для рабочего класса.

— Но рабочий класс должен быть чрезвычайно осмотрителен в выборе методов.

— И реальная мобилизация невозможна без полной свободы коалиций...

— И немедленной полной демократизации всей...

Да инженеры не дослушали — ушли.

* * *

...Предатели-гвоздévцы, кадетские подголоски, кровопийцы, высасывающие кровь рабочего класса... Приспешники правительства, разные инженеры, получающие по 4 кругленьких тысячи в год... Долг наш, товарищи, взяться за святое дело борьбы и крикнуть вампирам: прочь ваши кровавые руки! Петербургские рабочие обнаруживают перед всем миром свои мужественные желания!

ПК РСДРП

* * *

32

Когда сядешь на невский паровичок из трёх коротких вагонцев с империалами, обогнёт он Александро-Невскую лавру, Подмонастырскую слободку, через Архангелогородский мост выедет на Шлиссельбургский проспект (а наверно, судя по мосту, то был старинный санный выезд на Архангельск). Набирая вёрсты, минует Стекланный городок и ампирные хлебные амбары по берегу Невы, пристани, лесные баржи, сенные балаганы. Минует Семянниковский завод (но тебе не туда), Катущечную фабрику, не похожую и на фабрику своей отменной постройкой. Проехав Рожок, обколесит стороной село Смоленское и село Михаила Архангела с их отдельными церквями, и Александровский механический завод при том селе (но и не туда тебе сейчас). И, теперь плотнее к берегу, покатит вдоль самой Невы, на обширных ледяных площадях которой и последние военные масляны сходятся на кулачные бои деревни правого и левого берега, или затевают бои петушинные, или голубиные состязания, как если б те мужики и не знали никакой всесветной петровской столицы рядом. Дальше прокатит паровичок мимо Фарфорового завода, третьего по древности в Европе, едва секрет фарфора был открыт. Мимо редких уже остатков причных вельможных дач анненской, елизаветинской и екатерининской поры, всё более заменяемых фабричными кирпичными корпусами и долгими стояками труб, из которых чёрные клубы выползают и расплываются, пачкая небо, грязня Неву, при одном ветре медленно утягивая на Малую Охту, при другом принимая сюда дымы охтенские и с Пороховых. И вот наконец за Куракиной дачею доберётся он и до бывшего поместья княгини Вяземской, которого и следа уже осталось мало за полвека сталелитейного завода, основанного здесь инженером Обуховым вослед несчастной крымской кампании, где непригодными к бою оказались многие наши пушки. И у того завода, броневое и пушечного, с посёлком двухэтажных современных, всеудобственных рабочих домов тебе выходить, сюда тебе. (А паровичок и дальше того поколесит мимо нескольких Преображенских кладбищ, нескольких

немецких колоний, Киновийского монастыря, ещё фабрик — и так до Мурзинок.)

И вот, житель петербургский, хоть и не самых приятнейших кварталов, а всего лишь с какой-нибудь Стремянной, ты, проделавши этот многовёрстный прокат с полной сменой пейзажа, зданий и людей, да ещё не зевакою, но с осмысленным делом сюда, но с пониманием совершаемого здесь, даже с нетерпеливым участием, — вдруг отсюда, с дальнего конца Шлиссельбургского проспекта, совсем по-новому ощущаешь и видишь этот знаменитый город. Перебрав, перебрав, перебрав, как на руках повиснутый, это длинное невское рычажное плечо, ты обнаруживаешь, что точка опоры, что твердь системы не там, а здесь; что центр тяжести этой многовострой северной Пальмиры или Венеции — не сверкательный Невский, не лепнокаменная Морская, не золочёные шпили, не россиевские колоннады, не фельтеновские решётки, вдоль которых рассеянной лёгкой походкой бродили легендарные наши поэты, — но сами решётки эти, и многие львы, и колесница Победы на величайшей арке, и самые мосты под коней чугунных или живых — Аничков, Николаевский, Синий, Цепной, отлиты здесь, далеко за Невскою заставой, на Александровском механическом. Отсюда ты твердо узнаёшь, что главный вес Петербурга — не то, что понимается и смотрится всеми как Петербург. Напротив, это столпление, яркоцветное днём и многолампное вечером, это жадное сгроможденье дворцов, театров, ресторанов, магазинов видится отсюда праздным, безрасчётным, глумливым перегрузком дальнего конца честно рассчитанного рычага, оттого опасным, что — на самом дальнем конце плеча, угрожая перепрокинуть.

А здесь — был главный понятный трудовой смысл: как те распотешливые решётки и колесницы, так и многие деловые нужные вещи, и первый русский паровоз, и невские суда, и чугунные и стальные отливки от самых огромных и до самых малых, именно здесь впервые находили свою окончательную массу, форму, подвижность и назначение.

С этим-то постоянным чутьём, что тут вокруг всякую минуту рождаются, складываются, формируются задуманные на чертежах вещи, Дмитриев и входил в заводские дворы — Обуховский или другой какой. Любя всё то вечное, что красуется в дальнем перегруженном центре Петербурга, Дмитриев никогда не испытывал скуки или отталкивания от здешней некрасоты, от унылой гладкости стен, от голости, засоренности, обгорелости безтравной зем-

ли, от копоти, жара, тяжких запахов и лязга, ибо всё это были не явления безобразия, но сопутствия рождению вещей. Свежему прихожему завод кажется нагромождением станков, материалов, изделий, грохота — но работающие знают, что этот внешний беспорядок — на самом деле лучший порядок, как это всё прилажено, как каждый на своём месте делает осмысленное дело и является частью целого.

Войти во двор заводской оттого и приятно, что — осмысленно. Для тебя, не постороннего, не кучей резучего железа навалены обрезки у стены, но понятно, от какой работы отходы, чем были заняты это время слесари. То же и стружки у токарной — латунные, медные или стальные, на какую ширину и толщину. И перед кузней сложенные поковки объясняют тебе последнюю работу её или следующий заказ. И самые звуки кузницы, и виды дымов над чугуно- и сталелитейками, и огневые отсветы в окнах, окраска их или отсутствие, и новая куча шлака у ваграночной калитки, и что несут таскальщики из цеха в цех, и даже какие доски свалены у сушилки, — ещё на заводском дворе всё объясняют опытному глазу. И ещё в первое здание не войдя, ты уже включён и увлечён смыслом этой работы, и само решается, и ноги направляются — куда тебе, где ранее нужен ты.

День так и не рассветился, а уже и стемнел. За час до того снежок не снежок, а мжица насыпалась, и где не ходили, не прогревало теплом от зданий или от паровой отдельной линии, сохранился этот белый налёт, придавая вечеру зимность. Да и поохлаживало.

Дмитриев волновался. Необычное было для него — речь говорить, хоть и перед своими же знакомыми рабочими, но собранными неестественно для слушанья, человек двести сразу. Однако не было другого пути стянуть людей на эту работу, взяться дружно. И уже обдумал он, что за чем скажет, да надеялся почерпнуть в лицах и по обстоятельствам, и тогда поправиться.

Да ещё надо было Комарова этого искать, был ли ему телефон от Гвоздева и как решили рабочие вожак.

В конторе Дмитриеву сказали, что помнят, за полчаса до гудка со смены созваны будут в механический цех все, кто назван был инженером, — формовщики, плавильщики, кузнецы, слесари, токарники и фрезеровщики.

На беду сидел тут же в комнате при этом разговоре дежурный жандармский вахмистр и слышал конечно, да впрочем не мог не

знать и раньше. И захмурился Дмитриев, что ведь непременно явится, лещ, присутствовать, и выставит рабочим свою розовощёкую физиономию — как нарочитую вывеску, дразнить, какие рязки на позиции не посылают. Это было край нехстати, перебивало настроение даже Дмитриеву самому, что ж будет рабочим? Но нельзя было прямо, открыто попросить жандарма не приходить — лишь мысль подать, если её не было? вызвать подозрение? Уж как сойдётся.

Сменил Дмитриев свою выходную куртку на рабочую, подмасленную, с нашитыми подлокотниками, и брюки такие же, с наколенниками, и кепку другую, как лазил он по всем цеховым закоулкам, складам и на чердаки литейных, где приходилось. И в этой одежке ещё справней, ещё сродней с заводом, как сегодня особенно нуждался он, чтобы легче переступить покаянную барскую черту, походкой утверждённой пошёл искать Комарова.

Нашёл его в нетопленных сенцах при материальном складе, на сквозняке, и начали там разговаривать. При тёмном дне тут ещё темней было, и лампочка не горела, да сам Комаров со щетиной запущенной чёрной — и тем более показался человеком тёмным.

— Так соберём, Григорий Кирьяныч?

— Соберём, значит.

Как будто — согласие. Но и охоты не много.

— С Кузьмой Антонычем сталкивались?

— Говорили.

Помощь ли жди, или только нейтралитет? Или вылезет добавлять, что эта война рабочему классу не нужна? Узка ж была перекладинка к рабочему сердцу, только на Дмитриева одного: с боку жандарм локтем мешал, с другого боку — партийный оратор. Если не помогать, так лучше б и помолчал. Но и его просить неудобно.

Крупным шагом пошли через двор. Одет был Комаров в суконную замызганную куртку, рукава сильно не доходили до запястий, но не видно, чтоб холодал, и нёс железки со склада большими незябнущими руками.

Он — строгальщик был по металлу, свой обуховский, здешний, это хорошо. Однако ж — партийный, эсер, и за что-то же вознесен в Рабочую группу, один ото всего завода. Значит язык разговорённый?

А — крепкий, рослый дядька, и по рослости не должен быть слишком беспокойно-настырный, как выпирают иные маленькие, чтоб их заметили.

Но если Дмитриев будет о траншейной пушке, Комаров вылезет — о сплочении пролетариата, куда загнала нас реакция, а жандарм надуется в углу, а рабочие умы — расступись на три стороны, — так вся речь утечёт в решето.

И прямо в упор:

— Григорий Кирьяныч. Соберём — и что?

Тот головой повёл, плечом повёл:

— Что требуется.

Остановились: по заводской колее перед ними подавался задом медленно маневровый паровоз и толкал на вывоз к воротам две платформы, на каждой — по новенькой 48-линейной обуховской пушке, в густой смазке, но ещё без чехлов.

Недавней конструкции, ещё на фронте не виданные, среднекалиберные долговольные красавицы-пушки.

Где прошла сцепка — рельсы стали мокреметаллические, а где ещё нет — в белом налёте мжицы.

Из кузни глухими, сильными, равномерными ударами стучал паровой молот. Дмитриев любил этот звук, в нём как бы сгущалась сила завода.

Прямо в глаза не смотрел Комаров — туда, сюда, на платформы и под ноги, где рассыпан был для суха ноздреватый лиловатый мелкий шлак.

Пока идти было некуда, Дмитриев обернулся к нему, тщетно лоя отведенные глаза:

— Григорий Кирьяныч, вы у станка ведь не работаете так, чтоб с одного боку деталь закрепить, а с другой расхлябать? А рабочегруппы так и делают: в комитеты идём, но не снаряды готовить, а народные силы — спячку сорвать.

И вовсе паровоз перед ними остановился, то ли переподать.

Железки держал на открытой ладони. А сам закрыт:

— А промолчу — что рабочие скажут? О каких, мол, сверхурочных, когда два цеха вообще вон бастуют, полторы полочки требуют.

Опять потянул паровоз, и Комаров глазами перед собой пропускать медленные платформы.

И Дмитриев не мог оторваться, провожая эти пушки, по европейскому счёту 122-миллиметровые, их совершенные формы, от-

личные обуховские новые пушки с уже проверенной баллистикой, каких в начале войны и в эксперименте не было, а сейчас заставить бы ими если весь фронт, снабдить все пехотные дивизии — па-двинули бы Германию быстро.

— Да что скажут? Вот эти пушки когда выпустили первые, вспомните? В декабре прошлого года. А сколько по сей день? Хорошо, если три десятка. Кто ж так работает, подумайте? Мы, рабочий класс!.. Демократия, режим, да буржуазию подталкивать, вот это в печёнках сидит. А прежде бы взяться работу показать. Рабочий класс...

— Не от нас одних...

— Ну, и от вас не меньше. Полторы полочки... Конечно, если прокламации на стенах, на станках, на колёсах, на стволах, сторожа ворохами выметают, а утром свежие, — так разве до работы? Узнали бы немцы, что такой завод — и таких пушек по две в месяц выпускает, — да животы бы надорвали.

— А почему нам одним животы затягивать? Почему другие не умерятся, кто богатый? Они — о войне много думают? Всё в карты играют.

На это отвечать нечего. С их горизонта — главное, что и видно. И там Дмитриеву было некого убеждать.

Стучал, стучал паровой молот.

Протянулись пушки.

Пошли дальше.

— Григорий Кирьяныч, что такое собрание можно собрать — спасибо и вам, и всем разумным людям. Но — не портите. Если уж будете говорить, так — не что по должности, а что глазами видите, по совести.

Внял ли, не внял, — молчал. Пошёл к себе в мастерскую.

Дмитриев заметил, что волнуется всё больше. Ещё минут сорок оставалось, да так темно прежде времени и на душе беспокойно, — потянулся к своим — тем несколькими рабочим, своей экспериментальной группе, с которыми много месяцев они готовили опытный образец траншейной пушки — вместе пробы делали, отбрасывали и меняли, сам Дмитриев включил их понимать что к чему, просил думать и присоветывать, и бывали дельные советы.

Сейчас он искал их — признаться настроения в оставшийся полчас. Да через них должно уже и подыхивать — что его встретит на собрании.

Он пошёл в слесарку к Малоземову, заботному старичку, своему любимому Евдокиму Иванычу, но его не нашлось на месте. Предположили соседи, да и без них догадался инженер: в старой литейке у своего друга Созонта.

В литейке не увидел Созонта, подсобники перегребали, обогащали формовочную землю. Нырнул в шишельную, пристройку при литейке, — там! В это их излюбленное укромное местечко собирались они не раз, рисовали шишки, цапфы, шарниры, сочленения, чтобы наипроворнейше пушка их собиралась-разбиралась на перенос. Тут и были сейчас. И седенький Евдоким Иваныч, мало что росту невысокого, а ещё, по своему обычаю, и сев пониже на чурбачок, и махорочной газетной козьей ножкой попыхивая. И лобастый, головастый Созонт Боголепов, мало что здоровей и ростом, и в плечах, — ещё и стоя, просторной спиной прислонясь к шкафу с моделями, и руки за себя — для куренья ему не надобны, так любил он стоять, ворочая на горящих лысую тыквищу головы. Двое шишельников — один формовал, другой так сидел, без дела, обвиснув. Да парень носил на подносах из сушилки сухие шишки, на полки раскладывал. Да за одним верстаком щуплый столяр быстро управлялся в работе и не уставал частить-говорить таким же проворным тонким говорком. Да чахоточный, впалогрудый, унылый модельщик сидел на верстаке, не работал. И один верстак — пустой. И хотя ещё табуретка была свободная — Дмитриев тоже сел на пустой верстак, как в подтвержденье, что свой. При его росте свешенные ноги доставали пол.

Старая литейка не отапливалась от заводской котельной, но здесь, в шишельной, стояла чугунная печка и сейчас, как всегда, пожирала обрезки и стружки, отдавая тёмно-красный накал. Воздух был сухой, тёплый, весёлый, приятно войти. Не простыл Дмитриев, а тепла хотелось.

Он был уже тут настолько свой, что не прервал, кто как был, так и остался.

— В общем, всю нашу таинственность продал он за три миллиона золотых рублей. И деньги получил от самого директора банка, — частил проворный мелкозубый столяр, а фуговал. — Теперь все наши планты у Вильгельма как на ладони.

В халате, с рейсмусом из кармана, столяр быстрым ловким движением ослабил винт верстака, переложил деталь другим боком и уже завинчивал. И не умолкал:

— А с чего началось. Немцы через его присылали царице лекарственные травы, значит, для царевича. Какие в Германии рощены, а в Расее не бывают.

— Врёшь, — молвил Созонт. — Таких трав нет, какие бы в России не росли.

— Ну, говорю! — взялся столяр за фуганок, а тот был ему едва ль не в полроста, от пояса до лба, и хватился фуговать, очень спеша. — А за что б тогда она выпродавала?

— А что, — вздохнул модельщик. — Очень вероятно у них и отчохотки произрастают.

— Да, так они травы присылали. Через этого Распутника. Он — царице подносил, а та ему всяк раз — конвертик за своей сургучной печатью. А в конвертике — что ей государь за то время проговорился, всё она записывала. И спрашивала Вильгельма, каких министров снимать. А их императорское величество — не в отца своего, мягкие очень. А в другой раз уговорено было, на какой фронт ейный лазаретный поезд иде, — там и будет наше наступление. А при Распутнике ещё состоял такой жидок, кажись Рувим Штейн. А у жидка того конь такой что ль невидимый, он сразу — скок и к Вильгельму, скок и назад.

Не верили.

— Ну, може до самого Вильгельма не доходил, не знаю. А только и он миллионщиком стал. Теперь вот попался, говорят. Схопали.

Удивился Дмитриев: даже о Рубинштейне сюда дошло, только эдак. Не первый раз среди рабочих ему приходилось в этом роде слушать, это было как после сильного бурового дождя река взмучена, взрыжена, и несёт по ней мусор, хворост, брёвна, — перенять этого не может никто, жди, пока само пройдёт... Он и не пытался встревать, он знал, что переубедить всё равно невозможно. Ужасала глубина их невежества, но и тревоги: откуда им, правда, всё знать? Ужасали стены непонимания, нагороженные по России поперёк.

— В общем, дали немцы нашим министрам миллиард, чтоб они уморили миллион людей, по тыще рублей за человека, хошь бы и не солдат. И граф Федерикс за всех деньги взял. И в Питере, вот уже, с голоду смаривают... А ещё слух есть: в Царском Селе, в лазарете, один ранетый офицер в царицу стрелял. За то, что она немцев одобряет. Не попал.

Хотелось бы Дмитриеву подсесть к Евдокиму Иванычу — некуда, с Созонтом тоже у шкафа не станешь, и отзывать их неловко. Да и не было прямого вопроса. А была вот — роковая, вековая стеснённость перед тем, как говорить с рабочей толпой, виновность без вины, какая-то уязвимость, хотя был он перед ними честен, чист, и на своём месте, и своё дело знал, и в куртке рабочей, и телом здоров, и не косноязычен, а позавидуешь столяру-хорьку, этот и перед тысячей выскочит, не сробеет:

— Так что теперь пропало наше дело! — бойчил, фуговал, вот опять уже отвёртывал. — Советчики у его императорского величества все подкуплены. Аж до самого Питера мы запроданы. Пришёл от Вильгельма приказ: развалить всю Расею. — Впрочем, без страха, даже с весёлым злорадством.

— Ну, чего несёшь, острозубый? — лениво сказал Дмитриев. Да и без него никто сполна столяру не верил.

Но и разубеждать начни — тоже не разубедишь.

Проглядывая отфуговку под дубовый угольник, столяр:

— А ещё есть тайное распоряжение: всем офицерам Елисеевскую ночь делать.

— Каковую? — спросил модельщик.

— Елисеевскую.

— Иначе как-то, — сомневался тот. От чертежей ли, грамотный он был.

— Как же эт, ночь? — дивились шишельники.

— А вот, у кого специальной бумаги не найдётся — всех зараз кончать будут, и на фронте, и в тылу.

— От кого ж распоряжение?

— Значит, есть от кого, — со знанием обещал столяр.

— Подожди, — вник Дмитриев. Ведь это ж не в одной тут шишельной, это и по всем заводам так? — Откуда это ты всё, откуда?

— Да куда ни придёшь — везде одно говорят. И у нас тут сказки ходят. Социалы разные. И тоже жидки. Мол, вот заполывает, пождите.

Да ведь это ужас разносился, зараза — и что же с ней поделать? Но ведь и повсюду, и выше — только в других словах.

— Мутят, как воду в сажалке весной, — пыхнул с чурбачка Малоземов. У него уж зубов иных не было, в разговоре слышалось, а седыми усами прикрыто было беззубье.

— Развужился народ, — молвил Созонт от шкафа.

Созонт и Евдоким были земляки. Как и многие петербургские рабочие, не переписанные в мещан, они писались в виде на жительство и при каждой регистрации или полицейском обходе повторяли вслух, напоминали сами себе: крестьянин Новгородской губернии, Старо-Русского уезда, Залучской или Губинской волости, — хотя на Обуховском заводе без перерыва работали: Созонт — уже двадцать лет, а Евдоким — двадцать пять. Как земляки, они и на заводе землячествовали, и семьями были сойдены, и когда говорили «у нас» — то и через двадцать лет это не завод был, а — места родные, где семеро речек у них и все Робьи, и куда Евдоким полагал перед смертью добраться, чтобы похорониться там. На петербургском кладбище ни за что не хотел.

А разговор между тем погуживал, и опять всегдашний, вечный и безконечный — о ценах. Привыкнув к многолетней неподвижности российских цен, как если б вцеплены они были в сам товар, в само существо вещи, — русские люди только обомлевали от несусветного военного роста цен. Как ребёнок, учащийся говорить, старательно пытается снова и снова выговорить неподдатное, удивительное слово, так и эти простые люди снова и снова выговаривали и друг на друга смотрели, проверяли: да так ли? да может ли это быть? Хлеб из четырёх копеек фунт да шесть — это как будто сама земля зашаталась. Чай! — уже по-прежнему не попьёшь. Селёдка была четыре копейки фунт, а теперь 30! Да обутику-одежку возьмите! Калоши были рубль тридцать, а теперь нате, четыре с полтиной. А чем отапливаться? — эт на конец войны не отложишь: дрова берёзовые были семь с полтиной сажень — а теперь уж за двадцать. И неудержимый осатанелый этот рост день ото дня следя — как иначе им истолковать, чем чьей-то злою жадной рукой, которая эти деньги себе загребает: ничем другим нельзя объяснить, почему предметы перестали стоить свои, извечные цены? Кто-то невидимый, злой, заговорный — обогащается за счёт простого люду: они там, наверху, все сговоренные. Почему товаров нет? Прячут, набирают деньги на наших слезах, жиреют в укрыеве. И руками их не цапнешь, не знаешь, где они. И в экипаже едут — не дотянешься.

Но уж если вчера нельзя было на цены рот не раззявить, то и вчерашнее дивление рядом с ещё новым в меру не шло, и даже из жуткого почти и веселовато становилось: как будто эти дикие

цены уже и не могли касаться их, здоровых людей, а вчуже зло-
радно посмотреть, во что ж они выпрут?

Да их-то и не касалось, баб касалось. Те денежки на прила-
вок выкатывать реберком — бабам, не им. Вот идё сердце отры-
вается.

— Что бы! — отозвался Евдоким снизу. — Выкатывать! Ещё до
того прилавка достойся. Мы вот пошли на работу, и тут в сухе,
в тепле, в коперативной столовой пообедали. Называется лишь —
работа, а всё ладом. А бабе — платок обматывай потеплей да иди
под морозгою стой — и два часа, и три, и ещё дождёшься ли. За
свои деньги. А малые — с кем? И дом разорён.

Говорил Евдоким Иваныч с той сроднённой сочувственностью
к жене, какая только к старости приходит, когда сам в её шкуру
влезает. В мелких морщинах, протемнённых железной пылью,
с потухшими глазами, он всегда выглядел и говорил невесело, да-
же когда улыбался вполгубы из-под усов.

— В тепле, пра! — радостно отозвался парень, шишельный
ученик, и сунулся к печке ещё подкинуть. — Дома с угольком худо,
не нагреешься.

Уж и дверцу открыл, а не лезло, ломать надо.

— А глаза есть? — строго спросил Созонт. Не поспешно, а оста-
новил к часу.

Понял парень, не понял, почему эту рейку нельзя, но послуш-
но отставил, уже приопалённую, кинул обрезков поплоче, нестру-
ганных.

Хвалили карточки сахарные: что справедливо — то спра-
ведливо. Ещё недавно: богатый — по какой хошь цене схватит,
а бедному — шиш. А теперь на всех едоков поровну, это — по
правде.

Голодали бы все поровну — и не обидно нисколько, и не стонь.
То и жгучей всего, что — неравны, что одни — за счёт других.

Вот бы так — и на мясо талоны. И уже уставляли, почему от-
казали? Говядина, что ж это, голова закружится: 45 копеек за
фунт? Да вы залютели? Да кто ж это в силах выдерживать?

И — с молоком бы ещё так. Питерская вывороченная жизнь —
не привезли молока, и нет детишкам, и не сходишь в хлев надоить.
В селе Михаила Архангела вон есть коровёнки, так в эту неуряди-
цу сена не наберёшься. Как к этой жизни можно привыкнуть даже
и за двадцать пять лет?..

А ведь питерский рабочий заработок ни с каким местом России несравнен. Сперва даже шептали, рассчитывали: за войну ещё загатник поднабьём. И с тех пор возвысился вдвое, считай. Но цены — упредили, цены убегли — куда-а-а!

Во всяком положении можно сравнивать вверх, можно вниз. Напомнил им Дмитриев: а солдаты — *вам* завидуют: тут снаряд только со станка снимай да грузи, а там под него голову клади. Не захочешь этих и полфунта мяса.

Верно. Верно, в Питере во всяк ляд ещё жить можно. А поди в окопах покручься. Тут хоть десять, хоть двенадцать часов отработал, а под свою крышу спать иди.

— А вот нас и погонят скорой.

— А больше бастуем — так там и будем.

— А тут — кто за нас?

— Китайцы, кто!

— Кита-айцы? — первый раз работу покинул и обеими руками развёл поворотливый столяр. — А что они могут, китайцы? К какому станку?

— Обучат, — с чурбачка Малоземов. На его жизни кого не обучали.

— Да он и подсобником сразу слягет, китаец! — занозился, пронзился столяр. — Рази два китайца ваш ковш подымут, в литейке?

— Да ты сам — крупней ли китайца? — Созонт сверху.

— А я и не подымаю! — за рейсмус схватился опять столяр и за новые рейки. Он на сдельщине был, вот и гнал.

А остальным — невторопяху.

И знали же все, что собрание ждётся, и кто пойдёт на него, — а не касались, как мнил инженер уловить, послушать.

Самому начать? Как-то не выговаривалось.

Малоземов старыми понятливыми глазами поглядывал на инженера с чурбачка. Понимал, что тот пришёл за подсобием, но не туда разговор шёл.

Разговор барахтался, барахтался, и так просидел Дмитриев между ними полчаса, не утвердись, а ослабься. Вот — чем жили они, и какая была надежда, что пятьсот рук да схватятся за траншейную пушку?

Только уже когда позвали, крикнули, и сдвинулись — Евдоким Иваныч в литейке взял инженера за локоть и сочувственно, как давеча о бабе своей и о коровах в Михаиле Архангеле:

— Главно, Митрич, говори смело, как агитаторы. Не давай перебивать. Крикнут — а ты им. Мы, рабочие, видишь, в таком положении — ни порознь один. Мы как камень единый: или все в этот бок, или в тот. Расколоться нам — не дано. Брать — только всех до единого. Вот так и бери.

33

С этим и вошёл Дмитриев в большой механический цех, где под верхней фермой ещё добалтывался, ещё долго покачивался отцепленный поднятый крановый крюк. Тут должен был Дмитриев разговаривать со старшим инженером, отвечать на поклоны мастеров, всё рассеянно, — сам же напряжённо смотрел на сборы.

На этих рабочих, по отдельности как будто доступных любому простому разговору. А когда при смене вываливает во двор сразу пятьсот-шестьсот — чёрных, слитных, загадочных, чужих, — не успеваешь вспомнить, что можно с каждым говорить и работать, но почему-то потупляются сами глаза, отводятся, и бессильно признаёшь неизбежное; то *вы*, а то *мы*.

Неизгладимо проведена эта черта, и как научиться переступить её, не замечая, или хотя бы *им* не давая заметить?

Так и сейчас: когда они в массе переходили, садились, вспрыгивали на плиты, на гладкие выступы своих станков, а в центральном проходе поперёк вагонеточного пути ставили скамьи для пришедших из других цехов, — в этом новом объёме и качестве они были не испытаны, страшноваты. Много чугуна, стали, железа в тяжёлых массах покоилось и передвигалось в этом цеху и по всему Обуховскому заводу, но на то были неотклонные, раз навсегда одинаковые формулы механики, известные приёмы, ухватки, краны. А эти двести-двести пятьдесят собираемых вместе живых, рассыпных, мягко-телесных людей превращались в массу неведомую, с формулами неизвестными. Тут уже — не инженерство было. Зря говорят про политических деятелей, что они болтуны, это — большое напряжение.

И прав Евдоким Иваныч: рабочие только и мыслимы в массе, только к этому и надо быть готовым. Одиноким крестьянином умеет двести дел, обнимает собой и своей семьёй — двести ремёсел,

и наиболее полон, когда он один. Одиноким рабочий — ничто, будь он искуснейший слесарь, как Евдоким: в каждой работе ему отведено всего лишь одно дело или даже одна часть одного дела, а полнота — лишь когда собирается их двести.

А вахмистр — пришёл, конечно. Широколицый, с большой значительностью осанки, как будто знает тут больше всех. И, ни с кем не заговаривая, сел на табурет сбоку оратора, чуть позади.

Портил он весь вид. Лицо Дмитриева портил перед рабочими. Мастера группкой.

Комаров темнокожий, небритый, в сторонке. Уступал начало.

Кто в чём работал, в тёмных косоворотках навывпуск без поясов, или в куртках, или в старых пиджаках, — рассаживались теперь. И только кепки, при работе у всех на головах, — теперь, хоть и в том же цеху, по обычаю, без команды, без приглашения — а снимали. Кто-то снял, остальные за ним, и вот уже — все до единого. И куда её? Брали на колени. Вертели в руках.

И этими снятыми кепками да ещё сдержанностью разговора, почти молчанием, показывали, что — понимают особенность этого собрания.

А снявши кепки, открыли свои головы — редко стриженные наголо, по-солдатски, редко и пролысевшие, как бывает от изнеженности, а — дружно густоволосые, неиссякаемая ещё природа. Да подстриженные кто как, и домашними ножницами, чтобы не тратиться на парикмахера.

Нет, они не благоденствовали. Утруждённые, озабоченные, прихмуренные лица. Не угоняется заработок за скачкою цен — что им эти сверхурочные, только силы терять? По-своему, они правильно отказывались от сверхурочных.

Но лишь по-своему, свою овчинку стянув на груди, свою нахлобучивши кепку, пока под острым невским ветром добежишь до своей квартиры.

Уже начавши речь про себя, ещё не начав её вслух, Дмитриев пропустил собственно начало. Он стоял — выпрямленный, пригтовленный, весь — в глазах, раскрытых на рабочих, и в поколачивающей груди, и уже ждали, смотрели на него, а он пропустил посоветоваться и подумать: самое-то первое — как же? собранных вместе двести — как их называть? *Товарищи?* Нет, подыгрывание, пошло, да при жандарме и закрыто, он не хотел революционного тона. *Господа?* Кур смешить. Велик-велик русский язык, а повернуться негде, если б не:

— Братцы! Некоторые из вас... — покосился, где свои сидели, кучкою стянувшись. Малоземов маленький заслонён был, не видно, а светила, возвышалась строгая лысая тыква созонтовой головы, — ...знают, что у нас отделан опытный образец траншейной пушки, и теперь она пускается в серию. Сейчас как раз подошли дни, иные станки и даже мастерские надо перевести на неё целиком. И вот я... просил администрацию... и представителя Рабочей группы... созвать вас, кому придётся участвовать, чтобы... — Разве нужно какое «чтобы»? разве не «делай, что говорят»?.. — ...чтоб объяснить вам, что это за пушка и к чему.

Насторожились — лохматые, челюстные, исподлобные, простодушные, прищуренные, все почти безбородые, с усами редко, а то гололицы, щёки сжатые, губы недоверчивые: с чего б — *объяснять*? Какую-нть дохлую собаку подсаывают, стерегись.

И правда, каким же будешь в этих петербургских камнях? Через камень не подсачивается к тебе из земли ни сила, ни свежесть, ни верный совет. А в уши толкут, толкут... Елисеевская ночь...

Но слышал Дмитриев сам свой голос и был доволен — звонко выносил, твёрдо:

— Надо вам понять, что в этой войне многое пошло, как ждать не ждала ни одна армия. Вот и артиллерия. С тех пор, как её изобрели, она существовала как бы отдельно: стояла — отдельно, стреляла — издали, с пехотой не смешивалась. Но современный бой так густ и быстроизменчив, что артиллерии быть от пехоты далеко и отдельно — нельзя. Например, пулемёты так внезапно возникают и исчезают, в такие короткие минуты надо справиться с ними, что артиллерийский наблюдатель, даже если он в гуще пехоты, не успевает по рвущимся проводам сообщить на свою глубинную батарею, и пристреляться, и накрыть.

Не сложно говорил? Кажется, нет. Появлялся интерес на лицах. Почему не послушать? За слушанье шкуры не снимают.

— Такая у нас и есть трёхдюймовая полевая пушка, вы знаете. Пушка прекрасная, настильный огонь вот так, — рукой показал, — хорош-шо поражает. Так что одна батарея может в несколько минут уничтожить батальон пехоты в сомкнутом строю или полк кавалерии.

(Хорошо поражает!..)

— Но именно из-за этой настильности ей приходится умолкать, когда наша пехота сойдётся с противником ближе саженей полотораста: чтоб не попадать по своим. Именно из-за настильно-

сти и не поставишь её близко и не будешь стрелять через головы своей пехоты. И получается, что в самый тяжёлый, опасный момент, когда наша пехота расстреливается пулемётами врага, она лишена поддержки своей артиллерии.

А что? Кажется, забирает: слитно, молча, всё серьёзней смотрят на инженера. Да кого ж это может не забрать? Завтра это может стать твоя судьба, любого из вас, из нас... Третий год они работают на войну, третий год висит над ними как кара — воинский начальник, маршевая рота, пошлют в окопы, — а что они о той войне знают? как пушки их, выпущенные отсюда, потом стоят, перекатываются, стреляют?

— Или так ещё, острее и опасней: когда наша пехота с жертвами, усилиями, прорвёт неприятельскую позицию и ворвётся в его траншеи, в этот момент, когда всё расстроено и перемешано, все не на своих местах, не все и при своих командирах, а уж о телефонной связи и говорить нечего, — в этот момент пехота лишается и артиллерийской поддержки: и связи нет, и дым, и пыль, издали не видно, всё перепуталось — кто ж решится открывать огонь? И получается: за победу, за успех, за понесённые потери наша пехота попадает в особенно незащитное состояние, и ничего не стоит из победы опрокинуть её назад и много побить.

А главное, горячилось и билось в груди, что, кажется, черту мучительную стеснения он переходить начал, и как-то незаметно, и даже уверенно — при осветившихся одним, другим, пятом, седьмом лице. Да ничего ты у них не украл, ни в чём не виноват, зачем же тебе глаза тупить?

И — всё больше глаз на нём. И — интерес, и — пристальность. И стрижка домашняя трогательная. А там-то, братцы, там наголо бреют, и с головою вместе.

— Так вот и выяснилось, уже в боях, ценой крови, что нужна артиллерия сопровождения, которая бы следовала как можно ближе к своей пехоте и открывала бы огонь при всех обстоятельствах, тотчас же — и видя всё своими глазами! А этого как добиться? Для этого наша трёхдюймовая пушка — не приспособлена. Весит она в походном положении больше ста двадцати пудов. Это значит — если дорога крепкая и гладкая, то тянут шесть лошадей. А чуть хуже — впадина, топко или пахано — надо подпрягать до восьми, а то до десяти, и номерам ещё толкать. А на поле боя какая ж до-

рога? Самая наихудшая. И лошадей этих не наберёшься, и их переранят вмиг. Одним словом: если артиллерии следовать за своей пехотой в бою, то не на лошадях.

Отлично слушали. Из-за плеч вытягивались, кому худо видно. Кто рот поразявил, кто охмурился, кто осунулся. Но все понимали, принимали, сопротивления или насмешки не ощущал Дмитриев, и уже мог поддержку черпать не только в своей группке, а — почти в любом лице. И откуда берётся у них эта злость, эти крики и взмахи при уличных столкновениях, как пять дней назад на Большом Сампсоньевском? Не шибко лица развиты, да, помертвей, неодинаковой крестьянских, — но лица наших же черт, но внятные русскому слову, но открытые для тёплой речи. Каким же презрением или чёрствостью надо их так отчуждать?

— А значит, артиллерия должна стать ещё легче и мельче. Разборней. Артиллерия должна стать такая, чтоб не ехала, а шла с пехотой плечо к плечу и выполняла бы её заказы — в ту же минуту. Пушка должна стать такая, чтоб люди прыгали с ней как козы и лезли бы в те же самые траншеи, что и пехота. То есть *траншейная пушка*, или окопная. Вот такая самая, как мы и сделали сейчас, наша группа мастеров.

Заулыбались. Не свои, эти строго, наоборот, эти всё давно понимают, — заулыбались те остальные двести. Оттого что привели их к простому ясному концу. Оттого что: мы — вот какие на нашем заводе, что умеем.

— Наша пушка такая именно: разборная. В походном положении — семь пудов. Втроём всегда перетащишь, верно? А в узком месте и вдвоём перехватить?

Как будто — спрашивал инженер. И сочувственно, но и негромко, загудели, забурчали, заборачивались: *втроём? вдвоём?*

— А лафетик ещё отдельно четыре пуда, это уж на двоих, хоть и бегом. А снаряд — фунт с четвертью, по карманам можно совать. И такая пушка даёт восемь выстрелов в минуту!

— А далеко бьёт? — осмелился мастеровой из самых тут молодой, повеселевший, безумышленный.

— Да можно — на три версты! — сразу ему Дмитриев. Заудивлялись, гулок пошёл.

— Но — не нужно. Чаще будет бить на триста саженой, как глазу видно. А заметил её немец — разобрали, согнулись, перетащили, хоть и по дну окопа.

Одобрjali пушку. Весёлый гулок расширился, отвердел.

Уж разогнался Дмитриев объяснять и дальше: чем эта пушка отличается от бомбомётов, от миномётов. И что есть уже мелкокалиберная траншейная артиллерия и у немцев, и у французов, отстали мы одни... Но почувствовал, что — лишнее и даже отвлечёт, ещё неизвестно, задор ли вызовет, что у нас одних нет? или горечь — отчего же мы такие?..

Он запнулся и на другом, чего не предвидел, ещё не зная успеха: а как они будут решение принимать? Ведь не голосовать же, наверно? Или голосовать? Массой рабочих, где и лучший мастеровой не единоличен, а зависит от остальных, — как вообще всегда принимается?

Да это — Комаров должен знать. Первый раз он оглянулся на Комарова. Тот — ничего, благоприятно слушал, и не уклонялся, что доволен, беспартийно, по-человечески. Он тоже ведь об этой пушке толком не понимал, вот первый раз.

И — на жандарма Дмитриев оглянулся, лучше б не оборачивался, своими глазами не казал бы его забывшим слушателям. Вахмистр, всё тот же гладкий, рассказом не возмущённый, но и не тронутый, на сборище смотрел, не ожидая добра.

А мы уже вот и заодно:

— Так вот, эта пушка, братцы, опаздывает на фронт, уже давно б ей там быть, с минувшей весны. А мы успеем ли — к следующей весне? Много их надо, просто сотни! И только наш Обуховский будет выпускать.

Однако добродушному рассказу есть предел, как и вере добродушной. И с чистым сердцем не всё по-чистому можно вываливать. Честно бы до конца: а почему задержались? А к прошлой весне, а к лету — почему ж не успели? А потому что, потому что... очень долго держали и пересматривали эти чертежи в высоких инстанциях, дремали и брюзжали над ними старые развалины-генералы, одной ногой в отставке, а всё не уходят, расстаться с креслом жаль. Дремали над ними, кто сам никак не угрожаем был отправиться в те траншеи и не сочувствен к серой нашей скотинке, сидящей там. Это они потеряли почти полный год. А вы, братцы...

— А нам, братцы, надо сейчас эти пушки проворно выпускать, чтоб ни одна станочная линия не отдохала...

А впрочем, что ж вы, братцы? вы все — учётные, и тоже не многие угрожаемы отправиться туда...

— Я вот в августе вернулся с Двины. Испытывали мы эту пушку. Солдаты просто нарадоваться не могли: с ней-то — жить можно! скорей бы! поторопите там, в Питере! Вы подумайте, эта пушка — сколько жизней спасёт, наших русских солдат, наших братьев!

И — голосом полным, и — в лица, в лица:

— А вы... А вы на днях приняли решение отказаться от сверхурочных. Там, на Двине, если б сейчас рассказать, что, мол, питерские мастеровые время меряют... после смены гнушаются остаться, и пушек не будет...

Он — верил! Он — там, в двинских окопах, сейчас побывал, и там сказал это, и вместе с теми задрожал от обиды:

— Весь завод как хочет, но вас, братцы, я... прошу... Мы просим... Вот, и Рабочая группа... Облегчить их кровь.

Хотя просил — но уже твёрдо просил, убедаясь в их поддержке, в простодушном сердечном сочувствии.

— Нашим мастерским, отобранным здесь, надо стать на круглосуточную, и по воскресеньям тоже. Сверхурочные разделить между сменами.

В нетерпеливых мыслях он уже разводил их по рабочим местам, уже зная, кому что придётся делать, уже видя, как завтра с утра...

Сопrotивления — нет, не было. Но заминка — была. Но весёлость та привяла, а — покашивались друг на друга, поглядывали. На Комарова. На жандарма.

Да, верно, никто ж из них не был отделен, сам по себе, как же им принять решение? Траншейная пушка — да, хороша, понятна, и братцы с радостью, но — кто-то сильный первый должен вывить их волю, и сразу все согласятся.

А Комаров — что-то медлил, не чувствовал себя тем первым главным, кого-то глазами искал.

И вдруг из-за всех спин, из-за металлической опорной колонны кто-то невидимый, но полногласно, прячась — но властно, резко, дерзко, насмешливо, даже по-петушиному закричал:

— А кто начинал — тот пусть кровь и облегчает! А нам — Рига не нужна, пушай её немцы заберут!!

Не ожидал! Не ожидал Дмитриев! Это был тот самый крик, о котором Евдоким... Надо сейчас же — в ответ! ещё громче! находчиво! — а что? Так глупо — пусть немцы?.. А он изо всех сил им рассказал... И что ж тут отвечать?..

Не успел. Не нашёлся. Да и миг даётся только один. Растерялся.

А жандарм — тот сразу вскочил пружинно и с цыпочек — глядь! И быстро-быстро пошёл туда.

А там — свои спины рядом. Ищи свищи!

Только хуже сделал.

Двести же пятьдесят сидели и молчали. Головы опустья.

34

Вечерняя смена уже вся была в заводе, дневная вышла и вся растеклась: прошли те короткие десять минут, когда залито чёрными людьми расширение Шлиссельбургского проспекта перед заводом гуще любой демонстрации или гулянья. В таких-то скоплениях всё и случается, но не случилось ничего. Одни ушли к заводскому двухэтажному рабочему посёлку, другие растеклись по переулкам; кому не далее Стеклянного городка, пошли по проспекту пешком; кто набил паровичок, все три вагона, внутри и снаружи, и ещё другие остались ждать на остановке. Площадь перед заводом, ярко-светлая от многих электрических фонарей, расчистилась. И открылся — трёхцветный флаг над заводскими воротами (день вступления на престол). Городовой на перекрестке. Медленно проходящий проспектом полицейский патруль (нарядили патрули после волнений). Запоздавший ломовой с перегруженным возом, и лошадь его, при кнуте только кивающая, но не прибавляющая шагу. Свет в окнах и часто открываемая дверь жаховской портерной, по-нашему пивной. Закрытые косыми болтами ставни и двери мясной лавки и булочной. По ту сторону проспекта — ещё и церковная паперть, где, судя по огням притвора, шла вечерня. А по сю сторону — аптека. И маленький, прилепленный к длинному заводскому забору домик больничной кассы.

Вечер стоял всё такой же предзимний — с мелкой морозгою, почти незаметной против фонарей, с лёгким снежным налётом на нетронутых местах мостовой.

В домик больничной кассы на виду у постового и патруля — заходили, и не только заводские, какая-то барышня вошла в припаленной шубке, в каких не ходят на дальней Невской стороне, но это всё проверить уже не полиции было дело, им не поручено,

пусть занимаются, если кому надо. Знала и полиция, и заводская администрация, что в больничных и страховых кассах, заведенных за два года до войны, постоянно копошится что-нибудь незаконное, затёсываются туда посторонние, — но именно к кассам политичнее считалось не придирааться. Да после того, что бурлило в начале недели на Выборгской, городовому и спокойней было самому не соваться и неприятностей не наживать: стоишь, не трогают, и стой.

А в больничной кассе, кроме сеней, всего-то и было две комнаты, и в первой, правда, считали на счётах, заполняли ведомости больничных пособий, увечных пенсий (хотя и между ними служащие раскладывали и переписывали рукописные ходячие листки). Зато служащие второй комнаты ничуть не удивились, что вот пришёл Машистов, свой заводской, простой рабочий, а не простой, известный связями и делами, и кивнул служащим — выйти. Значило: будет тут разговор, явка. Двое служащих прихватили бумажки, ручки, чернильницу, промокательную колыбалку и перешли в первую комнату. А сюда сразу же вошли строгий молодой человек в драповом песочном пальто и толстом, тёплом рыжем кепи и та барышня в шубке дорогого сукна, но по-простому покрытая оренбургским платком.

— Привет, товарищ Вадим! — встретил молодого человека сорокалетний Машистов с прямоугольным неподвижным лицом.

Молодой человек снял мокроватое кепи на картонную бумагу, застилавшую главный стол, пожал руку Машистову и познакомил:

— А это — товарищ Мария. Иногда будет вместо меня. Запоминайте.

Не так-то строго было на обуховской проходной, когда нужно было — проникал «товарищ Вадим» и туда, и где-нибудь в каморке собирали человек и по двадцать, но сегодня не требовалось, и зря не мелькать не дразнить, назначили тут. Да не главная ли польза больничных касс и была не та жалкая подачка, какую они кидали рабочим, — бесплатные там лекарства, лечение, две трети заработка при болезни или несчастном случае, а именно вот эта легальная возможность собираться под крышей, проводить агитацию, организацию и конспирацию без помех? С каждым годом такие возможности ширились: учреждались ещё рабочие кооперативы, заводские столовые, всё новые и новые удобные места явок, встреч, передач и просто устного убеждения. Несмотря на войну, с каждым годом работать становилось всё легче, всё ближе к то-

му, как вспоминали старшие (не сам Вадим, ему только 22), как это было в революционные годы. Выжили и в мутный Четырнадцатый год, когда одурели все от шовинистического смрада, когда, рассказывают, при простых рабочих нельзя было и заикнуться против этой войны, листовок в руки не брали, и писать их уже отчаялись, и свою партийную принадлежность скрывали даже от соседа по станку — могли избить. Уж хуже того времени не придёт никогда.

— А остальные? — спросил товарищ Вадим, не снимая пальто, лишь вытянул с горла шарф бурый с красными клетками, положил на главный стол. Пригладил рукой свои светло-серые с прорыжью шерстяные упругие волосы, даже кепи не примятые, опять в пружине. И сел за стол. Вопреки своей молодости, он манерами вызывал безусловное уважение.

— Сейчас должны. — Машистов подавал слова крепкой челюстью, размеренно, неспешно, значительно. — Уксилка немного задержится.

Уксилка задержится, Макарова тоже не было, а вошёл Ефим Дахин, резкий в движениях и как будто сильно нахмуренный, а нахмурен он не был, но так получалось от глубокого запáда его малых глаз.

— Привет, Вадим! — отрывисто, грубовато здоровался он. Темно посмотрел на девушку, но познакомили — поздоровался, как и с мужчинами, за руку. — Привет, товарищ Мария!

— Здравствуйте! — каждому говорила Мария, почтительно подавая руку, с приклоном, от полноты теплоты в голосе негромко. Она не снимала, но расстегнула шубку на груди, откинула на спину мокрый платок, показалась чёрная косоворотка с яркими студенческими пуговицами. И как ни строго ровным зачёсом назад были убраны её тёмно-русые волосы, и как ни строго, далеко от того, вели себя мужчины, нельзя было не заметить — красавица!

А Дахин вошёл не один и тут же показал:

— А это — гордость нашего механического цеха Акиндиин Кожушкин!

Стоял за ним парень с шапкою в руках перед собой, сразу видно — не партийный, не опытный, раззявистый, со лба отлогого волосы откинута как ни попадя — на уши, на затылок, куда нагладились, лицо худощавое, ещё безволосое, и рот приоткрыт — от радости.

— Ну-ка, Кеша, расскажи, как ты инженера отбрил! — мрачно любовался им Дахин.

— Да что...? Чего?.. Так вот... — ещё радостней заулыбался Кеша, открывая вихляво растущие зубы. А рассказывать — не мог, не умел такого.

— В общем, — взялся Дахин сам, глухо-хриплым голосом, — Комаров-лакей вместе с жандармом и заводоуправлением собрали нас на свой молебен. Во имя червового туза и золотого мешка. И сунулся инженер к сердцу самому добираться. Чтоб мы по ночам, по воскресеньям ещё новую пушку им делали...

Машистов знал уже, Вадим внимательно отнёсся, а Мария — распахнула, распахнула ресницы, открыла тёмно-карий взор, изумляясь и этой наглости инженера и этой смелости отпора.

— А мой голос все знают, так я Кешу научил: стань вот тут, за столбом, да крикни посильней, что тебе скажу, а я тебя прикрою.

А Кеша сейчас — и голоса того лишился, голоса дерзкого, петушиного, и только улыбался кривоzubо, видя, как все, и баричи захожие, им довольны.

У Вадима — да, была какая-то породистость, для представления — хорошо, а например для драки плохо: кожа — белая, тонкая, не то что рукавицей, а ладошкой в кровь сотрёшь, белая, но не гладкая, а с пупырышками розовыми на сковыр.

— Хорошо. Очень хорошо, — сказал он и улыбнулся Акиндину. — Спасибо, товарищ Кокушкин.

Подумал — привстал, и пожал руку Акиндину через стол.

Тогда и Мария тоже встала, подошла — и пожала руку Кеше. Да бережно как пожала, или нежно как — зашло кешино сердце, голова закружилась. Барышня такая ему и издали не снилась, не то что прикоснуться.

Воротилась Мария, села. И Машистов опустил в стул медленным, прочным движением. И Акиндин так понял, что и ему — сесть, да комната и тесна была на пятерых, чтоб расхаживать тут. И он — сел у ближнего же стола, перед собой на стол шапку положил. И улыбался.

И только Дахин один стоял. Хмурясь.

Вадим посмотрел на того, на другого. И замешательство заметил и оценил, что всё правильно.

— Молодец, товарищ Кокушкин, — сказал он чётко, ясно, закружённо, как награждая каждым словом. — И всегда следуйте своему рабочему чутью, оно не обманет.

— Он и слесарь у нас неплохой, — добавил Машистов.

— Оно не обманет. Подойдёт к вам сборщик на помощь раненым, или там семействам убитых, или беженцам — что вы ответите?

Может — и знал Акиндин, может и нашёлся бы ответить тому сборщику, — а сейчас? В нужное попасть не мог, да вымолвить ничего не мог, на барышню дивную косясь.

— Что вам подсказывает чутьё?

Не стянув губ, не покрыв зубов, смотрел Акиндин на бледного важного барича зачарованно.

Но Вадим и не ждал ответа. Неторопливо, сам себя слушая, а ясными глазами глядя на Кешу, объяснял:

— Надо ответить: а разве правительство спрашивало нас, когда затевало войну? Разве это мы виноваты, что оказались вдовы, сироты, калеки, беженцы? Вот кто затевал, кто их оставил такими, тот пусть и платит. Да разве морю народного бедствия можно помочь скудными рабочими грошами?.. А подойдут к вам собирать на политических жертв, на сосланных, на венки или на семьи — вот это наш сбор, тут, кроме нас, рабочих, никто.

Ни радостного, ни похвального уже ничего не было в этих словах, но Акиндин так и застыл, полуулыбаясь.

А Мария, не по молодости степенная, сидела с тем спокойствием несуетливой красоты, какое бывает в русских женских лицах. Слушала Вадима, не пророня, и переводила на Кешу, проверяя, и благожелательно на остальных.

— Вот на этот крючок патриотизма и ловят нас. У кого сердца молотом не откованные.

Образ! Мария не упустила его тёмными распахнутыми глазами. Как это верно и метко! Вот сидел через стол от неё Машистов. Не только лицо его как будто вышло из-под того молота — не уже к челюсти, не шире ко лбу, с твёрдыми неподвижными глазами, но и вся его ощутимая душевная железность — не от того ли откованного сердца?

А Вадим, не скупясь, продолжал и для одного Кеши, ибо остальным это уж слишком азбучно было:

— Надо открывать себе глаза, товарищ Кокушкин, что наш враг — не в далёкой где-то стране, за границей, а тут, у нас, рядом. До каких же пор будем поддаваться, что русский солдат — наш брат, ему нужно пушку скорей, а немецкий солдат, немецкий рабочий — что ж, нам не брат? Или не всё равно для пролетариата,

кто его эксплуатирует — русский капиталист или немецкий? Кто вас слишком назойливо призывает спасать отечество, тому отвечайте старым обуховским лозунгом Девятьсот Первого года, вашим же лозунгом. Знаете, помните?

Где там Кеша, юнец, кажется и другие не знали, не читали. Но Вадим знал, хотя и не обуховец, и теперь уж для всех:

— *Наше отечество — там, где хлеб.*

Так, так, моргал Акиндин. Очень был согласен, польщён. Уходить — не собирался.

А Дахин стоял над ним, сердитый. Так и не сел.

Достаточно было сказано, но потому ль, что остальные не подошли, товарищ Вадим, белым носовым платком отерши углы рта, продолжил и ещё, так же ясно, гладко и без форсировки голоса:

— Нам — умирать, а им — только пир, им эта война хоть десять лет иди. Вам — бумажные деньги, а воротилы расхищают народное золото. Вот, например, что вы сейчас едите? Ведь нечего.

— Щи, картошку, — вспомнил Кеша. — Рыбу.

— А щи — без мяса?

— Когда и мясные.

— Вот. Да хлеб ржаной, ситного вы не купите. На этой еде разве по силам пушки отливать?.. А что фабриканты кушают? Вы представляете?

Нет, этого Акиндин не представлял никак. Да и другие тоже. Там какие-нибудь рябчики, плавающие в сметане, неопикуемые, на земле не бывающие.

— Рубаха, — осмелел Акиндин, — раньше три четвертака и сносу нет. А сейчас как бы не три целковых. — Ещё оживился. — За угол я платил два рубля, а нынче хозяйка восемь требует.

— Вот. Вот. А ещё хотят объявить вас безправным стадом, с завода на завод не перейти. А ещё хотят вас в маршевые роты и на фронт...

Но уже за спиной Акиндина вошёл и стал длинный белый деревянный Уксила.

И хмурый Дахин сказал нетерпеливо:

— Ладно, Кеша, ты теперь иди.

Кеша опомнился, вскочил, взял шапку, радостно поклонился, поклонился — своим, чужим, никто больше руки ему не жал, — пошёл.

Вот теперь Дахин сел. Резко.

Товарищ Вадим улыбнулся:

— Никогда не нервничайте, товарищ Дахин. Никогда не жалейте времени на агитацию, она всегда себя оправдает. Да вот вы и правильно поступили. Вы Кокушкина ведь не готовили постепенно? Сразу, да?

Имел в виду Вадим существующие разные методы вербовки и развития рабочих, прежде чем допустить такого в партийный круг: наблюдать за ним у станка, изучать его настроение в якобы случайных разговорах, давать задания сперва неответственные, вроде денежных сборов, потом — листовки переносить из мастерской в мастерскую.

— Вот, перешагнули смело — и оборонческую паутину порвали, и человека проверили. И привели его сюда, тоже правильно.

Дахин не терял своей хмурости — не выкатить было ему глаз из ямок, и губ не помягчил, — а в чём-то всё-таки видно было, что похвалой доволен.

Как слушали Вадима — заметила Мария. Насколько он был моложе всех, и какое признаваемое превосходство речи, ума, опыта.

Однако теперь остались только свои, партийные (очевидно, и Мария такая, раз он её привёл), — и все стали строже и сдвинулись ближе к делу.

— Товарищи, — сказал Вадим новым свежим тоном, не плавно-разъяснительным, как Кеше. — Я сейчас — с прямым поручением от ПК.

Пэ-Ка! Это прозвучало!

— Петербургский Комитет очень обижается на обуховцев — как вы могли 17-го — 18-го не поддержать Выборгскую сторону? Пальцем не пошевелили.

Только вздохнули в ответ. Машистов — тяжелей других. Машистов — заводской *организатор*. Главная тяжесть упрёка — ему. Пошевелил прямоугольной челюстью:

— Что можем, делаем. Отказались от сверхурочных. Сейчас два цеха бастуют. За полторы полочки.

— Тогда почему не все? — строго спросил Вадим. — Вот и смотрят в ПК на Невскую сторону, что мы ликвидаторам передаёмся.

— Ну уж! — вырвалось у Дахина зло. Глаза его иглили из углубин.

Вадим развёл белыми крупными мягкими пальцами (он не стыдился своих нерабочих рук, они наработывали лучше):

— А как же? А 9-го января? Весь рабочий Питер бастовал, одна Невская работала. Чем мы отговаривались? Что не пришли нас «снять», позвать? Вот и говорят, что за Невской заставой — не боевые тенденции.

Верно, усмехнулся долговязый Уксила, согнутый над конторским столом. Стыдно, давно видно — не боевые.

А руки их всех — трудовые, честные, крепкие, жилистые, привыкшие к хватке инструмента — были видны, лежали на столах, вцепились в спинку стула, — и она была допущена в этот круг! Вероника не верила себе: сегодня впервые вот так запросто, как равная, сидела с этими железными людьми, с этими верными сердцами, ещё стыдясь и несменённой своей шубки, в какой прилично пойти в Александринку, а здесь только конспирацию нарушаешь, и своих обильных волос, как выставленных для любования, и совсем уж нежных рук. За гордость, за счастье быть принятой равно этими людьми и оказаться полезной им — она клялась отречься, уже отрекалась и уходила от своей прежней пустой жизни, от бесплодной болтовни.

Отрекалась — и не совсем внимательно слышала, о чём тут говорили сейчас.

— Это — влияние Александровского завода, — вдумчиво сказал Машистов. Вдумчивость исходила от его уставленных, почти не шевелящихся глаз. — Они омещанились, домкí себе устроили, коровок держат — и наши за ними тянутся.

— Сейчас к праздникам готовятся, вот в церковь повалят! — отрубисто выбросил Дахин.

— Что ещё за праздники? — удивился Вадим.

— Казанская. Потом — всех скорбящих! — выбросил Дахин. — Престол у них.

— Ну придумают же попы — «всех скорбящих»! — изумился, развеселился Вадим. — Вот ловкие, прямо в цель! Только всех скорбящих надо на восстание поднимать, а не боженьке поклонь...

— Очень пассивные наши стали, — с сильным финским акцентом сказал Уксила. — Боятся маршевой роты. На кооперативы надеются.

Самому Уксиле, как финну, маршевая рота не грозила ни при каком случае. Воинской повинности на них нет.

— На кооперативы! — усмехнулся Вадим большими нежными розовыми губами. — Накормят вас кооперативы... Гвоздѣвский Столовый центр... Вы-то хоть, вот вы — понимаете, что вся эта возня с кооперацией и столовыми — только усиление эксплуатации, чтоб из вас же и вытянуть больше?

Да понятно, тупились рабочие вожак, очередной обман.

— Вы плетѣтесь за думскими меньшевиками, за Чхеидзе, марксистскообразным лакеем Гучкова-Пуришкевича, — и даже он революционнее вас.

Молчали. Темнота.

— В общем, товарищи, было заседание ПК. И мне дали инструкцию к Обуховскому. Главная установка нашей пропаганды теперь берѣтся — на неравномерность потребления, на дороговизну, нехватку продуктов. И в этом направлении надо настойчиво использовать недовольство и возмущение масс. А вы — всю кампанию по дороговизне прохлопали.

Молчали, нечего ответить.

— Но не поздно и сейчас.

Из внутреннего кармана пальто достал несколько бумаг, сложенных вместе, вчетверо. Развернул.

— Во-первых, надо будет сколотить короткий митинг, принять вот такую резолюцию. Вот — проект типовой резолюции, разработанной ПК для собраний рабочих о продовольственном кризисе... Мы, рабочие... такого-то завода, вписать какого... обсудив вопрос о продовольственном кризисе... — Бойко, бегло читал, но слова не мешались, не цеплялись. — Первое, что он есть неизбежное следствие... третье, что дальнейшее продолжение войны влечѣт за собой голод, нищету, вырождение народных масс; четвертое, что рабочие столовые, повышение заработной платы и тому подобные полумеры лишь выделяют рабочих в особые условия снабжения, натравливают остальное население на рабочий класс и разделяют силы революции, пятое... Итак, всему рабочему классу и всей демократии надо подниматься на революционную борьбу и на гражданскую войну под лозунгом «долгой войну»!!

И это была — только малая часть его способностей, что он так быстро мог прочесть, охватить, объяснить материал. Уже теперь знала Вероника, что её руководитель в новой жизни почти с той же быстротой и — писал! «Товарищ Вадим», Матвей Рысс, состоял в литературной коллегии ПК. Он был — специалист по листов-

кам. Он сидел и почти за час уже начисто мог горячим, убедительным слогом призвать массы или выйти на улицу («бросайте душные своды тюрем труда!»), или напротив — не выходить («не дайте прежде времени пролить на питерские мостовые свою драгоценную рабочую кровь!»), попеременно обратить гнев то на «романовскую шайку потомственных кровопийц», то на «акул отечественной промышленности», то на «безнадёжную мещанскую тугодумность социалистов-ликвидаторов». Можно признать, что в этих устоявшихся выражениях не хватало литературного вкуса, но какой напор! — он захватывал лёгкие. Да не сам Матвей придумывал эти выражения, они уже существовали и соответствовали аудитории и задачам действия, умение же Матвея состояло в том, что он сотни их помнил, и они свободно перемещались в его памяти, при нужде выныривали, при нужде тонули, — и вдруг зацеплялись и эффектно подавались под перо те именно, самые нужные, «колесницы милитаризма» или «коммивояжёры шовинизма», «коронованные убийцы» или «измученные невзгодами братья», которые должны были окружить и укрепить последние требования и призывы ПК.

Да что ПК!

— Есть указания и от БЦК! — всё суровей, всё значительней объявлял Вадим.

Как БЦК? Повернулись все, Машистов резче обычного:

— Бюро ЦК? Так его ж нет.

— На днях восстановлено, — загадочно сказал им Вадим. И ещё загадочней: — На днях вернулся из-за границы товарищ Беленин.

Вот это *из-за границы вернулся* — поражало воображение. Все фронты в снаряжных разрывах, воронках, проволоках, все границы в кордонах, беспаспортный гонимый подпольщик — как он переносится, по воздуху, что ли? вчера в Швейцарии, сегодня в Петербурге, — что за богатыри?

— Беленин? Это кто? — не удержался переспросить невыдержанный Дахин.

Не знал он, кто такой «Беленин»? Косо усмехнулся длинный Уксила, ещё застылее смотрел Машистов, сожалительно облизнул губы Вадим, и даже Веронике, самой не знавшей, кто такой Беленин, стало неловко за неприличие дахинского переспроса.

И Дахин ещё глубже забрал свои глаза в притемнённые глазницы.

— Так вот, БЦК указывает, — ровно продолжал Вадим. — Всеми силами бороться против гвоздѐвцев. Последовательно и по широкому фронту саботировать всё военное производство. Понятно?

Вполне. Да ведь кое-что и делаем.

— Но предупреждение: помнить, что наша главная сила — стачка. Квалифицированных рабочих не хватает, на фронт не пошлют, и можно требовать многое. Бастовать, устраивать митинги, принимать резкие резолюции. Но если придётся выйти на улицу, то всяких столкновений избегать. Время не пришло. Последний штурм будет тогда, когда мы установим полный союз с армией. Тоже понятно?

Как же далеко, как далеко ушло то время, вспоминала Вероника, тот июль Четырнадцатого, когда студенты на Невском пели патриотические гимны, стояли на коленях перед Зимним, и курсистки-бестужевки радовались: война — освежающая буря! Когда сидящие даже в трамваях снимали шляпы, если по улице манифестация пела «Боже, царя храни». И как же всё повернулось — когда? — что ни во взятие Эрзерума, ни от брусиловского наступления уже никого не выгонишь праздновать на улице. И вот, серьёзно, как о самом близком: время последнего штурма! И вовсе открыто: не надо нам ваших пушек, война вашей войне!!

Вот это ощущение верной силы — силы растущей, знающей себя, — покорило и привлекло сюда девушку, перетопляло её счастьем присоединиться. Она удивлялась самой себе прежней: как слепо и долго не могла выйти на верную дорогу.

— И ещё последнее. Постановлением БЦК, 26-го, в день открытия суда над революционными матросами, — провести всеобщую петербургскую однодневную стачку. Стачку протеста против этого суда.

— Это — какими же матросами? — не обжѐгся, не унялся Дахин, всё ему знать.

— Революционными, сказали! — оборвал его Уксила.

А Машистов, хотя тоже не знал про матросов, но смотрел так преданно-твёрдо, будто всю жизнь только об этих матросах и сокрушался, уже наболело у него с этими матросами.

— С матросами вот какими, — объяснил, однако, Вадим. — Прошлой осенью они вели пропаганду среди судовых команд. Там... из-за пищи, из-за немецких офицерских фамилий, неважно.

Но вызвали волнения на «Гангуте» и на «Рюрикe», и мы их рассматриваем как революционных. Продержали их по тюрьмам, теперь готовят расправу. Да вы завтра листовки получите, вот товарищ Мария привезёт, для чего я её и привёл.

Мария покраснела, все посмотрели на неё.

— А в листовке, если хотите, вот... — Вадим охотно развернул и бегло читал с написанного выдержки, так читал, как бежит кенгуру или заяц — прыжками, только чуть касаясь кое-где, чуть унося на лапах крошки земли: — ...За то, что они в душных казармах сохранили ясность революционного сознания... не захотели быть бессловесным орудием в руках... Пусть дрогнет рука палача перед протестом народа! Долой смертную казнь!

Долой смертную казнь!.. Мечта Толстого! Мечта лучших сердец! И сколько лет блужданий потратила бестужевка в «мирах искусств», пока достигла этих людей и задохнулась от их широты!

Тонкая нежная кожа Матвея разрозовелась. Однако не всё подряд читать. Сложил бумажки, оглядел зорко каждого из товарищей:

— Но одновременно это будет стачка и против ареста солдат 181-го полка. И — против дороговизны. И участием в этой стачке вы смоете свой позор за предыдущее бездействие. Готовьтесь. Потянете?

Должны были потянуть. Усила встал в свой длинный рост. И Машистов поднялся, поднимая параллелепипед головы.

Уговаривались по мелочам, одевались.

Буро-красным шарфом Матвей обмотал горло, надевал теперь кеги.

И Вероника натянула оренбургский платок, пряча холёные волосы свои и хоть немного опрощаясь. Жали руки все всем, и ей пожали трое. Она касалась этих честных рабочих труженых рук почтительно-благоговейно, а ей пожали крепко, железно, больно — и радостно.

Доверяли ей. Посвящали её.

Боже, как хотелось ей оказаться хоть немного полезной и достойной этих людей и этого благородного движения: кончать войну! Кончать все войны на земле, раз и навсегда! И все смертные казни! Никого не угнетать! Всех — освободить от покорения!

Вышли из домика больничной кассы — на виду у постового, где-то и патруль, и Матвей для безвинного вида взял девушку

под руку, и так пошли они, пошли медленно по Шлиссельбургскому.

И хотя знала Вероника, что Матвей взял её лишь для виду, что столько заботы к ней нет у него, — а шла, как если бы всё взаправду.

— Я тебе так благодарна, что ты меня привёл. Что ты мне это поручаешь. Ты увидишь, я буду очень подходящая.

Матвей молчал, о своём думал.

Приятный был полужимний вечерок. Мелкие холодные не снежинки, но и не капельки, садились на лоб, на щёки. Фонари, фонари уводили по длинному проспекту, без тротуаров, с одной мостовой. Лежал обрывок газеты — один, другой. Запущено, вряд ли так раньше. Малоллюдно было. Лавки все заперты, в переулках темно. Проехал в город новенький американский грузовик, посторонились, Вероника отбежала, шубку сберегая от обшлёпа, невольна. Да и Матвей подался.

А за двадцать длинных кварталов впереди них этот город, полгода тёмный, весь в камне, однако такой приспособленный для вечернего света, для развлечений, балов, театров, рысаков, поездок на острова, такой налаженный город блаженства для немногих, — в этот вечерний час только начинал жить своей главной жизнью, и юные гвардейцы на лихачах, вставши в рост для стати и перчатками по плечу возницы стегающие для скорости, гнали на свои назначенные удовольствия, ничего решительно знать не желая об этих рабочих окраинах, об этих стачках, уже ударявших и которые вот ударят.

И самой Веронике надо было садиться на паровичок, потом на трамвай, пересечь весь этот праздный, нарядный город, его мосты, и в дальний край Васильевского острова, в конец Николаевской набережной, на 21-ю линию.

Но — не хотелось ей так быстро уезжать. А Матвей жил у отца-адвоката на Старо-Невском, но снимал комнату и здесь, близ Бехтеревской клиники, скоро налево, недалеко от своего Психоневрологического института. Сейчас институт их бурлил, отнимали у них автономию, — и Матвей должен был быть близко, на месте.

И когда, миновав возможную опасность полицейского пригляда, он отнял руку, не вёл её больше, она посмотрела на него сбоку, на его смелое, уверенное, энергичное лицо, и робко сама

подвернула руку в облитой перчатке под его локоть. А чтоб это не выглядело кисейным слюнтяйством, сразу и спросила:

— Матвей. Скажи...

Раньше-то всего хотелось ей спросить — кто такой Беленин (кличка, конечно)?

Но — нельзя было так спрашивать и напарываться, чтоб он на это указал. В конспирации не должно быть никаких пустых любопытств или действий. И эта замкнутость партийной тайны и собственная неуклонная твёрдость Матвея сливались для Вероники в одну единую мужественность. Эта партия — не шутила, не болтала, ляды не точила, и так сильно отличалась от того расслабленного, бездейственного окружения, где Вероника прозябала до сих пор.

— Ска-жи... Я всё-таки вот не понимаю...

— Да? — рассеянно спросил он, глядя вперёд.

Вероника и хотела стать поскорее цельной, как все они, но всё же возникали, двоились сомнения, и она — спрашивала, Матвей и поощрял — спрашивай.

— Вот этот лозунг — превратить нынешнюю войну в гражданскую. — Она называла грозные исторические явления, а голос её был такой мягкий, домашний. — А это не может, наоборот, затянуть продовольственный кризис? Я вот думаю: если война уже на третьем году грозит народу вырождением — так что же будет, если она продлится, хоть и гражданская?

— Что ты, что ты! — прислушался и просто рассмеялся Матвей. — Как только мы сшибем это грабительское правительство и всяких негодяев Гучковых-Рябушинских, как только установится демократическая республика — сразу не станут этих хвостов, этой дороговизны, все продукты сразу появятся.

— Откуда же?

— Да их полно. Их в Питере сейчас — полно. Их только прячут — купцы, промышленники, ожидая сорвать на них сверхприбыли. Вот мы идём мимо этого длинного забора, не перескочишь. А — что за ним? Какой-то склад, наверно, и очень может быть, что в этом складе полно провизии, товаров, и только добраться надо. Не-ет, — усмехался он её неверию. — Весь продовольственный кризис — от игры спроса и предложения, от спекуляции. А установить завтра социалистическое распределение — и сразу всем хватит, ещё и с избытком. Голод прекратится на второй день ре-

волюции. Всё появится — и сахар, и мясо, и белый хлеб, и молоко. Народ всё возьмёт в свои руки — и запасы, и хозяйство, будет плавно регулировать, и наступит даже изобилие. Да с каким энтузиазмом будут всё производить! Можно больше сказать: разрешение продовольственного кризиса и невозможно без социализма, потому что только тогда общественное производство станет служить не обогащению отдельных людей, а интересам всего человечества!

Вероника не смотрела себе под ноги. Она уже и второй рукой держалась за локоть Матвея и заглядывалась на его увлечённое выражение. Она любила, когда он мечтал о будущем, это даже не мечта была — дрожь пробирала от яркости уже воплощаемых картин. От силы этого человека.

Когда-нибудь познакомить их с братом Сашей, вот если переведётся в Петербург. Они сразу должны сойтись. Так и видела: они просто похожи! Не наружностью совсем, но чем-то другим, бóльшим!

— Да и это только говорится — «гражданская война». А между кем — и кем? Целому единому трудящемуся народу — долго ли может противостоять кучка эксплуататоров? Месяц-два? Да если ещё и по всей Европе пролетариат сразу же будет брать власть — и протянет нам руку? А германский пролетариат — это какая силища!

— И война с Германией прекратится?

— Так именно! Именно! Как только будет создан социалистический строй, так сразу все войны кончатся. Две социалистические страны между собой — неужели могут воевать? Ну как ты себе это представляешь?

Действительно, нелепо.

— Социалистическое государство уже никто воевать не заставит! Войны затевают правители, а не народы. Кончится капиталистический строй — и кончатся людские страдания.

Как хорошо. Боже! И как хорошо, что не постыдилась спросить, и теперь сама так стройно видишь всё.

А между тем:

— Вон остановка, иди. Значит, завтра заедешь ко мне за листовками — когда?

А ему налево поворачивать, по Четвёртому Кругу.

— Я тебя провожу, — попросила она, изгибая спину. Пошли по этой ломаной тёмной улице, к парку туда. Промолчали не-

много. Вдруг Матвей остановился. Перенял её за спину одной рукой и стал целовать. То ни взгляда, ни движенья к этому не было, а вот — часто, жадно, наминая ей губы губами, запрокидывая голову ей назад.

И платок её сбился, свалился на спину.

Но не было ей ни холодно, ни изогнуто, ни колко.

Счастливо.

* * *

Разрушим дряхлую деспотию Николая Второго, сметём с земли русской всю погань дворянскую и поповскую — и кончится насилие, и прекратятся войны навсегда. На арену, залитую кровью, уже вышли передовые отряды Интернационала. Не медлите, товарищи! Бойтесь прийти слишком поздно. Да здравствует Федеративная Республика Европы!

(РСДРП)

* * *

35

Деревенское уличное прозвище редко такое пришлёпают, чтоб не обидное было, чтоб сам бы ты себе не хотел покраше. В том и прозвище — клонуть тебя побольней: и нас по больному ожгли всех, ну и тебя же! От малых твоих лет, парень ли ты, девка, приметливо и нещадно следит за тобой улица, глядит через окошки, хроманул ты аль из рук что вывалилось, слышит через заборы — заскулил аль замолил; не опустят тебя и в поле, на работе, в дороге ли извозной, ось ли твоя не мазана, лошадь не кормлена — вот ты уже и Шастрик, вот ты уже и Кырка. А уж бабы к бабам приглядчивы вдесятеро, уж и дёжку ты не так накрыла, и отымалку не туда кинула, у прялки не так села — вот ты уже Сувалка или Трумуса, нерасторопна или суetyга зряшная, не знаешь, что хуже. Кинет прозвище кто как приметит, кинет — и либо тут же оно опадёт сухим ошмётком, либо подхватится, подхватится уличным ветром и влепит тебе в самую щеку, ажнык хоть сгори. У садомни, у малышей — прозвища у всех, но они почти не переходят во взросль. А уж взрослой девке влепится — и внуков с тем будешь ка-

чать, парню влипится — и в дедах таким же проходишь, смотри — и потомкам передашь: по Рюме так и пойдут все Рюмины, по Сате — Сатичи, вопрекор и с фамилией. Фамилия твоя — для волости, для писаря, для воинского начальника, для земского фельдшера. Фамилия затёрта от прапрадедов и прадедов, и лишь то указывается, чьих ты, от кого. А тебя самого по-правдошнему выскаливает для своих деревенских — только прозвище. За один какой-то миг твой нескладистый, за одну какую-то промашку — так и врежется тебе на весь век.

Верно говорят: на час ума не станет — навек дураком прослывёшь.

Так же и помещиков. Назвали вот Цирманта — «заплатанный помещик», и хоть ты теперь хоромами расхлеснись, тройки в серебро убери — всё едино будешь «заплатанный», ко князьям Волхонским не мостись.

Есть в этой выхватке, есть. Обапол — никого не назовут. Высмотрено — значит в тебе это сидит. И везуч на деревне, кому прозвище кинут не вовсе обидное: Мосол — знать добычной (но — с урывом, с рычаньем), Калдаш — знать крепкий (а — и со спотыкой, и колодистый).

Елисея же Благодарёва назвали в Каменке — Стёбень. И никаким призывком не было то обидно.

Появился он в Каменке уже взрослым мужиком, за тридцать лет, перед турецкой войной, и женился на Домаше Ополовниковой, призяченным вошёл в дом. Местность его родная была позадь Байкала, хоть и там его прадеды не извеку жили. Как-то ж прозывали его и там, но того прозвища он сюда с собой не перенёс, никому не высказал, как и про всю ту свою опережную жизнь, разве что Домахе когда, а сыновья ничего про то от батьки не слыхали. Что-то ж он до тридцати лет делал, где-то жил или носился, поди на чём-то хрустнул, а и на речку Савалу не ломленный пришёл, так что скоро и в бобыле признала Каменка: Стёбень.

Не легко досталось Елисею Благодарёву и тут, в хилой семье без мужиков, долго на него и на первого сына не давали надеда, начинать пришлось с купли в долг, выплачивать в рассрочку, потом ещё приарендовывать, лишь позже дали на две души, потом и на второго сына Арсения, а у них детей уже пятеро было, да двух сирот Елисей принял от домахиной сестры, в их же семье когда-то и доросшей до выданья. Вот уже и в Каменке жил Елисей боле тридцати лет, не пил, не курил, не зорил, не буянил, только тянул

свой воз, но так был воз перегружен и так зажирали колёса, что всего напряжения жизни его и тела не хватало разогнуться и понестись. Как и многие, не он один, запряжен был Елисей свыше мочи, а досадливей всего — что дорога в колдобинах. И всё ж старшего сына Адриана сумел он выделить на хутор, под Синие Кусты. И всё ж додержал до нонешней старости прямой стан, сторожкость головы и ясный, острый, дальний взгляд, так что слишком близко смотреть ему как будто и резало, шурился он. Светло и дальне он так поглядывал и в 66 лет, кубыть молод был ещё и полагал свою могуту ещё впереди.

Арсения же Благодарёва звали по-уличному Гуря. Ростом и крепостью до батьки дотягивал он, но не было ни в нём, ни в брате Адриане отцовской ровноты и струнности. Они и волосами и полищем были потемней, носы поширше, скулы пораздатистей, по-тамбовски, и губы пораспустенней, и голова так не взнесена на шею. Ворчал Елисей: «Испортила ты, Домаха, мою породу».

А вот самый меньшой сын сличен был с отцом, тоже светленький да стебелистый. Сейчас бы ему было осмнадцать. Но — подростком утоп, лошадей купая в пруду, на переплыве держась за хвост.

И двум дочерям замужество досталось на отшибе: одной — в Коровайнове, на Мокрой Панде, другой ещё дале — в Иноковке, уже под Кирсановом. Так и жили с одним Арсением, и то готовясь к выделу его. А тут война.

И — ни по чему, ниоткуда отец его сегодня не ждал. А из-под тележного навеса услышал, как звукнула щеколда калитки, — и ни по чему, а в сердце торкнуло мягко. А и по чему: Чирок гавкнул (пока овцы не поставлены на корм, по всему селу собак с цепей не спускают), второй раз полугавкнул уже с приветом, и тут же смолк, каб запрыгал. И, как был, с седёлкой в руках, запрягать намерялся, Елисей вышел по подворью — и сверкнуло ему:

— Сенька! Ты?

Да как будто вырос ещё! — от солдатского затыга. И только спустил мешочек с левого плеча наземь — как уж батька его грабастал, уткнулся ему в щеку, над погоном с каймою жёлтой, скрещенными пушками и пламенем взрыва, гренадерским значком.

И фуражка военная сбилась от батькиной бараньей шапки. И седёлкой по спине прихлопнул Арсения, забыл откинуть. Усами,

бородкой — в голое сенькино лицо тык, свежий запах ветряной, сенный, кожаный — здешний, нашенский!

И никто не наклонясь, ростом близки.

— Папаня! А ты не погорбился.

— Я-а? — на откинутых руках, на сына дивуюсь. — Я сноп спускаю без цепа, пять раз размахнусь — и сыромолотка.

И поверишь: тополь, не старик, хваткие руки на сенькиных плечах, голос твёрд, взор ясен:

— У меня навильник — копна, пока вторую подвезут — а моя уже на скирду. Я конца себе ещё не предвижу, Сенька. Коль хошь — и воевать сейчас пойду, не хуже тебя. — Поприщурил свой острый дальний взор.

Да его уже и на Японскую по возрасту не брали. А с Турецкой у него — Егорий есть. Но у Сеньки уже две лычки. А на шинельной груди вот уже два крестовых звяка (что ль теперь их легче дают?), и один Егорий такой сверклый, новенький, ленточка чистая, даже жалко носить затрапезно. Не проминул батька, огладил кресты:

— Ну, ну. Значит, ничаво служишь? А чо ж без нас скончать не можете?

И заново поцеловались.

На том их мать и настигла — в окно она Сеньку не заметила, а к подворью стена избы глухая, — теперь из сеней, должно, услышала, из-за угла избы выкатила шарбм. Роста в ней много поменьше мужа да сына, а сил не избыло, отталкивает мужика, сына к себе забирает, гнёт, обдаёт его дымным запахом да печным жаром — и дыханьем одним, не голосом:

— Сенечка! Сыночек!

Сейчас-то его и обцеловать, другой раз не нагнётся, постыдится, сейчас-то его и обцеловать, богоданного, Матушкой-Богородицей Казанской сохранённого и возвёрнутого ко самому престольному дню её.

Гладка мать, не больно морщинами иссечена. Нисколько она на отца не похожа, весь склад и выгяд, глаза тёмные, — всё другое, а тоже ясность во взоре.

Всякая баба при том плачет, а мать — держится. Сеньку за щеки руками, глядит-любуется, а не всхлипнула. Глядит да всматривается, да проверяет:

— Глекось, и ранетый ни разу не был?! Не скрлы?

— Не-е, маманя, целый, сама видишь.

— И с лица не смахнул, — проверяет мать.

— Да-к мы что едим, мамань, по крестьянству такого не увидишь. И забот — нетути, офицеры за нас думают, чем ня благо?

Смешно и матери.

— Да как же в пору угодил, к самому престолу! Что ж не написал? Ну гожо и так: седни до вечера да ещё вся пятница, уж напяку, наварю!

Пожлопал Арсений и маманю по плечам мягким.

— Да какие вы у меня все справные, молодые!

Кинула мать на отца, строго:

— Сла-Богу, нельзя сказать, чтоб без мужика в доме. Иные вон маются, пленных просят, а мы застоены.

Усмехнулся батька под светлыми усами:

— Да хошь проси австрияка, а я на войну пойду. Чо ж, гляди, у сопляка два Егория, а у меня лишь один?

А седёлку так и держит в руке. Но уж — не запрягать.

Отец старше матери на 14 лет и то говорит: рано женился, мужик до тридцати шести годов должен терпеть. Бранил Сеньку, не пускал в двадцать четыре жениться. Бою выдержано. Да уж Адриан отделялся, тоже заранился.

А где ж Катёна? Катёнушка — где? Сама мать не сказала, Сеньке спросить не личит.

Пошли к заднему крыльцу, отец и солдатский заспинный мешок, и седёлку тащит, и фуражку сенькину, упала ведь.

А из сеней на крылечко, сквозь дверь распахнутую, да не на карачках, а стоймя, правда за косяк придёжживаясь, ногу через порожек — мах, вот он идёт! вот он ступает, в одной сорочёнке, босой, непокрытый, льняно беленький. — Са-во-стьян! — глазки распялил на дядьку невиданного. И губу отлячил — ну, точно как тятка.

— Сыноколёк мой первенький! Груздочек мой!

На руки его хватъ — да в высь! Нет, не покоен, не даётся, дядьки такого не знает, тянется к бабушке:

— Ба-а! Ба-а! — вон как трясут, ведь вон как кидают.

Попестовал — отпустил мальчика на свои ноги:

— Ну иди, достольный, иди, хорошо ходишь. А назнакоимся, время будет.

— Да ведь застудится, вот высягнул! Фень!

А тут и Фенечка выскочила, сестрёнка двоюродная, сиротка, всплеснулась. Востренькая, да быстренькая, чуть не на цыпочках брата встречает.

— Да ты ба-арышня какая, — прокатил голосом Арсений и в голвку поцеловал, в разбор волосиков. — Выросла-то за год! Да ты скоро до Катёны дорастёшь.

Да где ж Катёна моя, что ж она не вспрынет? Про Катёну-то что ж ни слова никто?

А спросить неловко, не личит.

А уж мать:

— Фенька! Бегом за Катёной!

Да и Фенька сама догадалась: на голову — платок, на плечи куфайку, ноги в кóты и — бегá на гумна!

— Они — в риге, лён мнут, Фенька пойисть приходила. Вечерось мы капусту дорубили, доквасили, а седни — на лён.

Чередом пошли из сеней в избу, Савостейка первый, бабушка дверь открыла, он о порог высокий упёрся, ногу одну перекинул, другую, распрямился, залился — побег, по полу некрашеному, оттого тёплому босым ногам. Ещё со своего детства Арсений помнит босыми ступнями — теплоту пола, дранного голика́ми, жёлтого.

Оболивое узнавание: вот это я, отлитой, от лобика до ноготочка. Не просто мой сын, мой станется и непохож, а тут и словами не перебрать — какое оно в склады, а до дрожи — я! второй, ещё раз!

А в прорези перегородки — зыбка, ещё докачивается на подвеси.

А в зыбке — Проська.

Спит...

Никогда не виданная дочура моя, малáя такая... Ещё ни в чём размера нет, глазки закрытые как мизинные ноготочки, от носа лишь ноздри кверху, чо там разберёшь, на Катёну ли, на меня похожа, это бабы умеют. А всё одно колотится сердце — кровь моя.

Дочка. Есть и дочка.

Сын да дочь, красные дети.

Прикоснулся пальцем ей ко щёчке, она и не чуёт.

На кого и смотреть, не знаешь. Груздочка б своего на руки схватил — нет, не даётся, теперь за бабкину юбку спрятался, оттуда выглядывает.

И батька стоит молча, перемявшись, глядит на своего фейерверкера, как тот на груздочка. Тоже, может, лишний раз бы сына обхватил.

Тáк вот, сам стариков не балуешь — вырастет сын и тебя не побалует.

Снимает солдат шинель, а мать в красном углу на скамью мостится да перед полочкой лампадку затепливает. На день раньше богородичного праздника пришла радость в дом, застигла на неубраньи.

Сошла со скамьи, на своих оглянулась и показала на колени стать.

И отец, позади неё.

Голова у батьки облая, высокая, как яйцо. А не лыс, изрядно ещё волос, от шапки примятых, седоватых, но и с желтизной.

Опустился и Сенька.

Стала Доманя читать молитву. Не бубнит она, не ломится через слова, как ночью через кусты, нет, в своих немногих молитвах выискала толк, и не так Богородице молится, как разговаривает с ней по сердцу.

И Савоська, гли, без понуждения, тоже при бабке на колени стал и, когда все крестятся — тоже чегой-то рукой махнёт, и на иконы уж так пристально смотрит, глазами разморгнутыми. И когда приучился? — лишь чуть за два годика.

Поднялись с молитвы — завертелась жизнь. И с чего начинать — не знаешь, разве с подарков. На солдатский грош — какие подарки? Кому платочек, кому ленту, кому сахарок-рафинад из пайка. Да ведь дорог не подарок, а честь, обычай.

А мать норовит:

— Да пойишь, мой соколик, Сенюшка, запрежь всего сядь да пойишь! Луковённый есть у меня. Лец печёный. Да и брага свекольная уж сварена, но выстаивается, рано.

Видал, видал Сенька в сенях, проходя: уже стоят кувшины, закубренные санными затычками, и выступает через них бражная пена.

А вот она!! — влетела в избу, как бомба в землянку, только черно-жёлтой панёвой прометя, а пола кубыть и не коснувшись, — да в Сеньку головой, в ребро ль, куда попало, едва не пролома. И лица её не успел разглядеть, а ткнулась туда, в ребро, и то ль пышет, то ль плачет, а Сеньке затылок открыт её белый, сбористые рукава на плечах, чёрные клетки, жёлтые протяги панёвы, да самотканый пояс высоко на спине, с кистями набок.

Вся тут, как птенец, у него под локтями, ах ты Катёнушка моя! Подкинул бы тебя сейчас как Савоську, да не при родителях же.

И во Ржаксе с поезда сошёл, и Каменку с большака увидел над собою, и кольцо калитки поворачивал — и всё как во сне, не дома. А вот когда дома — Катёна под мышкой.

Дышит.

Закинул ей голову. Алеет, молчит.

Сказано — солдатка, ни вдова, ни мужняя жена.

Поцаловались.

Что ж, надо и от рук отпустить.

И вот теперь — все тут, в одной избе, — и даже всех в один обхват рук Сенька бы поместил, разве только мать широка гораздо. Служил Сенька в батарее, думал место его там, а нет, вот где — тут.

— Да ты Проську глядел ли?

— Глядел.

— Ещё погляди.

Пошли к зыбке за перегородку. Спит-поспит девка, щёчки румянистые. Это какой же? — десятый месяц!

— Она уж ползает, — Катёна хвастает, приоткрывает дитю головку повидней.

А Сенька — на Катёну, на рукава сбористые, на пояс с кистями:

— Ты чтой-то сегодня не вовсе по-буднему?

Подняла голову, глазами встретясь:

— Так, захотелось. — И тихо: — Снился.

Всего-то сказала — а по сердцу полых!

А Савоська к мамке лезет, за ногу хватает.

А Доманя велит идти к столу. Почему не писал? почему телеграммы не отбил? Батька б на станции на тарантасе бы встрел, я бы драчён напекла, пирожков... Ну, к завтраму всё будет, уж вон кулагу затворила.

— Да маманя, в один день всё свертелось. То уж было отказали, я и письмо так писал. Вечером позвал подпоручик, може, мол, и пустят, погоди с письмом, — а через день кличет — разрешено, мол, айда к писарю за бумагой!

Текли над Сенькой месяцы и годы, вроде никак не порожние, всё служба, да команда, да немец, отдыхать не поволят, только крутись, — а вот когда тесно подошло, не разорваться — дома! Ни глаз, ни ух, ни рота, ни рук не хватает — и материно ешь, и батьке отвечай, и к детям простягайся, Катёна вот Проську уже накормила, подносит, впервой дочку на руки взять, а она юзжит. И всё — первое, и никого б не обидеть. А и Катёна тоже не вовсе своя, как с полчужим, позыркивает: как он на дочку глядит? часто ль за

Савоськой руку тянет? вправду ли любит, али только прикидывается?

Да с бабами тыми не переговоришь, а самому Сеньке знать надо: как же, батя, хозяйство тянешь один? какие работы застоялись, залежались? Я сейчас с тобою эх налегну! В два поймá знаешь как возьмёмся! Я за тем и отпуск брал, не баловать же.

И пошли из избы.

Батька и сам о том. Тяну ничего, спина не просыхает. Шибко Катёна твоя помогает — хоть и с вилами, хоть и в извозе.

Помочь — ещё бы не надо! Только теперь уже работать — опосля праздников. А осмотреться — хотя б и сейчас, пока бабы в избе суетятся.

Вышли на подворье. Чирок прыгает, руки Сеньке лижет.

Поленница у батьки за год нисколько не подалась: сколько истратил, столько доложил. Ну да кизяками больше топят, тамбовский чернозём навозу не просит. Мало лесу — так навоз.

Объясняет батька. Тут, вишь, обстоятельства понимать надо, прежде работы. Одно, что некем взяться, больше бабы, а плуги неисправны, чинить нечем, останется земля незасеянная. Другое — не для че нам хлеба столько выращивать, что ж нам сеять — себе в убыток?

До чего ж горька обида: наперёд, ещё не зачинавши, ещё только завтра паши да сей, а уж сегодня знай, что себе в убыток. Обошло Арсения. А батька:

— Мы-то сами и год, и два на своём хлебе пересидим, без посеу. Мы ноне не гонимся хлеб продавать, как запрежь. И осеннюю запашку и посев всё село сократило. Деньги у нас теперь есть. Платили нам и за лошадей, взятых в армию, и за скот. И податя платим в тех же деньгах, а деньги подешевели, так и податя сильно ослабли. И уплаты в Крестьянский банк тоже. О-ох, эти деньги шалые — сгубят народ.

Докатило до Сеньки, и непривычно ему, никогда в деревне такого не бывало: на чо нам столько хлеба выращивать? И в голову не лезет, такого не помнил он в жизни.

А батька ещё побавляет: и монополки ить нет, тоже за деньгами перестали люди гнаться. И солдаткам способности платят. Только иные бабы от тех способий развязали волю, свекрам на хозяйство не отдают, а гонят на наряды да лакомства: нуметь, пёс с ним, с хозяйством, не убегёт, коли муж с войны воротится цел, тогда и заробим. Мужьям, вернутся, не понравится.

— А Катёна? — встревожился Сенька.

— Катёна — ни. Все деньги мне дочиста отдаёт, уж я ей потом отдаю. Да и матери ж ейной помощи надо. Не всё деньгами, ино и руками.

На подворьи их, с подсыпкой речного гравия, не было грязно, хотя по улицам кое-где только по доскам пройдёшь, и вся дорога от Ржаксы черно расквашена от недавних дождей. Бродили куры по подворью и ходил светло-гнеденский стригунок, подошёл и тыкался храпом, обдувая руки хозяина. Почесал его Арсений за ушами:

— Значит, кто да кто у тебя остался?

— Вот — Стриган, от Купавки. Сама Купавка с меринком. Да Кудесый.

Значит, две рабочих да рысачок.

— А тех двоих сдал?

— Сдал.

— Да-а, после войны всё заново заводить.

— После войны, Сенька, много заново, а с чего начинать? Ведь и корову сдал, и бычка, принудили.

— Остались-то — кто?

— Коровы — две. Бык полутор. Ну, и подтёлок.

— Оскудали, папаня.

— А деньги эти копим — начаё? Они ведь прах. Деньги — дарёмные, лёгкие, а купить на них нечего. Деньги до того стали лёгкие, что возьми их на медь разменяй, да на чашку весов горою насыпь — и то ситца не перевесят, где уж там сапог.

Под общей связью, двенадцать аршин на двадцать, содержались у них хлева и птица, а на свободном просторе, между яслями и жёлобом — лошади. И сколько было в батарее лошадей, тех тоже Арсений любил и знал — а милей своих всё же нет, в сердце торкаются.

Мерин как стоял — головы не повернул. Кудесый вздрогнул, засторожился, спиной zabezпокоился. А Купавка — узнала! узнала молодого хозяина, и зафыркала, заулыбалась. И Арсению потеплело от лошадиного привета, обнял её за голову, поласкал.

Подкинул им сенца с повети.

— Прежде, помнишь, за пуд хлеба мы покупали семь фунтов гвоздей. А ноне — один фунт. Подковные гвозди всегда были 10 копеек — а вот два рубля. Так мы не то что нонешний, мы и летош-

ний хлеб много не повезли. Вон и в закроме, а тот в кладях подле овина. До снега ещё намолотим на семена.

— А с поля ты весь убрался?

— Весь.

— А теперь мыши погрызут?

— Они! В том и дело, как его хранить-то? Чó мы когда держали больше, как семя да емя? Больше пудов осьмидесяти мы зимой не передёрживали. У нас и приснадобья нет его хранить. Так вот иные на поле в зародах оставляют, немолоченный.

— А эт зачем же?

— А вон на станциях да на пристанях, да из губернии в губернию, бают, хлеб силушкой отбирают!

— Но платят всё ж? — изумлялся Сенька.

— Да чо платят — по *твёрдым*? Прах! А вот и к нам полномоченные зашастывают, ходят-заряются, де, списать запасы им надо. Седни у меня в закроме спишут — а завтра, гляди, придут забирать?

Пасмурно было снаружи, в сарае — того притемней, и лицо Елисея притемняла мохнатая его затрёпанная шапка — а глаза светлели, зоркие. Отвеку всё крестьянство стоит на том, что в ста делах, в каждом угадать дождь или сухмень, ветер и тишь, росу или заморозок, песок или подзол, птицу, червя, дорогу, амбар, базар, и со всеми расчётами труд свой заложить — а там барыш с убытком на одном полозу ездят. Но вот сошлось — хоть голову сломи, не бывало такого, и присоветывать — не Сеньке.

После коровьего хлева заглянули в свиарник, в пустой овечий хлев — на выгоне овцы, в курятник. А гуси — тож промышляют, ходят.

— Так вот и придёрживаются иные тем, что и на гумна не свозят. Скорый наперед, осторожный назади. А ну — цены те твёрдые да подвысят? А ну — голод какой ещё накатит, гляди? Зерно самим сгодится и для скоту. Сколько та война ещё протянется? Так спешить ли везти? А что после войны буде? Скоту сколько убыло, и ещё порежут.

Вышли наружу. С утра ясно стояло, кыб вёдро, а вот тебе натянуло, натемнило — дождь? опять же нет, лишь покрапал.

Пред Покровом и после были уж заморозки, в две волны. Отволгло опять.

— Так что, папаня, делать будем?

— Ехал ты — дорогу сильно развезло?

— Верстов пять, от Лиховатской балки, едва подковы в грязи не оставляли.

— Не разъездишься. А в сенокос — летось хорошо стояло, сенá богатые взяли. Ты — долго ли пробудешь?

— Да за Михайлов день забуду. А до Введенья — нет.

— Хо-о, — обрадовался отец. — Так это мы с тобой, даст Бог, первопутка дождёмся, да поедем в луга сено забирать. Саней тридцать возьмём, а то и поболь.

За заплотом стоял пустой сенник, ждал загрузки. Лишь чуть натрушено на полку, спал кто-то.

— Ну, коноплю ещё поставим да привезём. Сарай вот защитим, до морозов успеть.

А крыша? Закинул Сенька на избу с этой стороны, а с улицы уже видал: нигде не нарушена кровля, соломой «под глинку», обрезанными снопами.

— Хорошо, батя, хорошо дёржишься!

Сколько ни писали Арсению писем с поклонами и приветами, но не выражалось в них ясно: а как же именно живут, по каждой стати? И только обойдя и своим глазом окинув — хор-р-рошо живут! справляются.

И отцу лестно услышать от сына, как от равного.

Ну хорошо-то не хорошо, обезлюдели, стихли ярмарки, две дюжины годовых, от Туголукова до Сампура, от Токаревки до Ржаксы, — лошадиные, щепные, гончарные, спас-медовые, и в самой Каменке в марте тиховато прошла этот год. И не собираются артели в извоз, лишь гонят на подводную повинность. Жизнь — убирается к себе во двор да к себе в избу.

— А там — сушить да молотить пойдём, из сырого лета необмолоченного много. А може с тобой ещё хранилище для свиного корму выкопаем? Запасать надо на худое время.

— А что ж, и выкопаем, батя. Враз.

Сила — живая, сыновняя, готовная. А всё решает — осколок один, зазубренный, как пролетит. На вершок бы ближе — и нет бы твоего сына, и вой тут один. И за тот вершок, и за тот осколок — ни царь тебе не вспомнит, ни земство. Всё у Бога в руках, вот — сын живой.

— А назёму поменело у тебя. Ведь во как у нас накладывалось раньше.

— Скота позабрали, навоз позолотел. На арендованные поля, где и нужно бы, никто теперь не кладёт.

— Да, порезано скоту с этой войной. То-то мы в армии мясо едим, как сроду не едено. Ведь, батя, каждый день — свежая убоина.

— Я служил — нас так не кормили, — удивляется отец.

— Сказывают, за последние года много в армии получше. А сейчас, к празднику, как будем?

— Да барана — я вчера заколол. Хотишь — ещё одного?

У верстака батькиного постояли, посмотрели работу, и уже в садик собрались, как вспомнил Арсений живо:

— Да, а пчелишки-то? Стоят?

Особо радостно и спросить и ответить. Как будто и хозяйство, а — нет, душевное что-то.

— Стоя-ат! Уж в омшанике.

А тут — Катёна, понькой черно-жёлтой мах-мах, а на плечи по-верх ещё разлетайку накинула, спереди не сходится, позади сборки густые.

— Сенюшка, мама спрашивает — насчёт бани как?

По семье топить думали завтра, под праздник, но для Сенюшки сегодня надобно. Мать бы и да, да дел взгрёб, рук не хватает. Но Катёна подхватила:

— Сегодня, сегодня, что вы, мама! С такого пути! Да и там — какое у них мытьё? Да я — огнём, между делом, и не отобьюсь!

И — зарыскала в баньку бегать.

— Тебе — дров? водицы? — Сенька сунулся помочь. Да дрова-то у батьки неуж не заготовлены, и вода из колодца с банею рядом — а поговорить с жёнкой пяток минут где-то на переходе.

Тут и Фенька, с гумен воротясь, кидается тоже с банькой помочь, отваживает её Катёна: тебе мать указала, что делать. Да и месиво для коней время запарить.

Фенька уже ко многим работам приучена, понимает, уж и коров справно доит, самое время девке всё перенимать. А вертится, льнёт, не оставляет их, оттого что сама в годы входит, и пробужено это в ней: муж со женою в первый день — как? что? Своими глазёнками соглядеть, приметить, для себя вывести.

Где там! — калитка стучит раз, и два, и три: соседи потянулись, на служивого поглядеть, кресты потрогать. Никого не звали, никому не сообщали, а кто в окошко доглядел, кто через забор, до кого

слух докинулся, в деревне разве что утаишь? Первый — Яким Рожок, в поясице перегнутый, ему всё первому всегда надо вы-знать, не сосед, аж с Зацерковья, с дальнего конца присеменил. Тут — и Агапей Дерба, чёрен да длинён, ноги как очепы переносит. Чирок на него одного излаляся, Дерба и головы мрачной не вороти. Всегда он всех слушает, а только в землю глядит угрюмо, от него же редкое слово жди. Тут и дед Иляха Баюня в шароварах полосатых, пестроцветный кисет зажат за пояс, сильно уже на палку прилегает. И — Нисифор Стремоух, гляди доселе не взятый, а меньшей брат его уж на костылях воротился.

— Ну, служивый, ну! Покажись!

— Ну, как там воюете?

Неразумные бóшки — к а к? Ступай сам пошшупай...

— Так и воюем, очен просто: под головы кулак, под бока и так. Ждём, чего хвифебель завтра выдаст, сахарок ли, чаёк. У вас вот нетути, а мы усем обезпечены.

— Да хорошо, сказывают, в солдатах, да что-то мало охотников.

— Мотри, служит парень быстро, с того года лычек добавили. Эт — кто ж ты теперь?

— Фейерверкер.

— А кресты твои де ж, показывай!

Кресты — на шинели, шинель в избе. Да снаружи не рассядешься, уж холодно. И в избу-то не ко времени, сажать гостей некуда, в избе не убрано, бабы стряпают, носятся оголтело, а мужики вот уже и цыгарки крутят, уж и кресалом тюк-тюк, искру кидают на трут, спички теперь для печи берегут, мужикам не достаётся. В избу вошли — лишь дед Иляха один на образа перекрестился. И — задымили в избе, а сами Благодарёвы николи не курят, никто.

Да мужиков-то, посчитай, сколько ещё по Каменке дома, не старых.

— Леший бы вас облобачил, что ж вы дома сидите? Вот из-за вас-то мы германа никак и не одолеем.

— Ну а всё-таки — *подходит*?

— Чья берёт-то?

— Да много яво накладено, — легко отвечал Арсений. И потяжьше: — Наших тож ня мало... Ой, мужики, ня мало... Сколь этих берёзок молоденьких на кресты посекли, сколько ям обкадили... А вперёд — ни тпру.

Тут Проська, орёпка, как в крике займись, чтой-то ей не то, и Арсению с непривыки — не чья-то чужая, своя дочка кричит. Но и Катёна кмигу метнулась, выхватила, распеленала, обмыла, покачала, баранки в марлю нажевала, опять в зыбку закинула.

А мужики-то с надёжей пришли, подсели: *замиренье* — как? не сулят ли? не слышать ли?

В драке, де, нет умолоту.

— Не, мужики. Ни с какой стороны не шелептит, и ветром не напахивает. Только — газ едучий.

А — газ? Как это? Как?

— Ох, мужики, и врагу ня пожелаю. Осколком чухнет — эт как в драке, почти и не обидно. А отравы той наглотаешься — из нутрей всего корчит.

Расскажи да расскажи, вот не отступя, тут же им — и за что второй Егорий, и какие вообще случаи.

Стал рассказывать Арсений про свою батарею, лес Дряговец, про хода сообщения — зайдёшь, не разогнёшься, надёжу не имашь — когда ж до блиндажа. Стал рассказывать по-лёгкому, иногда и Савостейку уловя да к колену притянув — бродит тут между ног, вражонок, глазки лупит да чего-то вякает. Стал рассказывать легко, а вытянул так — недолго, смех оказался короткий. Там, в батарее, друг перед другом, они не скулили, разве что по дому, жизнь там шла дюже простая, беззадумчивая, — а здесь, в родном селе, соседям, та жизнь никак безпечально не переключивалась. Там-то привыкли, что дешевó солдатское горе, а тут, в своей избе, Савоську притрагивая, на зыбку поглядывая, на Катёну тайком, на батьку с маткой, — сразу вывешивалось горе во всю свою тяжесть. Свой брат Адриан дважды ранен — и опять на фронте, нисифоров брат на костылях, у деда Илюхи двух сыновей унесло. Лишь пота́ и сносна была война, пока доступно было сюда воротиться, о брёвна родные спиной потереться, да жёнку на ночь к себе подобрать. А там, у Дряговца, где фельдфебель сахар выдаёт, под ладан улечься, под крестом жердяным уснуть — ня поухмыляешься.

Высунулся Яким Рожок, от пола, у стенки на корточках сидючи:

— Всё ж таки Адриан два раза ранетый, а ты вот, сла-Богу, ни разу?

— Что ж, не всяка пуля по́ кости, иная и по́ кусту.

Отцу разговор такой перёк груди, встал да вышел. А мужики другое задымили: вот слух идёт — сахар, хлеб да кожу к немцам вывозят, через Хинляндию, что ль. Правда ли?

Того Арсений не знает, к им в батарею столько ж вестей, как и в Каменку.

— А только, — вздохнул, — немец не провоюется, не.

Подступила к гостям Домаха сама — норовом она тверда и речью, по всему селу славна, мужики её уважают.

— Вот что, соседушки, не даёте рукам размаху! А покиньте мне сына на первый хоть день! Ещё будет время, нагуторитесь, на престол приходите.

Ничего, не обиделись мужики, подобрались и со своим дымом пошли вон: первым — Рожок присогнутый, отгибая голову вверх и назад, там — Стремоух, дед Баюня о палочку, о палочку. Агапей же Дерба, ещё угрюмее и темней, чем пришёл, картуз понёс, как две руки в него спрятал, глаза в пол, закидисто переноса ноги через пороги и зацепясь-таки полою сермяги.

Открытую дверь вослед им подержала мать, выдымитесь. А сама принялась ко празднику и для теста стол скоблить добела.

Проводил Арсений мужиков, пошёл в сад — и Катёну перехватил. Из баньки бежит, в разлетайке.

— Ну? чего помочь там?

— Не, Сенюшка, скоро истопится.

Ушмыгистая, а придержал её. Тогда — о Савоське она: ну как тебе он, как? Любишь?

Сама-то уже видит, что да, иначе б и рта не раскрыла.

— Больно в меня, сам теперь примечаю. И губу так отягивает.

— Да только ли! Ещё увидишь. Он и простодушный в тебя. И моготой в тебя будет. И хваталки у него, погляди, уже сейчас здоровы, чисто твои, палец в палец, а как схватит! Вилы ему подай отцовские! И спина у него чисто твоя.

Спина? Не знал Арсений свою спину и не догадался б савостейкину смотреть. Спина-то — как может быть в два годка похожа, не похожа?

А Катёна — шмыг и пробилась, молча.

Спина... Спину-то мужнину насколько ж помнит? Во, бабы.

Поддогнал её разик, ещё до двора:

— Катя! А как чуяли мы тогда, после Масляны не разлучились, да?

Катёна залилась, голову опустила.

Ещё ни про какую войну никто не ведал, и с Масляны по закону надо было обрывать, хоть и молодожёнам. А Катёна — ещё не понесла. А жадалось им. И шептались: будем грешить, може Бог простит. И так — до Вербной. И видать, простил же им Бог, какого сына родила! А подклонились бы закону — и осталась бы Катёна яловой на войну.

Отец Михаил потом над святцами хмурился, грозил Катёне. Она со спохваточкой своей живой: «Батюшка, истинно говорю, лишнего переносила. Чегой-то он никак не выкатывался!»

— В пост Великий — а какой получился! Тож велико́й, да? — не пускал её Арсений бежать. — А теперь весь отпуск мой прежде поста, далеко свободно.

Да ночи длинные, осенью.

— Сенечка, Сенечка, погоди, пропусти, мама ждёт, Фенька ждёт!

И тут же, оборотясь:

— Не будем в избе. А чулан занятой. В сеннике постелю, не холодно будет?

— Не хо-о-олодно! — пока Арсений выдохнул, уж её и нет.

Ещё с отцом походили. В омшаник. По саду. Какие б деревья, кусты отсадить. Рассказов у отца много, и кому ж слаще, нежели — сыну? За третьего дня у Савалы в бочаге ловил лещей — длиннее локтя, вот ты ж ел. А ту неделю высыпка куликов красных, айда?

Елисей — из первых охотников на селе. И Сеньке-Гуре задору передал.

День — какой в конце октября? Давно ли ополдень было, а вот уж усочило свету. Ещё померили с отцом, где копать, а дымок от баньки отошёл, и кричит Катёна:

— Сенюшка! Иди!

В сенцах баньки накинута солома чистая, и под окошком на лавчёнке выложила Катёна чистое мужнино бельё. Солдатскую верхнюю рубаху и сапоги с портянками скинул Арсений — внутрь нырнул. Натоплено в меру, слишком-то жарко Сенька и не любит.

Вот и на батарее построили землянку-баню, и попросторней, а — нет, не своя. Своей домашней каждую половицу знаешь ногой,

каждую доску полка, и окорёнок тот, и бадейка, и ковшики — один худой, а не выбрасывается.

Всё показала — и вертанулась:

— Так ладно, Сень, я пойду.

А — на полмига дольше, чем в дверь шмыгнуть, — лишний повёрт, лишний окид глазом.

— Чо пойдёшь? — протянул Арсений медленную руку и за плечо задержал.

Катёна — глаза вбок и вниз:

— Да ночь будет.

— Хэ-э-э! — раздался Сенька голосом, — до ночи не дожждаться!

Подняла Катёна смышлёные глаза:

— Феня вон покою лишилась, доглядывает. Счас томится там, минуты чтёт, когда ворочусь.

А Сенька руку не снял.

И Катёна уговорчиво:

— Расспрашивать будет. Стыднушко.

Вот это девичье-бабье стыднушко, если вправду оно тлеет, не придуманное, никогда Арсений понять не мог.

— О-о-ой! — зарычал, как зевнул, широко. — И расскажешь. От кого ж бедной девке узнать?

Опять голову спустя и тихо совсем, шепотком:

— И лавка узка, Сенюшка...

— Да зачем нам лавка? — весело перехватил Сенька. Перехватил её двумя лапами и к себе притягивал.

А Катёна голову подняла, медленно подняла, и — в полные глаза на мужа — и как будто с испугом, а он же её не пужал, аль то бабья игра такая? — их пойми:

— А веником — не засечёшь?..

— Не засеку-у-у! — Сенька довольно, и уж сам, рукой торопя...

А она, задерживая:

— А — посечёшь?..

И как это враз перечапилось: то сечки боялась, а то вроде бы упустить её боится. Ещё гуще Сенька в хохот:

— Посеку-у-у! Подавай хоть счас!

И Катёна — ещё одетая, как была, — погнулась за берёзовым веником!

И — бережно, молча, перед собой его подымая... выше своей головы, ниже сенькиной... подала!

И из-под веника — смотрит: чего будет? Секи, мол, секи, государь мой.

Остолбенел Сенька, сам напугался:

— Да за что ж? Да ты рази... ? Да ты уж ли не... ?

Леш-ший бы ты облобачил!

36

Арсений был мужик не жестокий, не жёсткий — и со всеми людьми, а с Катёной вовсе мягкий. Оттого стояли между ними ласковость и свет, только радуйся, пожаловаться не на что.

Пока Арсений за ней ухаживал и их первые месяцы до войны, когда она понесла Савосю, прошли у них как под солнышком тёплым, без единого резкого окрика, без единого удара разлапистой его рукой — да она ведь ему и осерчать не давала, быстрей того догадывалась и исполняла.

Потом война выгрызла всю жизнь, оставила ломотками — первый сенин военный отпуск, как сон летучий, теперь вот второй, а меж ними безмужье: носить, рожать, кормить да о муже думать — и каким вернётся и что будет у них?.. Преж того — вообще ль вернётся? И тоскуя, тоскуя, тоскуя по своему избранному, сколько раз за топкой, за дойкой, за птицами, за жнивом, за сеным согрёмом, за мочкой, за чёской, за пряжею, за тканьём она и так и смяк, на все лады строила его возвращенье: и в какую пору года, и в какую пору дня, и за чем её застанет, на пороге ли, в снях ли первый раз поцелует.

Но потайней и упорней, себе самой дивнее, ещё и иное что-то разгоралось в ней. И не назовёшь-то — что.

Такое что-то недобранное, самой себе непонятное. Такое что-то таимное, что и подружку верную на угадку не призовёшь. Такое нутряное, или уж самой доведаться, или покинуть, смириться.

И в жалобу не сложишь. Кажется, жили — милей уж некуда. Коротко только. А разлуки вот: должей куда. И в эту вторую разлуку, после первого отпуска, встрапилось Катёне: хотелось ей, чтобы муж воротился с войны не целиком прежний. И вся простота бы светлая оставалась, и вся добродушная ласка. А — ещё бы что-то. И на руки подкинет, как дитя (ему по весу — всё одно, что Савоську). А — ещё бы.

Плужникова жена Агаша, хоть и старше Катёны на два года, но в одни хороводы ходили когда-то. Агаша — уж такая пава была, да и в замужестве такой осталась, — а и переменялась же рядом с мужем, ну вся дочисту. Вот диво: и та ж оставалась, и вся дочисту переменяющаяся.

Как-то ей Катёна и скажи про это.

Зубы открыла свои жемчужные, крупные:

— Ты с мужем, что ж? И не жила, поди, почти. Вот поживёшь, во вкус войдёт, да пригнетёт — тогда и ты переменишься.

Пригнетёт! — ведь вот слово какое сказала! Пригнетёт!

И встряло это слово в Катёну. Нераскрытое, а в нём — всё.

И так и так его обчувала. Было в нём что-то.

Воротился бы Сенька не прежним лишь милым, а — грозным, что ль? Нет, не грозным. А — ко власти повёрнутым?

Были до войны в Каменке и в соседних деревнях случаи, когда парни гурьбой ловили девок поодиночке, задирали им подол наверх и выше рук, выше головы завязывали верёвкой. Иногда — по озорству, пустить девку на посмех, голой и безглазой, ино — в наказание, если считали парни, что та девка нарушила честь и закон, тогда ещё и ремнями нахлёстывали. И когда слух потом проходил между девок — все полошились, квохтали, охали, страшной и позорней кары придумать нельзя, оборони Бог попасть под такое насилие, и честили-проклинали тех парней, да пойманная, когда в темноте, не успевала их и опознать. И Катёна, в лад со всеми девками, тоже отмахивалась, и за головоньку бралась, и жмурилась — а в зажмуре, а в ядрышке ото всех: а вдруг бы то — он был сразу? по голосу, по руке, сердцем ли угаданный — сразу он? и не для посрамища на деревню, а только — власть пришёл заявить? И рученькам размаху нет, и глазами не видишь, только убежать можно, — а ведь ноги нейдут, воли нет, так и рухнешь?..

Сласть дрожащая...

Все же видим: петух с какою яростью курицу топчет, кажется — закогтит насмерть, а поднялась, отряхнулась как омытая, и плавно яичко понесла.

Только Арсений при росте своём, при своей могуче далее всего от пересилья, Катёну боится меж лап раздавить, так и говаривал, не про неё одну: «Баб ещё с девок жалеть надо». Скажет Катёна ему: «Сенечка, не надо мне попускать! Сенечка, не безперечь меня лаской, а то я попорчусь!», — смеётся: «Ты — не попортишься».

И правда, уж так вилась, трепетала — за одно одобренье его.

А в этот год, второй военный, — встрапилося Катёне. Но не знала, при приезде мужа — решится ли выговорить? Да что выговорить? — не знала сама.

А он и приехал совнезапу, без письма — а сразу на порог! В двери-то ни в одной не помещался, выше всякой двери — го-спо-дин! Как завихрилась, завертелась Катёна втрое быстрее своего обыка, все дела справляла и баню готовила, семеняла-бегала, а в самой колотилось, колотилось — а что? чего?..

И не думала, что засечёт, — «а не засечёшь?». В игру просто — «а посечёшь?». А как веник стала подымать — вдруг обмерла, уже не внарошку, страшно стало, а руки сами веник тот подымают, дрожат.

Как крикнет Сенька:

— Да ты уж ли не... ?

Надо же! что подумал!.. Из игры-то!

— Нет! нет! — закричала Катёна, головой замотала, волосишки туда-сюда...

А веник-то — уж брал он от неё. Уж взял.

— Нет, нет!! — ещё кричала Катёна, а — зажмурилась. Почему — зажмурилась? коли бы в глаза ему, он бы поверил! А так — не поверил.

И — страшный новый голос услышала, не сенькин:

— А ну, задирай панёву!..

Открыть бы глаза, голосом полным кинуть ему, что — нет!! Так — голоса нет. Так голова — сама вниз, вниз. И — руки вниз. И — взялись за панёву.

А Сенька тогда — ещё жутче:

— Повышь!.. Повышь!.. Никни!..

А этот голос озверелый уже и не смилуется. Впоследне, ещё не закрытая, нашлась, посмотрела ему в глаза, а он-то выпученный!

— Сенечка, нет! Ни с кем! — то ль крикнула, то ль шёпотом.

А он — во весь гром, уже замахиваясь веночищем:

— Никни, говорю!

Но не толкнул. Сам рукой — не погнул, на пол не кинул. Если б кинул — вскочила бы. Но — не кинул.

И — сама себя, покорно, сама себя закрыв — и открыв же! — опустила коленами — и ниже — и ничком — головой невидящей и локтями — на банный пол.

И — ожгло, и ожгло наискось и поперёк, горячее, не так как на полке хвостаются, не ждала, как больно, — ожгло! и за разом раз! и за разом раз! — и руками не защититься, руки сами себя закрыли! — и обидно, что бьют, да ни за что ж! — а не крикнула больше.

И он — в молчанку сек.

Жалко себя, беззащитную, заплакала тихо. Но — не крикнула. Плакала в руки, в подол, чуть извиваясь тельцем от охватных ожогов в двадцать розг — а не выбиваясь.

От поясницы до подколенок жгло её и рвало — за вины небывшие, за будущие, чтоб их не было, за никакие вины. В покор.

Плакала и ждала, где он остановится, где гнев его пройдёт.

Где милость его наступит.

Остановился. Ещё распалённо:

— Что молчишь? Говори — с кем?

Плакала, всхлипывала.

Пождал.

Помягче два раза опустил веник. Протягом по спине, уж больше как банная ласка.

— С кем?.. Что молчишь?

Похлипывала, ответить не выходит.

Наклонился низко, близко и уж без гнева, напуганный:

— Катёнка?!

Сам ей подол с головы отвёл, лицом к себе вывернул, тогда:

— Да ни с кем же, Сенечка! Замкнутая я без тебя...

Сенька ошалел:

— А что ж ты не сказала?

— Да я ж тебе крикнула.

— Да ты не так крикнула!

Боком, щекой прилегла Катёна на пол.

— А чего — не вскочила? Не вывернулась?

Доплакивала Катёна.

До самого полу и он, к её лицу. Тихо, близко:

— Чего ж лежала так покойно?

— Покойно!.. Попробуй...

— А — за что ж я тебя? — охмурел.

А она, поплакивая, ещё доплакивая, улыбнулась.

— Ничего. Ты ж — господин мой. Буду волю твою знать.

И сама губами дотянулась — стала целовать. Целовать.

А он!.. А он!..

И носил, как дитя малое.

И качал.

И губами исправлял, чего веник наделал. Стану́шка наискось по спине задержалась, она помягчила.

...Забыли они, ждёт ли Катёну Фенька, или свекровь её ждёт к печи, и думают там что, или соседи ещё собрались, — надолго они так и остались в баньке.

Таково — ещё и не было никогда. Не подтопляло так до горла.

После Покрова коротки дни, рано смеркается. Через маленькое банное оконце свету и совсем уж не достаётся. Однако не зажигали они плошки из бараньего жиру, какая тут на оконце стояла, — привыкшим глазам доставало отсвету, да и он лишний.

Уже в темноте они баньку покинули и, никем не ждмые, не назренные, перешли в сенник. В избе уже не светилося, как и у соседей, почти всё село темно стояло.

Дети — в избе оставлены, на Доманю, а здесь настелила Катёна перин своей домашней набивки, а поверху ещё и тулуп, как всегда молодым на холод.

Под единым тулупом сразу жарко, невтерпёж, опять раскрывайся.

Над ними крыша была сплошная, а наискось — с просветами, и полоски неба посветлей крыши. Да ведь месяц за облаками.

Ничуть не хотелось спать, и долго-долго они говорили. И не то чтобы по порядку: перебивала Катёна то о детях, о привычках, разуме их, и в чём Савоська характером уже теперь на отца похож. Или — спросом об армии, как там одно, другое. Но больше всего и ладней всего говорили они о будущем: ведь кончится же война и, храни Бог, Сенька уцелеет, — так как будут они жить? Привёз Сенька слух такой, что георгиевским кавалерам после войны будут землю раздавать, по семь десятин. Вот тогда они заживут! А у нас, Сенечка, слух стоял, что после войны и вообще всем мужикам наделы увеличат. Только откуда ж её столько наберут, лихо какое? А — от помещиков, от Удела, от банков разных, на-айдут, в России ли нет земли? Поступиться не хотят. Но если и на этом обманут, всё равно, ручек не съёжим. Да отделимся на свой простор, земли ещё може прикупим, когда-то и расплатимся, — да вместе-то, да любя, да при детях, Богом посланных, это же радость одна: сперва работать на долг, потом и в зажиток.

Без труда нет добра. Своё трудовое — не под гору катится, а ложится кирпич на кирпич. А Катёна *способна* своё и сейчас уже копит, что свёкор оставляет ей — на мелочи не тратит, сохранится — пригодится. Только вот деньги дешевеют. Отделиться — на отруб, это непременно, чтобы вся земля при себе, в одной черте и не сменная. Молоды, здоровы, всё в своих руках, только бы дал Бог Сенюшке уцелеть. Так на отруб, может, и батя захочет? Ну, там решим. Да наверно он на месте останется, а — поможет. Так крепче будет. На отруб — много денег надо.

А чего не умела в хозяйстве Катёна? Всё умела. Хотя излюбленное её было — гуси. Надо так хутор ставить, чтоб рядом если не речка — то пруд, иль, нык, самим запрудить. И — много гусей развесть.

О гусях Катёна могла говорить и говорить, пока не скажешь — хватит. Что за птица умная! — уже на яйцах сидели, а в избе не топились два дня, так гусыни — пить отказались! сообразили, что на оправку вон идти, а яйца застудят. В избе-то гуси никогда не оправятся. Знала Катёна срок: 12 дней, по снегу, гусаков кормить зерном и тут же резать, а день единый перепустишь — и пошло перо в пенёк, и снова 12 дён ожидать, два срока. А гусыни занесутся — лишь мякиной кормить, ни зёрнышка! Гусиная жизнь: на трёх гусынь один гусак. С четырьмя — гусак выбивается, на пятерых — уже нужно двоих. Но главное уменье — выбирать гусаков, угадывать их мужские стати: 19 перьев в хвосте — хорош, а 18 — не беря. Развернёшь полотно крыла, у кого в основаньи чёрные пятнышки — силён, а белые прогалины — слаб. И подпёрки под крылом — два ли, три, четыре — показывают, сколько гусынь может одолеть.

— ...Слышь... А как же эт ты *спину* мою запомнила?..

— Я — всего тебя помню...

— А коли убьют — тож помнить будешь?

Прижалась-прижалась.

Уж поздно было, и примирённо, совсем бы им засыпать. А нет, чтой-то опять защекотило.

Катёна в ответ:

— Сенюшка, только спине-то... болячо...

— Ну, ин как иначе...

И опять она, с испугом будто:

— Сенюшка! А если... *ещё*?

Сенька безпечно:

— А его нам и надо!
— А — девка опять?..
— Ка-ти чередом!
— А потом — ещё?
— А хоть и ещё.
Ой-й, в-весело!!

КАК ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ, ТАК И НУЖДОЧКИ НЕТ

37

Кегель-клуб называли их собрания в ресторане Штюссихоф, хотя кегельбана не было там.

— ...Швейцарское правительство — управляющее делами буржуазии...

«Кегель-клуб» — из насмешки: что не будет толку с их политики, а много шуму.

— ...Швейцарское правительство — пешка военной клики...

Но и сами усвоили название с удовольствием: будем сшибать мировых капиталистов, как кегли!

(Он — воспитал их. Он излечил их от религии. Он внедрил в них понимание насилия в истории.)

— ...Швейцарское правительство безстыдно продаёт интересы народных масс финансовым магнатам...

Это уже несколько лет как завёл Нобс — дискуссионный стол в ресторане, на площади Штюссихоф. Собирал молодых, активистов. Постепенно стал ходить сюда и Ленин.

(В этой чванной Швейцарии — сколько унижений надо перенести. Бернские с-д вообще смотрели на Ленина свысока. Перехавши в Цюрих прошлой весной, собирал было русских эмигрантов, лекции им читать, — растеклись, не ходили. Тогда перенёс

усилия на молодых швейцарцев. Казалось бы, в 46 лет обидно: вылавливать и обрабатывать безусых сторонников по одному, — но не надо жалеть часов и на одного, если отрываешь его от оппортуниста Гримма.)

— ...Швейцарское правительство раболепствует перед европейской реакцией и теснит демократические права народа...

Простоватый широколицый слесарь Платтен (слесарь — для большей пролетарности, а руку сломав, чертёжником стал) по ту сторону стола. Он — вбирает, всем лицом вбирает говоримое, такое трудное. Напряжён лоб его, и в усилии собраны пухлые, мягкие губы, помогая глазам, помогая ушам — слова не пропустить.

— ...Швейцарская социал-демократия должна оказать полное недоверие своему правительству...

Удлиненный стол — на хорошую швейцарскую компанию. Без скатерти, обструганный, с ямками выпавших сучков, локтями и тарелками обшлифованный лет за сто. Поместились просторно все девятеро, на двух лавках, и ещё одно место отобрано столбом. Кто с малой закуской, кто с пивом — для ресторанной видимости, да швейцарцы и не умеют иначе, и каждый платит за себя. А со столба — фонарик.

Самое энергичное лицо, треугольное, удлиненное, — у Вилли Мюнценберга, эрфуртского немца — под распавшимися набок непослушными волосами. Он воспринимает легко, ему этого мало даже, беспокойными длинными руками он протянулся бы взять ещё, он на митингах и сам это звонко выкрикивает.

(Повезло в Цюрихе с молодыми. Сейчас их шестеро здесь — и всё вожди молодёжи. Не то что в Четырнадцатом: посылал Инесу к швейцарским левым — Нэн рыбу ловил, а Грабер бельё вешал, жене помогал, и никому нет дела.)

— ...Надо научиться не доверять своему правительству...

Ленин — на углу, у столба, столбом прикрыт его бок. А Нобс — осмотрительный, вкрадчивый кот — на другом дальнем углу, искося. Подальше от опасности. Сам это всё затевал — не сам ли теперь жалеет? По возрасту — он с ними, тут все вокруг тридцати, но по партийным постам, но по солидности и даже по животу — отошёл, отходит.

Над каждым столом — фонарь своего цвета. Над «кегель-клубом» — красный. И аловатый цвет на всех лицах — на крупной открытости Платтена, на чёрном чубе и крахмальном воротнике фатоватого уверенного Мимиолы, на растрёпанной, нечёсаной кур-

чавости Радека с невынимаемой трубкой и никогда не закрытыми влажными губами.

— ...В каждой стране — возбуждение ненависти к своему правительству! Только такая работа может считаться социалистической...

(Только над молодёжью и стоит работать, здесь нет унижения, это дальновидность. Впрочем, не стар и Гримм, на 11 лет моложе Ленина, но — схватился уже за власть. Неглуп, а не поднимается до теории. Вооружённого восстания не хочет, а что-нибудь левое клюнуть ему хочется. Когда в Четырнадцатом Ленин въехал в Швейцарию именем Грёйлиха и устроился здесь поручительством Гримма — виделся с ним, проговорили полночи. Тот спросил: «А что б вы считали нужным в положении швейцарских с-д, вот сейчас?» Шупая, на что он способен, блеснул ему: «Я бы — провозгласил немедленно гражданскую войну!» Перепугался. Да нет, подумал — шутка...)

— ...Нейтральность страны есть буржуазный обман и пассивное подчинение империалистической войне...

В мускульных сдвигах, в мучительном усилии платтенский лоб, и в усилии и растерянности глаза. Как это трудно, как это трудно — постигать великую науку социализма! Как не складываются грандиозные формулы с твоим ограниченным скудным опытом. И война — обман, и нейтральность — обман, и нейтральность — всё равно что война?.. А на товарищей покосишься — всё понимают, и стыдно признаться, и делаешь вид.

(А это — не легкомысленная фраза была: по дороге через Австрию Ленин всё это выносил воодушевлённо, в Берне закрепил как тезисы, потом перелил в Манифест ЦК, потом отстоял в лозаннской публичной схватке с Плехановым. Можно тысячу раз знать марксизм, но когда грянет конкретный случай — не найти решения, а кто находит — тот делает подлинное открытие. Осенью 1914, когда 4/5 социалистов всей Европы стали на защиту отечества, а 1/5 робко мычала «за мир», — Ленин, единственный в мировом социализме, увидел и всем показал: *за войну!* — *но другую!* — и немедленно!!)

Кружка пива и перед Лениным, хоть терпеть не может он этот тип — швейцарских политиков за пивным столом, но таков обряд. Бронский — сонный, как всегда, не возмутимый ничем. А Радек, чёрные бачки круговые от уха до уха пропущены под подбородком, в очках роговых, со взглядом быстрым, зубы торчат из-под

верхней губы, и перекладкой, и перекладкой вечно дымящей чёрной трубки, — всё это слышал, всё это знает, тесно и мало ему, и медленно.

— ...Мелкое стремление мелких государств остаться в стороне от великих битв мировой истории...

Про себя барахтается Платтен, стараясь не проявиться наружно. Очень понятна задача мировой революции — но как трудно применить её к своей Швейцарии. Ум — согласен: если миновали мировую бойню, надо не успокаиваться, надо звать в социальные бои. А душа неразумная: и как хорошо-мирно живут крестьянские дома, прилепились на горных уступах, все мужчины дома, и четырёхжды в лето снимаются травы с лугов, как бы ни были откосы круты, и санным запасом полнеют до крыш высокие сараи, и полными днями с отрога на отрог перезваниваются сотни колокольцев, коровьих и овечьих, как будто горы сами звенят.

— ...Узколобый эгоизм привилегированных маленьких наций...

Медлительный ход пастухов. Изредка — бич оглушительный по каменистой дороге, — и несёт его эхо за повороты холмов. Длинные, коров на двадцать, водопойные чаны под горными родниками. Перемены ветров по всколыхнутым травам, перемены туманов, курящихся над лесистыми ущельями, а когда солнце прорвёт дожди, так бывает и радуге развернуться негде, встаёт она просто столбом из горы. И на отеле пустынном, вершинном, тихая надпись: «Хранит живущего одеяние родины».

— ...Промышленность, связанная с туристами... Ваша буржуазия торгует прелестями Альп, а ваши оппортунисты ей в этом помогают...

Не удержал, не спрятал сомнения Платтен, отразилось доверчиво, безхитростно.

И Ленин — заметил! И с угла стола, среди молодых единственный старый, ему на вид куда за пятьдесят, — живо, подвижно, искося, как метким ударом шпаги, меткое слово — ключ агитации:

— Р е с п у б л и к а л а к е в ! — вот что такое Швейцария!

Радек зароготал, ловко, весело трубку перекладывает, да каждый раз по-новому пальцами, с серьёзностью сосёт свой важный дым. Вили — весело ловит взгляд Учителя, руки длинные выкручиваются в нетерпении — дай ещё! дай ещё!

Да Платтен — разве спорит? Платтен — только в недоумении. Страна, пожалуй, и похожа на украшенную гостиницу, но лакеи

бывают подобострастны, суетливо-податливы, а швейцарцы — медленны, самоуважительны. Да даже и жёны министров не держат лакеев, выбивают сами ковры.

(Впрочем, не было в Швейцарии случая, чтобы письмо пропало. И библиотечное дело отлично поставлено: в дальние горные пансионы высылаются книги бесплатно и тотчас.)

— ...Подачки послушным рабочим в виде социальных реформ, только бы не свергали буржуазию...

С этим совещанием три недели хлопотали, наконец вот собрали, 21-го в пятницу вечером — уж перед самым, как раз, накануне партийного съезда. И очень помог, пригодился Радек.

(Радек если когда хорош — так хорош, архидружба. Сегодня жить бы без него нельзя. И по-немецки — что говорит, что пишет, и любой поворот с ним лёгок, не надо втолковывать. Негодяй, но блестящий, такие очень нужны. А бывал — омерзительным, в Берне даже не встречались, переписывались по почте, с февраля — порвали навсегда, в Кинтале выступал совершенно провокационно.)

— ...Швейцарский народ голодает всё ужаснее и рискует быть втянутым в войну, и убитым за интересы капиталистов...

У Нобса скептический янтарный мундштучок, сам на губе держится.

(И как же было, во всей Европе одному, начинать борьбу за обновление Интернационала, нет, за разгром его и постройку Третьего? То — соскрести своих большевиков-заграничников, кто приедет. То, помощью Гримма, — женщин десятка три, Интернациональную Социалистическую Женскую Конференцию; самому неудобно присутствовать, а надо их направить, — так в том же Народном доме просидеть три дня в кафе, а Инесса, Надя и Зинка Лилина бегали ему докладывать и спрашивали инструкции.)

— ...Идти на бойню за посторонние чужие интересы? Или принести великие жертвы за социализм, за интересы девяти десятых человечества?..

(То — интернациональную социалистическую конференцию молодёжи, и полутора десятка не набрали, в основном — кто дезертировал от воинского призыва и наверняка против войны, — и опять три дня сидеть в том же кафе, а Инесса с Сафаровым прибегают за инструкциями. Вот тут и появился Вилли.)

Двадцать семь лет Мюнценбергу — а с семнадцати это кипение молодёжное: встречи, организации, конференции, демонстра-

ции... И среди равных открывая в себе голос, и удачу, и удачу, — слушаются! — как на помост, по ступенькам, чтобы лучше видели, — поднимаешься, поднимаешься, и вот уже ты — постоянный оратор, делегат, секретарь... И вожди партии уже стараются протянуть тебя к себе и настраивают не слушать вот этого азиата с его дикими идеями, а ты как раз от него, от него и зажигательного Троцкого, узнаёшь всё правильное и важное!

— ...«Защита отечества» есть обман народа, а вовсе не «война за демократию». И со стороны Швейцарии тоже...

Двадцать семь лет! — да пройти через раннюю смерть матери, побои мачехи, побои отца, прислужничество в отцовском трактире, с гостями в карты играть и говорить о политике, и у мачехи близ прачечного корыта всегда страдать от своей рваной одежды, ботинок не по размеру, и сапожным подмастерьям затянуться в пропаганду, и уже в двадцать лет эмигрировать в Цюрих, чтобы здесь, аптечным дрогистом, пройти все классовые бои...

Под красноватой лампой полно веры и ожидания преданное решительное лицо Мюнценберга. В узком его подбородке заострилась проверенная воля. Брови готовно сдвинуты навстречу революционным мыслям. Уже многое он делал, как Ленин говорил, и хорошо получалось. Созывал молодёжный день на Цюрихберге, больше двух тысяч, и потом с «Интернационалом», красными флагами и «долой войну!» повёл их через город. И в Кинталь — уже был позван, и вместе с Лениным подписал резолюцию левых.

— ...«Защита отечества» — лицемерная фраза. Она подготовляет бойню рабочих и мелкого крестьянства...

Нескладный Шмидт из Винтертура недоумеваает с дальнего края скамейки, заглядывает через весь ряд:

— Но нашу страну война не может затронуть, мы нейтральны...

— Да вступление Швейцарии в войну возможно в любой момент!

Нобс пережёвывает янтарный мундштучок под светлой усовой пушистостью. Улыбка у него котяче-приятная, а глаза недоверчивые и хохолок с сомнением.

— Конечно, отказ от защиты отечества ставит необычайно высокие требования к революционному сознанию!

(Всю жизнь — лидер меньшинства, всю жизнь с горсточкой против всех, — нужна и тактика острая. Тактика такая: побольше вытрясти из резолюции большинства — и всё равно её не принять:

или включайте наше мнение в протокол или уходим!.. Но вы — меньшинство, почему вы диктуете?.. Тогда — уходим! разрыв! скандал! позор!.. Так было на всех этих конференциях, и не было большинства, которое бы не ослабело. *Ветер всегда дует с крайнего лева!* — и нет в мире социалиста, который мог бы этим пренебречь. В том была и неуверенность Гримма, отчего он и поспешил собирать Циммервальд.)

— ...Ни одного гроша на постоянное войско даже в Швейцарии!..

— Как, и в мирное время?

— Даже в мирное время обязан социалист голосовать против военных кредитов буржуазного государства!

(Долго не было Ленину приглашения в Циммервальд, и он изнывал, боясь, что Гримм не позовёт, — а навязываться было совсем неприлично. Да и что там будет за конференция? Соберётся куча говна и будет «за мир и против аннексий». *За мир* — слышать он не мог этих слов!.. Между тем тайно влиял, чтоб натянуть в депутаты побольше своих сторонников: кто против своего правительства — это и будет ядро левого Интернационала!.. Но стянули таких только восемь человек: сами трое с Зиновьевым и Радеком, Платтен, один латыш и три скандинава. Да и весь то «старый» Интернационал, через 50 лет после своего основания, поместился на четырёх фурах, какими извозчики повезли конференцию в горы, чтоб не привлекать внимания властей, а власти и не заметили: ни — как приехали депутаты в Швейцарию, ни — как разъехались по домам, только из иностранных газет и узнали.)

— Но особенности Швейцарии...

— Да никаких особенностей! Швейцария — такая же империалистическая страна!

Платтен — откинулся, лоб нараспашку, лоб застигнутый перегоняет морщины. Сопротивляется чувство непросвещённое: хоть и крошечная наша Швейцария — а разве не особенная? И от первого союза трёх кантонов — мы кого же силой захватили? Но — напряжением ума заставляет себя, заставляет принять передовую мысль. Крупные, сильные, беззащитные руки ладонями вверх на столе.

(Через этого одного Платтена, благодарный материал, можно бы повернуть всю цюрихскую организацию. Если б он больше работал над самообразованием.)

— Итак, среди нас, среди левых циммервальдистов, теперь установлено полное единодушие: мы — от в е р г а е м защиту отечества!

Косолапым не всем понятно:

— Но, отвергая защиту отечества, мы оставляем страну беззащитной?

— В корне неправильная постановка вопроса! А правильная: или мы дадим себя убивать в интересах империалистической буржуазии, или ценой меньших жертв совершим социалистический переворот в Швейцарии — единственное средство освободить швейцарские массы от дороговизны и голода!

(В Циммервальде почти не выступал, направлял своих левых из тени. Это — самый верный расчёт сил. Уж Радек ли не выступит! — остроумно, находчиво, развязно, самоуверенно. Обязанность же вождя — сплачивать своих немногих. Враг — это ещё полврага. Но кто *был* с нами и вдруг от нашей линии отвихивается — это двойной враг! вот по таким — первый удар! А лучше — предусмотреть, и между заседаний накачивать своих на секретных совещаниях.)

— ...В том и весь позор пацифизма, что он мечтает о мире без социалистической революции.

У Радека весёлая легкоподъёмность: все карманы у него оттопырены газетами, книгами, на первый день есть, если бежать на революцию — так прямо отсюда. А — интересно как!

(Но — следить за мошенником: в любую минуту переметнётся, изменит. То — путал, мирил Гримма и Платтена, когда их надо всячески ссорить.)

— ...Переворот — абсолютно необходим для устранения всех войн...

А Бронский — как дремлет. Бронский мог бы тут и не сидеть, он — для счёта всегда. Когда нужно — проголосует. А когда нужно — и скажет что нужно.

(Да — глупый он. Но — так мало нас, пригодится каждый в своё время.)

— ...Социалистический строй один избавит человечество от войн...

Нобс — как будто одобрителен, и в глазах и в губах — сочувствие, а уши — покойно на месте, а лоб не взморщится. Да ведь — главный редактор главной газеты левых и мягко продвигается по

партии на председательские места. Он очень, очень нужен им тут всем.

Нужны — и они ему, Нобс отлично понимает, что ветер всегда дует слева. Вот — их кучка, вот — их несколько человек, а ведь могут повернуть всю швейцарскую партию? Да только не дать им на шею сесть.

— ...Это непоследовательно: стремиться к окончанию войны и отвергать социалистическую революцию...

(Но вскочил Ленин и крикнул на письмо Либкнехта Циммервальду: «Гражданская война — это великолепно!» Осторожность хороша на 9/10, а в 1/10 надо переступать. Идти в окопы с пролетарским лозунгом: братание! В войсках проповедовать классовую борьбу! Обращать оружие — против своих! Эпоха штыка наступила! Конечно, рискованно так эмигранту в нейтральной стране, но — всегда обходилось. А в Циммервальде гнусный подлый немец Ледебур: «Вы здесь подпишете — вам не опасно, а *тем*? Езжайте в Россию — и подписывайте *оттуда!*» Уровень аргументов!..)

— ...А швейцарская партия упорно остаётся в исключительно легальной колее и не готовится к революционной массовой борьбе...

От стойки с двумя пузатыми старыми бочками и десятками цветных горлышек официант с нетёсаным швейцарским лицом медленно носит к столам золотистые кружки, бордовые бокалы и стаканы. Другой от кухонного окошка — дощечки жёлтые с наструганными бурыми копчёностями да тарелки с жарким и рыбой, — непомерно изобильные швейцарские порции, как четверные, неторопливо убирают швейцарские животы. И ещё на огоньках подле каждого обжоры подогревается вторая половина порции.

— ...Социалистическое преобразование Швейцарии вполне осуществимо и настоятельно необходимо. Капитализм вполне созрел для превращения в социализм — и немедленно!..

(На последнем заседании Циммервальда от полудня и всю ночь левая бушевала на каждой поправке, каждый раз требовала «особого мнения» в протоколе — и так незаметно сдвигала резолюцию влево. Ни Гражданской войны, ни Нового Интернационала не провели, конечно. Но создалась циммервальдская левая как международное крыло, и Ленин — вождь её, а не какой-то русский сектант. Руководство же осталось за центристами, и слава конфе-

ренции — за Гриммом, во всех мировых газетах. Чуть старше тридцати, а — в Исполкоме Интернационала, потому что с оппортунистами заодно. Двадцать лет как Ленин по Швейцарии то ездил, то жил, — никакого Гримма и слышно не было.)

Втягивающее, узкое лицо Вилли. Он — согласен, согласен со всем, но, главное, точно ему понять: как делать? с чего начинать?

— В Швейцарии необходимо будет эскпроприировать... максимум... всего не больше 30 тысяч буржуа. Ну и конечно сразу захватить все банки. И Швейцария — станет пролетарской.

От столба, искоса наблюдает Ленин, всем душевным напором, взглядом толкающим, лбом котловым наклонённым, — и успевает проверить, насколько в кого втолкнулось. Оскудевшая рыжина на куполе выступает сильнее под красным фонарём.

— Подрубать корни современного общественного строя — на практике! И — теперь же!

Вот этот шаг и труден всем социалистам мира. Сощурился Нобс, как от боли. Даже винтертурский пролетарий что-то крив на рот. И Мимиоле давит шею высокий обруч крахмального воротника.

Хорош наш Ульянов — но слишком уж крайний. Уж крайних таких — не то что в Швейцарии, не то что в Италии, — но и во всём мире нет.

Трудно им, трудно. Переменчиво-бегло осматривает Ленин все эти разные, уже свои, а ещё не взятые головы.

А они все боятся попасть под уничтожающую издёвку его.

(Есть такой приём: когда трудно входит — навалить ещё тяжелей, и тогда прежнее трудное уже входит легче.)

И через весь стол, на шестерых швейцарцев, по всем шести линиям сразу вмешался, послал, голосом напряжённым, но не полного звука, в груди ли, в гортани, во рту неизменно теряя его и прихрамывая на «р»:

— А путь для этого — т о л ь к о р а с к о л ! Это — мещанское кривлянье, будто в швейцарской социал-демократии может господствовать «внутренний мир»!

Вздروгнули. Замерли.

А он:

— Буржуазия вскормила себе социал-шовинистов, своих сторожевых псов! И какое же с ними *единство*?

(А уже начав — в одно место, в то же место, в ту же точку, чуть меняя слова, это главный принцип пропаганды и преподавания.)

— Это болезнь — не только швейцарских, не только русских, но всех социал-демократов мира: раскисляйская склонность к «примирению»! Для фальшивого «единства» все готовы поступиться принципиальностью! А между тем без полного организационного разрыва с социал-патриотами невозможно продвинуться к социализму — ни на шаг!!!

Как бы ни замерли, что б ни подумали — но уверенность учителя против класса: даже если весь класс не согласен — прав учитель, всё равно. И — ещё гортанней, и ещё нетерпеливей и нервной:

— Вопрос о расколе — основной вопрос! Всякая уступчивость в нём — *преступление*! Все, кто в нём колеблются, — *враги пролетариата*! Истинные революционеры — никогда не боятся раскола!

(Раскалываться — всегда! Раскалываться — на всех этапах движения! Раскалываться до тех пор, пока станешь хоть в самой малой кучке — но Центральным Комитетом! И пусть в ней останутся самые средние, даже самые ничтожные люди, но — единопопслушные, и можно достичь — всего!!)

— В международном масштабе — раскол вполне созрел! Уже есть превосходные сведения о расколе среди немецких социалистов. И пришла пора — рвать с каутскианцами своей страны и всех стран! *Рвать* со Вторым Интернационалом — и строить Третий!

(Это всё проверено — ещё на заре века. Так прорезал и убил экономистов лучом Что-Делать, замыслом конспиративной профессиональной кучки. Так стряхнул раскачкой Шаг-Два-Шага хлипкий, липкий мешок меньшевизма. Не власть нужна ему, но не может он *не* управлять, когда все другие управляют так безпомощно. Не может он дать искиснуть, изгнать — несравненным способностям руководства.)

И это всё — как *тут* родилось, вот сейчас за столом, как откровение единомгновенное и покоряющее: *раскол* своей партии — и через то победа революции!!

И замер Нобс — от сладкого страха, не мурлыкнув. Если раскол — то он лидер отколовшихся?.. Отвергнешь — тоже потеряешь? Быть может — и лучшее место здесь, за краешком этого стола?

И лапа Платтена замерла в охвате пивной кружки. О, сколько же тяжёлого ещё будет на пути социалиста!

И Мимиола победил сжимающий воротник, вырос, вырос из него. Но хмурясь.

И — просветлённо и удивлённо полуулыбался Вилли. Он — готов. И он — поведёт молодёжь. Он — всё повторит это им с трибуны.

И — лбом котловым, когда стенка пробита, доталкивая, доталкивая:

— В моей книге «Империализм» окончательно доказано, что во всех индустриальных странах Европы неизбежна скорая революция!

Там — ещё двое, они верить хотят, но — как это? Живя в своей обычной комнате, вот выйти утром между знакомыми зданиями — и делать революцию? — к а к?.. Кто бы показал? Ведь никогда не видано.

— Но в Швейцарии...

— А что — в Швейцарии? Прекрасная стачка в Цюрихе в Девятьсот Двенадцатом! А — этим летом? Прекрасная демонстрация Вилли на Банхофштрассе! крещение кровью!

Да, это гордость Вилли:

— И сколько раненых!

Не так даже первого августа, как третьего, в защиту павших.

Мнутся:

— Но всё-таки... в Швейцарии?..

Ему — как не поверить? Он с каждым молодым — как с равным себе, во всю серьёзность, не как отмахиваются от незрелых едва поднявшиеся вожди, но на каждого сил не жалея, беседуя, донимая, донимая вопросами до петли...

— Но всё-таки — в Швейцарии...

Радек за это время, что разъясняли тут, из своих набитых карманов две газеты прочёл, одну книгу перелистал, а они всё не поняли?

Тычет им черенком трубки:

— Да собственный ваш прошлогодний партсъезд... Резолюцию ж приняли, о революционных массовых действиях! Ну! И — что?

И — что?.. Мало что приняли. Принять нетрудно.

— Потом и Кинталь!

Их — пятеро здесь, кто были в Кинтале, — уже и Нобс и Мюнценберг, пятеро здесь, а там их было — двенадцать, из сорока пяти. И снова грозили взрывать, уходить, покидали зал и возвраща-

лись. И большинство поддавалось меньшинству, и сдвигали, сдвигали резолюцию всё левей, всё левей: *только завоевание политической власти пролетариатом обеспечивает мир!*

Всё — так, но мало что в резолюциях...

— А у нас в Швейцарии...

Да какое ж терпение не взорвётся с этими лбами корявыми! И в новом взрыве непостижимого откровения — сухим полётом, сильным шелестом прорвавшегося голоса:

— Да знаете вы, что *Швейцария — революционнойшая страна в мире??!*

Как — сснуло всех со скамей, со стола, вместе с кружками, тарелками, вилками, и фонарик на столбе качнулся от ветра голоса, и Нобс подхватил мундштук рукой, вырывая...

????????????????.....

(А он — видел! Он видел в Цюрихе — вот, близобудущие баррикады — пусть не на банковской Банхофштрассе, но — к рабочему району, у Народного дома на Хельвеция-плац!)

И — выплеском взгляда разящего из монгольских глаз, и голосом, лишённым сочной глубины, зато режущим, ближе к сабле калмыцкой (только выщербинки на «р»):

— Потому что Швейцария — единственная в мире страна, где солдатам отдаётся на дом, на руки — и оружие! и амуниция!

И?..

— А что такое революция — вы знаете? Революция это: захватить банки! вокзал! почту-телеграф! и крупные предприятия! И — всё, революция победила! И что же для этого нужно? Только оружие! И оружие, вот, — есть!

Что только слышал Фриц Платтен от этого человека, своего рока и судьбы своей! — леденило кровь иногда...

А Ленин не убеждал уже, он требовал резко — у ослушников, у растяп неспособных:

— И чего же вы ждёте? Чего не хватает вам? Всенародного военного обучения? Так пришло время и потребовать! Для этого...

Импровизировал. Соображал между фразами, разглядывал между мыслями, а голос не прерывался:

— Офицеры — выборные народом. Любые... сто человек могут потребовать военного обучения! С оплатой инструкторов за казённый счёт. Именно при гражданских свободах Швейцарии, её эффективном демократизме — колоссально облегчается революция!

Он налегал на стол, он был как косо-крылатый, и, взлетев отсюда, из зальчика ресторана Штюссихоф, — вот взмлет сейчас над площадью пятиугольной, замкнутой, средневековой, сама-то величиною с хороший зал, пронесётся над фигурой комичного фонтанного воина с флагом, завьётся спиралью мимо нависающих балконных выступов, фрески двух сапожников, выстукивающих на своих табуретках на уровне третьего этажа, гербов на фронтонах у пятого, — и над черепичными крышами старого Цюриха, над нагорными пансионатами, разукрашенными шале республики лакеев:

— Немедленно начать пропаганду в армии! Разъяснять войскам и призывной молодёжи — неизбежность и законность применять оружие для освобождения от наёмного рабства!.. Издавать летучие листки за *немедленный* социалистический переворот в Швейцарии!

(Для беспаспортного иностранца несколько опрометчивые советы, но это — та самая 1/10, без которой не победишь.)

— Уже сейчас захватывать в свои руки все правления во всех союзах рабочего класса! Требовать от парламентских представителей партии — публичной проповеди социалистической революции! принудительного отчуждения фабрик, заводов и сельхозучастков!

Прямо идти — и у людей имущество отбирать? Без — закона? Швейцарцы косолапые помаргивать не успевают.

— Для усиления революционных элементов в стране — натурализовать безошлинно всякого иностранца! При малейших шагах правительства к войне — создавать нелегальные рабочие организации! А в случае войны...

Отвагой полны вожди молодых, Мюнценберг и Мимиола:

— ...Отказываться от военной службы!

(Впрочем, Мюнценберга и Радека, как дезертиров тех армий, выслать в Германию и Австро-Венгрию закон запрещает.)

Нич-ч-чего не поняли! Насмешка, но не злая, пронеслась по ленинскому лицу. Делать нечего — снижаясь, опять снижаясь, мимо сапожников, рабски-старательно вколачивающих свою работу, над голубою фонтанной колонной, и — нырь в ресторан, сюда опять:

— Да ни в коем случае не отказываться, что же вы поняли?! Именно в Швейцарии: дают оружие — брать!! Требовать демобилизации — да, но — сохраняя оружие! С оружием — и на улицу!

И — ни часу гражданского мира! Стачки! Демонстрации! Формирование рабочих отрядов! И — *вооружённое восстание!!!*

Широколобый Платтен — как откинутый, в лоб ударенный:

— Но во время всеобщей войны... соседние державы... потерпят ли революцию в Швейцарии? Вмешаются...

А здесь-то и было зерно ленинского замысла! — в исключительной, неповторимой особенности Швейцарии:

— Вот это и замечательно! Пока вся Европа воюет — а в Швейцарии баррикады! А в Швейцарии — революция! А у Швейцарии — три главных европейских языка! И по трём языкам в три стороны па-лётся революция по Европе! Расширится союз революционных элементов — до пролетариата всей Европы! Сразу вызовется классовая солидарность в трёх пограничных странах! Уж если вмешаются — то революция вспыхнет *по всей Европе!!* Вот почему **Швейцария — центр мировой революции сегодня!!**

Опалённые красным пламенем сидели кегель-клубцы, кого в каком положении застало. Мюнценберг выдвинул узкий треугольник безстрашного лица — вперед в огонь. Подпалило и Нобсу пушистость. Мимиола — и галстук сорвёт, и своих темпераментных итальянцев поведёт через все развалины. Бронский в лукавой меланхолии делает вид, что тоже к бою — готов. Радек — поёрывает, губы облизывает, запрыгал задор за глазами: да если б так — это же штук каких наколоть можно!

(Кегель-клуб — зародыш Третьего Интернационала!)

— ...Вы — лучшая часть швейцарского пролетариата!..

А резолюция для завтрашнего съезда швейцарской партии у Радека уже лежит готовая. Вот если б Нобс её напечатал...

Гм-м-м...

А — кто её на съезде предложит?..

Гм-м-м...

Уже и ресторану скоро закрываться, расходились.

На площади Штюссихоф горели три фонаря на столбах и много окон из домов со всех сторон. И можно было легко прочесть табличку, как бургомистр Штюсси погиб тут недалеко в битве в 1443 году. А дом семьи его «на ветру» стоял, на 60 лет старше. Да Штюсси и был наверно — посреди фонтана вот этот комичный швейцарский воин в латах и в голубых чулках. Тонкие струи слышно лились в голубоватый водоём. Было сухо и, по-здешнему, холодно.

Расходились, ещё договаривая на площади, измощённой малыми камешками подгладь. Площадь — как замкнутая, и, если не знать щелевых улиц, кажется — всё, тупик, никогда не выберешься. Одни уходили вниз по откосу, мощённому коревато, и дальше переулком к набережной. Другие — мимо пивной «Франциска-нец». А Вилли провожал учителя по той же улице в другую сторону, мимо кабаре «Вольтер» на следующем углу, где всю ночь бушевала богема, и им встречались на узкой мостовой ещё не взятые проститутки. А от вольтеровского кабаре — круто вверх под фонарь престариннейший на чугунном столбе, по переулку-лестничке, почти можно обеих стен достать раскинутыми руками, став рядом вдвоём, — и всё вверх и вверх.

Ленин — крепкими альпийскими каблуками по камням.

Вилли ещё и ещё хотел набраться уверенности от учителя. Он не забыл летнюю драку на Банхофштрассе — но ведь опять всё смыло, подмело, и всё те же витрины сверкают, и всё то же мещанство гуляет, а рабочие спокойно слушают своих уговорчивых вождей.

— Но народ ведь — не подготовлен?..

На крутом повороте переулка из-под тёмной шапки, в слабом свете чьих-то верхних неспящих окон — голос тихий, но с тем же прорезающим лезвием:

— «Народ» конечно не подготовлен. Но это не значит, что мы имеем право откладывать начало.

И даже зная свою трибунную удачливость, и испытавши вопли молодёжных сходок, всё-таки возражаешь:

— Но нас — такое малое меньшинство!

А тот из темноты, остановясь, чего не открыл даже лучшим, собранным в кегель-клубе:

— А большинство — всегда глупо, и ждать его нельзя. Решительное меньшинство должно действовать — и после этого становится большинством.

На другое утро открылся съезд — в Купеческом зале, на той стороне реки. Ленин, как вождь иностранной партии, был приглашён приветствовать. А Радек, как от польской социал-демократии, тоже. Двое наших, один за другим.

В первое утро делегаты съехались ещё не все, это не было многолюднее, чем хороший реферат. (Ленин и не привык многолюдно, он и не знал, что значит говорить тысяче сразу; один раз на митинге в Петербурге, так язык отнялся.)

И едва он поднялся над залом — осторожность овладела им. Как и в Циммервальде, как и в Кинтале, он не рвался высказать тут главное, — нет, вся пылкость убеждения естественно приберегалась на закрытое совещание единомышленников. Здесь — он конечно не призывал ни против швейцарского правительства, ни против банков. Стоя перед этой, формально социал-демократической, а по сути буржуазной массой самодовольных мордатых швейцарцев, рассеявшихся за столиками, Ленин сразу ощутил, что его тут не воспринимают, не воспримут, да ему почти и нечего им сказать. Даже напомнить им их собственную прошлогоднюю весьма революционную резолюцию — как-то не выговаривалось, да и можно всё испортить.

И его приветствие было бы совсем коротко, если б он болезненно не зацепился за выстрел Фрица Адлера, две недели назад. Во время войны ухлопать главу австрийского имперского правительства! — это убийство заняло воображение всех, об этом много говорили, и сам Ленин для себя тоже искал оценку, а для того выпрашивал обстоятельства: чьё это влияние (не русская ли эсерка его жена?). И потаённо связанный с проработкой этого вопроса (вечный спор), Ленин тут, на съезде, половину своего выступления неуместно посвятил террору... Он сказал, что заслуживает полной симпатии приветствие террористу, посланное ЦК итальянской партии, если понять это убийство как сигнал социал-демократам покидать оппортунистическую тактику. И подробно защищал, почему русские большевики могли спорить против индивидуального террора: *лишь* потому, что террор должен быть *м а с с о в ы м*.

А швейцарцы жевали, мычали, попивали — не понять их.

Но нет! субботнее заседание пошло хорошо, подало надежду! Аплодировало Платтену большинство, и *папа* Грёйлих 75-летний, в пышных седирах, стал шутить, что «партия нашла новых любимчиков». (Да то ли ещё будет, последним *швицевским* ругательством вас покрыть! Да мы вас — повесим, когда к власти придём!) Шло, шло на лад! Ленин приободрился и ощутил себя как старый армейский конь в боевой суматохе. А дальше — Нобс оглядчивый не отказался выступить с резолюцией кегель-клуба (радековской): съезду — следовать кинтальским решениям. (Туповатые швейцар-

цы могут из моды проголосовать, сами толком не зная, в чём там кинтальские решения, — а и попались потом! Потом — их же решением — их и клевать. Гримма клевать!)

Мелочь? Нет! — именно *так* и движется история: от одной завоёванной резолюции к другой, натиском меньшинства, — сдвигать и сдвигать все резолюции — влево! влево!

И следующий шаг: вечером в субботу, по замыслу кегель-клуба, собрали отдельно и тайно (индивидуально приглашая), в другом, не съездовском доме, приватно, — всех молодых депутатов съезда: ставка на то, что молодость всегда сочувствует *левому*. План был простой: вместе с ними выработать (предложить им готовую, Радек уже принёс) резолюцию, которую они завтра, в воскресенье, *от себя* предложат съезду и протолкнут.

На этом приватном совещании молодых председательствовал, конечно, Вилли — со всей свободой призывающих рук вожака, весёлого бодрого голоса и волос распавшихся, — а рядом Радек стал, как обмазанный курчавостью, в боевых весёлых очках, читал свою резолюцию, разъяснял, отвечал на вопросы. (И оратор хорош, но — перо! но перо! — нет ему цены!) А Ленин, как всегда, как любил, сидел в ряду, незаметно, и лишь внимательно слушал.

И всё было бы хорошо: молодые депутаты прислушивались к русско-польскому товарищу и соглашались.

Всё было бы хорошо, но случилась крайняя неприятность: не подумали, не догадались запереть дверь. И в незапертую вошли, да их и не заметили сразу, — две сплетницы, две гадкие бабы: госпожа Блок, приятельница самого Гримма, и Димка Смидович, приятельница Мартова. А зашли бабы — не выгонишь, будут визжать, скандал! И не уйти всему собранию в другое помещение! Да уже слышали, видели — Радека как докладчика, и всё поняли, конечно, что резолюцию швейцарскому съезду — готовят русские.

Ах, какая дьявольская досада! Ах, какая грандиозная неудача! Что за мерзавки бабы, мизерная интрига! Конечно, тут же бросились — и нашептали Гримму. А он, нахал и сволочь, скотина последняя, поверил глупому бабью! И заварил пошлую склоку, в своей «Бернер Тагвахт» напечатал гнусные намёки, абсолютно непонятные девяносто девяти читателям из ста: какие-то *несколько иностранцев*, рассматривающие наше рабочее движение через свои очки и абсолютно равнодушные к швейцарским делам, хотят в порыве своего нетерпения искусственно возбудить у нас революцию!..

Ахинея! Архипошлость помойная! И это — рабочий вождь?

И на съезде — высмеяли резолюцию Нобса. Где предлагал он постановить впредь выбирать в парламент только таких депутатов, которые против защиты отечества, Грёйлих возвеселился: если пошлём таких депутатов, они по пылкости могут оказаться на кегельбане.

И съезд — хохотал.

И рассмотрение кинтальской резолюции тоже отложили — на февраль Семнадцатого.

Что ж за трагическая судьба?! Сколько вложено сил, вечеров, убеждения, ясности, революционного динамита! — и только обломки пошлости, глупости, оппортунизма, серая вата, чердачная пыль.

И в затхлой Швейцарии торжествует бацилла мелкобуржуазного тупоумия.

А буржуазный мир — стоит, не взорванный.

ВЫ ЛЮДИ РЕЧИСТЫ,

ВАМ ВСЕ ПУТИ ЧИСТЫ.

А МЫ ЛЮДИ БЕЗСЛОВЕСНЫ,

НАМ ВСЕ ПРОХОДЫ ТЕСНЫ.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1	9
Птицы близ фронта. — Местность у Щары. — Унизительность русских позиций. — Какие места дороже сердцу? — Подвиг Сани на батарее. — Рассвет за Торчицкими высотами. — Перо жар-птицы.	
Глава 2	14
Офицеры в батарее подполковника Бойе. — Боковой наблюдательный пункт. — Дневник наблюдения. — Подготовка к стрельбе. — Санино увлечение стрельбой. — Просьба о Благодарёве. — Нынешняя слабость Гренадерского корпуса. — Упавшая слава его. — Саня себя не узнаёт. — Чем мы влагаемся в ход мировых событий.	
Глава 3	27
В офицерской землянке. — Прапорщик Чернега: — Бюрократия позиционного стояния. — Просмотр приказов. — Спор о еврейх.	
Глава 4	39
Пришёл Арсений Благодарёв. — Надежда на отпуск. — Чернега задирает. — Истории села Каменки. — Санина тревога. — Под ночную тьмой. — Умер Чевердин.	
Глава 5	48
Отец Северьян в упадке духа. — Отклонённая благодать. — А кто же мы для старообрядцев? — Троицын день в храме на Рогожской. — Мор на староверов. — И из-за чего? — Разделённые христиане. — Церковь ни в чём не грешна? — В чём Саня отошёл от Толстого. — Да Толстой христианин ли?.. — Этика и смирение. — Отвергнутые тайны бытия. — В немощи.	
Глава 6	59
Оброненная исповедь. — А если не прощать? — Священник и война. — Природа войны. — Дилемма: мир — зло. — Не худший вид зла. — Не исключительна каждая вера.	
Глава 7' (Кадетские истоки)	68
Где начался разлад? — Куда спешили террористы? — Террор как... выражение духовной правоты. — Левый уклон либерализма. — Труд-	

ность средней линии. — Как сызначала направилось русское земство. Отличие от западной муниципальности. — Александр III тормозит земство. — Самоограничение в государственной жизни? — Николай II и «безпочвенные мечтания». — Цепенеющая идея — задержать развитие. — Межгубернское совещание у Шипова, 1902. — Наотрезный отказ власти. — Расслоение земцев. Формирование «Союза Освобождения». — Его программа и тактика. — Против самодержавия все средства хороши! — Миропонимание Шипова. — Образцы из древней Руси. Не интересы, а правда отношений. — Государственно-земский строй. — Плеве устраняет Шипова. — Ликование либералов после убийства Плеве. — Программа Святополк-Мирского. — Земский съезд в ноябре 1904. — Мысли Шипова о построении народного представительства. — Раскол земского съезда. — Раскат банкетной кампании. — Отказ Государя, отставка Святополка. — Указ 18 февраля 1905, отступление власти. — Союзы, союзы, раскал обстановки. — Выдвижение Милюкова. — Симуляция революции. — «Устранить разбойничью шайку!» — Совещание во дворце Долгоруковых одобряет насилие. — Бойкот законосовещательной Думы. — Кадетская партия. — Декларация левой солидарности. — Ответ Милюкова на Манифест 17 октября. — Двину Ахеронт! — Кадеты отказываются от Виттевского кабинета. — Шипов о кадетях. — Гучков о кадетях. — Перерывы царской воли. — Настроение 1-й Государственной Думы при открытии. — Поздний разум В. Маклакова. — Кадеты в нетерпении. Свалить власть! — Муромцев. — Непримиимый конфликт 1-й Думы с властью. — Советы Шипова о кадетском правительстве. — Точка зрения Столыпина. — Воззвание Думы к народу о земле. — Усилия Горемыкина в роспуске Думы. — Дума на замке. — Прения в Выборге. — Выборгское воззвание.

Г л а в а 893

Букет роз. — Ожидание таинственного поклонника. — Замужество Алины. — Переломы в карьере мужа. — Его душевное крушение. Атрофия чувств. — Высвобождение, взлёт Алины в военной Москве. — Группа «летучих концертов». — Дружба с Сусанной Корзнер. — Совсем иначе могла пойти жизнь Алины... — Московский стиль самоограничения. — Круг Корзнеров. Ужины у них. — Безнадёжность правительства. — «Кулак им!»

Г л а в а 9104

Чужость Сусанны в концертной труппе. — Откровенности с Алиной. — Картины московского немецкого погрома в мае 1915. — Народное самолюбие или распущенность? — Близкая лава. — Псевдоним для гонения евреев. — Еврейский озноб. — Не согнуться до второго сорта! — Шпиономания против евреев. — Горда своим народом. — Зачем ездила по концертам.

Г л а в а 10" (вскользь по газетам)110

Глава 11116

Как встречать Алине день рождения? — Приедет муж! — Подготовка. — Первые минуты. — Как устал, и сам виноват! — Домашние радости и заботы. — Омрачение, обида: он проездом. — Примирение. — У Алины чувство неразделённое. — Вечер у Мумы. — Совет Сусанны.

Глава 12125

Воротынцев обрёл себя полку. — Фронтовое очищение. — *Не та* война. — Военное ремесло не выше отечества. — Заедино с солдатами и осолдатев сам. — За все эти жертвы — что дадим? — Война за всеми гранями. — «Замирение!» — Им послано было. — А царь? — Царские смотры. — Кем ведётся Россия? — Удушье сплетен и слухов о тыле. — Слух о сепаратном мире. — Действовать! Ехать в тыл. — Письмо Гучкова генералу Алексееву. — Заговор, о котором все знают? — С катапульты.

Глава 13135

Смена путевых впечатлений. — Отвычное чувство довоенного. — Через Москву. — Взрыв на «Императрице Марии». — Вникать в тыловое. — Не берёт голова. — «Земгусары». — Жербер о Земгоре. — Связал себя телеграммой. — По Москве на извозчике. — Та Москва и не та. — И завтра дальше? — как объявить Алине? — Через Кремль. — По Остоженке. — Первые минуты дома. — Нет, ничего не передать. — Домашний уют и гостевая повинность. — Московский звон ко всенощной. — В гостях. — Разговоры о Распутине. — Глазами фронта. — Сусанна.

Глава 14150

Алина провожает. — Уговариванье на вокзале. — Дорожный спутник о хозяйственном хаосе. — Читать газеты?.. — Смотреть портреты?.. — Немцы на службе трону. — Городские управляют деревенским. — Чуть об измене. — Была ли ошибка со снарядами? — Что за война в Румынии. — Наше тыловое мародёрство. — Всеобщая безсовестность. — Расхлябалась жизнь. — Войну пережидают. — Спутник всё замечает. — Выборжанин. — О хороших машинистах. — Кто же он такой?

Глава 15 (Из записных книжек Фёдора Ковынёва)168

Глава 16183

Как работал Ковынёв. — Потребности редакции и читающей публики. — Критика от Зины Алтанской. — Замысел «Тихого Дона». — Что мешает автору писать? — Ковынёв наблюдает Воротынцева. — Воспоминание о Выборгском воззвании. — О Первой Думе. — Филипп Миронов. — Ковынёв между Доном и Петербургом. — Признание о Тамбове.

Глава 17193

Тамбов в жизни Ковынёва. — Встреча с Зиной на набережной. — Колесания, раскаяние. — Переписка. — Дерзкие суждения девушки. — При-

ручение не удаётся. — Чаепитие в сумерках. — Зинины арабески. — Ребёнок. — Безтолково прожито, и силы исчерпаны. — Новые взлёты. — Взгляд Феи на женитьбу. — Зовёт в Кирсановский угол. — Не ехать? Ехать! — Встреча в Тамбове. — Кувырком с откоса.

Глава 18206

Детство брата и сестры Воротынцевых. — Няня Поля, её рассказы, её обычай. — Верина жизнь в Петербурге. — Переписка с братом. — Область неоткровенности. — Семейные сравнения. — Встреча брата на вокзале. — Приглашение к Шингарёву.

Глава 19' (Общество, правительство и царь)217

1914, всеобщий патриотизм и кадеты. — Дальний кадетский расчёт в этой войне. — Земгор: самочинство, финансовая безконтрольность. — Манёвр с сухим законом. — Осуждение большевицкой думской фракции. — Невознаграждённая лояльность кадетов. — Сведения о дурном ходе войны. — Осторожность Милокова. — Майское отступление, конец перемирия с правительством. — Горемыкин, старая шуба. — Неудавшаяся история объединённого правительства. — Личность Кривошеина. — Его общественная позиция. — Уклонение от поста премьера. — История смены Коковцова. — Обновление состава кабинета. — Напряжённость в нём. — Кривошеин чистит правительство весной 1916. — Июньская конференция кадетов. Лозунг «правительства доверия». — Лидеры охлаждают горячих. — Кто виновен в отступлении? — Думцы съезжаются. — Съезды Союзов, съезд по дороговизне. — Янушкевич — начальник Генерального штаба. — Положение о полевом управлении войск. — Как оно сказалось при нашем отступлении. — Поливанов: «отечество в опасности». — Министры просят о военном совете. — Обиды министров на Ставку. — Популярность великого князя даже укрепляется. — Открытие Думы 19 июля. Пафос против правительства. — Создание «военно-промышленных комитетов», Гучков. — Комиссионная деятельность их. — Пора распускать Думу! — Вопрос о ратниках 2-го разряда. — Положение на театре войны. — Беженство и разорение. — Янушкевич валит поражение на евреев. — Запад обрезает финансы. — Правительство обсуждает снятие черты оседлости. — Поливанов рисует военную обстановку безнадежно. — Выдаёт секрет о намерении Государя занять Верховное Главнокомандование. — Министры волнуются. — Раскол Кривошеина с Горемыкиным. — Внутреннее решение Государя. — Николай Николаевич переходит пределы власти. — Внушения императрицы. — Великий князь подчиняется отставке. — Отступление продолжается. — Рабочие подозревают измену. — Самарин: отговаривать царя от бедственного шага! — Кривошеин предлагает смягчительный рескрипт. — Разве уступки приводят к лучшему? — Великий князь торопит увольнение. — Эвакуировать Петроград и Киев? — Хаос эвакуации. — Правительство виснет в воздухе. — Столичное общество кутит. — Разнузданность печати. — Или сдать обществу, или утвердить власть. — Рябушинский публикует проект нового правительства. — Мысль о создании думского большинства. — Об-

разование Прогрессивного блока. — Обсуждение программы. — Правительство доверия? — Обсуждение кандидатуры премьера. — Кривошеин снова не решается на первое место. — Его срыв с кандидатурами Поливанова и Гучкова. — Демонстративные резолюции московской думы. — В Совете министров снова бурлит смена командования. — Сплотка протестующих министров. — Заседание кабинета 20 августа. — Императрица укрепляет супруга. — Государь устоял против министров. — Благодарие Государя после победы. — Бушевание министров 21 августа. — Отставка восьми. — Открытие Особых Совещаний. — Отбытие Государя в Ставку. — Провозглашение Прогрессивного блока. — Примирительность министров к Блоку. — Заседания вождей Блока. — Прервать ли Думу? — Кривошеин уходит в тень. — Анализ программы Блока. — Не программа, а места у власти. — Распускать Думу напролом или искать понимания? — Повернувшийся Кривошеин. Взрыв кабинета. — Горемыкину поздно меняться. — Отдельная позиция Самарина. — Горемыкин в Могилёве, решения Государя. — Лихорадочное заседание кабинета 2 сентября. — Как обуздать съезды Союзов? — Ничтожность правительственных сил в Москве. — Указ 3 сентября о перерыве Думы. — Лидеры Блока обсуждают тактику. — Спешат со съездами Союзов. — Императрица о съездах и о Гучкове. — Московская рабочая забастовка. — Кадеты жалеют, что не сговорились с правительством. — Открытие съездов. — Депутации к царю. Всеподданнейший адрес. — Рабочие стучатся в съезд городов. — Не сотряслось, а успокоилось. — Императрица зовёт на расправу с министрами и Синодом. — Царский реприманд министрам. — Двоеные министров. — Упущенные возможности Кривошеина. — Увольнение Самарина, Щербатова. — Кривошеин подаёт в отставку. — Принимать ли депутации съездов? — Отказ. — А не упущено было мириться? — Незамеченное предупреждение.

Г л а в а 20260

Вечерний военный Петроград. — Приглядываясь к сестре. — Обычай и жилище депутата Шингарёва. — Его воспоминания о деревне. — Ново-Животинное. — Жизненный путь Шингарёва. — О Государственных Думах — незнание, безпамятство. — Искать народу добра, но через что? — Демобилизация армии? — Долг перед союзниками? — Если б на верхах горели сердца о народе! — Кадеты поддаются революции. — Французская параллель. — Легенда о Сивилле.

Д о к у м е н т ы — 1278

К пролетариату Петербурга.

Г л а в а 21278

Воротынцев в кадетском обществе. — Речевое кружение. — Семья Шингарёвых. — Воротынцев не попадает в цвет. — Победа через свободу или принудительные меры? — Долой это правительство! — Захватывающая сила карусели. — Запинка на Земгоре. — Чем хуже, тем лучше! — Воротынцев взрывается о Столыпине. — Встречи Шингарё-

ва со Столыпиным. — Возможности выше парламентских? — Профессор Андозерская.

Г л а в а 22295

Рассказать — и освободить кости. — Война в Румынии. — Какого рассказа ждут. — Выбиты армейские кадры. — Самодурства генерала Сандецкого. — Неумелое вождение войск. — Цепь неудач в Пруссии. — Генералы-губители. — Карпатская авантюра. — Отступление Пятнадцатого года. — Успех Брусилова мнимый. — Рассыпанные неудачи. — Война как труд. — Атомы боя. — Деревня Радзанов. — Мертвоприношение. — «С Богом, ребята!» — Зажатость офицера. — Ночная атака каргопольских драгун. — Чем больше потерь, тем похвалы нее бой. — Ненаграждаемые. — Газовая атака на себя. — Но — дух новоживотинца? — Наклон к плену. — А либералы требуют победы! — Что же вы думали в Японскую? — Русский солдат — и задачи войны?.. — Долготерпение, или очнуться раньше. — Знать меру и России! — Эти раны — ошутить на себе. — Прервать войну? — Что есть офицер для солдата. — Русская армия перестала существовать. — «Роты нет, теперь всё равно». — Ещё комендир, или уже убийца? — И не важно, как будет называться тот мир.

Г л а в а 23312

Воротынцев размягчился. — Вопросы Ободовского, и к нему. — Кадетские лидеры спешат совещаться. — Артиллерийский разговор. — Революционер — и созидатель? — Иркутское кипение Пятого года. — Военная служба и комендант Ласточкин. — «Бьют Россию — бьют и меня!» — Воевать без ненависти к врагу? — Не упустить этого вечера.

Г л а в а 24323

Нуся Ободовская. — Замужество это судьба. — Укладка жизни с годами. — Встремчивый характер Ободовского. — Нуся на динамите. — Ободовский в сибирских тюрьмах. — На музыке в Павловске. — Дворянам легче революционерить. — И в эмиграции — для России! — Возврат под тяжёлым предсказанием.

Г л а в а 25329

Взгляд Андозерской на женщин. — Заразилась дерзостью полковника. — От детей к гражданскому сознанию. — Предрасположенность нации? — Аспекты республики. — Меньшинство? большинство? — Запреты свободного общества. — Самодержавие, любимый враг. — Есть ли границы у неограниченной власти? — Черты монархии сравнительно с республикой. — Воротынцев отстаёт от спора. — Что за формула «помазанник Божий»? — Пороки республики. — А безгрешны ли законы? — Кажется, н а ч а л о с ь!

Г л а в а 26343

Тревожное ожидание вестника. — Воспоминания начала века. — Девятьсот Пятый год. — Девятьсот Шестой. — Крыша над народом. — Выборы прогресса. — Ждём и чаем катастрофу! — Приход инженера Дмитри-

ева. — Слухи, распускаемые с осени. — Настроение на Выборгской стороне. — Заваруха 17 октября. — Мятеж 181-го полка. — Полиция смята.

Г л а в а 27362

Разногá российских краёв. — Радостно-безсонная ночь Воротынцева. — Утренний телефон. — Днём и вечером, бег к ней. — Кабинет Ольды Орестовны. — Наградной церемониал. — Сбой ощущений. — Уличён в кадетстве. — И снова о республике. — Тайна монархии. — Кодекс монархиста. — Наша Костромская. — Профессорский жребий. — Прогулка на ветру. — На качелях.

Г л а в а 28375

Всё потеряно — или найдено! — Врубелевский Пан. — Годовщины Достоевского. — Вкус решительного человека. — Ничто не повторяется. — Переборы болтовни. — Воротынцев даже готов быть переубеждённым. — Догадки о царе. — Трон только тронь. — В чём виноват Государь. — Твёрдые руки на помощь! — Амазонка.

Г л а в а 29386

В эти шесть дней что-то происходило? — Алина вызывает! — Сам себя не знал. — Прогулка на Каменный остров. — Расспросы Ольды. — Какие задачи трудней человеку?

Г л а в а 30394

Везде не хватает людей на дела. — Горняк Ободовский принимает артиллерийских изобретателей. — Обуховцы отказались от сверхурочных. — Социалистический календарь и русское производство. — Что на Западе можно — то у нас тиранство. — Во что превратились гучковские комитеты. — Где же Минины? — Как делаются забастовки в России. — А как на Западе? — Рабочий класс? — и ему скажу.

Г л а в а 31404

Жизнь Козьмы Гвоздева. — Как он попал в Рабочую группу. — Меньшевицкие ораторы и наказ большевиков. — Раздвоение целей Рабочей группы. — Гутовский и Пумпянский. — Как понимал сам Козьма. — Ну, влип! — С Гучковым наедине и при секретарях. — И секретари тоже в несвободе. — Сашка Шляпников болит в груди. — Как понимать разные важные вопросы. — Метут и заматают Ободовского. — Козьма прорвался с помощью.

Г л а в а 32423

Путь на Невском паровичке. — Петербургский рычаг. — Понимание заводского двора. — Дмитриев готовит выступление. — В шисьельном. — Болтовня столяра. — Земляки Созонт и Евдоким. — Стон о ценах. — И вообще рабочая жизнь.

Г л а в а 33435

Сбор рабочих. — Что такое и зачем траншейная пушка. — Кажется, пронял? — «А пушай её немцы заберут!»

- Глава 34442
 Площадь перед заводом. — В домике больничной кассы. — Товарищи «Вадим» и «Мария». — Подвиг Кеши оценен. — Никогда не жалейте времени на агитацию. — ПК недоволен Невской стороной. — Главная установка пропаганды — на дороговизну. — Листовочное искусство Матвея Рысса. — Указания БЦК. — Вероника нашла своё место. — Почему не будет голода после революции. — Социалистические страны не воюют. — А вот и счастье.
- Глава 35457
 Деревенские уличные прозвища. — Елисей Благодарёв и его семья. — Арсений приехал домой. — В избе. — По подворью. — Баньку топить. — Соседские расспросы о войне. — Только знают муж да жена. — Берёзовый веник.
- Глава 36475
 Потайные задумки Катёны. — И как это прорвалось. — В сеннике. — На отруб! — Наука о гусях. — Как любовь да совет.
- Глава 37481
 «Кегель-клуб» заседает под красным фонарём. — Участники. — Путь досюда и лозунги Ленина. — Империалистическая Швейцария — революционнейшая страна в мире. — Ночной Цюрих. — Не ждать ни народа, ни большинства! — Речь Ленина на социал-демократическом съезде. — Провал с революционной резолюцией. — Невзорванный буржуазный мир.

Литературно-художественное издание

А. И. Солженицын

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 9

КРАСНОЕ КОЛЕСО

Повествование в отмеренных сроках

Октябрь Шестнадцатого.

КНИГА 1

Редактор

Наталья Рагозина

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Корректор

Ирина Машковская

Верстка

Валерий Калныньш

Подписано в печать 26.04.2007.

Формат 60×90¹/₁₆.

Бумага для ВХИ.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 32,0.

Тираж 5000 экз.

Заказ № 304.

«Время».

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25.

Телефон (495) 231 1864.

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@vremya.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru

Солженицын А. И.
С60 Собрание сочинений в 30 томах. Т. 9. Красное колесо: Повествование в отмеренных сроках.— Узел II. Октябрь Шестнадцатого. Книга 1. — М.: Время, 2007. — 512 с.

ISBN 978-5-9691-0227-9

В книге первой «Октябрь Шестнадцатого» развернута широкая картина социальной обстановки и общественных настроений в России на третьем году Первой мировой войны. На этом фоне прослеживаются личные судьбы персонажей, от простого солдата и рабочего-подпольщика до Государя Императора.

ISBN 978-5-9691-0227-9



9 785969 102279

